

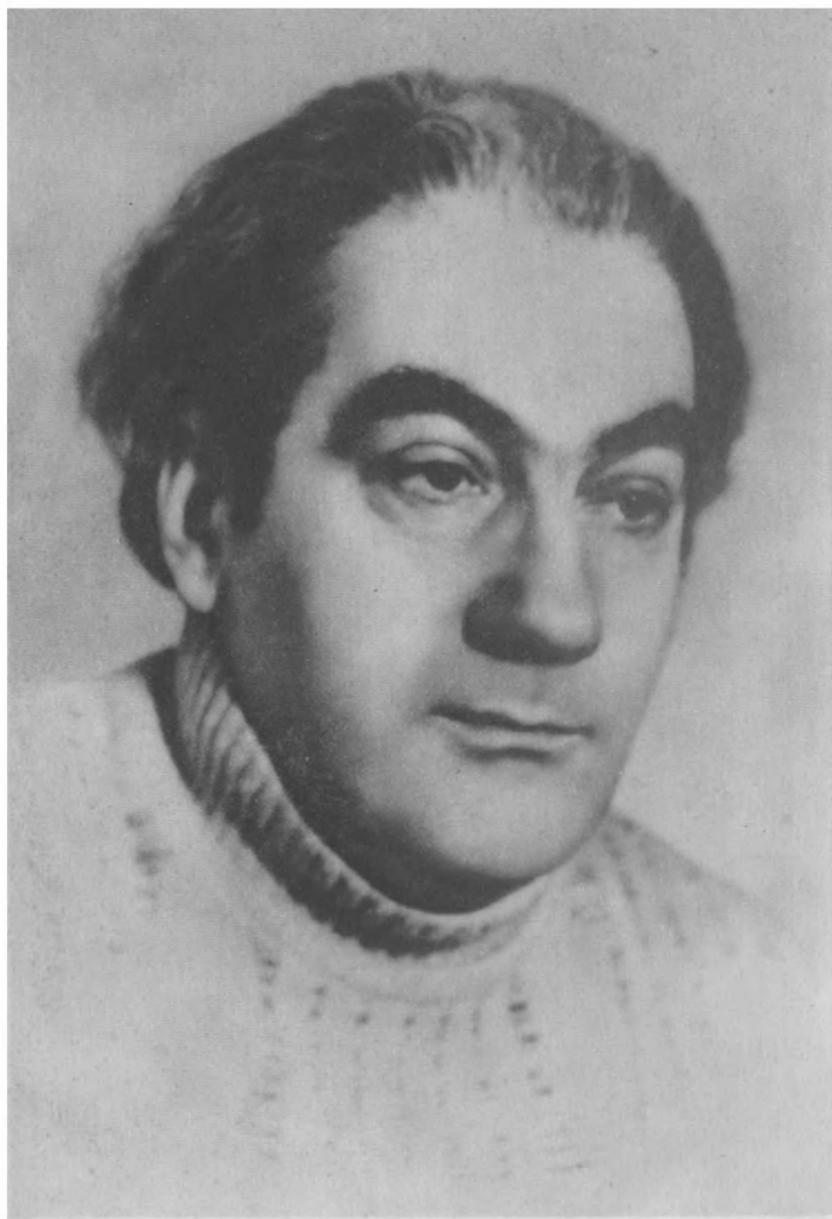
ЯКОВ
ЛИПКОВИЧ

Три повісті о любви

ЯКОВ
ЛИПКОВИЧ

Три
повісті
о любви

Г



ЯКОВ
ЛИШКОВИЧ

Три
повести
о любви



Советский писатель
Ленинградское отделение 1989

ББК 84.Р7
Л 61

*Художник
Мария Липкович*

Л $\frac{4702010201-005}{083(02)-89}$ 77-89

ISBN 5—265—00234—0

© Издательство
«Советский писатель», 1989 г.

Сестиничевич
проект



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Ипатов не был в этих местах целую вечность. Так уж получилось, что его ежедневные городские тропы в последние два десятилетия пролегли на другом конце города. Однако здесь, на этой улице, мало что изменилось с тех пор: те же старые дома, меланхолически ожидавшие своей очереди на капремонт, те же газоны с редкими и низкими кустами, та же тишина, которую еще больше оттенял треск отбойного молотка, вспарывающего где-то асфальт.

Знакомый дом он увидел сразу, как только свернул сюда с Садовой: его единственный подъезд — высокий, с выступающим карнизом, со ступеньками, начинающимися почему-то с середины тротуара, всегда был приметным. Ипатов шел по противоположной стороне, и с каждым шагом в нем нарастало непонятное беспокойство. Как будто с этим домом, с этим подъездом не все было покончено тридцать пять лет назад. Нет, он мог быть спокоен еще и потому, что она давно здесь не жила. Поговаривали, что она сперва переехала не то на Васильевский, не то на Петроградскую. А в последние годы след ее и вовсе затерялся. Кто-то — он уже не помнит кто — сказал, что видел ее в Москве. Но не там, где встречаются простые смертные — на улице или в магазине, кино или театре, — а на каком-то приеме, куда случайному человеку дорога заказана. Так что, возможно, она сейчас живет в Москве, и ему нечего опасаться.

Между тем забрел он сюда не случайно. Началось все с того, что кому-то из его бывших однокурсников пришла в голову лихая мысль — собрать на традиционную встречу (дата отмечалась круглая) не только тех, кто вместе с ними окончил Университет, но и тех, кто поступил, однако по разным причинам недоучился. Мысль казалась странной лишь на первый взгляд.

В ней была своя логика и свой расчет. Среди поступивших, но не окончивших фигурировали два человека, которых инициаторы сбора хотели во что бы то ни стало заполучить в качестве дорогих и желанных гостей. Большинство поддержало эту идею. Пленяла возможность побыть на короткой, дружеской ноге с известным всей стране министром и не менее известным кинорежиссером, автором теперь уже почти хрестоматийных фильмов. Да и понимали, что присутствие таких знаменитостей украсит их сбор, сделает его насыщенным, интересным и в чем-то, не исключено, многообещающим. В сущности, ради этой выдающейся парочки и заварилась вся каша. Но, сказав «а», надо было сказать и «б», то есть разыскать и пригласить на встречу еще несколько десятков бывших студентов, о которых при других обстоятельствах, наверно, и не вспомнили бы.

Роясь в пожелтевших от времени и всепроникающей невосковой сырости приказах, наткнулись и на ее фамилию. В тот же вечер Ипатову позвонили и не без подхода попросили взять на себя часть забот по организации встречи. Конкретно? Помочь разыскать хотя бы несколько человек. Среди названных была и она. Значит, кто-то до сих пор связывал их имена.

Растерявшись от неожиданности, Ипатов согласился. Потом разволновался. Хотел даже позвонить, отказаться. Но, подумав, вдруг успокоился: в конечном счете, от него требовалось немного — послать запрос в Центральное адресное бюро и терпеливо ждать ответа. Да и времени на это было более чем достаточно — два месяца.

Упомянутый разговор по телефону состоялся в прошлую субботу. А уже сегодня Ипатов, право же, совершенно неожиданно (чем не игра случая?) оказался в этих местах. Просто он решил навестить своего заболевшего нового сотрудника, который жил на Садовой, всего в двух кварталах от ее бывшего дома.

Пробыл он у больного минут тридцать-сорок и, когда вышел на улицу, вдруг подумал: а что, если набраться смелости и зайти по старому адресу? Возможно, там действительно, как поговаривали в свое время, жили ее дальние родственники, которым семья Поповых, переезжая на новую квартиру, каким-то образом передала старую жилплощадь. В любом случае он ничего не теряет. Больше того, если повезет, без всякой

канители сможет узнать ее теперешний адрес. Конечно, потом, если родственники сообщат ей об этом визите и опишут его внешность, она легко догадается, кто заходил. Чем другим, а ростом и прочими милицейскими приметам (черные глаза, густые брови, нос с горбинкой) бог его не обидел. Поэтому, чтобы отвести от себя подозрения, он назовется другой фамилией. Какой? Хотя бы Жиглинским, то есть фамилией того однокурсника, которому первому пришла в голову мысль созвать вселенский собор!.. Словом, он только спросит и уйдет... только спросит и уйдет...

Боже праведный, неужели им все-таки суждено еще раз встретиться?..

Ну вот и подъезд. Правда, еще не совсем напротив, а чуть наискосок. Из него выскочила и сбежала на тротуар девочка с нотной папкой в руке. На минутку задержалась, чтобы затянуть ослабевший шнурок туфли. И с этого положения, словно со старта, устремилась к Садовой. Ипатов проводил ее заинтересованным родительским взглядом. Затем неуверенно перешел улицу и по высоким ступенькам, которые когда-то не принимал в расчет — перемахивал все разом, поднялся на площадку перед входом. И тут у него неожиданно зачастило сердце. «Ну чего дуришь?— сказал ему Ипатов.— Все это в прошлом, понимаешь? В далеком прошлом!» Довод был убедительный, и оно стало успокаиваться. На дверном косяке синела табличка с указанием этажей и квартир. Хоть убей, он не помнил, какая ее. Конечно, если подняться... если подняться... он узнает сразу. Кажется, справа. Куда денется квартира? И лестничный пролет, который тогда мог его поглотить, тоже никуда не должен исчезнуть! Интересно, установили там лифт или по-прежнему жильцы, чертыхаясь, подымались на свои этажи?

Расшатанные двери пропустили его в высокий сводчатый вестибюль. В нем было темно и прохладно. И в глубине, по-хозяйски, как будто он был здесь всегда, располагался лифт. Ничего удивительного. Было бы странно, если бы его до сих пор не было...

Ипатов закинул голову. Шахта уходила вверх, заполняя собой почти весь пролет. Но нет, позади оставался и просвет, перегороденный кое-где металлической сеткой — на всякий случай...

Ступив машинально на первую ступеньку, Ипатов вдруг с удивлением увидел, что ноги сами, словно пови-

нуясь чьей-то команде, стали медленно поднимать его по крутой лестнице, которая все так же, срезая углы, кружила с одного этажа на другой...

Она появилась на их курсе с опозданием — через два месяца после начала занятий. Ипатов до малейших подробностей помнил ее явление однокурсникам. Это было в большой аудитории на древнерусской литературе. Лекция еще не началась: профессор имел привычку задерживаться на одну-две минуты. Студенты поглядывали на дверь, которую нарочно оставили открытой. И вдруг — вошла она. Одетая, как потом выяснилось, по последней парижской моде, с легким румянцем на щеках, незнакомка была необыкновенно хороша. Сощурился глаза, не спеша поискала взглядом свободное место. Все примолкли, удивленно уставились на нее. Войди английская королева, эффект был бы не больше. У Ипатова даже перехватило дыхание: неужели эта выдающаяся красавица будет учиться с ними? Ни на кого не глядя, девушка прошла вперед и села за свободный стол.

Ипатову пришлось все время елозить по скамейке, чтобы видеть ее, — мешали другие головы. Он отметил про себя, что весь первый час она сидела неподвижно и по-прежнему ни на кого не смотрела. После перерыва он незаметно пересел поближе. Теперь их разделял лишь узкий проход. О том, чтобы с ходу познакомиться, он и не мечтал. Где уж ему! Он и с обыкновенными девушками сейчас робел и смущался. А тут...

Так до конца лекции он не отрывал от новенькой глаз. Ему все нравилось в ней: и гордая осанка, и нежный мальчишеский профиль, и небрежные завитки прически, и маленькие мочки с красными бусинками сережек.

За два часа он изучил ее всю, правда лишь с одного бока. Но она ни разу не посмотрела в его сторону. Видимо, так и не почувствовала его неотрывного восхищенного взгляда. Или просто привыкла к тому, что на нее все глазели?

Весь день Ипатов был как пьяный. Разве только не шатался. А то и отвечал невпопад, и смеялся ни к месту, и головой вертел без конца: не покажется ли снова?

Кто-то даже спросил, что с ним. На это пришлось бодренно ответить: «Со мной? Ничего! Недоспал на лекции!»

Это было в субботу, а в воскресенье, которое обычно уходило у Ипатова на сидение в библиотеках, он прямо с утра стал готовиться к завтрашнему дню: сам простирнул свою лучшую рубашку, тщательнейшим образом прогладил брюки, вывел пятна на куртке, пришел недостающие пуговицы, надраил до блеска давно нечищенные ботинки. На это у него ушло все воскресенье.

Утром перед уходом Ипатов взглянул на себя в зеркало и остался доволен — и рубашка, и куртка, и брюки, и ботинки выглядели вполне прилично, вот только правая подметка чуть-чуть отставала, хотя и не очень заметно. Но, судя по всему, она еще несколько дней продержится.

Всю дорогу до Университета Ипатова переполняла радость от мысли, что снова увидит эту удивительную девушку. А главное, что теперь будет видеть ее каждый день. И уже неважно, когда он с ней познакомится — сегодня ли, завтра ли или только через десять дней: их знакомство неотвратимо так же, как неотвратимы предстоящая экзаменационная сессия или уплата комсомольских членских взносов. А дальнейшее уже будет зависеть от них и ни от кого больше...

В вестибюле было полно народу. Одни спешили в раздевалку, другие уже выходили оттуда, третьи неторопливо поднимались по лестнице на второй этаж, где находились основные аудитории факультета. Едва Ипатов переступил порог и быстро окинул своим емким командирским взглядом движущуюся в разные стороны толпу, он уже знал, что новенькой здесь нет.

Он спустился в раздевалку: там ее тоже не было.

Зато была огромная очередь. Попросив знакомого студента повесить пальто, Ипатов выскочил из гардероба и присоединился к восходящему потоку. Через полминуты его вынесло на второй этаж. И тут он увидел ее. Она стояла спиной к окну. На ней было уже другое, но такое же шикарное платье, которое ей также очень шло. На этот раз она была не одна: около нее ошивался Валька Дутов, известный пижон и трепло. Недавно все узнали, что отец у него не то академик медицины, не то медицинский генерал, и это сразу сделало его заметной фигурой на факультете. К тому же у Вальки было приятное открытое лицо, с которого гля-

дели добрые нагловатые глаза. Слушала она Валькины разглагольствования с явным интересом. Иногда сдержанно хмыкала. Валька был в ударе. Ипатов с тоской позавидовал ему: умеет же! И неудержимо захотелось узнать, о чем они говорят. Хотя бы краем уха послушать...

И тогда он втиснулся в толпу студентов, валившую в ту сторону. Шел как бы по своим делам: то ли на лекцию, то ли еще куда. Но с каждым шагом, поглядывая украдкой, он все ближе подбирался к ним. И когда уже находился совсем рядом и до его слуха долетели какие-то непонятные и потому бессмысленные обрывки разговора, его хитрые маневры, по-видимому, привлекли внимание незнакомки. Ипатов заметил, как у нее в недоумении поднялись темные брови: «Как прикажете это понимать?» Обернулся удивленный Валька. Ипатов встретился с ее взглядом, который она тут же с чуть заметной усмешкой отвела в сторону. Неужели он показался ей смешным? Наверно. Во-первых, подслушивал. А во-вторых, все на нем выглядело так, как будто только что из чистки. Словом, еще тот видик!

Впрочем, весь день был такой — невезучий. Недаром что понедельник. Неожиданно отменили единственную общую лекцию, на которой он рассчитывал ее увидеть, а при благоприятном стечении обстоятельств — и познакомиться. Оставались короткие перерывы. Но в первый Ипатов задержался — дописывал контрольную, во второй перерыв ее нигде не было, возможно так и не выходила в коридор, а в третий их попросили остаться — куратор записал, кто живет дома, а кто в общежитии. Напрасно проторчал целый час и после занятий на Университетской набережной напротив факультета — она как сквозь землю провалилась.

День был потерян. Ипатов сел в автобус, который через десять минут доставил его к Публичке. А еще через двадцать минут он сидел, зажав голову руками, над «Диалогами» Цицерона: «В эти дни, когда я отчасти или даже совсем освободился от судебных защит и сенаторских забот, решил я, дорогой мой Брут, послушаться твоих советов и вернуться к тем занятиям, которые всегда были близки моей душе...»

Увы, в отличие от Цицерона, вернуться к своей обычной размеренной жизни Ипатову так и не удалось.

Вторник принес ему новые огорчения и новые заботы. Какому-то усердствующему хозяйственнику пришла в голову мысль — глядячи на зиму, перекрасить дверь в раздевалку. Предупреждающая записка: «Осторожно, окрашено!», как это часто бывает, вскоре отлетела, и несколько студентов здорово перепачкались краской. Среди них — Ипатов. Как он успел в один момент посадить на себя столько белых пятен — уму непостижимо. Вся группа со смехом оттирала ему куртку и брюки. Но без бензина, ацетона и прочих растворителей дело совсем не подвигалось: большинство пятен сохраняло первозданную свежесть. И вот вместо того, чтобы искать встреч с ней, Ипатов весь день старался не попадаться ей на глаза. Надо отдать ему должное, в этом он проявил немалую изобретательность.

А на общекурсовой лекции по античной литературе он ухитрился сесть так, что даже при желании незнакомка не смогла бы его увидеть. Жаль только, что и она находилась вне поля зрения — за одним из печных выступов, сохранившихся в аудитории еще с петровских времен. В последнюю минуту по соседству с Ипатовым с грохотом опустился на скамейку вечно опаздывающий на занятия Валька Дутов. Понимающе, как показалось Ипатову, подмигнул. Так оно и было: вскоре от него поступила записка. В ней было три слова: «Выбрось из головы!»—«О чем ты?»— покраснев, написал ниже Ипатов. Через минуту пришел ответ: «Учти, орешек крепкий, но пустой».—«Не понимаю, о чем ты?»— продолжал упорствовать Ипатов. «Н-да! Гибнут лучшие люди... Впрочем, прими мои искренние соболезнования».—«Взаимно!»— не удержался от легкой пикировки Ипатов. И вдруг понял, что выдал себя. Валька тут же ответил: «Я-то что? Я — пас!» Теперь перешел в наступление Ипатов: «Поругались?»—«Разные взгляды»,— коротко нацарапал Валька. «На что?»— полюбоствовал Ипатов. «На кое-какие вопросы»,— вдруг стал темнить Валька. «Секрет?»— спросил Ипатов. «Если позволите...»— вежливо ответил Валька. «А кто она — не секрет?»— неожиданно решился спросить Ипатов. «Это — нет. Известно следующее. Переведена из Московского университета на датское отделение. Отец у нее был военным атташе не то в Норвегии, не то в Швеции. Жила там год с родителями... Все! Советую прочесть — и забыть!»—«Забыл!»— в тон ему от-

вётил Ипатов. «Так-то оно лучше, дольше проживешь!» — в заключение заметил Валька.

Было ясно, что он отговаривал Ипатова не без скрытого умысла. Отшить потенциального соперника никогда не лишнее. Но возможно, в нем говорила и обыкновенная обида: похоже, что новенькой потребовалось немного времени, чтобы раскусить его, — весь он как на ладони...

Надо поторапливаться. А то, пока он будет раскачиваться, другие начнут действовать. Не все ведь такие слабаки, как Валька. Есть ребята, которые прут вперед как танки. Они уж не отступят при первой неудаче...

Если бы не эти пятна на одежде, может быть он уже сегодня рискнул подойти к ней. Благо, она целый день была в Университете, все шесть перерывов — больших и малых — провела в коридоре — и снова одна.

Но это уже голая теория. На самом деле трудно, ох, как трудно предугадать, как бы он вел себя. Скорее всего, так же, как до этого: вздыхал бы в сторонке.

Тут необходимо решиться. Быть смелым и осторожным одновременно! Найти удобный предлог, чтобы не вспугнуть...

Значит — завтра.

Он ушел из аудитории последним, когда ему не угрожала опасность встретиться с ней. В кабинетах и коридорах уже хозяйничали суровые уборщицы, а внизу, на столе у вахтерши, по-домашнему пофыркивал помятый электрический чайник.

На улице валил снег. Но всю дорогу до дому Ипатов шел пешком и фантазировал. Он чувствовал, что его еще ждет долгая бессонная ночь. И не ошибся. До семи часов утра он перебрал множество вариантов знакомства. Некоторые из них он отмел сразу. Не трудно представить, что бы подумала она о нем, если бы вдруг услышала: «Скажите, пожалуйста, который час?» Это в зародыше убило бы всякий интерес к нему. Он понял: только что-то неожиданное, непривычное будет похоже на правду, не вызовет нежелательных ассоциаций. Можно, например, познакомиться так. Она идет по коридору. Он обгоняет ее и на ходу спрашивает: «Вы не видели... — И назовет какую-нибудь редкую фамилию, скажем: — ...Черношварца?» Она обязательно удивится: «Нет... Какого Черношварца?» Или же: «Нет... Я не знаю такого!» — «Как, вы не знаете Черношварца?» И он тут же начнет описывать внешность своего быв-

шего санитаря, по слухам занимавшегося сейчас где-то в степях Казахстана искусственным осеменением овец. «Представьте себе... (да простит ему кроткий и безобидный Черношварц это нелестное сравнение!)... бульдога, поставленного на задние лапы и увеличенного до размеров баскетболиста». Или что-то в этом роде. Не может быть, чтобы она не улыбнулась. С этого момента — он уверен — разговор между ними пойдет уже своим ходом. Но фамилия должна быть позаковыристее. Не Иванов, не Петров, не Сидоров: не исключено, что она знает кого-нибудь с такой фамилией и тогда просто отрежет: «Нет!» А на нет, как известно, и суда нет.

Можно разыграть и такую психологическую сценку. Когда она будет проходить мимо него, он укоризненно покачает головой: «Нехорошо, нехорошо забывать старых знакомых». И она вынуждена будет подойти к нему и смущенно сказать: «Простите, я никак не могу припомнить, где мы с вами встречались?» Раз он уже попался ей на глаза, то можно допустить, что и отложился в памяти. Она непременно решит, что видела его где-то раньше. Но где и когда, придумывать необязательно. Неплохо даже слегка поинтриговать: «Ну, ну, припомните!» Так, реплика за репликой, и они разговоятся...

А под утро родилась идея, поразившая его своей неуязвимой и многообещающей простотой. Для этого нужна всего лишь книга, способная заинтересовать любого знающего и культурного человека. Такая книга у него есть. Старое издание «Декамерона». Он догонит ее и спросит: «Скажите, не вы ли оставили в аудитории эту книжку?» Она произвольно бросит взгляд на яркое золотое тиснение, и ее глаза, как минимум, загорятся простым человеческим любопытством. И тогда он, не дожидаясь ответа, подаст книгу. Она возьмет и, вздохнув, скажет: «Нет. Ее оставил кто-то другой». — «Что же делать?» — спросит он. «Я думаю, — ответит она, — надо дать объявление». — «Да, конечно, — с готовностью согласится он. — У вас нет ручки? Я свою где-то оставил». — «Пожалуйста», — скажет она и достанет из сумочки вечное перо. И они, отойдя в сторону, вместе напишут обращение к неизвестному растяпе. «А пока найдется хозяин, — под конец скажет он ей, — вы можете взять почитать». — «Спасибо, — ответит она. — Я давно хотела перечитать «Декамерона».

Конечно, потом, спустя много дней, когда они станут друзьями, он признается ей во всем.

На этом последнем варианте Ипатов и решил остановиться. Как завзятому книжнику, ему казалось, что здесь он маху не даст. Тут он был как бы в своей стихии...

Но произошло то, чего он совсем не ожидал. Он а взял а книгу. Сказала: «Спасибо!»— и взяла как свою. Не смутилась, не покраснела. Вела себя совершенно спокойно и обыденно, как будто действительно оставила эту книгу, как будто это была какая-нибудь брошюра, изданная миллионным тиражом, а не редкое издание «Декамерона». Ипатов обалдело глядел на нее и не знал, что думать и делать дальше. Он буквально был растоптан случившимся.

Но даже сейчас, когда Ипатов уже начинал презирать обманщицу, он не спускал с нее влюбленных глаз — до того она была хороша, хороша вся, от аккуратно вздернутого носика до последней складки на одежде,— сущее произведение искусства.

Он смотрел на нее жалким взглядом.

А она молча и равнодушно опустила книгу в сумку и своей удивительно милой серьезной походкой заторопилась к себе на занятие.

В ту минуту он не предполагал, что эта история с книгой будет иметь продолжение...

Ипатов ухватился рукой за перила и перевел дыхание. Вот что значит годы. Все-таки пятьдесят девять — не двадцать три, когда ему на подобное восхождение требовалось всего каких-нибудь несколько минут. Сейчас же он пыхтит еще где-то между вторым и третьим этажами. Почти весь этот путь он проделал, не отрывая взгляда от темнеющей впадины лестничного пролета. Раньше там, внизу, была широкая овальная площадка, в центре которой поблескивал разноцветными плитками несложный орнамент. Как будто даже с какой-то надписью. То ли годом постройки, то ли фамилией домовладельца. В настоящее время все это, исключая части пролета, занятого лифтом, погребено под толстым слоем пыли, мусора, окурков. Несмотря на то что прошло столько лет, память сохранила многое: и тогдашние мысли, и смятение, и встречи, и разговоры, и разные подробности, полные когда-то для него неизъ-

ясной прелести и смысла. Сердце, которое поначалу было успокоилось, припустило снова, подстегиваемое воспоминаниями. Ипатов тут же стал внушать себе, что все дело в лестнице, в этой чертовой лестнице, чья многоступенчатая крутизна требовала усилий от каждого шага. Уже больше года занимаясь аутотренингом, который он, как и все неофиты, считал панацеей от большинства болезней и нервных срывов, Ипатов мысленно твердил, тяжело поднимаясь по высоким ступенькам: «Я спокоен... я спокоен... Все свои волнения я сумел побороть еще внизу, у входа... еще внизу, у входа... Здесь же мною владеет одно голое любопытство... одно голое любопытство...» И как бы в подтверждение этого замечал то, на что человек, разгоряченный воспоминаниями, вряд ли обратил бы внимание... небольшие витражи из красных, синих и зеленых стекол в верхней части лестничных окон, которые, очевидно, и тогда, тридцать пять лет назад, рисовали на стенах бледные цветные узоры... глубокую стертость ступенек... перила с довольно простой, но все-таки изящной решеткой, которая тоже почему-то не осталась в памяти...

И даже подумал вдруг, с вороватым чувством приближаясь к площадке третьего этажа: а не повернуть ли назад? И в самом деле, какого ляда он потащился сюда? Уж конечно, не только затем, чтобы узнать адрес. Для этого он мог бы, не обременяя нервную систему излишними эмоциями, воспользоваться безотказными услугами Центрального адресного бюро и почты. Тогда зачем? Чтобы снова пробежаться по знакомой лестнице? Взглянуть на знакомую дверь? Побывать, если пустят внутрь, в знакомой до последнего закутка квартире? Словом, дотронуться голой рукой до обнаженных проводов памяти, ощутить если не удар током, как прежде, то хотя бы легкое подергивание?

А не проще было бы, уважаемый Константин Сергеевич, подняться на лифте и разом покончить с этим делом? А?

И все же он продолжал идти вверх, смятенно подчиняясь какой-то слепой и непонятной силе...

Да, та история с книгой имела продолжение с восхитительной концовкой в духе О'Генри. Ипатов ждал автобуса. Десятого давно не было, и на остановке скопилось много народу — главным образом студенты

и преподаватели Университета. Наконец показался автобус. Задние нажали, и все ринулись на штурм дверей. Все, кроме Ипатова, который предпочитал лучше пропустить два-три автобуса, чем вместе с другими толкаться и продираться вперед. Сколько раз он опаздывал на занятия, в кино, в театр, как-то даже не успел на поезд, но все равно заходил в автобус последним, когда некого уже было толкать, или же висел на подножке, рискуя сорваться. И это был не каприз. Просто он не мог иначе. Глядя на давку у дверей, он каждый раз почему-то представлял себе одну и ту же картину: тонет корабль, и потерявшие от страха голову пассажиры бросаются к шлюпкам, вырывают друг у друга спасательные круги и плотики. И хотя он допускал, что многие из тех, кто ведет себя не лучшим образом при посадке в городской транспорт, в других обстоятельствах не обязательно будут отшвыривать детей, стариков и женщин, он молча отходил в сторонку и смотрел на всех тяжелым, осуждающим взглядом.

Так было и в этот раз. В результате автобус уехал без него. Ипатов подошел к парапету набережной и вдруг услышал совсем рядом:

«Можно вас?»

Он резко обернулся и увидел новенькую студентку. Сердце у него рванулось и неудержимо запрыгало. Он тут же забыл и о ее неблагоприятном поступке, и о своем презрении, да и обо всем остальном на свете. Из-под изящной меховой шапочки на него смотрели серые — под цвет плескавшейся внизу осенней невиской воды — глаза.

«Это вы нашли Боккаччо?» — голос у нее был глуховатый, не очень выразительный.

Ипатов тоскливо подумал, что она даже не запомнила его внешности.

«Да, я», — ответил он с радостной настроенностью.

«А я вас всюду ищу! — сказала она и достала из сумочки злополучную книгу: — Возьмите, пожалуйста. Я думала, что ее оставила одна девица из нашей группы. Она читала книгу с очень похожим переплетом».

Лицо у Ипатова горело. Он еще никогда так не презирал себя. Господи, как же он мог подумать, что она собиралась зажильить чужую книгу! И, собравшись с духом, он робко проговорил:

«Если хотите, можете взять ее почитать.— И смущенно добавил:— Пока не найдется хозяин».

«Спасибо. У меня «Декамерон» есть»,— сухо ответила она.

«Извините»,— совсем пришел в замешательство Ипатов.

«За что?»— удивилась она. Затем пожала плечами и, не попрощавшись, пошла прочь.

Он ясно сознавал, что должен догнать ее и пойти рядом, продолжить разговор о «Декамероне», о книгах, о чем угодно, и, если все пойдет гладко, проводить ее до дому.

Но пока он собирался, девушка ушла далеко, и нужно было уже придумать что-то новое, а это с ходу у него никогда не получалось, требовалось время на обдумывание и подходящая обстановка тоже. К тому же подошел почти пустой автобус, и Ипатов увидел в этом неслучайное совпадение, которым не следует пренебрегать. И, дав себе слово непременно проводить ее завтра, он вскочил в автобус и поехал домой.

А на следующий день Ипатов был наказан за свою нерешительность: новенькая вообще не пришла на занятия. Странное дело, но, оттого что ее не было, он вначале почувствовал даже облегчение. Не так трудно было разгадать, в чем дело. Просто со вчерашнего дня он со страхом думал, как будет держать данное самому себе слово, навязываться к ней в провожатые. И вдруг неожиданная отсрочка. Да и вообще впервые за то время, как он увидел ее, к нему вернулось давно утраченное чувство свободы и раскованности. Только подумать — ходить и не оглядываться, не искать всюду взглядом, не переживать из-за того, что как-нибудь не так одет, короче говоря — быть самим собой!

Но к концу дня у него опять заскребло на душе. Завтра она появится, и он должен будет снова жить на цыпочках. А самое главное — попытаться проводить ее до дому...

Спал он плохо, десятки раз прокручивал мысленно воображаемую встречу. Уснул только под утро и, естественно, едва не опоздал на лекцию по русской литературе, которую блистательно читал Гуковский. Но слушал Ипатов его невнимательно, думал о новенькой — ее не было уже второй день. Не то заболела, не то еще что...

Но от вчерашнего ощущения свободы почти не осталось и следа. Он с особой остротой почувствовал, что ему не хватает ее, нет, даже не ее, а ее присутствия.

На третий день она тоже не пришла. Ипатов все глаза проглядел — он вполне допускал, что она еще может прийти на второй, на третий, на четвертый час, мало ли что могло ее задержать? Сердце у него не раз екало, когда где-нибудь вдалеке мелькали знакомые цвета одежды.

Отсутствие ее на четвертый день впервые по-настоящему встревожило его. А вдруг с ней что-нибудь случилось, а он и не знает? Было же однажды такое. Вместе с ними сдавала вступительные экзамены одна девчушка, которая поначалу привлекла к себе общее внимание. Очень толковая, живая и решительная, она получала одну пятерку за другой, и ее жизнерадостность поднимала настроение даже у самых безнадежных пессимистов. Никто не сомневался, что она поступит. Но когда все, кого зачислили, поехали на картошку, ее среди них почему-то не было. А потом начались занятия, и Ипатов как-то позабыл о ней. Вспомнил только через месяц. И тут он узнал, что еще летом ей сделали какую-то сложную операцию и она через два дня умерла в больнице.

Но как узнать о новенькой? Ему неизвестны ни ее фамилия, ни имя. Датская группа, в которой она училась, для него тоже белое пятно на географической карте: он никого там не знал. Только некоторых в лицо. Конечно, он может спросить кого-нибудь. Но тогда все поймут, что он сохнет по ней, и уже за каждым его шагом будут наблюдать десятки любопытных глаз. Хорошо, если она ответит ему взаимностью. А если — нет? Стать всеобщим посмешищем? Ну уж нет!

Остается Валька Дутов. Даже если он и в самом деле вышел из игры, вряд ли он перестал интересоваться ею. И наверняка заметил ее отсутствие и, надо думать, узнал, что с нею: ему, с его характером, это проще пареной репы.

Вот и он. Правое плечо у него выше левого, и ходит он им всегда вперед, как форштемнем разрезая толпу. Увидев Ипатова, подмигнул ему. Тем лучше: можно прямо приступить к разговору о ней. Разумеется, все в том же шутливо-подтрунивающем духе.

Ипатов догнал Вальку.

«Всё сохнем?» — поражаясь собственному нахальству, спросил он.

«Правильно действуешь, старик, — благодушно заметил Дутов. — Лучший способ защиты — нападение!»

«Это я-то нападаю?» — не отступал Ипатов.

«А кто же — я? — уперся в него насмешливым взглядом Валька. — Брось, старик, придуриваться! Говори прямо, чего тебе от меня надобно?»

Ипатов заколебался: сказать, не сказать? А!.. Все равно Валька обо всем догадывается!

«Ты не знаешь, куда подевалась новенькая?»

«Знаю, — ответил тот. — Уехала в Москву к больной тетке-генеральше. К понедельнику вернется... Н-да!» — многозначительно протянул он.

«Что н-да?» — встрепенулся Ипатов.

«Не люблю повторяться, старик, — проговорил Валька. — Пропадешь ни за грош!»

Ипатов хотел крикнуть ему вслед: «Не надоело каркать?», но в последнее мгновение передумал: зачем?

Никогда еще так медленно не тянулось время, как в эти неполные четыре дня. Дома на плотном листе бумаги Ипатов нарисовал длинную-предлинную изгородь. В ней было восемьдесят семь кольев. Через каждый час один из них полагалось зачеркнуть. Вначале все это походило на занятную игру и не было в тягость, особенно на занятиях. Но вскоре Ипатов обнаружил, что уж очень черепашьими темпами сокращается его частокол. Дома он попробовал отвлечься, заняться каким-нибудь делом. В результате ему иногда удавалось зачеркнуть два, а то и три колышка. Больше всего его радовали первые утренние часы, когда одним росчерком карандаша превращались в прах сразу семь ночных часов. Сперва Ипатов пытался придерживать какой-то системы — скажем, двигаться только слева направо. Но впереди было еще столько нетронутых кольев, что от них начинало рябить в глазах. Тогда Ипатов стал вычеркивать с другого конца. С этой минуты наступление на время он повел сразу с двух сторон. Чтобы окончательно расстроить сомкнутые ряды часов, он принялся зачеркивать и в середине. Теперь он уже метался по всему частоколу, нанося урон ему там, где заблагорассудится. Никогда он не думал, что поединок со временем примет у него такую уродливо-инфантильную форму. Но остановиться он уже не мог. Десятки зачеркнутых часов обязывали продолжать начатое. Но в вос-

кресенье у Ипатова неожиданно переменилось настроение — стали одолевать обычные страхи по поводу завтрашнего дня и уже не радовали основательно поредевшие остатки времени. Думалось: как-то ему удастся подъехать к ней? Он скомкал испещренный черточками лист бумаги и больше к нему не возвращался.

Наконец наступило долгожданное утро. Ипатов надел свою старую офицерскую форму без погон, которая ему очень шла: подчеркивала высокий рост и стройность. Правда, несколько портили вид потертые обшлага и топорщившиеся на коленках галифе. Но это были мелочи, которые могли быть замечены лишь при внимательном разглядывании. А последнее, по-видимому, ему еще не угрожало. Готовясь к встрече, Ипатов впервые не имел никакого плана, не вел мысленного разговора с новенькой. Нечто подобное он испытывал перед экзаменами, когда все знаешь, все вы зубришь, а в голове — впечатление такое — хоть шаром покати. Но вот соберешься с мыслями, откроешь рот для ответа и уже сам удивляешься, откуда что берется. Он даже чувствовал какую-то легкость, порожденную то ли усталостью, то ли неизбежностью предстоящей встречи. И куда-то исчез страх. А, была — не была!

Он увидел ее сразу, как вошел в вестибюль. Она стояла у зеркала и поправляла прическу. На ней было опять новое платье — четвертое с того, первого дня. Ипатов сделал глубокий вдох и направился в ее сторону. Его подхватил человеческий поток. Освободиться ему удалось только в двух шагах от зеркала. Собравшись с духом, Ипатов сказал в задумчивый тонкий профиль:

«Доброе утро!»

От неожиданности она резко повернула к нему голову. В ее серых глазах на мгновение застыло удивление — неужели опять не узнала его? На этот раз, по-видимому, из-за военной формы, которая скромно, но внушительно выглядывала из-под распахнутого пальто. Однако недоумение продолжалось в ее взгляде столь недолго, что его можно было бы вообще не заметить в вестибюльном полумраке. Ответила она, приветливо улыбнувшись:

«Доброе утро!»

Это были первые, пусть отдаленные признаки расположения, но и их оказалось достаточно, чтобы Ипатов растерялся. Он понимал, что железо надо ковать,

пока горячо, но... язык не находил нужных слов. Единственный вертевшийся в голове вопрос «Что это вас так давно не было?» казался ему несколько фамильярным и потому неуместным. Свое молчание он пытался скрасить улыбкой, но, похоже, она осталась в этой суматохе незамеченной. Тут его зацепила и подхватила толпа, и он охотно дал ей себя увлечь. Это было лучше, чем переминаясь с ноги на ногу и идиотски улыбаться. К ней же он решил подойти попозже, во время одного из перерывов.

Когда Ипатов поднялся уже до первой лестничной площадки, он вдруг обнаружил, что забыл снять свое страшное бобриковое пальто. Пришлось повернуть назад. Она все еще стояла у зеркала. Он обошел ее стороной — сейчас он больше всего боялся показаться смешным.

Сдав пальто, Ипатов осторожно выглянул из раздевалки: около зеркала торчала уже другая студентка.

Утренней встречей и кончилось его сегодняшнее везение. Все перемены она была не одна — прогуливалась по коридору с какой-то огромной и нелепой студенткой. Они о чем-то шушукались, переглядывались. Тон разговора задавала новенькая. Похоже, она вернулась переполненная московскими впечатлениями. На окружающих обе девицы вообще не обращали внимания. Ипатов с волнением ждал, когда же она, проходя мимо, посмотрит на него. Но не дождался. Поэтому он так и не решился подойти к ней.

Неужели подружки и домой отправятся вместе?

Шла последняя — общая — лекция. Профессорша что-то заунывным голоском талдычила об «Илиаде». Новенькая сидела у самых дверей и часто поглядывала на часы. Опять ждет — не дождет перерыва. Не наговорила, видно, еще со своей шкафоподобной подругой. Та же — надо отдать должное ей — строчила не разгибая спины. Но вот раздался звонок, возвестивший конец первого часа. Новенькая что-то сказала приятельнице и вышла из аудитории. На этот раз одна. Ипатов выскочил через другую дверь, ведущую в общий коридор, — чтобы не догонять, а как бы невзначай встретиться лицом к лицу.

Но тут его остановила профгруппорг — маленькая девчушка с неизменно деловым и озабоченным видом. Она попросила его завтра или послезавтра сходить

в больницу к Пете Злобину, сломавшему ногу. И дала тридцатку, которую выделили на гостинец в большом профкоме.

Слушая профорга, Ипатов был как на иголках: он видел, как новенькая, надев через плечо свою шикарную сумку, потихоньку пробиралась к выходу — удира-ла со второго часа лекции.

Пообещав все сделать, он влетел обратно в аудиторию, схватил свой портфель и под удивленные взгляды однокурсников выскочил в коридор.

Но там снова произошла задержка. Не то староста курса, не то еще кто-то из студенческого начальства поинтересовался, почему он уходит с занятий. Помнится, он что-то соврал, соврал неожиданно для себя ловко и правдоподобно и, наверно, поэтому тут же был отпущен.

Однако ее уже не было ни на лестнице, ни в вестибюле, ни в раздевалке.

На ходу надевая пальто, Ипатов выбежал на улицу. Первым делом посмотрел вправо, то есть туда, куда она направилась после той встречи на остановке. Прохожих было мало, и Университетская набережная просматривалась чуть ли не до Второй линии. Слева новенькой тоже не было видно. Неужели она успела сесть на какой-нибудь автобус или троллейбус и уехать?

Ипатов вышел на середину мостовой, чтобы как можно дальше дотянуться взглядом. И вдруг он увидел знакомую серую шубку. Она плавно колыхалась неподалеку от Меншиковского дворца. Новенькая шла своим обычным легким и быстрым шагом. Откуда она взялась? Ведь еще полминуты назад ее по эту сторону не было. Может быть, заходила в одну из тех телефонных будок позвонить?

Ипатов вернулся на тротуар и пошел за ней следом. С каждым шагом его длинных, привыкших к быстрой ходьбе ног расстояние между ним и новенькой заметно сокращалось, хотя, признаться, он не очень и спешил. При желании он мог бы нагнать ее за пару минут. Пока что он лишь хотел быть поближе, чтобы не потерять ее из виду. Кроме того, так проще ждать подходящего случая, чтобы подойти к ней. Конечно, сейчас трудно сказать, где и как это произойдет, надо только смотреть в оба и не упустить момента.

Когда Ипатов, пропустив трамвай и троллейбус, перешел на другую сторону улицы у Румянцевского скве-

рика, она уже подходила к мосту Лейтенанта Шмидта. Семьдесят-восемьдесят метров, разделявшие их, были, на его взгляд, идеальным расстоянием. Он видел ее хорошо; она же, если бы вдруг обернулась, вряд ли бы его заметила — он был лишь одним из многих, шагавших позади.

Еще одно обстоятельство занимало и радовало его: почти не было мужчины или женщины, которые, проходя мимо, не обратили бы на нее внимания, не обернулись, не посмотрели вслед. В ней все привлекало взор: и одежда, и осанка, и фигура, и походка, и, конечно, лицо. Она же, казалось, не замечала никого. По-прежнему шла, держа высоко свои завитки и глядя куда-то прямо перед собой. Ни разу не повернула головы, не убавила и не прибавила шага. Она, несомненно, знала, что очень хороша, и молчаливое восхищение прохожих принимала как должное. Что ж, это было ее законное и неоспоримое право.

Она свернула на мост. Какое-то время Ипатов наблюдал за ее силуэтом с набережной у сфинксов. Порывами от Дворцового моста вдруг подул ветер, и она, приподняв воротник шубки, загородила щеку. Погода была явно не для пешех прогулок. И все же новенькая почему-то шла пешком, хотя, наверно, могла бы и поехать на трамвае.

На мосту между Ипатовым и ею неожиданно вклинилась целая школа с учителями и пионервожатыми. Ребята, очевидно, возвращались с какой-то экскурсии. Пока он ждал, колонна растянулась почти до середины моста и загородила собой новенькую. До этого спокойный, уверенный, что она никуда не денется, Ипатов вдруг испугался: так и упустить недолго! Он сошел на проезжую часть моста и стал обгонять расстроенные ряды школьников.

Вскоре он снова увидел серую шубку. Новенькую совсем прижало к перилам — ее настигла и захлестнула бурлящая толпа школьников.

А дальше с ним произошло то, что до сих пор кажется ему необъяснимой психологической загадкой. Он помнит о той прогулке все, даже какие-то пустяки, ерунду, а вот как подошел к ней — забыл напрочь. До моста и на мосту он еще шел за ней следом и не решался приблизиться. После моста — они уже шагали рядом и разговаривали. Значит, это случилось где-то на переходе через набережную Красного Флота. Странно, что

такой важный момент в их отношениях совершенно выпал у него из памяти. Хоть бы что-нибудь осталось. Полнейший вакуум.

Зато помнил почти каждое слово из их долгого и сумбурного разговора. Помнил и те чувства, которые он испытал в этот самый прекрасный, самый удивительный, как он тогда думал, день в его жизни. Он был так счастлив, так счастлив! Ему никак не верилось, что бок о бок с одной из красивейших девушек Ленинграда — а в этом у него не было ни малейшего сомнения — шагает он, Ипатов, человек, в общем-то, с довольно обычной внешностью. Разумеется, если не считать высокого роста и — отмечаемой кое-кем смеха ради — иконописной, иисусоподобной физиономии. Особенно его удивило в первый момент то, что он пожирал ее глазами, а она не выражала никакого неудовольствия. И даже, как ему показалось, не очень-то удивилась его появлению.

О чем они говорили? Вначале он стал сбивчиво объяснять, какими судьбами очутился здесь — чтобы, не дай бог, не заподозрила, что он следовал за ней по пятам от самого Университета. Очевидно, она жила где-то в этом районе, поэтому он с дальним прицелом сказал ей, что тут неподалеку проживает его бабушка, которую он часто навещает. Это была правда, но не полная. Бабушка действительно жила у Театральной площади, то есть совсем близко отсюда, но навещал он ее возмутительно редко — от силы раз в два-три месяца. Всю эту трогательную историю об одинокой бабушке — старенькой и слабенькой, о которой он должен заботиться, она выслушала с повышенным интересом, и уже в этом чрезмерном интересе ему почудилась какая-то ироничность. -

Затем разговор продолжался сам по себе, без усилий с их стороны. С этого момента он как бы покатился под гору, с каждым метром набирая скорость, подхватывая на лету то, что лежало с краю и было пока без надобности. Они еще только свернули к Поцелуеву мосту, а уже знали друг о друге основное: кто, зачем, откуда. Правда, кое-что Ипатову было известно и раньше — от Вальки Дутова, но все равно он слушал с волнением и интересом. Точно в первый раз...

Прежде всего узнал имя: Светлана! Назвали ее так в честь дочери... («Ну вы сами знаете, кого...» — улыб-

нулась она). Светлана, Света, Светик — от одного имени светло становится!

...Ей девятнадцать лет. Стало быть, на четыре года моложе его...

...Недавно ей сделал предложение сын французского военно-морского атташе. Что ж, в это можно поверить...

...Стокгольм, по ее словам, милый городок. Осло ей тоже нравится, но чуть меньше. В Копенгагене она была наездами и не все видела. В отличие от нее, у Ипатова другие отношения с европейскими столицами. Он побывал лишь в Варшаве, Берлине, Праге и Вене. Надо будет как-нибудь нацепить все четыре медали...

...Отец всего только капитан первого ранга, но уже представлен на адмирала. Значит, почти адмиральская дочь...

...Живет на канале Грибоедова. Принять к сведению!..

...А фамилия у нее самая простая — Попова. Даже как-то не вяжется с ней...

«Вот и Театральная!»— вдруг вспомнила Светлана и подала ему руку в лайковой перчатке. Прозвучало это у нее так: «До свидания!»— не больше.

Ипатов покраснел: бабушка совсем вылетела у него из головы. Он невольно обернулся на бабушкин дом и быстро отыскал взглядом на втором этаже окно, привычно выделявшееся среди других тусклым электрическим светом. Комната находилась с северной стороны, в ней всегда было темно, и потому бабушка целый день не выключала свою единственную двадцатипяти-свечовую лампочку.

«Бабушки в это время обычно нет дома»,— сказал он первое, что пришло на ум.

«А вы знали это,— в глазах Светланы загорелись насмешливые огоньки,— и все равно пошли?»

«Она будет минут через сорок-пятьдесят,— продолжал фантазировать он.— Она по утрам сидит в библиотеке».

«Она библиотекарь?»— любопытствовала Светлана.

«Нет, просто много читает,— неожиданно для себя сказал правду Ипатов. Читала бабушка действительно много, и не только на русском языке.— Так что у меня еще есть время». В конце концов, одной ложью больше, одной меньше, какая разница?

Светлана энергично тряхнула бронзовыми завитками:

«Тогда потопали дальше!»— и первой сошла на мостовую.

Ипатов легонько, почти одними кончиками пальцев, взял девушку за локоть и — весь собранный — повел через дорогу.

Около Кировского театра, где в ожидании трамваев и автобусов стоял народ, Ипатов поймал на себе внимательные взгляды — изучающие и уважительные. Впрочем, такие взгляды провожали его с того самого момента, как они пошли вместе. И хотя он понимал, что этим обязан прежде всего своей поразительно прекрасной спутнице, в его ликующей и все же робеющей душе что-то сдвинулось и поднялось на две-три ступеньки выше. Во всяком случае, когда они проходили мимо толпящихся у театра людей, он вдруг взглянул на себя их глазами, не отказываясь, однако, от легкой, как пух, иронии: «Она необыкновенно хороша, но и парень что надó! Высокий, стройный, с умным, одухотворенным лицом. Славная парочка, ничего не скажешь!»

Но едва он так подумал, как тут же упал с неба на землю. У огромной тумбы, со всех сторон оклеенной афишами, Светлана задержала шаг и прочла вслух:

«Татьяна». Балет А. Крейна... Что-то новенькое. Любопытно...»

Ипатов сжался. Ему бы сейчас пригласить ее с ходу в театр, а он стоял, помалкивал. Нет, на широкий жест его явно не хватало. Всю свою стипендию, до копейки, он отдавал матери и каждый день брал у нее только на дорогу, изредка еще — на пирожки.

«Да, новенькое»,— кисло поддакнул он.

«На современную тему?— сказала она, пробежав взглядом список действующих лиц.— Нет, увольте!»

Ипатов облегченно вздохнул.

Они двинулись дальше. В первое мгновение у Ипатова было желание спросить, почему она столь невысокого мнения о современном балете, но решил лучше перевести разговор на другую — не театральную — тему: так будет безопаснее для него.

Этот район раньше был его районом. Здесь, в бабушкином доме, он жил до войны, отсюда ушел на фронт. На всем протяжении от Невы до Садовой не было уголка, где бы он не побывал с ребятами по двору. Он помнил все эти дома, все до единого. Он знал на-

звания — и старые, и новые — всех здешних улиц и переулков. Он мог бы на спор с закрытыми глазами дойти до любого места. Когда-то у них с ребятами была даже игра, кто быстрее и незаметнее проберется проходными дворами к памятнику Глинке.

Рассказать бы об этом Светлане. Но для начала он хотел задать ей какой-нибудь простенький вопрос: например, знает ли она, кто построил вот это прекрасное старинное здание? Но только он собрался спросить, как она вдруг остановилась и сказала:

«Ну вот я и пришла! До свидания!»

И протянула руку.

«Как?— Ипатов даже открыл рот от удивления.— Вы же говорили, что живете на Грибоедова?»

«А здесь моя портниха. У меня на четыре назначена примерка».

«На четыре?»— почему-то переспросил он.

«Ну да!— весело подтвердила она и снова подала руку:— До завтра!»

«У меня еще полчаса времени. Я могу подождать!»

«Ну ждите, если никуда не торопитесь!»

«Я подожду!»

«Только я не скоро!»— долетело до него уже из подъезда.

Ипатов приготовился к ожиданию. В конце концов, оно его совершенно не пугало: было бы что ждать! Больше того, скажи она ему, чтобы подождал два, три, пять часов — да что часов, дней!— он бы терпеливо и безропотно стоял и ждал. Впрочем, по части ожидания у него уже был кое-какой опыт. Однажды, еще в училище, он на спор с ребятами из второго взвода простоял на посту без смены двадцать четыре часа. Целые зимние сутки! Это был рекорд, о котором потом столько велось разговоров!

Ипатов перешел на другую сторону. Заглянул на минутку в соседний двор — здесь когда-то они с ребятами, озорничая, отключили свет во всем доме, и за ними до самого Никольского собора гнался дворник...

Потом Ипатов, поглядывая на дверь, походил по улице.

И вдруг вдалеке он увидел знакомую худенькую фигурку, неуверенно и осторожно шагавшую по раскатанному мальчишками первозимнему тротуару. Почти до самой земли свисала тощая авоська.

Времени до возвращения Светланы было более чем достаточно, и он решительно зашагал навстречу бабушке. Уже издали начал улыбаться ей, но она по-прежнему не видела его: все усилия и внимание тратила на то, чтобы не поскользнуться. И только когда между ними осталось шагов двадцать, она вдруг подняла глаза, и ее сухонькое сморщенное лицо расплылось в улыбке. Позабыв о скользкой дороге, она заторопилась к нему.

«Осторожней, бабушка!»— крикнул он.

От этого предупреждения она еще больше растерялась, так как теперь старалась одновременно смотреть себе под ноги и на внука. Но несколько последних шагов она сделала с отчаянной быстротой. Словно была уверена: если что случится, Костя успеет ее подхватить. Вся она так и исчезла в его объятиях — маленькая, худенькая, очень старенькая.

Ипатов чмокнул ее в ненароком подставленный нос, а она его в подбородок — в тот самый мужественный подбородок, который он, по ее словам, унаследовал от деда.

«Я уже тебе по пояс!»— сказала она.

Ипатов улыбнулся: сколько он себя помнил, она всегда была ему по пояс. В ее представлении, он все еще бурно растущее дитя.

Она цепко взяла его под руку и потащила через дорогу. Опять-таки как маленького.

«Ты давно меня ждешь?»— спросила она.

«Нет,— смутился Ипатов.— Я здесь, бабушка, случайно. Совсем по другому делу...»

«Ничего, успеешь!»— категорическим тоном произнесла она.— Сейчас пойдем, я тебя покормлю. Ты ведь прямо из Университета?»

«Да, но я сейчас, бабушка, никак не могу».

«Я тебя недолго задержу, минут десять-пятнадцать. Ты ведь любишь жареную картошку? Я быстренько поджарю!»

«Честное слово, не могу! Я жду товарища!»

Но от нее не так просто отвязаться. Она тут же нашла выход из положения:

«А ты пригласи ко мне товарища. У меня на всех картошки хватит!»

Добрая, добрая бабушка. Еще до войны, когда он приводил домой школьных товарищей, ни одного из них она не отпускала, не покормив. Хоть кусок хлеба с ва-

ренем, а сунет. Кого-нибудь из старых друзей он бы еще мог пригласить к бабушке, но Светлану... Он даже поморщился, представив, что бы подумала та при виде бабушкиной неустроенности. Там все не как у людей. Никогда не запирающаяся дверь огромной коммунальной квартиры. Нескончаемый коридор, заставленный разным хламом. Всегда обуреваемый страстями квартирный ареопаг — общая кухня, мимо которой никак не пройти. Но хуже всего бабушкина (а когда-то их) комната с единственным окном, выходящим на узкую темную улицу. Давно не мытые наружные стекла, толстый слой пыли между рамами, продавленный диван с выпирающими пружинами. Нет, гостям там делать нечего. Да и как объяснишь людям, что бабушка наотрез отказалась переезжать с ними в отдельную квартиру — дескать, всю жизнь мечтала о спокойной и независимой старости. «Хватит, повозилась с вами!» — улыбаясь, говорила она взрослым внукам. И вот теперь у нее нет ни сил, ни охоты наводить, как раньше, блеск в своей комнатке. Сотрет на видных местах тряпкой пыль и уже устала. И за собой в последнее время меньше следит: пальто старенькое, потертое, с заплатками на рукавах; зимние ботинки с покосившимися каблучками; шляпа с совершенно нелепыми наушниками, пришитыми для тепла.

Ипатов нежно любил бабушку, готов был по первой ее просьбе бежать на другой конец города за лекарством или врачом. Он мог терпеливо, часами, слушать ее нескончаемый рассказ о своей жизни: и как училась в частной гимназии, и как познакомилась, а затем подружилась с дочерью Льва Толстого, Марией Львовной, и вместе с нею, как говорили в те годы, работала на голоде. Однажды бабушка (а было ей тогда всего восемнадцать лет) получила от великого писателя коротенькую записку, в которой тот просил ее составить список голодающих крестьян в одной из дальних деревень. Записка эта пропала при обыске, учиненном денкиинцами на квартире родителей мужа: ее и деда подозревали в причастности к выступлениям рабочих. После ухода белых из города они всей семьей, включая семнадцатилетнего Сережу (отца Ипатова), вступили в Красную Армию и еще целых два года втроем воевали на фронтах гражданской войны. Во время наступления наших на Восточном фронте деда назначили комиссаром дивизии. Чтобы избежать кривотолков, бабушка, которой

уже тогда было сорок четыре года, отпросилась из штаба в один из пехотных полков сестрой милосердия. Сергей же начал рядовым красноармейцем и кончил командиром пулеметной роты. Под Иркутском он был тяжело ранен, и бабушка прямо чудом выходила его...

Словом, ей было что рассказать внуку...

В прошлом году бабушка сломала ногу, и Ипатов всю дорогу до больницы (это целый квартал) нес ее на руках. По мнению бабушкиных соседей, такого внука поискать надо!

Но сейчас этому распрекрасному внуку, как честил себя Ипатов, хотелось одного — как можно быстрее спровадить ее. Только при одной мысли, что Светлана может увидеть бабушку, брезгливо поморщиться при виде ее старческой неопрятности, смешной и претенциозной одежды, он сам готов был дать деру. Он понимал, что ведет себя мелко и гнусно, но ничего не мог с собой поделать. Он был прямо как на иголках: вот-вот должна была вернуться Светлана...

И он сказал бабушке, все еще цепко державшей его за рукав:

«В другой раз, бабушка! Ладно?— И, мягко освобождая руку, добавил:— Вот как справлюсь с курсовой...»

«Приходи, Костик,— грустно произнесла она.— А ты совсем редко стал бывать у меня...»

Он торопливо поцеловал ее, и она, поняв, что ему теперь решительно не до нее, медленно пошла своей дорогой.

«Может быть, даже на этой неделе забегу!»— горячо пообещал Ипатов.

«Я все время дома — приходи!»— крикнула бабушка.

Ипатов оглянулся на подъезд: никого... До самого поворота бабушка то и дело оборачивалась и украдкой от прохожих посылала ему смешные воздушные поцелуи. А в другой руке чуть ли не по земле волочилась тощая, много раз чиненная авоська с десятью магазинными картофелинами...

Такой она и запомнилась ему на долгие-долгие годы. Из песни слова не выкинешь: он стыдился ее, вместо того чтобы гордиться ею, ее прошлым, ее тихой и благородной старостью. Прозрение потому и прозрение, что наступает поздно...

Где-то на следующем этаже повернули ключ в двери и звякнули цепочкой. Ипатов, несмотря на свою громоздкость и неповоротливость, быстро и бесшумно пробежал вниз. Сердце у него стучало так громко, что заглушало все остальные звуки. Опомнился и остановился только на нижних ступеньках лестничного марша. Чего он испугался? Теней далекого прошлого? Или какого-нибудь жильца, который, скорее всего, спустится на лифте, а не пойдет пешком? Но даже если тот надумает поработать ногами, то вряд ли догадается, что попавшийся ему навстречу немолодой, сильно располневший мужчина бредет по крутой лестнице ради каких-то воспоминаний. Вот только если не заподозрит что-нибудь: а то поднимался человек и вдруг, услышав чьи-то шаги, дал деру? Каждый скажет, что тут дело нечистое. Однако сомнительно, чтобы неизвестный заметил это: он еще был внутри квартиры, а Ипатов уже завершил свой фантастический пируэт...

Ипатов застыл, держась за перила. После короткого перерыва он снова прислушался к верхним звукам. Слышно было все. Вот неизвестный подергал дверь, проверяя, хорошо ли она заперта. Вот он шагнул не то к лифту, не то к лестнице, чиркнул спичкой. Почти сразу же потянуло ароматным дымком дорогой сигареты.

На всякий случай Ипатов повернулся спиной к верхней площадке, сделал вид, что спускается по лестнице. Но тут зашуршала, пошла вверх, позвякивая, кабина. Значит, поедет на лифте.

Наконец кабина прошла мимо Ипатова и, сбавляя скорость, остановилась. Неизвестный открыл дверцу и вошел внутрь. Вскоре кабина исчезла внизу.

И так, наверно, целые дни: вверх — вниз, вверх — вниз. Похоже, что по лестнице уже никто не ходит. Разве только такие чокнутые, как он. И никому, конечно, сейчас не придет в голову смотреть вниз, в этот глубокий, разделенный на отсеки пролет. Теперешние жильцы, вероятно, даже позабыли о его существовании. Но ведь и тогда, когда не было лифта, люди, поднимаясь, не философствовали на каждом шагу. Во всяком случае, не вглядывались в черную дыру пролета. Пока над человеком не каплет, он о многих вещах не задумывается. Зато когда прижмет, то и подумать порой не успеет...

Ипатов вспомнил один случай, который произошел недавно у них в Купчине. Жил человек, работал где-то,

имел семью. В свободное время рыбачил. А пойманную рыбешку сушил над балконом. Там она медленно, но верно превращалась в дефицитную воблу — назовем ее так. Однажды ему захотелось побаловать себя пивком. Полез он доставать рыбку и поскользнулся. На какое-то мгновение упустил из виду, что под ним пропасть — восемь этажей большого современного дома. И свалился. Многие видели, как он падал. Он даже не вскрикнул, потому что от страха, как уверяли некоторые, у него в первые же мгновения разорвалось сердце. Но может быть, он просто потерял сознание? Один прохожий утверждал, что, падая, бедняга ударился головой об ограду одного из балконов. Ипатов увидел упавшего, когда тот уже лежал внизу — не распластанный как птица, как самоубийца в современных фильмах, а на боку, с поджатой ногой, с согнутой рукой. Как будто лег и прикорнул в удобном положении. Душераздирающе кричала и рыдала жена. Поодаль стояли потрясенные жильцы. Через несколько минут подъехала «скорая помощь». Врачи вышли, посмотрели и уехали: им тут делать было нечего. Затем подошла милицейская машина. Но и она побыла недолго. Разбившегося накрыли белой простыней и оставили лежать на всю ночь. Рядом на скамейке сидел милиционер и думал о чем-то своем. Так покойник пролежал до утра, пока наконец не подъехала другая машина и не забрала его.

И с ним, Ипатовым, тогда, наверное, было бы нечто похожее. Только вывезли бы, конечно, быстрее — в центре города такие вопросы решаются оперативнее.

«Вы еще здесь?» — удивленно спросила Светлана, выйдя из подъезда.

Ипатов растерялся: этих слов от нее он ожидал меньше всего. Похоже, она не очень огорчилась бы, если бы его вдруг не оказалось.

Но ответил он, как бы не замечая обидного смысла:

«Конечно. Ведь времени-то прошло, — он посмотрел на часы, — всего сорок восемь минут!»

«Сорок восемь? — она подняла свои темные, в старину бы сказали — соболиные, брови. — Поразительная точность!»

В последних словах явно проглядывала ирония, но и на этот раз он решил не обращать на нее внимания. Бросил:

«Армейская привычка!»

«Вы что, тоже воевали?» — поинтересовалась Светлана.

«Конечно. Как и все мои одногодки», — сухо ответил он.

«Ну, я пойду!» — сказала она.

«Одна?» — вырвалось у Ипатова.

«Вам же нужно к бабушке?» — заметила Светлана.

«Уже не нужно!» — радостно сообщил он. — Мы только что виделись. Она шла навестить свою старую подругу. Так что визит к ней отменяется!»

«Ну, пойдете тогда!» — как-то уж очень безразлично, пожав плечами, сказала она.

И они двинулись к Никольскому скверу. Вначале шли молча, словно обо всем уже переговорили. Молчание опасно затягивалось. И тогда Ипатов стал рассказывать ей одну за другой разные фронтовые истории. Говорил он, как ему казалось, сбивчиво и косноязычно. Но она слушала тем не менее внимательно, не перебивая. Так как больше всего он боялся предстать хвастуном, то и говорил, в основном, о товарищах, над собою же все время подтрунивал. Она улыбнулась раз, другой. Это совсем развязало ему язык. Он и сам не ожидал от себя такой прыти. Ну, а с другой стороны, ему действительно было что рассказать. Как-никак прихватил часть ленинградской блокады, затем в тяжелом состоянии был эвакуирован, попал в пехотное училище, оттуда на фронт. Прошел нелегкий путь от Курска до Праги. Конечно, Ипатов понимал, что весь его теперешний облик человека нерешительного и робкого никак не вяжется с тем, что он рассказывает о себе, пусть даже скромничая и подсмеиваясь. Но он умышленно шел на это, сознавая и некоторую выигрышность такого контраста.

И вдруг уже на Никольском мосту он увидел, что Светлана слушает его невнимательно. Шла и как бы отмечала про себя все устремленные на нее взгляды — и мужские, и женские. И всякий раз едва заметно притупляла взор. Ипатов с досадой подумал: может быть, внимание прохожих для нее так же важно, как и ухаживания поклонников? Если бы он в эту минуту рассказывал о чем-нибудь ином, а не о гибели друга, он, возможно, и сделал бы вид, что ничего не заметил. И продолжал бы дальше. Но сейчас невнимание Светланы

сильно задело его, показалось обидным, и он сдержанно упрекнул ее:

«Я вижу, вам скучно?»

Она встрепенулась:

«Ну что вы! Это так интересно!»

Он как живого видел перед собой Аркашку Плотникова, бывшего воздушного аса, ставшего после изгнания из авиации по ранению лихим танкистом. Уже под самым Берлином он со своим взводом первым вырвался на автостраду, соединяющую фашистскую столицу с югом Германии, и уничтожил большую колонну автомашин и бронетранспортеров. Но к немцам подошло подкрепление, и три танка оказались в окружении. И надо было случиться тому, что бригаду в это время повернули на другое направление, и о героическом взводе просто-напросто забыли. «Королевские тигры» и «пантеры» в упор расстреляли попавшие в западню «тридцатьчетверки»...

И на все это она ответила привычно-светским: «Это так интересно!» Как будто речь шла не о гибели живого человека, а о каком-нибудь фильме, спектакле или книге! Но не много ли он от нее хочет? Откуда ей знать, что такое война? По тем же фильмам, спектаклям и книгам? «Ах, как интересно! Ах, как интересно!» Привести бы ей последние слова Аркашки, которые тот передал по радию из горящей машины. Как он материл своего растяпу-комбата (не мудрого и смелого майора Зиганшина, погибшего накануне в ночном бою, а его молоденького замполита), вовремя не доложившего комбригу о положении взвода!

Но она-то здесь при чем, Светлана?

И тут Ипатов обнаружил, что канал Грибоедова с набережной и домами остался слева, а они со Светланой продолжали свой путь по Садовой.

«Постойте, куда мы идем?»— недоуменно спросил он.

«Я — домой!»— она весело и озорно взглянула на него из-за высоко поднятого воротника шубки.

«Но ведь канал Грибоедова там?»— показал он.

«Отсюда ближе»,— сказала она.

«Отсюда ближе?»— Он никак не брал в толк, почему с Садовой ближе к ее дому, находившемуся где-то на канале Грибоедова.

Они дошли до угла и свернули на Подьяческую. Оказывается, он никогда не был здесь. Как же это он

с ребятами дал маху? А может быть, позабыл? Нет, все незнакомо...

Вскоре они подошли к высокому старинному дому с подъездом, занимающим добрую половину тротуара.

«Вот я и дома!»— объявила она, поднявшись на нижнюю ступеньку.

«Это ваш дом?»— недоверчиво спросил он.

«Думаете, обманываю?»— улыбнулась она.— Отнюдь! (На вчерашней лекции им привели это слово, взятое отдельно, как пример неправильного употребления.) Ладно, раскрою секрет. Просто другим фасадом он выходит на канал Грибоедова!»

«Ах, вот что!»— протянул Ипатов.

«Ох, как трудно было сообразить!»— не унималась она.

«Для этого надо было иметь по меньшей мере среднее архитектурное образование»,— все еще сопротивлялся он.

«А такое бывает — среднее архитектурное?»— вдруг заинтересовалась она.

«Не знаю, может быть, и бывает»,— ответил он. Впервые, разговаривая со Светланой, он не чувствовал никакой скованности.

И опять, как тогда на Театральной, его неожиданно обожгла сладостная мысль: неужели все это не во сне? Он стоит рядом с этой фантастической красавицей и вот так просто разговаривает с ней? И она совсем не торопится уходить?

Словно угадав его мысли, Светлана вдруг сказала:

«Долго мы так будем стоять?»

Ипатов, улыбнувшись, пожал плечами: разве это зависит от него? Он-то готов стоять хоть до утра...

«Ну что ж, зайдемте!»

Не ослышался ли он? Она зовет его в гости? И если бы не снисходительный тон, прозвучавший в ее приглашении, он бы ни за что не поверил. Да и поверив, растерянно смотрел на нее.

«Что с вами?»— насмешливо поинтересовалась она.

«А это удобно?»— спросил он.

Она вдруг улыбнулась и протянула руку:

«Очень!.. Идемте!»

С бьющимся сердцем Ипатов прошел вслед за ней

в подъезд. В вестибюле было пусто, холодно и гулко. Крутой спиралью взлетала вверх лестница.

«Вон, вон там мы живем! — заглянула она в пролет снизу. — Под самой, под самой крышей!

«Как боги на Олимпе!» — заметил Ипатов, ступив на лестницу.

Оказывается, Светлана тоже знакома с земными трудностями. Шагая рядом, она жаловалась:

«Только нам, в отличие от богов, приходится спускаться на землю ежедневно. А иногда по несколько раз в день. Мне-то ничего, а папа и мама, пока поднимутся, совсем задыхаются».

«Неужели вам, — и тут Ипатов смутился, — не могли дать что-нибудь пониже?»

«А это временное жилье, — отрезала она. — Нам в течение месяца обязаны подобрать хорошую квартиру. Папа предупредил в исполкоме, что если они будут тянуть резину, он доложит самому министру. Они с папой старые друзья».

Ипатов и Светлана поднимались легко, не замечая ни крутизны, ни длинных лестничных маршей. Один за другим оставались позади каменные круги лестницы.

«Обратили внимание?» — спросила Светлана.

«На что?» — не понял он.

«Наша лестница все время кружится в вальсе!»

«И правда! — согласился он, восхищенный поэтичностью этого неожиданного сравнения. — Вечный вальс!»

И вдруг лестница внезапно оборвалась, и они очутились на последнем этаже. В руках у Светланы звякнули ключи. Ее дверь была первой справа, первой справа...

Это он сейчас вспомнил — тридцать пять лет спустя. Когда улыбающийся бандюга вначале только приоткрыл, а затем широко распахнул дверь, Ипатов стоял рядом с пролетом. Он, кажется, даже почувствовал за спиной его пустое и холодное дыхание. Нет, тогда, наверно, он ничего не почувствовал. Это пришло потом, когда он все узнал...

А в то — первое — его посещение дверь почему-то не отпиралась: капризничал верхний — английский — замок. Мешала Светлане и сумка, все время сползавшая с плеча. Она скинула ее, сунула Ипатову:

«Подержите!»

Он то и дело порывался помочь.

Наконец она сдалась:

«Попробуйте вы».

Он посильнее нажал, в замке щелкнуло, и дверь отошла.

Светлана мигом оценила это:

«Сразу видно: дело мастера боится!»

«Ну какой я мастер!»— смущенно ответил Ипатов.

Она шутливо заметила:

«Смотрите, чрезмерная скромность настораживает!»

И тут на него неожиданно нашло:

«Правильно, что настораживает: таких нахалов, как я, еще поискать надо!»

«Спасибо за предупреждение!»— улыбнулась она, легко справившись с нижним — врезным — замком.

Они вошли в большую прихожую, всю заставленную старинными вешалками, трюмо и шкафчиками.

На стремянке стоял поджарый, небольшого роста человечек в пижаме и прилаживал к стене дорогой, из бронзы и хрусталя, светильник.

«Па, ты чего там мастеришь?»— спросила Светлана, сбрасывая шубку.

«Да вот бра хочу повесить к завтрашнему дню»,— ответил тот тихим, очень тихим голосом.

Ипатов вежливо поздоровался и повесил свое тяжелое бобриковое пальто.

Отец Светланы уныло посмотрел на гостя, что-то пробормотал себе под нос и отвернулся.

«Не понравился,— сразу решил Ипатов.— Или привык. Сколько у них, наверно, перебывало нашего брата — дочкиного вздыхателя! Надоели, видно, хуже горькой редьки!»

Пройдя в следующую комнату, Ипатов так мысленно и ахнул: подобной роскоши в личном пользовании он еще не видел. В Германии, когда наступали, правда, нагяделся, но то были замки и особняки немецких аристократов, покинутые в спешке их владельцами. И здесь тоже все было, как говорится, по высшему разряду: черное дерево, инкрустированное бронзой и костью, кожаные кресла, огромные вазы и картины в золоченых рамах. Толстые ковры на полу скрадывали шаги. За зеркальными стеклами обоих буфетов вызывающе и надменно красовались столовые и чайные сервизы. Под стать этому великолепию были и декоративные тарелки с какими-то готическими надписями и гербами. А также здоровая кабанья морда, нацеленная

прямо на входящих. Через приоткрытую дверь было видно, что и в соседней комнате тот же немислимый шик. «Что ж,— подумал Ипатов,— люди много поездили, и деньги были, чего же не купить?» И все же он растерялся среди этой невероятной роскоши, не зная, куда стать, куда сесть.

«Вот в такой тесноте и живем»,— пожаловалась Светлана.

«Да, тесновато»,— неуверенно поддакнул Ипатов.

«Я — сейчас,— сказала она, направляясь в соседнюю комнату.— Садитесь!»

«Ничего, я постою!»— ответил он.

«Не бойтесь, садитесь!»

«Честно говоря, тут страшно сесть»,— признался Ипатов.

«Тогда садитесь вон на тот пуфик — он у нас Золушка! Не этот, а рядом!»— подсказала она.

Ипатов осторожно сел. Теперь он остался один в комнате. Откуда-то доносились приглушенные голоса. А может быть, просто говорили шепотом, чтобы он не слышал? О чем они? Корят Светлану за то, что привела его? Или выспрашивают ее, кто он и откуда? Или время обеда, и они не знают, садиться ли за стол с ним или без него? Если об этом, то зря беспокоятся. Хотя с утра во рту у него не было маковой росинки, он все равно откажется пообедать. Конечно, если они будут настаивать, придется...

Затем голоса исчезли или, возможно, перекочевали так далеко, что их почти не было слышно...

Шло время... пять... десять... пятнадцать минут...

От напряжения занемели ноги: пуф был ненадежен, скрипел и трещал при каждом движении.

Попутно обнаружил, что подметка держится лишь на честном слове. Не хватало, чтобы, зацепившись за что-нибудь, она сейчас отлетела...

Похоже, что они вообще забыли о его существовании. Странное гостеприимство...

Внимание! Голоса возвращаются... Оба женских... Один — Светланы, другой, видимо, ее мамы...

Ипатов встал, но тут же сел; а то подумают, что он простоял все время, пока не было Светланы. Но как только обе показались в дверях, он снова встал.

Светланина мама была еще ниже мужа — полная крашенная блондинка в дорогом — не то японском, не то китайском — халате. С простенького лица на Ипатова

оценивающе смотрели холодные голубые глаза. Никакого, даже отдаленного сходства со Светланой.

«Мам, познакомься. Это мой однокурсник Костя Ипатьев!»

«Ипатов», — смущенно поправил он.

«Ой, прости!» — извинилась Светлана.

«Очень рада», — произнесла мама, не подавая руки. Больше ничего не сказав, вышла из комнаты.

«Вот и ей не понравился», — с огорчением подумал Ипатов.

«Будешь пить кофе?» — вдруг спросила Светлана.

Это было так неожиданно — и предложение выпить кофе, и уже не случайное, как он решил перед этим, а вполне обдуманное обращение на «ты», обращение, прозвучавшее в его ушах почти как объяснение в любви, — что он сразу же ответил согласием.

«Тебе с сахаром или без?» — Сама того не подозревая, а может быть, и подозревая, она услаждала его слух.

«Без», — поскромничал он: все-таки сахар давали по карточкам. Увы, он упустил из вида, что любые продукты можно было купить по коммерческой цене в «Елисеевском» или магазинах Военторга...

Светлана вышла и вскоре вернулась с крохотной чашечкой кофе на таком же крошечном блюдечке. «Наверно, так пьют кофе в Стокгольме или Копенгагене, — подумал он. — Но уж больно размеры игрушечные...»

Ипатов вспомнил, как до войны пила кофе бабушка. Пила из своей огромной, подаренной дедом чашки. Правда, кофе был другим — желудевый или ячменный, даже по словам непривередливой бабушки, гадость несусветная. Ипатову же до сегодняшнего дня так и не привелось пить настоящий кофе.

Всего три небольших глотка, и чашечка была пуста. И вообще несладкий кофе ему не понравился: какой-то горький, невкусный, непонятно, в чем смак...

Но все равно пить его было чертовски приятно — из рук Светланы. Радость переполняла Ипатова. Он с волнением думал о том, что с каждым днем, а теперь уже и с каждой минутой он шаг за шагом поднимается по ступенькам любви. Впрочем, эта довольно избитая метафора пришла ему на ум потом, в связи с той — другой — лестницей...

«Еще?»

«Что?» — вздрогнул задумавшийся Ипатов.

«Кофе?»

«Да, если не жалко»,— шутливо добавил он.

Но она, видимо, не поняла шутки: недоуменно пожала плечами и, молча взяв чашечку, пошла на кухню. Ипатов расстроился. В общем, надо признаться, с юмором у него не все в порядке. Лучше бы ответить просто: да или нет. Это у них дома принято всегда подтрунивать друг над другом и над собой, и никто не обижается. Отчасти это и плохо: входит в привычку. Нет-нет да и ляпнешь при чужих то, что годится лишь для внутреннего потребления. Вот как сейчас...

Что же делать, как исправить положение? Сказать, что никак не хотел ее обидеть, что не очень удачно пошутил? А не будет ли хуже? Как у того чеховского экзекутора, чихнувшего на генерала? Не лучше ли замять для ясности?

Пусть компасом будет ее лицо...

Лицо было ясное и немного озабоченное. Все усилия Светланы направлены на то, чтобы не пролить, донести все до капли... Наконец чашечка перешла в руки Ипатова.

«Спасибо».

«Не за что»,— ответила она просто.

«А сама?»

«Я уже пила»,— заметно смутилась она.

Они сели друг против друга на разных пуфах. Светлана положила ногу на ногу и украдкой поправила на коленях юбку.

«Кофе лучше пить маленькими глотками, не спеши»,— посоветовала она.

«А я разве спешу?»— удивился он.

«Нет, но надо еще медленнее».

«Попробую».

Он пил и совершенно не думал о кофе. С таким же удовольствием он смаковал бы сейчас любую гадость, вплоть до касторки, разведенной на рыбьем жире.

«Да, я хотела спросить тебя, у тебя все конспекты есть?»— вдруг спросила она.

«Все».

«С самого начала?»

«Да, с первого дня».

«Ты мне дашь их переписать?»

«Конечно, я сейчас сметаюсь за ними!»— он быстро поднялся с пуфа.

«Ну зачем сейчас?»

«Я быстро. Это сорок пять минут туда и сорок пять обратно!»

«Я думаю, подождет до завтра или послезавтра, не правда ли?» — со светской интонацией проговорила она.

«Действительно, подождет», — смущенно согласился Ипатов, усаживаясь на свое место.

Он отдал Светлане пустую чашечку с блюдечком: «Спасибо».

Оказывается, она приберегала для него еще одну неожиданность:

«Слушай, ты завтра вечером свободен?»

«Да», — радостно отозвался он.

«Приходи часов в семь-полвосьмого...»

«Приду», — сдавленным голосом произнес Ипатов и вопрошающе посмотрел на Светлану.

Она тут же разрешила его недоумение:

«Соберется небольшая компания. Посидим, поболтаем. Новые пластинки покрутим».

«Слушаюсь! — вытянулся, сидя на пуфе, не помнящий себя от счастья Ипатов. — Буду ровно в семь ноль-ноль!»

Да, занятным был его первый визит к ней. И вроде бы ни о чем таком не говорили, а все запомнилось. Смешно, откуда ему тогда было знать, как пить черный кофе? Но вот конспекты он, действительно, имел отменные. А как же иначе — остаться в живых после такой войны и еще плохо учиться? Кто как, а он прямо-таки дорвался до учебы.

Конспекты же у него сохранились до сих пор — огромная стопка общих тетрадей, страница за страницей заполненных аккуратными и ровными строчками. Кое-где пометки на полях и подчеркнутые абзацы — для удобства при подготовке к экзаменам. И сейчас приятно подержать их в руках...

«Ты идешь?» — в первом же перерыве спросил Ипатов Валька, зацепив его насмешливым взглядом.

«Куда?» — притворился тот непонимающим.

«В дом с двумя главными фасадами?» — усмехнулся Дутов.

Значит, он тоже успел побывать там. И его, судя по всему, пригласили. Не исключено, что и относится она

к ним одинаково безразлично. Настроение у Ипатова сразу стало портиться, вся праздничность ушла из него.

Ответил, не скрывая досады:

«Все-то тебе известно!»

«А что?— сощурился Валька.— Думаешь, она только тебя одного пригласила?»

«Ничего я не думаю,— буркнул Ипатов.— Это ее дело».

«Ладно, не будем кусаться,— уже добродушно заметил Дутов.— Ты какой подарок собираешься сделать? А то еще купим одно и то же!»

«Подарок? Зачем?»— недоуменно спросил Ипатов.

«Как зачем?— в свою очередь удивился Валька.— Ты что, не знаешь, что у нее день рождения?»

«День рождения?— только сейчас до Ипатова начало доходить.— Она мне ничего не сказала».

«Когда, друг мой, не говорят, зачем зовут, значит, день рождения»,— назидательно произнес Дутов.

«А если это обыкновенная вечеринка?»— зачем-то упирался Ипатов.

«Никаких «если»!— уверенно сказал Валька.— Поехали сейчас за подарками!»

«У меня с собой ни копейки!»— растерялся Ипатов. Не мог же он признаться, что у них дома очень туго с деньгами. Только сегодня утром мама сказала, что не знает, как дотянуть до зарплаты. Оставались какие-то гроши, не то двадцать, не то тридцать рублей.

«Я бы одолжил,— отозвался Валька,— но у меня всего сотня, не больно разбежишься!»

«Конечно»,— смущенно поддакнул Ипатов.

Сейчас он лихорадочно думал о том, где бы раздобыть денег. Мысленно перебрал всех родственников, соседей, знакомых. Даже бабушку вспомнил. Остановился на одном из дядей по отцу — человеку денежном и широком. Решил прямо сейчас съездить к нему, хотя тот жил далеко, на самом краю Охты. На это уйдет минимум часа два. Во-первых, дорога, а во-вторых, и посидеть надо. Подарок же придется купить на обратном пути. Вот только он не очень представляет себе, когда сможет вернуть деньги. На стипендию, которую он почти целиком отдавал матери, рассчитывать не приходится. Единственный выход — несколько ночей поработать грузчиком на станции или полотером в главном здании университета. (Благо, опыт уже имеется. Только

в сентябре он один раз натирал полы и дважды разгружал вагоны.)

Да еще надо успеть переодеться. А это тоже проблема. Что надеть? Остаться ли в своей старой офицерской форме или же снова влезть в куртку и брюки, кое-как отчищенные от пятен? Третьего не дано, хотя чисто теоретически возможны еще две комбинации: куртку соединить с галифе, а китель с гражданскими брюками. Но это уже голая теория: трудно придумать что-нибудь более несуразное, чем последние два варианта...

Через час Ипатов был у дяди. Но того, к сожалению, не оказалось дома — находился в дальней командировке. Его жена, тетя Галя, побежала ставить чай, занялась блинами. Казалось, она готова разбиться в лепешку, чтобы угодить дорогому племянничку. Но едва только дорогой племянничек заикнулся: «Тетя, вы не можете одолжить мне...», как она развела полненькими ручками и воскликнула: «Все, кроме денег!» Это была явная неправда, что другое, а деньги здесь всегда водились. Дальнейшее сидение на диване стало бессмысленным, и обескураженный таким отношением Ипатов пулей выскочил на улицу.

Трудно сказать, куда бы его завели поиски денег, если бы он не вспомнил, что неподалеку отсюда живет Сергей Булавин. Когда-то бесстрашный командир танковой роты, а теперь военрук ремесленного училища, тот в кратчайший срок, всего за два послевоенных года, обзавелся большой семьей, состоящей, помимо жены, еще из свояченицы, тещи, тестя и дочери Сусанки, крохотного существа с необыкновенно громким и визгливым голосом. Все шестеро ютились в одной комнатке и ужасно устали друг от друга. Несмотря на бытовые неурядицы и инвалидность, Серега совершенно не изменился и, главным образом, не остервенел, не озлобился. Казалось, ему все до фени — и тесное жилье, и сварливая, вечно всем недовольная теща, и вездесущая свояченица, и глупый как пробка тесть, суфлер какого-то областного театра, и уже давно больная жена. И только к маленькой Сусанке он испытывал неизменную, полную громогласного умиления нежность. Почти все свое свободное время он проводил с дочкой, был отцом каких мало.

Встретил Булавин Ипатова шумно и радостно: с объятиями, с поцелуями, с крепкими — не для тещиных ушей — словечками. Приход фронтового друга для него

был настоящим праздником, и он хотел, чтобы вместе с ним ликовали остальные: и теща, и свояченица, и жена, и даже маленькая Сусанка.

«Вы только поглядите, кто пришел!» — орал он во весь голос.

Домашние вежливо улыбались, но никакого восторга не выражали.

Булавин то и дело порывался сбежать за водкой, и всякий раз Ипатов отводил его в сторону и объяснял ситуацию. В конце концов Серега сдался и больше не настаивал на выпивке. Зато взял с приятеля слово, что тот непременно заглянет на днях. И тогда они отметят встречу: «Выпьем за всех пленных и военных!»

Разговор о деньгах Булавин прервал с первых же робких слов Ипатова.

«Сколько надо?»

«Сто», — испытывая неловкость при виде примолкших женщин, сказал Ипатов.

«Всего-то? — как будто искренне удивился Серега. И тут же адресовался к теще: — Мамуля, под мою личную ответственность выдайте Косте сто рублей, рубль больше, рубль меньше. Вы не бойтесь, он вернет!»

Все три женщины украдкой переглянулись.

Теща — бухгалтер домоуправления — мрачно поджала губы.

«Я жду!» — холодно предупредил Булавин, и его оба глаза — стеклянный и свой — медленно и по-разному наливались яростью. Страшная мертвенная неподвижность одного пугающе дополняла живую искрометность другого.

Серегина жена что-то шепнула матери, и та с демонстративной резкостью подошла к старому фанерному комоду, вынула из круглой шкатулки деньги и, отсчитав сотню, протянула зятю. Серега без лишних слов взял их и отдал другу:

«На, держи!»

В целом экспроприация прошла, можно сказать, в считанные секунды. Ипатов чувствовал, что лично против него булавинские женщины ничего не имели: наоборот, как будто даже симпатизировали. Видно, понимали, что он не может плохо повлиять на их мужа и зятя: все-таки студент Университета, не ханыга какой-то, с утра до вечера торчащий в очередях за пивом. Недовольство же, которое они дружно выразили, относи-

лось, судя по всему, не к нему, а к Сереге, любившему ошарашивать своих близких.

Поблагодарив Булавина, Ипатов побежал покупать подарок. Времени до семи оставалось мало — чуть больше двух часов. А ведь надо было еще забежать домой переодеться. Поэтому он решил не тратить зря времени на беготню по магазинам, а сразу махнуть на барахолку возле Обводного канала. Там, он знал, продают все, от гвоздей до аттестатов зрелости. Он вскочил на автобус, и тот после долгого кружения по городу доставил его на место.

Все огромное пространство, огороженное плохо выкрашенным забором, было заполнено людьми. Первое впечатление: ни пройти, ни повернуться, точно в битком набитом трамвае или автобусе. Как можно в такой толчее заниматься куплей-продажей, уму непостижимо! Между тем торговля шла полным ходом. Ипатов с трудом протиснулся к развалу, привлекавшему всех проходивших рядом. Морская свинка озабоченно вытаскивала из потертой шапки-ушанки билетики с предсказаниями судьбы. Однорукий инвалид с неприкрытой головой и красным носом с невозмутимым видом складывал в карман трешки. Ипатову вдруг невероятно захотелось заглянуть в будущее. Но в последнюю минуту раздумал: а вдруг именно этой трешки не хватит на подарок? Поэтому он решил погадать на обратном пути, если, разумеется, останутся деньги.

Толпа подхватила Ипатова и понесла дальше. В самом деле, чего тут только не продавалось. Старые и новые костюмы, кожаная и резиновая обувь, зимние и демисезонные пальто, самовары, бумажные цветы, всевозможная скобянка, соломенные шляпы и галстуки, подтяжки и бюстгальтеры, велосипеды и запасные части к ним...

Немолодая дама держала в руках маленький театральный бинокль. Нежными цветами радуги переливалась перламутровая отделка, благородной позолотой блестели металлические части. Но дама запросила за него столько, что Ипатову ничего не оставалось, как с сожалением проследовать дальше.

И опять замелькали по сторонам новые и подержанные костюмы, резиновые боты, гитары с бантиками и без бантиков, садовые лопаты, ржавые гвозди, пульверизаторы, коврики с одинаково намалеванными боярышнями и лебедями...

Ипатов уже начал приходить в отчаяние: было почти шесть, а он все еще метался по барахолке.

Сгоряча чуть не купил крошечного черного кобелька, которого привезли откуда-то из Маньчжурии и сейчас за ненадобностью отдавали за четверть цены. Хорошо, что он вовремя спохватился: сушая авантюра дарить собак, не зная, как к ним относятся.

Так он бросался от одной вещи к другой, пока вдруг в одном из самых жалких развалов не увидел славную рамочку из белого с красноватыми прожилками плексигласа. Правда, из нее сердито из-под челки поглядывал на шнырявшую толпу академик Лысенко, вставленный сюда не то для солидности, не то в качестве бесплатного приложения. Но сама рамочка была просто прелесть. Да и стоила она сравнительно дешево, у него еще оставались деньги на непредвиденные расходы. Спрятав ее в полевую сумку, заменявшую ему портфель, Ипатов заторопился домой.

Ему повезло. За двадцать минут добрался до Красной площади. Мама еще не вернулась с работы. Ипатов поставил утюг, а тем временем влажной щеткой быстро прошелся по кителю и галифе — свою гражданскую куртку решил не надевать, лихо надраил сапоги. Потом взялся за глаженье. Через четверть часа был готов.

Но тут произошла непредвиденная задержка. Когда он достал из полевой сумки рамочку, чтобы вынуть Лысенко и обернуть ее бумагой, он вдруг увидел на оборотной стороне плохо стертую надпись. Прочел: «Дорогой мамочке — на вечную память. Миша. 22 июня 1941 года». Сердце у Ипатова сжалось. Он подумал о неизвестном пареньке Мише, которого, может быть, уже нет в живых. Но время подгоняло, и надо было что-то делать с рамочкой, не дарить же так. И тогда он взял чистый листок бумаги и аккуратно заклеил надпись. Получилось что надо, даже не разглядишь...

Заклеив надпись, Ипатов тут же забыл о ней. Забыл, чтобы через два-три года вспомнить и уже хранить в сердце всю жизнь. Сколько прошло лет, а его до сих пор угнетала мысль о том, что когда-то он, возможно, походя уничтожил последнее, что оставалось от человека. Жил где-то в Ленинграде до войны мальчик Миша, учился, читал книги, мечтал скорее стать взрослым и стал им в один день с миллионами других мальчишек и девчонок. И пропал в огненной купели, как будто и вовсе не был. А также думалось о его матери, «доро-

гой мамочке». Если не погибла она в блокаду, а была эвакуирована, то эта прощальная строчка для нее могла быть единственной памятью о сыне. Все остальное — и школьные тетради, и письма, и дневник — скорее всего, сожгли в лютейшие блокадные морозы чужие люди: никто их не осудит за то. Как сильно желал Ипатов, чтобы этот Миша, которого он никогда не знал и не видел, остался жив. Но с годами как-то меньше верилось в это. Отдаляясь в прошлое, надпись, существовавшая лишь в его сердце и памяти, все больше наполнялась холодным дыханием обреченности.

А сам подарок? В последний раз Ипатов видел рамочку, когда смущенно, со словами: «Вот тут тебе..!», отдавал ее имениннице. Больше рамочка не попадалась ему на глаза, хотя потом он еще не раз бывал у Светланы. То ли сунула куда-нибудь, то ли выкинула. Одно ясно — Поповы прекрасно обходились без нее. Что ж, она и впрямь не была произведением искусства, обыкновенная поделка, изготовленная какой-то местной артелью, и все же, и все же...

Уже с лестницы перед шестым этажом он услышал музыку, доносившуюся из их квартиры. Он хорошо знал это немецкое танго. «Ком цурик их варте ан дих ден ду бист фюр мих...» — бархатным голосом пел какой-то нежный немец. Однажды после боя ипатовский ординарец (кажется, тогда им уже был Колюня Рожков) припер патефон и гору трофейных пластинок. Среди них находилась и эта. Она почему-то больше других пришлась по вкусу ребятам, и они крутили ее целыми днями. Знакомая еще с фронтовых времен музыка мгновенно взбудрила его. Он снова почувствовал себя отчаянным и отважным командиром автоматчиков, красивым и симпатичным парнем, готовым под хмельком отплясывать с молодыми польками и немками какие угодно танцы...

Он решительно нажал на кнопку звонка. В прихожей радостно загалдели и бросились открывать дверь. Это были два незнакомых морских офицера и девушка, которая училась на втором или третьем курсе их факультета, — он не знал ни имени ее, ни фамилии. При виде Ипатова они сразу умолкли и удивленно уставились на него. «Ожидали другого», — подумал он, входя в прихожую.

«Свет!»— позвала девушка.

— «А, это ты!— выглянув из комнаты, сказала Светлана.— Раздевайся и проходи!»

Никогда она еще не была так хороша, так ослепительно нарядна. И как удивительно шло ей черное бархатное платье с янтарными бусами.

Ипатов повесил пальто и, вынув из сумки свой жалкий подарок, прошел в большую комнату.

Светлана раскладывала на столе салфетки.

Ипатов шагнул к ней и смущенно поздравил:

«С днем рождения!»

И протянул ей рамочку:

«Вот тут тебе...»

«Спасибо!»— проговорила она и, бросив короткий взгляд на подарок, положила его на журнальный столик.

Кто-то негромко, привлекая к себе внимание, кашлянул. Ипатов обернулся и увидел еще несколько человек, сидевших в разных местах комнаты. Из-за огромной вазы с белыми гвоздиками выглянул и подмигнул ему Валька Дутов. Ипатов подошел к нему, сел рядом. Они пожали друг другу руки, хотя уже виделись сегодня.

И тут Ипатов вздрогнул. В комнату вместе с отцом Светланы вошел адмирал в парадной форме. На широких черных погонах серебрились большие вшитые звезды. До этого генералов и адмиралов Ипатов видел только на смотрах и парадах. Ему стоило немалых усилий, чтобы продолжать сидеть, не вскочить, не поприветствовать. С непривычки было странно, что тот прошел мимо и не выразил неудовольствия.

Дутов, которому по молодости не пришлось служить в армии, с удивлением смотрел на явно растерявшегося Ипатова.

«Боишься, что по команде «смирно» поставит?— наконец догадался он.— Не бойся. У него в этом доме другие функции».

«Какие же?»— спросил Ипатов.

«Свадебного адмирала!»— шепнул Валька.

«А кто он им?»

«Старый друг дома — назовем его так!»— продолжал злословить Дутов.

«А те лейтенанты, что в прихожей?»

«Один его адъютант, а другой,— тут Валька насмешливо прищурил глаза,— твой главный соперник!»

«Будет трепаться!»— рассердился Ипатов. Он попробовал вспомнить внешность лейтенанта, но не смог: что-то белокурое, румяное, нагловатое.

«Впрочем, здесь все соперники!»— глубокомысленно изрек Валька.

— «Ты тоже?»— язвительно спросил Ипатов.

«Я — нет!»

«Почему же это ты — нет? Все — да, а ты — нет?»

«Потому что меня вообще здесь нет!»

«Вот как? Видно, у меня что-то не в порядке с глазами».

«Это — точно,— усмехнулся Дутов.— Чего только не бывает от переутомления!»

«Послушай,— продолжал Ипатов,— но если это не ты сидишь рядом со мной, то кто же?»

«А мой батя. Они ведь в моем лице пригласили не меня, а моего батю. Он ведь тоже ваше превосходительство, только медицинское».

«Ясно,— сказал Ипатов.— А ты знаешь, кто та девушка в прихожей?»

«Та? Дочь одного генерала. А то зачем бы стал умиляться за ней адъютантик?»

«А остальные кто?»— шепотом спросил Ипатов.

«Все то же — дети своих родителей».

«Всего-то?»— обозлился вдруг Ипатов.

«А этого разве мало?»— иронически спросил Валька.

Светлана отошла на некоторое расстояние от стола, окинула его придирчивым взглядом. «Все как в лучших домах Стокгольма!»— мысленно усмехнулся Ипатов. От разговора с Валькой на душе остался неприятный осадок. Но объективно стол и в самом деле выглядел шикарно, почти как в «Книге о вкусной и здоровой пище». Чего только тут не было: и разные вина, и всевозможные закуски, и живые цветы, и дорогая, сверкающая позолотой фарфоровая посуда. На все это угощение ухлопали, наверно, не одну тысячу. Приди сюда бабушка, она бы попросила ущипнуть ее: не сон ли это? Да и мама с папой ни за что не поверили бы, что где-то люди могут уплетать такие деликатесы: черную и красную икру, шпроты, заливную и копченую рыбу, печеночный паштет, апельсины...

Вошла Светланина мама, одетая в длинное, волочившееся по полу платье. Она медленно прошествовала вокруг стола, подвергая все критическому осмотру.

Что-то переставила, что-то поправила. По ее обильно напудренному лицу было видно, что она осталась довольна сервировкой. Когда она проходила мимо сидевших поблизости Ипатова и Вальки и окинула их холодным, оценивающим взглядом, они быстро встали и поздоровались. Она ответно улыбнулась, глядя на Вальку, и без интереса посмотрела на Ипатова. Что ж, он еще в тот раз понял, что мысленно вычеркнут ею из числа поклонников дочери. Она, несомненно, считает, что он находится здесь по недоразумению. А он и впрямь не вписывается в эту роскошь. Чего стоит одна его одежда: заношенный китель с аккуратными заплатами на локтях, давно вышедшие из военной моды синие галифе, яловые сапоги, которыми удобно запускать в кошек и месить грязь и неудобно все остальное. В отличие от него, оба моряка в своей черной парадной форме с золотыми погонами и кортиками были на месте.

Наконец пришел тот, кого все с нетерпением ждали и без кого почему-то не мыслили себе этот вечер: веселый и развязный малый, которого звали Альберт. На нем была темно-синяя тройка с бабочкой, и он чем-то походил на актера. Оказалось, что он, действительно, несколько месяцев назад пел в каком-то ансамбле, а теперь учился в Юридическом институте.

«Товарищи, прошу к столу!»— объявил отец Светланы, вернувшийся в комнату вместе с адмиралом.

Только когда уже почти все расселись, Валька сказал Ипатову:

«Пошли, что ли?»

Свободными оставались два стула на дальнем конце.

В голову стола был усажен адмирал, слева и справа от него сели родители именинницы, между обоими моряками расположилась Светлана.

Ипатов опять почувствовал себя чужим и лишним и искренне жалел, что пришел.

«Дамы и господа! Прошу наполнить бокалы!— громко провозгласил адъютант.— Товарищ адмирал, первый тост за вами!»

«Что ж, видно, придется,— ответил тот, поднимаясь.— Я буду краток, потому что время не ждет, перед нами неприятель, которого мы должны потеснить и уничтожить. (Общий смех.) Большинство присутствующих здесь молодые, очень молодые люди, и многие

из них, я вижу по глазам, по уши влюблены в нашу замечательную именинницу. (Общий смех.) Впрочем, будь я помоложе, надо думать, тоже бы пополнил число ее жертв. (Общий смех.) И так же, как другие, дни и ночи мечтал бы о том, о чем и положено мечтать по уставу жизни молодым людям. Но, увы, я уже отвоевался на этом нелегком фронте (общий смех), и мне остается только, к своему последнему, если можно так выразиться, удовольствию, провозглашать красивые тосты! Итак, за Светочку, за ее счастье! Ура!»

«Ура!»— подхватили адъютант с приятелем.

Ипатов чокнулся со своими соседями, но до Светланы не дотянулся. Можно было бы выйти из-за стола, однако ему не хотелось привлекать к себе внимание. Он разом опрокинул в рот большую рюмку водки и, не закусывая, налил снова. Сейчас он нарочно выказывал пренебрежение ко всем этим яствам. Глядя на него, можно было подумать, что он каждый день ест и икру, и шпроты, и копченую колбасу. С третьей рюмки он стал быстро освобождаться от всегдашней своей скованности.

«Ты чего не ешь?— вдруг заметил Дутов.— Смотри, в два счета надерешься!»

«Не беспокойся, не надерусь!»

«Давай, я за тобой поухаживаю!»— сказал Валька и наложил на тарелку Ипатова всякой всячины.

«Теперь моя очередь!»— поднялся адъютант. Держался он совершенно непринужденно.— Минуту назад товарищ адмирал пожелал нашей дорогой имениннице большого и красивого женского счастья. (Адмирал одобрительно закивал головой.) Но он почему-то не сказал, как достичь его. Я хотел бы восполнить этот пробел. (Адмирал продолжал кивать головой.) Светочка, ваше счастье рядом. (Ипатов насторожился.) Стоит вам только протянуть руку, и оно ляжет на вашу маленькую ладошку. (Светлана протянула руку ладошкой вверх.) Не так быстро... Немного терпения... (Общий смех.) Потом, если говорить откровенно, на одной ладошке оно не поместится... (Светлана подняла две ладошки.) И двух тоже мало. (Общий смех.) Принесите самый большой поднос с золотой каемочкой! (Общий смех. Кто-то начал вылезать из-за стола. Альберт, сидевший напротив Светланы, протянул ей воображаемый поднос — оказывается, этот самодеятельный актер еще и мим.) Вот так, держите! (Адъютант поправил

воображаемый поднос. Светлана ойкнула: «Ой, тяжело!») Погодите, это еще цветочки! (Общий смех.) Но для того, чтобы взгромоздить сюда ваше счастье, нужен большой подъемный кран! (Светлана удивилась: «Так много счастья?») На двоих, разумеется! (Светлана капризным тоном сказала: «Где оно? Я жду!») А вот!.. (Адъютант показал на своего приятеля, который, сидя, поклонился. Общий смех.) Светочка, не пожалеете! (Светлана весело и грубовато ответила: «Мальчишки, ну хватит трепаться! Мы с Толей как-нибудь и сами выясним свои отношения. Да, Толя?» — «Да, сударыня, — подхватил тот. — И выясним сейчас. Я люблю тебя и прошу выйти за меня замуж».)

Наступила такая тишина, что было слышно, как кто-то скрипнул стулом. Ипатов мгновенно отрезвел.

«Ты это серьезно?» — спросила Светлана.

«Серьезно», — пожал плечами лейтенант. Прозвучало это у него, как: «Конечно же серьезно».

«Давай потом поговорим об этом?» — попросила она.

«Давай», — устало согласился лейтенант.

«Все, спекся морячок, — с облегчением подумал Ипатов. — Молодец Светлана! Откажи она сейчас, весь ее день рождения пойдет насмарку, а так лейтенант еще на что-то надеется и будет надеяться до последнего. И все в результате, включая его, довольны. Однако парень он, надо прямо сказать, отчаянный. Не всякий отважится на такое — во всеуслышание объявить о своей любви и сделать предложение. Я на это ни за что бы не решился! Судя по всему, лейтенант и дальше будет бить в одну точку. Так что радоваться рано...»

Вот и подтверждение того, что все может повернуться и по-другому. Не прошло и полминуты после объяснения, как Светлана принялась поправлять Толе галстук. И лейтенант млеет от удовольствия...

А потом взял слово Альберт — он был похож на какого-то иностранного актера из трофейных фильмов.

«Господа, прошу внимания! — Когда и без того редкие голоса примолкли, он продолжил: — Прежде чем сказать тост, я попрошу всех, от мала до велика, выйти на беговую дорожку и занять свои места на старте. (Общий смех. Мужчины с готовностью налили вина себе и своим соседкам.) Товарищ с той стороны дорожки! (Все с любопытством посмотрели на Ипатова, он смутился и налил себе водки.) Благодарю вас, в награду

возьмите с полки пирожок! (Кто-то хихикнул.) Внимание! Мы застыли на беговой дорожке, готовые взять старт и устремиться вперед. Но, в отличие от спорта, в жизни и застолье незачем спешить к финишу. Так выпьем же за то, чтобы дорожка жизни, по которой мчится Светуся, была прямой и гладкой, как автострада, чтобы бежать для нее было одно удовольствие и чтобы она как можно раньше... нет, позже... пришла к финишу! Итак!.. На старт! Внимание! Марш!»

Все потянулись друг к другу с рюмками. Ипатов тоже чокнулся с ближайшими соседями. И вдруг он обозлился на себя: а, собственно, почему он должен чокаться с людьми, которых не знает и знать не хочет, и неизвестно для чего избегает сейчас Светлану? В конце концов, он такой же гость, как и прочие. Фактически за этим столом все равны. Все, включая адмирала.

Расплескивая водку, налитую до краев, Ипатов выбрался из-за стола и пошел к Светлане. И тут он увидел руку Толи. Опоясанная широким белоснежным манжетом, она лежала на спинке соседнего стула и легонько обнимала плечо девушки. Первая мысль была: неужели они уже объяснились и она ответила согласием? Остальные могли и не заметить. Много ли для этого надо слов? Всего два: «Да?»—«Да!» Даже не два, а одно. «Да?»— и ответный кивок головой. Сердце у Ипатова упало, и он остановился в нерешительности. Но, может быть, она просто не замечает этого легкого прикосновения или не придает ему значения? А... была — не была!

Обходя взглядом руку, Ипатов подошел к Светлане.

«А мне можно выпить с тобой?»— глухо произнес он.

Первым услышал его лейтенант. Он удивленно посмотрел на него и что-то сказал Светлане. Та обернулась и сразу взяла со стола свою рюмку, в которой на донышке краснело вино. Протянула, чтобы чокнуться. Рука лейтенанта, торчавшая между ними шлагбаумом, опустилась и уползла под стол. Ипатов осторожно, словно опасаясь причинить боль, прикоснулся к подставленной рюмке. Светлана не сказала ни слова. Только дружески улыбнулась. Молча пригубила. Ипатов же выпил водку одним духом. Лейтенант с холодным любопытством смотрел на него. Ипатов хотел сказать Светлане что-то еще, на этот раз непременно весе-

лое, остроумное, но ему по-прежнему мешал глазевший на него лейтенант, и он никак не мог собраться с мыслями.

Между тем Светлана уже отвернулась, и рука с белоснежным манжетом снова удобно улеглась на спинке стула. Кисть согнулась и дотронулась до плеча.

Ипатов резко повернулся и пошел на свое место.

«Ну и плевать!»— вырвалось у него, но из-за шума вряд ли кто-нибудь это слышал...

Застольем уже никто не управлял, и оно распалось на несколько центров, от которых расходились, натыкаясь друг на друга, разговоры.

В противоположном конце стола бубнил что-то невразумительное отец Светланы. До Ипатова долетели лишь обрывки фраз. И вдруг он услышал:

«...а потом вышли ихие принцы...»

Ипатов даже подался вперед, чтобы лучше разобрать слова. Нет, это ему не показалось:

«...ихий дворец... ихие министры...»

Как же он там общался с королями и министрами, послами и атташе? Через переводчиков, которые, наверно, в поте лица маскировали его бескультурье?

Справа от Ипатова, через несколько человек, декламировал свои, а возможно, и чужие, стихи Альберт. Читал он их с закрытыми глазами, самозабвенно. Стихи же были средние, с частыми глагольными рифмами и ритмическими провалами. Но одна строка вдруг привлекла внимание Ипатова. В ней говорилось о лестнице, навечно застывшей в вальсе.

«Это не ваш образ!»— пьяный крикнул он бывшему солисту ансамбля. Но и на этот раз его выкрик был поглощен общим застольным шумом. Правда, обернулась Светланина мама. Одна. Он едва удержался, чтобы не показать ей язык.

А по соседству острил в адрес адмирала и его широких погон Валька. Он и так, и этак обыгрывал словечко «беспросветный». И этот неприятный каламбур пошел путешествовать от одного гостя к другому, вызывая очередную вспышку веселья.

Слева же от Ипатова сидела рыжая девица с подведенными бровями, которая ни с того ни с сего принялась объяснять ему, почему Светланка говорит всем, что живет на Грибоедова, а не на Подъяческой:

«Попова с Подъяческой. Обхохочешься, не правда ли?»

И Ипатов неожиданно захохотал. Назло всем. И Светлане, и ее родителям, и себе, и Вальке, и этому безобидному свадебному адмиралу...

Как ни тяжело было карабкаться по лестнице, как ни тянуло воспользоваться лифтом, поднимавшимся почему-то только до пятого этажа, Ипатов упрямо тащился наверх пешим ходом. На четвертом этаже он отдохнул, правда недолго, всего одну-две минуты (на большее у него не хватило терпения), и сейчас останавливался, переводил дыхание через каждые пять-шесть ступенек.

Все, на что падал его внимательно-беспокойный взгляд, хранило невидимые следы... ступеньки, на которые множество раз ступала ее нога... перила, за которые держалась ее рука... стена, по которой она, сбегая, любила проводить пальцем...

Впрочем, если бы ступеньки, перила и стена умели говорить, они могли бы рассказать кое-что и о нем...

Вот и пятый этаж... Ипатов постоял, отдышался и потащился дальше... Теперь уже немного... Последних два лестничных марша... сорок две ступеньки... по двадцать одной, как он сосчитал, в каждом...

Любопытно, случайное ли это совпадение или строители полагали, что число «двадцать одно» принесет им удачу? А может быть, бывший домовладелец сам установил, сколько сделать ступенек? Возможно, именно он, а не строители, был заядлым картежником, любителем перекинуться в «очко»?

Знала ли она, что под ногами у нее счастливое число ступенек? Во всяком случае, она никогда не говорила ему об этом. Или он позабыл? Вряд ли: уж очень запоминающаяся, многообещающая деталь. Почти такая же, как лестничный вальс...

Гм... выходит, что лестница уже лет сто, не меньше, с каменным постоянством сулит всем без разбора счастье?

Сулила строителям, сулила домовладельцам, сулила жильцам, которых сменилось здесь не одно поколение. Сулила ей — и сулила ему...

Только что из этого вышло?

Ну, с ним все ясно. О ней же ничего не известно. Если не считать тех же неясных и зыбких слухов...

Также, наверно, и ей ничего не известно о нем. Он

бы многое дал, чтобы знать, какое место занимал... занимает он в ее... нет, не жизни, а воспоминаниях. Думала ли, интересовалась, где он, что с ним?

И не ожидает ли обоих разочарование при встрече? Да и нужна ли им эта поздняя встреча?

А не лучше ли, пока он не заявит о себе на шестом этаже, повернуть назад, вообще отказаться от поисков? Сказать ребятам, что не нашел? Им даже в голову не придет, что он соврал...

И тут Ипатов почувствовал легкую боль под ложечкой, совсем легкую боль...

В мгновение ока стол со всем недоеденным и недопитым придвинули к стене, освобождая место для танцев.

С первых же звуков музыки, еще не уяснив для себя до конца, что это — вальс-бостон или танго, Ипатов оказался перед Светланой. Но танец уже был обещан Альберту, который в это время спокойно и уверенно пробирался к ним между танцующими.

«А следующий?» — заторопился Ипатов.

«Следующий — тоже», — ответила Светлана, кладя руку на плечо своего красивого и элегантного партнера.

Обескураженный Ипатов отошел в сторону. Там молчаливо и сердито простоял он несколько танцев. Успокаивало лишь то, что у Светланы не было постоянного партнера. Она танцевала то с Альбертом, то с адъютантом, то со своим Толей. С последним явно охотнее, чем с другими. Но тот часто выходил покурить, а поэтому ее все время перехватывали друг у друга адъютант и бывший солист ансамбля.

Трудно сказать, сколь долго подпирал бы стену Ипатов, если бы Вальке Дутову вдруг не пришлось в голову объявить дамское танго.

Сразу же к Ипатову подскочила рыженькая:

«Вы танцуете?»

«Через пень колоду», — буркнул он.

«Давайте, тогда я вас поведу!» — решительно предложила она.

«Ну, не настолько плохо», — возразил он, обнимая ее за плотную талию.

И она уже не отпустила его. Всякий раз, когда он потом собирался подойти к Светлане, рыженькая опережала его:

«Идемте танцевать!»

И он шел с ней...

Чтобы Светлана — не дай бог — не подумала, что он увлекся другой, Ипатов всем своим видом показывал, что та его совершенно не интересует и танцует он вынужденно. Но вскоре до него дошло, что он нравится рыженькой. Она откровенно завлекала его: то склоняла ему на плечо голову, то встречала и долго не отводила взгляд. Раньше, когда они сидели за столом рядом, она говорила не умолкая. Теперь же она почти не размыкала уст, а если и отвечала, то односложно. И вдруг Ипатов заметил, что она совсем недурна. Темные, слегка подведенные брови, кошачьи зеленоватые глаза, обильные веснушки на широком носике скорее красили ее, чем портили. К тому же танцевать с ней было приятно. С каждым танцем он все больше терял голову от близости ее ладного и послушного тела, защищенного лишь тонкой и легкой шелковистой тканью. И все же Ипатов ни на минуту не забывал о Светлане. Та же, в отличие от рыженькой, держалась весьма благопристойно: не прижималась, не висла, но и не отодвигалась ханжески от партнера, когда их в танце прижимало друг к другу. Ипатов нет-нет да и встречался с ней взглядом — она поглядывала на него с любопытством. И он не столько рассудком, сколько интуицией почувствовал, что находится на верном пути. Возможно, это и побудило его в конце концов притвориться, что он ох как увлечен рыженькой!

В какой-то мере так и было. Даже когда, натащавшись, рыженькая вдруг сказала: «Ну и жара! Пойдемте отсюда!» — он тут же потащился за ней в прихожую. Здесь стоял полумрак. Они присели на низкую скамеечку, на которой, по-видимому, чистили обувь. Это был славный, спрятанный между вешалкой, вздувшейся от пальто и шинелей, и кафельной печкой закуток. Там, в большой комнате, когда они танцевали, он ни о чем ее не спрашивал. Даже не поинтересовался, как зовут. Она ворвалась в его жизнь на правах третьего лишнего и на другое отношение, естественно, рассчитывать не могла. Ипатова волновало в ней лишь то, что волновало бы любого — влюбленность и податливость. А вот сейчас его вдруг заинтересовало, кто она и откуда. Оказалось, что ее зовут Жанна, что она студентка второго курса Института инженеров водного транспорта. Когда-то перед самой войной она вместе со

Светланой ходила в музыкальную школу. Отвечая, она неотрывно смотрела на Ипатова. И он хорошо понимал: стоит ему только клюнуть на ее откровенное кокетство, как на Светлане придется поставить крест. Ради чего? Ради этой неожиданно свалившейся ему на голову девицы, о существовании которой он еще два часа назад и не подозревал? Но ее взгляд был неотступен, обещал многое. Ипатов чувствовал, что он уже не в силах бороться с собой. К тому же он был пьян, здорово пьян. И он сказал себе: «Только один раз поцелую, только один раз. Просто так. Чтобы проверить...» Что проверить? Долго думал и наконец надумал: во-первых, как она на самом деле относится к нему, а во-вторых, насколько он еще может нравиться женщинам? В конце концов, после стольких месяцев примерного поведения — зубрежек, библиотечных бдений, поисков заработка — он снова хочет ощутить себя мужчиной. Мужчиной и только! Он неловко повернулся к Жанне, и они смешно разминулись лицами — его поцелуй пришелся ей в самое ухо. Он смутился и тут же решил исправить положение. На этот раз он без задержки отыскал губы девушки, и они долго, очень долго не отпускали его — у него даже перехватило дыхание...

Невозможно предугадать, как бы дальше развивались события, если бы кто-то из девушек не выглянул в прихожую:

«Где Жанна? Вы не видели, где Жанна?»

Хотя за грудой пальто их не было видно, они быстро отодвинулись друг от друга. И тут — надо же такому случиться! — Ипатов не рассчитал крохотных размеров скамейки и с грохотом свалился на пол. Прежде чем он успел подняться, к ним в закуток заглянула излучавшая страшное любопытство рожица генеральской дочки:

«Ах, вот они где!»

«Вышли подышать свежим воздухом!» — смущенно оправдывался Ипатов.

«Удивительная скамеечка, не правда ли?» — со странной интонацией поинтересовалась та.

«Чем же она удивительная?» — насторожился Ипатов.

«А как же! На ней всегда кто-нибудь да подкрепляется озоном!» — не без яда заметила генеральская дочка.

«И ты в том числе?» — огрызнулась Жанна.

«А я что... (Ипатов замер: неужели скажет: «А я что — рыжая?» Но нет, не посмела) ...хуже других?»

И со смехом скрылась в гостиной.

Ипатов уже не сомневался, что Светлана будет обо всем проинформирована. Господи! Навязалось же на его голову это никому, решительно никому не интересное рыжее существо! Впрочем, Светлана тоже хороша. Не ее ли и Толю имела в виду генеральская дочка, намекая на богатое прошлое скамейки для чистки обуви? Хотя сомнительно: в распоряжении этой пары вся квартира с множеством потаенных местечек и уголков. Какой же им смысл торчать у всех на виду?

«Пошли танцевать!» — потащила Ипатова за рукав рыженькая. Он попробовал освободиться, но не тут-то было, она держала его мертвой хваткой.

В гостиной их сразу подхватили и завертели беспорядочно носившиеся под радиолу опьяневшие гости. На этот раз со Светланой был Валька. Он церемонно выгибался перед ней в танце и временами что-то шептал ей на ухо. Она только мотала головой. Они даже не взглянули на появившихся откуда-то Жанну и ее спутника. Ипатов помрачнел. Обида захлестывала его. В конечном счете это неблагородно, почти низко — пригласить его исключительно для того, чтобы ткнуть носом в толпу поклонников, показать, как мелко он плавает по сравнению с ними — такими нарядными, ухоженными и красивыми. Если уж на то пошло, то ему наплевать на них, как и плевать на всю эту выскочившую откуда-то из щелей барскую роскошь! Надо было вообще завалиться сюда в нечищенных сапогах, в драгом, заляпанном соляжкой кителе — есть у него и такой, в нем мама лазит на чердак вешать белье, форсит перед кошками. Интересно, как бы тогда отнеслись к нему «ейные» родители? Дали бы понять, что ошибся дверью? Или бы устроили потом Светлане выволочку по высшему разряду?

Затем прямо с середины танца вся компания повалила в Светланину комнату играть в «бутылочку».

«Ну идем же!» — опять потащила Ипатова за руку Жанна. Она уже открыто предъявляла на него свои права.

Правда, перед самой дверью он довольно поспешно вытянул пальцы из ее цепкой, с острыми коготками руки.

Первое, что бросилось в глаза Ипатову, была старинная кровать под высоким голубым балдахином. Раньше он думал, что такое можно увидеть только в музеях и кино, и вот сподобился узреть это в обыкновенной советской квартире. Он смотрел, смотрел и неожиданно для себя рассмеялся. На него обернулись адъютант и Жанна. Ему показалось, что Светлана вдруг покраснела. Но может быть, щеки ее пылали и до этого — ведь и вино пила, и танцевала, и прочие впечатления, наверно, не прошли бесследно.

«Дикая безвкусица!» — шепнула ему на ухо Жанна. Он с интересом взглянул на нее, но ответил:

«Не думаю!»

«Тебе нравится?» — удивленно и растерянно спросила она.

«А почему бы и нет?» — весело ответил он. — Как в Версале!»

«Версаль на Подьяческой?» — прыснула Жанна.

«Братцы, расступитесь. Кручу «Букет Армении!»» — возвестил Валька, вращая бутылку. Сделав добрую дюжину оборотов, она показала горлышком на Жанну. Девушка украдкой пожала Ипатову руку: мол, то, что сейчас увидишь, не принимай всерьез, я все равно твоя! Ипатов поморщился: он и не заметил, что она, едва все перешли в спальню, снова взяла его за руку.

«У мира на виду или за шкафом?» — громогласно осведомился Дутов.

«За шкафом! За шкафом!» — заорали гости.

И только один Толя запротестовал:

«На виду! На виду!»

Большинством голосов предпочтение было отдано старинному шкафу, который делил закроватную половину комнаты на две равные части. Валька и Жанна с независимыми улыбками отправились за шкаф. Пробыв там от силы несколько секунд. Выходя оттуда, Жанна издали улыбнулась Ипатову: видишь, ничего не случилось.

Теперь очередь крутить бутылочку была за ней. Она направила горлышко на Ипатова, и бутылка, неуклюже описав один круг, уставилась на дверь.

Под общий смех Жанна уступила место стоявшей рядом Светлане.

Ипатов устремил взгляд на бутылку, мысленно взмолился: «Силы небесные, сделайте так, чтобы горлышко показало на меня! Чтобы показало на меня! По-

казало на меня! На меня!» И случилось чудо. Совершив три оборота, бутылка, трижды обойдя остальных девять участников игры, выбрала его. Впрочем, стоявший по соседству адъютант порывался присвоить успех себе — горлышко указывало чуть левее левого ипатовского сапога и чуть правее правого адъютантского ботинка. Но когда дело дошло до проверки, оба соперника одновременно и почти незаметно подвинули ногу и развернули носок. Однако в этом соперничестве сапога и ботинка победил, естественно, сапог. Огромный яловый сапог.

Казалось бы, чего проще — выйти из круга и спокойно и невозмутимо, как это только что продемонстрировали Валька и Жанна, пройти под хмельными взглядами по комнате до укрытия за шкафом. Но Ипатов был в нерешительности. Он видел перед собой холодное, надменное лицо Светланы, и оно пугало его своим отчужденным ожиданием. Возможно, эта неопределенность продолжалась недолго, несколько секунд. Но видно, счастье и растерянность, в которых он находился тогда, круто сдвинули представление о времени. Он словно был парализован. Вывести его из этого состояния мог лишь толчок извне, от кого бы он ни исходил. И прежде всего — от нее.

Он хорошо помнит, как глухо и неприязненно прозвучал ее тихий голос:

«Это же необязательно. — И, пожав плечами, добавила: — Никто никого не принуждает».

«Ну нет! — вдруг обрел он голос. — Играть так играть!»

Помнится, все, да, все, кроме лейтенанта и Жанны, зашумели и захлопали в ладоши:

«Обязательно! Обязательно целоваться!»

Светлана снова пожала плечами и пошла к шкафу. Ипатов двинулся за ней следом. Он шел, чувствуя себя неловко под все понимающими и все замечающими взглядами. «Только бы не споткнуться, только бы не споткнуться на этом чертовом ковре!» — думал он, преодолевая неожиданную скованность и слабость в ногах.

Когда он дошел до места, Светлана уже стояла неподвижно и ждала. К нему был обращен ее тонкий мальчишеский профиль. Он остановился где-то сразу за шкафом, не решаясь подойти ближе. От нее по-прежнему исходил холод. Она всем своим видом показывала, что не испытывает ни малейшего интереса ни к нему, ни к его поцелую. Ее молчание было красноречиво. Оно

словно говорило: «Можешь поцеловать и выматываться!» — и ничего больше. А он еще чего-то ждал.

И дождался. Она наконец не выдержала и насмешливо спросила:

«Ну, долго мы так будем стоять?»

«Нет, не долго, — вспыхнув, ответил он. — Можешь быть свободна!»

Она мгновенно покраснела до ушей. Круто повернулась и так стремительно прошла мимо, что он едва успел посторониться.

И тут ему впервые за сегодняшний вечер стало легко. Он вдруг понял, что эта неожиданная размолвка куда дальше продвинула их отношения, чем любые вымученные и вынужденные поцелуи...

Да, этот вечер был полон еще многих неожиданностей. Кто бы мог подумать, что выдержанный и воспитанный Толя, позабыв о своем блестящем офицерстве, подкараулит Ипатова в прихожей и изо всех сил въедет ему в поддыхало? И тот, скорчившись от дикой боли, но с радостной мыслью, что к нему уже ревнуют и, возможно, не без оснований — кто знает? — с трудом доберется до обувной скамейки и будет сидеть там до тех пор, пока его не увидит мать Светланы — Зинаида Прокофьевна. Правда, сперва она решит, что он упился. Но так как к этому времени он почти протрезвел, то она легко поверит, что у него, скорее всего, очередной приступ аппендицита («Живот поболит, поболит и перестанет...»). И в ней тотчас же разыграется медицинский работник, как она сама себя называла (до замужества она, оказывается, была медсестрой в морском госпитале), и Ипатова со всеми нужными и ненужными предосторожностями уложат на старом диване с высокой спинкой, по какой-то причине еще не вывезенном прежними жильцами и стоявшем почему-то на кухне. Довольный и потому играющий в благородство Ипатов так и не скажет никому о нападении в прихожей. И все же об этом через несколько минут будут знать все. То ли проговорится сам виновник, испугавшийся такого оборота, то ли кто-нибудь увидит их, глядящих друг на друга сычами в прихожей. В тот момент, надо думать, Толя готов был кусать себе локти, добившись сильным и точным ударом натренированного кулака совершенно противоположного результата. Мало того, что его про-

песочит адмирал, хмуро пожурят Светланины родители, назовет негодяем Жанна. Еще и сама Светлана перестанет с ним разговаривать. Он то и дело будет порываться к ней с объяснениями, а она даст понять, что окончательно разочарована в нем. Но об этом Ипатов узнает потом.

А пока возле него, простертого на провисшем диване с изодранной кошками обивкой, будут ходить на цыпочках встревоженные гости. Всплакнет, похоже уже преданная душой и телом, Жанна. Смущенно посидит огорченный адъютант. Сочувственными видениями не раз и не два промелькнут мать и отец Светланы. Скажет несколько весомых ободряющих слов адмирал. Ласково спросит, где «бобо», генеральская дочь, имя которой так и останется ему неизвестным. Томным голосом выразит недоумение, почему он не дал сдачи, аристократ Альберт (что можно было на это ответить? Сквала боль. Да и Толя не стал дожидаться ответного удара: сразу же исчез...). Поят с минутой-другую, как над покойником, и остальные. И только Валька Дутов сделает то, о чем до него никто не додумался: принесет под полой стакан водки. Ипатов залпом выпьет ее, и боль как рукой снимет...

А потом наступит минута, которая для него станет самой большой наградой за все сегодняшние огорчения. Придет Светлана и, спровадив под каким-то предлогом Вальку и Жанну, присядет на краешке дивана и своим тихим глуховатым голосом спросит Ипатова, как он себя чувствует. И сообщит новость, от которой тот прямо подскочит на своем расползающемся диване. А скажет она всего:

«Больше он сюда не придет».

И легонько щелкнет Ипатова по носу...

Вот с этого и завертелось у них — с игривого щелчка наманикюренным пальчиком по носу. В нем было, если подумать, все: и прошлое, и настоящее, и будущее их отношений. Как говорится, началось с щелчка по носу и кончилось щелчком. Только щелчки были разной силы...

«О темпора! О морес!»— думал уже пятидесятивосьмилетний Ипатов, аккуратно возносимый эскала-

тором к Финляндскому вокзалу. Навстречу ему так же аккуратно спускалась к электричкам метро нескончаемая человеческая лента. Привыкший постоянно держать перед носом книгу или газету, на этот раз Ипатов, обе руки которого были заняты продовольственными сумками (теща приболела, а жена — пятый день в командировке), глубокомысленно созерцал людей. В первую очередь он обращал внимание на молодые пары. Каждая из них вела себя так, как будто, кроме нее, никого вокруг не было. Юноши и девушки на глазах у всех обнимались, целовались, прижимались друг к другу. Взгляды, которыми они обменивались, были настолько красноречивы, что Ипатов всякий раз стыдливо опускал глаза. Но особенно забавным, а иногда и трогательным было то, что нередко на молодых равнялись и люди солидного возраста. Это была какая-то повальная демонстративная обнаженность чувств, которая уже почти никого не удивляла — к чему только не привыкает человек? Привык к этому и Ипатов. Но бывали моменты, когда он, словно пробудившись ото сна, удивленно смотрел на эту вызывающую любовную карусель и не верил своим глазам. Он вспоминал, каким был в то далекое время, свою робость, свою застенчивость, свою нерешительность — он не осмеливался лишней раз дотронуться до ее руки, боялся обидеть, нарваться на насмешку. Даже когда она так нежно, так шаловливо щелкнула его по носу, давая этим понять, что следующий ход — его, у него хватило духу лишь прижаться щекой к ее руке. В ту минуту на кухне никого не было, и он успел бы и обнять, и поцеловать, и схлопотать по роже, если бы это не пришлось ей по вкусу. Но он этого не сделал. Она не отняла руку от его щеки, и он уже не помнил себя от счастья. Господи, как мало ему тогда было надо! Расскажи этим славным юношам и девушкам о его тогдашнем ликовании, они бы себе животики надорвали. И понять их тоже можно. Каждое поколение живет по своим законам. И ничего тут не поделаешь...

Ипатов закрыл глаза. А мимо по-прежнему тянулась непрерывная человеческая лента, и, наверно, по-прежнему молодые люди на виду у всех обнимались, прижимались, целовались. И надо быть полным кретином, чтобы принять это за упадок нравов. Имеющий уши да слышит: «Смотрите на нас, если вам так хочется. Нам же, откровенно говоря, наплевать на то, что вы поду-

маете, что скажете. Хоть в этом последнем, что не подвластно вам, позвольте нам поступать так, как считаем нужным. Не согласны с нами? Ну что ж, тем хуже для вас...»

Расходиться гости начали довольно поздно — около двух часов ночи. Последними ушли Ипатов и Валька, который не хотел отпускать приятеля одного. Перед уходом они украдкой дербалызнули еще по полстакана водки, и их все время сносило с тротуара на мостовую, прибывало к фасадам домов, сшибало в какие-то канавы. Городской транспорт уже не ходил, и поэтому им ничего не оставалось, как добираться домой пешедралом. Жил Ипатов в конце Старо-Невского, неподалеку от Александро-Невской лавры. Валькин же дом находился на Марата, что было тоже далеко, но все-таки гораздо ближе. И когда Валька пригласил Ипатова заночевать у него («Отец в Праге, дома одна нянька»), тот не заставил себя долго упрашивать. Правда, мелькнула мысль, что можно было бы пойти к бабушке. Всего несколько минут ходу, и он бы оказался в тепле, под родной крышей, а еще через несколько минут дрых бы без задних ног. Но предстать перед бабушкой в таком виде — это надолго лишит ее душевного покоя. Она бы подняла такой тарарам, нет, не при нем, а потом, с дрожью в голосе обзванивая всех родных: «Это что-то ужасное! Костя явился ко мне в совершенно непотребном виде. Он спивается!» Да и будить ее не хочется. Она всегда с таким трудом засыпает, по вечерам ее мучают сильные головные боли, от которых она спасается теплом — закутывает голову дюжиной шарфов и полотенец. И так, сидя в глубоком кресле, согревшись, засыпает. Будить ее не менее жестоко, чем появиться перед ней «еле можаху», как говорили наши славные предки. Но и топать до дому через весь город в такую гнусную ночную стынь — хуже не придумаешь!

Они дошли до Сенной и свернули на проспект имени Сталина, бывший Международный, будущий Московский. Они шли и орали фронтовые песни. Вернее, пел одуревший от счастья и выпитой водки Ипатов, а Валька только подпевал. Одну из них они тянули целый квартал: «Кто сказал, что надо бросить песни на войне? После боя сердце просит музыки вдвойне...» Ипатов слегка подзабыл песню и прямо на ходу придумывал

новые слова. А потом они долго, печатая шаг, горла-нили: «Пыль-пыль-пыль-пыль — от шагающих са-пог!»

И вдруг они услышали где-то на повороте сверлящий скрежет далекого трамвая.

«Побежали на остановку! — предложил более тре-звый Валька. — Может, успеем?»

«Фигня! Проголосуем здесь!» — заявил Ипатов, вы-ходя к трамвайным путям.

«Смотри, старик, попадетя стервозный вагоново-жатель — проскочит мимо!»

«Я ему проскочу!» — угрожающе произнес Ипатов, вставая монументом на рельсы.

Вырвавшись на прямой, как стрела, проспект, трам-вай шел, отчаянно набирая скорость. Ввинчиваясь в тишину, завывал мотор. Отбивали на стыках чечетку старые, еще довоенные вагоны.

Широко расставив ноги, Ипатов ждал трамвая. Ру-ки хладнокровно держал в карманах.

«Старик, ты что, сдурел?» — Валька схватил при-ятеля за рукав и потянул с рельсов.

«Пусти! Ты ничего не понимаешь! — вырвался Ипа-тов. — Я его сейчас остановлю!»

И снова встал как вкопанный, вытянул руки ладо-нями вперед. В эту минуту он ощутил в себе такую си-лу, что нисколько не сомневался, что мчащийся трам-вай, как заводная детская игрушка, уткнется в его ла-дони и сразу остановится.

Валька тащил его с путей, но Ипатов снова возвра-щался на старое место.

Трамвай приближался. За передним стеклом уже была видна скорченная фигура вагоновожатого. Похо-же, он не замечал двух парней, торчавших на путях: ночной трамвай, пустынные улицы, ни души, — может быть, даже задумался или задремал.

«Вот увидишь!» — успокаивал Вальку Ипатов.

И когда между ними и трамваем осталось каких-ни-будь пятнадцать-двадцать метров, Валька столкнул Ипатова с рельсов.

Трамвай с грохотом и лязгом проскочил мимо. Он был пуст и торопился, по-видимому, в какое-то свое де-по или парк.

«Ну и зря», — буркнул Вальке Ипатов. И друзья снова двинулись в путь...

Он увидел и узнал дверь еще с лестницы. Обитая черным дерматином, она знакомо темнела рядом с лестничным пролетом. Держа левую руку под ложечкой, а правой ухватившись за перила, Ипатов с отчаянной решимостью одолел последние ступеньки.

И тут его обожгла мысль: «А вдруг?» Но он мгновенно опомнился: «Ну это совершенно немыслимо!»

Робея и волнуясь так же, как и тридцать пять лет назад, он подошел к двери. На него с вызовом смотрела пожелтевшая от времени кнопка звонка. Та или, может, другая? Он взглянул на номер квартиры. Двадцать восьмая. Вспомнил, что когда-то писал письма по этому адресу.

С замирающим сердцем нажал на кнопку. Звякнуло так слабо, что жильцы могли и не расслышать. Собравшись с духом, он снова придавил пальцем кнопку и несколько долгих секунд прислушивался, как в квартире разорвался звонок.

Никого нет. Может, это и к лучшему!.. Честно говоря, он ничего бы не имел против украдкой взглянуть на Светлану, но... встречаться? Слишком многое связывало их, чтобы вот так, безболезненно, вспоминать о прошлом. Этого еще не хватало в его дерганой, суматошной жизни!..

По-прежнему прижимая руку к груди, он шагнул к лестнице. Боль была пока слабая, терпимая, размером с маковое зернышко. Она вся умещалась под кончиком его пальца. Но он знал ее как облупленную. Она всегда начиналась так — с легкого стеснения, с этакого нежного собачьего покусывания. В позапрошлом году он по своей неискушенности не придавал ей никакого значения и жестоко поплатился за это. Уже через час она перекинулась на сердце и не отпускала его почти целых полдня. Потом она исчезла, но навсегда оставила о себе недобрую память. Ипатов боялся этой боли и поэтому всякий раз, когда она появлялась, старался задобрить ее примерным поведением и изрядным количеством валидола. Садился где-нибудь в уголок и, положив под язык охлаждающую таблетку, терпеливо ждал окончания приступа. И боль, как правило, проходила. Но одно дело, когда это случалось с ним дома или на работе, поблизости от родных и сослуживцев, другое — на улице или вот как сейчас, где-то на последнем этаже старого дома в окружении чужих дверей и кнопок.

Бывало и так, что сердечная боль отпускала его

сразу. Сама по себе. Возможно, это была даже не она, а какая-то другая, похожая на нее, кто знает! Но может быть, и на этот раз боль ненастоящая, случайная?

Ипатов сделал два робких шага и остановился — боль не отпускала. Фактически она держалась уже несколько минут. Видно, выжидала момент, чтобы неожиданно наброситься на сердце, окружить его частоколом острых иголок. Ипатов с большим трудом добрался до лестницы и сел на ступеньку. Правой рукой стал шарить в карманах — бесполезно, валидола не было. Ничего удивительного, что он перестал носить его: последний приступ был больше года назад. Даже стал забывать, что у него больное сердце. Чувствовал себя вполне здоровым, помолодевшим, сильным. А боль, очевидно, лишь затаилась. Впрочем, во всем виноват он сам. Не надо было тащиться сюда, взбираться по крутой лестнице на шестой этаж. Но в то же время он вроде бы не торопился, отдыхал на лестничных площадках и между этажами. Неужели на него подействовали старые воспоминания? Прошлись ржавым напильничком по сердцу? Вряд ли. Он старался быть спокойным, не волноваться, справедливо полагая, что вся эта история уже так далека от него...

Главное сейчас покой, не двигаться, и боль пройдет, как проходила уже множество раз. Надо только отвлечься, не думать о ней...

Не думать, не думать, не думать...

А напоследок их чуть не забрала милиция. Шли они, пошатываясь, по Загородному, и вдруг перед ними выросла огромная фигура, с ожесточением скребущая по тротуару лопатой. Что подняло дворника в такую рань с постели, наверно, знал только он. Однако шум, производимый его лопатой, надо думать, сокращал сон не одному десятку людей. Дядька утверждал себя в глазах жильцов дома в меру своих ограниченных возможностей.

«Вот гад!»— заявил Валька Ипатову.

«Погоди,— отозвался тот,— я ему сейчас скажу!.. Эй, метла, ты чего людям спать не даешь?»

«Давай проваливай!»— огрызнулся дворник.— А то огрею чем-нибудь!»— и он, не отпуская лопаты, потянулся к лому, прислоненному к стене дома.

«Насмерть будешь бить или только по ногам?» — поинтересовался Ипатов.

«Студенты сраные!» — выругался дядька, выбривая лопатой новую полосу на тротуаре.

«Фамилия?» — выступив вперед, совсем по-генеральски спросил Валька.

На это дворник молча сунул в рот свисток и огласил ночную улицу пронзительной трелью. Оба друга мгновенно сообразили, что теперь им остается одно — дать тягу. Крикнув на прощание прикипевшему к свистку дворнику, что он «лопата с добавкой» и «дубина» (выражения Ипатова) и «аппендикс недорезанный» (выражение Вальки), они изо всех сил припустили по Загородному. Где-то позади залиvisto отозвался еще один свисток, а затем еще. Что-то кричал неизвестно откуда взявшийся женский голос. Тяжело бухали миллицейские сапоги.

Валька и Ипатов, запыхавшись от быстрого бега, шмыгнули в какой-то переулок и уже через несколько минут влетели в парадную Валькиного дома.

Опять причуды памяти. Многое что запомнилось Ипатову о той ночевке, но вот потом, сколько он ни проходил по Марата, никак не мог вспомнить дом, в котором жил Валька. Впрочем, ничего удивительного: был он там всего один раз, да и то ночью, да еще пьяный. Начисто выпало из памяти также, на каком этаже была квартира и где расположена. Будто прямо из подъезда перенесло его в прихожую с еще более старинными, чем у Светланы, вешалками, на которых в будничном беспорядке висела всевозможная верхняя одежда — от старушечьих салопов до генеральской шинели с двумя большими звездами на погонах. Повесив пальто, приятели на цыпочках, чтобы не разбудить няньку, прошли в гостиную.

Первое, что увидел Ипатов, были картины. Великое множество картин. Они заполняли все четыре стены снизу доверху. Только двери пусто белели, украшенные бронзой ручек. Потрясенный этим картинным изобилием, Ипатов стоял в полной растерянности. Здесь были и Репин, и Суриков, и Нестеров, и Врубель и еще многие другие великие художники. И не копии, а оригиналы. Пусть не самые известные, пусть этюды. Кое-какие он знал по иллюстрациям, по сходству с законченными работами, которые не раз видел в Третьяковке и Русском музее. И это все принадлежало Валь-

киным родителям, а значит, и ему. А он, похоже, и не замечал окружающего великолепия. Для него это была обыкновенная комната, в которой живут, пьют, едят, разговаривают о постороннем. Вот и сейчас Валька даже не взглянул на картины, помчался зачем-то на кухню. Внимание Ипатова привлекла одна картина. Это был, по-видимому, Айвазовский. То же зеленое море, те же барашки волн, то же неистовство, с которым набрасывается водяная глыба на невидимый берег. Ипатов даже не удержался, потрогал море — до того он казался живым, этот квадрат морской воды, втиснутый в золоченую раму.

«У нас два Айвазяна», — сказал появившийся Валька. В руках он держал два стакана и граненую бутылку с какой-то яркой заграничной этикеткой. — Второй — у бати в кабинете».

Он поставил бутылку и стаканы на старинный журнальный столик.

«Садись, старик. Надо обмыть наше спасение!»

Ипатов с любопытством взглянул на этикетку:

«Что это за вино?»

«Шотландское виски. Батя привез из Эдинбурга. Там была какая-то международная встреча хирургов. Когда отец был помоложе, он любил пропустить для сугреву. Теперь он пьет только два раза в году, и то самую малость — на Новый год и на мамин день рождения».

Валька впервые заговорил о своей матери. Из сказанного ранее можно было понять, что его отец в Праге, а дома хозяйничает одна нянька... Где же тогда мать? Но спрашивать об этом Ипатов счел неудобным, а вдруг ушла от них или умерла?

Виски было какого-то странного сивушного вкуса, но зато опьяняло и освежало одновременно. Протрезвевший на какое-то время Ипатов снова захмелел. Разговор зашел о картинах. Оказалось, что их начал собирать еще Валькин дед по матери — известный до революции адвокат и общественный деятель. Медицинский генерал лишь продолжил дело своего тестя. Почти все его немалые заработки уходили на приобретение картин и книг по специальности. И как каждому настоящему коллекционеру, не жалеющему денег, ему страшно везло. Дядя Воля, друг дома и художник, самозабвенно рыскал по комиссионным магазинам и бескорыстно, хо-

тя и на генеральские деньги, приобретал для своего приятеля один шедевр за другим.

«Мне все это до фени,— вдруг добавил Валька.— Батя, кажется, уже завещал картины государству. Правда, кое-что оставил, свой портрет в том числе... Пей, старик!»

Вскоре они совсем окосели. Но за окнами брезжил рассвет, и Валька, зевнув, предложил:

«Давай-ка часок-другой покомарим, первую лекцию пропустим. Кто — как, а я эту тягомотину слушать не намерен!»

Ипатову Валька постелил на диване в генеральском кабинете. Шкафы с медицинской литературой, многотомными энциклопедиями и справочниками удивленно уставились на гостя разноцветными корешками. Едва только Ипатов лег, как у него все поплыло перед глазами. Он долго искал удобного положения и так, в поисках его, незаметно уснул. Проснулся он от неудержимого позыва на рвоту. Пулей вскочил, побежал искать уборную. Он метался между добрым десятком дверей, ведущих в разные подсобные помещения: кладовки, стенные шкафы, кухню, ванную... Когда он наконец добрался до уборной, зубы у него непроизвольно разжались, и все содержимое желудка оказалось на полу. Плотнo прикрыв за собой дверь, Ипатов содрал с себя нижнюю рубашку и принялся ею собирать все с холодных и липких каменных плиток. Потом скомкал ее и сунул в самый низ мусорного ведра.

«Ох, господи!»— простонал где-то неподалеку старушечий голос.

Обождая, когда нянька скроется в соседней комнате, Ипатов на цыпочках вернулся в кабинет. По-прежнему мутило. Кружилась голова. Некоторое время он сидел на диване, погрузив ноги в теплый и нежный ворс дорогого ковра. Пожалуй, так он перебрал первый раз в жизни. Даже в тот день, когда убило Веру, он не был настолько пьян, хотя его тоже заносило в какие-то канавы, заброшенные траншеи, подвалы, где сидели перепуганные немцы. Но тогда было большое горе, и оно ни на мгновение не отпускало его. А сейчас он и радовался, и пил на радостях с каким-то смутным чувством неуверенности и тоски. Ох, как далеко пока еще было — и он ощущал это всем своим нутром — до настоящего ликования, до счастья, как когда-то с Верой. Пусть та была не красавица, обыкновенная деревен-

ская девчонка, впервые побывавшая в городе лишь со своей частью, сформированной где-то в лесах. Но именно она, эта деревенская девчонка, дала Ипатову все, что имела, не требуя ничего взамен. И он полюбил ее очень спокойной, необременительной любовью и был даже счастлив...

На часах было уже двадцать пять девятого: через тридцать пять минут начнутся занятия. Все равно не успеть. Да и большого желания идти на первую лекцию не было.

Зато вторая лекция обещала быть интересной. Читал ее уже немолодой доцент, несколько потрепанного вида богатырь, с каким-то особым вкусом и значением произносивший каждое слово. Иногда он входил в раж, и под ударами его кулаков едва не рассыпалась кафедра. В эти моменты он не очень стеснялся в выражениях, и студенты и студентки прямо-таки обмирали от удовольствия. На прошлой лекции он не оставил камня на камне от Зощенко. Сегодня та же участь ожидала Анну Ахматову. Но для Ипатова и Зощенко, и Ахматова отошли теперь на задний план: все казалось пустяком по сравнению с предстоящим свиданием на одной из лекций.

Шло время — полчаса, час, а Валька все не появлялся. Будь они одни в квартире, Ипатов, не задумываясь, отправился бы на его поиски. Но была еще нянька, от которой вряд ли укрылось невольное прегрешение гостя. Так что оставалось единственное — незаметно уйти. Что и было сделано с немалыми ухищрениями.

К тем, кто опаздывал на лекции, доцент относился снисходительно. Вернее, просто не обращал внимания. Возможно, ему виделись огромные толпы на площадях, где все неподвижно и в то же время находится в движении, где приход и уход одного или нескольких человек так же незаметны, как появление и исчезновение на лесных тропах одного или нескольких муравьев. Зная о таком либерализме грозного доцента, Ипатов не стал дожидаться перерыва, хотя до звонка оставалось всего десять минут, вошел в аудиторию. На него обернулся какой-то студент. Доцент, читавший в это время с возмущением и брезгливым выражением лица чьи-то стихи, даже не посмотрел в сторону вошедшего Ипатова. А тот, поискав быстрым взглядом Светлану и не увидев

ее поблизости, сел на кончик скамейки. И снова огляделся: за соседними столами ее тоже не было. Неужели, как и Валька, не пошла на лекцию?

Низвергнув Ахматову, доцент одним щелчком закончил и с ее эпигонами, которые делали все, чтобы завести нашу славную поэзию в болото самовыражения и упадничества. Бывшим фронтовикам и бывшим десятиклассникам нравилось, что на их глазах рушились дутые литературные авторитеты. Были Зощенко и Ахматова, и нет их! Интересно, чья следующая очередь? По плечу Ипатова легонько постучали. Он резко обернулся. Ему подали записку. Лектору? Нет, адресовано ему, Ипатову. Он быстро и нервно развернул ее. Незнакомым — легким и четким — почерком было написано одно слово: «Привет!» Кровь прилила к лицу. Он посмотрел назад, и его взгляд заскользил по уже примелькавшимся лицам однокурсников. Тогда он встал и тотчас же увидел Светлану. Она сидела за спиной какого-то верзилы и позевывала в кулачок. Ипатов на том же листке бумаги написал: «Привет!!!» Целых три восклицательных знака. Записка заметалась от одного ряда к другому в обратном направлении. Вскоре она вернулась с ироническим вопросом: «Как со здоровьем?» Ипатов ответил: «Лучше не бывает. И вообще, на седьмом небе — от щелчка по носу!» На это последовало: «Могу повторить!» Ипатов, не растерявшись, ответил: «Когда?» Но в этот момент раздался звонок. Студенты заерзали на своих местах. Кое-где захлопали откидные сиденья. Но доцент даже бровью не повел. Сейчас он волтузил какую-то молодую поэтессу, которая во всеуслышание заявила о своем желании принадлежать любимому мужчине. И не фигурально, как у классиков, а физически, то есть в смысле прямой интимной близости. Естественно, тут все забыли о звонке и наострили уши. И вдруг доцент томным голосом спросил:

«Кажется, был звонок?»

Несколько голосов неохотно подтвердили это.

«Может, поработаем без перерыва? Я вас чуточку раньше отпущу?»

Робкие возражения курильщиков потонули в хоре одобрительных возгласов.

«Итак, забыты скромность и стыд, искони присущие русской женщине...» — продолжал доцент.

«Сегодня никак. Примерка», — сообщила Светлана.

«До завтра долго ждать,— обнаглев, заявил Ипатов.— Ну, полчаса уйдет на примерку, ну час... А потом?»— «А потом? Секрет фирмы»,— ответила Светлана. И приписала на отдельном листке: «Соседи выражают недовольство: надоело передавать записки...»— «Черт с ними (не с записками, а с соседями!),— сердито написал Ипатов.— Посылай в обход!» Ответ пришел скоро: «Нет, правда, сегодня не могу!»— «А завтра?»— «Завтра — да. Но лучше послезавтра?» Душа у Ипатова пела: завтра ли, послезавтра ли, разве в этом дело? Конечно, сегодня лучше, чем завтра, а завтра лучше, чем послезавтра. Но главное — вот оно чудо: он пишет ей, она ему! Еще два дня назад он и мечтать об этом не смел. «А что, если и завтра, и послезавтра?»— не отступал Ипатов. «Надо подумать»,— понемногу уступала она. Он взял новый листок бумаги и печатными буквами аккуратненько написал: «Кинофильм (советский, иностранный). Театр (драма, опера, оперетта). Филармония. Цирк. Нужно подчеркнуть...» Записка вернулась с небрежно подчеркнутой опереттой...

К этому времени закончил свою лекцию и доцент. Он попросил студентов оставшиеся до перерыва пятнадцать минут спокойно посидеть в аудитории и в свете только что услышанного подумать о путях развития советской поэзии. Но едва доцент скрылся за дверью, зал взорвался сотнями голосов. Говорили обо всем, кроме поэзии. С ней после лекции, надо полагать, все было ясно.

Избирательность памяти поразительна. Странно, но эти пятнадцать минут ожидания звонка почему-то совсем не запомнились Ипатову. Пересел ли он к Светлане или же остался сидеть на своем месте, он совершенно не помнил. Записки же эти у него сохранились до сих пор. Сперва он берег их как зеницу ока, как память о своей второй любви, а потом, с годами, даже позабыл о них. Но они были и валялись где-то среди старых бумаг и конспектов. А недавно он вдруг их обнаружил и теперь время от времени перечитывал...

Только Ипатов примирился, что сегодняшний вечер придется скоротать без Светланы, как она, волнуя его своей улыбкой, быстро подошла к нему и сообщила:

«Идем сегодня!»

«Честное слово?»— засиял он от радости.

«Понимаешь, мы ждали в гости маминого брата, моего дядю, а он ушиб левое колено и не может двинуться!» (Вот молодец! Успела сходить, позвонить домой!)

«Говоришь, левое?» — с озабоченным видом переспросил Ипатов.

«Левое! — хмыкнула она. — А зачем тебе это?»

«Чтобы знать, чему мы обязаны сегодняшним культоходом!»

Они спустились к телефону-автомату, и Ипатов, вопреки ожиданию, с третьего раза соединился с Музкомедией. Там шел «Вольный ветер». Светлана тут же призналась, что давно хотела посмотреть эту оперетту, ее очень расхваливал Альберт. Ипатов на какое-то мгновение задумался: как правильнее сказать — «посмотреть» или «послушать»? С оперой все ясно, а вот как с опереттой? Но махнул рукой: не все ли равно? Встретиться договорились у входа в театр, примерно за десять-пятнадцать минут до начала.

Чтобы успеть переодеться, поесть и достать билеты, оба сбежали с четвертой лекции по языкознанию. Но поехали, естественно, в разные стороны: она домой, он — в театральную кассу.

В кармане у него лежали всего два смятых грязных рубля. А так как занимать было некогда и не у кого, Ипатов с тяжелым чувством загнал какому-то мазурику свои единственные часы. Жалко ему их было до чертиков. Дело в том, что в боях за Сандомир разведчикам майора Столярова удалось захватить большие трофеи. Был среди них и ящик с именными часами, которые немецкое командование отправило на фронт для вручения особо отличившимся унтер-офицерам танковых войск. Часы были вручены в торжественной обстановке, но только не фашистским младшим командирам, а советским офицерам. И хотя это был не орден и не медаль, Ипатов очень дорожил подарком. А при случае даже говорил, что награжден именными часами за освобождение Польши. И вот сейчас «Гайнц Плюм» (фамилия унтер-офицера, выгравированная на крышке часов) навсегда исчез в плюгавом брезентовом портфеле перекупщика. Трем же сотням, полученным взамен, судя по всему, недолго предстояло оттопыривать задний карман ипатовских галифе.

Добыть деньги при наличии хорошего товара и заинтересованного покупателя было дело не сложное.

Куда сложнее оказалось достать билеты. Сперва Ипатов выстоял длиннющую очередь. Когда же его от заветного окошка отделяло всего несколько человек, оно вдруг захлопнулось, и вконец задерганная театральная кассирша с мстительным видом повесила дощечку с надписью: «Все билеты проданы». Наиболее упрямые и настойчивые продолжали барабанить по заслонке и клянчить билеты. Часть очереди сразу отхлынула к окошку главного администратора. Ипатов делал, что и все. Барабанил, клянчил, метался от одного окошка к другому, рыскал по вестибюлю, спрашивал, не предвидится ли у кого на будущее (мало ли какие бывают обстоятельства!) лишних билетов, и даже попытался завести знакомство со старушкой-гардеробщицей. Все было тщетно. Дело шло к катастрофе. Ипатов уже зрительно представил, как в залитый электрическим светом вестибюль входит своей королевской походкой прекрасная и гордая Светлана. Ее легкая, из какого-то дорогого меха шубка уже распахнута и готова слететь с плеч. А под ней дожидается своей очереди, чтобы поразить всех и вся, сногшибательное вечернее платье. Светлане и в голову не приходит, что между ней и опереттой, которую она собирается удостоить своим посещением, может появиться препятствие в виде каких-то жалких билетов. Каким несчастным и побитым будет он, когда встретит ее у входа. Сказать ей, что он не достал билетов, все равно что на глазах у присутствующих выставить ее за дверь. Он не знает, что ответит она, может быть даже ничего не скажет, просто повернется и уйдет. Но то, что это будет началом конца в их отношениях, он ни на минуту не сомневается...

Взвинченный отчаянием, он снова бросился на штурм окошка главного администратора.

И вдруг судьба повернулась к нему лицом. Сквозь толпу, раздвигая ее крепкими плечами, продирался молодой майор в кубанке. Добравшись до окошка, он постучал властно и требовательно. Окошко приоткрылось. Майор показал какую-то красную книжечку.

Ипатов умоляюще шепнул:

«Прошу вас, еще два билета! Вопрос жизни! Честное слово, вопрос жизни!»

Тот среагировал мгновенно:

«Четыре билета!»

Выйдя из очереди, он подал Ипатову два билета:

«Держи!»

Ипатов долго и, как потом до него дошло, нудно рассыпался перед майором в благодарностях.

Наконец тому надоело:

«Ну стоит ли...— И добродушно добавил:— Увидимся на спектакле!»

Время подходило уже к шести вечера. Нечего было и думать, чтобы съездить домой. Перекусить он сможет и поблизости, в любой закускойной. А вот привести себя в порядок вряд ли удастся. В лучшем случае, где-нибудь под краном смочит физиономию. Но из-за того, что китель надет прямо на голое тело (нижняя рубашка осталась в мусорном ведре, наверно уже обнаружена, и Валькина нянька выдала своему питомцу по первое число за то, что водит в дом всяких проходимцев), Ипатов все равно будет чувствовать себя не в своей тарелке,— что бы подумали, узнав об этом, его старые и новые соперники, от сына французского военно-морского атташе до кулачного бойца Толи?

Эта забегаловка и по сей день там. Как и тридцать пять лет назад, люди торопливо заглатывают плохо пропеченные, неаппетитные пирожки и, сполоснув рот бурдой, именуемой то кофе, то какао, устремляются по своим делам. Заморив червячка, Ипатов зашел в туалет. Там умылся, вытер лицо колючим шерстяным шарфом, несколько раз прошелся мокрой ладонью по кителю и брюкам, полой пальто надраил сапоги — словом, привел себя в относительный порядок.

И уже в семь тридцать, судя по электрическим часам в театральном вестибюле (его «Гайнц Плюм» в это время равнодушно тикал где-то в другом месте), Ипатов был на посту у входа в театр. До начала оставалось всего двадцать пять минут. Светлана могла появиться и со стороны Садовой, и со стороны Бродского. Ипатов прохаживался взад-вперед по тротуару, боясь отойти от подъезда. Перед освещенными окнами с пестрыми афишами уже толпился народ, подходили все новые и новые парочки. То там, то здесь раздавалось: «Нет ли лишнего билетика?» Ипатов был как на иголках: с минуты на минуту должна была подойти Светлана. Если раньше время едва тащилось, то теперь оно припустило изо всех сил. Без конца оглядываясь и стараясь не упустить из поля зрения улицу со стороны Бродского, Ипатов в нетерпении добежал до Садовой и тут же, огорченный, помчался обратно. Мимо него прошел, держа под руку свою даму, молодой майор в кубанке.

Увидев одиноко торчащего Ипатова, он на ходу улыбнулся и спросил:

«Все ждем?»

«Да вот чего-то задерживается», — обескураженно развел руками Ипатов.

«Это такой народ, — бросил майор, взглянув на свою спутницу. — Дай только им волю!»

Но девушка в ответ еще плотнее прижалась к его плечу. У нее было простенькое, с ярко покрашенными губами лицо продавщицы или буфетчицы. «Такие никогда не опаздывают», — подумал Ипатов.

С первым же звонком, слабо долетевшим из вестибюля, улица возле театра быстро опустела. Правда, еще какое-то время пронеслись опоздавшие парочки и уныло достаивал в нескольких шагах такой же, как он, незадачливый поклонник. А потом и их не стало. Было ясно, что Светлана уже не придет. И все же Ипатов не торопился уходить. Не то что он еще надеялся, просто сейчас ему некуда было спешить: идти в театр один он не собирался, а домой всегда успеет. Но дальше стоять было не только бессмысленно, но и смешно. Каждый, кто увидит его растерянное лицо, поймет, что он ждал, ждал и не дождался своей девушки. А тут еще к нему пристал один хмырь и предложил билет на балкон. Сперва за полную цену, затем за полцены и под конец совсем даром. А когда Ипатов заявил, что ему и свои билеты некуда девать, тот вдруг рассвирепел и полез драться. К счастью, в это время из ближайшего ресторана вышли подышать свежим воздухом трое грузин, и их горячие сердца не могли оставаться равнодушными к тому, что «плахой человек не дает проходу хорошему человеку». Они повернули хмыря спиной к театру и точным пинком в зад отправили его на середину мостовой. Сделав это доброе дело, они вернулись в свой ресторан. Больше хмырь не появлялся.

Ипатов вынул из кармана билеты, взглянул на них в последний раз, скомкал и бросил в мусорную урну. Повернул голову и увидел знакомую серую шубку. Светлана еще издали заметила его и теперь выжидательно, со смущенной улыбкой поглядывала на него. Ипатов рванулся к урне, но тотчас же опомнился: что она подумает, увидев его роющимся в мусоре? В лучшем случае решит, что он свихнулся. Так что сперва он ей скажет, а потом будет рыться...

«Я очень опоздала?» — виновато спросила она.

«Есть немного», — ответил Ипатов.

«Тетя Дуся, портниха моя, копуша каких мало, — начала оправдываться Светлана, — она целых два часа держала меня на булавках. Я даже шевельнуться не могла... Сюда идти?»

«Подожди, — остановил ее Ипатов. — Я уже думал, что ты не придешь, и выкинул билеты». Он шагнул к урне.

«Ты полезешь внутрь?» — ужаснулась она.

«Придется, — ответил он. — Они где-то здесь сверху».

Она оглянулась: прохожих поблизости не было.

«Только быстро!»

Он заглянул в урну и увидел синий комочек. Быстро запустил руку, дотянулся пальцами до билетов.

«Я бы ни за какие деньги не полезла», — заметила Светлана.

«Я бы тоже не полез, — сказал Ипатов. — Ни за какие деньги!»

«Ну, все уже?» — спросила она и еще раз оглянулась.

Несмотря на пребывание в урне, билеты совершенно не запачкались. Ипатов разгладил их на колене:

«Хорошо, что не порвал».

«Если помнить ряд и место, то могут пустить и так», — надменно пояснила Светлана.

«Только захоти она, ее и вовсе пустят без билета, — подумал Ипатов, трепетно ощущая рядом ее строгий мальчишеский профиль. — Ни один администратор не устоит».

Билетерша отправила их — до первого антракта — на балкон.

На сцене уже вовсю шло действие. Среди ярких и праздничных декораций носились какие-то пестро одетые мужчины и женщины. Время от времени они становились в красивую позу и что-то громко пели. Впрочем, Ипатов и не пытался понять содержание оперетты. Он стоял рядом со Светланой и дышал с ней одним спертым воздухом. Когда они пришли, свободных мест уже не было; весь проход между креслами оказался забит опоздавшими; попытка пройти вперед продвинула Ипатова и Светлану всего на несколько шагов, но и это мало что дало: по-прежнему перед ними маячил частокол голов. Если Ипатов при его росте еще мог, вытянув шею, разглядеть что-то на сцене, то для Свет-

ланы ничего не оставалось, как слушать жизнерадостную музыку. Поначалу он боялся, что она с досады повернется и уйдет. Он с опаской поглядывал на ее сжатые губы, на сердито нахмуренный лоб.

«Еще немножко потерпеть, еще немножко, скоро антракт»,— принялся он ее успокаивать.

«Сама виновата. Не надо было опаздывать»,— неожиданно самокритично ответила она.

А потом, когда какому-то толстяку стало дурно, пропуская его, Светлана невольно прижалась к Ипатову. От этого неожиданно щедрого и полного прикосновения его словно обожгло. Оно длилось сущие мгновения, только Ипатову показалось, что Светлана простояла так, прильнув, чуть дольше, чем этого требовали обстоятельства. Он боялся шевельнуться, у него перехватило дыхание. Но тут Светлана отодвинулась, и он долго, мучительно долго приходил в себя. По-видимому, она догадалась о его состоянии, потому что бросила на него быстрый внимательный взгляд и опять, как тогда, легонько щелкнула его по носу. И опять у нее получилось это неожиданно и ловко, он даже не успел схватить ее руку, хотя, казалось, в такой тесноте и особой ловкости не надо. Ему удалось лишь дотронуться до ее пальцев, но они тотчас же куда-то исчезли.

«Нельзя!»— сказала она.

«А по носу можно?»— спросил он.

«Чудила!»— ответила она.— Сам же просил, уже позабыл?»

«Я просил фигурально!»— пояснил он.

«А, фигурально!»— протянула она.— Я не поняла». И хитренько улыбнулась.

В этот момент на них зашикали. Они смущенно переглянулись: оказывается, они кому-то из опоздавших мешали наслаждаться музыкой и переживать за героев, живущих там, на сцене, пока еще непонятной и загадочной для Ипатова и Светланы жизнью...

Под аплодисменты, возвестившие начало антракта, толпа опоздавших хлынула в партер. Ипатов всю дорогу от балкона до их двенадцатого ряда вел Светлану под руку. Не было ни одного человека, который бы не остановил на них взгляда, не посмотрел бы им вслед. При этом выражение лиц не отличалось многообразием: мужчины завидовали ему, женщины — ей. И только очень молоденькие девушки и юноши смотрели на

Светлану чистыми и восторженными глазами. Ипатов словно плыл по воздуху...

Опомнился только, когда увидел уже знакомого молодого майора, показывавшего рукой на кресла рядом с собой. Его спутница также помахала рукой. Переждав, пока выйдут желающие поразмяться в антракте, Светлана и Ипатов втиснулись в узкое пространство между рядами и направились к своим местам. Майор встречал их стоя. Ипатов не сводил взгляда со сверкающей на его груди, над несколькими рядами колодок, Золотой Звезды Героя Советского Союза. Провоевав два с лишним года на фронте, он знал, какой дорогой ценой она достается. В их танковой бригаде было всего три Героя. Так что человек, удостоенный такой высокой и почти всегда заслуженной награды, пользовался уважением не только у тех, кто никогда не нюхал пороху, но и у своего брата фронтовика, что намного важнее. Ипатов покосился на Светлану: ее лицо было холодно и бесстрашно. «Может быть, это и к лучшему», — ревниво подумал он. Майор же смотрел одинаково приветливо на обоих. Его спутница во весь рот улыбалась Светлане, но та даже не удостоила ее взглядом.

«Познакомьтесь!» — сказал Ипатов.

Майора, оказалось, звали Рашидом («Ни за что не скажешь, что татарин», — удивился про себя Ипатов, имевший весьма смутное представление о татарах), а его приятельницу — Кленей.

«Полное мое имя Клеопатра, — пояснила та. — Была в Древнем Египте царица Клеопатра, не слышали? О ней еще Пушкин писал».

«И не только Пушкин, — заметил Ипатов. — Шекспир тоже!»

«Вот видишь, сколько о тебе понаписано!» — сказал майор, усаживаясь.

«Кленя, Кленя, Кленечка, полюбила Ленечку, — весело отозвалась Кленя, — а у Ленечки дела: жена тройню родила!»

Светлана нахмурилась и отодвинулась в кресле: ее явно шокировали Кленыны манеры, беспокоило, как бы кто-нибудь не подумал, что они из одной компании. У Ипатова же Кленя не вызвала никаких отрицательных эмоций; наоборот, она показалась ему даже забавной и по-своему привлекательной. К тому же, что-то в ней смутно напоминало Веру. То ли чуть хитроватая простота, то ли почти детское добродушие. В какой-то

мере на отношение к ней Ипатова, наверно, сказывался и ореол ее спутника. Впрочем, если быть честным до конца, знакомство с Рашидом делало значительнее в глазах окружающих и его, Ипатова, тоже. А через него и Светлану, хотя она этого, очевидно, не понимала.

Вскоре зал снова заполнили зрители, и под бодрую мажорную музыку, вырвавшуюся из оркестровой ямы, ожила сцена. Всего несколько минут потребовалось Ипатову и Светлане, чтобы наверстать упущенное. Теперь они не хуже других знали, кто кого любит и кто против кого борется.

Как-то спустя много лет Ипатов пытался вспомнить содержание оперетты. Долго и тщетно напрягал память, пока наконец откуда-то из ее глубин не вынырнули два матроса: один — длинный, другой — маленький, — лихо отплясывающие не то чечетку, не то еще что-то. Возможно, если бы он поднатужился чуть больше, то припомнил бы и мелодию: она уже почти всплыла; при желании, наверно, можно было бы зацепить и ее. Но он поленился, и она снова ушла куда-то на самое дно. А потом, опять через много лет, он однажды услышал по радио дуэт героя и героини из этой оперетты. И даже, себе на удивление, запомнил слова и мотив: «Стелла, ты недаром зовешься звездой золотой...»

Забывчивость эта, скорее всего, объяснялась невниманием к тому, что происходило на сцене. Чего греха таить, он и слушал вполуха, и смотрел вполглаза. Все мысли его вертелись вокруг Светланы. Он улавливал каждое ее движение, каждый жест, каждую гримасу. Вот она заскучала... улыбнулась... фыркнула... поморщилась... задумалась... замечталась... покосилась на него, почувствовав на себе его взгляд... потом на какое-то время опять заинтересовалась происходящим на сцене... и снова заскучала... Мало того, что он любовался ею, он еще пытался понять, что скрывалось за тем или иным жестом. Иногда это ему удавалось, потому что хоть краем глаза, но продолжал следить за действием: он без труда угадывал, что Светлане нравится, а что нет. Но когда она уходила в себя, ему оставалось только ломать голову.

Ипатов видел, что спектакль в общем ей нравится: временами улыбка подолгу не сходила с ее лица. И он был счастлив, что доставил ей удовольствие. Радоваться бы ему про себя. Но из-за дурацкой мужской при-

вычки ставить точки над «і» он не удержался и спросил ее: «Ты, правда, довольна?»

Она как-то странно, почти отчужденно посмотрела на него:

«Чем довольна?»

От повеявшего на него холода он даже растерялся, смущенно промямлил:

«Спектаклем...»

Она пожала плечами и продолжала глядеть на сцену.

Ипатов не знал, что и думать. Он был крайне озадачен, старался понять, почему на его безобидный вопрос она так ответила. Наконец решил: или ей было неприятно, что он столь открыто напрашивался на благодарность, или же возмутилась тем, что он осмелился предположить, что ей может понравиться какая-то глупая оперетка? Честно говоря, он до сих пор не знает, что ее тогда покорило в его совершенно бесхитроном вопросе...

Вскоре она, однако, пожалела его. Вытащила из своей пахнувшей дорогой кожей и духами сумочки две конфеты и одну из них молча сунула Ипатову в руки. Он посмотрел и не поверил своим глазам. Это был «Мишка на Севере». Последний раз Ипатов лакомился ими еще до войны, на выпускном вечере. Да и то съел всего одну или две штуки, больше взять постеснялся. Вот и сейчас он испытывал неловкость перед майором и его спутницей. Но ведь конфета-то одна! Господи, чего он раздумывает! Ипатов, пригибаясь за креслами, протянул конфету Клене. Та сразу взяла: «Ой, мои любименькие!» — и тотчас же зашуршала обертками...

Светлана не могла не заметить этого, но вида, во всяком случае, не подала. Аккуратно похрустывая вафельной начинкой, она неотрывно смотрела на страдания главного героя. И когда, казалось, все ее мысли были там, на сцене, она вдруг повернулась к Ипатову и показала язык...

Но вот медленно пополз занавес, волнами прокатились по залу недолгие антрактные аплодисменты. В отличие от соседей своих, Светлана хлопала сидя. Аплодировала довольно сдержанно, видимо больше для вежливости.

Ипатов склонился к ней:

«Пошли, прогуляемся?»

И вдруг в ответ услышал, хотя и произнесенное просительным тоном, убийственное:

«Я не пойду? Сходи один?»

У него мгновенно вспотели ладони. Весь второй акт он мечтал о том, как они со Светланой, привлекая всеобщее внимание, будут неторопливо прогуливаться по фойе. И если позволит время, непременно заглянут в главный буфет, где выпьют по бокалу шампанского. Чего другого, а денег у него теперь навалом, вон как выпирают в заднем кармане. Лишь бы было что купить. И вот нá тебе: «Сходи один!» Несколько сбивала просительная интонация, и он продолжал уговаривать:

«Ну, пойдём?»

«Мне не хочется,— с тем же легким смущением ответила она, посмотрев ему прямо в глаза.— Нет, правда, не хочется...»

Он стоял, опираясь рукой на подлокотник, и тут его взгляд скользнул по своему рукаву — старому, вытертому, с сильно выпирающим локтем. Кровь бросилась Ипатову в лицо. Да она просто стыдится его! Разумеется, ее вечернему туалету подошло бы больше соседство черной морской формы с белоснежными манжетами и позолоченным офицерским кортиком, а на худой конец — элегантной, сшитой у лучшего портного синей тройки старого дружка Альберта.

Обида захлестнула Ипатова. Спотыкаясь о ноги кое-где сидевших зрителей, он рванулся к проходу. Шел крупными шагами, не оглядываясь, ощущая на своем пылающем лице любопытные и удивленные взгляды. В считанные секунды сбежал по лестнице в вестибюль. Сунул опешившей гардеробщице номерок. Та, чуть ли не пятясь, скрылась в своих лабиринтах. Вскоре она вернулась с его пальто и Светланиной шубкой.

«А это повесьте обратно!»— сказал Ипатов. И вдруг спохватился: а номерок?

«Я сейчас!»— и, оставив свое пальто на стойке, побежал назад.

На верхней лестничной площадке его перехватил майор:

«Погоди! Есть предложение!»

«Какое?»— безучастно и нетерпеливо спросил Ипатов.

«Махнуть на эту муру и закатиться в ресторан?»

«Как-нибудь в другой раз!»— буркнул Ипатов на ходу.

«Чего это с ним?»— услышал он позади голос появившейся откуда-то Клени.

«Закрутило парня»,— ответил майор...

Светлана сидела на своем месте. Вокруг нее не было ни души. Как будто всех сдуло ветром. Она лениво изучала программку спектакля, лежавшую у нее на коленях. Затем равнодушно взглянула на приближавшегося Ипатова. Он подошел и положил ей на программку номерок.

«Ох, господи,— вздохнула она.— До чего мне все это надоело».

Ипатов обернулся:

«Что надоело?»

«Мужские капризы»,— ответила она.

«Капризы?»— удивленно переспросил он.

«А что, нет?»— она посмотрела прямо в глаза и с повелительной ноткой в голосе произнесла, указав на кресло рядом:— Ну садись же!»

И он сел. Молчал насупившись. Отгулявшие щедро отпущенное им театром время зрители занимали свои места.

«Может, скажешь, что произошло?»— неожиданно спросила Светлана.

«Ничего особенного,— ответил он.— Обыкновенные мужские капризы».

«Не хочешь отвечать — не надо»,— она пожала плечами и отвернулась.

Теперь они молчали оба. Мимо них прошли, задевая коленки, попахивая вином, майор и Кления. Переговариваясь о чем-то своем, уселись. Майор хотел что-то спросить у Ипатова, но в последний момент раздумал. Погас свет в зале. Грянула уже знакомая музыка. Весело пошел занавес...

Ипатов смотрел на сцену отсутствующим взглядом, и все, что там делалось, казалось ему бессмысленным и глупым ералашем — герои зачем-то убегали, прибежали, а в промежутках между беготней долго и нудно выясняли отношения — личные и общественные. Он хотел только одного — чтобы быстрее окончился спектакль. И страшно жалел, что не ушел до начала акта, кляня себя за минутную слабость. Ведь то, что Светлана слукавила, не была с ним откровенна, он понял сразу. У нее не хватало духу признаться в главном — в том, что стыдилась его. Словом, никогда еще самолюбие Ипатова не страдало так, как сейчас...

А может быть, уйти, не дожидаясь конца? Не такая уж беда, если он в течение нескольких минут будет на виду у всего зала. Главное, она поймет, что он не из тех, кем можно помыкать. Пусть лучше стыдится своих малокультурных родителей с их смешными претензиями и потугами, чем его, Кости Ипатова, интеллигента в пятом или шестом поколении. Обида не убывала. Она клокотала в нем, как в закрытом сосуде, и, казалось, вот-вот должен был произойти неминуемый взрыв...

И вдруг он ощутил легкое, осторожное прикосновение к руке, лежавшей на подлокотнике. Он вздрогнул и резко повернулся в кресле. Светлана смотрела на него каким-то не своим, неподвижным взглядом. Ипатов в одно мгновение забыл об обиде. Сердце заколотилось так, что на некоторое время, как показалось Ипатову, заглушило музыку.

Светлана придвинулась к нему и тихо сказала:

«Не дуйся, хорошо?»

«Хорошо», — немедля согласился он.

И она ответила на это очаровательной мальчишеской улыбкой...

Легко сказать — отвлечься от сердечной боли, не думать о ней. Йогам это, может быть, и под силу. Но он не йог, и чем отчаяннее он пытался думать о постороннем, тем упрямее напоминало о себе сердце. Да и могли он думать о чем-нибудь постороннем здесь, на этой проклятой лестнице, где все, буквально все кровоточило, как старая, неожиданно открывшаяся рана. И даже эта ступенька, на которой он скорчился от боли, медленно прорастала воспоминаниями. Кажется, на ней, а может быть, чуть ниже или выше они сидели в тот вечер с Валькой Дутовым и попыхивали папиросами (сигареты тогда курили еще немногие). Разговор шел, наверно, о Светлане — о ком же еще? — и, надо думать, Валька по-прежнему отговаривал его волочиться за нею. Бедный, бедный Валька... Для него уже все позади — и радости, которые он не замечал при жизни, и беды, накатывавшие на него одна за другой. Но если о других неудачниках еще можно сказать: немилосердно швыряло, как щепку, бурливое житейское море, о нем этого не скажешь: он сам выбрал себе судьбу. Достаточно вспомнить хотя бы тот случай, когда он, к удивлению всех, вдруг ни с того ни с сего ушел со

второго курса Университета. Добро бы учился плохо, имел многочисленные «хвосты». А то с первых же дней учебы он поражал всех — и преподавателей, и студентов — своими способностями. Он мог часами читать на память стихи давно забытых поэтов, о которых Ипатов и другие студенты-фронтовики и слыхом не слыхали: Анненского, Вячеслава Иванова, Цветаевой. У него было то, что пока отсутствовало у большинства ребят, — удивительное чувство слова. Казалось, путь в филологи определен ему самой судьбой. Но за месяц до сессии он неожиданно перестал ходить на занятия. Посланцев курса он встретил лежа на диване, в обнимку с каким-то шелудивым непородистым псом.

«Познакомьтесь!» — сказал Валька.

И пес каждому вежливо подал лапу.

«Он может делать стойку, подавать тапочки, считать до пяти, играть в футбол и хоккей, ухаживать за женщинами, сдавать экзамены, — перечислял достоинства своего четвероногого друга Валька. — А ведь у него нет ни высшего, ни среднего, ни даже начального образования...»

«Ты к чему это?» — насторожились гости.

«К тому, братцы, что мне все до чертиков надоело... Мы сильнее, чем прежде, грустим, постарели все боги земные, вселенная голосом плачет твоим, и приходят созданыя иные одно за другим... Ребята, хотите выпить?»

И лучшие из лучших (комсорг, профорг и Ипатов, замещавший заболевшего старосту группы) надрались так, что начисто забыли, зачем пришли. По настоянию отца Валька поступил в Медицинский институт, но и там продержался чуть больше года. «Резать живых людей еще куда ни шло, — заявил он старым друзьям. — Но трупы?» Потом он, рассказывали, учился не то в Театральном, не то в Библиотечном. Но наверно, опять не кончил, ибо при встречах вел себя очень странно: где работает — не говорил, всячески темнил. С каждым годом он все больше опускался, и уже многие замечали, что он выглядел значительно старше своих лет. Однажды Ипатов встретил его на улице вдрабадан пьяного. Валька едва стоял на ногах, был жалок и беспомощен. Пришлось проводить его до самого дома. Жил он на девятом этаже в крохотной однокомнатной квартире. Оказалось, что месяц назад от него ушла вторая жена. На всем был налет страшного запустения: немытая по-

суда, толстый слой пыли, неприбранная постель и в каждом углу батареи пустых бутылок. Заплетающимся языком Валька возвестил: «Батя сказал, что я позорю его седины, что он не намерен поддерживать со мной никаких отношений. Он теперь сам по себе, а я сам по себе».

Было еще несколько мимолетных, случайных встреч — на улице, в прокуренных забегаловках, один раз в театре — играли какую-то плохонькую пьеску, зрители начали уходить уже с первого действия. Ипатову запомнилась грубо размалеванная девица, которая мертвой хваткой держала Вальку за рукав пахнущего химчисткой пиджака. Валька был трезв, чуть стеснялся Ипатова. О спектакле он, вопреки ожиданию, отозвался уважительно...

Ипатов лежал в больнице с воспалением легких, когда узнал о смерти Валькиного отца. Некролог об этом был напечатан всеми газетами. Первым делом Ипатов подумал о Вальке: как он там?

Встретились же они только через полгода. Валька стоял у крохотного магазина на Владимирской площади и пытливым взглядом провожал входивших туда мужчин. Увидев Ипатова, он одновременно смутился и обрадовался. Но желание выпить взяло верх, и он, подстрелив у бывшего приятеля трешку (остальные шестьдесят две копейки у него были зажаты в кулаке), побежал брать «полбанки». Распили они ее на квартире у какого-то художника, который жил у Пяти углов и держал двери открытыми для всех страждущих интеллигентов своего микрорайона. Валька первый заговорил об отце: «Батя за два года до смерти женился на своей аспирантке, ей двадцать шесть, а ему семьдесят три; но не подкачал старик, такого пацана сварганил!.. Тут, братцы, без обмана: вылитый батя!»... «Помнишь, Костя, сколько у нас картин было? Имена-то какие! Одно громче другого. Батя все боялся, что я их каким-нибудь жучкам спущу. Еще при жизни музеям передал. И правильно сделал: не я, так моя прекрасная леди, мачеха моя ненаглядная, профукала бы их. Я — на водку, она — на тряпки!»... «Все считают меня конченным человеком. А я возьму и брошу пить. Если бы вы знали, братцы, какая человечинка меня полюбила. Я вижу — не верите. Я сам не верю. Вот для нее — не для себя — и брошу!»

Но бросил ли Валька пить и как у него сложились дальше отношения с «человечинкой», Ипатов так и не удосужился узнать: два года занимался обменом квартир, сперва разъезжался, а потом съезжался с тещей.

И вдруг телефонный звонок одного старого приятеля по Университету:

«Валька — на Песочной. Говорят, обречен. Понимаешь, никто, ни одна сволочь его не навещает. Надо бы сходить, проведать».

Встретились на Финляндском вокзале, поехали.

Бывший однокурсник (тот самый комсорг, что накачался вместе с ними тогда у Вальки) заранее все разузнал: и когда приемные дни, и время, и что можно принести из съестного.

Валькина палата находилась где-то в конце коридора. Когда они вошли, их встретили незнакомые лица — бледные, худые, обреченные.

«Дутов здесь?» — спросил Ипатов у мужчины, равнодушно скользнувшего по нему отрешенным взглядом.

Тот молча кивнул на кровать у окна.

Там, накрывшись с головой одеялом, лежал человек.

Они бесшумно, почти на цыпочках, подошли к нему.

«Валя!» — тихо сказал Ипатов.

Одеяло слегка приоткрылось, и на них глянули Валькины глаза, но не те добрые и открытые, к которым они привыкли, а какие-то далекие и затравленные. Похоже, он не узнавал своих бывших однокашников. Потом в его зрачках что-то дрогнуло и чуть-чуть ожило. Придерживая одеяло рукой у рта, Валька повернулся к ним лицом и показал глазами на соседнюю кровать, хозяин которой только что вышел из палаты. Они сели на самый край.

«Год какой-то дурацкий, — бодрим тоном начал Ипатов. — То один болеет, то другой. Я сам провалялся месяц с сердечным спазмом». Сказал и пришел в замешательство: на него в упор, не мигая, смотрели все понимающие Валькины глаза.

«Тут мы тебе принесли», — потянулся он за сумкой с передачей.

Валька пробормотал под одеялом что-то невнятное.

«Не надо, говорит, — пояснил один из больных — паренек с забинтованной головой. — У него опухоль языка. Страсть какая большая. Даже изо рта вылезает. Вот и стесняется показывать. Послезавтра — операция...»

Все эти подробности о себе Валька выслушал с видом затравленного зверя. Посещение бывших друзей, судя по всему, не принесло ему ни малейшего утешения...

Они облегченно вздохнули, когда санитарка напомнила им, что их время вышло. Сказав на прощание какие-то пустые и неискренние слова, они заторопились к выходу. Уходили придавленные чужой непоправимой бедой, зная, что уже больше никогда не увидят этого человека.

Валька умер через три недели после операции. Тело его сожгли в городском крематории, а урну с прахом тайком, за немалую мзду, зарыли рядом с великолепным отцовским памятником. Почти под той же плитой. Так просто и естественно состоялось возвращение блудного сына...

Ипатов ухватился за перила, попробовал встать. Боль, которая было совсем отпустила, быстро возвращалась, подстегиваемая, видимо, непрошеными мыслями о Дутове. Вот и отвлекся. Да и кто может взять на себя смелость отделить главное от неглавного в своей жизни? Что сегодня кажется неважным, несущественным, завтра, возможно, станет самым главным и решающим. И — наоборот!

Он провожал ее домой на такси. Теперь он мог позволить себе такую роскошь. Они сели на заднее сиденье, и им навстречу устремились тусклые огни вечерней Садовой. Водитель торопился в парк и гнал машину прямо по трамвайным путям. Ипатова и Светлану то высоко подбрасывало, то швыряло друг к другу. Это было и весело, и приятно. Один раз она долго не могла выбраться из его невольных объятий. А затем у Майорова он нечаянно сбил с нее шапочку. Светлана давилась от смеха. Только они вошли во вкус, как машина свернула на Подьяческую и остановилась у дома с выступающим подъездом. Ипатов сунул шоферу, не глядя, горсть рублевков.

Возможно, они и вовсе не стояли на мостовой. Вышли из машины и сразу двинулись в подъезд. Но скорее всего, было еще короткое — оно помнится смутно, как во сне, — замешательство. Ведь простись она с ним на улице, он бы покорно поплелся домой. Надо думать, она

просто взбежала по ступенькам в подъезд, и Ипатов молча последовал за ней.

А дальше он помнил все, вплоть до синей лампочки, по-блокадному освещающей крохотное пространство вокруг себя. И еще — как у них прямо из-под ног выскочила и скрылась где-то под лестницей кошка.

«Не люблю кошек», — брезгливо бросила Светлана.

«От них все зло, — шутливо заметил Ипатов. — От них и мужчин!»

«Вот как?» — глуховато сказала она.

Где-то высоко хлопнула дверь.

«Ну, я пошла», — проговорила Светлана и поднялась на одну ступеньку.

«Если я ее сегодня не поцелую, — лихорадочно думал Ипатов, — то буду шляпой, форменной шляпой».

Он положил руку на перила.

Светлана отступила на следующую ступеньку, но чего-то ждала, не уходила.

«Может быть, она тоже хочет этого, — Ипатова трясло мелкой дрожью, — а я веду себя как последний сопляк?»

«Ну, я пошла!» — повторила она и поднялась сразу на несколько ступенек.

«Смелей, смелей! — подстегивал он себя. — А вдруг оскорбится? Так ли это невозможно с ее-то гордыней? Тогда все, что с такими усилиями достигнуто, пойдет прахом!»

И тут он вспомнил, как просто и непринужденно они в первый раз поцеловались с Верой. Она была санитаркой в соседней роте автоматчиков. Однажды обстрел загнал их в один окоп. Мины ложились совсем рядом, порою в трех-пяти метрах. Осколки пролетали над самой головой. Ипатов и Вера сперва стояли, потом сели на землю. «Лейтенант, найдется покурить?» — вдруг спросила она. «Сейчас поглядим», — ответил он. Но кисет оказался пустым, и они с трудом наскребли по карманам на одну самокрутку. Вот и дымили ее поочередно. «А что теперь будем делать, лейтенант?» — загасив чинарик, спросила она. «Ждать, пока отстреляется», — рассудительно ответил он. «А может, поцелуемся?» — предложила она. «Давай!» — согласился он. И они поцеловались. И даже накрылись его плащ-палаткой, чтобы мины не отвлекали. Вот тогда-то Вера и призналась, что он давно ей нравится. За то время, пока они крутили свою недолгую — для него первую, а для нее

последнюю — любовь, он не помнил в их отношениях каких-нибудь осложнений. Несмотря на разницу в культурных уровнях, они понимали друг друга с полуслова...

«...Кто-то обещал мне конспекты...»

«Что?» — вздрогнул Ипатов.

«Кто-то обещал дать переписать конспекты!» — вкрадчиво повторила Светлана.

«Понимаешь, какая штука, — Ипатов стал медленно подниматься по лестнице, — первые тетрадки у Вальки, он уже месяц назад как взял переписать и еще, кажется, не начинал... Я у него заберу... С конца какой смысл переписывать?»

Теперь их снова разделяли всего две ступеньки. «Сейчас или никогда», — у него перехватило дыхание. Он сделал еще шаг, но тут его сапог соскользнул с отполированного обувью многих поколений жильцов каменного ребра и звучно, как кастаньетой, щелкнул о ступеньку ниже.

Светлана прыснула и — в который раз! — сказала:

«Я пошла!» — и, не очень торопясь, двинулась вверх по лестнице. Еще можно было догнать ее, мужской решительностью сгладить впечатление от его неловкости. Но ноги Ипатова точно приросли к ступенькам. Момент был упущен. Она раза два обернулась и помахала рукой.

«До завтра!» — крикнул он в пролет.

«...тра...» — гулко отозвалось эхо.

Все выше и глуше постукивали ее каблучки. Через некоторое время они совсем исчезли в ночной тишине. На самом верху чуть слышно хлопнула дверь. Ипатов, перегнувшись через перила, смотрел вверх. Черной пустой глыбой нависал над ним лестничный пролет. И тут Ипатову впервые стало почему-то не по себе от этой опрокинутой глубины...

Он сбежал по ступенькам на самое дно пролета и, сокрушенно вздохнув, вышел на улицу.

Его не было дома почти двое суток. За все время он не удосужился ни позвонить (телефон находился у соседей этажом ниже, и они не отказывались в экстренных случаях позвать), ни забежать на минутку предупредить — при желании он мог найти такую возможность. Конечно, он знал, что родители будут беспоко-

иться; даже когда он просто приходил позднее обычного — или засиживался до последнего трамвая у кого-нибудь из приятелей, или ходил провожать после различных вечеров и вечеринок знакомых девчонок, ни мама, ни папа не ложились спать, ждали. Казалось бы, они еще с войны должны были привыкнуть к его отсутствию: четыре долгих военных года, то есть почти полторы тысячи дней, его не было с ними. И где он конкретно находился, они не знали и знать не могли. Естественно, предполагали самое худшее — каждую минуту могут убить, ранить, взять в плен. Но тем не менее все это непостижимо огромное число дней они провели без него. Без него начинали день и без него кончали. И так всю войну. А тут, смешно даже говорить, его не было с ними каких-нибудь неполных двое суток. Да исчезни он на целую неделю, на месяц, если уж на то пошло, им не следовало волноваться. Ведь ему не надо было ни идти в атаку, ни зарываться в мерзлую землю под артиллерийским или минометным обстрелом, ни пластаться на открытом поле под вой входящих в пике фашистских самолетов. Правда, и сейчас может свалиться на голову кирпич. Но стоит ли принимать в расчет подобный фортель судьбы? К тому же он не ребенок, не «Костик, иди — вымой руки», а уже давно взрослый человек. Скоро ему стукнет двадцать три. Позади целая жизнь, а тут...

Словом, возвращаясь домой, он тяготился некоторым (но не больше) чувством вины. Он знал, что предстоит неприятный разговор, и потому заранее готовил в свою защиту кое-какие аргументы. Но действительность превзошла все ожидания. Едва он переступил порог, как его встретила увесистая отцовская оплеуха. За всю жизнь отец всего три раза поднял на него руку. В детстве, когда Ипатов решил проверить на мамином пальто остроту золингенской бритвы. В юности, когда он подрисовал товарищу Сталину бородку. И вот сейчас. Правда, закатив сыну полновесную плюху, отец этим ограничился. Если не считать еще словечка «скотина!», которое он процедил сквозь свои три — один сверху, два снизу — уцелевших после ленинградской блокады зуба. Ипатов проглотил и то и другое молча. Лишь прикрылся рукой, опасаясь продолжения. Но в эту минуту на шее у него повисла мама. Тычась всюду мокрым от слез лицом, она тоже и упрекала его, и спрашивала, где он пропадал, и рассказывала, какими

кошмарными были для нее и отца эти два дня, и хотела знать, будет ли он есть. Но над всем этим стояла огромная, не передаваемая никакими словами радость, что с ним ничего не случилось, что он живой и невредимый.

Постепенно он узнал все подробности. Вчера родители начали беспокоиться о нем по-настоящему только с двух-трех часов ночи. Так поздно он еще никогда не задерживался. Сперва они стояли у окна и до рези в глазах высматривали сына среди редких ночных прохожих, а потом мама не выдержала и, накинув прямо на халатик старое пальто, сошла вниз. Вскоре к ней спустился отец. Но она его незамедлительно погнала наверх: а вдруг в их отсутствие Костя позвонит соседям и те никого не застанут дома? Ни за что не соглашалась мама и поменяться с отцом постами: его оставить внизу, а самой вернуться в квартиру. Она вся была как натянутая струна. И слух, и зрение напряглись до последнего предела. Она уже за много домов, за далекими поворотами слышала приближавшиеся шаги, без труда распознавала среди загадочных ночных звуков приглушенные голоса, чирканье спичек, тихое покашливание. И с замирающим сердцем ждала. И холодело внутри: опять не он!.. Не было ни одного прохожего, который бы прошел не замеченным ею. Она страшно замерзла, но самое большое, что она позволяла себе, это постоять несколько минут в холодном подъезде (в те годы их дом еще отапливался дровами). Не обошлось и без происшествий. Одинокое стоящая ночью на улице молодая женщина вызвала понятный интерес. С ней заговаривали, приставали. Смешно говорить, но в то время мама казалась Ипатову уже пожилой, еще не старухой, но все же. А было ей тогда всего сорок три. Это на шестнадцать лет меньше, чем ему сейчас. Теперь-то он понимает, как она была молода. И как хороша собой. Мужчины, как ему смутно припоминалось, просто обалдевали от ее стройной, почти девичьей фигурки. Но мама никогда не терялась: язычок у нее был подвешен хорошо, и отбрить кого-то ей не составляло труда. Первый в ту ночь испытал на себе это человек с каким-то музыкальным инструментом в футляре под мышкой — по-видимому, один из безвестных ленинградских лабухов. «Сударыня, вы одна, и я один. Почему бы нам не поскучать вместе?» — поинтересовался, покачиваясь не то от усталости, не то от выпитого вина, лабух. «А по-

чему бы и нет?— лукаво отозвалась мама.— Становитесь рядом, будем скучать вместе».—«Если я сколько-нибудь разбираюсь в людях,— продолжал лабух,— вы кого-то ждете?»—«Жду!»— подтвердила мама. «Если не секрет — кого?»—«Внука!»— решительно подвела черту мама. У того, как она после рассказывала, челюсть так и отвисла. «И если вы когда-нибудь встретите человека с отвисшей челюстью — это он»,— смеясь, договорила она. Впрочем, кое-что, возможно, мама и присочинила. Выдумщицей и фантазеркой она была отменной. Встреча с лабухом произошла, очевидно, в самом начале ожидания. Потом ей было уже не до шуток. На приставания она или отвечала молчанием, или пугала милиционером. И даже тянулась в карман за воображаемым свистком: «Вот как свистну сейчас постовому!» И кавалеры отваливали. Принимали, вероятно, за дворничиху. Да и вид у нее был соответствующий: драный шерстяной платок, старое, выношенное пальто, в котором она ходила в сарай за дровами. Однако думается, что все эти детали в одежде можно было разглядеть лишь под утро, когда начало светать. Отец тоже не спал всю ночь. Он часто сбегал вниз — его одолевало еще и беспокойство о маме.

Но едва зазвенели первые трамваи, прошел, подбирая еще сладко позевывающих рабочих, автобус, заискрился на повороте дугой неуклюжий троллейбус — мама вновь обрела надежду: мог же Костя загулять до утра и на первом же транспорте поехать домой? Теперь основное внимание она обращала на трамвайную, автобусную и троллейбусную остановки. Но среди выходящих Кости не было ни вначале, когда сходило всего по два-три человека, ни потом, когда переполненный вагон или машина освобождались чуть ли не на половину. Было около восьми, когда она вся в слезах, раздираемая самыми худшими предчувствиями, вернулась к отцу. Тот уже собирался на работу. Стоял у крошечного зеркальца и с ожесточением, далеко оттопырив локоть, брился. Лицо его было в многочисленных порезах. Бумажки, которые он свирепо прикладывал, мгновенно пропитывались кровью. «Может быть, нам отпроситься с работы?»— плача спросила мама. Отец тяжело молчал. В издательство, в котором он работал заведующим производством, вчера нагрязнула какая-то московская комиссия, и его присутствие было совершенно необходимо. Поговаривали, что их собираются

слить с другим издательством, а это не предвещало ничего хорошего ни для него, ни для большинства коллег. С мамой началась истерика. Она кричала, что ей плевать на папино издательство, которое все равно выпускает одну макулатуру, и если ему какие-то проверяющие идиоты дороже родного сына, то она хоть завтра готова с ним развестись. Отец ушел, громко хлопнув дверью. Мама тотчас же опомнилась. Спустилась к соседям и от них позвонила к себе на завод, где работала заведующей архивом. Девочки — ее верные помощницы — заохали и заахали, узнав, в чем дело. Затем трубку взяла ее непосредственная начальница. «Конечно, конечно», — разрешила она маме не приходиться сегодня на работу. Первым делом мама помчалась в Университет, здраво рассудив, что Костя мог прямо с гулянки или еще откуда-нибудь пожаловать на занятия. Да и вряд ли имело смысл начинать поиски, не поговорив с его однокашниками: возможно, они были в курсе. Но так как никого из них она еще не знала, то сперва зашла в деканат. Секретарь факультета — полная и доброжелательная женщина — остановила в коридоре какую-то первокурсницу и послала ее узнать. Вскоре та вернулась и сказала, что Ипатова на лекции нет: не то заболел, не то уехал. Другая подвернувшаяся студентка заявила, что не видела его со вчерашнего дня. Мама с трудом сдержалась, чтобы не зареветь в присутствии находившихся в деканате профессоров и преподавателей.

(А в это время, напомним, Ипатов возлежал на Валькином диване и размышлял, как быть с сегодняшними занятиями. Когда же он все-таки заявился в Университет, обе студентки не придали этому никакого значения: ну, проспал, ну, пришел поздно, — дело обычное. О мамином визите в деканат он узнал лишь от родителей в тот памятный вечер.)

А пока убитая и раздавленная мрачными предчувствиями мама брела по набережной. Теперь оставалось обзвонить все больницы, отделения милиции и те места, куда свозят... (язык не поворачивался даже в уме произнести эти способные утешить кого угодно слова: «морг», «покойник»). И вдруг она остановилась, обожженная новой, хотя и слабой надеждой: может быть, пока она тут ходит, Костя уже вернулся домой? Ей сразу представилось, что он как ни в чем не бывало сидит на кухне и за обе щеки уплетает тушеную карто-

шку с мясом. Задыхаясь, она побежала к автобусной остановке. И чуть не опоздала. Спасибо одному военному, придержал дверь, кое-как протиснулась. Она не замечала ни тряски, ни давки, ни мороза, подбиравшегося уже к коленкам. Ее сердце разрывалось от переполнявших его страха и надежды. «Только бы он был дома... только бы он был дома...» — без конца повторяла она про себя.

Мама не помнила, как вышла из автобуса, как перешла улицу, как поднялась на свой этаж, как отперла дверь. Встретила ее тишина — пустая и зловещая. Быстро взглянула на вешалку — Костиного бобрика не было. Ноги у мамы словно налились свинцом. Не снимая пальто, она прошла на кухню, села на табуретку. Сколько так просидела, она не помнит. Может быть, минуту, а может быть, час. Скорее всего — первое. Вдруг она вскочила и бросилась в комнаты: а что, если... ведь даже не заглянула туда! Мысль об отсутствующем Костином пальто как-то выпала из головы. В комнатах был все тот же оставшийся с утра беспорядок. Никаких признаков недавнего пребывания Кости.

Часы показывали четверть двенадцатого. Мама скинула пальто, сбросила боты. Пошатываясь, вышла на лестничную площадку. Как ни страшно было обзванивать всех, иного выхода не было. Соседская бабушка — толстая, медлительная, но при этом на редкость любопытная — забросала маму вопросами. Мама отвечала невпопад, с пятого на десятое. Костю на лестнице хорошо знали и считали примерным молодым человеком («Такой вежливый, такой воспитанный. На днях поднимаюсь с полной сумкой, руки прямо отрываются. А он подхватил сумку, помог донести... Ох, господи, может, еще отыщется!»).

Дрожащей рукой мама сняла трубку. Назвала номер милиции. Телефонистка, словно предчувствуя важность и срочность предстоящего разговора, тотчас же соединила с дежурным. Тот ответил бодрым, хорошо поставленным голосом кадрового военного. Не вернулся домой? Фамилия, имя, отчество? Теперь мама стояла на самом краю пропасти. От напряжения у нее вспотели ладони. Затихла и замерла в дверях до этого не замолкавшая ни на минуту соседская бабушка. Но вот трубка снова заговорила бодро и жизнерадостно: «Вы слышите? Ипатов Константин Сергеевич в наших списках не значится!» — «Спасибо, огромное вам спасибо!» —

взволнованно проговорила мама. Сейчас она поняла одно: если бы с Костей что-нибудь случилось, милиция первой знала бы об этом. «Вы слушаете, гражданка?»—«Да, да, слушаю!»—«К сожалению, у нас сведения только о тех, кто стал жертвой дорожных и уличных происшествий, был задержан за нарушение общественного порядка».—«Да, да, понимаю!»— благодарно соглашалась мама, продолжая радоваться, что самое страшное уже позади. «Попробуйте связаться с больницами...»—«С больницами? Зачем?»— снова испугалась мама. «Я же вам только что объяснил, гражданка,— несколько раздраженно произнес дежурный.— У нас данные только о тех...» И он слово в слово повторил о сведениях, которыми располагает милиция. После этого недовольным голосом добавил: «Некоторые граждане попадают в больницу самостоятельно, а также доставляются прохожими и знакомыми...» Сам того не подозревая, он подвел маму к новой пропасти.

Ослабевшей рукой мама раскрыла огромную телефонную книгу. «Больницы... больницы...»— она долго не могла найти их в этом многостраничном омуте. Наконец наткнулась и совсем растерялась: боже, сколько их тут! Но первый же номер, который она назвала, был занят. Второй тоже. Ответил лишь третий. «Как фамилия? Горбатов?»—«Нет, Ипатов!»—«Поступил Горбатов, сотрясение мозга. Ипатов не поступал». И вдруг в разговор вклинился похмельный мужской голос: «Пушай в морг позвонит. Вчера там одного доставили. Ни документов, ничего!» Сердце резануло: Костя! «Позвоните в морг...» Ей сказали телефонный номер, но из всех пяти чисел от волнения она запомнила только два: тройку и единицу. Переспросить она опоздала: там уже положили трубку. Она позвонила еще. И вдруг спохватилась, что нечем записать. «Карандаш!»— простонала она, обращаясь к соседской бабушке. Та, несмотря на полноту и медлительность, быстро сбежала за карандашом. На какие-то мгновения у мамы отнялся язык. Она заговорила снова, только когда человек из морга (со странным — не то мужским, не то женским голосом) в сердитом нетерпении уже собирался повесить трубку. «Есть один, приезжайте!»— почти пропел голос. «Какой он из себя? Высокий, молодой, красивый?»— резала себя по сердцу мама. «Нет, старичок, кожа да кости»,— не очень уважительно отозвались о покойнике в морге. У мамы гора с плеч свалилась. На несколько секунд.

Она опять позвонила в больницу, стоявшую первой в длинном, невообразимо длинном списке. Телефон уже освободился. Ответили просто, что Ипатова среди вновь поступивших нет. Морг же, к сожалению, на ремонте. Короткое, недолгое облегчение. И еще неприятный осадок от слов: «К сожалению». Что ж, у каждого свои заботы.

Теперь на очереди больница, вторая в списке. Новый телефон — новая пропасть. Все еще занят.

С четвертой больницей соединили сразу. Но оказалось, что надо звонить совсем по другому номеру. А там долго, очень долго не брали трубку. Однако все-таки взяли, и кто-то сонным голосом возвестил, что Ипатова уже две недели как выписали. Не тот Ипатов? Другого пока не было. В морге же у них телефона нет. Как узнать? Подождите... Мама пересохшими губами твердила свою обычную молитву: «Только бы... только бы...» Прошли три... пять... семь минут... И вдруг — под грохот маминого сердца — тот же сонный голос сообщил: «Вы слушаете? Вашего у нас немає!»

Прежде чем звонить дальше, мама постояла, дала сердцу передохнуть. Потом попросила соединить ее опять со второй больницей. Все еще занято! Странно, очень странно...

«Тогда, пожалуйста, дайте...» — и мама назвала номер очередной пропасти. И пропасть, находившаяся, по-видимому, где-то очень далеко, может быть даже на другом конце города, битый час переспрашивала фамилию. В конечном счете, было произнесено что-то похожее, и пропадающий временами голос донес, что больница гинекологическая и мужчинами не интересуется: всех бы их утопить в Неве, злодеев! (Последнее мама, уж конечно, потом добавила от себя.)

Затем телефонистка по ошибке соединила с автобазой Военторга, и какой-то офицерик, одуревший от безделья, принялся вкручивать маме, что он и есть тот Ипатов, которого она ищет. И с ходу попытался назначить ей свидание у Исаакиевского собора под третьей колонной (насчет Исаакия и колонны мама, возможно, тоже придумала).

Затем мама снова попросила дать злополучную вторую больницу. И опять та была занята.

Зато ответил номер (уже не автобаза и не изнывавший от скуки офицерик), куда перед этим звонила мама. И вдруг она услышала: «Кого? Ипатова? Недавно

звонил мужчина. Тоже спрашивал о нем». Сережа? Значит, выбрал все-таки время... «Нет, родненькая, не поступал Ипатов». — «А туда?.. Ну вы сами понимаете...» — «И туда не поступал!»

Мама позвонила отцу на работу. «Сергей Петрович у директора», — ответила девушка-техред. «Позовите его, Людочка», — всхлипывая, сказала мама. «Сейчас, Анна Григорьевна!» — испугалась та. «Аня? Что случилось? Что?» — голос у отца дрожал. «Я случайно узнала, что ты тоже начал звонить по больницам. Давай разделим список». — «Хорошо, Анечка. Как только уберется комиссия, я сажусь за телефон... Ты бери первую половину списка, я — вторую!» — «Я уже звоню почти с самого утра!» — «Слушай, как только комиссия уберется, я сажусь за телефон!» — «А она еще долго будет торчать у вас?» — «Как минимум несколько дней. Но сейчас вся троица идет обедать в «Кавказский» ресторан и уже вряд ли сегодня вернется...»

До десяти вечера папа и мама обзвонили все больницы и морги. Единственная больница, до приемного отделения которой они так и не дозвонились, была все та же вторая по списку. Впрочем, дозвониться они все-таки дозвонились, но только до котельной. Пьяный кочегар, которому они все объяснили, попросил их подождать у телефона. Через минут двадцать он вернулся и сообщил, что Ипатов в больницу не поступал.

Затем родители Ипатова в полнейшем отчаянии навалились на отделения милиции, и все как один дежурные милиционеры одинаково бодрыми голосами подтвердили, что никакими сведениями об Ипатове органы не располагают.

Уже днем о несчастье, постигшем Ипатовых, знала вся лестница — об этом разрезвонила соседская бабушка, которой от волнения не сиделось на месте.

У обитых вкось и вкривь дерматином дверей люди старались ступать тише, говорить шепотом, как будто там уже был покойник.

Так что у тяжелой отцовской оплеухи была вполне солидная предыстория.

Еще сегодня человек был на работе: составлял и подписывал какие-то бумаги, разговаривал с коллегами, вместе со всеми в обеденный перерыв стоял в очереди за бананами, украдкой поглядывал на ножи

молоденьких сотрудниц, умолял подписать его на «Литературку» и «Программу телевидения», прикидывал, сколько он получит премиальных в будущем месяце, а уже вечером отдаст концы! Хотя как будто ничего такого и не делал, день был рядовой, обычный, никаких нервотрепок, все равно скажут: сердце не выдержало перегрузок. И пойдут философствовать, что, может быть, в те самые минуты, когда он делал свое обычное, даже не очень приметное со стороны дело, стачивались последние микроны отпущенной ему жизни. Хорошо скажут, дьяволы! И только будут недоумевать, какая нелегкая занесла его на шестой этаж дома, в котором никто, ни одна душа, как потом установит милиция, не имела о нем ни малейшего представления. Фантастика, товарищи, фантастика!..

Мысль о том, чтобы сходить со Светланой в «Кавказский» ресторан, пришла Ипатову под утро. Ночью он спал плохо, без конца прокручивал перед мысленным взором вчерашнее незадачливое прощание. И с досады на себя тяжело вздыхал и поскрипывал зубами. Уснул, когда забрезжил рассвет, и проснулся уже с готовой мыслью. В том, что он выбрал «Кавказский», а не другой ресторан (после демобилизации он успел побывать с приятелями — школьными и фронтовыми — в «Астории», «Метрополе», «Северном» и даже на крыше «Европейской»: отмечали встречи, отъезды, поступления в военные академии и на офицерские курсы, — да всего и не упомнишь! Перед ними, бывшими фронтовиками, народом не только заслуженным, но и денежным, широко распахивались двери лучших ресторанов. «А ведь живы, хлопцы! Выпьем за то, чтобы дома не журились!»), были свои причины. Во-первых, он там еще не был, а слышал об этом ресторане восторженные отзывы. Вот и отцовская комиссия поперла туда обедать, хотя от издательства до Невского топать и топать, можно было зайти куда и поближе. Во-вторых, кавказская экзотика. Западом Светлану не удивишь, а вот Востоком... От одних музыкантов, говорят, обалдеть можно. Не говоря уже о национальной кухне и винах! И наконец, в-третьих, наученный горьким опытом, он учел очень важное для себя обстоятельство. Как-то, проходя мимо, он обратил внимание, что в подвале, в котором размещался ресторан, стоял полумрак, почти

совсем не были видны лица сидящих внизу людей. О лучшем и мечтать нельзя. Значит, не будут бросаться в глаза его обтерханная одежда, его много раз чиненные сапоги. Да скроется солнце, да здравствует тьма! Правда, он еще не уверен, пойдет ли Светлана,— кто знает, как она отнесется к его приглашению. Но на всякий случай он предупредил маму (с отцом после вчерашнего он не разговаривал), что, возможно, придет поздно, пусть не волнуется, спокойно ложится спать. В конце концов, он имеет право прийти и утром, он ведь не мальчик, должны понять. Сказал и смутился. Можно подумать, что у него со Светланой...

День начинался счастливо. Едва только он влетел в вестибюль, как увидел Светлану. Она стояла у зеркала, что-то на себе поправляла. Он сразу понял, что она ждет его: руки у нее на мгновение замерли,— если бы был фотоаппарат, можно было бы щелкнуть. Ипатов ринулся в раздевалку. Прежде чем сойти в подвал, быстро оглянулся. Движения ее рук стали еще более неторопливыми, какими-то нарочито замедленными. Он уже не сомневался, что она дожидается его.

В очереди к нему незаметно для соседей пристроился Валька, меховой генеральский реглан благоухал дорогими нестуденческими запахами.

«Куда исчез?»— тихо спросил Дутов. (Ах, да, Валька вчера вообще не был в Университете: дрых, наверно, без задних ног весь день!)

«Пошел на лекции»,— ответил Ипатов.

«А нянька думала: спрятался где, по всем комнатам искала»,— глаза у Вальки смеялись. (Знает или не знает о ведре? Знает, конечно. Но не похоже, чтобы это его настроило против друга.)

«Видел?»— шепнул Дутов.

«Няньку, что ли?»— усмехнулся Ипатов.

«Сдавай, сдавай пальто быстрее: а то уйдет!»— с добродушной подначкой заметил Валька.

«Не уйдет!»— ответил Ипатов и перекинул пальто через барьер.

«Это что-то новое»,— не скрывая любопытства, отметил Валька.

Ипатов заторопился к выходу из гардероба. Уже с лестницы крикнул застрявшему в толпе Вальке:

«Тебе больше не нужны мои конспекты?!»

«Как тебе сказать...»— почесал тот затылок.

«Тогда принеси их завтра? Ладно?»

«Слушай, я их дня за три перепишу!»— пообещал Валька.

«Потом перепишешь!»— отрезал Ипатов.

Светлана стояла у зеркала и разговаривала со своей шкафоподобной подругой. И хотя она по-прежнему не торопилась встретиться с Ипатовым взглядом, он почувствовал, что она боковым зрением уже отметила его возвращение из гардероба. Просто в ее жестах, в ее улыбке появилось едва заметное нетерпение. И явно поубавился интерес к тому, что говорила приятельница. Те десять-пятнадцать метров, которые разделяли их, он прошел под нарастающий барабанный бой сердца. Как будто подходил к ней впервые, как будто не было ни «Вольного ветра», ни первого и второго провожаний домой, ни почти ежедневных встреч на факультете, как будто будущее их зависело именно от этого случайного свидания в вестибюле. Он даже не запомнил, как поздоровался с нею: не то «Доброе утро!», не то «Привет!». Она тоже ответила что-то в этом духе.

Приятельница, которой он помешал спокойно досказать волнующую историю о какой-то девице, отбившей у своей подруги мужа, пыталась продолжить, но ни Светлана, ни тем более Ипатов не собирались слушать. Хорошо, что до той быстро дошло, что она третий лишний.

«Ну, я пошла!»— проговорила она и горделиво проплыла мимо Ипатова.

«Что это за шкаф?»— наклонившись к точеному ушку Светланы, спросил он.

«Нельзя быть таким злым»,— мягко упрекнула она и взяла его под руку.

«Нет, правда, я где-то его видел,— уже не мог остановиться Ипатов.— Только не помню, в какой аудитории?»

Он осторожно нес ее руку, лежавшую у него на сгибе локтя, и не чувствовал под собой ног от переполнявшей его радости. «Вот так-то,— пела в нем каждая клеточка.— Сколько ребят вокруг, но она из всех выбрала меня!» И впрямь, не было ни одного человека, который, обгоняя их на лестнице, не обернулся бы.

«Она переписывается с самим Бидstrupом»,— сказала Светлана.

Ипатов удивленно посмотрел на нее: о чем она? Ах, об этом шкафе.

«Ее отец какая-то большая шишка».

«Наверно, тоже шкаф каких мало!— ехидно прооронил Ипатов.— Во всю стену!»

Светлана хмыкнула. Потом заметила:

«Я его видела: славный дядечка».

«Славный?»

«Ну да! Он целый день катал нас на своей машине».

«На своей или служебной?»— поинтересовался Ипатов, не терпевший никаких неясностей.

«Конечно, на служебной!»

«Бедный шофер!»

«Почему бедный?»— удивилась Светлана.— Не все ли равно ему, кого и куда возить?»

«Может быть, и все равно»,— иронически согласился Ипатов.

«Ну то-то же!»— удовлетворенно произнесла она — очевидно, интонация сказанного, подозрительная раздумчивость ипатовских слов ускользнули от ее внимания.

«Слушай, а не рвануть ли нам куда-нибудь сегодня вечером?»— как можно непринужденнее спросил Ипатов.

Ее серые глаза смотрели на него по-доброму, но насмешливо:

«Опять на оперетту?»

«Да ну ее к черту!— засмеялся Ипатов.— Давай лучше закатимся в какой-нибудь трактир?»

«В ресторан?»— уточнила она.

«Ну да! Если заменять иностранные слова, то до конца!»

«Я не вижу в этом ничего смешного»,— вдруг сказала она.

«В чем?»— как-то растерянно спросил он.

«В том, что иностранные слова заменяются нашими — русскими».

«Я тоже не вижу в этом смешного, даже наоборот»,— заметил Ипатов.

«Так надо!»— четко произнесла она.

«Возможно»,— пожал он плечами.

«Так надо»,— уже мягче повторила она.

«Не спорю, может быть, что-то и следует заменить»,— согласился он.— Но, разрази меня бог, я не вижу смысла в том, чтобы переименовывать французские булки. Ей-богу, они от этого не станут вкуснее!»

«Папа говорит: лес рубят, щепки летят!»

Ах вот откуда ветер дует! Выходит, ее отец время от времени еще и что-то вещает... Неприязнь к этому нелюдимому человеку мешала, уводила в сторону, и Ипатов решил больше не думать о нем, тем более что сейчас было не до него.

Они поднялись на второй этаж, и тут он спохватился, что ему надо направо, а ей — налево. В четверг не было общих лекций, одни семинары, встретиться можно было только в перерывах, да и то не всегда — то преподаватель задержит на несколько минут, то какое-нибудь очередное мероприятие в группе.

«Ну так как же?» — спросил он.

«А... ты об этом! — вспомнила она. — Что ж, сходим!»

«В полседьмого у Казанского собора?»

«Собор — большой», — напомнила Светлана.

«У Баркляя де Толли. Он ближе!»

«К чему ближе?» — не поняла она.

«Потом скажу!» — бросил Ипатов, заметив, что к их разговору прислушиваются.

Она пошла в свою сторону, он — в свою.

Потянулись долгие и нудные часы занятий. Но это не помешало Ипатову впервые за время учебы схватить две двойки. По латыни он забыл перевести отрывок из речи Цицерона против Катилины, собиравшегося захватить власть в Риме. Латинист внимательно посмотрел на смутившегося Ипатова поверх очков и не сказал ни слова. Но пометку какую-то в своей тетрадке все-таки сделал. Зато старушка-немка, узнав, что он не выполнил домашнего задания, произнесла целую тираду.

«Воевали вы, судя по вашим наградам (Ипатов оторопело уставился на нее: он вообще никогда не носил ни своих двух орденов, ни своих четырех медалей. Откуда ей известно о них?), лучше, чем в последнее время готовитесь к занятиям. Надеюсь, на большее, чем двойка, вы не претендуете?» — закончила она.

На большее он не претендовал. И она, прямо обожавшая своих учеников-фронтовиков, нарисовала против его фамилии крохотного-крохотного лебедя — такого и в микроскоп не разглядишь.

Самое странное, что он в эти дни и не вспомнил о домашних заданиях.

Неприятности с учебой в избытке компенсировались предстоящим свиданием. Впрочем, Ипатова ожидал еще один сюрприз — не столь приятный, но все же

польстивший его мужскому самолюбию. Во время одного из перерывов к нему смущенно подошла незнакомая девушка и протянула записку: «От Жанны!» Он с некоторым любопытством, но в целом равнодушно развернул ее и увидел стихотворение, написанное почти детским почерком:

Глаза далекие и прекрасные,
Мне видеть вас и больно и легко.
Зачем рождаете мечты мои неясные,
Зачем запали вы мне в душу глубоко?
Зачем вы мучаете болью непонятною
И заставляете метаться и страдать,
Зачем даете вы мгновенья безвозвратные
И не умеете их дважды повторять?

И вместо подписи — «ЛИИВТ» (что означало, как сообразил Ипатов, Ленинградский институт инженеров водного транспорта). Стихи были слабые, очень слабые, но Ипатов то и дело перечитывал их украдкой. Оказывается, глаза у него «далекие и прекрасные». Кто бы мог подумать...

Говорят, иногда помогает массаж груди. Надо только долго вращать — не то по часовой стрелке, не то против, точно не помнит, — в области левого соска. Вращать до непослушности пальцев, до синяков, до тех пор, пока вся внутренняя боль не перейдет в наружную. Ипатов расстегнул рубашку, и его пальцы погрузились в заметно отвисающее, дряблое, немолодое тело. Еще утром, когда он в одной майке и трусах после зарядки прохаживался по квартире, пятнадцатилетняя дочь Маша не удержалась от ехидного замечания:

— Папа, тебе скоро придется покупать лифчик!

Он тут же смутился и ушел в свою комнату. Там снова принялся приседать, и так и этак поворачивать туловище, сгибаться и разгибаться, отжиматься одними руками...

Потом он долго не мог отдышаться. Плюхнулся на стул и так сидел, жадно заглатывая ртом воздух. В этой жалкой и беспомощной позе и застала его забежавшая попрощаться перед школой Машка. Надо было видеть ее мордашку, чтобы понять, как он ей дорог. Там был написан такой страх, что Ипатов сам перепугался не на шутку. Но он нашел в себе еще силы улыбнуться и сказать Машке, что взял слишком быстрый темп и вот

теперь пытается наладить дыхание. Он видел, что она и верила ему, и не верила. Однако время поджимало (ее дневник и так был испещрен записями о том, что она систематически опаздывает на уроки), и она заторопилась в школу. Но до самых дверей не спускала с него своих жалостливо-недоверчивых глаз. Может быть, от этого взгляда и полегчало ему тогда? Вот кого бы сейчас сюда. Только бы прижаться щекой к ее детской, перепачканной чернилами ладошке. За всю жизнь у него не было человека более близкого и родного, чем она. Нет, были еще папа и мама, которых он потерял так давно, что они уже почти не сняты ему. Но родители — совсем другое. Да, славная у него дочурка. Одно беспокоит его, что такая худущая. Худущая и длиннющая. Она же, вопреки здравому смыслу взрослых, даже гордится этим. («Папа, смотри, я уже тебя догнала!» Фигушки! До его ста восьмидесяти пяти ей еще пыхтеть и пыхтеть! И все же... Или: «Папа! Мы втроем — я, Татка и Лариса — в твои старые брюки влезли!» Подумать только, втроем в одни брюки. И смех и грех!) Мысли о ней согревают сердце, и боль как будто отступает. Пусть ненадолго, пусть всего на несколько минут, но отступает. Конечно, он еще трет и трет свой несчастный сосок, сперва по часовой стрелке, а потом, когда не помогло, против. Скоро, кажется, дотрет до дыр, уже занемела рука, а боль все тычется, как живая, мордой о грудину. Если и суждено ему помереть на этой чертовой лестнице (не в пролете, как могло быть тогда, а совсем прозаически, сидя на ступеньках), то он бы хотел, чтобы в эти последние минуты с ним была Машка. Не жена, которую он не видит месяцами (она работает директором картины и, как он подозревает, путается то с одним, то с другим режиссером. Недаром над ее столом висит изречение: «Жизнь коротка, а искусствоечно»). Не сын, который больше озабочен тем, что скажут или подумают его сановитые тесть и теща. В конечном счете, все равно, где это с ним случится, дома ли в постели, на больничной ли койке, в кресле ли перед телевизором или на этой — будь она неладна! — лестнице, лишь бы напоследок прижать к губам тонкую, с проступающими косточками руку дочери. Впрочем, окажись Машка здесь, она бы не сидела сложа руки. Мало того, что-вызвала бы «скорую», но еще обежала бы все квартиры, сверху донизу, и, надо думать, где-нибудь раздобыла бы несколько таблеток валидола или

нитроглицерина. Может быть, не так уж много и надо, чтобы изгнать боль.

И только потом, когда ему стало бы легче, насмешливо сощуриив свои и без того небольшие (из-за близорукости, которой она страдает с детства) глаза, предъявила бы ему свой дочерний счет:

— Итак, кто она?

Вот и отвечай ей, спустя тридцать пять лет после случившегося, на этот вопрос...

Едва они спустились в ресторан, как на них обрушились резкие запахи кавказской кухни, грохот каких-то музыкальных инструментов и тот самый, столь привлекающий Ипатову, полумрак, раздираемый на части множеством человеческих голосов. Оба остановились в нерешительности, не зная, за какой из столиков лучше сесть. И хотя свободных мест было еще достаточно, отпугивало соседство с изрядно выпившими и чрезмерно шумными любителями восточной экзотики. Незанятых столиков, похоже, не было.

В отличие от Ипатову, который был как на иголках, Светлана холодно и надменно взирала на весь этот пьяный ресторанный ералаш. Она, как всегда, была поразительно хороша. Элегантное серое шерстяное платье, которое Ипатов видел на ней впервые, украшала ниточка дорогих кораллов. Черные лакированные лодочки и черные ажурные перчатки, безукоризненно обтягивающие руку, как-то удивительно точно дополняли ее наряд. Первым Светлану увидел и уже не мог оторвать взгляда немолодой толстяк, сидевший за крайним столиком. Затем на нее стали пялить глаза два молоденьких летчика, по-видимому только что выпущенных из училища. Потом ее принялась рассматривать с ног до головы средних лет дама в вечернем платье. И обернулся целый столик — не то студенты старших курсов, не то аспиранты. За компанию, разумеется, разглядывали и Ипатову.

Но тут к ним подлетел субъект в косоворотке, перетянутой узким кавказским ремешком с металлическими украшениями. Его черные глаза были по-профессиональному деликатны и ласковы — распределяли интерес поровну между Светланой и Ипатовым.

«Добро пожаловать, дорогие гости!» — не то с гру-

зинским, не то с армянским акцентом протянул он. И с широким жестом повел их куда-то в глубь зала.

«Послушайте, вы не можете посадить нас за отдельный столик?» — попросил Ипатов официанта.

«Никак не получится, дорогой. У нас все столики на шесть персон. — И негромко добавил: — Но вас я посажу за наш лучший столик. Для самых дорогих гостей!»

Он действительно подвел их к свободному столику, на котором стояла табличка: «Занято». От других столиков этот отличался еще тем, что в центре его белел букетик хризантем. Подальше был и оркестр — не так гремело.

Официант положил перед ними меню:

«Выбирайте, дорогие! Холодные закуски. Горячие блюда. Коньяки. Водка. Сухие вина. Цыплята табака сегодня — объедение!»

«Что возьмем?» — спросил Ипатов Светлану.

«Мне все равно». И опять, как уже не раз было до этого, от нее повеяло холодом.

Официант вежливо отошел в сторону.

Ипатов растерянно листал меню: одни закуски занимали в нем две страницы. Не говоря уже об остальном! И названия одно другого загадочнее: чахохбили, чакапули, абхазури, чебуреки...

«Не знаю, как другие, но я здесь как в дремучем лесу! — признался Ипатов. — Нет, здесь черт ногу сломит!.. Давай вместе соображать».

«Правда, мне все равно», — сказала она.

«Тогда позовем на помощь этого сына гор», — Ипатов подозвал официанта.

«Понимаю, дорогой, — подхватил тот, даже не дослушав до конца. — Будешь доволен!»

И так же быстро, как появился, исчез.

«Ну вот, полный порядок!» — облегченно вздохнул Ипатов, хотя на душе у него немного поскребывало: а вдруг тот принесет столько, что никаких денег не хватит? Тут уж легким конфузом не отделаешься, рад будешь сквозь землю провалиться. Это будет похлеще, чем тогда в «Астории», куда его затащил Мишка Чухнин, бывший адъютант комбрига, поступавший в то время на какие-то командные курсы. Помнится, наели, напили они чуть ли не на двести рублей. И вдруг Мишке приспичило пойти вниз позвонить одной своей ленинградской знакомой (прошлой ночью они ехали в соседних купе и уже через два часа в Калининском об-

нялись телефонами). «Я — мигом!» — сказал Мишка. Но прошли час, полтора, а его все не было. Будь у Ипатова деньги, он бы махнул рукой на пропавшего и сам расплатился. Но у него в кармане была всего десятка — в лучшем случае официанту на чай. Уже начали расходиться последние посетители, спустились в зал усталые музыканты, отдавал какие-то распоряжения озабоченный метрдотель. Наверное, добрых полчаса косился на Ипатова официант, обслуживавший их столик. Наконец не выдержал, подошел: «Гражданин, ресторан закрывается. Разрешите получить?» Ипатов стал объяснять, что деньги у друга, что тот пошел позвонить своей девушке и с минуты на минуту вернется. Официант же глядел на его потертый, залатанный китель и недоверчиво усмехался. Потом попросил пройти к дежурному милиционеру. Никогда в жизни Ипатов не был так красноречив, как в эти позорные для себя минуты. Он и упрашивал подождать еще немного («Ну еще минут десять-пятнадцать? Может быть, он по пути зашел в комендатуру отметить?»), и предлагал часы под залог («Видите, именные? Мне их сам командующий вручил!»), и взывал к гражданской совести обступивших его двух официантов, одного метрдотеля и одного милиционера («Да я никуда не удержу! Я же бывший фронтовик! Гвардии старший лейтенант!»), и вообще нес какую-то ахинею («Вот возьмите десять рублей, сто девяносто я занесу завтра!»). Все было тщетно, все плотнее сжималось кольцо. Но, как в плохой пьесе, под самый занавес влетел запыхавшийся Мишка. Потом он признался: дозвонившись до своей дамы сердца, он тут же схватил такси и поехал к ней в гости. И уже там, не без труда добившись того, чего добивался, он вдруг вспомнил о Ипатове, покинутом им в ресторане без копейки денег. Было около часа ночи. Нетрудно представить, с какой скоростью мчался Мишка выручать друга. Несмотря на ветер в голове, хорошее в нем всегда брало верх...

«А знаешь, здесь не так уж и плохо», — вдруг сказала Светлана, окинув взглядом небольшой уютный зал.

«Иными словами, хорошо?» — Ипатов положил руку на спинку ее стула.

«Я сказала: не так уж и плохо», — упорствовала она.

«Конечно, куда ему до ресторанов Стокгольма и Копенгагена!» — улыбнулся Ипатов.

«Там тоже рестораны разные,— возразила она.— Даже есть такие, куда не принято ходить».

«Среди кого — не принято?»— спросил он.

«В обществе, конечно!»— она словно удивилась заданному вопросу.

«В каком обществе?»— не понял он.

«Я имею в виду,— слегка смутившись, сказала Светлана,— тот круг людей, в котором вынуждены вращаться дипломаты и члены их семей».

«А, бомонд!— весело уточнил Ипатов.— Высший свет! Барон Меланж, графиня Корнфлекс!»

«Не смешно,— мгновенноотреагировала она.— Кстати, на дипломатических приемах, кроме официальных лиц, бывают известные писатели, артисты, ученые...»

«Энто и нам известно!»— заметил Ипатов.

«Любопытно, откуда?»— серые глаза Светланы глядели внимательно и чуть насмешливо.

«Да все оттуда же!— вздохнул он.— Из газет!»

(Да, они с ребятами, шатаясь по танцплощадкам и кабакам только что освобожденных Берлина, Праги, Вены, не очень-то привередничали. Благо, что встречали их всюду как дорогих гостей, как победителей ненавистного фашизма. Вилькоммен! Будьте витани! Витамы!).

Вынырнувший из-за угла официант поставил перед ними графинчик с коньяком и бутылку «Мукузани», протер салфеткой бокалы, смахнул с белоснежной скатерти невидимые пылинки. Его ласковый взгляд по-прежнему никому не отдавал предпочтения.

«Немного терпения, дорогие гости!»— сказал он и удалился под крепнувший с каждой новой строкою голос певца, одетого, как и все оркестранты, в темную черкеску:

Ну-ка, товарищи, грянем застольную,
Выше стаканы с вином!
Выпьем за Родину нашу привольную,
Выпьем и снова нальем!

Неожиданно к их столику прибило парня с недоброй ухмылкой на широком помятом лице. Он смотрел на Ипатова каким-то наглым дразнящим взглядом.

«Места свободные?»— кивнул он на незанятые кресла.

Ипатов молча показал на все еще стоящую в середине стола табличку: «Занято».

«Ну, я займу всего одно местечко,— глумливо произнес парень и сел рядом с Ипатовым. После короткой паузы он сказал:— Где-то я тебя видел?»

Лицо парня было совершенно незнакомо.

«Вряд ли,— хмуро ответил Ипатов и, склонившись к угреватому уху нового соседа, тихо сказал:— Слушай, друг, ты не мог бы пересесть за другой столик?»

Тот ответил пренебрежительным взглядом.

На них с любопытством поглядывала Светлана.

«Твоя девочка?»— шепотом справился парень.

Ипатов изо всех сил сдвинул ему плечо и сказал в самое ухо:

«А ну выметайся отсюда!»

Парень резким движением сбросил его руку. Под столом что-то щелкнуло — сверкнуло лезвие ножа.

«Знаешь, сколько сантиметров?»— вполголоса спросил парень.

«Сколько?»— холодея и в то же время, как это с ним всегда бывало в минуты опасности, обретая спокойствие, проговорил Ипатов.

«Тринадцать с половиной»,— сообщил парень.

«Дай ухо сюда!»— в свою очередь шепнул Ипатов.

Парень с подчеркнутой готовностью придвинулся вплотную.

«А знаешь, сколько патронов в моем «вальтере?»— для убедительности Ипатов потянулся к заднему карману, где по-прежнему оттопыривалась пачка денег.

Парень опасливо отодвинулся:

«Сколько?»

«Четыре,— сказал наобум Ипатов.— Три в обойме, один в патроннике. Думаешь, недостаточно?»

Некоторое время они в упор смотрели друг другу в глаза. Первым не выдержал взгляда парень. Он снова щелкнул под столом ножом, спрятал его в карман. Потом встал и произнес с угрозой:

«Ну, ладно. До скорой встречи, артиллерист!»
(«Почему артиллерист?»)

И все с той же гнусной ухмылкой на широком лице растворился в табачном дыму.

Ипатов растерянно смотрел на Светлану — до того неожиданными и неуместными показалось ему ее слова:

«Костя, ты не заметил, какие у этого типа шикарные ресницы?»

«Ресницы?»— только и произнес он.

«Ну да, длиннющие, пушистые, как у девчонки».

«Нет, не заметил», — ответил он, все еще находясь под тягостным впечатлением от стычки с бандюгой.

«Костя, это не секрет, — все так же несерьезно допытывалась Светлана, — о чем вы так долго шипели друг другу на ухо?» (Конечно же, она ничего не разобрала: мало того, что они с парнем говорили вполголоса, кругом еще такой грохот!)

«Да так, не очень умный мужской разговор», — Ипатов улыбнулся, но улыбка получилась, как он почувствовал, вымученной...

Снова появился официант. Большой поднос весь был уставлен едой. «Хватит ли расплатиться?» — со страхом подумал Ипатов. И в самом деле, чего тут только не было: и черная икра, и шпроты, и салат из крабов, и шашлыки, и еще что-то из кавказской кухни.

Волосатые руки священнодействовали.

«От такого шашлыка, — расставляя кушанья, приговаривал официант, — сам товарищ Сталин не отказался бы!»

«А это мы сейчас проверим, — проговорил Ипатов и вдруг внутренне замер, неожиданно обнаружив двусмысленность сказанного. Торопливо поправился: — Сейчас проверим, какие у вас шашлыки!»

«Проверяй, дорогой, проверяй!» — отозвался официант. На его симпатичном румяном лице мирно, может быть, даже чуточку подозрительно-мирно уживались простодушие и хитрость.

Наполнив бокалы темно-красным «Мукузани» и напомнив, что шашлык надо есть, пока не остыл, официант как бы нехотя перешел к другим своим столикам — принимать заказы, получать деньги.

«Ну так что же? Выпьем и снова нальем?» — Ипатов поднял бокал.

Светлана посмотрела ему в глаза. Ее взгляд притягивал и в то же время, мгновенно остывая, удерживал на расстоянии.

Они чокнулись. Ипатов выпил залпом и сразу принялся за шашлык. Светлана же слегка пригубила рюмку.

«Не нравится?» — обеспокоенно спросил он.

«Нет, почему, вино как вино».

«Может быть, коньяку?»

Светлана покачала головой...

Шашлык и впрямь был на высоте: душистый, сочный, нежный, прямо таял во рту.

«Давно не ел такой вкуснятины. Нет, правда, язык проглотил!» — смущенно оправдывался Ипатов.

Иногда он спохватывался и спрашивал Светлану:

«А ты почему не ешь?»

«Не хочется,— отвечала она так, словно сидела не в ресторане, а дома.— Честное слово, не хочется».

По-видимому, она и не собиралась есть: вся еда стояла возле нее нетронутой.

И опять, как тогда, на дне рождения, Ипатов с презрением к себе подумал о своих родителях и бабушке, которые не смеют и мечтать о таких деликатесах. Самое большое, что они могут позволить себе, это купить на праздники двести граммов колбасы и столько же сыра («Пожалуйста, только не самый край... Если вас не затруднит, нарежьте потоньше...»). Они бы ни за что не поверили, что кто-то может вот так легко и невозмутимо пренебрегать икрой и шпротами.

«Давай выпьем за судьбу?» — вдруг предложил Ипатов.

«За судьбу?» — Светлана задумалась: тост был несколько загадочным.

«Ну да, за судьбу!» — подтвердил он.

«Судьба бывает разная: счастливая, несчастливая...» — объяснила она свое сомнение.

«За какую же еще — за счастливую!» — подхватил он.

Против «счастливой судьбы» она не возражала. И даже выпила больше половины рюмки.

«Понимаешь,— продолжал Ипатов,— я своей судьбой — просто судьбой! — доволен!»

Она слушала внимательно, с улыбкой.

«Смешно говорить об этом, но мне повезло еще при рождении. Мама рассказывала, что я родился мертвым. Ну да, мертвым! Не дышал, не пищал, ничего. Чего только со мной не делали, чтобы оживить,— ничего не помогало. Шлепали, переворачивали вниз головой, швыряли из кипятка в ледяную воду и снова в кипяток. Словом, все перепробовали. А дальше началась фантастика. По одной из семейных версий, я воскрес, когда меня на минутку положили рядом с только что родившейся девочкой. Сразу ожил, потянулся к ней...»

Светлана сквозь смех допытывалась:

«Нет, правда, правда?»

«Я же сказал: по семейной версии. Мама у меня ужасная фантазерка».

«А ты в нее?» — лукаво осведомилась она.

«Нет, мне далеко до нее! — засмеялся Ипатов. — А по другой версии, кто-то из роддомовского начальства включил на полную мощность динамик — как раз передавали репортаж о футбольном матче между Ленинградом и Москвой — и я тут же заорал вместе со всеми: «Ма-зи-лы! Ма-зи-лы!»

Светлана хохотала до слез:

«Ох, господи, ох, господи!»

«Вот с тех пор и началось мое везение. Вплоть до нашей встречи», — заключил он...

Но последних слов Светлана, похоже, не расслышала: то ли Ипатов сам понизил голос, то ли его заглушил оркестр. Музыканты трудились на совесть. Солист выходил кланяться, не дожидаясь аплодисментов. Спел «Вечер на рейде» и «Раскинулось море широко», он объявил, что, согласно многочисленным пожеланиям трудящихся, еще раз исполнит «Наш тост». Во время пения он показывал жестами, когда публика должна пить сидя, а когда стоя.

Встанем, товарищи, выпьем за гвардию —
равных ей в мужестве нет,
тост наш за Сталина, тост наш за партию,
тост наш за знамя побед!

Когда отзвучали последние здравицы, Ипатов вдруг возмущился:

«Почему он не пел: «Выпьем за тех, кто командовал ротами, кто умирал на снегу, кто в Ленинград пробирался болотами, горло сжимая врагу...»?»

«Разве не пел? — удивилась Светлана. — По-моему, пел».

«Нет, не пел. Я хорошо помню!»

«А это очень важно, пел он или не пел?»

«Ну конечно же, важно! Без этих строк там одни лозунги!.. Я пойду спрошу, почему он пропустил. — Ипатов выбрался из-за столика. — Кстати, там еще должны быть слова: «...выпьем за тех, кто неделями долгими в мерзлых лежал блиндажах, дрался на Ладого, дрался на Волхове, не отступал ни на шаг!..» Я сейчас!»

«Только недолго!» — попросила она.

«Досчитай до трех!» — крикнул Ипатов.

«Раз!.. Два!..» — считала Светлана.

Почему до трех? С таким же основанием он мог бы попросить ее сосчитать и до десяти, и до пятидесяти, и до ста, и даже до двух тысяч...

Другого выхода не было. Боль уже не вмещалась в груди. Она острыми зубами впивалась в левую лопатку, переливалась через плечо, расползалась по руке. Чтобы не расплескать ее дальше, он старался не спешить, не делать резких движений — двигались только ноги (шажок — отдых, шажок — отдых), корпус же оставался неподвижен. Медленно, буквально минутами отвоевывался каждый метр лестничной площадки — той самой лестничной площадки, которая едва не стала когда-то его последним трамплином. И вот она снова, с роковой неотвратимостью, возникла у него на пути. Тогда его спас случай. А что спасет его сейчас? Не эти ли шаги? Осторожные и расчетливые, как у паралитика, они хоть и потихоньку, но приближали его к цели. Наконец Ипатов добрался до ближайших от лестницы дверей, расположенных как раз напротив бывшей Светланиной квартиры. Привалился плечом к косяку, надавил на кнопку звонка.

«Тле-тле-тон», — чисто и звонко проиграло за дверь. Он заранее обдумал, что спросит и скажет. «Понимаете, какая со мной случилась история, — начнет он издалека. — В этом подъезде — я уже не помню, на каком этаже, — живет моя тетя». Когда спросят ее фамилию, он назовет любую, даже свою, в конечном счете это уже не имеет значения. И скажет: «Пока я бегал по этажам — схватило сердце. У меня с собой ни валидола, ни нитроглицерина, ничего. У вас не найдется пары таблеток?» Он не сомневается, что ему вынесут лекарство: сейчас нет семьи, где бы кто-нибудь не страдал сердцем и не было бы аптечки. Но если не помогут ни валидол, ни нитроглицерин, он попросит вызвать «скорую помощь», в старых домах почти в каждой квартире имеется телефон...

Тишина. Похоже, никого нет дома.

Ипатов еще раз надавил на квадратную клавишу звонка, и тот снова легко и охотно проиграл свои три ноты.

И опять ни шороха, ни шагов. В квартире явно ни души. Одно «тле-тле-тон»... Впустую музыка гремит. Хотя не впустую, услаждает его слух...

Держась за стену, Ипатов медленно двинулся к соседней двери. В этой квартире во времена Светланы жил один старичок-ученый. Светлана рассказывала, что до революции он был чуть ли не царским генералом, и о нем есть статья в Большой Советской Энциклопедии (в первом издании). Старичок, судя по всему, был немного влюблен в свою молоденькую соседку: при виде ее за много шагов приподнимал шляпу, замирал, уступая дорогу на лестнице, всегда смотрел ей вслед. Наверно, и костей от него не осталось: ведь уже тогда ему было за семьдесят, если не больше. Ипатов видел его всего один раз, да и то не убежден, что это был он, не смотря на совпадение примет...

Вот и дверь, почерневшая от времени и плохих красок. Под стать ей и звонки: один надо дергать на себя, другой вертеть. Такими пользовались еще в прошлом веке. Ипатов, изловчившись, потянул за ручку. Колокольчик, который должен был зазвенеть, невозмутимо молчал. Очевидно, его сняли за ненадобностью, устанавливая более позднюю (а значит, и более модную) вертушку. Но и та, когда ее яростно крутанул Ипатов, провернулась совершенно беззвучно. Им уже давно место в этнографическом музее или на свалке, однако не снимают почему-то. Осталось последнее — стучать.

И тут Ипатов справа, за дверным косяком, увидел черную кнопку электрического звонка. Он обрадованно и нетерпеливо придавил ее пальцем. Далекое и хриплое верещание звонка вмиг оборвалось натужным собачьим лаем. Почувствовав чужого, пес подскочил к дверям и сейчас рвал и метал там от злобы. По-видимому, он был один в квартире: больше оттуда никаких звуков не доносилось.

«Ну, хватит, ну, хватит,— сказал Ипатов.— Передай своим хозяевам, что приходил генерал... (Пес не унимался.) Ну да, тот самый!..»

Все!.. В бывшую квартиру Светланы он уже звонил... Там никого нет дома... А что, если попробовать еще раз? Уж очень робко и нерешительно нажимал он тогда на кнопку... Ничего, ровным счетом ничего он не теряет... Последняя надежда... Он сделал шаг, другой... Боль по-прежнему переполняла сердце, разбойничала за грудиной, отдаваясь в левой лопатке и руке. До дверей оставалось каких-нибудь три-четыре метра. Ипатов привалился плечом к стене и так, почти не отрываясь от

нее, избегая резких движений, стал медленно продвигаться к звонку, желтевшему за дальним косяком...

Закатив глаза, солист пел «Сулико». Оркестранты играли так, как будто каждый из них переживал разлуку с любимой девушкой. По красным, распаренным лицам стекал не то пот, не то слезы. Но вот песня доползла до конца и угасла.

Ипатов подошел к солисту, который уже собирался уходить.

«Можно вас на минутку!»

«Что, дорогой?» — спросил тот.

«Вы только не обижайтесь. Я понимаю, может быть, это и не от вас зависит», — заметив настороженность во взгляде, сказал Ипатов.

«Зачем обижаться? Я не Пушкин, ты не Белинский!»

Ипатов стал успокаивать его:

«Честное слово, я не собираюсь вас критиковать! У вас очень хороший голос. И поете вы с душой!»

«Теперь понимаю, — хлопнул Ипатова по плечу польщенный солист. — Хочешь, чтобы спел для тебя и твоей красавицы? (Значит, Светлану заметили и в оркестре. Жаль, что отсюда не виден их столик. Как она там сейчас одна? Непременно найдется какой-нибудь нахалюга, который решит воспользоваться его отсутствием.) Говори, чего хочешь? Для вас любую песню спою!»

«Какое-нибудь танго?» — несколько робко попросил Ипатов.

Солист вздохнул:

«Танго — не могу. Все проси, кроме танго!»

«Ну, тогда фокстрот или медленный танец?»

Певец оглянулся на ближайший столик и шепнул:

«Тоже не могу. Такое указание».

«И вальс, вальс тоже нельзя?» — упавшим голосом спросил Ипатов.

«Почему нельзя?» — загорелся солист. — Вальс можно! «Матросские ночи» слышал?»

«Матросские ночи?» — недоуменно переспросил Ипатов.

«Ну, да! «Ой, за волнами, бури полными, моряка родимый дом. Над крылечками дым колечками, и черемуха под окном...»

«Да, да, конечно», — вспомнил Ипатов.

«Сейчас схожу по телефону позвоню. А вернусь, спою специально для вас «Матросские ночи!»— певец шагнул к выходу.

Ипатов рванулся за ним:

«Подождите!»

Тот, удивленный, остановился.

«Я хотел еще спросить вас, почему в песне... ну в этой: «Выпьем и снова нальем...»— вы пропустили много хороших слов?»

«Зачем такое говоришь?— опасливо встрепенулся певец.— Какие я слова пропустил?»

«Например: «Выпьем за тех, кто командовал ротами, кто умирал на снегу...»

«Сам не знаешь, чего говоришь!— сердито упрекнул солист Ипатова.— Это совсем другая песня! Похожая, но другая!»

И тут к Ипатову подошел официант, не тот, что обслуживал их столик, а другой — с бегающими глазами: «Вас просят зайти к директору ресторана».

«Меня — к директору ресторана?— удивился Ипатов.— Зачем?»

«Интересуются пожеланиями насчет улучшения работы»,— как-то вкрадчиво ответил официант.

«Может быть, с кем-нибудь другим побеседует? Понимаете, я не один»,— сказал Ипатов.

«Так ведь и другие парочками»,— нашелся официант.

«Тоже верно,— согласился Ипатов.— Ну, пойдёмте, только недолго...»

«Вот сюда!»— указал тот дорогу...

Остановились у двери, обитой коричневым дерматином.

Ипатов постучал и сразу же услышал в ответ:

«Входите!»

Но едва он переступил порог, как двое — один в штатском, другой в милицейской форме,— переглянувшись, одновременно схватили его за руки. Это было так неожиданно, так непонятно, что он тут же стал вырываться:

«Что вам от меня надо?»

Ему быстро и ловко закрутили руки за спину.

И третий — тоже в милицейской форме — точными и умелыми движениями обшарил все карманы. Затем с разочарованным и кислым видом сказал четвертому,

в кожаном пальто, сидевшему за столом на директорском стуле:

«Ничего нет».

«Проверь-ка еще разок!»— приказал тот.

«Да нет у него, товарищ капитан!»— ответил милиционер.

«Чего нет?»— тщетно пытался что-нибудь понять Ипатов.

«Проверь, проверь!»— стоял на своем капитан.

Хмуρο и недовольно милиционер снова принялся за обыск. На этот раз он все осматривал тщательно и неторопливо. На тыльной стороне каждого пальца, кроме большого, синела татуировка. На правой руке получалось «Гена», на левой — не то «Зина», не то «Нина».

«Чего смотреть? Нет»,— заключил милиционер.

«Куда дел пистолет?»— обратился к Ипатову капитан. (Ах вот в чем дело! Значит, этот подонок накапал...)

«Какой пистолет?»— как можно естественнее сыграл удивление Ипатов.

«Ты брось ваньку валять!»— капитан стукнул кулаком по директорскому столу.— Сам знаешь какой — системы «Вальтер»!»

«Пусть отпустят руки!»— попросил Ипатов.

«Отпустите!»— приказал капитан.

Оба — и штатский (наверно, бригадмилец), и первый милиционер — одновременно разжали кулаки, и Ипатов принялся двигать занемевшими руками.

«Потом будешь заниматься гимнастикой, сперва отвечай!»— сказал капитан.

«Никакого «вальтера» у меня нет,— твердо заявил Ипатов.— Был «ТТ», но я его сдал при демобилизации».

И в самом деле, он не врал. Его «вальтер», да не один, а вкупе с парабеллумом, который он тоже привез с войны, уже с месяц как покоился на дне Обводного. Он даже особенно не задумывался о последствиях, когда, возвращаясь из Германии домой, прихватил с собой трофейные пистолеты: велика важность! Конечно, папа и мама были против хранения оружия, они знали, чем это пахнет. Но Ипатов заявил, что сие (так и сказал: сие) их не касается, оба пистолета захвачены им в честном бою: «вальтер» взят у одного обер-фельдфебеля, как-то по ошибке заскочившего к ним в траншею, а парабеллум — у власовца, который отстреливался из

него до последнего патрона: вытащили уже из мертвой руки... Единственное, что удалось родителям,— это уговорить Ипатова спрятать их подальше. Он зарыл пистолеты на чердаке в песке у самого нижнего конца стропил. Но уже на следующий день полез проверять, на месте ли запрятанное, не украл ли кто. Оснований для такого беспокойства было более чем достаточно: на чердаке вечно сохло белье, забирались мальчишки. Чтобы не рисковать всем оружием, Ипатов решил парабеллум в разобранном виде оставить под стропилами, а «вальтер» спрятать где-нибудь в квартире. Вскоре началась полоса танцулек, вечеров и поздних возвращений домой, и Ипатов, чтобы чувствовать себя увереннее на ночных улицах, не устоял перед искушением носить с собой сравнительно небольшой и компактный «вальтер». Он ходил с ним не только на танцы в Мраморный, в Выборгский, в Промкооперации, но и в кино и театры. Однажды какой-то тип углядел в его заднем кармане рельефные очертания пистолета, и за спиной Ипатова пошло гулять: «Переодетый мильтон... переодетый мильтон...» А сколько раз он, ощущая подкрепляющую тяжесть в кармане, безбоязненно ввязывался в уличные драки, с вызовом, не отводя взгляда, прямо шел на шпану. Это щекотало нервы, взбадривало. Так продолжалось, наверно, месяца два. И вот в один прекрасный день, собираясь идти на танцы в Выборгский дом культуры, он полез в свой тайник (для этого требовалось всего-навсего просунуть руку в дыру, проделанную им снизу в старом кресле) и ничего не обнаружил. Он разворошил все кресло: «вальтера» нигде не было. И тут Ипатов увидел смеющиеся глаза мамы. Отец же подозрительно-сосредоточенно листал какой-то свой очередной дурацкий альбом, кажется, образцы документации местной и легкой промышленности. Чихая от крепкой, еще дореволюционной пыли, весь по шею в трухе, Ипатов представлял собой прекомичное зрелище. Прозревая, он спросил родителей: «Вы взяли?» Мама как-то охотно и весело кивнула головой. «Отдайте!»— потребовал Ипатов. «Нет»,— ответила мама. «Отдайте, слышите?»— повысил голос Ипатов. «У нас его уже нет»,— так же спокойно сообщила мама. «Где пистолет? Куда вы его спрятали?»— Ипатов заметался по комнате. «Здесь его нет»,— проинформировала мама. «Где он?»— на лице Ипатова заходили желваки. «Могут сказать. На дне Обводного».— «Что?!»— он рас-

терянно уставился на маму. Она продолжала: «Мы вчера с отцом пошли и бросили его с моста». — «Не правда!» — снова забегал он по комнате. «И парабеллум тоже», — добавила мама. Ипатов взвыл: «Не может быть!» — «Сходи проверь!» — сказала мама. Ипатов пулей кинулся на чердак. Парабеллума на его обычном месте тоже не было. Так в один день Ипатов лишился всего личного оружия. Он долго не мог примириться с этим. Чувство защищенности, к которому он здорово привык, покидало его слишком медленно и неохотно. Вот и сейчас он не мог удержаться, чтобы не припугнуть своим старым «вальтером». Интересно, сколько лет дали бы ему, если бы нашли пистолет? Так что самое время оценить по достоинству произведенное родителями разоружение.

Но вернемся в директорский кабинет, где допрашивали задержанного Ипатова.

«С кем он?» — спросил капитан бригадмилца.

«Да с какой-то фифой!» — пренебрежительно ответил тот. Ипатов хлестнул возмущенным взглядом по толстогубой физиономии.

«Может быть, передал ей?» — раздумчиво произнес капитан.

«Товарищ капитан, я никому ничего не передавал!» — горячо заверил Ипатов, задабривая того обращением по званию: не хватало, чтобы они принялись еще за Светлану.

И не зря опасался: бригадмилец — само усердие:

«Посылать, что ли, за ней?»

«Давай!» — сказал капитан.

«Подожди, друг!» — уже по-хорошему попросил Ипатов бригадмилца.

И подействовало: тот застыл у дверей до нового распоряжения.

Ипатов шагнул к столу:

«Товарищ капитан, даже если бы у меня было оружие, как и когда я мог его передать? Я стоял, разговаривал с певцом. Ко мне подошел официант и попросил зайти к директору ресторана. У меня и в мыслях не было, что мною заинтересовалась милиция. Откуда я мог знать, что меня будут обыскивать?»

Капитан вроде бы задумался. Потом сказал:

«Ваши документы!»

Ипатов с готовностью подал свой новенький студенческий билет.

Капитан внимательно изучил его, затем спросил:

«Паспорт при себе?»

«Паспорт?— Ипатов достал из нагрудного кармана пачку документов.— Оставил дома... Вот военный билет. Орденские книжки. Удостоверения на медали...»

Все это он щедро выкладывал на стол. Капитан не отказывался, просматривал один документ за другим.

«Ну так как же?»— подал голос бригадмилец.

«Тебе что, не вмоготу, что ли?»— спросил капитан.

«Да я так»,— ответил тот.

«Ну что ж, документы хорошие»,— капитан сложил их пачкой и вернул задержанному.

«Поверьте,— доверительно и благодарно произнес Ипатов,— за войну у меня столько перебивало пистолетов — и наших, и трофейных, что они мне теперь и даром не нужны. Сыт ими по горло. Сами понимаете...»

Он действительно был сейчас искренен, говорил, как думал. Но спроси его, как увязать эти вроде бы непритворные слова с тем, что он натворил, то есть вопреки здравому смыслу привез с фронта два пистолета и шлялся с ними по городу, он бы и сам толком не мог объяснить. То ли по окончании войны снова впал в детство — наверстывал упущенное, то ли одурел от свалившихся на него мирных дней. К счастью, ни один человек, кроме, разумеется, родителей, уже не спросит его об этом.

Не спросил и капитан.

Зато неожиданно заговорил первый милиционер, за все время не произнесший ни слова:

«Товарищ капитан, а помните Захарова, которого на прошлой неделе задержали в «Европейской»? Тоже все бумаги в порядке были...»

Оказывается, он не питал ни малейшего доверия к Ипатову. Только молчал. Не доверял и молчал, пока не прорвало. Любопытно, что натворил этот Захаров? По-видимому, что-то очень серьезное, раз так посуровели лица милиционеров.

Первым, как всегда, отозвался бригадмилец:

«Посылать за ней?»

«Ну чего рассусоливать? Посылать, не посылать...»— с явным осуждением нерешительности начальства проворчал второй милиционер — с татуировкой.

«Посылай!»— сказал капитан.

«Стоп, машина!»— в голосе Ипатова неожиданно (после долгого перерыва!) прорезалась властная нотка — все-таки велика сила привычки, недаром же он год и два месяца командовал автоматчиками, и, подчиняясь повелительному тону, бригадмилец опять послушно застыл у порога.

Ипатов тут же принялся за капитана:

«Я не хотел говорить вам... чтобы вы не подумали, что я хочу запугать вас... Эта девушка, которую вы собираетесь обыскивать... («Подействует, нет?») дочь одного очень видного дипломата. Ее отец... («Ох, господи, что я говорю?») близкий друг человека, занимающего высокое... («Остановись же!») исключительно высокое положение!.. Оружия вы у нее никакого не найдете... («А может, не надо угрожать? Кто знает, как он среагирует?»), а вот неприятностей крупных не оберетесь!»

Сказал — и тут же пожалел: от всех этих угроз капитан только разъярился.

«Плевал я на ваших дипломатов!— стукнул он кулаком по столу и крикнул бригадмилцу:— Давай за ней!»

Тот в мгновение ока скрылся за дверью.

Ипатов сказал:

«Ну и зря!»

«А это мы еще посмотрим!»— с грохотом, с опрокидыванием директорского стула, выбрался из-за стола капитан.

Ипатов молча пожал плечами: раз он уже не в состоянии что-нибудь изменить, остается одно — держаться с достоинством.

Прикурив у первого милиционера, капитан вернулся за директорский стол. Посидел немного, зачем-то переставил настольную лампу. Вдруг поднял взгляд на Ипатова, недовольно поморщился:

«Не маячьте, садитесь!»

Ипатов сел в деревянное кресло у окна. Капитаном явно владело какое-то беспокойство. Возможно, он уже жалел, что погорячился. И все-таки его поведение настораживало. Не-исключено, что он относился к числу тех слабохарактерных и упрямых людей, которых если заносило, то уже не остановишь. Во всяком случае, его лицо все время сохраняло хмурое и недоброе выражение. И хотя Ипатов со Светланой перед законом чисты, как стеклышко, от такого ненадежного человека можно ожидать всего.

Ипатов со смущением и беспокойством поглядывал на дверь. С волнением прислушивался к нескончаемым шагам в коридоре, которые то приближались к дверям, то удалялись от них: туда-сюда бегали официанты. Ипатов ясно представлял себе, как все произойдет. Вот распахнется дверь, и на пороге появится Светлана. Увидев его в окружении — а может быть, и под охраной, откуда ей знать? — милиционеров, она будет не столько напугана, сколько удивлена. Но это лишь в первое мгновение. Затем она вскинет голову, и ее холодный и надменный взгляд вопросительно остановится на капитане, в котором она безошибочно определит старшего. Остальных милиционеров, Ипатов уверен, она и вовсе не удостоит внимания. Но если пауза затянется (допустим, капитан, потрясенный ее красотой, ее обликом и манерами, некоторое время будет собираться с мыслями), Светлана сама первая спросит сухо и сдержанно: «Что все это значит?» Или — он даже слышит ее голос — холодно осведомится: «Что случилось?» Или же — а это уже совсем в ее духе — одной фразой укажет им свое место: «Что вам угодно?» Смешно думать, что она вот так просто разрешит им заглянуть себе в сумочку. Скажет: «Нет!» — и за спину. Конечно, эти четверо ни перед чем не остановятся. Заставят открыть, показать. Нет, уж лучше она сама. Пожмет плечами и отдаст сумочку с тем самым показным безразличием, которое в равной мере можно назвать и презрительным, и высокомерным. Думается, в этом случае эффект будет больше.

Ипатов вздрогнул. Дверь распахнулась, и на пороге показался... бригадмилец. О д и н. Вид у него был чрезвычайно сконфуженный. «Неужели, не дождавшись меня, ушла? — с облегчением и в то же время огорченно подумал Ипатов. — Или отказалась идти? Ведь не пощадит же он ее силой?»

«Какая штука, — наконец выдавил из себя бригадмилец. — Он... этот... и говорит: «В порядочных ресторанах, мол, не принято звать гостей к директору...»

«Кто говорит?» — недоуменно переспросил капитан.

«Да иностранец этот! Мол, ежели директору чего надо, пусть сам придет...»

«Что за иностранец?» — нахмурил брови капитан.

Ипатов тоже ничего не понимал.

«А кто его знает! Не то турок, не то грек! А может, еще откуда...»

«Откуда он взялся?»

«Известно, откуда: пришел поужинать. С ним еще двое. Ну посадили их,— он кивнул в сторону Ипатова,— за ихний столик. А там кала-бала, общий разговор. Русский девушка хорош, лапать лапай, но не трожь!»

Ипатов резко встал, давая понять, что не намерен ни слушать дальше, ни торчать здесь. Но капитан даже глазом не повел на это ясно выраженное нетерпение.

«А те, что с ним,— тоже не то турки, не то греки?»— продолжал допытываться он.

«А кто их там разберет! Тоже чернявые, с усиками. Были бы свои, грузины или армяне, наши бы их сразу признали...»

«Надо было культурно намекнуть, что его это не касается».

«Намекали. Не доходит. Все ж боязно, как бы на скандал не напороться...»

«Боязно, боязно,— вполне добродушно передразнил капитан. Затем перевел взгляд на Ипатова: — Ну, что будем делать с ним?»

«Вам виднее»,— заявил первый милиционер, по-видимому все еще питавший недоверие к Ипатову.

«Чего парня держать?— отозвался второй милиционер — с татуировкой.— Еще сманят у него девчонку!»

«А чего? И сманят! Народ денежный!»— поддакнул бригадмилец.

«Послушайте, вы!»— ощерился на него Ипатов.

«Ну ладно, ладно, шагай!»— сказал капитан и вздохнул.

Ипатов коротко попрощался и вышел из кабинета.

«Только без инцидентов!»— услышал он вдогонку. И еще — не то «Зря отпустили!», не то «Зря туда пустили!» Во всяком случае, «зря» и «пустили» он слышал отлично.

Проходя через большой зал, Ипатов неожиданно увидел в дальнем углу парня, по доносу которого он минут сорок проторчал в милиции. Тот сидел за ненакрытым столиком и флегматично всаживал одно колечко дыма в другое...

На этот раз странность состояла в том, что Ипатов еще не дотронулся до кнопки, а за дверью уже послышалась осторожная возня. Звуки были приглашенные:

похоже, что кто-то, неожиданно оказавшийся в квартире (то ли проснулся, то ли возвратился в квартиру с черного хода), боязливо, а возможно, и неумело отпирал внутреннюю дверь. Обостренным слухом Ипатов легко распознавал их. Вот, стараясь не шуметь, отодвинули задвижку, высвободили цепочку, с трудом выдернули крючок из петли («Мой дом — моя крепость!» — подумал Ипатов). Шорохи перешли к наружной двери. Сверкнул глазок, который Ипатов поначалу и не заметил. Уже с добрую минуту его пытались разглядеть. В стеклянном зрачке шевелился страх.

— Откройте, не бойтесь! — почти взмолился Ипатов.

— Кто там? — чуть ли не криком отозвался испуганный старушечий голос.

— Слышите? У меня очень болит сердце. У вас не найдется чего-нибудь сосудорасширяющего? — прямо с главного начал Ипатов.

— Кто там? — голос старухи звучал все так же испуганно и недоверчиво.

— Понимаете, я пришел к вашим соседям и не застал их дома. — Так было, кажется, правдоподобнее. — А пока поднимался...

— Кто там? — уже в третий раз выкрикнула старуха.

А вдруг она не слышит через дверь его ответов? Чушь собачья! Ведь он же слышит ее хорошо. И не глухая, наверно, потому что настойчиво добивается у него, кто он.

— Ну я же вам объясняю, — досадливо и жалобно проговорил он. — У меня схватило сердце, а я не взял с собой ни валидола, ни нитроглицерина. Я уверен, что они у вас есть...

— Кто там? — взвизгнула она.

Взъяренный Ипатов заорал:

— Кто? Раскольников! Родион Раскольников! Слышали такого?

Неизвестная бабушка отпрянула от двери. Вскоре один за другим загремели многочисленные засовы.

Неужели тридцать пять лет этот чертов домина с двумя фасадами терпеливо дожидался его, чтобы все-таки dokonать? Господи, что же делать? Ясно одно — надо не звонить во все квартиры подряд, пугая одичавших от одиночества старух, а выбирать на улицу. Там первый же прохожий вызовет «скорую помощь».

Но сперва следует попробовать спуститься до пятого этажа, до которого доходит лифт... Шаг... еще... еще... не спеша... осторожно... осторожно...

Не то турки, не то греки полумесяцем сидели напротив Светланы и, поблескивая своими черными, как южная ночь, глазами, что-то ей вкручивали. Вернее, вкручивал один из них — самый толстый и самый представительный. Другой, который развалился в кресле отсутствующего Ипатова, лишь вставлял в разговор отдельные словечки. Третий был очень похож на первого, только представлял собой как бы его уменьшенный и омоложенный вариант. Он обгладывал не то куриные, не то бараньи косточки и в упор смотрел на Светлану, которая с немалым интересом слушала разглагольствования старшего из иностранцев. Когда Ипатов подошел, она подчеркнуто-удивленно и холодно взглянула на него, но ничего не сказала. Толстяк на плохом русском языке с игривой учтивостью досказал мысль:

«...У нас на родине говорят: для любимая девушка,— и он отрезал ножом кусок мяса,— даже индус будет кушать говядина».

На тонком лице Светланы снова заиграла светская улыбка.

Ипатов шагнул ко второму не то турку, не то греку и дотронулся до его плеча. Тот резко обернулся.

«Это мое место!»— сказал Ипатов.

Толстяк кивком большой, по-восточному породистой головы поднял своего спутника, и тот послушно пересел в соседнее кресло.

Ипатов сел рядом со Светланой.

«Я вижу, ты не скучаешь?»— негромко сказал он.

«Да, не скучаю!»— с вызовом ответила она.

Что ж, этого следовало ожидать. Хорош же он сейчас в ее глазах: целый час шлялся неизвестно где, оставив одну среди пьяного, липнущего к ней мужичья.

«Честное слово, я не виноват, что так получилось,— положив руку на спинку ее кресла, жалобно оправдывался он.— Неудобно говорить при посторонних... Я потом расскажу...»

«Можешь не трудиться!»— ответила она.

«Понимаешь, какая произошла история...»— бойко, как будто и не было никакой размолвки между ними, начал Ипатов.

«Прости, но мне это неинтересно», — перебила она.

«Ты всерьез?» — упавшим голосом спросил он.

«Да, всерьез!» — подтвердила она.

Кровь бросилась ему в голову:

«Тогда, может быть, я здесь лишний?»

«Тебе виднее», — пожала она плечами.

Все три не то турка, не то грека вежливо и терпеливо дожидались конца пикировки. Под их невозмутимыми, а на самом деле — насмешливыми взглядами Ипатов чувствовал себя как на сковородке.

Взбешенный очередным и на этот раз, наверно, самым сильным щелчком по носу, Ипатов уже не мог остановиться.

«Товарищ!» — крикнул он официанту, не спускаясь с их столика настороженного взгляда.

Тот сразу подошел.

«Сколько с меня? — спросил Ипатов и добавил: — За двоих!»

«Я сама за себя расплачусь!» — сухо заметила Светлана.

Официант выжидательно посмотрел на Ипатова.

«Сколько с меня за двоих?» — повторил тот.

Официант вырвал из блокнота листок и положил на столик. Сто сорок семь рублей! Ипатов вынул из заднего кармана пачку трешек и, оставив себе несколько, остальные отдал официанту. Поднимаясь, едва не опрокинул чью-то недопитую рюмку. Каменно подождал, пока тот пересчитает деньги. Их оказалось больше, чем предполагал Ипатов. Не то на двадцать, не то на тридцать рублей.

«Спасибо, генацвале», — печально сказал официант и положил деньги в карман.

Не взглянув на Светлану и ее новых приятелей, Ипатов круто повернулся и зашагал из зала...

Он очень смутно помнил, как пулей выскочил на улицу, как на всех парах помчался по этой стороне Невского и у кинотеатра «Художественный» зачем-то перебежал на другую. А дальше с ним случилось и вовсе из ряда вон выходящее. Когда он подходил к площади Восстания, ему вдруг показалось, что в толпе, переходящей улицу у вокзала, мелькнула знакомая фигура в длинной офицерской шинели. Пока Ипатов переживал идущий сплошным потоком транспорт, Булавин, или тот, за кого он принял его, прямым ходом просле-

довал в вокзал. Наконец путь был свободен, и Ипатов рванулся на ту сторону. Он нисколько не сомневался, что встреча с этим человеком, сохранившим открытое фронтовое сердце, умевшим как никто больше проникаться чужой бедой, наверно, принесла бы ему желанное облегчение.

Обгоняя прохожих, Ипатов вбежал в вестибюль, кишевший людьми. Разыскать Серегу в этом столпотворении было нелегким делом, и все же Ипатов надеялся, что ему это удастся. Благодаря своему высокому росту, он глядел поверх толпы и разом охватывал десятки людей. Серыми пятнами то там, то здесь мелькали шапки-ушанки и шинели. Немало было среди них и без погон и звездочек: многие демобилизованные по разным причинам не торопились снимать привычную форму. Булавина что-то не было видно. Возможно, он уже прошел на перрон или же где-нибудь приткнулся — вон сколько народу в коридорах и залах ожидания. Прежде чем выйти на перрон, Ипатов решил осмотреть все вокзальные помещения. Он заглянул в один зал ожидания, в другой и вдруг в озарении остановился: ресторан! Куда же еще мог направить стопы Серега, для которого, как жалостливо поговаривали, день без выпивки с некоторых пор был потерянным днем! За стеной невидимый певец пружинил голос: «Мы парни brave, brave, brave, а чтоб не сглазили подружки нас кудрявые, мы перед вылетом еще их поцелуем горячо сперва разок, потом другой, потом еще...». Швейцар с неожиданной предупредительностью распахнул перед Ипатовым дверь. В раздевалке гардеробщик и его приятель дулись в шашки. Заходить в зал в пальто было неудобно, и Ипатов бросил свой тяжеленный бобр на стойку:

«Я сейчас! Только взгляну!»

Ресторан встретил его тем же, еще не выветрившимся из головы: дробным гулом голосов, резкими запахами пищи и грохотом ресторанных музыкальных инструментов. Как будто он никуда и не уходил, только перешел из одного зала в другой. Ипатов пробежал взглядом по столикам: Булавина не было видно. На всякий случай он прошелся и вдоль рядов — всюду были незнакомые лица. У самого выхода за небольшим столиком тесно сидели со своими девушками три морских офицера. Ипатов обратил на них внимание, еще когда только вошел. Один из моряков был очень похож

на Толю. Ипатов даже вздрогнул: не Толя ли? Но у Толи было белое, чистое лицо, с ярким непреходящим румянцем, а у этого через всю щеку тянулся шрам, слабый, но все-таки заметный. Потом Ипатов о них забыл. И вот сейчас, снова приближаясь к их столику, он вдруг увидел, что сидевший лицом к залу капитан-лейтенант, оказывается, тоже заметил его. И даже, улыбнувшись, что-то сказал своему соседу. Тот обернулся и окинул Ипатова насмешливым взглядом. Одна из девушек легонько толкнула локтем лейтенанта со шрамом. В отличие от правой щеки левая у него была чистой и розовой, как у младенца, и он снова удивительно стал похож на Толю. Правда, ненадолго. Как только лейтенант улыбнулся, это сходство исчезло. Ипатов остановился: он им смешон? Что ж, если они того хотят, он не прочь их позабавить! Дальше все было как во сне. На него ошарашенно смотрели шесть пар глаз. А тем временем его руки — он больше всего запомнил свои руки — спокойно взяли с чужого столика бутылку армянского коньяка и бокал, налили его до краев и опрокинули в рот. Затем так же не спеша и аккуратно поставили бутылку и бокал на место. Никто из сидевших за столом не сказал ни слова, не выразил возмущения. Только вид у всех шестерых, надо прямо сказать, был ошарашенный. Впоследствии Ипатов много думал о том, что же их все-таки удержало? Необычность ситуации? Его сугубо интеллигентная, не ханжская внешность? Облагораживающее присутствие дам? А может быть, все вместе? Кто знает...

Когда Ипатов выходил из вокзала, он увидел парня из «Кавказского», того самого, что угрожал ножом. Бандюга стоял у газетного киоска и меланхолично созерцал подъезжавшие и отъезжавшие такси. По-видимому, он отирался в местах наибольшего скопления людей, преследуя свои, несомненно недобрые, цели. Бояться его Ипатов не боялся (тем более сейчас, когда все и так пошло наперекосяк), но и снова встречаться с ним желания не было. Поэтому, проходя мимо, просто отвернулся, а потом ускорил шаг: на той стороне загорелся зеленый свет. И хотя Ипатов переходил улицу не один, а в толпе, им все больше овладевало беспокойство. Он не выдержал и оглянулся. Из-под низко нахлобученной меховой шапки на него с усмешкой поглядывали знакомые светлые глаза, опущенные большими ресницами.

«Привет, артиллерист!» — с многозначительной угрозой произнес парень.

Ипатов прибавил шагу.

Светлоглазый не отставал, норовил задеть плечом.

На ходу перебрасывались репликами:

«Ну куда спешишь? К своей?»

«А тебе не все равно?»

«Все равно потом будет!»

«Что так?»

«Слышишь, артиллерист? У нас принято долги отдавать».

«Вижу, честные ребята...»

«Какие есть... Ты лучше скажи: сколько в пистолете патронов осталось?»

«Сколько ни осталось — все твои!»

«Ой ли?»

«Ты думаешь, так я им и отдал... стукач дерьмовый!»

«Проглотил, что ли?»

«Не отвяжешься — узнаешь!»

«Давай своей шмаре вкручивай! Нашли бы, хрен отпустили!»

«Отстань — поздно будет!»

Так, переругиваясь и угрожая друг другу, они перешли на противоположную сторону Невского.

В это время неподалеку, к остановке, на которой сгрудилась толпа ожидающих, подошел автобус.

Ипатов рванулся к нему.

«Ах ты, паскуда! Удираешь?» — заорал парень.

Он догнал Ипатова и схватил за лацкан пальто. Ипатов с силой отшвырнул цепкую костлявую руку, последним вскочил на подножку переполненного и уже тронувшегося автобуса. Парень повис на нем, пытаясь опрокинуть на землю. Кто-то закричал:

«Остановите автобус!»

Другой голос спокойно заметил:

«Перепьются, а потом на стенку лезут!»

Ипатов, изловчившись, с трудом повернулся и сильным ударом ноги выбил парня из автобуса. Он увидел лишь, как тот взмахнул руками и исчез в темноте. Упал он или устоял на ногах, разглядеть не удалось...

Автобус набирал скорость. Ипатов уперся разгоряченным лбом в чье-то ледяное кожаное пальто. Сердце, которое только что гремело, как африканский тамтам, стучало все глуше и размереннее. Когда автобус подъ-

езжал к Литейному, оно уже совсем успокоилось. В конечном счете, этот тип получил по заслугам. Человечество ничего не потеряет, даже если его башка расколется, как арбуз. Нет ни малейшего сомнения: окажись они оба где-нибудь в темном переулке, тот, не задумываясь, пырнул бы ножом. Словом, бой шел кто — кого.

Автобус проскочил Садовую, и тут только Ипатов спохватился: собственно, почему он едет в эту сторону, когда ему надо совершенно в противоположную? Вскочил в первую попавшуюся машину, чтобы отвязаться от опасного спутника? Отчасти это так и было. Но как объяснить то, что остановка на Невском, где он обычно садился на свой автобус, осталась позади, а его незаметно вынесло к маршрутам, нацеленным на Казанский собор? Выходит, ноги сами доставили его сюда.

Решение пришло неожиданно: только взглянуть на нее. Расталкивая пассажиров, вошедших у Литейного и Садовой, Ипатов с трудом пробрался к выходу. И едва впереди показалась зеркально-гранитная громада Дома книги, как он еще до остановки в нетерпении оттолкнулся от подножки и заскользил по накатанному снегу тротуара. Затем по той же стороне дошел до дома напротив памятника Барклаю, трусовато двинулся на тусклые, почти вровень с тротуаром огни «Кавказского».

Знакомо и привычно запрыгало в груди сердце. Сейчас он больше всего опасался, как бы его ненароком не увидела Светлана, не подумала, что он все время караулит ее у ресторана. Он быстро осмотрелся: вроде бы поблизости нет. Значит, или уже ушла, или еще сидит там. Теперь Ипатов осторожно и украдкой, словно его могли заметить изнутри, ходил от одного окна к другому, выискивая в плотных шторах хотя бы малейшую щель. Все было задрапировано так аккуратно, так старательно, что никакие нескромные взгляды с улицы не могли проникнуть внутрь. И все-таки его усилия не пропали даром. В последнем окне штора немного провисла, и он с трудом зацепил взглядом край их столика и обоих толстяков — старшего и младшего. Похоже, что вся компания уже покончила с ужином и сейчас сидела и травила баланду. Когда младший не то турок, не то грек зачем-то наклонился, Ипатов сразу увидел знакомую сумочку, лежавшую на столике. Убедившись, что Светлана еще здесь, он решил дожидаться ее появления. Он не собирался возникать перед ней

тенью отца Гамлета, но и бросать человека на произвол судьбы он тоже не мог.

Трудно сказать, сколько продолжалось ожидание: может быть, полчаса, а может быть, больше. Ипатов то и дело бегал погреться в соседний подъезд, откуда каждые полминуты выглядывал, чтобы не прозевать. И едва не прозевал. Просто чуть больше увлекся, отплясывая чечетку в промерзлой, продуваемой всеми ветрами парадной. Все четверо уже вышли из ресторана и подошли к подъехавшей минут десять назад большой черной машине, неизвестной Ипатову иностранной марки. Хлестанула мысль: «Неужели она поедет с нами?» Но нет, Светлана не торопилась садиться. Они ее уговаривали, она довольно долго отказывалась, отговаривалась чем-то. Наконец уступила: пожала плечами и села сзади между обоими толстяками. Дверцы тут же захлопнулись, и машина плавно тронулась. Через несколько десятков метров она развернулась и понеслась по направлению к Дворцовой площади.

Ипатов бросился к стоявшему поблизости такси:

«Давай за той машиной!— взволнованно сказал он водителю.— Вот!»

И показал свой новенький студенческий билет.

«Понятно!»— ответил тот, включая зажигание.

Вскоре их старая, разболтанная «эмка» устремилась за «кадиллаком» (оказывается, это был «кадиллак», как сразу определил таксист). Короткая остановка у светофора на улице Желябова помогла им догнать его. Сейчас их разделяли каких-нибудь несколько метров. Как Ипатов ни напрягал зрение, разглядеть что-нибудь сквозь притемненное заднее стекло было невозможно. «Кадиллак» свернул на улицу Герцена.

«Теперь не уйдет, гад!»— все больше заражаясь азартом преследования, приговаривал водитель. (Потом, с годами, эта история в изложении Ипатова обростала все новыми и новыми подробностями. Недаром он был все-таки сыном своей матери — великой фантазерки. Сказывалось и влияние детективов. Чего только не было в этой нескончаемой импровизации: и головокружительная погоня по ночному городу, и милицмейские свистки, и прыжки через разведенные мосты, и даже стрельба.) Между тем «кадиллак», кажется, и не подозревал, что за ним велась слежка. Шел он ровно, нигде не прибавляя и не убавляя скорости. Да и улица Герцена была слишком короткой, чтобы устраивать на

ней автомобильные гонки. У «Астории» «кадиллак» повернул вправо и остановился у щедро освещенного главного подъезда. Такси притаилось неподалеку за трофейным «опель-адмиралом». Отсюда все было видно как на ладони. Одновременно приоткрылись передняя и задняя дверцы, и там и здесь высунулось по одной ноге в одинаково ослепительно сверкающем полуботинке. По всей вероятности, Светлану уговаривали выйти, подняться в гостиницу, но она опять заупрямилась и на этот раз — основательно. Ноги снова убралась в машину, дверцы захлопнулись, и «кадиллак» мягко покатил дальше.

«Пора!» — сказал Ипатов водителю, который уже давно приник к баранке, готовый по первому же знаку продолжить преследование.

Такси рванулось и через некоторое время пристроилось в хвост к «кадиллаку».

«Вот так и идти, не отрываться! — распорядился Ипатов. — Ничего, пусть заметят, даже лучше!»

«Кадиллак», перевалив через горбатый Синий мост, устремился по проспекту Майорова. «Наверно, потребовала, чтобы отвезли домой», — предположил Ипатов...

Быстро приближалась Садовая. Если «кадиллак» повернет вправо, дело кончится тем, что уже через пять-десять минут Светлана будет под крылышком у родителей. Но если продолжит путь к Фонтанке или свернет влево, то еще неизвестно, как все обернется. Впрочем, пока шофер верил в высокие цели преследования, пока в его глубоких глазницах темнела непреклонность, этим типам, надо думать, ничего не улыбнется. Потребуется, он будет гонять машину по их следам хоть до утра. Вот только чем потом расплачиваться с ним? Уже сейчас на счетчике... Нет, лучше не смотреть... Ипатов отвел взгляд: там будет видно...

Вправо! Мнение Ипатова о не то турках, не то греках резко стало меняться. В конце концов, никто не заставлял их отвозить Светлану домой. В наказание за непокладистость они могли высадить ее из машины еще на Исаакиевской площади. Что ж, в любезности им не откажешь, если это, конечно, любезность. Интересно, заметили ли они, что за ними с самого Невского проспекта подозрительно-неотступно следует такси? Или, может быть, были настолько увлечены своей очаровательной спутницей, что уже больше ни на что не обращали внимания?

Но только Ипатов подумал так, как тут же начал действовать никогда не дремлющий закон подлости. Когда до поворота на Садовую оставался какой-нибудь десяток метров, уличную тишину вдруг разорвал оглушительный треск лопнувшей камеры, и «эмка» стала оседать на правый бок.

«Вот и доехали, мать твою так!»— выругался шофер.

«Постойте!»— Ипатов выбрался из машины и в один миг добежал до угла: «кадиллака» уже не было, впереди во мраке мелькали какие-то легковушки, но очертания их были неясны.

Ипатов бегом вернулся к таксисту, который уже доставал домкрат.

«Слушай, браток, может, доползем как-нибудь? Здесь совсем рядом!»

«Разве теперь догонишь их?»— вздохнул водитель.

«Хорошо,— вдруг решил Ипатов.— Я сбегая посмотрю, а вы тем временем колесо замените!»

«Думаете, запаска лучше?»— заметил тот.— Тоже заплатата на заплатате!»

«Я скоро вернусь!»— на ходу пообещал Ипатов.

«Товарищ!»— крикнул ему вдогонку таксист.— На всякий случай позвоните завтра в таксопарк, скажите, что выполнял задание. Фамилия моя Матюшин!»

«Обязательно!»— отозвался Ипатов и вдруг ужаснулся тому, что ведет себя по отношению к этому простодушному и доверчивому человеку как последний мошенник. Даже если придется вернуться, то с чем? С извинением, что нечем заплатить? Или с решением свалить все на соответствующие органы — мол, за ними не пропадет?

Ипатов резко остановился и побежал назад.

Таксист удивленно уставился на него.

«Если я не вернусь, мало ли что,— запыхавшись, проговорил Ипатов и сунул ему в руку последние трешки:— Вот возьмите! Все, что с собой! Может, тут и меньше...»

«Да ладно!»— сказал шофер и, наскоро сосчитав деньги, положил их в карман.— Позвоните только!»

Ипатов кивнул головой. Хорошо, если шофер не заметил этого в полумраке...

Народу на улице уже почти не было, за те две-три минуты, пока Ипатов бежал по Садовой, ему навстречу попался один прохожий. При виде мчавшегося во весь

опор высокого человека в распахнутом громоздком пальто он быстро и испуганно посторонился. И потом еще долго, пока Ипатов не скрылся за поворотом, смотрел вслед.

Несмотря на темноту, кое-где разбавленную светом редких фонарей, взгляд Ипатова сразу уперся в знакомо выступающий подъезд и, не обнаружив рядом «кадиллака», лихорадочно заметался по ночной пустынной улице. Машина провалилась как сквозь землю...

Все! Дальше ему нет пути... Он лежал грудью на перилах между шестым и пятым этажами, распластав длиннющие руки. Эти счастливые, ах, какие счастливые ступеньки вниз его вконец доконали: он уже не мог ни шевельнуться, ни вздохнуть. То есть он дышал, дышал естественно, но почти украдкой, незаметно для боли, чтобы обмануть и перехитрить ее. До чего странное, не додуманное до конца существо — человек. Одною жизнь все время волтузит как попало, и ничего, только почешет тот ушибленное место и бежит дальше. И болезни-то какие: инсульты, инфаркты, операции на внутренних органах, да еще не раз и не два. Казалось бы, живого места на человеке нет, а он не только помирать не собирается, но и продолжает хватать полными пригоршнями блага и радости жизни. А другой — с первого же сердечного приступа, с пустяка какого-нибудь, со стакана водки или от гриппа отдает концы. И самое поразительное, что ни тот ни другой не видят дальше собственного носа. Вот как он, Ипатов. Сколько ему осталось жить — даже само сердце не знает. Увы, оно тоже не видит дальше своей боли; что пострашнее, хранится в тайне и от него, ибо конец человека есть и его конец. Ипатов поморщился: самое время разводить философию. Лучше подумать о том, долго ли он сможет простоять в такой позе. Поза, разумеется, вполне кинематографична. Он что-то не помнит подобных кадров: смерть на перилах. На ступеньках — было, на лестничных площадках — было, в лестничных пролетах — почти в каждом втором или третьем детективе. А вот на перилах — с распростертыми, как на кресте, руками — он при всей своей любви и ненависти к кинематографу (постоянный пропуск в Дом кино, жена — член какой-то секции, кажется даже не одной. «Знакомьтесь, мой муж... Заслуженный зритель республики!» Как трогат-

тельно! Как мило! О, Бельмондо! О, Клод Лелюш!) что-то не припоминает. Впрочем, случись то самое, он в два счета вылетит из своего уникального кадра — сползет на ступеньки и под тяжестью своих ста двух килограммов пойдет кувыряться до следующей лестничной площадки. А там уж ему не дано будет выбирать позу...

И вдруг на мгновение Ипатов позабыл о боли: где-то внизу, возможно, даже в самом, самом низу хлопнула дверь. Он весь растворился в тишине, вслушиваясь в неясные далекие звуки. Но шестиэтажная глубина, закупоренная лифтом, скрадывала или, вернее, почти скрадывала шаги: как будто — или ему это показалось? — быстро простучали чьи-то легкие каблучки. Ипатов одним духом спустился еще на ступеньку (дальше не пустила боль) — словно оттуда слышимость была лучше. И в этот момент он действительно услышал, как вошедший тщетно пытается вызвать лифт: где-то, по-видимому, была неплотно прикрыта дверца. Да так можно нажимать кнопку до второго пришествия! Неужели есть еще в городе люди, которые не знают, как пользоваться лифтом? Или же там, внизу, ставится эксперимент: чья возьмет? Как и следовало ожидать, верх взяла современная техника.

Оставив бесполезную кнопку в покое, неизвестный с юношеским азартом принялся за лестницу. Сперва он простукивал ее, как молодой, изрядно проголодавшийся дятел, затем, видно, ему это надоело, и он стал перемахивать сразу через две, а то и три ступеньки, потом его, в общем-то, легкие шаги неожиданно отяжелели и замедлились. Если сейчас крикнуть, позвать на помощь, то все равно с такого расстояния не разберут ни слова, только можно вспугнуть, а там, как уже это было: «Мой дом — моя крепость!» Лучше ждать до самого последнего момента. Но еще важнее не упустить. Это самое страшное. Не дай бог, опять остаться один на один со своей болью, которая в любое мгновение может оборваться, говоря высоким стилем, извечной тишиной.

В настоящее время можно разобрать почти каждый звук. Вот неизвестный ступил на площадку второго этажа, подошел к дверце шахты, на всякий случай поиграл кнопкой. Лифт не шелохнулся. Значит, кабина находится или на третьем, или на четвертом этаже. Все, что выше, с трудом, но все-таки просматривалось Ипатовым. Да, конечно, на третьем или четвертом. После

того мужчины, от которого он дал деру, лифтом пользовались еще два раза: какая-то старуха и женщина с детской коляской. Последняя, кажется, вышла на четвертом этаже. Видимо, она-то и оставила дверцу неплотно прикрытой.

Неизвестный продолжал восхождение. Правда, на этот раз уже совсем в другой последовательности — сперва перемахивая через ступеньки, затем где-то с середины заметно замедляя шаг, а под конец, отдохнув и собравшись с силами, снова лихо отбивая чечетку.

Только не прозевать: а то нырнет в одну из квартир третьего этажа, и уже не от кого будет ждать помощи; конечно, пройдет еще какое-то время, и появится очередной жилец, да и вообще через час-другой люди начнут возвращаться с работы, но понадобится ли ему тогда и х п о м о щ ь?

Как только шаги отклонятся в сторону и упрутся в тишину — он из последних сил подаст голос. Он даже не будет дожидаться звуков, окончательно проясняющих намерения неизвестного: звяканья ключами, стука в дверь, звонка,— в конце концов их можно и не услышать.

Но нет, путь неизвестного, кажется, лежит выше. Трахнув пару раз по бездействующему лифту чем-то тяжелым, скорее всего портфелем, неизвестный — Ипатов уже не сомневался, что это школьник или школьница,— медленно, никуда не сворачивая, прошагал дальше...

На этот раз подъем проходил, так сказать, без излишеств. Ступенька — шаг, ступенька — шаг... На мгновение перед мысленным взором Ипатова появляется устало вышагивающая детская фигурка — эта проклятая лестница кого угодно доконает!

Еще несколько ступенек — решающих ступенек. Хотя не исключено, что его будущий спаситель — пусть для начала называется так — живет выше, возможно даже на шестом этаже. В последнем случае они просто встретятся на лестнице. Но если доедет на лифте до пятого, то можно будет позвать, почти не повышая голоса.

Медлительная, даже усталая размеренность подъема как-то сразу, с последней ступеньки, сменилась быстротой и легкостью шагов, удалявшихся в глубь площадки на четвертом этаже. Своим обостренным слухом Ипатов быстро определил, что лифт остался от них в стороне.

— Мальчик, подожди!— крикнул он вниз.

В ответ торопливо забренчали ключи.

— Я отсюда не вижу, кто ты — мальчик или девочка. Подойди к перилам!— надсаживался Ипатов.

Открывавший дверь с испугу или от волнения никак не мог попасть ключом в замочную скважину. Шлепнулся на пол мешавший портфель.

— Вот не думал, что ты такой трус!— упрекнул Ипатов.

Но и эти оскорбительные для каждого нормального мальчишки слова почему-то не подействовали. Ипатов услышал, как дважды щелкнул замок. Но может быть, там девчонка?

— Слышишь, я тебя очень прошу, подойди к перилам!— громко и отчетливо выговаривая каждое слово, сказал Ипатов.

Теперь его спаситель принялся нервно за второй замок. Боже праведный! Сколько надо наслушаться страшных историй, чтобы так всего бояться. Между тем он и сам внушал своим детям, особенно дочке, чтобы они не очень доверяли посторонним людям. («Ни под каким видом не открывайте чужим дверь! Не открывайте даже, если скажут «телеграмма», или «сантехник», или еще что! Помните, что нынешние жулики и бандиты люди на редкость творческие, непременно придумают что-нибудь новенькое, неожиданное, поэтому разговаривайте только через дверную цепочку!»— «Поздно не возвращайтесь!»—«Не ездите в лифте с кем попало!»—«В лес ходите только большими компаниями!»—«Не знакомьтесь на улице!»—«Будьте бдительны, бдительны, бдительны!»)

И вдруг с четвертого этажа, едва возвышаясь над перилами, на него глянуло бледным глазастым пятнышком детское лицо. Это действительно была девочка — школьница младших классов...

Определенно: «кадиллак» или проскочил мимо по Садовой, или же, высадив Светлану у ее дома, успел свернуть в один из этих переулков. Возможно, она еще взбирается на свой шестой этаж. Ведь даже у него, с его широким нетерпеливым шагом, на подъем уходит по меньшей мере несколько минут. Так что не исключено, что машина уже будет на месте, а Светлана еще

только одолевает какой-нибудь очередной лестничный виток.

Но если этот очередной лестничный виток последний — что не так уж невозможно, времени все-таки прошло немало, — то она может добраться до своей квартиры раньше, чем он об этом узнает. И тогда не видать ему покоя до утра, до новой, если только ничего не случится, встречи в Университете. Какая там будет встреча — это уже другое дело...

Ипатов по колено погрузился в сугроб, преграждавший ему путь к подъезду. Снег мгновенно набился в широкие голенища. Но это было таким пустяком по сравнению с сэкономленными секундами. Пока Ипатов взбегал по ступенькам подъезда, снежные комки спустились до самых лодыжек и отчаянно холодили их. Но он старался не обращать на это внимания. В парадной тускло горела крохотная электрическая лампочка, свет ее даже не доходил до пола и едва задевал торцы первых ступенек. Ипатов задрал голову. Лестница уже со второй площадки уползала в темноту и дальше невидимой змеей обвивала черное безмолвное туловище лестничного пролета. Стояла такая тишина, что было слышно, как где-то далеко, может быть, на проспекте Майорова или у Сенной, позванивая, прошел последний трамвай.

Дома Светлана или не дома — это единственное, что ему надо было знать. Остальное для него, как он считал, уже не имело значения...

Ипатов выбежал на улицу. Где же ее окна? Первый этаж... второй... третий... четвертый... пятый... шестой... Не эти ли три ярко освещенных окна с короткими ситцевыми занавесками? Нет! Там были, как он помнит, тяжелые бордовые гардины с золотой бахромой внизу. Они даже напомнили ему боевые знамена, только без вышитых эмблем и призывов... Судя по расположению квартиры, окна должны выходить... постой, дай сообразить... Жаль, что он ни разу не выглянул из них на улицу. Разве мог он тогда предположить, что будет отыскивать их снаружи? Если бы лестница была как лестница, то можно было бы легко сориентироваться: вот эта квартира по отношению к ней слева, а вот эта — справа. А здесь пока кружишь, забираешься на верхотуру, вконец запутаешься. Лишь одно ясно — отправной точкой должен быть подъезд. Светланина дверь, если мысленно перенестись на шестой этаж, на-

ходится... находится справа от него! Значит, их окна выходят во двор...

Как пройти туда? Ипатов двинулся вдоль дома. Хлюпал в сапогах подтаявший снег. Зная по опыту, что в ленинградских домах один проход нередко ведет сразу к нескольким дворам, Ипатов, не задумываясь, свернул под первую же арку. Дворовый лабиринт был прост, как таблица умножения. Ни лишних ответвлений, ни хитрых тупиков. Уже через минуту Ипатов стоял на дне высокого дворового колодца, зажатого со всех сторон стенами.

Однако отыскать окна оказалось не таким легким делом. Особенно Ипатов был озадачен, когда вместо шести этажей вдруг насчитал семь. Он торопливо вернулся на улицу и еще раз проделал весь путь, проверяя, так ли он шел или ненароком забрел в другой двор. Нет, это был все-таки ее дом. Совпадало все: и силуэт, и расположение, и форма окон. И тут Ипатов обнаружил, что без труда заглядывает в квартиры первого этажа. С улицы же, как он вспомнил, нижние окна были недосыгаемы — находились довольно высоко над головой. Это был один из тех несуразных петербургских домов дореволюционной постройки, которые возводились полуграмотными подрядчиками как бог на душу положит. Лишь бы с фасада выглядело красиво и внушительно, а со двора, мол, чего стараться? Удалось сварганить лишний этаж — и слава богу! Но и после того, как с сомнениями насчет дома было покончено, Ипатов еще долго ломал голову, какие из четырнадцати окон последнего этажа Светланины. Скорее всего, вон те — слева. Странно, что в них нет света. В любом случае он должен был быть: и если пришла (пока удовлетворяет родительское любопытство, пока переоденется, пока приготовится ко сну, да и не в ее характере торопиться), и если не пришла (какие бы ни были у нее отец и мать, они вряд ли лягут спать до ее возвращения: час поздний, наверно, извелись бы, дожидаясь). Но может быть, они уже все трое легли спать? Нет, по времени никак не получается: с того момента, как «кадиллак» оторвался от такси, прошло самое большое минут двадцать — двадцать пять.

А что, если тяжелые, плотные портьеры не пропускают света и в этом вся загвоздка? Ипатов забежал по дну дворового колодца, отыскивая в оконных провалах хотя бы крохотный лучик. И не находил ничего,

кроме угрюмой, набрякшей темноты. Неожиданно наскочил на высокую поленницу дров. Рискуя развалить ее, с немалыми ухищрениями взобрался на самый верх. Но и теперь, приблизившись к окнам по меньшей мере еще на три метра, он видел под крышей все те же темные слепые пятна. Неужели Светлана еще не вернулась, а ее родители спокойно похрапывают под голубым балдахином? Или они привыкли к тому, что она приходит, когда ей заблагорассудится?

Но только Ипатов собрался спуститься, как вдруг услышал легкие и быстрые шаги. Еще не поняв, откуда они приближаются, еще не видя никого, он знал, что это Светлана. Балансируя на ускользящих из-под ног поленьях, Ипатов резво пробежал по штабелю и там, в дальнем конце, обивая спину и зад, съехал под грохот рассыпающихся дров. Шаги, которые прорезались, как сообразил с некоторым запозданием Ипатов, под аркой со стороны канала Грибоедова, сейчас уверенно и прямоком приближались к поленнице. Судя по всему, Светлана видела, как он бежал по верхотуре и рухнул вниз. Во всяком случае, она не могла не слышать, как громыхали поленья.

Светлана подошла к краю штабеля и весело сказала в темноту:

«Костя, выходи!» Она первая предлагала ему мир...

«Сейчас, — отозвался он, перелезая через гору поленьев. — Думаешь, так просто отсюда выбраться?.. О, черт!»

«Ого, сколько дров наломал!» — не удержалась она от каламбура.

«Не больше, чем ты!» — в тон ей ответил он.

«Да?» — фыркнула Светлана.

«А то нет?» — продолжал добродушно огрызаться Ипатов.

«Может быть, все-таки скажешь, что ты делал на дровах?» — спросила она, едва сдерживая смех: похоже, у нее было хорошее, возможно, даже очень хорошее настроение.

«Искал твои окна», — ответил он, упираясь рукой в поленницу над ее головой.

«Ну и как — нашел?» — насмешливо поинтересовалась она.

«Конечно! Вон они!» — кивнул он.

«Эти?»

«Да!»

«А я и не знала!»— тихо засмеялась она.

«Не твой?»

«Нет!»— игриво покачала она головой.

«А где твой?»

«Вот!»— помедлив, кивнула она на окна, расположенные тоже на шестом этаже, только в правом крыле.

«Правда?»— усомнился Ипатов.

«Шучу!»— смеялась она.— «Вон они!» На этот раз она показала на окна, находившиеся уже на левом краю дома, что совсем не соответствовало расположению ее квартиры.

«Не может быть!»— заявил Ипатов.

«Да? Тогда вот эти!»— она обернулась на окна шестого этажа со стороны канала.

Теперь Ипатов не сомневался, что она попросту дурачит его. Впрочем, он не возражал против этой игры, ибо она означала одно — конец ссоры, новую ступеньку в их отношениях.

«Значит, не скажешь?»— с замирающим сердцем проговорил он.

«Нет! Это одна из тайн нашего мадридского двора!»— смеясь, досказала она.

«Одна из тайн?— И многозначительно добавил:— Значит, есть и другие тайны?»

«А у кого их нет? У тебя, что ли, нет?»— ответила она, словно уличая его в чем-то.

«У меня?»— повторил он несколько озабоченно.

«Ну да, у тебя... А кто исчез на два часа в ресторане?»— напомнила Светлана.

«Во-первых, не на два, а на час,— поправил он.— А во-вторых, это не тайна. Все это время меня продержали в милицейской комнате!»

«Вот как?»— заметила она.— «Я вижу, с тобой не соскучишься!»

«Комплимент за комплимент: с тобой тоже!»

«Но я еще ни разу не была в милиции.»

«Как говорит моя бабушка: от суммы да от тюрьмы...»

«И это все, что говорит твоя бабушка?»

Но ответить Ипатов не успел. Над ними распахнулась форточка, и разъяренный женский голос обрушился на них с бранью:

«Мало вам дня, охламоны! Вот возьму и окачу вас водой!»

Ипатов только собрался огрызнуться, как Светлана схватила его за рукав и, приложив палец ко рту, шепнула:

«Т-с-с! Пошли в подъезд!»

Женщина что-то еще кричала им вслед, но они юркнули в полуоткрытую дверь.

«Вот ведьма!» — ругнул неизвестную тетку Ипатов.

«Я ее знаю, — сказала Светлана. — Она ходит по квартирам, моет полы, окна. Тихая такая, безотказная...»

«Видно, на день ее еще хватает», — раздумчиво произнес он — и раздражение как рукой сняло.

«Пошли выше!» — вдруг предложила Светлана.

Сердце у Ипатова сладко зашлось.

Они поднялись на лестничную площадку между первым и вторым этажами. Это была обыкновенная черная лестница, каких Ипатов повидал несчетное множество — с их нечистыми, застоявшимися запахами, ободранными старыми дверями, мусорными ведрами и полумраком. Но все эти подробности он вспомнил потом, когда все было уже позади. Тогда же он вообще не видел ничего, кроме Светланы. А разговор у них был долгий, ох какой долгий.

«Так за что же мы сидели?» — первым делом осведомилась она.

«Мы — в смысле я?» — уточнил Ипатов.

«Увы, для другого смысла пока нет оснований!»

«Нет?.. Ну ладно! Помнишь того типа в ресторане, что произвел на тебя неизгладимое впечатление своими нестандартными ресницами?»

«Конечно, такое не забывается», — насмешливо подтвердила она.

«Так вот, он шепнул милиционерам, что у меня якобы с собой пистолет. Ну они и держали меня до тех пор, пока окончательно не убедились, что единственное мое оружие — это знание некоторых латинских выражений. Альма матэр. Альтэр эго. Цетэрис парибус!»

«Почему ты этого не сказал мне тогда?» — уже серьезно спросила она.

«При этих не то турках, не то греках? Хотя я и не ахти какой дипломат, но все-таки сообразил, что эта история не для их иностранных ушей».

«Похвальная сообразительность, — опять кольнула она его насмешливым взглядом. — Мне бы такую!»

«Ты права, я вел себя как последний идиот! Действительно, откуда ты могла знать, где я и что со мной?»

«Кстати, они не греки и не турки»,— вдруг перевела она разговор.

«А кто же?»

«Персы!»

«Персы? А что они здесь делают?»

«Не знаю. Приехали в Союз не то что-то продавать, не то что-то покупать».

«А заодно и развозить по домам хорошеньких девушек?»

«Тебе даже это известно?»

«Мне все известно!»— заверил Ипатов.

«Вот как?»

«Было без десяти минут двенадцать, когда «кадиллак» отъехал от ресторана и, развернувшись у Дома книги, понесся по Невскому в направлении Дворцовой площади.— Ипатов говорил размеренно и монотонно, словно читая отрывок из детектива.— Затем он свернул на улицу Герцена и остановился у «Астории»...»

«Ты что, бежал следом?»— но даже эта шутка не могла скрыть ее искреннего удивления.

«Разумеется, как же я еще мог узнать?»— подхватил Ипатов.

«Я вся — внимание!»— сказала она.

«Тогда, может быть, присядем?»— он кивнул на подоконник.— А то я притомился, бегамши за машиной».

«Что ж, присядем!»— ответила Светлана.

Ипатов быстро смахнул варежками пыль, и они уселись в тесном узком проеме.

«Так я слушаю!»— напомнила она.

«Пожалуйста! Через две с половиной минуты «кадиллак» обогнул скверик напротив гостиницы и, набирая скорость, свернул на проспект Майорова. Все расстояние от Горисполкома до Садовой он проделал за две минуты двадцать пять секунд».

«Чудеса в решетке!»— воскликнула Светлана.— Откуда ты все это знаешь?»

«Так и быть — скажу.— Он наклонился к ее уху и вдохнул чистый, нежный запах каких-то очень тонких духов.— Я лежал в вашем багажнике!»

«Нет, правда?»— она, кажется, и в самом деле поверила.

«Я спрятался туда, пока вы вчетвером обмывали мое отсутствие».

«Ну и как там?» — Светлана снова перешла на шуточный тон.

«Честно говоря, немного тесновато!»

«Да, с тобой надо держать ухо востро!» — заметила она.

«Разве это так плохо, что я всю дорогу находился у тебя под рукой?»

Светлана бросила на него острый взгляд и начала припоминать:

«Погоди, погоди, как же так: быть в багажнике и в то же время разгуливать по нашему двору?»

«Проще пареной репы, — нашелся Ипатов. — Когда вы сбавили на повороте скорость, я выскочил из багажника и первым прибежал сюда».

«И, зная, что я в машине, принялся зачем-то искать мои окна?.. Заврался, дорогуша!» — и она дотронулась до его колена.

Он неожиданно для себя схватил ее руку и стал осыпать всю поцелуями.

«Все! Хватит!» — и ее тонкая ладошка выскользнула у него из-под губ.

«Еще немножко?» — жалобно попросил он.

«Хорошего понемножку», — ответила она.

Он вдруг, набравшись отчаянной решимости, обнял Светлану за плечи, и она тут же с ошеломляющей его простотой прильнула к нему. Их губы встретились в долгом и умелом поцелуе. У него то и дело перехватывало дыхание, сердце готово было выпрыгнуть из груди. «Господи, неужели это она, а это я?» — все еще не веря в происходящее, думал Ипатов. Трясущейся рукой он расстегнул ее шубку и стал целовать тонкую и прямую шею. Он чувствовал, что Светлана обмякает под его жадными поцелуями. Когда они оба вконец обессилели, он сполз на пол и положил ей голову на колени.

«Господи, если бы ты только знала, как я тебя люблю!» — простонал он.

Она осторожно просеивала сквозь свои длинные и ласковые пальцы его подстриженные в лучшей парикмахерской мягкие волосы.

«Слушай, а где твоя шапка?»

«Не знаю, где-нибудь здесь», — ответил он, не поднимая головы.

«На полу грязно. Подними ее», — продолжала она.

«Пусть!»— ответил он.

«Все!— сказала она, просовывая обе руки между его щекой и своими коленями.— Вставай... Раз!.. Два!.. Три!..»

Он нежился в ее ладонях и не трогался с места.

«Скажи, у тебя уже кто-то был?»

«Да»,— признался он.

«Вот ты какой!»— протянула она.

«Мы служили в одной части, и она погибла перед самым концом войны».

«Ты ее очень любил?»

«Нет. Просто мы считали, что нам совсем мало осталось жить. С ней так и случилось»,— Ипатов поднял шапку-ушанку и сел на подоконник.

«Дай мне свою руку!»— неожиданно сказала Светлана.

Она приблизила к глазам его широкую крепкую ладонь и промолвила:

«Нет, темно, ничего не видно!»

«Ты что, умеешь гадать?»

«Умею... умею... умею.— Она поворачивала его ладонь и так, и этак, пытаясь что-то разглядеть в тусклом ночном свете, проникающем со двора.— Нет, ни черташеньки не видно!»

«Как, как ты сказала?»

«Ни черташеньки!»— весело повторила она, нехотя отпуская его руку.

«Ни черташеньки!»— произнес он, умиляясь.— До чего хорошо!»

«Ни черташеньки!»— вздохнув, еще раз сказала она.

«Дай тогда я тебе погадаю?»— попросил Ипатов.

«Да? На!»— Светлана поднесла свою тонкую, поразительно красивую ладошку, и он припал к ней долгим и благодарным поцелуем.

А потом где-то сверху хлопнула дверь, и они услышали, как кто-то стал медленно и осторожно спускаться.

«Это папа!»— почти сразу узнала она.— Ну я пошла!»

И уже, шагнув к лестнице и обернувшись, шепнула:

«До завтра!»

До завтра, до завтра, до завтра...

— А... это ты!— радостно протянул он. И хотя его и девочку разделяли почти два этажа, он уловил в далеком внимательном взгляде не только обычное любопытство, но и движение доброй души. Малышку, видно, что-то тронуло в его последнем обращении: не жалобная ли интонация?

— А вы не пьяный?— неожиданно спросила она.

— Разве я похож на пьяного?— ответил он.

— Правда, не пьяный?— с надеждой переспросила она.

— Честное слово, нет!— сказал он.— Просто у меня очень болит сердце. Я не могу ни подняться, ни спуститься. Тебе не трудно позвать кого-нибудь из взрослых, папу или маму, все равно кого?

Девочка замялась с ответом.

— Ты что, одна дома?

Она настороженно молчала. (Ах ты, Фомушка неверный! Снова заподозрила в его словах какой-то тайный умысел!)

— Понимаешь, какая история,— продолжал Ипатов,— я по рассеянности не захватил с собой лекарств, от которых мне обычно становится легче. Может быть, они есть у вас?

— А вы правду говорите?— опять с недоверием спросила она.

— Неужели я похож на какого-нибудь жулика или бандита?— бросил на чашу весов свой последний козырь Ипатов.

— Нет,— подумав, ответила она.

— Ну вот и хорошо! Сбегай тогда к себе и посмотри, нет ли у вас этих лекарств... Запомни названия... валидол и нитроглицерин... валидол и нитроглицерин... Запомнила?

— Угу!— подтвердила она.

— Только, пожалуйста, побыстрее!

Она кивнула головой и скрылась из виду. Ипатов ясно слышал, как вслед за ней хлопнула дверь и щелкнул замок. Значит, до конца все-таки не доверяет...

Потянулись минуты — долгие и томительные, и Ипатова уже начало одолевает сомнение: а вдруг не выйдет? Вспомнит, о чем предупреждали родители, и будет до их прихода сидеть взаперти. Его бы Машка, возможно, так и поступила, а он бы за это ее только похвалил...

И вдруг на четвертом этаже снова шелкнул замок и, широко распахнувшись, стукнула о косяк дверь. Так и не закрыв ее, девочка пулей пробежала по невидимой площадке и теперь лихо отстукивала своей крепкой обувкой по невидимым ступенькам. «Славный, добрый, мужественный человек!» — с благодарностью подумал Ипатов.

И вот она уже в пределах видимости на одном из завитков лестницы. Бросив на Ипатова, скорчившегося на перилах, короткий, серьезный, озабоченный взгляд, девочка, не задерживаясь на пятом этаже, застучала сапожками дальше. В руках она держала плоский деревянный ящичек. С этого момента Ипатов мог уже хорошо разглядеть ее. Ей было лет десять-одиннадцать. Тонкие косички с шикарными голубыми бантами прыгали туда-сюда по спине. Как и тогда, когда она выглянула с четвертого этажа, Ипатова поразило ее бледное, почти без кровинки лицо, впрочем такое же, как у его Машки. Словом, дети эпохи научно-технической революции — жертвы непосильных школьных программ, необременительной физры (так, кажется, называются у них занятия по физкультуре), многочасового сидения у телевизора и чрезмерного родительского честолюбия. Была бы больше на воздухе, ох как заиграли бы ее круглые щечки с ямочками.

Теперь Ипатова и девочку разделял какой-нибудь десяток ступеней. Она по-прежнему смотрела на него в упор дружески-озабоченным, деловым взглядом.

— Ну что, нашла? — спросил он.

— Валидола и глицерина нет, — на ходу сообщила она. — Но может быть, вам другие лекарства помогут?

— Ты спутала, дружок: не глицерин, а нитроглицерин! — с усилием улыбнулся Ипатов.

— Нитроглицерин? — повторила девочка, останавливаясь.

С трудом выдвинув из ящичка крышку, она принялась лихорадочно рыться в ворохе порошков и таблеток. Держать на руках и еще искать было очень неудобно, и Ипатов посоветовал ей:

— А ты поставь его на ступеньку!

Увидев, что он говорит серьезно, девочка тут же расположилась со своим ящичком на ступеньках.

— Читай названия вслух! — сказал Ипатов. — И все ненужное пока откладывай в сторону!

Большинство названий было для нее совершенно непонятно, слишком мудрено, и она читала их по складам, стараясь не перевернуть и все-таки безбожно перевертая. Когда встречались одни латинские слова, она показывала Ипатову. В основном здесь были средства от простуды и кишечных заболеваний, то есть те лекарства, с которыми имеет дело все человечество, независимо от возраста и здоровья. Они дважды проверили все содержимое ящичка и не обнаружили ничего подходящего. Что ж, родители у нее, видно, люди молодые и в сердечных средствах пока не нуждаются.

— Что же будем делать?— спросил Ипатов.

— Не знаю,— печально ответила девочка, сидя на ступеньках.

— Как тебя звать?

— Наташа.

— Наташа, у вас дома есть телефон?

— Есть!— вскинула она голову, словно предчувствуя, что вопрос задан не случайно.

— Теперь нам не остается ничего,— продолжал Ипатов,— как вызвать «скорую помощь». Сходи и позвони по ноль три, попроси приехать, скажи, что сердечный приступ!

Смахнув со ступеньки все в ящичек, девочка поднялась и понеслась вниз по лестнице.

— Скажи: очень, очень плохо с сердцем!— крикнул вслед Ипатов.

— Скажу!— ответила она на бегу, бросив на него свой неизменно короткий, озабоченный, деловой взгляд.

Когда девочка была где-то на последних ступеньках перед своим этажом, Ипатов вдруг вспомнил о неработающем лифте.

— Наташа!— окликнул он ее.

— Что?— она подбежала к перилам и испуганно взглянула вверх.

— Проверь, плотно ли прикрыта дверца лифта?

Она в мгновение ока съехала на свою площадку. Через секунду до Ипатова долетел знакомый щелчок дверной ручки.

— Теперь плотно!— сообщила девочка, подходя к перилам.

— Спросят мою фамилию,— сказал Ипатов,— скажи: Ипатов! Константин Сергеевич!

Она кивнула своей белокурой головкой и убежала.

На этот раз ждать долго не пришлось. Она вернулась через несколько минут, размазывая по лицу слезы.

— Что случилось?— с предчувствием какого-то нового осложнения спросил Ипатов.

— Сперва... она сказала,— плача, рассказывала девочка,— что от детей... они... вызовы не принимают... Говорит... пусть... позвонит... кто-нибудь из взрослых... А когда я ей сказала... что одна дома... она сказала... чтобы я позвонила... на неотложку... А когда я позвонила и... сказала, что вы... не из нашего дома и... лежите на лестнице... там сказали, чтобы я... опять... позвонила... на «скорую помощь»...

— Не плачь, дружище!— крикнул Ипатов — Что-нибудь мы все-таки придумаем... Слушай! Ты им сказала, что у меня сердечный приступ?

— Ска-за-зала...

— А они что?

— А они сказали... что пить меньше надо...

— Ну хорошо!— сказал Ипатов.— Позови кого-нибудь из соседей!

— Сейчас!— мгновенно отозвалась она и побежала куда-то в глубь своей площадки...

Родители опять не спали: у них горел маленький свет. Лежали, дожидались его возвращения. Как только он заявился, отец тут же выключил свет. Ипатов на цыпочках прошел к себе. Прямо в верхней одежде, в сапогах повалился на кровать, одним духом взгромоздив ноги на спинку. Блаженная улыбка не сходила с его лица. Со стены на Ипатова с непонятным укором глядели апостолы Петр и Павел (эту репродукцию картины Эль Греко, отпечатанную в Мадриде, он привез из Германии — взял ее в доме какого-то гитлеровца, бежавшего на Запад. Еврейские лица обоих апостолов, по-видимому, не очень шокировали владельца особняка). Ах, вот почему укор! Ипатов перенес ноги на пол, снял промокшие сапоги.

За тонкой перегородкой скрипнула кровать, знакомо шаркнули старые комнатные туфли: мама все-таки не утерпела, решила, вероятно, пока он не спит, спросить, где был и что делал. Ему да не знать своих родителей. Так и есть: портьера шевельнулась, и в комнату заглянула мама. На бледном лице ее черные глаза казались огромными.

«Можно к тебе?»

«Что за вопрос? Давай!»

Смущаясь своей ветхой ночной рубашки и все время оправляя ее, мама зашла в комнату и присела на кровать.

«Ты чего не раздеваешься?»— спросила она.

«Сейчас разденусь!»— ответил он, прижимая ее руку к щеке и губам.

«Кто она?»— спросила мама.

«Самая красивая — раз, самая добрая — два, — загибал он распухшие от частых стирок мамины пальцы, — самая умная — три...» На руке оставалось еще два пальца, и Ипатов загнул их со словами:

«И тэ пэ, и тэ дэ».

«То, что она самая-самая, я не сомневаюсь, — ласково отозвалась мама. — Но мне хотелось бы знать о ней что-нибудь более определенное?»

«Зачем? Разве так уж существенно остальное?»

Мама улыбнулась:

«Она — забытый сон веков, в ней несвершенные надежды. Я шорох знал ее шагов и шелест чувствовал одежды... Так?»

«Так», — ответил Ипатов.

«И все же у этого самого-самого, — продолжала мама, — я почему-то думаю, есть имя... Оно, это самое-самое, где-то живет, учится, имеет родителей...»

«Мамуль, чьи это были стихи?» — попробовал перевести разговор на другое Ипатов.

«А... это Волошина!» (Стихов она помнила ничуть не меньше Вальки Дутова, может быть, даже больше. Устроить бы между ними поэтический турнир.)

«Так кто же она?» — Нет, заговорить маме зубы практически невозможно.

«Существо противоположного пола», — улыбнулся Ипатов.

«Да? — мама прямо-таки артистически спародировала удивление. — Это, знаешь, в немалой степени расширяет мое представление о предмете!»

«Ну зачем тебе ее анкетные данные? ...Ну хорошо, — наконец сдался он. — Моему предмету девятнадцать лет, он учится на нашем курсе, зовут его Светлана, с родителями у него тоже полный порядок: папа почти адмирал, мама почти адмиральша. Так что у тебя есть шанс породниться с ними!»

«И как, очень серьезный шанс?»— в голосе мамы послышалась явная озабоченность.

«Не знаю,— пожал плечами Ипатов.— Если бы это зависело только от меня...».

«Вот как?— мама внимательно посмотрела на него.— Ты не очень уверен в ней?»

«Понимаешь,— Ипатов даже привстал,— она необыкновенно хороша! Такие, как она, рождаются раз в сто лет!»

«Но если немножко чаще,— заметила мама, остановив на нем свои смеющиеся глаза,— тоже неплохо».

Ипатов рывком соскочил с постели:

«Я ведь не мальчик, которого берет оторопь при виде каждой смазливой мордочки! Вот этими своими ходулями я обошел пол-Европы и попутно с основным делом, как ты знаешь, всласть нагляделся на вашего брата. И если я говорю: «Хороша!»— то так оно и есть!»

«Против такого аргумента трудно возразить,— рассмеялась мама.— Когда же ты нас с ней познакомишь?»

«Хоть завт...— и осекся, словно только что увидел окружающее его убожество: доживавшие свой век стулья; кресло, у которого не хватало одной ножки и во все стороны выпирали пружины; железную кровать, купленную за тридцатку на барахолке; старый стол, накрытый центральными газетами... И с кислым видом уточнил:— Когда представится возможность...»

«Ты только предупреди нас заранее.— Мама, по-видимому, заметила его растерянность.— Я наведу марафет!»

«Тут — марафет?!— заорал Ипатов.— Да все это надо вывезти на свалку и сжечь!»

Из-за перегородки прорвался недовольный голос отца:

«Аня, может быть, перенесете разговор на завтра?»

«Т-с-с!— сделала мама знак молчания.— У меня уже есть идея, как все расставить...»

«Расставить?»— зашипел Ипатов.

«А что? Будет очень мило!»— в голове мамы уже шла работа, как скрыть это ужасающее убожество.

«Делай, что хочешь!»— Ипатов махнул рукой и стал раздеваться.

Обдумывая перестановку, мама присела на стул посреди комнатки, сложив обе руки ладошками между коленями.

«Интересно, сколько времени?»— вдруг спохватилась она и поднялась.

«Сейчас!»— Ипатов полез в карман брюк и... смутился, вспомнив, что «Гайнц Плюм» уже третий день верой и правдой служит новому хозяину.

«Куда же их положил?»— зардевшись от вранья, произнес он.

«Спокочи ночи, Костик-хвостик!»— пожелала ему на сон грядущий мама и скрылась за дверью.

Ипатов забрался под одеяло. Ни в одном глазу было сна. Впечатления от прошедшего дня с его крутыми, почти безумными поворотами, праздничные мысли о завтрашней встрече, полные смятения думы о будущем, смешавшись, прямо-таки разрывали Ипатова на части. Он не находил себе места, без конца ворочался на своей узкой, провисшей, жалобно постанывающей кровати; подушка, которая все время мешала ему найти удобное положение, вскоре оказалась на полу...

«Она моя, моя, моя!»— неистово и удивленно твердил он вполголоса.— Вся, вся моя! С головы до ног!— И тут же в сомнении спрашивал:— А ты уверен в этом?— И отвечал в яростном исступлении самому себе:— Да, да, да! Она же ни разу не дала почувствовать, что я позволяю себе слишком много! Какое еще требуется доказательство, что она меня любит?»

Господи, а вдруг ничего этого не было? Приснилось? Померещилось? Но какое надо иметь воображение, чтобы как наяву ощутить все это: и ненасытную неутолимость поцелуев, и нежную бархатистость шеи, и травяные запахи волос, и холмик груди, опрокинутый в его ладонь, и теплоту коленей, и ласковость нежных и добрых рук!

Они бы пошли и дальше, если бы не эта замызганная и вонючая черная лестница, где пахло мочой и под ногами хрустела яичная скорлупа, где только кошкам самое место крутить любовь. Как хорошо, что они вовремя спохватились.

До чего славная штука — жизнь! Прожита всего лишь треть ее... А может быть, и меньше? Если повезет, можно дожить и до восьмидесяти, до девяноста, и даже сто не предел. Судя по этой трети, он счастливчик каких мало! Перво-наперво, уцелеть в такой войне. Мало того, что уцелеть самому, но и не потерять родителей. Затем, поступить в один из лучших университетов страны, заняться любимым делом. И наконец — встретить е...

За стеной размеренно и неторопливо пробили часы. Четыре. Всего каких-нибудь пять-шесть часов осталось до встречи. Нетерпение сжигало его изнутри...

Боже, как хорошо, как чисто, как многообещающе начинается новая треть его жизни! Конечно, он предвидит трудности, и немалые. Например, он нисколько не сомневается, что ее родители будут против. По их теперешней шкале ценностей, надо полагать, он Светлане не пара, человек без роду, без племени. И если они пойдут на уступки дочери, то крайне неохотно, с нескрываемым недовольством, возможно, даже начнут ставить палки в колеса. Однако он согласен на все, готов перетерпеть и барский гнев, и барскую любовь, хотя со стороны ее предков любовь вряд ли предвидится, но не обрывать же грибоедовскую цитату на полуслове. Честно говоря, ему бы очень не хотелось перебираться к ним. Возможно, они и промолчат, но где уверенность, что они не подумают о нем, как о нахале, ворвавшемся в их жирный рай с одним тощим рюкзачком, в котором нет ничего, кроме конспектов и нескольких вконец застиранных трусов и маек? Не трудно представить, с каким чувством он будет ходить по их шикарным коврам, есть с их шикарной посуды, вешать в их шикарный шкаф свой драный китель. Но еще хуже, если Светлана переедет сюда, где все, все, до последней кружки с отбитой эмалью, из которой они пьют чай, до зияющего прорехами половика, до ободранных обоев, кричит о нужде. И ничто не сгладит впечатления от скудости их быта — ни мамино обаяние, ни отцовская благородная седина, ни висящие повсюду портреты в старинных рамках — четыре поколения с той и другой стороны. Марафет, который наведет мама, надо думать, поможет, как мертвому припарки. Да и что можно сделать, если у них на сберегательной книжке сто пять рублей двадцать шесть копеек, если живут они от зарплаты до зарплаты, и каждой новой покупке, будь то пара теплого белья или ботинки, брюки или одеяло, предшествуют такие долгие, такие унижительные усилия, что сам себе становишься противен. Одна мама не унывает. Здесь выкроит пятерку, там десятку и откладывает железно, как будто от этой пятерки или десятки зависят судьбы человечества...

Но может быть, родители Светланы смирятся с тем, что он гол как сокол? В конечном счете, кто-кто, а они должны знать, что и деньги, и одежда, и положение —

дело наживное. Он уверен, пройдет пять, десять, пятнадцать лет, и он станет известным, не исключено даже, что очень известным журналистом-международником. Он уже сейчас каждую свободную минуту хватается за перо и пишет, и пишет, пробуя себя чуть ли не во всех газетных жанрах, от путевых заметок по зарубежным странам (разумеется, пока тем, где он побывал в конце войны с танками) до политических памфлетов, в которых с немалым сарказмом высмеивает прогнившую буржуазную демократию. Кое-что из написанного он послал на отзыв старому другу Бальяну, готовившемуся в своей родной Туле к поступлению в Литературный институт имени Горького, и получил от него пространный ответ с разбором каждого материала. Указав на отдельные недостатки, Гера в целом положительно отозвался об идейно-художественных достоинствах прочитанного. Теперь у Ипатова нет и тени сомнения в своем высоком предназначении. Он будет работать дни и ночи напролет и непременно добьется своего. Станет вторым Эрнстом Генри или вторым Ильей Эренбургом. Возможно, он даже не возьмет псевдонима. В конце концов, и фамилия Ипатов может звучать громко и весомо! Надо только постараться! Здорово постараться! И в этой отчаянной и увлекательной борьбе за место под солнцем он найдет в Светлане верного и умного помощника! Вдвоем они — такие талантливые, молодые, красивые — эх, мать честная! — сколько дел провернут!

Правда, для начала он должен будет перевестись с русского отделения, где готовят бедолаг учителей, на газетное. Там пестуют и холят цвет будущей журналистики. Он уже узнавал. Его всем синклитом уговаривали не торопиться, разобраться в себе, подумать. Что он, мальчишка какой-нибудь! Все, в ближайшие дни он снова пойдет к декану!..

Своими планами он обязательно поделится со Светланой. Теперь он всегда будет делиться с ней самым сокровенным!..

Ипатов соскочил с кровати, походил по комнате, освещенной тусклой луной. Затем, чтобы хоть немного успокоиться, сел в кресло на торчащие во все стороны пружины. Долго не высидел, снова нырнул под одеяло...

Перед ним мелькали, то выстраиваясь в ряд, то возникая и исчезая как им вздумается, картины прошедшего дня... ресторан... тот тип с ножом... милиционеры...

восточные дипломаты... вокзал... ошарашенные моряки... драка в автобусе... погоня за «кадиллаком»... бег по шаткой поленнице дров... черная лестница... и все, что там было и чего не было,— до мельчайших подробностей... Нет, если он сейчас не уснет, то к утру совсем свихнется!.. И опять — в который раз!— не слыша под собой ног от счастья, он летел через весь ночной город. Одни улицы сменялись другими, мимо, как во сне, не сохраняясь в памяти, проплывали какие-то дома, переулки, скверы, парапеты мостов, решетки, кинотеатры, магазины, аптеки...

И над всем этим сияло, звенело, наливалось спелым яблоком огромное и неохватное слово «завтра»...

Вот уж не думал, что у сына есть заветная тетрадка, куда он старательно, изо дня в день, заносил высказывания, изречения и афоризмы выдающихся людей всех времен и народов. Кого только там не было: и Пушкин, и Гёте, и Байрон, и Наполеон, и Шостакович... И надо же, что в этой весьма почтенной компании неожиданно оказался и он, Ипатов-старший. Было от чего ахнуть, встретив в тетрадке свои старые-престарые студенческие стихи, о которых он давным-давно позабыл и которые считал утерянными. (Увы, больше он стихов не писал.) По-видимому, Олежка наткнулся на них, выгребая отовсюду макулатуру. Ненароком прочел и уже по-родственному поместил их среди цитат и высказываний классиков. Впрочем, может быть, они и впрямь ему чем-то приглянулись. Несмотря на свою наивность и забавную претенциозность, они писались одним духом и были искренни. Когда-то эти стихотворения в прозе Ипатов посвятил Светлане. Первое из них он написал еще до знакомства: «Ты на меня не смотришь, потому что не видишь, ты меня не видишь, потому что я избегаю тебя, я избегаю тебя, потому что — черт побери!— я слишком горд, чтобы встречаться с той, которая не смотрит на меня». Второе он сочинил уже после знакомства: «К встрече с тобой я готовлюсь, как самый прилежный студент к экзамену. Сотни раз повторяю про себя одни и те же слова. Но как только я вижу тебя, я все забываю. И ты ставишь мне со спокойной совестью двойку, хотя я допустил всего только одну ошибку — выбрал на свою голову такого придирчивого экзаменатора». Еще, оказывается,

он писал: «Не потому ли она ходит с высоко поднятой головой, что я хожу с поникшей?» Он совершенно не помнил, когда пришли ему в голову эти строки: «Она лишь достойна того, кто от чистого сердца скажет, что он не достоин ее...» Во что другое, а в это Ипатов верил неукоснительно. По иронии судьбы или — что будет точнее — стечению обстоятельств Светлана так и не узнала, что ей было посвящено несколько стихотворений в прозе.

Он уснул только под утро. Спал же он совсем мало — вскоре, уходя на работу, мама разбудила его. До занятий времени было более чем достаточно, но он все равно вскочил с постели и принялся наводить красоту: заново вычистил и выгладил форму, пришел свежий подворотничок, надраил сапоги, аккуратнейшим образом подстриг ногти, тщательно — до последнего волоска — выбрил физиономию, долго, очень долго чистил зубы: сперва обыкновенным зубным порошком, а затем ароматической румынской пастой, которую ему подарил во время своего недавнего приезда в Ленинград Леха Алексеев, более известный среди однополчан под прозвищем Наследничек. Он приехал повидать гвардии подполковника Столярова, обучавшегося на каких-то высших командных курсах. По Лехиным рассказам, он, Леха, в течение трех месяцев, уже в звании старшего лейтенанта, состоял личным телохранителем самого короля Михая и попутно, втайне от всех — никому об этом ни слова! — зарегистрировался с одной румынской принцессой. Но одет он был и впрямь по последней румынской моде: серое габардиновое пальто, зеленая шляпа с кисточкой, желтые ботинки на толстом каучуке. Разобраться, где он говорит правду и где сочиняет, было невозможно, и Ипатов оставил все попытки добраться до истины. Наследничка следовало принимать таким, каким он уродился — отчаянным фантазером, — или вовсе не принимать...

Паста пенилась, благоухала, приобщала к чужой, устроенной жизни...

Когда Ипатов вышел из дому, часы на углу показывали всего без четверти восемь. В такую рань он еще никогда не выходил. Даже если бы сейчас пошел пешком, и то бы не опоздал. И все же, зная, что приедет задолго до начала занятий и весь истомится в ожидании

Светланы, Ипатов ничего не мог поделаться с обуревавшим его нетерпением: вскочил на первый подошедший автобус и за двадцать минут быстрой езды по еще малолюдному Невскому был доставлен к Университету.

Вахтерша, протиравшая мокрой тряпкой пол, удивленно взглянула на него — если бы она не заметила его раньше, то наверняка решила бы, что он ошибся дверью: так рано еще никто не приходил. Не говоря уже о студентах, даже преподаватели и те являлись всего за две-три минуты до звонка... В гардеробе, куда спустился Ипатов, не было ни души. Он сам повесил пальто и осмотрел себя со всех сторон в косо закрепленном, потускневшем от времени зеркале — возможно, в него гляделись еще сподвижники Петра...

Актный зал, где по расписанию должна была состояться первая — общая — лекция («Введение в языкознание»), встретил Ипатова запахом недавно вымытого пола. Он прошел к среднему окну и уселся на подоконник. Отсюда были видны все подходы к факультету — и со стороны главного здания, и со стороны Академии художеств, и со стороны набережной. Словом, лучшего наблюдательного пункта не найти: откуда бы ни появилась Светлана, он непременно увидит ее. До начала занятий оставалось тридцать пять минут. Из подошедшего автобуса вышли две немолодые женщины. Одну из них Ипатов узнал сразу. Это была секретарь факультета. Прежде чем разойтись, они немного постояли, посудачили. Затем из-за угла выскочил какой-то студент. Обалдело уставился на электрические часы. Так, задрав голову, обошел их со всех сторон. Очевидно, время на циферблатах было разное. Увидев, что торопиться незачем, студент осторожными шажками, с трудом удерживая равновесие, двинулся по самому краю тротуара. Наверно, первокурсник, из недавних десятиклассников — еще не кончилось детство... Потом показались три девушки в простеньких пальто. Увидев паренька, шагавшего по кромке, как по канату, они переглянулись и остановились поглазеть на него. Похоже, что он их не замечал. Когда расстояние между ними сократилось до нескольких метров, одна нога у него соскользнула, и он едва не растянулся на мостовой. Девушки прыснули и, все время оглядываясь, свернули к факультету. Паренек демонстративно зашагал по крайней в обратном направлении.

Одновременно слева и справа появилось четверо (двое оттуда, двое отсюда)... нет, пятеро... нет, шестеро студентов. И еще ринулась через дорогу к факультету девушка в белом теплом платке. Из-под часов вынес на костылях-трудягах свое изуродованное войною, одноногое тело Коля Богоявленский, студент третьего курса восточного факультета. Однажды Ипатов разговорился с ним и, к своему крайнему удивлению, узнал, что они с Колей были ранены в один день и даже в один час. Правда, произошло это на разных фронтах, и Ипатов, в отличие от Богоявленского, отделался легко — всего месяц и двадцать дней провалялся в госпитале. Чтобы добраться до аудитории, Коле потребуется по меньшей мере еще четверть часа. Все прибывающая толпа студентов осторожно обтекала его. Не пройдет и двух-трех минут, как народ валом повалит. Конечно, разглядеть лица сверху, к тому же с такого расстояния, почти невозможно, но серую шубку и серую шапочку, можно не сомневаться, он увидит мигом. Теперь студенты двигались уже сплошным потоком. Взгляд Ипатова лихорадочно метался от одного серого пятна к другому... Не она... опять не она... опять... И сердце, которое всякий раз принималось отчаянно наяривать какую-то свою, только ему понятную мелодию, не имело даже короткой возможности передохнуть...

Между тем начал заполняться и актовый зал. Торчать на подоконнике, тем более на виду у всех, уже не имело смысла. Надо было, пока не поздно, занять места поближе к двери и подальше от кафедры, чтобы Светлана, как только войдет, сразу увидела его, сразу села рядом. Ипатов устремился к последнему столу слева, к которому уже направлялись трое ребят из второй английской группы. По пути опрокинул ряд из стульев, соединенных вместе. Задел рукой и столкнул на пол чей-то тяжеленный, с книгами, портфель. Не глядя, на ходу извинился. Оставалась единственная возможность опередить ребят — это... И он ловко вскочил на скамейку. Ойкнула от неожиданности сидевшая рядом девица в матроске. Один точный прыжок, другой, третий, и Ипатов с грохотом плюхнулся на облюбованные места. На него обернулось, наверно, с ползала: что это с дылдой? Не рехнулся ли? Ребята из второй английской, недоуменно переглядываясь и пожимая плечами, сели за соседний стол. Однако все это уже мало трогало Ипатова. Сейчас его внимание было обращено на две-

ри — на ближайшую, находившуюся теперь от него всего в нескольких метрах, и дальнюю, которой пользовались в основном преподаватели...

«Гони рубль! Слышишь, гони рубль!»

Ипатов не сразу сообразил, что обращались к нему. Оказалось, собирали какие-то взносы по линии «Красного Креста и Красного Полумесяца».

Аня Тихонова, девушка из их группы, упрямо придвигала к нему ведомость, чтобы он расписался, а он так же упорно отодвигался: в кармане у него было всего сорок восемь копеек — на обратную дорогу.

«Завтра принесу!» — пообещал он, хотя отлично помнил, что никогда не вступал в это общество. В ОСО-АВИАХИМ вступал, а сюда — нет.

«Смотри не забудь!» — напоследок предупредила Тихонова...

Зал уже был почти полон, а в обе двери все еще вливались опаздывающие. Светланы среди них не было. И хотя надежда на ее появление убывала с каждой секундой, Ипатов упрямо твердил всем, кто покушался на соседний стул:

«Занято!.. Занято!.. Занято!..»

Вскоре косяки опаздывающих заметно поредели, а затем и вовсе иссякли. Последними пулей влетели, прикрыв за собой дверь, парень из первой французской и девушка из группы логики и психологии: судя по их прыти, профессор был где-то на подходе. В отличие от своего коллеги-доцента, воспринимавшего студенческую аудиторию как нечто целое и неделимое и поэтому не обращавшего внимания на такие мелочи, как опоздания, пересаживания с места на место и разговоры, профессор, читающий курс языкознания, не только не допускал на лекции опоздавших, но и замечал все, что делалось в зале. Стоило только кому-то ослабить внимание или нарушить тишину, как тут же наступало возмездие. Профессор был довольно язвительен, и его шпилек и замечаний побаивались и старались избегать. Извиняло блюстителя дисциплины в глазах студентов лишь то, что он очень интересно преподносил материал и, по слухам, являлся одним из ближайших учеников академика Марра, чьи основные труды им еще предстояло вскоре изучать...

Зародившаяся где-то у кафедры тишина стремительно покатилась по рядам и в считанные секунды уперлась в «камчатку». По ступенькам на сцену, где

у самого края возвышалась кафедра, уверенной, не по возрасту молодой походкой взбегал профессор. Его тонкий восточный профиль косился в зал черным внимательным глазом. Стояла такая тишина, что было слышно, как за дверью негромко, вполголоса переговаривались опоздавшие. А вдруг среди них Светлана? Но в этот момент заговорил профессор:

«В прошлый раз мы остановились на вопросах, имеющих немаловажное значение...»

Теперь разобраться в голосах за дверью было невозможно. Оставалось выбирать между лекцией и разговором в коридоре, и Ипатов, естественно, выбрал последнее. Он нарастил ухо ладонью и направил его, как локатор, на дверь. Из нескольких голосов только один был мужской, остальные женские. Похоже, там обсуждалось, входить ли сейчас или все-таки дождаться перерыва. Ребятам понять можно: не каждый осмелится войти в аудиторию, когда уже началась лекция по языкознанию. Это все равно, что ввалиться в клетку со львом. Но в последнем случае смельчака еще могут выручить дрессировщик или брандспойты. Здесь же его будут терзать на части под дружный хохот или в лучшем случае — насмешливое молчание всего курса. На это до сих пор отважился пока один Валька Дутов, и то потому, что не ведал, что творил...

Между тем время шло, а ребята так и не решались войти. Потом голоса заметно поредели. Первым отважился парень, щеголявший своим басом, затем часть девчонок. Однако кое-кто и остался. Но как Ипатов ни напрягал слух, чтобы разобраться в голосах за дверью, у него ничего не получалось: мешал профессор, заполнявший своей громкой и отчетливой речью всю аудиторию. И только когда он замолчал, отыскивая в карточках какой-то пример из литературы, Ипатов вдруг уловил знакомую интонацию. Голос Светланы — он ясно его слышал — звучал, как всегда, глуховато и чуть-чуть растерянно. Значит, она среди опоздавших! Господи, что же делать? Если она не войдет и будет ждать перерыва, он лопнет от нетерпения! Он уже сейчас не находил себе места, а что будет через десять, пятнадцать, двадцать минут? Слушать всякую бодягу о давно несуществующих языках в то время, как за каждую минуту свидания он готов отдать все. Тем более теперь, когда их разделяли всего каких-нибудь несколько метров! Если бы вдруг наступила полная тишина, они при

желании могли бы слышать даже дыхание друг друга... Но может быть, это не она? Временами голос и в самом деле становился неузнаваемо монотонным, занудливо бубнящим. И тогда он начинал сомневаться: скорее всего, не она!.. Да и будет Светлана торчать у двери и без передышки болтать с кем попало! Как бы не так! Не тот характер!.. Так что остается одно — не гадать на кофейной гуще, а терпеливо дожидаться перерыва. Но только Ипатов с немалыми усилиями над собой переключил внимание на лекцию, как снова за дверью слышалась знакомая интонация. И ему опять стало не до санскрита. Он всем корпусом резко повернулся к двери и пытался пробиться туда слухом через поток заунывных профессорских слов. Сейчас он готов был дать голову на отсечение, что это голос Светланы!.. А что, если взять и выйти из аудитории? Профессор даже не успеет раскрыть рот, как он будет уже в коридоре. В конечном счете, тот должен понимать, что если человек вдруг ни с того ни с сего вышел, значит, ему это нужно позарез. Правда, кто-нибудь потом насмешливо пройдет по его адресу. Но считаться с такими пустяками сейчас просто смешно. И все-таки Ипатов медлил, не было полной уверенности: голос нет-нет да и терял сходство.

И вдруг через весь зал, над десятками встрепенувшихся голов, сурово и иронично пронеслось:

«Товарищ, сидящий в последнем ряду!»

Сердце у Ипатова неприятно екнуло: «Мне!» Но он еще надеялся, что замечание предназначено не ему. Даже посмотрел на соседей справа и слева.

«Я обращаюсь к вам, товарищ!»

Они встретились взглядами. Ипатов залился румянцем.

«Да, да, к вам,— профессор издали сверлил его своими черными красивыми глазами.— Я давно наблюдаю за вами и пытаюсь в меру своих ограниченных возможностей понять, что вас не устраивает в моей лекции?»

Теперь на Ипатова глядели сотни насмешливых глаз. Кое-кто откровенно предвкушал забаву.

«Вывод, который я сделал, состоит в том,— продолжал профессор,— что вас больше всего интересует дверь. Так в чем же дело?»— и он изящным жестом под общий смех показал на выход.

Ипатов сидел весь багровый. «А что, если,— мелькнула отчаянная мысль,— воспользоваться этим недвусмысленным намеком и выйти?» Нет, это уже будет воспринято как явная демонстрация, как вызов!

«Ну что ж, продолжим,— помолчав, сказал профессор.— Генеалогическая квалификация языков и понятие языкового родства не так просты, как это кажется с первого взгляда...»

Все оставшееся до перерыва время Ипатов не сводил глаз с профессора. В армии это называлось «есть глазами начальство», всем своим видом показывая, какой ты хороший и послушный. И в самом деле, глядя на Ипатова, можно было подумать, что теперь для него нет ничего более важного, чем спряжение глаголов в готском и финно-угорском языках. Но даже в этом положении он ухитрялся вслушиваться в уже совсем передешшие голоса за дверью: один как будто Светланы, другой тоже вроде ее, но еще тише. Потом и они исчезли. Однако и после этого мысли Ипатова были так далеко, что, если бы лектор вдруг попросил его повторить, о чем идет речь, он, наверное, стоял бы и мямлил, как последний тупица. Надо думать, весь курс покатывался бы со смеху. К счастью, на этот раз профессор упустил такую возможность...

Как только раздался звонок и профессор кивком головы отпустил студентов, Ипатов первым рванулся с места и выскочил из аудитории. За дверью уже никого не было. Опоздавшие стояли небольшими группками у окна и прогуливались по коридору. Взгляд, не задерживаясь, прошелся по ним: Светланы среди них не было. Ипатов быстрыми шагами дошел до одного конца коридора, а потом так же стремительно — до другого. Ничего не дала и пробежка по переходам третьего этажа. Затем, на всякий случай, он вернулся на второй этаж и снова осмотрел все его закутки. Звонок возвестил о конце перерыва. Ипатов на минутку заглянул в актовый зал, пробежал взглядом по рядам. Будь Светлана здесь, он бы ее увидел сразу. Неужели он тогда ошибся: просто похожий голос? Судя по всему, или ее вообще сегодня не будет, или она придет только на очередную пару: отсыпается после вчерашнего. Следующее занятие — у кого что. Надо посмотреть в расписание, что у «датчан». Не испытывая ни малейшего желания высидеть еще час на лекции по языкознанию, Ипатов юркнул из аудитории и устремился на

первый этаж. И надо же такое: на лестнице он нос к носу столкнулся с профессором. Тот проводил его удивленным, можно сказать, даже любопытным взглядом. Внизу слонялось несколько студентов. То ли их вызвали в деканат, то ли еще что. Торопясь, чтобы, не дай бог, кто-нибудь не заметил, не догадался, что он ищет, Ипатов нашел в расписании датскую группу. Но от сильного возбуждения, охватившего его, он вдруг позабыл, какой сегодня день, и с добрую минуту собирался с мыслями. С трудом вспомнил. Оказывается, у «датчан», как и у остальных «западников», сегодня физкультура. Причем в другом здании. Так что встреча, если, разумеется, Светлана все-таки придет, откладывается до второй общей лекции по античной литературе. Значит, в его распоряжении еще целых три часа...

Наверное, ученые с большой точностью могут сказать, какая вероятность встретить случайно в таком огромном и разбросанном городе, как Ленинград, знакомого человека. Оставим в покое тех, кто волей судеб вращается на общих орбитах: сослуживцев, театралов, постоянных посетителей художественных выставок и кинофестивалей, людей, живущих на одной улице или в одном доме. Возможно, даже будут названы цифры: одна тысячная, одна десятитысячная, одна миллионная. Что бы ни сказали, возражения бессмысленны: с наукой не поспоришь. И все же Ипатов был убежден, что существует еще какая-то другая, необъяснимая закономерность, почему с одними встречаешься часто, с другими редко, а с третьими вообще не встречаешься. При этом вопреки логике, смыслу, желанию. Зачем, скажем, Ипатову видеться с бывшим своим соперником, а ныне капитаном первого ранга в отставке Толей Замараевым, к которому ничего, кроме давней устойчивой неприязни, не испытывает? И живут-то они в разных концах города, и работают совсем в разных районах, и ездят на разном транспорте. А вот попадают друг другу на глаза по нескольку раз в год. Причем иногда там, где, казалось бы, встреча может только присниться. Например, в глухом лесу, в ста километрах от Ленинграда, куда он со своей Машкой однажды отправился по грибы. Или же в ночном такси, водитель которого подобрал его с женой, уже целый час голосовавших на пустынном Московском проспекте. В машине

уже сидели три пассажира, и среди них Толя. И это не считая постоянных встреч на улице, в кафе, в магазинах, в общественных уборных. Какой в том смысл, если они даже не здороваются?

В то же время с Жанной, той самой рыженькой девушкой, которая пыталась отбить его у Светланы, а затем посвятила ему любовное послание в стихах, он за тридцать пять лет встретился всего один раз. Если не считать, конечно, первой встречи на дне рождения и второй — буквально через неделю — на автобусной остановке у Университета. Тогда он сразу понял, что она поджидала его: пропускала один за другим полупустые автобусы и украдкой поглядывала в сторону филфака. Заметив ее, он тут же повернул назад. Будь он пониже ростом, может быть, ему и удалось бы уйти незамеченным. А так, похоже, она все видела и поняла: когда он снова выглянул на улицу, ее на остановке уже не было.

Встретился он с ней только через тридцать лет. Произошло это в районной поликлинике, где Ипатов томился в ожидании своей очереди к участковому врачу. Одна из немолодых женщин, сидевших напротив, как-то странно на него поглядывала. У нее было одутловатое, нездоровое лицо с робкими следами косметики. Ее белокурые, тщательно уложенные волосы с тусклым неживым отливом, сами по себе были хороши, но от этого еще больше казались чужими и неуместными. До него не сразу дошло, что это обыкновенный парик. Лицо женщины было совершенно незнакомо, и все же в нем что-то легонько, едва ощутимо поскребывало память. Он понял: если и видел эту женщину, то очень давно. Он пересел к ней и спросил: «По-моему, мы где-то с вами встречались?» — «Конечно, — ответила она. — Я даже знаю, как вас зовут. Костя Ипатов?» — «Постойте, постойте...» — он еще не только не узнавал ее, но и не догадывался, из каких ярусов жизни явило их друг другу неумолимое время. Он до предела напрягал память, но состарившееся лицо с тихой грустью и ожиданием хранило свою тайну. Пора уже было признаться, что он «пас». Однако женщина сама опередила его. «Забыли?» — мягко упрекнула она. «Склероз... чертов склероз!» — стал оправдываться он. «Ладно, не ломайте голову, — пожалела она его. — Надеюсь, Светлану Попову помните хорошо?» — «Светлану?.. Жанна?» — наконец узнал он. И тут же вспомнил, как они сидели на

низенькой скамеечке и целовались, как он ей тогда нравился и как она потом искала с ним встреч. Вспомнилось и ее любовное послание, как-то он даже похвастался перед домашними — вот, мол, какие стихи ему посвящали когда-то женщины. За это вся семейка подняла его на смех и долго обзывала Анной Керн.

Пока подошла их очередь (врач начала прием с большим опозданием, потом все время куда-то отлучалась), они успели о многом поговорить. Разумеется, в основном разговор шел о Светлане, с которой, как оказалось, их обоих связывали наиболее яркие воспоминания тех лет. Жанна, правда, помнила ее еще и по музыкальной школе, но тогда Светлана ничем особенно не выделялась среди других девчонок — ни внешностью, ни нарядами, ни положением родителей. «Вы не поверите, но у нее так же, как у других, находили в волосах гниды!» — громко сообщила Жанна. Но, к ее удивлению, Ипатов отнесся к этому безучастно. Прожив долгие годы в огромной коммунальной квартире, где в крохотных комнатках ютилось иногда по пять-шесть человек, он знал, как трудно было в то время устоять против натиска вездесущих паразитов. Когда Ипатов учился в пятом и шестом классах, у него тоже во время врачебных осмотров находили «бекасов».

Немало из того, что рассказала Жанна, было Ипатову известно. Но кое-что он услышал впервые. Мог ли он когда-то предполагать, что спустя тридцать лет от Жанны он узнает окончание истории трех персов. В общем, ничего страшного тогда не произошло. Эта тройца сразу отказалась от всех своих поползновений, когда узнала, что она дочь какого-то советского дипломата. И даже подвезла ее на своей шикарной машине до дому. Только Светлана вовремя сообразила, что им незачем знать, где она живет, и попросила остановить машину на соседней улице, у чужого дома. Правда, потом добиралась пешком. По словам Жанны, в Светлане всегда поразительно уживались тяга к приключениям и осторожность...

Больше Ипатов с Жанной не встречался, хотя, судя по всему, она жила где-то неподалеку. Появилась, смутила давними историями и исчезла. Может быть, в ее явлении тоже был какой-то смысл?

На другой день ему впервые в жизни приснилась Светлана...

Ипатов поднялся на второй этаж и подошел к двери в актовый зал. Постоял, послушал: было слышно почти каждое слово...

«Целесообразно заметить, что Николай Яковлевич Марр, разрабатывая те или иные проблемы языкознания, никогда и ничего не брал на веру. Научные постулаты интересовали его лишь постольку, поскольку...»

Дальше Ипатов слушать не стал: все равно не в коня корм. Находясь в актовом зале, он, возможно, еще как-то смог бы взять себя в руки и сосредоточиться. Но здесь — на перепутье — его мысли то и дело невольно возвращались к Светлане. Чтобы скоротать время до перерыва, Ипатов зашел в свободную аудиторию и принялся зубрить к следующему занятию немецкие неправильные глаголы («...их бефеле... ду бефильст... ер бефильт... их гебе... ду гибст... ер гибт...»). Когда-то, общаясь с немцами, как с пленными, так и с гражданскими, он не очень задумывался над такими мелочами. Изъяснялся как бог на душу положит. Чаще всего прибегая, как это ему сейчас ясно, к глаголам неопределенного склонения. И ничего — понимали! Он помнил, с каким почтением и серьезностью внимали они его корявым и натужным немецким фразам. И никто даже вида не подавал, что у них уши вянут от такого произношения. А он, охламон самонадеянный, еще в какой-то из анкет того времени, уже не помнит в какой, ничтоже сумняся написал, что владеет немецким в совершенстве. При одном воспоминании об этом его всего внутренне передергивало. Надо же написать такое! Впрочем, это был не первый и не последний случай, когда он не дрогнувшей рукой впрыскивал в автобиографию, а заодно и в анкеты свежую струю вымысла. При этом обогащение жизненного пути шло в основном за счет того, что могло быть, но по каким-то причинам не было. Вот как с немецким. Но наряду с подобным, в общем-то безобидным сочинительством он иногда позволял себе, как бы это сказать... словом, не останавливался и перед более рискованными сюжетами. Например, указал на пребывание в братской Югославии, хотя его дороги войны проходили значительно севернее. Только одному богу было известно, зачем ему это понадобилось. Как будто мало Ипатову было тех стран, где он действительно побывал. К счастью, никому не пришлось в голову поинтересоваться, что он делал в Югославии, когда отношения с ней основательно подпорти-

лись. Но Югославия Югославией, до нее все-таки было рукой подать, а вот как Ипатов, судя по его анкетам и автобиографиям, очутился во Франции, наверно, не смогла бы ответить ни одна, даже самая осведомленная разведка мира! Но вернемся к неправильным немецким глаголам, которые никак не хотели сегодня запоминаться («их швайге... их швиг... их швайге... их швиг... их швайге... их швиг...»). И вдруг в эту тарабарщину неожиданно вклинилось нечто осмысленное: «их руфе... их риф... придет?.. их зауге... их зог... не придет?.. их денке... их дахте... придет... их зинге... их занг... не придет?» А что скажет по этому поводу — озарило Ипатова — обыкновенное гадание, то самое гадание, для которого не нужны ни карты, ни звезды, ни линии на ладонке, а всего только листок бумаги и огрызок карандаша? Ипатов вырвал из тетрадки страницу и принялся торопливо и размашисто ставить черточки. Ставил он их не считая, до тех пор пока не притомилась рука. Они протянулись по диагонали через всю страницу, и было их, наверно, не меньше ста. Зачеркивая одну за другой («придет... не придет... придет... не придет...»), Ипатов не спеша катился вниз по своей лесенке. Но уже где-то на середине он, чтобы упростить и ускорить гадание, начал перескакивать через четные ступеньки... Итак, если оно оборвется на нечетной, то Светлана придет... С нарастающим волнением приближался Ипатов к уже недалекому финишу. Нетерпеливый глаз, опередив руку, первый заметил счастливый исход. Но впереди мелькало еще столько черточек, что нетрудно было ошибиться. Поэтому, пока карандаш не уперся в последнюю из них и с облегчением не перечеркнул ее, Ипатов все еще не верил своим глазам... А вообще, здорово получилось: нарисуй он на одну черточку меньше, и такая бы началась сумятица в душе. А сейчас хоть пляши на радостях! В радужном настроении Ипатов снова приналег на свои неправильные глаголы. На этот раз зубрежка пошла веселее. Подумать только, за какие-то несколько минут он запомнил чуть ли не треть задания. Даже поразительно, как весело и ровно укладывалась сейчас в голове вся эта тарабарщина. И вдруг откуда ни возьмись выскочил чертик-искуситель: а что, если еще раз погадать — для проверки? Эта мысль показалась Ипатову соблазнительной, хотя и страшноватой: стоит ли дважды испытывать судьбу? Но с другой стороны, может ли гадание что-нибудь из-

менить из того, что уже предначертано парками? (Смотри лекцию по античной литературе.) Эх, была — не была! И вот почти по самому верху страницы, с небольшим отступом, весело побежала обильная луговая трава — где выше, где ниже. Местами она образовывала густые заросли. Тут и пропустить можно. Осторожно, не без опаски, продирался сквозь нее Ипатов, оставляя позади неровные ряды крестов — целое деревенское кладбище! А впереди еще зиял луг некошенный. Будет чудо, если опять выйдет число нечетное! Откровенно говоря, Ипатов уже жалел, что отважился на проверку. Так было спокойно, безоблачно. И дернула же его нелегкая поставить настроение в зависимость от дурацкого случая! Чем ближе был конец, тем беспокойнее вело себя сердце. Глаз от волнения никак не мог сосредоточиться и, как в тот раз, первым распознать ответ. И только когда огрызок карандаша почти вплотную подобрался к кромке луга, душа возликовала: и надо же! Его рукой, по-видимому, водила какая-то потайная закономерность, не иначе. Ипатов уже несколько не сомневался, что Светлана придет. Удача совершенно окрылила его. Раз ему ниспослано такое везение, то почему бы не погадать и на остальное? Например, не полюбобпытствовать, любит ли она его или нет? То, что он нравится ей, по любимому выражению их латиниста: концепция синэ ква нон — условие, без которого нет... Но вот любит ли? Чтобы исключить закулисную работу подкорки, Ипатов вообще старался не смотреть на руку. Густо заполнив черточками первую строку, он тут же принялся за вторую, а потом за третью, и это ему показалось недостаточно. За третьей по линейке побежала четвертая, а за ней и пятая... Ну если теперь... Ипатов, глубоко вздохнув, приступил к новому гаданию. Чтобы не сбиться — при таком-то травостое! — он соединял скобками одни лишь нечетные черточки. Так даже не требуется твердить про себя: любит — не любит, любит — не любит... Тянешь волнистую линию: по волнам, по морям, нынче здесь, завтра там... Нет, что-то не в меру развеселился он: ответ не за горами... уже скоро... Что? Любит?! Но может быть, он где-нибудь ошибся? Ипатов проверил каждую скобку, пересчитал все черточки, не пропустил ли где? Нет, все верно! Фантастика! А интересно, что скажет гадание о будущем? Поженятся или нет? Продолжая испытывать судьбу, Ипатов и на этот раз заполнил черточ-

ками чуть ли не полстраницы. Не поженятся? Он оторопело уставился на подкузьмившие его волны. Потом самым тщательным образом проверил... Напрасны старания... А что, если снова попробовать?.. Ипатов перевернул листок, рассыпал по нему несколько рядов черточек... Как это понять, опять осечка?.. Ему бы сейчас подвести черту, закруглиться, а он, чудак, еще на что-то надеялся, продолжал гадать... Только на седьмой раз — на, мол, отвяжись! — Ипатову выпало желанное. Таким образом, что другое, а женитьба ему, похоже, не светила. Дальше гадать расхотелось, но листок, сплошь испещренный крестиками, гирляндами из скобок и черточками, он не выкинул, а на всякий случай сложил вчетверо и сунул в тетрадку...

Все-таки оставалось главное — е е л ю б о в ь...

В перерыве Ипатова в одном из коридоров поймала профорг группы. Ее затылок был вровень с его последним ребром. И вот этот детеныш, эта пигалица, эта малявка с неумолимой строгостью глазела на него из-под своих коротеньких ресничек. Надеть бы на нее школьную форму с передничком и отправить обратно учиться в седьмой или восьмой класс. Но хватке и воле этого ребенка могли бы позавидовать и взрослые. Тонем человека, сознающего свою власть и не последнее место в студенческой иерархии, она принялась отчитывать Ипатова:

«Костя, нас очень тревожит твое поведение и учеба. Мы думали, что будешь для всех положительным примером, а ты не только пропускаешь занятия и опаздываешь, но и учиться стал хуже. Как раньше хорошо отзывалась о тебе немка, а теперь и она говорит, что не узнает тебя. А сегодня? По столам вдруг стал бегать!»

«По скамейкам», — поправил Ипатов.

«Ну, по скамейкам, какая разница? Как дурачок какой-то!»

«А это уж не тебе судить!» — обиделся Ипатов.

«Ты думаешь, если ты воевал, то и спросить с тебя некому? Есть кому, можешь не сомневаться! В конце концов, ты своим поведением позоришь своих павших товарищей!»

«Ну, знаешь!» — растерялся Ипатов.

«Ты должен за них учиться!..»

«Катись ты знаешь куда?» — вспыхнул Ипатов и, круто повернувшись, пошел прочь.

Она что-то пропищала ему вслед, но он даже не обернулся.

У самой аудитории его догнал Валька Дутсов:

«Ты чего не откликаешься?»

«Не слышал: такой галдеж!»— ответил Ипатов.

«На, держи свои конспекты!»— Валька положил портфель на свое острое колено и достал из него пачку тетрадей.

Ипатов взял:

«Я тебе их через несколько дней верну!»

«Думаешь, она за несколько дней перепишет?»— насмешливо проговорил Валька.

«Все-то ты знаешь!»— буркнул Ипатов.

«Все, кроме немецких неправильных глаголов!»

«Сядь рядом, подскажу!»— пожалел друга Ипатов.

«Заметано!»— радостно ответил Валька, предупредительно распахнув перед Ипатовым дверь в аудиторию.

Однако ни Ипатову, ни Вальке, как, впрочем, и остальным студентам их группы, знание немецких неправильных глаголов на этот раз не потребовалось. После томительного десятиминутного ожидания преподавательницы кто-то из ребят сбегал в деканат и вернулся оттуда с радостной новостью, что семинара не будет: заболела немка.

Сквозь шум и гам пробился тоненький голосок проф-оргши, оповестившей, чтобы никто не расходился: есть необходимость провести собрание группы. Ипатов вызывающе зевнул. Его лишь интересовало, одного ли «детеныша» осенило поставить вопрос о нем или же вместе с другими «углами?»

Кто-то стал возражать: не сходить ли лучше в кино?

Но не прошло и минуты, как усмиренная «детенышем» группа притихла и приготовилась слушать.

Начала «детеныш» издалека:

«В то время как вся страна, весь народ и т. д. и т. п. ... некоторые студенты забывают о своих основных обязанностях...»

«Может, умолчит?» — с надеждой подумал Ипатов, которому не хотелось, чтобы его имя трепали по таким пустякам.

Нет, не умолчала. Назвала его, Вальку и еще одну девчонку, ту самую Тихонову, которая собирала взносы на «Общество Красного Креста и Красного Полумеся-

ца», — оказывается, она эту работу должна была сделать месяц назад. Об Ипатове профорг повторила все слово в слово. Даже не преминула сказать, что он ведет себя как мальчишка, а не как бывший фронтовик.

А под конец добавила:

«Я только напомнила Косте, что его долг учиться и за себя, и за погибших товарищей, которые лишены такой возможности, так он почему-то рассердился и чуть ли не покрыл меня матом!»

Собрание возмущенно загалдело.

«Неправда! — крикнул Ипатов. — Я сказал: катись ты знаешь куда?»

«Это то же самое!» — бросил комсорг (не тот, что ездил потом с ним на Песочную к Вальке, а другой, их за пять лет сменилось немало).

«Брось, Ипатов, придуриваться! — заметил староста (тоже фронтовик и потому, как казалось Ипатову, свой в доску). — Обругал человека ни за что ни про что. Лучше бы извинился!»

«Ребята! — взмолился Ипатов. — Неужели вы не понимаете, что есть предел даже политической демагогии? Что нельзя — нельзя, понимаете? — спекулировать на таких вещах? Я понимаю, это имело бы еще смысл, если бы наша учеба могла хоть на мгновение вернуть погибшим жизнь. А так? Неужели до тебя это не доходит?» — повернулся он к «детенышу».

«Ты думаешь, что ты самый умный!» — сердито пискнула она.

«Ей-богу, ребята, не думаю. Во всяком случае, я подсчитал, пятеро, нет, шестеро из нашей группы умнее меня, а остальные такие же дураки, как я!» Сказал и под общий смех сел.

Некоторое время его еще шерстили, а потом как-то незаметно разговор перешел на предстоящие лыжные соревнования («Стопроцентный выход... никаких справок от врача... хоть на карачках, но доползти до финиша...»). Но на лицах ребят еще долго поигрывало любопытство, кого Ипатов имел в виду, говоря о самых умных.

Ипатов же сидел да посмеивался. И с нетерпением ждал перерыва. Ведь обалдеть можно, сколько еще томиться — час двадцать пять минут! — до встречи со Светланой, если, конечно, она придет, как нагадала бумага. Мыслями Ипатов то и дело переносился в большой гимнастический зал, где занимались «западники»...

Она долго выбирала, куда пойти — на художественную гимнастику или волейбол. Правда, интересовала Светлану еще и стрельба из лука. Последнее объяснялось тем, что в Робин Гудах ходила ее шкафоподобная подруга. И не просто ходила, а была даже каким-то чемпионом. Но, попробовав раз натянуть тетиву со стрелой, Светлана уже больше о стрельбе из лука не заикалась. И хотя в школе увлекалась волейболом, остановилась она все-таки на художественной гимнастике: восхитительная музыка, плавные, женственные движения, привычные с детства знакомые предметы — скакалка, мяч, лента, обруч... К тому же (Светлана скорее проговорила, чем похвастала), она привезла из Швеции два умопомрачительных английских гимнастических костюма — красное с белым и черное с голубым. Наверное, все ахнули, когда она вышла на помост. Тоненькая и гибкая, она, надо думать, и свои упражнения делала легко и красиво... Эх, взглянуть бы одним глазком, как она там...

Короткий перерыв. В коридорах не видно было ни одного «западника»...

Он и сейчас помнит эту фотокарточку. Светлана и еще несколько девушек и юношей — все в аккуратненьких спортивных костюмах — перекидывались волейбольным мячом. Так и были сняты с поднятыми руками. «Вот этот,— Светлана ткнула пальцем в изящного хрупкого паренька с тонким горбоносеньким лицом,— сын французского атташе». Потом, с годами, в голове Ипатова кое-что переместилось. Он был уверен, что ответил, глядя на своего бывшего соперника: «Жерар Филип!» Юноша действительно как две капли воды походил на прославленного актера. Но сказать это, по трезвому размышлению, Ипатов не мог, так как Жерар Филип появился на советском экране позднее. А тогда, в середине сороковых, его у нас еще никто не знал. Гоняли одни трофейные фильмы — в основном немецкие и английские. Были, правда, и наши, отечественные, но так мало, что даже самые плохие из них запоминались на долгие годы. А в том случае Ипатова явно подвела память. Назвал, наверное, другого актера. Кто был кумиром в то время? Разве упомнишь...

Вспомнил он еще фотокарточки — все на прекрасной тисненой бумаге с красиво обрезанными краями. Родители Светланы с каким-то курносым толстощеким дяденькой в шляпе («Наш посол», — небрежно бросила Светлана на вопрос Ипатова). Сама Светлана с аккуратно подстриженным барбосом («Ты что, пуделя никогда не видел? Это же королевский пудель!» — удивилась она). Светлана у газетного киоска, сплошь завешанного красивыми журналами. Из окошечка с умилением поглядывал на девушку в белоснежном плаще беззубый продавец-старик. На некоторых глянцевых обложках красовались полуголые девицы в ярких купальниках («Подумаешь, — заметив смущение Ипатова, сказала Светлана. — На пляжах ведь тоже загорают в купальниках? Обыкновенная реклама!»). Прошло перед ним и множество всяких прекрасных видов, городских и сельских, трех скандинавских государств — со Светланой и без нее. Только, хоть убей, он не помнит, когда она их ему показывала. Нет, зря он не спросил у нее, как звали француза, предложившего ей когда-то свою руку и сердце. Возможно, он сейчас какая-нибудь шишка на ровном месте? Мон генераль! Мон амираль!..

В веселом трезвоне, ворвавшемся из коридора в пустую аудиторию, куда снова тайком, после перерыва, удалился Ипатов, отчетливо слышались подзадоривающие нотки: «А ну вперед! А ну смелее!» Ипатов поспешил на лестничную площадку. Отсюда лестница просматривалась почти до самого низу, и вряд ли кто-нибудь мог пройти незамеченным мимо него. Он увидит Светлану раньше, чем они встретятся взглядами. А сейчас вверх-вниз сновали студенты других отделений и курсов. Следовало набраться терпения: ведь только на переход из одного здания в другое у «западников» уйдет по меньшей мере несколько минут. К тому же, пока оденутся, пока разденутся. Сперва Ипатов стоял, упиравшись руками в перила, затем переменил позу — облокотился на них. И вдруг в толпе, поднимавшейся по лестнице, он увидел первую ласточку — разряженного от быстрой ходьбы «англичанина». Вскоре за ним потянулись ребята из французской и испанской групп. Теперь с секунды на секунду могла появиться Светлана. Ипатов, который не курил уже около года,

стрельнул папиросу у Коли Богоявленского, висевшего рядом на своих костылях. Прошло еще немного времени, и возвращавшийся с физкультуры народ повалил валом: Косяками и попережку шли «англичане», «французы», «испанцы», «норвежцы», «шведы», «итальянцы», «немцы»... Странно, что так долго не было «датчан»... Но вот наконец в самом низу показалась шкафоподобная девица. Она медленно, как аэростат, всплывала по лестнице. Через некоторое время на нижнюю ступеньку шагнул второй «датчанин», единственный представитель сильного пола в их женской группе. Сердце у Ипатова готово было выпрыгнуть из груди. Один за другим из вестибюля на лестницу выныривали «датчане», но Светланы среди них не было. И тут шкафоподобная девица заметила Ипатова. Ее взгляд был меток, как те стрелы, которые она выпускала из своего тугого лука,— угодил в самое «яблочко». Она сразу дала понять Ипатову, что знает, кого он ждет. Но в ее взгляде была и какая-то благосклонность, и поэтому он вежливо, даже с некоторой предупредительностью поздоровался с ней. Она впервые по-доброму кивнула в ответ. Он понял, что в ее глазах он был победителем, а победителей, как известно, не судят. Неожиданная доброжелательность девицы подействовала на Ипатова успокаивающе. Он тут же решил, что Светлана, как всегда, не торопится. Или заявится со звонком, или даже опоздает: профессор по античной литературе была строга, но в меру: входивших на цыпочках не трогала...

Однако толпа редела, а Светланы все не было. Под хриплое — прямо над головой — дребезжание звонка проходили остатки «западных» групп. Внизу показались седые кудерьки старой профессорши. Ее почтительно обходили стороной и обгоняли последние из опаздывающих. Она еще не дошла до первой площадки, как лестница почти опустела. Стало ясно, что Светлана так и не появилась в Университете. Обещала и не пришла. Значит, что-то стряслось. Не обязательно серьезное. Может быть, даже какой-то пустяк — пустяк, естественно, для него, а не для нее — скажем, срочная примерка или приход в гости старых друзей. Но ему что делать? Ждать до завтра? Где набраться столько терпения, чтобы провести в ожидании еще целые сутки? Потом, откровенно говоря, он хоть немного, но беспокоится о ней: мало ли что? А может быть, сходить к ней? Кстати, и предлог не надо искать: конспекты!

Ну так как же: туда или сюда?

Звонок торопил. Взгляд Ипатова метался между еще приоткрытой дверью в зал и лестницей, по которой, тяжело дыша, поднималась старая профессорша.

«Сюда!» — наконец решил он и застучал вниз по ступенькам своими огромными сапожищами...

Встречаются люди, которые не могут жить спокойно. То есть они хотели бы жить спокойно, но у них это никак не получается. Всюду, где бы они ни появлялись, их непременно поджидают опасности, подстерегают неожиданные и крутые повороты, в которые, говоря языком автомобилистов, не всегда удается вписаться. Случается, и заносит, и разбиваются, и калечатся на всю жизнь. Увы, к числу этих запрограммированных бедолаг принадлежал и Ипатов. И хотя до поры до времени он отделялся всего лишь легкими ушибами, мысль о превратностях судьбы нет-нет да и посещала его горячую голову: а может, он и впрямь в чем перед кем-нибудь виноват? И не мелкой винишкой, от которой никто не защищен, а большой и непоправимой виной своего рождения? Ведь и так бывает?

Знакомо кружила лестница. В связи с предстоящей встречей Ипатов испытывал, с одной стороны, волнение и радость, а с другой — неловкость. Как ни оправдывая свое внезапное посещение конспектами, главным оставалось то, что он нагрянет, как снег на голову. Даже при наилучших отношениях это не всегда бывает удобным. Но в любом случае — он убежден — в первый момент его встретит удивление всей семьи. Впрочем, если он с самого начала задаст деловой тон разговору («Вот обещанные конспекты! Только, пожалуйста, не тяни с их перепиской, а то на очереди еще Валька Дутов и Аня Тихонова», которую он прибавит для пущей убедительности), то все претензии к нему отпадут раньше, чем он доскажет мысль. Зато потом, когда они останутся одни, он признается ей, что весь день не находил себе места и что конспекты лишь предлог повидать ее. Но совсем будет хорошо, если родителей не окажется дома. Однако это было бы слишком большой удачей, чтобы серьезно рассчитывать на нее...

Одна лестничная площадка незаметно сменялась другой. Ипатов взбегал стремительно, перешагивая ступеньки, на ходу переводя дыхание. И только перед последним этажом он чуть замедлил шаг, чтобы собраться с духом.

Ипатов чувствовал, что у него предательски горят щеки, а на губах стынет жалкая и смущенная улыбка. Он несколько раз пытался согнать ее с лица, но она вновь возвращалась, и физиономия снова принимала, как ему казалось, ужасно глупое и растерянное выражение.

Наконец подъем был завершен, и Ипатов, плотно сжав губы, решительно шагнул к двери. И все же, прежде чем нажать кнопку, рука секунду или две неподвижно повисела в воздухе. Как и следовало ожидать, звонок оповестил о приходе незваного гостя довольно робко и вежливо. За дверью что-то громыхнуло, как будто пробежало, и вслед за этим наступила долгая, без единого звука, словно нарочитая, тишина. Там явно кто-то был. Ипатов позвонил еще, на этот раз придерживав пальцем кнопку чуть дольше. Тишина оставалась непроницаемой. Тогда Ипатов решил, что у Светланы, по-видимому, все-таки дома никого нет — звуки, которые он слышал, могли быть откуда угодно, даже из соседних квартир, — и добрых полминуты с веселым облегчением и озорством не отнимал пальца от трезво-нившего вовсю звонка.

И вдруг за дверью раздался несколько томный молодой мужской голос:

«Сейчас!»

Это было так неожиданно, что Ипатов на мгновение усомнился, туда ли он звонил. «Туда, куда же еще!» — проверил он.

Человек за дверью легко и мягко отпирал один замок за другим. Но вот щелкнул последний замок, и перед Ипатовым возникло незнакомое улыбающееся лицо. Сильно прищуренные глаза смотрели ласково и пытливо. При виде этого тонкого, красивого, со вкусом одетого молодого человека, как-то уж очень по-хозяйски выглянувшего из квартиры Светланы, Ипатову стало не по себе. «Кто он и что здесь делает?» — ревниво подумал он.

«Вам кого?» — осведомился тот.

«Светлана дома?» — спросил Ипатов.

«Нет,— весело ответил молодой человек.— Но она скоро придет. Если хотите, можете подождать!» И широким жестом пригласил войти.

«А родители ее дома?»— тихо полюбопытствовал Ипатов.

«Родители?— переспросил незнакомец.— Дома, дома! Проходите!»

Но встречаться с ее родителями, а особенно с отцом, у Ипатова большого желания не было.

«Знаете, я лучше подожду на улице».

«Послушай,— вдруг молодой человек перешел на «ты»,— она может прийти и через полчаса, и через час. Только зря будешь мерзнуть. Ну, давай, давай!»— поторапливал он войти с дружеской интонацией.

Однако, чем настойчивее уговаривал молодой человек, тем больше упорствовал Ипатов. Ему положительно не хотелось оставаться наедине с ее родителями. Как, впрочем, и с этим молодым человеком, чье гостеприимство ему с самого начала показалось неискренним и недобрым.

«Нет, я все-таки лучше похожу у дома!»— упрямылся Ипатов.

«Вот чудак!— воскликнул неизвестный.— А вдруг она задержится не на час, а больше?»

«Тогда тем более все равно где ждать»,— заметил Ипатов.

«Как сказать... Дома все-таки теплее!»— мягко возразил молодой человек.

Обняв Ипатова за плечи, он попытался увести его в квартиру, но тот не поддавался ни в какую...

«А она давно ушла?»— спросил Ипатов.

«Буквально несколько минут назад. Странно, что вы с ней не встретились на лестнице».

Незнакомец шагнул к перилам и взглянул в пролет. Ипатов последовал его примеру. Крутыми витками уползала вниз спираль многоэтажной лестницы. Где-то на нижних площадках вытряхивали половики или ковер. И тут они встретились взглядами, и Ипатову снова стало как-то беспокойно на душе. Улыбающиеся глаза были чем-то нехороши: возможно, их портила неподвижность и напряженность взгляда.

«Значит, не хочешь в тепло,— погасив улыбку на губах, подытожил незнакомец.— Что ж, померзни, померзни...»

И нехотя вернулся к двери. Когда он опустил глаза, Ипатов уловил какое-то едва заметное внешнее сходство между ним и Светланой.

«Простите,— сказал Ипатов.— Вы родственник Светланы?»

«Что, похож?»— снова оживился молодой человек.

«Есть немного. Сразу чувствуется, одна порода!»— улыбнулся Ипатов.

«Двоюродный брат!»— просто признался молодой человек.

«Из Москвы?»— догадался Ипатов; он вспомнил, что там у Светланы жила тетя-генеральша.

«Угу!»— весело кивнул головой молодой человек.

Значит, это был ее сын, а следовательно, и сын генерала.

«Откровенно говоря,— заявил брат Светланы,— она предупреждала нас, что, возможно, придет очень поздно. Не очень определенно, но все же говорила. А уходя, повторила».

«Тогда вообще нет смысла ждать! — сказал Ипатов.— А вы не знаете, завтра она пойдет в Университет?»

«Завтра?»— быстро отозвался брат Светланы.— Непременно!»

«Ясно,— проговорил Ипатов.— Ну я пошел!»

«А что передать ей?»— спросил гость из Москвы.

«Скажите, приходил Ипатов, приносил обещанные конспекты!»

«Конспекты?»— как-то странно повторил брат Светланы.— Если хочешь, я могу передать ей?»

«И правда, чего их таскать туда-сюда?»— вслух подумал Ипатов. Он тут же достал из полевой сумки пачку тетрадей и отдал их москвичу. Тот взглянул на обложку, прочел:

«Древнерусская литература. Курс профессора такого-то...»— И непонятно в чей адрес проговорил:— Все равно: век учишь, а дураком помрешь!»

«Так не забудете передать?»— уже со ступенек спросил Ипатов.

«Не беспокойся, брат Ипат,— подмигнул генеральский сынок.— Вручу прямо в белы ручки...»

Не спеша спускаясь по лестнице, Ипатов временами поднимал голову и видел улыбающееся ему с шестого этажа лицо московского гостя. Всю дорогу, до самого дома, он находился под впечатлением этой встречи.

И не мог, никак не мог освободиться от какого-то неопределенного и непонятного гнетущего чувства. Как будто что-то им, Ипатовым, было сделано не то и не так...

Конечно, потом все стало на свои места: и слова, и интонация, и жесты, и то необъяснимое поначалу желание брата Светланы затащить его в квартиру, ничего не осталось неразгаданного или непонятного. Ничего...

Наконец-то! В какой бы карман он ни лез, всюду был валидол. Не только в своих обычных стеклянных пенальчиках, но и в металлических футлярах, которых уже давно не было в продаже. Попадались среди них и маленькие трубочки нитроглицерина. Чудеса в решете: откуда все это взялось? Ведь совсем недавно он лихорадочно шарил по карманам, рассчитывая найти хотя бы крошечный обломок таблетки, тщательно осматривал каждую складку, каждый уголок и нигде ничего не обнаружил! Как он мог не заметить такие запасы? Или на нем были тогда другой пиджак, другие брюки? Чепуха какая! Он не помнит, чтобы ходил домой переодеваться. Впрочем, не все ли равно, откуда появился валидол? Главное — его сейчас столько, что никакая боль не устоит. Обрадованный тем, что судьба вдруг смилостивилась над ним, что его измученному, наболевшему сердцу подоспела неожиданная помощь, он отправляет в рот сразу несколько больших таблеток. И в подтверждение того, что это происходит с ним не во сне, а наяву, он резко и ясно ощущает под языком их охлаждающую сладость. Боль тут же вильнула в сторону, заметалась. «Ага! — не без злорадства подумал Ипатов. — Пришлось не по вкусу?» Но, торжествуя, он в то же время знал, что радоваться еще рано: ни одна боль не была так хитра и коварна, как эта. Как ящерица, она ускользала в одном месте и возвращалась в другом. Ей нельзя было давать ни минуты покоя; ее надо было преследовать до тех пор, пока она, загнанная лекарствами, не откинет копыта. И хотя те, старые, таблетки еще не истончились, он уже набивает рот новыми. И сосет, и сосет...

...— Что с ним? — доносится до него откуда-то издалека.

— Никак без сознания? Вон как тяжело дышит! («О ком они?»)

— Вызвали «скорую»? («Неужели обо мне?»)

— Вызывать-то вызывали. Только чего-то долго ее нет... («Наверно, все-таки обо мне. Это у меня прихватило сердце. И совсем недавно. Постой, где же оно разболелось? В каком-то странном, очень странном месте...»)

Ипатов открывает глаза и видит перед собой однуединственную метлахскую каменную плитку. Где он? Ах да, он взобрался на шестой этаж бывшего Светланиного дома. Потом ему стало плохо, он долго мучился и потерял сознание. И вот теперь лежит на ее бывшей лестнице. А валидол, а валидол, который он потреблял в таком изобилии? В пересохшем рту нет и следа той освежающей сладости, совсем недавно пробудившей в нем какую-то надежду на облегчение. Значит, помешалось...

Он пробует поднять голову, посмотреть на людей, стоящих над ним, и старая противница — боль снова разливается за грудиной...

Мама ждала очередных новостей, а в зависимости от них — и распоряжений. Но и без этого, придя с работы, она принялась наводить марафет. Вытерла всюду пыль, с мылом вымыла пол, подклеила во многих местах отставшие обои. И все время украдкой улыбалась, поглядывала на сына. Он же по-свойски два раза показал ей язык. В наказание она заставила его натирать воском пол, в общем как следует попотеть. Вернувшийся с работы отец хмыкнул, глядя на их возню. Ипатов подумал: «Или он обо всем догадывается, или рассказала мама». В отличие от мамы с ее деликатными и необходимыми подтруниваниями, отец мог довести его до белого каления своими частыми ухмылками в нос. И многозначительным молчанием. А кому охота быть смешным в глазах собственных родителей, особенно если их уважаешь и считаешься с ними?

Пока шла генеральная уборка, ни Ипатов, ни мама ни единым словом не обмолвились о Светлане. До прихода отца разговор еще не назрел, а после прихода говорить о ней стало опасно: мешали отцовские глаза, все замечающие и насмешливые. Так и работали молча,

изредка перекидываясь репликами по делу: «Поддай!»— «Принеси!»— «Подвинь!»— «Передохнем немножко!»

Они закончили уборку, когда отец досматривал, наверно, уже второй сон. Как ни старались мать и сын скрыть изъяны своего быта, навести на него маломальский глянец, убожество выпирало по-прежнему. Зато чистоты у них такой не было, возможно, с первой, после вселения, генеральной уборки.

«Ну теперь не стыдно принять даже английскую королеву»,— шутливо сказала мама.

«Английскую не английскую,— в тон ей возразил Ипатов,— а принцессу из Монако можно».

«Почему из Монако?»— удивилась она.

«А почему английскую?»— спросил Ипатов.

И они оба, встретившись веселыми взглядами, дружно прыснули.

Ипатов уснул опять-таки с мыслью о завтрашней встрече. Под утро ему приснился довольно странный сон. Будто бы он прохаживался по огромному колхозному или совхозному саду, где на фруктовых деревьях вместо обычных яблок и груш росли большие спелые арбузы. Но особенно его поразило то, что в каждом из них был аккуратный и глубокий треугольный вырез, в нарастающей темноте которого легко угадывалась сочная и сладкая мякоть. Он тянулся то к одному, то к другому арбузу, но они не давались ему, ускользали из рук. Тогда он стал подпрыгивать и они медленно и плавно, как воздушные шарики, поднимались выше. Но самое страшное настало потом, когда там, на небольшой высоте, они с треском один за другим начали лопаться и осыпать его, как картечью, острыми черными косточками. Он прикрывал голову руками и долго носился по саду в поисках укрытия. И, не найдя его, наконец проснулся в холодном поту...

Вспомнив о предстоящей встрече, Ипатов тут же забыл о своем странном сне. Он быстро оделся и, наскоро перекусив (стакан кипятку с брошенными в него чайниками дешевого грузинского чая и кусок черного хлеба с тонким, можно сказать, прозрачным слоем сливочного масла), побежал в Университет. Сегодня автобусы шли один за другим, и поэтому он приехал минут за двадцать до начала занятий. И опять повторилось вчерашнее: и непрерывное поглядывание по сторонам, и напряженное ожидание, сменившееся, как только раздался звонок на лекцию, отчаянной растерянностью.

И снова бухало, как в колокол, молодое и сильное сердце. Светлана так и не появилась — ни на первой, ни на второй, ни на третьей лекции. Скорее всего, решил Ипатов, ей просто неудобно оставлять своего двоюродного брата одного. Правда, тот обещал, что она будет. Но ручаться за Светлану с его стороны было несколько рискованно: надо думать, он позабыл, что родственные отношения обязывают к повышенному гостеприимству. Окажись Ипатов в подобной ситуации, он бы, наверно, тоже не пошел. Чтобы избежать вопрошающих взглядов мамы и саркастических ухмылок отца, Ипатов остаток дня, до позднего вечера, провел в Публичке. Там он осилил уйму литературы, как обязательной, так и необязательной, в том числе толстенную «Американскую трагедию», в которой великий писатель с потрясающей силой изобразил загнивающее буржуазное общество. Сынки миллионеров творили все, что им вздумается, а дети бедных родителей пожинали горькие плоды социального неравенства. Ипатов закрыл книгу с чувством сострадания к юной и доверчивой героине.

На следующее утро Ипатов был в полной уверенности, что сегодня, уж сегодня-то Светлана придет непременно. Он даже знал, что скажет ей при встрече. Это будет грубовато-шутливое: «Привет сачкам!» Оно так ему сейчас пришлось по душе, это давнее, запомнившееся еще с военного училища, а возможно, и со школьных времен, дружеское приветствие, что он, как только вскочил с постели, начал его репетировать на разные лады: «Привет сачкам!.. Привет сачкам!.. Привет сачкам!..» Но, как ни менялась при этом интонация, в ней неизменно присутствовала нежность...

Приехав на четверть часа раньше, Ипатов все это время, до самого звонка, напрасно проторчал в вестибюле: Светлана так и не пришла. Не было ее и среди опоздавших. Валька Дутов, который явился только на вторую лекцию (ночью, оказывается, прилетел из Праги его отец), также был в полном неведении.

«Вместо того чтобы ломать голову,— посоветовал он,— взял бы и сходил к ней домой!»

«Понимаешь, какая штука,— принялся объяснять Ипатов,— позавчера я был у нее, к ней приехали какие-то родственники из Москвы. Ну день, допустим, провела с ними, ну два... Сколько еще можно?»

«Смотря какие родственники»,— резонно возразил Валька.

«Двоюродный братец», — ответил Ипатов.

«Опасное родство!» — многозначительно заметил Валька.

«Тебе не надоело трепаться?» — спросил Ипатов.

«Нет», — насмешливо признался Валька.

Попытался Ипатов узнать что-нибудь о Светлане и у ее шкафоподобной подружки, к которой, собравшись с духом, подошел во время большого перерыва. Но та тоже ничего не знала.

«Может быть, заболела?» — предположила она.

«Не думаю», — ответил Ипатов. И рассказал о двоюродном брате.

«Не может же она, — горячо закончил он, — три дня подряд, с утра до ночи, водить его по городу. К тому же, он производит впечатление человека бывалого. Наверняка это не первая его поездка в Ленинград!»

«Давайте сделаем так, — предложила она. — Сразу же после занятий сходим к ней домой?»

«Ну что ж, сходим», — согласился Ипатов. Он подумал, что прийти вдвоем лучше даже, это в значительной мере снимает неловкость перед ее родителями: волея-неволей они должны будут относиться к ним как к однокурсникам дочери, обеспокоенным ее отсутствием, и считаться с этим...

Но, как говорится, человек предполагает, а бог располагает. Когда Ипатов стоял в вестибюле, кишевшем студенческим людом, и ждал Женю — так звали шкафоподобную девицу, к нему подошел незнакомый парень в потертом черном полушубке. Он был почти одних лет с Ипатовым и мог в суতোлке сойти за студента.

«Ваша фамилия Ипатов?» — спросил он.

«Да», — ответил удивленный Ипатов.

«Отойдемте в сторонку», — предложил тот.

Они отошли в угол, где не было людей.

«Вы не догадываетесь, кто я?» — спросил незнакомец.

«Нет», — все больше удивляясь, признался Ипатов.

«Тогда придется прояснить», — заметил парень и показал удостоверение сотрудника уголовного розыска.

«Простите, — вежливо сказал Ипатов, — но это мало что мне говорит».

«Вот как? — в свою очередь как будто удивился парень. Затем он быстро осмотрелся и шепнул Ипатову: — Так вот, вы пойдете с нами... (неожиданно от стены от-

делился второй молодой человек в коротком, перешитом из шинели пальто). Но чтобы не привлекать внимания, я пойду первым, потом, сосчитав до пяти, вы, а потом он...»

«Товарищ... простите... не знаю вашего звания... вы быстро убрали удостоверение... вы что, арестовываете меня?»— растерянно спросил Ипатов.

Парень в полушубке добродушно кивнул головой.

«За что?»— весь напрягся Ипатов.

«Как будто не знаешь?»— совсем по-дружески ответил тот.

«Ах, да,— обозлился на него Ипатов,— плюнул вчера мимо урны!»

Парень покосился на него веселым глазом:

«Знаешь, а спрашиваешь!.. Пошли!» И первым шагнул к двери.

Мысль Ипатова между тем лихорадочно работала. Что же он такое сделал? За что его арестовывают? За хранение оружия? Но это уже все в прошлом. К тому же, никому об этом, кроме папы и мамы, не было известно. Может быть, за то, что он в ту ночь выдал себя за чекиста? Таксист мог поделиться о случившемся с товарищами, те еще с кем-нибудь и так далее, пока эта история не дошла до кого следует. Разумеется, за такое по головке не погладят. Но при чем здесь уголовный розыск?

«Пошли, пошли!»— шепнул Ипатову второй парень.

Ипатов взял его за рукав:

«У меня к вам большая просьба. Я договорился здесь встретиться с одной девушкой. Разрешите я предупрежу ее, чтобы она не ждала?»

«Ничего, ничего, вы еще с ней встретитесь — и не раз!»— пообещал тот с затаенной угрозой...

Когда они втроем вышли из Университета на набережную, со стороны их можно было принять за дружок-приятелей, пытающихся незаметно удрать с лекции. И только внимательный, очень внимательный глаз мог заметить, что двое легонько и нежно придерживали третьего за локоток...

Мимо прошел переполненный автобус, и вдруг Ипатова прямо согнуло под тяжестью неожиданной мысли: а что, если его взяли за того типа с пушистыми ресницами, которого он вытолкнул из автобуса? При падении тот запросто мог сломать себе шею, убиться насмерть. И тогда в глазах правосудия он, Ипатов, будет обык-

новенным убийцей, которого надо судить по всей строгости закона. И ведь никак не докажешь, что этот шпана напал первый. Но откуда милиции стало все известно? И тут Ипатов вспомнил «Кавказский» ресторан и капитана, в руках которого побывали его документы. Установить прямую зависимость между доносом и последующей дракой по силам даже постовому милиционеру, не говоря уже о многоопытных следователях...

Господи, только бы не насмерть, только бы не насмерть! Если его за убийство этого подонка приговорят к высшей мере наказания, то ни отец, ни мать не переживут этого...

Через десять минут Ипатова доставили в отделение милиции...

Медики со «скорой» долго переругивались с каким-то доброхотом Ипатова. Они считали, что больного следует спустить в лифте, а доброхот — на носилках. Каждый из этих способов доставки к санитарной машине, судя по содержанию перепалки, имел свои плюсы и минусы. Первый вариант был удобен для медиков и не удобен для Ипатова — всю дорогу ему пришлось бы напряженно стоять на ногах, и то, что два здоровых «лба» поддерживали бы его с обеих сторон, почти ничего не меняло. Правда, время на транспортировку до первого этажа сокращалось в несколько раз. Второй вариант, как нетрудно догадаться, облегчил бы страдания больного, зато досталось бы санитарам: чтобы спустить человека по такой крутой и закомуристой лестнице, от них потребовалось бы немало усилий и сноровки. Но так как последнее слово осталось все-таки за медициной, то и решено было воспользоваться лифтом...

До самого вечера, пока его не вызвали на допрос, Ипатов мучительно обдумывал, как вести-себя — признаться или не признаться в совершенном преступлении, он не сомневался, что именно такими словами будут дубасить его, если произошло худшее. В конце концов решил не признаваться: не хватало еще схлопотать двадцать пять лет за подонка, по которому давно плакала тюрьма. Но и с чисто формальной, юридической точки зрения доказать его, Ипатова, виновность, он по-

нимал, будет трудно. Главное — у них нет ни свидетелей, ни прямых улик. Драка была молниеносная, и вряд ли она запечатлелась в чьей-либо памяти. Правда, были возмущенные голоса. Но Ипатов не помнил, чтобы кто-нибудь в переполненном автобусе обернулся, посмотрел в его сторону. Он висел на подножке, а люди стояли к нему спиной. Сомнительно также, чтобы его запомнил кто-то из прохожих или находившихся в это время на автобусной остановке: было довольно темно, и все произошло в какие-то мгновения. Единственный человек, кто мог признать его, был сам пострадавший. Собраться с последними силами и сообщить о своем убийце он мог даже на смертном одре, не говоря уже о более легком исходе драки, при котором ничто не мешало бы ему строить козни. И тогда Ипатову не отвертеться. Одна надежда, если тот — уголовник и милиции известно его прошлое. Но и в этом случае суда не избежать. Впрочем, признаться никогда не поздно. Разумеется, запоздалое признание вряд ли произведет хорошее впечатление на судей. Но, как бы там ни было, они должны будут учитывать, что первым напал хозяин ножа, а Ипатов лишь защищался. Он меньше всего виноват, что так получилось. Куда хуже было бы для общества, рассуждал Ипатов, если бы он, бывший фронтовик, нынешний студент и будущий журналист-международник, получил удар ножом в бок, а тот мерзавец, как ни в чем не бывало, продолжал разгуливать на свободе и искать новую жертву. «А ею запросто могли оказаться,— мысленно обращался Ипатов к будущим вершителям своей судьбы,— и вы, товарищ следователь, и вы, товарищ прокурор, и вы, товарищ судья, и любой из присутствующих в зале...»

Следователем был тот самый паренек в черном полушубке, который вместе со вторым милиционером доставил Ипатова в отделение. Сейчас полушубок висел на гвозде у входа, а сам хозяин кабинета сидел за старым, обшарпанным канцелярским столом, облаченный в новенькую милицейскую форму с лейтенантскими погонами.

Встретил он Ипатова улыбкой, как старого знакомого. Пригласил сесть, предложил папиросу и уж как-то совсем по-свойски чертыхнулся из-за того, что долго не загоралась зажигалка. Затем достал из ящика стола несколько чистых листов бумаги, долил непроливайку свежими чернилами, сменил перо в обыкновенной

школьной ручке, попробовал, как оно пишет, и только после этого иронически-дружески сказал:

«Ну что ж, поехали...»

И это выражение, обычное для приятельских попок, еще больше насторожило Ипатова. Он слышал и читал в литературе, что многие следователи, чтобы расположить к себе подозреваемого в преступлении, нередко прикидываются такими добряками, такими добряками, что так и тянет, так и тянет выложить им все. И некоторые не замечают, что сами развязывают язык. Поэтому вместо того, чтобы поддержать этот непринужденный тон, Ипатов лишь пожал плечами: мол, вам, может быть, и весело, и приятно чувствовать себя хозяином положения, но мне, честно говоря, не до шуток.

Хотя паспорт у Ипатова был изъят при аресте и милиция, надо думать, изучила его вдоль и поперек; следователь с серьезным, озабоченным видом записал и фамилию, и имя-отчество, и адрес, и место учебы. Делал он это неторопливо, то и дело переспрашивая и уточняя, как будто бы паспортные записи для него не имели ровно никакого значения.

«А теперь как можно подробнее и поточнее, как можно подробнее и поточнее,— подчеркнул следователь,— расскажите, где и что вы делали в прошлую пятницу?»

«В прошлую пятницу?»— растерянно повторил Ипатов.

В другой обстановке он, может быть, и припомнил сразу, чем занимался в тот день, но сейчас от волнения у него все вылетело из головы, и он никак не мог справиться с мыслями.

«Да, позавчера»,— уточнил следователь, не спуская с Ипатова внимательного взгляда.

«Позавчера?»— Ипатов предпринимал мучительные усилия, чтобы сосредоточиться. Прежде всего он пытался уяснить для себя, когда произошла драка? В субботу он весь день провел в Университете, томился в ожидании Светланы, а вечером, чтобы не попадаться родителям на глаза, допоздна проторчал в Публичной библиотеке. В пятницу Светлана должна была прийти, как обещала, но не пришла, и он сбегал с лекции, отвез ей конспекты, а когда вернулся домой, мама впрягла его в уборку. Выходит, драка была в четверг. В тот же день натворил он и остальное: во-первых, хвостанул несуществующим оружием, за что едва не погорел, во-

вторых, выдал себя за чекиста и устроил форменную погоню по ленинградским улицам за иностранцами, а в третьих, приставал к людям в ресторане вокзала. И это не считая главного, то есть драки, возможно завершившейся убийством. Но следователя ведь интересует не четверг, а пятница. Или он, может, оговорился? Что ж, тем лучше: в пятницу он, кажется, не совершил ничего такого, что могло бы заинтересовать милицию. В этот день он был, можно сказать, чист как стеклышко. И все же на всякий случай Ипатов начал издали:

«Дни так похожи один на другой, что трудно припомнить...»

Но молоденький следователь не уступал:

«И все-таки постарайтесь припомнить...»

«Я хорошо помню,— сказал Ипатов,— когда я приехал в Университет, до звонка оставалось полчаса. Первая лекция была «Введение в языкознание». Потом должен был быть немецкий, но заболела преподавательница, и мы провели собрание группы. На античную литературу я не пошел...»

«Почему?»— не переставая записывать, поинтересовался лейтенант.

«Я обещал одной девушке, она учится на нашем курсе, дать переписать конспекты, ну и решил отвезти ей домой...»

Следователь усмехнулся, вынул из тумбочки стола несколько общих тетрадей и подал Ипатову:

«Вот эти?»

«Да,— удивленно подтвердил тот.— Откуда они у вас?»

Только сейчас Ипатов начал догадываться, что его арест имеет какое-то отношение к Светлане и ее непосещению Университета.

«Откуда?— лейтенант забрал тетрадки и снова сунул их в тумбочку.— Изъяты на месте преступления в качестве вещественных улик!»

«Какого преступления?— ужас охватил Ипатова, он почувствовал, как у него разом похолодели руки и ноги. Он едва выговорил:— Что с ней?»

«С кем?»— спокойно осведомился следователь.

«Со Светланой?»

«Ни с нею, ни с ее родителями ничего не случилось, но квартиру, пока они были в отъезде, очистили основательно»,— насмешливо сообщил лейтенант.

«Бог ты мой!— Ипатов схватился за голову.— Так, значит, это был грабитель!» И горько рассмеялся.

«Кто? Говорите же: кто?»— следователь от нетерпения приподнялся.

«Да парень, который выдал себя за ее двоюродного брата... Ну тот, что обещал передать ей конспекты! Мне даже в голову не пришло!.. Такой вежливый, такой воспитанный! Улыбка до ушей! Как ловко он обвел меня вокруг пальца!»

«Успокойтесь, Ипатов, и давайте все по порядку!»— сказал лейтенант.

И Ипатов стал рассказывать. Когда он кончил, следователь тут же принялся рассуждать вслух о поведении грабителей. Теперь и Ипатову стало ясно, почему бандиты (а их было как минимум двое, один или двое остались за дверью) отозвались на его долгий, настойчивый звонок. Они поняли, что он догадался, что в квартире кто-то есть, скорее всего посторонние, и мог уже через несколько минут сообщить в милицию. Им важно было установить, насколько позвонивший опасен для них. Увидев, что тот один и ведет себя несколько настороженно, «братец» принялся и так и этак зазывать его в квартиру. Если бы Ипатов послушался, не исключено, что они бы там его и прикончили. Покажись он им по-настоящему опасным, они могли, если бы он упирался, просто скинуть его в лестничный пролет. Правда, в этом случае им пришлось бы, побросав все, бежать черным ходом, так как в самом низу в парадной кто-то выбивал половики и, естественно, поднял бы шум. К счастью Ипатова, «братец» быстро сообразил, что неожиданный гость и в самом деле принял его за родственника хозяйки. Похоже, что вся шайка состояла из опытных рецидивистов, которые не хотели просто так, без острой необходимости, идти на «мокрое» дело. Этим можно было объяснить то, что в конце разговора на лестничной площадке «братец» уже не зазывал Ипатова, как вначале, а наоборот — выпроваживал: дескать, Светлана придет поздно и ждать ее придется долго. Конечно, он знал, что идет на риск, оставляя в живых свидетеля, но схлопотать высшую меру у него тоже желания не было...

Ипатов довольно подробно описал «братца». При его яркой и приметной внешности это было не так уж и трудно. Во всяком случае, Ипатову не слишком при-

шлось ломать голову над тем, какие у того волосы и нос...

К концу допроса отношения между Ипатовым и следователем установились почти дружеские. И тогда Ипатов не удержался, чтобы не кольнуть лейтенанта:

«А вы подумали на меня... Ведь смешно: будь я грабителем, разве я оставил бы на самом видном месте свои конспекты?»

«В нашем деле, студент, всяко бывает. Один домушник,— ответил добродушно лейтенант,— даже паспорт свой на месте преступления оставил...»

Казалось, уже не оставалось никаких неясностей, и вдруг Ипатова ударило словно током:

«Постой, постой, а как вы узнали, что конспекты попали в квартиру в день ограбления? Может быть, они лежали там целую неделю?»

«А это ваша знакомая сказала»,— небрежно признался лейтенант.

«То есть сказала, что их раньше не было?— убитым голосом произнес Ипатов.— То есть навела вас на меня?»

«А что такого?— пожал плечами следователь.— Против фактов не попрешь — не было конспектов и вдруг появились...»

«Неужели она могла подумать,— совершенно потрясенный и растерянный вопрошал Ипатов,— что я способен на это? Что я могу позариться на их барахло? Послушай, лейтенант, а может, это сказала не она, а ее родители? Как друга прошу, скажи правду?»

«Хорошо,— криво усмехнулся лейтенант,— только при условии, если это останется между нами? (Ипатов кивнул головой.) Она!»

«Лейтенант, как она могла, а?— взывал к сочувствию Ипатов.— Что, трудно было ей сперва спросить меня?.. А не сразу — нож в спину?.. Ведь я мечтал жениться на ней!»

«На другой женишься — получше!— рассудительно ответил следователь и протянул исписанные листки ипатовских показаний.— Давай расписывайся!»

И Ипатов, не читая, с глазами, затуманенными обидой, расписался под каждой страницей...

Пока его везла «скорая», он несколько раз терял сознание. Но как только начинала выть сирена — этот трубный глас городских улиц, он снова, на какие-то мгновения, приходил в себя...

Светлана появилась в Университете лишь на второй день после памятного допроса в милиции. Ипатов увидел ее еще издали в компании ребят из датской группы. Она была оживлена и кокетлива, как обычно. Ипатов прошел мимо, даже не взглянув на нее. Он почувствовал, что она заметила его и как-то сразу сникла. На второй лекции он получил записку: «Надо поговорить!» На это он ответил: «Зачем?» — «Очень надо!» — настаивала она. «Не вижу смысла», — жестко отрезал он, потом, подумав, подписался: «К. Ипатов, вор и грабитель». Реакция ее была быстрой: «Дурак!» Ответ также не заставил себя ждать: «Был». — «Ну и черт с тобой!» — вдруг рассердилась она.

Всю неделю он не смотрел в ее сторону или смотрел сквозь нее, словно она вообще не существовала. Это стоило ему невероятных усилий, потому что не было минуты, когда бы он не думал о ней...

- Ну что, понесем дальше?
- Раз, два... взяли!
- Ну и бугай!.. Килограммов сто будет?
- Что доктор говорит?
- Обширный инфаркт.
- Как бы дуба сейчас не дал...
- Не он первый, не он последний... Осторожней, сволочь!
- Ну чего орешь?

Ипатов с ужасом смотрел на красные запяяцовские физиономии санитаров. Он вдруг узнал этих дюжих ребят. Когда-то, лет двадцать назад, они приходили за его мамой. И вот теперь пришли за ним. Боже, что он им сделал плохого?..

НА РАЗЛОМЕ ЧАСТЕЙ

В том памятно-проклятом высокосном году Ипатовы снимали дачу в Комарово. Это была крохотная хибарка с подслеповатым окошком и разболтанной дощатой

дверью. В сущности, жили там всего двое — мама и десятилетний Олежка. У жены, как всегда в это время, был съемочный период — ее киногруппа затерялась где-то на Кавказе, и за все три месяца госпоже продюсеру ни разу не удалось вырваться к семье. Машки тогда вообще еще не было, а Ипатов навещался только по выходным дням. Чувствовала себя мама неважно с самого начала. То ли от ядреного соснового воздуха, то ли от ежедневного стояния в очередях за продуктами на солнцепеке, у нее поднялось давление, и Ипатов уже серьезно начал подумывать о возвращении обоих в город. Но мама, которая меньше всего думала о себе, решительно воспротивилась. Во-первых, за каморку были уплачены вперед немалые деньги. А во-вторых, Олежка прямо на глазах из анемичного городского заморыша превращался в загорелого поселкового сорванца. Он целыми днями пропадал на заливе, ходил по ягоды и грибы, мастерил какие-то шалаши, короче говоря, жил чрезвычайно насыщенной мальчишеской жизнью. Загонять его раньше срока в четыре стены душной и плохо проветриваемой квартиры было, по мнению мамы, жестоко и неразумно. Впрочем, Ипатов и сам не очень настаивал: глядя на личико сына с уже пробивающимся сквозь свежий загар румянцем, он колебался и не знал, что делать. Так шли дни, недели.

И вот однажды — это было в воскресенье днем — мама пожаловалась ему, что ее голова «раскалывается на тридцать три части» (она еще шутила!). Через дом от них жила медсестра из ближайшего санатория. Она измерила маме давление и настоятельно посоветовала обратиться к врачу. «Все! Едем в город и завтра вызовем врача!» — решительно заявил Ипатов. Мама как-то жалобно и с трудом улыбнулась — понимала, что на этот раз ей не отвертеться. Подперев дверь поленом, они втроем, вместе с сопротивляющимся Олежкой, у которого на вечер были какие-то свои важные планы, двинулись на станцию. В ожидании поезда на платформе теснились люди — яблоку упасть негде. Оказалось, что по каким-то техническим причинам отменили движение электричек с часа до четырех. Все скамейки были заняты. Многие сидели на чемоданах, узлах, корзинах. Под навесом у кассы тоже ступить негде было. Какой-то старшеклассник брэнчал на гитаре, и его приятели во весь голос горланили песенку собственного сочинения. Ипатов попросил одного из них уступить место по-

жилой женщине, но тот даже бровью не шевельнул. Ипатов с трудом сдержался, чтобы не взять его за шиворот: побоялся, как бы не разнервничалась мама, ей всегда претили подобные методы воспитания, тем более чужих детей. «Ну как — не лучше?» — то и дело спрашивал Ипатов маму. «Нет, не лучше», — отвечал ее тоскливый взгляд. Надо было что-то делать. Ипатов решил выйти на шоссе и остановить какую-нибудь машину. Целая вечность прошла с тех пор, как он в последний раз, на войне, голосовал на дорогах. Он был уверен, что первая же машина, если она только не набита людьми, согласится подвезти их...

Когда Ипатов с мамой и Олежкой вышли к шоссе, там стояли и голосовали еще двое — парень и девушка в ярко-красных куртках. Вид у них был отчаявшийся, и поэтому уверенность Ипатова несколько поколебалась. Но он тут же приободрился, решив, что одно дело, когда просят подвезти молодые люди, и другое — пожилая женщина и ребенок. Надо быть черт знает кем, чтобы проехать мимо. Однако первые же две машины — «Москвич» и следовавший за ним «Запорожец», несмотря на то, что в них были свободные места, даже не обратили внимания на взметнувшиеся руки — три взрослые и одну детскую. Мама в «голосовании» не участвовала. Потом пронеслась черная «Волга», в которой, кроме шофера и сидевшего рядом с ним важного человека в темном костюме, никого не было. Затем прошла густо заселенная «Победа», за ней полупустая «Волга». В общем, машины шли довольно часто, порой с интервалами сто — двести метров. Из двух десятков машин остановилась лишь одна, да и то поодаль, и ее перехватила более резвая молодая парочка, хотя до этого Ипатов успел перекинуться с парнем несколькими фразами, и он, и его приятельница знали, что их соперники торопятся к врачу. Теперь Ипатов решил изменить тактику. Сам встал за ближайшее дерево, а маму и Олежку выдвинул на передний план. Но и после этого машины невозмутимо пронеслись мимо. Ни одного из водителей не тронул вид отчаянно голосовавших пожилой женщины и мальчонки. Сердце Ипатова обливалось кровью, когда он видел мамину растерянность. Сперва она еще надеялась, что рано или поздно найдутся добрые люди, не откажутся подвезти. Она даже улыбалась приближавшемуся водителю, просила жестом остановиться. Потом, поняв, что никому нет до

нее с Олежкой дела, поднимала руку уже автоматически: а вдруг кто-нибудь да отзовется? А под конец, было видно, она стала испытывать сильное чувство неловкости и унижения. Нечто подобное, наверное, бывает с нищим, которому все без исключения отказывают в подаении. Она робко тянула руку и тут же смущенно опускала: как будто и вовсе не поднимала; пусть, дескать, думают, мало ли кто и почему стоит у дороги. От бешенства у Ипатова перехватило горло. Он едва сдерживался, чтобы не выскочить с камнем на середину шоссе и таким старым, испытанным, почти фронтальным способом (правда, тогда у него в руках был автомат) остановить машину. Но он знал, твердо знал, что мама бросится за ним следом, чтобы оттащить в сторону, и что при этом их могут в два счета сбить: водители даже не успеют затормозить, при таких-то скоростях! Да и присутствие Олежки ко многому обязывало: чуть не с пеленок внушалось ему, что с дорогой шутки плохи, что переходить ее можно только в положенных местах. Ипатову не оставалось ничего другого, как молча про себя честить владельцев автомашин последними словами. И с горечью думать: как мало человеку надо, чтобы стать подонком!

А потом неожиданно показалась электричка — по видимому, неполадки были устранены раньше срока. Подхватив маму под руку, Ипатов заторопился к перрону. Впереди бежал и подгонял их Олежка: «Быстрее, бабушка! Быстрее!» Вздрыбленная толпа придвинулась к самому краю. Ведущие на платформу крутые ступеньки они преодолели, уже высунув языки. Мама едва не падала. За две-три секунды все до одного тамбуры были до отказа набиты людьми. К чести машиниста, он подождал, пока все войдут в электричку. Нашлось крохотное местечко у дверей и для Ипатовых. Стояли вплотную друг к другу, не были в состоянии даже шевельнуть ни рукой ни ногой. Ипатов уперся руками в стену и своей широкой спиной стал медленно отодвигать плотную человеческую массу от мамы и Олежки. Кто-то толкал локтем ему в лопатку, молотил кулаком по плечу: «Товарищ, вы же раздавите меня!» Но теперь мама и Олежка могли хоть немного вздохнуть. «Ну как — не лучше?» — по-прежнему допытывался Ипатов у мамы. Она в ответ лишь качала головой. «Уже скоро, уже скоро!» — успокаивал он не столько ее, сколько себя. Ни к чему не привела и его попытка раздвинуть

толпу и проникнуть в вагон — там он хотел попросить кого-нибудь уступить маме место. Десятки плотно спрессованных людей были непреодолимой преградой для каждого, кто пожелал бы улучшить свое положение. Ипатов с тревогой поглядывал на маму, на ее застывшее от головной боли лицо. Когда электричка подходила к Шувалову, стоявшему неподалеку парню с хорошим открытым лицом вдруг приспичило закурить. Он сделал всего несколько затяжек, и в тамбуре уже нечем было дышать. «Зачем он курит?» — тихо сказала мама. «Брось курить!» — потребовал от парня Ипатов. Но тот, как ни в чем не бывало, продолжал попыхивать прямо на людей. «Ты что, оглох?» — понемногу свирепел Ипатов. Парень даже не переменял позы. Тогда Ипатов, не говоря ни слова, вынул у него изо рта сигарету и вытолкнул ее сквозь поперечные прутья окошка. Парень от неожиданности растерялся и залился краской. И до самой Ланской — до своей остановки — не спускал с Ипатова холодного, ненавидящего взгляда. Зато всю оставшуюся дорогу влюбленно и восторженно смотрел на отца Олежка...

На Финляндском вокзале мама с трудом добралась до скамейки в зале ожидания и там потеряла сознание...

Психология толпы всегда была для Ипатова загадкой. Его всегда озадачивало, почему иной раз собравшиеся вместе люди вспыхивают от одной крохотной искры, а иной раз тлеют и чадят, хотя под ними, можно сказать поджаривая со всех сторон, пылают огромные костры? Почему иногда готовы терпеть до бесконечности, а иногда не могут снести даже малости? Почему, когда он сцепился с этим парнем, нагло отравлявшим всем воздух табачным дымом, никто, ни один человек не поддержал Ипатова, а когда перед Озерками два вполне приличных, хорошо одетых и по виду трезвых человека затеяли глупейшую перепалку о том, кто из них коренной ленинградец, а кто нет, весь тамбур взорвался и бурлил до самого Ленинграда? В чем истоки и секрет приязни и неприязни толпы? И почему, в основном, добрые по своей природе люди, находясь вместе, нередко становятся столь злыми и нетерпимыми друг к другу?..

Мама пришла в сознание, когда медсестра дала ей понюхать нашатыря. Она открыла глаза: «Где я?» — «На вокзале», — сказал Ипатов. «Да, долго ехали», — вспомнила она. «Как чувствуешь себя?» — спросил он. Она ответила не сразу, какое-то время прислушивалась к своему состоянию: «А знаешь, немного лучше!» — «Мама, ты посиди здесь с Олежкой, а я сбегаю за машиной!»

На стоянке такси томился не один десяток людей с только что прибывших электричек. Машины подходили редко и, как назло, увозили по одному, по два человека. Так можно было прождать час или даже дольше. Ипатов подошел к стоявшим впереди грибникам: «Товарищи, мне срочно нужно такси... довезти больного...» Грибники, насупясь, молчали. «Не пускайте без очереди!» — взвился где-то позади пронзительный женский голос. «Товарищи, прошу вас...» — жалобно произнес Ипатов. Вдали мелькнул зеленый огонек такси, и грибники, подхватив свои корзинки, придвинулись к самому краю тротуара. «Все стоят, и пусть он постоит! Видали мы таких больных!» — не унимался тот же резкий женский голос. Такси остановилось рядом с Ипатовым. Он рванул дверцу, но его тут же оттолкнул какой-то грибник и плюхнулся возле шофера. В одно мгновение заполнилось и заднее сиденье. Больше Ипатов не вызвал ни к чьей совести, а просто, как только подошло очередное такси, сам распихал всех и оказался победителем. Что-то кричали ему вслед, но что, он уже не слышал. Мама сошла к такси, крепко держась за обоих своих мужчин. «Знаешь, меня все время почему-то заносит», — призналась она сыну. Пока ехали, Олежка не спускал глаз со счетчика, который непрерывно накручивал рубли и копейки: он знал, что у отца всего пятерка, а бабушка, как нарочно, забыла свой кошелек на даче...

Дома Ипатов сразу уложил маму в постель и вызвал «неотложку». Через час приехала молодая красивая врачиха с холодным, недобрый лицом. «Что случилось?» — спросила она не то у Ипатова, не то у мамы. Он рассказал. Врачиха померила маме давление, выписала какой-то рецепт и с таким же холодным и недобрый выражением лица направилась к выходу. Ипатов рванулся следом: «Что с ней?» — «Ничего страшного, немного переутомилась», — сказала она. — Пройдет. Я записала вызов участкового терапевта к вам на

дом». — «Вот видишь, ничего страшного, — подхватила мама, когда Ипатов, проводив врача, вернулся в спальню. — Я с часок-другой полежу, а потом встану, буду готовить обед. И так я морю вас сегодня голодом!» — «Ну нет! — заявил Ипатов. — Будешь лежать до тех пор, пока не пройдут все эти явления! А обед мы с Олегом сами сварганим!» — «Да, с вами я не пропаду», — улыбнулась мама...

Ночью Ипатов заглянул к маме и увидел ее сидящей в постели: «Ты почему не спишь?» — спросил он. Она жестом пригласила его сесть рядом. Он сел на край кровати. «Костя, ты ничего не замечаешь? Послушай внимательно... Сы-но-чек мой род-ной, я те-бя о-чень люб-лю», — старательно и внятно выговаривала она каждый слог. «Я тебя тоже», — подхватил он. «Ничего не заметил?» — «Нет», — удивленно ответил Ипатов. «Мне кажется, что у меня что-то с речью, — пояснила она. — Впервые за шестьдесят пять лет меня плохо слушается язык...» — «Ты хочешь, чтобы он и ночью трудился, как днем?» — пошутил Ипатов. «Нет, правда, со мной еще такого не бывало», — сказала она. «Знаешь, давай не будем гадать, а вызовем «неотложку»?» — предложил он. «Ой, Костик, не надо, до утра всего ничего осталось, а там придет участковый врач!» — заявила мама, прилагая заметные усилия, чтобы говорить правильно и ясно. И в самом деле, за окном уже рассветало. «Только если станет хуже, — предупредил Ипатов, — сразу же зови меня. Только не перемогай себя». — «Я же не дура», — ответила мама.

Участковый врач пришла в начале одиннадцатого. Это была полная, страдающая одышкой, немолодая женщина. Она долго и сердито жаловалась на то, что в доме не работает лифт и что до седьмого этажа, где жили Ипатовы, ей пришлось добираться пешком. Мама чувствовала себя виноватой и смущенно поддакивала. Чтобы не вносить в разговор излишнюю нервозность, Ипатов терпеливо выслушал сетования врачихи, хотя с самого начала был как на иголках: во-первых, он видел, что маме по сравнению со вчерашним стало хуже, а во-вторых, ему надо было бежать на работу, он уже и так опоздал. Сегодня вечером директор института уезжал в Москву, и к этому времени редакционно-издательская группа, которой руководил Ипатов, должна была закончить три фотоальбома, посвященные недавнему пребыванию в их НИИ высшего московского на-

чальства. Директор собирался взять альбомы с собой, чтобы в качестве сувенира преподнести министру и двум его заместителям. Работы было еще невпроворот, и о ее невыполнении в срок не могло быть и речи...

«Ну что ж,— сказала врач, осмотрев маму,— у нее преходящее нарушение мозгового кровообращения. Надо лежать, лежать, лежать!» Затем она выписала рецепт и пообещала сегодня же прислать участкового невропатолога. Через минуту она исчезла, оставив после себя запах карболки.

Настроение у мамы, судя по ее шуточкам, было неплохое. «Преходящее,— радостно отметила она после ухода врача,— это значит временное, непродолжительное... И я подумала, что если бы у людей чаще заплетался язык, они бы меньше болтали глупостей...»

Делать было нечего: оставив маму на Олежку, Ипатов поехал в институт. Правда, напоследок он строго-настрого наказал сыну: быть неотлучно при бабушке, подавать ей все, что попросит, в постель, ни под каким видом не разрешать вставать. Мама тоже обещала слушаться. Время от времени он позванивал домой, и мама сама брала трубку телефона, стоявшего рядом на стуле, и бодреньким голосом информировала его о своем состоянии. Послушать ее, у нее все было в порядке... вот только чуть язык спотыкается или чуть ногу отлежала. Олег, которому Ипатов каждый раз просил передать трубку, на все вопросы о бабушкином самочувствии отвечал одним дурацким словом: «Нормально!» Конечно, было бы несправедливо требовать от него большего, и все же в свои десять лет он мог бы быть более самостоятельным — попытался бы сам разобраться, стало ли бабушке лучше или хуже. Тревога ни на минуту не покидала Ипатова. Особенно она усилилась после того, как Олежка сообщил, что бабушка попросила чаю со сгущенным молоком, но отпила совсем немножко: ей трудно глотать. Не было почему-то до сих пор и обещанного участковым врачом невропатолога. Впрочем, сидеть у телефона у Ипатова не было времени, мог звонить лишь урывками: он и его помощники решительно зашивались с альбомами. Мало того что они и так не успевали в срок, их еще заставили переделывать. Сперва директору показалось недостаточным золотое тиснение на переплете. Ипатов спорить не стал: прибавили золота. Потом, когда альбомы были уже почти готовы, директор вдруг потребовал заменить фото-

карточки, где он стоял через несколько человек от министра, на те, где он стоял рядом. Пришлось во всех трех экземплярах отдирать с мясом одни снимки и приклеивать другие. А под конец кому-то из замов пришла в голову мысль, что неплохо бы отделить листы друг от друга тончайшей папиросной бумагой. Поворчали между собой, но отделили...

Было часов восемь, когда Ипатов выбрал минутку и снова позвонил домой. На этот раз трубку взял Олешка. Он шепотом сообщил, что бабушка спит, а доктора все еще нет. «Скоро приду!» — пообещал Ипатов. И в самом деле, работа подходила к концу, оставалась какая-то ерунда, которую Ипатов собирался поручить своим помощникам. Их же он хотел попросить доставить альбомы, если будет на то указание, на вокзал к отходу «Красной стрелы».

Но тут позвонили от директора и попросили Ипатова зайти. Чертыхаясь, он пошел в главный корпус, где находились кабинеты начальства. Перед директором лежал альбом, предназначенный лично министру. «На этом снимке, — сказал директор, — министр не похож на самого себя. Найдите другой!» Ипатов вернулся в отдел, взял всю пачку фотографий и понес директору. Тот долго перебирал снимки, затем пригласил к себе обоих замов, и они втроем с добрых полчаса обсуждали, какая из фотографий удачнее. Удачнее, естественно, оказалась та, на которой улыбающийся министр разговаривал с директором.

Перед тем как выйти из кабинета, Ипатов, сославшись на тяжелую болезнь матери, попросил директора отпустить его домой. Начальство поморщилось, но все-таки разрешило: «Только распорядитесь заменить фотокарточку, а альбомы доставить мне к поезду!»

Схватив такси, Ипатов через десять минут был дома. Мама еще спала, дышала она тяжело, с каждым выдохом надувая щеки. Сперва он подумал, что это оттого, что она неудобно лежит — уткнувшись лицом в подушку. Он попробовал ее разбудить, но она лишь отмахнулась. Отказалась мама и от ужина: «Спать хочу...»

Было начало десятого. Несмотря на то что к этому времени мама уже переменяла положение и теперь спала на спине, дыхание ее было по-прежнему тяжелым. И этот чрезмерно затянувшийся, неурочный, нездорово-

вый, некрепкий сон вселял в Ипатова страх и растерянность. Наконец он не выдержал и вызвал «скорую»...

Приехала она не сразу, минут через сорок-пятьдесят, когда терпение Ипатова лопнуло и он снова напомнил о вызове. Молодой врач в модной кожаной куртке и в таких же модных фирменных джинсах — ни дать ни взять режиссер с киностудии, — скользнув быстрым и цепким взглядом по книжным полкам, прошел в спальню. Осмотр больной продолжался минуты две, не больше. «Глубокий стволовой инсульт, — определил врач. — Она умрет». — «Что, что?» — перед глазами Ипатова все поплыло. «Умрет», — уже громче повторил врач. Ипатов схватил его за рукав модной куртки: «Тише! Она может услышать!» — «Да нет, не услышит, — заверил врач. — Она без сознания». — «Доктор, неужели нет шансов?» — простонал Ипатов. «Один на сто», — ответил тот, поглядывая на книги. «Скажите, что надо делать?» — Ипатов все еще не выпускал его рукав. «Прежде всего необходима капельница. — И тут внимание врача привлек недавно вышедший двухтомник Зошенко. — Но это возможно только в условиях стационара». — «Тогда отправьте ее в больницу!» — потребовал Ипатов. «К сожалению, не могу, — ответил врач. — Она нетранспортабельна. — И добавил, как бы вразумляя: — Ее нельзя везти». И вдруг Ипатов вспомнил, что где-то совсем недавно, кажется в «вечерке», прочел коротенькое сообщение о том, что при «Скорой помощи» созданы специализированные бригады для оказания экстренной помощи людям с острым нарушением мозгового кровообращения. Он сказал об этом врачу. «А вы знаете, сколько их, этих бригад? И едут они, между нами, в основном, к молодым!» — как-то уж очень легко признался врач. «А с пожилыми что?!» — не веря своим ушам, воскликнул Ипатов. «Пока на всех не хватает», — ответил врач, подходя к книжным стеллажам: он заметил сборник стихов Анны Ахматовой в издании «Библиотеки поэта». «Постойте, доктор, а что бы вы делали на моем месте, если бы это была ваша мама?» — с отчаянием в голосе спросил Ипатов. «Постарался бы устроить в больницу. Скажу вам честно: это единственный шанс...» — «Но вы же отказываетесь везти в больницу?!» — едва не заорал Ипатов. «Я же объяснил вам: она нетранспортабельна... Кстати, ее смотрел невропатолог?» — «Нет, он должен был прийти, но почему-то не пришел...» — «Если бы были за-

ключение и направление невропатолога, то, может быть, ее и приняли в какую-нибудь больницу... Простите, я спешу, у меня еще уйма вызовов!»

Когда врач уехал, Ипатов, покачиваясь, как пьяный, подошел к маме: веки ее оказались чуть приоткрыты. Сердце его сжалось: «Неужели она слышала весь разговор?»—«Мамуля, ты спишь?»— наклонился над ней Ипатов. Она шевельнула губами: «Кто был?»—«Доктор,— ответил он,— ты разве не помнишь, как он тебя осматривал?»—«Нет»,— скорее догадался, чем услышал, Ипатов.

Он едва удержался, чтобы не разреветься. Но мысль о том, что не все еще потеряно, что пусть небольшой, но есть шанс на излечение, заставила его взять себя в руки. Ипатов перенес телефон в большую комнату и позвонил Вальке Дутову, памятуя о многочисленных медицинских связях своего бывшего университетского друга. Тот, как всегда в последнее время, был пьян и долго не мог взять в толк, чего от него хочет Ипатов. Когда же он уяснил, что к чему, он с ходу загорелся помочь. «Сейчас сообразим...— сказал Валька.— Знаешь, позвони мне минут через десять». Ровно через десять минут Ипатов снова набрал Валькин номер. «Полный порядок, старик,— бодрым голосом произнес Дутов.— Бери такси и дуй на Гражданку. Запиши адрес... Антонина Васильевна Сухорукова. Она положит твою маму к себе в клинику». Разбудив Олежку и усадив его, клевавшего носом, в кресло рядом с мамой, Ипатов выскочил из дома. И надо же — такое везение!— в нескольких метрах от своего подъезда поймал такси. Через полчаса он был на месте. Поднявшись на лифте на шестой этаж нового точечного дома, он быстро нашел квартиру. Дверь открыла пожилая, молодящаяся женщина в ярком восточном халате. Не приглашая в комнаты, она прямо в коридоре написала направление в клинику нервных болезней. Никаких вопросов она не задавала, только спросила фамилию и имя-отчество мамы. Когда Ипатов, поблагодарив, собрался уходить, она сказала: «Привозите с утра».—«На чем?»— недоуменно спросил он. «Закажите через вашу участковую поликлинику санитарную машину. До свидания!»

Вернулся Ипатов на том же такси. Олежка сладко спал, свернувшись калачиком, в кресле. Ипатов отправил его к себе, а сам сел напротив мамы. Всю ночь он не спал, прислушиваясь к ее тяжелому дыханию.

Утром, еще задолго до начала приема, он побежал в поликлинику договариваться о санитарной машине. Ему казалось, что достаточно будет показать направление известного профессора, и все пойдет как по маслу. Однако заведующая отделением — немолодая и, по видимому, когда-то красивая женщина с неприятным визгливым голосом — даже не захотела с ним разговаривать. Она заявила, что без освидетельствования больной участковым невропатологом никуда звонить не будет. «Тогда пришлите невропатолога!» — уже в ярости воскликнул Ипатов. «Он на приеме», — ответила она. «Послушайте, он должен был прийти еще вчера и не пришел! — И вдруг Ипатов взорвался: — Или вы сейчас же пришлете невропатолога, или я разнесу всю вашу поликлинику к чертовой матери!» — «Если вы не прекратите хулиганить, — пригрозила заведующая отделением, — я вызову милицию!» — «Вызывайте», — устало отозвался Ипатов и тяжело опустился на стул.

Заведующая отделением выбежала из своего кабинета. Через несколько минут к Ипатову осторожно подошла старшая медсестра: «Идите, гражданин, домой. Скоро к вам придет доктор!»

Заявился же невропатолог только через полтора часа. Это был высокий широкоплечий, под стать Ипатову, мужчина с румяным — кровь с молоком — лицом. «Показывайте вашу больную», — жизнерадостно сказал он. Когда он начал осмотр, к маме неожиданно вернулось сознание. Она даже отвечала врачу на какие-то вопросы, правда иногда невпопад, как сквозь сон. Проверяя рефлексы, он заставлял ее делать то одно, то другое. Было совершенно непонятно, откуда у мамы берутся силы выполнять все...

Закончив осмотр, врач спросил: «Где у вас тут можно вымыть руки?» Ипатов провел его в ванную. Там он долго, как будто ему предстояло кого-то оперировать, мыл руки. «Ну так как же с сантранспортом, доктор?» — прервал молчание Ипатов. «Ничем вас порадовать не могу, — ответил невропатолог и со вздохом добавил: — Все мы прошли через это...» — «Иными словами, вы отказываетесь вызывать санитарную машину?» — «Не имею права, увы, ваша мамаша нетранспортабельна», — развел он руками. «Неужели это направление для вас пустая бумажка? — разъярился Ипатов. — Профессор Сухорукова берется лечить маму, а вы

не хотите сделать даже такой малости — вызвать машину?!» — «Пусть бы она сама, ваша профессор, и вызывала сантранспорт, — огрызнулся врач. — Умрет больная в дороге, отвечать будем мы, а не ваша профессор!» — «Послушайте, — Ипатов загородил проход к двери, — я вас не пушу до тех пор, пока вы не позвоните!» — «Вас никогда не сажали на пятнадцать суток?» — с интересом осведомился невропатолог. «А я не уверен, — заявил Ипатов, — что вы тоже легко отделаетесь, если по вашей вине умрет больная». — «От такого инсульта даже де Голль умер, спасти его не могли, а вы хотите...» — «Послушайте, — Ипатов смотрел прямо в бесцветные, с красными прожилками глаза, — со мной, конечно, вы можете не считаться. Но если по вашей вине умрет мама, именно по вашей вине...» — «Почему по моей?» — встрепенулся врач. «А потому что, — Ипатов городил первое, что пришло в голову, — профессор Сухорукова ставит на ноги даже тех, от кого отказываются другие светила, и в этом случае вам придется иметь дело со всей медицинской общественностью города». — «А кто она вам, профессор Сухорукова?» — насторожился невропатолог. «Кто? Старая подруга мамы!» — в отчаянии соврал Ипатов. Невропатолог на мгновение задумался и спросил: «Где у вас телефон?» — «В той комнате!» — обрадовался Ипатов. Врач позвонил в «Скорую помощь» и попросил прислать «санитарку», чтобы доставить больную в клинику профессора Сухоруковой. «Ей шестьдесят пять, — отвечал он на вопросы диспетчера. — Да, есть направление. Да, сам видел...» Закончив разговор по телефону, он сказал Ипатову: «На вашу с профессором Сухоруковой ответственность...» — «Хорошо, доктор», — согласился тот...

Целый час Ипатов протёрчал на балконе, поджидая машину. Она же, как нарочно, появилась тогда, когда он на минутку отлучился, чтобы выключить на кухне радио, которое запустил на полную громкость Олежка — его, видите ли, интересовали результаты матча между «Кайратом» и «Пахтакором». Если бы не опасение, что тот поднимет рев, Ипатов отвесил бы ему хороший подзатыльник. Пока санитары вынимали носилки, высчитывали, на каком этаже квартира (разглядеть что-нибудь на табличке, над которой основательно потрудились дворовая ребятня, было невозможно), Ипатов сбежал вниз. Врача среди них не было, приехали одни санитары — два здоровых молодых парня (не они

ли потом, спустя двадцать лет, придут за ним самим?). Лестница гремела от уверенных и тяжелых шагов, брякали о перила и ступеньки кованые железом носилки. Войдя в квартиру с ее тесным и узким коридором, один из парней предупредил: «Здесь с носилками не пройти!»—«Ребята, может, попробуем, а?—взмолился Ипатов.—Ведь ей нельзя вставать...»—«И пробовать нечего,—угрюмо продолжал санитар.—Что мы, в первый раз, что ли, из таких хором выносим?»—«Тут и идти-то всего несколько метров... Может быть, она сама дойдет?»—подхватил второй санитар. «Знаете что?—разъярился Ипатов.—Катитесь вы оба...»—и, невзирая на присутствие Олежки, следовавшего за отцом по пятам, выругался матом. «Ну чего? Ну чего?—струсил второй.—Будто по-хорошему нельзя? Сам прикинь, как здесь развернуться?»—«Тогда на руках донесем!»—сказал Ипатов. Оба санитара промолчали. Оставив носилки за дверью квартиры, они прошли в спальню. «Куда?»—испуганно спросила мама. «В клинику профессора Сухоруковой, приятельницы Валькиного отца, это одна из лучших клиник города»,—бодрым голосом сообщил Ипатов. «Тяжеленька, однако, будет»,—сказал второй санитар. «Подождите, сейчас одену ее»,—потянулся за маминой одеждой Ипатов. Он осторожно натянул на маму платье, надел кофту. «А теперь берем вместе с одеялом!»—распорядился он. Надо отдать должное обоим санитарам, несли они маму аккуратно, не торопясь и глядя себе под ноги. Когда ее вынесли в общий коридор и положили на носилки, она вдруг пожаловалась, что ей холодно. Ипатов притащил еще одно одеяло. «Ну, зачем, зачем?—проворчал первый санитар.—И так тяжело таскать!»—«Ладно, чтобы не надорвались,—не скрывая презрения к обоим, проговорил Ипатов,—берите оба с того конца, а я как-нибудь один управлюсь!» Они охотно согласились с его предложением, и носилки медленно поплыли с этажа на этаж к стоявшей у подъезда машине...

Клиника находилась где-то за городом, у черта на куличках. Ипатов, сидевший внутри рядом с мамой, поначалу еще с грехом пополам ориентировался, а потом и вовсе перестал узнавать мелькавшие по сторонам улицы и дома, хотя очень сомнительно, чтобы в Ленинграде существовали места, где бы он не побывал за свои сорок пять лет. Впрочем, в этой части города он и в самом деле не был. Въехав под какую-то арку и из-

рядно поколесив между больничными корпусами, машина остановилась перед зданием с основательно осыпавшейся штукатуркой и зияющими красными пятнами старинной кирпичной кладки. Деревянная стрелка с надписью «Приемное отделение» почему-то указывала на площадку с мусорными баками. Но это были мелочи. Главные неприятности начались с того, что носилки, на которых лежала мама, съехали со своих направляющих и никак не вынимались из «санитарки». Оба санитары, попыхтев немного, пошли куда-то звонить по телефону, так, во всяком случае, они сказали Ипатову. Пришлось ему самому идти за больничными носилками и потом с помощью девчонки-санитарки и какого-то доброхота из выздоравливающих, перекладывать маму. В приемном отделении стоял полумрак и пахло прокисшими щами. Заполняя медицинскую карту, дежурная врачиха дважды переспросила Ипатова, сколько больной лет. Потом она усадила маму и принялась осматривать. «Доктор,— тихо сказал Ипатов,— ее уже и так крутили и вертели с добрый десяток врачей».—«Позвольте, гражданин, нам самим решать такие вопросы»,— огрызнулась врачиха. Спорить с врачами было бессмысленно, все равно они делали что хотели — это Ипатов зарубил себе на носу еще с детства, когда его пичкали рыбьим жиром и заряжали касторкой. И все же, когда врачиха послала маму принять ванну, он энергично воспротивился, и медицина впервые уступила.

После осмотра они еще минут сорок просидели в приемном отделении в ожидании санитарной машины, развозившей больных по корпусам. Мама была в сильном возбуждении и переживала, что не успела написать завещание на сына — на сберегательной книжке у нее было пятьсот тридцать четыре рубля, скопленные на черный день за последние десять лет. «Ты, конечно, получишь их, только не сразу...»—«Мама, не надо...»— просил Ипатов. «Ты не думай, я умирать не собираюсь, просто на всякий случай...»—«Никаких всяких случаев!»— заверил Ипатов. «Да, конечно»,— и она украдкой, чтобы никто не видел, поцеловала ему руку...

Но вот пришла машина, и маму снова переложили с одних носилок на другие. Дорога до нервной клиники проходила по старому, разбитому асфальту, и «санитарку» половину пути зверски подбрасывало на ухабах и швыряло из стороны в сторону. «Тише!.. Тише!»—

кричал Ипатов водителю, который, однако, и в ус не дул. Но в этот момент из-за деревьев вынырнуло новое, очевидно построенное недавно, здание нервной клиники. Подогнав машину к самому крыльцу, шофер пошел звать санитаров. Вскоре из подъезда вышли два дюжих — косая сажень в плечах — парня. (Опять двое, и опять на Ипатова пахнуло свежим водочным духом.) Он с опаской поглядывал на их уверенные и молодецкие движения. Как-то уж очень легко и споро вынули они носилки с мамой из машины и без видимых усилий понесли их каким-то своим привычным маршрутом. Ипатов не отставал от них ни на шаг. Санитар, который шел впереди, вдруг сильным толчком ноги распахнул дверь с табличкой «Бокс № 1», и в то же мгновение в нос Ипатову ударил острый запах мочи. Санитары внесли маму внутрь и там прямо с носилок быстрым, отработанным движением вывалили ее на свободную кровать. Мама беспомощно ткнулась лицом в подушку. Не помня себя от возмущения, Ипатов в ярости схватил стоявшего рядом санитар за грудки и вышвырнул из бокса. Второй санитар не стал дожидаться, когда очередь дойдет до него, подхватив носилки, ретировался сам. Во время этой стычки ни одна из сторон не обмолвилась ни единым словом. Мама, которая лежала лицом вниз и ничего не видела, а только слышала грохот, так и не поняла, что произошло. «Впотьмах столкнулись», — ответил Ипатов на вопросительный взгляд мамы.

Мама оказалась не одна в боксе. На второй кровати постанывала большая и рыхлая женщина неопределенного возраста. Ей можно было дать и сорок лет, и шестьдесят.

Только Ипатов уложил маму удобно в постели, как в палату степенной и неторопливой походкой вошла медсестра: «Вас вызывает профессор!» Мысль о том, что на него могли пожаловаться санитары, он отмел с ходу: в конечном счете, они получили по заслугам и, надо думать, понимали это.

Проводив его до кабинета, медсестра так же не спеша отправилась куда-то по своим делам.

Сейчас профессор Сухорукова была во всем белом и строгом. Она сосредоточенно что-то писала. Молча указала Ипатову на стул. Он сел. Прошло несколько минут, прежде чем она отложила ручку. Взгляд ее серых, много повидавших глаз не выражал никаких чувств.

Она заговорила ровным и бесстрастным голосом: «Только что мне позвонили из приемного покоя — там сегодня дежурит наша клиника — и поставили меня в известность, что состояние вашей матушки крайне тяжелое. Я ее тоже скоро посмотрю. Но ничего не обещаю. Врачи не боги. Даже Андрей Петрович, как вам известно («О ком это она?.. Ах да, о Валькином отце. Валька — Валентин Андреевич...») умер от стволового инсульта, хотя лечили его наши ведущие невропатологи. Мы сделаем все, что в наших силах. Советую вам быть при матушке неотлучно. И позвоните домой, пусть привезут как можно больше пеленок», — и она замолчала, давая понять, что разговор окончен. Ипатов поблагодарил и вышел...

Тут же от дежурной сестры он позвонил Олежке и попросил его привезти несколько чистых простыней. «Найдешь больницу?» — спросил он сына после того, как объяснил ему, как добраться. «Найду», — не очень уверенно ответил тот. «В крайнем случае спросишь у людей, — сказал Ипатов. — Будь только осторожен при переходе улиц!» — «Хорошо», — недовольным голосом отозвался Олежка: он считал себя большим и не любил, чтобы ему напоминали об осторожности на улице.

Когда Ипатов вернулся в бокс, там уже были профессор и двое лечащих врачей. «Подождите в коридоре!» — бросила ему Сухорукова. Пробыли они у мамы недолго, минут десять. «Ну что ж, попробуем!» — выходя от больной, сказала профессор.

Потом, конечно, Ипатов понял: врачи в клинике и в самом деле как могли старались поставить маму на ноги. Назначили и капельницу, и какие-то хорошие лекарства, от которых ей временами становилось лучше, и созвали однажды даже консилиум, правда только из своих.

Эти кошмарные два с половиной дня Ипатов ни на минуту не отходил от мамы. Олежка привозил ему что-нибудь поесть, и он, выйдя в коридор, наскоро, почти не жуя, проглатывал огромные, неумело нарезанные сыном бутерброды с сыром и колбасой. И тут же возвращался к маме.

Откуда только у него брались силы держать маму на весу и ухитряться без посторонней помощи менять пеленки. И это почти через каждые двадцать-тридцать минут.

«Ее — тоже», — всякий раз напоминала мама, показывая глазами на соседку. Хотя дела у той были намного лучше — жизнь ее находилась уже вне опасности, она не меньше мамы нуждалась в уходе. Не задев важнейшие жизненные центры, перенесенный инсульт все же не прошел для нее бесследно: она временами заговаривалась, страдала от огромных, плохо заживающих пролежней. У нее было четверо сыновей, столько же невесток, шестеро внуков, две сестры, два брата, но за все время ее навестила только одна старая подруга, с которой она проработала на «Скоророде» сорок лет. Правда, однажды пришли два сына, но так как они были сильно навеселе, то их не пустили, и они, поскокравшись немного, побрели к ближайшему пивному ларьку добирать недостающие градусы. Санитарки же заходили в палату редко — чтобы протереть мокрой тряпкой пол перед приходом завотделением, принести скудную больничную пищу, — и Ипатов, иногда по собственной инициативе, а чаще по маминой подсказке, переворачивал соседку с одного бока на другой, менял пеленки, подкладывал и выносил судно. В минуты просветления та по-старушечьи причитала, жалуясь на свою долю, и обещала Ипатову связать шерстяные носки, которым не будет износу.

И все-таки, как ей ни было плохо, она шла на поправку, а маме, которая ни на что не жаловалась, с каждым часом становилось хуже. Обеспокоенные врачи все чаще и чаще посещали ее, но уколы, которые они назначали, приносили лишь короткое облегчение. Последней — уже к концу рабочего дня — пришла профессор. Она взяла мамино запястье и долго — ровно минуту — считала пульс. Ее неулыбчивое лицо по-прежнему не выражало никаких чувств. Постояв еще немного у маминой постели, она кивком головы позвала Ипатова в коридор. И он, уже зная, что ему скажут, пошатываясь от горя и усталости, обреченно пошел за ней следом. «Как я вам уже говорила, мы не боги», — заметила Сухорукова. «Когда это случится?» — спросил Ипатов. «Думаю, к утру», — ответила она. — Примите что-нибудь успокаивающее. Скажите дежурной сестре, она вам даст. Увы, все мы смертны», — бесстрастно добавила она и направилась в раздевалку...

Ипатов вернулся в бокс и присел на мамину кровать. Мама прошептала с закрытыми глазами: «Я что, умру?» — «Ну что ты, мамуль, что ты? — сдерживая ры-

дания, ответил Ипатов.— Врачи говорят, что с сегодняшнего дня ты начнешь поправляться». Ее губы дрогнули в недоверчивой улыбке. «Мамуль, ты слышишь меня?» Она едва заметно кивнула головой. «Ты проживешь сто лет!»—«Так много?»— словно издали отозвалась она.— «Если бы ты знал, как я устала...»

Может быть, она и не говорила этого: слова, едва рождаясь, угасали тут же на губах. Но в одном он не сомневался, что, пока она была в сознании, ее не покидали предчувствие смерти и усталость, копившаяся, по видимому, годами...

К вечеру мама уже ни на что не реагировала. И дышала она как бы нехотя — редко и поверхностно. Щеки ее порозовели, морщины разгладились. И произошло чудо преображения: такой молодой и красивой Ипатов видел маму на каких-то старых, еще довоенных фотокарточках...

Дышать ей становилось все труднее и труднее, и он без конца бегал за кислородными подушками.

А под утро, как и предсказывала многоопытная профессор Сухорукова, мама сделала последний глубокий вдох и уже навсегда затихла...

Ипатов вышел в коридор и там, прислонившись к оконному косяку, тихо, чтобы никто не слышал, разревелся.

Через час маму отвезли в морг, который оказался совсем рядом, в подвале соседней клиники. Там она лежала два дня, пока Ипатов носился по городу, оформляя необходимые бумаги и договариваясь о похоронах. Когда он забежал в морг, чтобы передать мамину одежду — ее лучшее выходное платье, ее лучшие чулки и еще кое-какие мелочи, к нему подошел санитар с пушистыми баками на румянном и полном лице и с опечаленным видом сообщил, что покойница сильно подпортилась и с ней надо что-то делать. «Короче говоря, сколько?» — сдерживая ярость, спросил Ипатов. «Четвертной. И еще десятку для санитарок», — радуясь понятливости клиента, ответил тот. С неприкрытой брезгливостью Ипатов протянул ему деньги...

В день ее похорон, когда все родные и близкие собрались у морга, чтобы оттуда ехать в крематорий, Ипатов неожиданно заметил, что у мамы рассечены обе губы. И вдруг его осенила страшная догадка: неужели этот, с баками, вырвал или выбил у мамы ее единственный золотой зуб, который она когда-то, смеясь, назы-

вала «мое золото»? Но проверить, так ли это, он, после мучительных колебаний, отказался: слишком дорогой ценой досталась бы истина — он бы не удержался и тут же прибил этого подонка, и похороны омрачились бы дикой сценой. Стоя у открытого гроба, Ипатов старался не смотреть на рассеченное место, и все же взгляд то и дело возвращался к тщательно припудренному, уже совсем обескровленному глубокому шраму...

Похоронили маму, вернее, урну с ее прахом под отцовской раковиной, на старом кладбище, где уже давно никого не хоронили — в далекой перспективе по соседству собирались разбить парк с каруселями, комнатой смеха и другими аттракционами...

А через два месяца после похорон Ипатов был в филармонии (солисты, хор и оркестр исполняли «Страсти по Иоанну» Баха) и случайно во время перерыва на одной молоденькой женщине с ужасом увидел мамин платок, оставленный им в морге. Он узнал его по легкой желтой подпалине на знакомом абстрактном рисунке — и уже не мог оставаться на концерте, сразу ушел домой...

Но, возможно, и померещилось...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

...Те шесть суток, которые Ипатов пробыл в реанимации, запомнились ему как нечто тягучее, бесформенное, начисто лишенное всех признаков дня или ночи. Время словно потеряло для него смысл: он не имел ни малейшего представления о том, насколько серьезно болен. Когда ему становилось хуже, усиливалась боль или начиналось удушье, вокруг него принимались суетиться врачи и сестры, и он, как во сне слыша их негромкие голоса и видя их странные, опрокинутые лица, в то же время слабо связывал это с собою, потому что с того момента, как он здесь оказался, он привык смотреть на себя как бы со стороны. Облегчающие уколы, которые ему делались по несколько раз в сутки, лишали его воли, и он под их воздействием то погружался в глубокий сон, то, пробуждаясь, невесомо покачивался на невидимых волнах. В эти минуты и часы тело почти не напоминало о себе. Большое и неподвижное, оно жило своей особой, загадочно-неторопливой, необременительной для Ипатова жизнью.

И еще были сновидения, которые тут же забывались.

Но вот настал день, когда сон не исчез, не растворился где-то в глубинах мозга, а весь до мельчайших подробностей завис перед внутренним взором. С этого дня Ипатов пошел на поправку. Окончательно пропала боль, тело вновь обрело привычные ощущения, голова стала неожиданно легкой и ясной.

И заработала память...

Было так... Да, да, так... Сперва он пошел навестить Герц-Шорохова, прикованного к постели радикулитом... Затем, да, затем нелегкая понесла его на шестой этаж бывшего дома Светланы, и там, не выдержав крутого подъема, а может быть, воспоминаний или того и другого вместе, отчаянно разболелось сердце...

Все, что было дальше, он помнил смутно... Какого-то старичка, который требовал, чтобы больного спустили на носилках... Медиков, закинувших себе за шею его длинные слабые руки... «Санитарку», разгонявшую людей и машины своим диким нутряным воем... Гулкие шаги по каменному полу...

Но по мере того, как отступала смерть, его все больше угнетали мысли, не связанные с болезнью... Мысли о работе... о детях — Машке и Олеге... о том странном, возможно не случайном, обстоятельстве, что он очутился в больнице, где когда-то умерла мама... о Светлане, поиски которой, надо думать, теперь поручат кому-нибудь другому...

Опять Светлана... Наверно, никогда он так много не занимался, как в эти семь дней, прошедшие со времени разрыва. Он ясно понимал, что, только обложившись учебниками, сможет заглушить обиду. К тому же он основательно подзапустил все предметы и из отличников, в которых ходил до этого, в короткий срок скатился в троечники. До двоек, разумеется, дело не дошло: все-таки хоть какая-то способность сохранилась. Сразу же после занятий он шел в библиотеку и до десяти вечера штудировал классиков марксизма-ленинизма, переводил со словарем немецкие и латинские тексты, читал обязательную и дополнительную литературу.

Скорее всего и восьмой день прошел бы не менее плодотворно, если бы не одно, вернее, два обстоятельства, незаметно повернувшие Ипатову лицом к новым испытаниям.

Первое из обстоятельств — торжественное собрание, посвященное Дню Сталинской конституции. Не идти было нельзя: мероприятие, как объявил комсорг, политическое и явка всех обязательна. О том же, что после официальной части будут танцы, Ипатов даже не знал. Или прослушал, или же об этом было решено в последний момент.

Второе обстоятельство, на первый взгляд, не имело никакого отношения к собранию. Последнее время Ипатов снова стал курить. Курил он много, только кончал одну папиросу, начинал другую. Ясно, что пачки на день не хватало, и он, по старой фронтовой привычке, не брезгуя, докуривал чужие чинарики. В тот самый восьмой день он не успел купить папиросы и поехал в Университет без курева. Автобус почему-то шел медленно и дотянул только до Дворцового моста. Часть пассажиров вернулась на ближайшую остановку, а часть, включая Ипатова, пошла дальше. Никто из бывших пассажиров не курил, и поэтому «стрельнуть» было не у кого. Некурящими оказались и несколько встречных прохожих, к которым обращался Ипатов. Но за мостом ему повезло. Четверо молоденьких парней, одетых с иголки, только что вылезшие из такси, с готовностью распахнули перед ним свои шикарные (кожа, серебро) портсигары. Но едва Ипатов протянул руку за папиросой, как вся четверка быстро и остро переглянулась, и три из четырех портсигаров исчезли в карманах. Ничего не подозревая, Ипатов взял папиросу, поблагодарил. Еще раз поблагодарил, когда поднесли горящую зажигалку. С наслаждением затянулся и зашагал по утренней набережной, глубоко вдыхая сладковатый табачный дым. То, что ребята как-то нехорошо переглянулись, он заметил, но не придавал этому большого значения. Он понимал, что человек, бесцеремонно «стреляющий» на улице папиросы, так или иначе ставит себя в зависимое положение.

Пройдя метров сорок, Ипатов обернулся и увидел, что четверка смотрела ему вслед и погано улыбалась.

«Сопляки! — обиделся Ипатов. — Презирать человека только за то, что он попросил у них закурить? Тоже мне голубая кровь... Тьфу!»

Первым порывом было немедленно бросить папиросу на землю, растереть ее сапогом. Но мысль о том, что с такого расстояния они вряд ли что-нибудь поймут, удержала его. Только после того, как столбик табака дотлел, Ипатов сильным щелчком указательного пальца отправил окурки за гранитный парапет...

Все началось после первой лекции. Ипатов вдруг почувствовал, что с ним происходит что-то неладное. Голова, которая еще недавно составляла единое целое с телом, начала жить какой-то обособленной забавной жизнью.словно воздушный шарик, она плыла над многолицей студенческой толпой и давилась от смеха по малейшему поводу. Ее смешило все, от собственного состояния до предложения Вальки Дутова рвануть в кино на утренний сеанс. Она то и дело ловила на себе удивленные, укоризненные, любопытные взгляды. Где-то в стороне мелькнуло брезгливо-неспокойное лицо Светланы. «Ага!— догадалась Голова.— Решила, что я пьян или свихнулся на любовной почве. Как бы не так, сударыня! Мне на вас начхать!»

И Голова снова рассмеялась. Забавно было и то, что руки, ноги, туловище легко смирились со своим отсутствием и не мешали Голове делать все, что ей вздумается.

А она носилась по коридорам, говорила, хохотала, подмигивала, шутила, а под конец с этакой артистической непринужденностью и своей галантностью попросила огонька у самого декана. Старик академик смотрел на Голову ошарашенными глазами, долго не мог зажечь спичку. Голова снисходительно ждала и посмеивалась. Наконец декан справился со своими руками и обслужил Голову по высшему разряду. Как ни странно, эта дерзкая выходка не повлекла для Ипатова никаких последствий. Академик был великий знаток Пушкина и относился ко всякого рода проделкам молодых в высшей степени терпимо.

До конца занятий Ипатов, конечно, не досидел. Как только он связал свое состояние с подсунутой ему папиросой, он тут же взял себя в руки и попросил кого-нибудь из ребят отвезти его домой. Но так как сегодня давали стипендию, желающих возиться с ним что-то не оказалось. Нет, одна добрая душа все-таки нашлась. Аня Тихонова. Маленькая (Ипатову по пояс), с гладко причесанными светлыми волосами и не очень здоровым цветом лица, она была родом откуда-то из-под Пскова

и стыдилась своего неленинградского происхождения. Ей казалось, что всем с ней скучно, неинтересно и часто краснела. К Ипатову она относилась с затаенным восхищением. Ей нравилось в нем все, от фронтального прошлого до высоченного роста (все это передали Ипатову Анины подружки, с которыми она имела неосторожность поделиться сокровенными мыслями).

Вот эта малышка и вызвалась доставить его посмеивающуюся Голову домой. Анечка проявила о ней прямо-таки материнскую заботу: усадила на первое освободившееся место в автобусе, оберегала от толчков, успокаивала, когда та горячо несла чушь и хохотала, помогла сойти, подняться по скользкой лестнице, войти в квартиру.

Там она ее уложила на диван и, поругивая неизвестных, подсунувших Ипатову коварную папиросу, часа два сидела рядом, пока он медленно приходил в себя.

Потом она ему вымыла лицо холодной водой, причесала густые непослушные волосы, напоила горячим чаем.

И только после этого заявила:

«Ну все, я побежала... Ты будешь сегодня на вечер?»

«Что? Какой вечер?» — с трудом ворочая языком, переспросил Ипатов.

«Как какой?.. День Сталинской конституции!.. Потом танцы обещали».

«Мне только танцев не хватает», — заметил Ипатов, зажав руками трещавшую голову.

«Вот гады! Вот мерзавцы! А еще комсомольцы!» — продолжала возмущаться Анечка.

«Откуда тебе известно, что они комсомольцы?» — сонно удивился Ипатов.

«Из доклада на районной комсомольской конференции, — Аня была делегатом на ней и даже проконспектировала там все до единого выступления. — В нем было сказано, что в нашем городе, — и она покраснела, — комсомолом охвачены сто процентов молодежи в возрасте от пятнадцати до двадцати семи лет».

«Бурные аплодисменты, переходящие в овацию», — отозвался Ипатов.

«Это — ирония?» — недоверчиво спросила Анечка.

«Что ты? Равнобедренный треугольник», — пробурчал он.

«Ты придешь на танц... на собрание?»

«Придется. Куда деваться?»— со вздохом произнес Ипатов, провожая свою спасительницу до дверей...

До торжественного собрания оставалось два часа. Подставив все еще тяжелую голову под холодную воду, с сильным напором бившую из крана, Ипатов упрямо изгонял из нее остатки одури, внесенной туда папиросой. Через час он был как новый пятак...

...Ипатову приснился сон, будто бы по нему ползают большие черные муравьи, прыгают блохи, сосут кровь и прямо на глазах раздуваются намертво прилипшие пиявки. А потом откуда-то выскакивает паук на тоненьких ножках. Ипатов пытается придавить его подушкой, но всякий раз промахивается, и тот убегает на своих длинных ниточках-циркулях...

Проснулся Ипатов весь в холодном поту. Он осторожно, как рекомендовали врачи, повернулся на правый бок и улыбнулся соседу, смотревшему на него вопросительным мягким взглядом.

— Непокойно спали,— пояснил сосед.

— Снились какие-то пауки, блохи...

— К хлопотам, по старым приметам...

— Наверно,— охотно, с накатывающей радостью, согласился Ипатов.

Его только вчера перевели из реанимации в отделение. В палате кроме него находилось еще трое. Рядом, по ту сторону тумбочки, лежал Александр Семенович, обративший на себя внимание Ипатова своими добрыми, насмешливыми, грустными глазами. Это его взгляд встретил Ипатов, освободившийся от своего муравьино-блошиного сна. У противоположной стены лежали двадцатипятилетний паренек, которого все звали по имени — Алеша, и пожилой мужчина, Станислав Иванович.

Пока все четверо с интересом приглядывались к Ипатову, понимая, что впереди их ждет, возможно, не одна неделя совместного проживания.

Первым из чужих, кто посетил Ипатова, был Жиглинский, его однокурсник по Университету, называемый в кругу друзей не иначе, как ясновельможный пан Жиглинский. Высокий, неторопливый, холеный, с низким, завораживающим, бархатным голосом, он, казалось, самой природой готовился быть у всех на виду.

Его легко можно было представить генералом, дипломатом, генеральным директором и даже диктором центрального телевидения. А был он всего-навсего снабженцем какого-то небольшого треста, и от законченного филологического образования у него остался лишь неизменно въедливый интерес к литературе.

Вот ему-то Ипатов и сообщил, что не выполнил его поручения — не успел узнать адрес Светланы.

— Ничего, дружище, — пророкотал Жиглинский, — твое дело — поправляться, а Попову мы как-нибудь разыщем без тебя, никуда от нас она не денется. И от тебя, надеюсь, тоже, — многозначительно улыбнулся он. — До сбора еще — ого-го! — сколько времени, целых два месяца!..

И от него, Ипатова, тоже никуда не денется, смешно...

Доклад был как доклад. От начала до конца он состоял исключительно из четких и ясных формулировок. В нем не было ни одного лишнего слова, и это позволило докладчику, на радость всем, кто пришел на танцы, уложиться в какие-нибудь полчаса. Когда последний густо исписанный листок опустился на кафедру, зал дружно зааплодировал. Докладчик еще только спускался по ступенькам, а уже мужская половина бросилась сдвигать столы и стулья. Не прошло и нескольких минут, как аудитория была очищена для танцев. И тотчас же зашипела пластинка, открывая бал шемящей и нежной «Темной ночью». Появились первые пары. Ребята открыто танцевали танго. Хитрость состояла в том, что на «Темную ночь», написанную в «упадническом» ритме, не распространялись никакие ограничения: за ее текстом стояли высокий патриотизм и героизм советских воинов.

Ипатов собирался уйти сразу же после доклада. Но когда ребята бросились двигать столы и стулья, он неожиданно для себя стал помогать им. А потом уже незаметно втянулся и трудился до тех пор, пока последние столы и стулья не перекочевали к стене.

И тут его настигла «Темная ночь». Ее плавный, будоражащий ритм мгновенно завладел им, и он остался. Забрался куда-то в дальний угол и стал наблюдать за всем, что происходило в зале...

Поначалу он собирался немного посидеть и уйти, когда начнутся бальные танцы. Вот уже несколько месяцев как повсеместно вводились падекатр, миньон, вальс-гавот и другие старинные танцы («танцы-бранцы», по емкому выражению факультетской сторожихи тети Клавы, так на свой лад называвшей «Танец Брамса», а заодно и всю классическую музыку). Танцевать их Ипатов не умел, а учиться не хотел принципиально. Они интересовали его лишь теоретически. Они были красивы, причудливы и холодны. От них веяло прошлыми веками, когда верхом неприличия считалось, как он где-то недавно вычитал, появление женщины без головного убора. Правда, по утверждению ревнителей бальных танцев, они, в отличие от современных, где партнеры прижимаются друг к другу и испытывают при этом удовольствие, были предельно высоконравственны.

Но чувствовать себя весь танец актером, а не мужчиной — он не желал. Лучше вообще не танцевать!

Между тем ответственные за музыку уже во второй раз крутили «Темную ночь». Толпа танцующих быстро прибывала и заполняла зал. Кое-кто перебрался даже в коридор. Тон задавали бывшие фронтовики, составляющие добрую часть мужской половины. Почти все они были противниками бальных танцев.

Сидевший в сторонке Ипатов не раз ловил на себе взгляды девушек, оставшихся без кавалеров, но на него вдруг напала такая тоска, что он решил уйти, не дожидаясь бальных танцев.

Но только он поднялся, как увидел Светлану. Она вошла в зал и положила руку на плечо сопровождавшему ее Альберту. На ней было то самое серое шерстяное платье, в котором она была в «Кавказском» ресторане. Альберт уверенно и красиво вел ее между танцующими.

Ипатов понял: если он сейчас уйдет с танцев или — что еще хуже — останется сидеть одиноко и неприкаянно, то в первом случае будет выглядеть смешным, а во втором — жалким. Оставалось единственное, что не выставило его в невыгодном свете и не роняло. Он тут же повернулся к стоявшей рядом незнакомой черноглазой девушке и пригласил ее на танец. Жаль только, что она была ужасно некрасива: большой прыщавый лоб, крупный нос с горбинкой, волосатая родинка на щеке. Но с ее лица на Ипатова смотрели умные, да-

же очень умные глаза. Смотрели с каким-то трогательным печальным укором.

Хотя ни он, ни она не произнесли ни одного слова, Ипатову показалось, что ей что-то известно о нем, о его быстролетном романе. Впрочем, об этом знал, наверно, весь курс: уж очень заметной была Светлана.

Стыдясь своей некрасивой партнерши, Ипатов старался держаться подальше от Светланы. И это ему удалось, потому что те двое тоже как будто избегали приближаться к нему.

Но вот доиграла пластинка, и Ипатов с трудно скрываемым облегчением отвел девушку, всю вторую половину танца избегавшую встречаться с ним взглядом, на старое место. Там он поблагодарил ее и сразу отошел.

А по залу уже понеслись и закружились ласкающие звуки «Осеннего сна». К вальсам Ипатов был не то что равнодушен, а просто относился к ним без большого восторга. Ставя выше всего танго, которое он мог танцевать вечера напролет, он, с некоторыми оговорками, признавал также вальс-бостон, фокстрот и — последним из современных танцев — вальс. Впрочем, если быть точным — вальс для Ипатова по его танцевальной шкале ценностей был последним из современных и первым из бальных танцев...

«А вот мы где...» — вдруг услышал он знакомый голосок. Анечка Тихонова. Сказала и, как всегда, покраснела.

«Ты где пропадала?» — полюбопытствовал Ипатов.

«Нигде. Я здесь с самого начала. Только ты не замечал меня», — мягко упрекнула она.

«Пошли танцевать!» — пригласил он ее.

«Ну... пошли», — неуверенно согласилась она.

Миниатюрная Анечка была легка, как перышко. Он улыбнулся, подумав, что со стороны, возможно, ее вообще не было видно среди танцующих. Могло показаться, что он танцует один, сам с собой, — этакая дылда, на голову возвышавшийся над всеми.

Вальс требовал пространства, и нет-нет в поле зрения Ипатова, кружившего с Аней Тихоновой по залу, попадала Светлана. За все время он ни разу не встретился с нею взглядами, хотя были моменты, когда они проносились совсем близко друг от друга. Уже дважды при желании он мог дотянуться до нее рукой. По-видимому, она тоже поставила на нем крест.

«Костя, ты чего такой бледный?»— вдруг спросила Аня.

«Как бледный?»

«Совсем как полотно... Ты скажи, если чувствуешь себя плохо?»— обеспокоенно продолжала она.

«Ну что ты? Я чувствую себя прекрасно!— воскликнул Ипатов.— Лучше не бывает!»

И действительно, он чувствовал себя неплохо. Физически, разумеется. Свою же бледность он целиком отнес за счет утренней встряски. Но чтобы успокоить Аню, которая встревоженно поглядывала на него снизу, заявил:

«Тут еще освещение такое!»

Она покачала головой:

«Тогда бы у всех лица были бледные».

«А они и бледные, посмотри!»

«Но не так...»

Потом Светлана и Альберт вдруг исчезли. Их не было видно ни среди танцующих, ни среди зрителей. Точно сквозь землю провалились. Возможно, вышли в коридор...

После короткой паузы «Осенний сон» сменился маршем. «Утро красит нежным светом стены древнего Кремля»,— заливался известный певец. Рассчитанный на шествие праздничных колонн, этот марш таил в себе небольшой ритмический секрет. Под него можно было идеально танцевать фокстрот. Вскоре десятки пар (Ипатов и Аня Тихонова в том числе) в привычном ритме продолжали отстаивать свое право танцевать то, что им больше нравится. И все-таки организаторы вечера не могли до бесконечности игнорировать бальные танцы: суровое время не прощало и меньшие упущения. Ипатов давно обратил внимание на напряженное лицо секретаря комсомольского бюро факультета.

И вот грянул менуэт. Середина зала мгновенно обезлюдела. Правда, не до конца. Остались какие-то две пары, которые бестолково и нерешительно попытались разыграть перед всеми спектакль из жизни маркизов и маркиз. Юноши и девушки церемненно сходились и расходились, кланялись, поворачивались, разводили руками. Вскоре одной из пар надоело кривляться и жеманничать, и она сбежала, смешавшись с толпой.

В общем, все облегченно вздохнули, когда наконец с менуэтом было покончено и на смену ему пришла шалпинская «Дубинушка», которую вполне, если не при-

вередничать, можно было танцевать как танго. Середина актового зала снова заполнилась танцующими. Ипатов невесело подумал: Шалаяпин перевернулся бы в гробу, если бы увидел это зрелище. Но классика на то и классика, чтобы всякий раз по-новому служить новым поколениям. На этой иронической нотке и завершилась попытка Ипатова хоть как-то осмыслить происходящее...

Танцевать, однако, он не пошел, расхотелось. Зато Аню Тихонову тут же подхватил какой-то первокурсник из французской группы. Они были почти одного роста и поэтому хорошо смотрелись. Возможно, с его, Ипатова, легкой руки на нее наконец обратили внимание до сих пор не замечавшие ее ребята. Дай бог ей удачи и счастья! Она этого заслужила, славная псковитянка!

В дверях актового зала показался Валька Дутов. Видно, только сейчас появился. Валька тянул шею, кого-то искал взглядом. Ипатов догадался: ищет его!

Он помахал приятелю рукой. Тот увидел и, обрадовавшись, жестом позвал за собой.

Ипатов двинулся за ним.

Валька, не дожидаясь его, направился в глубь коридора правого крыла факультета. Время от времени он оборачивался и кивком головы как бы подтверждал важность того, что собирается показать или сообщить Ипатову. Тот, ничего не понимая, но испытывая нарастающее любопытство, шел следом.

Подойдя к кабинету советской литературы, Валька молча показал рукой на дверь и так же, не говоря ни слова, повернул назад.

«Что там?»— недоуменно спросил Ипатов.

«Заходи, увидишь»,— сухо отрезал Валька.

Ожидать можно было всего, вплоть до какого-нибудь дурацкого розыгрыша.

Ипатов пожал плечами, подошел к двери и толкнул ее...

У окна стояла Светлана. Она была одна в пустой аудитории, залитой электрическим светом. Альберт куда-то сгинул. При виде Ипатова на безукоризненно красивом лице Светланы появилась кривая, вымученная улыбка, которая ей решительно не шла.

Он остановился на пороге в полной растерянности.

«Я попросила Вальку, чтобы он позвал тебя»,— произнесла она своим глуховатым голосом.

Ипатов молчал. Громкие и частые удары сердца отвлекали, мешали собраться с мыслями.

«Так вот,— продолжала она,— хочешь ты этого или нет, но нам надо поговорить».

«Пожалуйста»,— сдержанно произнес он и прикрыл за собой дверь.

«Не беспокойся, я не отниму у тебя много времени»,— усмехнулась она.

Ипатов выжидательно посмотрел на нее. И не выдержал, отвел взгляд: до того она была хороша в своем дорогом сером платье, плотно облегающем ее аккуратную точеную фигурку.

Голос Светланы звучал монотонно, словно она повторяла давно заученный текст:

«Когда я увидела на рояле твои конспекты, естественно, я очень удивилась... А мама возьми и скажи о них милиционерам. А те сразу и зацепились... Если хочешь знать, я им и тогда, и потом говорила, что ты не виноват... что я, наверно, забыла, когда ты принес... что ты, словом, не можешь... Как будто я не разбираюсь в людях?.. Вот и все, что я хотела сказать тебе...»

Теперь Ипатов смотрел на Светлану широко открытыми, быстро дуреющими от счастья глазами. Господи, как он мог подумать, что она способна предать его? Она же с самого начала верила в него, выгораживала изо всех сил! А он, идиот этакий, даже выслушать ее не хотел, обливал презрением. И получилось то, что она выдержала первое в их жизни испытание, а он — нет. Кто из них двоих достоин презрения?

А сейчас почему-то оправдывается она, а не он, заваривший кашу!

Все! Надо кончать с этой изрядно затянувшейся дурацкой историей! Первый шаг к примирению сделала она. Теперь очередь за ним!

Но то, что он услышал, еще не означало, что она собирается возобновить их отношения. Может быть, главное для нее — снять с себя все эти нелепые подозрения, и ничего больше. Будь на его месте кто-нибудь другой, пусть даже малознакомый человек, она, вероятно, поступила бы так же...

И все-таки Светлана не уходила, ждала, что он скажет. Она явно почувствовала смятение, охватившее его. Неожиданно ее взгляд смягчился, и она ответила Ипатову славной открытой улыбкой, разом снявшей все, что между ними было в эти дни недоброго...

«Знаешь, у меня есть идея! — тут же загорелся Ипатов. — Дать деру отсюда и пойти шататься по ночному Питеру!»

«По вечернему?» — поправила она.

«Ну, если уложимся до двадцати четырех».

«Согласна...»

О том, что Альберт пошел в буфет за лимонадом и до сих пор стоял там в очереди, Светлана вспомнила, только когда они подходили к Академии наук...

Мало-помалу Ипатов осваивался со своим новым положением больного общего отделения. Врачи и сестры делали все, чтобы поставить его на ноги, а он, как того требовал здравый смысл, помогал им... гнал прочь мысли о смерти... думал только о приятном... внушал себе, что сердце день ото дня набирает силу... выполнял все предписания медиков...

Повезло ему, как он считал, и с соседями по палате.

Чуть ли не с первых слов он нашел общий язык с Александром Семеновичем. Это был умный, добрый, мягкий человек с мгновенно откликающимися глазами. Инфаркт он заработал на овощебазе — грузил тяжелые ящики с картошкой, старался не отставать от молодых. Ему, кандидату экономических наук, отцу двух взрослых сыновей, почти деду (одна из его невесток вот-вот должна была родить), отвыкшему от натужного, двуязычного труда, этот великий энтузиазм вышел боком. А могло быть еще хуже: врачи несколько часов боролись за жизнь Александра Семеновича.

Сейчас он, по его выражению, потихоньку «выходил в люди». Ипатову было приятно разговаривать с ним. Оказалось, что обо всем, совершенно обо всем они думали одинаково. Мало того, понимали друг друга с намека, с полуслова, и это сблизило их настолько, что уже на второй день они обменялись телефонами и адресами.

Прекрасные отношения сложились у Ипатова и с Алешей. Ему первому в палате врачи разрешили ходить, и он без усталости носился по отделению, пользуясь любым поводом, чтобы услужить соседям: подать, принести, позвонить. Как он удосужился заполучить инфаркт в свои двадцать пять, уму непостижимо. Он рассказывал, что накануне крепко поругался с женой и после ночной смены весь день шатался по городу. Выкурил по меньшей мере три пачки сигарет. А под утро по-

чувствовал сильнейшую боль за грудиной и был доставлен в ближайшую больницу, где поставили диагноз: инфаркт.

В реанимации он лежал всего что-то около восьми часов. Едва ему сняли боль, как он потребовал, чтобы его отпустили домой. Просьбу свою он объяснил тем, что сегодня у жены день рождения, приглашены гости, все будет, кроме него. К тому же он должен еще заскочить на рынок и купить цветов. Разумеется, его даже слушать не стали. Тогда он, чтобы доказать, что он здоров, на глазах ошеломленных медиков сделал стойку на голове. И снова угодил в реанимацию.

Нечто подобное было с ним и в прошлом году. Тоже по своему легкомыслию оказался в больнице. Началось все с того, что он опоздал на работу и, чтобы не лишиться премии, решил прикинуться больным. Пошел к заводскому врачу и сказал, что очень болит живот. Тот пощупал справа: «Здесь?» — «Здесь». — «Очень?» — «Очень». У врача отпали последние сомнения: аппендицит! Немедленно вызвали «скорую», отправили Алешу в больницу. Там он повторил свои жалобы. Его срочно положили на операционный стол и вырезали совершенно здоровый аппендикс. Алеша был уверен, что врачи так и не поняли, что с ним. А на другой день после операции в больнице был какой-то аврал, передвигали мебель, таскали тяжелую аппаратуру. Алеша смотрел, смотрел, как надрываются врачи и сестры, и бросился им помогать. В результате разъехался шов, и Алеша едва не отправился на тот свет. Рассказывал он эту весьма поучительную историю как веселый, забавный анекдот. И вместе со всеми смеялся над собой.

Четвертого обитателя палаты — Станислава Ивановича — все трое дружно не любили. Раньше, до Ипатова, не было дня, чтобы между ним и остальными не происходило какой-нибудь свары. Станислава Ивановича многое раздражало, побуждало смотреть на большинство людей недобрыми, изъеденными склерозом глазами. Особенно рьяно нападал он на высшее образование, которое считал источником всех зол и пороков. («Вон газеты пишут... то один проворовался, то другой... И все, — ворчал он, — с высшим образованием. Раньше институтов не кончали, а жили честно. Сейчас в кого ни ткнешь пальцем, кандидат или доктор. Потому и поступают в институты, что работать не хотят...»)

Доставалось от него и представителям свободных профессий: писателям («Пишут, пишут, а что пишут, и сами не знают. Как старуха окочурилась. Больно мне надо знать, как какая-то старуха окочурилась...») ...художникам («Хоть бы рисовать умели, а то намалюют... без полбанки не разберешься, то ли рыло, то ли мыло...») ...композиторам («Ну, с этих взятки гладки. Чего ни напишут, все Хиль поет... Наверно, половина денег им, половина ему...»).

Из-за своего злобного, желчного характера Станислав Иванович поправлялся медленно, вяло, мучился запорами. По-человечески было его жалко. Но едва он открывал рот и начинал кого-то поносить, как хотелось, выражаясь языком Алеши, врезать ему между глаз. Даже мягкосердечный Александр Семенович и тот не удержался и ядовито заметил: «Нет чтобы побережь желчь для пищеварения, он ее почти всю расходует на интеллигенцию!»

Глядя на разглагольствующего на свои излюбленные темы Станислава Ивановича, Ипатов удивлялся тому, что природа, не признающая шаблонов, тем не менее иногда уныло повторяется. С тем же выражением как две капли похожего полнощекоего лица, с теми же ужимками, с той же интонацией говорил первый замдиректора их НИИ, только темы для разговора были другие: подбор и расстановка кадров, выполнение сообразительств, защита диссертаций и так далее и тому подобное. Казалось, ничего не связывало и не могло связывать бывшего швейцара одной из лучших ленинградских гостиниц, обслуживающей в основном иностранцев, и доктора наук, озабоченного научным прогрессом, готового лечь костыми за родной институт, и все же в какой-то своей глубинной, трудно уловимой сути они были двойниками.

Впрочем, еще до появления Ипатова Александр Семенович и Алеша перестали обращать внимание на злобные насмешки и ворчанье Станислава Ивановича. И он, как ни странно, поутих, уже не так поносил интеллигентов. Но иногда его все-таки прорывало, и Ипатову также представилась возможность познакомиться с иной позицией, с иными взглядами.

Трое против одного. Пропорция, как говорится, не из худших, жить можно...

И снова сон. Будто бы он и еще несколько человек, которых он видел впервые, стояли над пропастью и похвалились друг перед другом своей отчаянной смелостью. Поочередно его новые приятели прыгали вниз, но какие-то воздушные потоки поднимали их и выносили обратно на край пропасти. То, что здесь существовали воздушные потоки, ни для кого не было тайной, и все-таки каждый раз прыгающих охватывал страх...

Когда очередь дошла до Ипатова, он с замирающим сердцем оттолкнулся от скалы и камнем полетел вниз. Вскоре ноги его опустились на дно бездны. И в этот момент воздушный поток оторвал Ипатова от земли и понес вверх. Он летел, слегка помогая себе руками. И вот наконец долгожданный выступ над пропастью...

Они шагали по только что выпавшему снегу, и их следы были первыми на его ровной, пушистой, сверкающей поверхности.

«А что, если мы озадачим прохожих?»— спросил, остановившись, Ипатов.

«Как?»— не поняла Светлана, отпуская его руку.

«Смотри!..»

И он, шагнув, к одной ноге приставил другую. Потом еще. Потом еще. По самой набережной потянулась странная цепочка следов: по два рядом. Словно всю дорогу кто-то прыгал по-воробьиному. Светлана давилась от смеха и тоже попробовала. Цепочка у нее получилась изящная: с частыми парами аккуратненьких, чистеньких следов.

«Костя, что подумают прохожие, увидев наши следы?»— допытывалась Светлана.

«А это зависит от их умственного уровня»,— весело ответил Ипатов.

«Вот как? А ты опасный человек»,— сказала она, продолжая ставить шаги.

«Провоцирую дураков? Ты это хочешь сказать?»— обернулся он.

«Но ведь и умные могут задуматься?»— она бросила на него насмешливый взгляд.

«О нас с тобой?»

«Да, о нас с тобой»,— подтвердила она.

«Знаешь, что они подумают?»

«Очень интересно».

«Что так дурачиться могут только влюбленные».

«Тристан и Изольда», — не без иронии прокомментировала она...

Они вышли к Дворцовому мосту. Высоко в холодном свете фонарей кружили редкие снежинки. Снег перестал идти уже добрых полчаса. А эти еще не добрались до земли. Не то заблудились, не то растерялись. Последние...

«Куда пойдем?» — спросила Светлана, загоразживаясь от ветра воротником шубки.

«Давай на ту сторону? А там дойдем до Летнего сада... Тебе что, холодно?»

«Ветер».

«Иди здесь, — сказал Ипатов, заслонив ее своим широким плечом. — Так не дует?»

«Дуи нет», — ответила она.

«Чего нет?» — удивился он.

«Дуи», — повторила Светлана.

«Это по-каковски?»

«Я говорила так, когда была маленькой. Дуей называла ветер».

Он хотел умилиться, но вспомнил, что не так давно умилялся вслух другими ее выражениями («Наша лестница все время кружится в вальсе» и «Ни черташеньки»), и решил лучше промолчать: частые комплименты всегда подозрительны. Эта и другая, не менее парадоксальная мысль: «Бойтесь обаятельных людей» — принадлежали отцу.

Они шли по Дворцовому мосту. Светлана шагала, держа Ипатова под руку, прячась за его плечом. Он ощущал напряженным локтем ее тепло.

Ветер налетал короткими и сильными порывами. Казалось, он возникал тут же на мосту и тут же где-то поблизости от него выдыхался. Погода опять переменялась. Только за сегодняшний день она несколько раз откалывала коленца — то светило не по-зимнему яркое солнце, то обильно валил снег, то дул сбивающий с ног ветер — неверная, ненадежная, коварная ленинградская погода...

Пока они переходили Неву, ветер снова стих. Возможно, ему преграждал путь Зимний дворец с Эрмитажем.

Светлана вдруг вспомнила о странном утреннем поведении Ипатова. По ее словам, он был похож на ненормального. Она вначале подумала, что он сильно под

градусом. А потом увидела, что на пьяного он не похож. Больше на психа, которого чем-то ублажили.

«Вот как?»— удивился он точности ее наблюдения.

Когда Ипатов ей все рассказал, она, вместо того чтобы возмутиться, как он ожидал, начала выспрашивать у него, что он чувствовал при этом. Да еще требовала подробностей. Восстанавливая в памяти малейшие свои ощущения, он поражался тому интересу, который вызвал у нее его рассказ. Он подумал, что она не прочь бы хоть раз испытать все самой.

И он сразу перевел разговор на другое, благо они сейчас проходили по горбтому мостику через Зимнюю канавку, и Ипатов вспомнил несколько забавных случаев, связанных с Эрмитажем. Их ему и другим ребятам рассказала мама его одноклассницы Лены Кашкиной, работавшая там научным сотрудником. Однажды, когда она вела экскурсию, одна женщина спросила ее: «Скажите, пожалуйста, а царские спальни теперь работают?» Во время другой экскурсии какой-то демобилизованный солдат вдруг сказал: «И вы будете так нам каждую хреновину показывать?» И уж совсем уморил всех некий жизнерадостный сибиряк, когда они проходили мимо восковой персоны Петра Первого. «Почему он такой бледный?» Маме Лены Кашкиной ничего не оставалось, как ответить: «Чего же вы хотите? Двести пятьдесят лет без воздуха!»

Светлана прыскала в поднятый воротник шубки, и Ипатов радовался, что рассмешил ее, отвлек, как он решил, от дурных поползновений.

Но тут у нее что-то расстегнулось, и они зашли в первую парадную. Светлана дала поддержать Ипатову сумочку, а сама начала поправлять чулок. Он с радостью отметил, что она даже не попросила его отвернуться. «Мы как муж и жена»,— взволнованно подумал он. Отношения их продолжались так, как будто только вчера они расстались на черной лестнице и не было, вообще не было этих гнусных восьми дней разлуки.

«В первый раз надела наши советские чулки, и уже поползли»,— сообщила она доверительно.

Ипатов не знал, что сказать. Мама, сколько он помнит, всегда носила советские чулки. Обычно у нее были всего две пары: простые на каждый день, фильдекосовые — для выходов. Последние она очень берегла. Без конца штопала носок и пятку, поднимала петли, затягивала, когда они начинали ползти,— и носила,

носила годами. Сейчас она донашивала чулки, купленные еще до войны и только чудом не вымененные в блокаду на хлеб и картошку.

Так что чулочные жалобы Светланы Ипатова не тронули.

Но она, очевидно, и не ждала сочувствия.

«Ты видишь меня?»— вдруг спросила она.

«Вижу»,— признался Ипатов. Несмотря на глубокий мрак в парадной, он хорошо различал и ее наклоненную голову в меховой шапочке, и руки, все еще возившиеся с чулком, и общий силуэт, который почти сливался, но до конца не слился с темнотой.

«А я тебя не вижу».

«Да ну?»— удивился он.

«Я плохо вижу в темноте».

«Дай руку!»

«Зачем?»

«Я тебе покажу, где я»,— шутливо заметил Ипатов.

«Нетушки»,— хмыкнула она.

Опять живое, свежее словечко «нетушки». Ничуть не хуже других, также понравившихся ему. От кого она их позаимствовала? От матери? От отца? Одно несомненно, они знакомы ей с детства...

«Все... товарищ лейтенант»,— сказала она, выпрямляясь.

«Гвардии старший лейтенант»,— весело поправил он ее.

«Вот как? Даже гвардии?»

«А ты как думала?»

«Похвальбишка!.. Дай сумочку!»

Она протянула руку. Он прижался к холодной ладошке щекой, поцеловал ее в самую середину. Потом притянул к себе Светлану, и их губы встретились в долгом обжигающем поцелуе.

«Все! Хватит!»— сказала она, пытаясь освободиться.

«Нет!»— он продолжал ловить ее губы и всякий раз настигал их.

И как тогда, на черной лестнице, Светлана совсем не противилась его смелым и рискованным ласкам. Только раз легонько шлепнула по руке — чтоб не забывался.

В отличие от него, говорившего ей самые нежные, самые жаркие слова, она целовалась молча, лишь время от времени повторяла задыхающимся голосом:

«Все! Хватит!»

И еще спросила:

«Где сумочка?»

Трудно сказать, сколько бы они так простояли, если бы вдруг не бабахнула дверь и в парадную не ввалился какой-то подгулявший жилец.

Ипатов и Светлана отступили к стене, рассчитывая, что он их не заметит в темноте.

Но тот заметил.

Ипатов загородил собою Светлану.

«Вы мужчина?»— вдруг спросил человек.

«Мужчина»,— ответил Ипатов.

«Скажите, от меня сильно пахнет водкой?»

«Сильно»,— подтвердил Ипатов.

«Нехорошо»,— сказал тот.

«Да, нехорошо»,— согласился Ипатов.

«Вы кто?»

«Директор Эрмитажа»,— сказал Ипатов.

Он услышал, как за его спиной прыснула Светлана.

«Очень приятно...»

«Мне тоже...»

«Сухого чая нет?»

«Нет... Весь продал... (Позади снова фыркнула Светлана.) А зачем он вам?»

«Запах заесть...»

«Снегом можно...» (Светлана легонько толкнула его в бок — предупреждала, чтобы не задирался.)

«Снегом?»

«Ну да. Лучше прошлогодним»,— веселил Светлану Ипатов.

«Формальдегид»,— изрек в ответ незнакомец и, шаря руками в темноте, двинулся к ближайшей квартире. Дверь оказалась не запертой, и он бесшумно растворился за порогом.

Ипатов погрузил в свои широкие ладони оба ее кулачка.

«Ну что?»— спросил он.

«Пошли?»— сказала она.

«Пошли»,— согласился он...

Летний сад встретил их своей хрестоматийно-прекрасной решеткой. Минимум два раза в год — ранней весной, когда сад ставят на просушку, и поздней осенью, когда он весь в опавшей листве,— сюда, как на паломничество, приходят мама и папа. Свой обход любимых мест они обычно начинают с улицы Росси и кон-

чают решеткой Фельтена — заряжаются, как говорит мама, на полгода красотой.

«Тебе нравится?» — спросил Ипатов Светлану.

«Очень», — сказала она.

«Однажды она мне даже снилась на фронте. Я уже не помню как, но снилась».

Светлана молча прижалась к его плечу щекой.

«За что он покушался на царя?» — спросила она, когда они остановились у мраморной доски на том месте, где Каракозов неудачно стрелял в Александра Второго.

«Как за что? — Ипатов удивился, что Светлана не знает таких элементарных вещей. — Потому что обманул крестьян. После так называемого освобождения они попали в еще большую кабалу — экономическую...»

Прошло всего несколько месяцев со сдачи вступительных экзаменов в Университет, и Ипатов, надо полагать, ответил бы и на более заковыристые вопросы по истории.

«Теперь я вспомнила», — сообщила Светлана обрадованно. — Мы это еще в школе учили!»

«А ты знаешь, почему Каракозов промахнулся?»

«Почему?»

«Один крестьянин из толпы выбил у него из рук пистолет. Я даже фамилию этого крестьянина запомнил. Комиссаров».

«Ну и память у вас, молодой человек, — заметила она, заглядывая ему в лицо. — Что ж, на первый вопрос, товарищ студент, вы ответили... Попробуйте ответить на второй...»

«На какой?»

«Куда мы пойдем дальше?»

«Куда скажешь...»

«Я скажу... — подхватила она, задумываясь. — Пошли в кино?»

«В кино? Пошли!»

«Сколько на твоих?»

«Мне легче ответить, сколько на твоих, — усмехнулся Ипатов, показывая голое запястье. — Тю-тю! Посеял где-то!»

«Когда?»

«На днях!»

«Может быть, они дома, завалились куда-нибудь?»

«Может быть», — весело согласился Ипатов.

«На, посмотри, я плохо вижу»,— она протянула руку.

Чтобы разглядеть крохотные стрелки на крохотном циферблате с крохотными цифрами, Ипатов склонился к самым часикам.

«Без двадцати десять».

И не удержался: повернул ее руку к себе ладонью и прильнул к ней долгим поцелуем.

«Опоздаем»,— напомнила Светлана.

«Куда направим стопы?»— спросил он.

«Знаешь, пошли в «Аврору»? Там идет «Двойная игра». Новый трофейный фильм. Все хвалят».

«Когда начало сеанса?»

«Кажется, в десять. Если на трамвае, успеем. Надо еще билеты купить».

«Пошли!» Он взял ее под руку, и они быстрым, сбивающимся шагом пошли обратно вдоль решетки Летнего сада.

«Вон идет! Побежали!»— заторопила она его.

С Петроградской стороны въехал на Кировский мост и устремился к Марсову полю неярко освещенный трамвай.

Они весело припустили к остановке. Но уже на мостике через Лебяжью канавку Светлана стала задыхаться от быстрого бега. Ипатов схватил ее за руку и помог бежать последние две сотни метров.

И что самое удивительное — успели! То ли трамвай шел медленно, то ли они бежали быстро. А возможно, обе причины вкуче.

Перед ними в прицепной вагон, вместе с еще десятком пассажиров, залезли два подвыпивших парня. Они сразу стали громко переговариваться через головы людей. И тут на них взъелся мужчина в пальто с собачьим воротником. «Эй вы, заткнитесь!»— грубо одернул он их. Один из парней, маленький, худенький, с черными кудрями, выбивавшимися из-под шапки, с шальными черными глазами, пытался пробиться к приятелю, оказавшемуся на другом конце площадки. Когда он пролез рядом, Ипатов увидел на его спине большой горб. А приятель уже кричал из своего закутка хриплым голосом: «Цыганок, скажи этому гражданину, что мы из Одессы!» На что Цыганок отвечал: «Ты думаешь, у него от этого душа запоет?»—«Я вот сейчас, на первой остановке, сдам вас в милицию!»— продолжал злобствовать мужчина с собачьим воротником. «Цыганок,

гражданин хочет заказать драку. Так он ее получит, Цыганок...» Цыганок был настроен более миролюбиво: «Оставь его, Боря... Он не знает, что в Одессе люди умирают с улыбкой на устах...» Ипатов упивался этой живой, остроумной, неленинградской перепалкой. Он забыл даже о кино и готов был ехать за этими ребятами, наслаждаясь даровым спектаклем, пока они не сойдут. И если бы не Светлана, которая через глазок в подмерзшем стекле поглядывала на улицу, чтобы не прозевать остановку, он, возможно, проехал бы и дальше...

Они сошли на углу Невского и Садовой.

«Побежали, а то опоздаем!» — заторопила Ипатова Светлана.

И опять, как с трамваем, им здорово повезло. Все билеты были уже проданы, но в последний момент, когда из фойе донесся третий звонок, им удалось, приплатив еще столько же, купить с рук. У Ипатова с собой было всего шесть рублей. Остальное добавила Светлана. И впервые он не испытывал при этом неловкости.

По забавной игре случая билеты были на тринадцатый ряд, двенадцатое и тринадцатое места. Не заметить этого Светлана не могла. Пока она стояла в нерешительности, Ипатов торопливо уселся в тринадцатое кресло. Светлана с рассеянной улыбкой приняла эту жертву...

Странное было это время. С одной стороны, велась нешуточная, не признающая ни малейших послаблений борьба с чуждыми влияниями, а с другой — те же самые влияния беспрепятственно проникали в сознание миллионов с экранов, на которых дни и ночи (кое-где, чтобы охватить всех желающих, ввели и ночные сеансы) запаренные киномеханики крутили так называемые трофейные ленты, открыто воспевающие чужие нравы и чужие страсти. И обе эти тенденции прекрасно уживались. То, что отнимала первая, с лихвой возвращала вторая. По экранам кинотеатров свободно разгуливали герои, решавшие все жизненные вопросы с помощью объятий, музыки и оружия. Они умели красиво жить, красиво любить, красиво страдать и красиво умирать. Те два-три вымученных, пресных фильма в год, которые выпускали наши студии, не могли соперничать с этим многокрасочным даровым изобилием. Бог ты мой, как

тревожно и радостно становилось на душе, когда в зале гас свет и на небольшом экране появлялось название фильма — первый и единственный титр во всей картине...

«Двойная игра»... Ипатов и Светлана сидели в своем тринадцатом ряду и горячо переживали за героев, которых так благосклонно и загадочно свела судьба. Она — красавица-испанка, актриса, любимица жадной до зрелищ испанской публики. Ее зажигательные танцы и чарующий голос открывают перед ней все двери. Не отказывается она выступать и перед солдатами и офицерами наполеоновской армии, оккупирующей Испанию. Он — молодой французский офицер. Полюбив друг друга, они тем не менее каждый продолжает служить своей родине. Она шпионит в пользу испанцев, он выполняет особо секретное задание французского командования. От сведений, которые они добывают, зависит исход предстоящих сражений. Оба постоянно рискуют жизнью. В конце фильма ее разоблачают, арестовывают и собираются расстрелять. Он в полном смятении. Но тут испанцы предпринимают штурм города, где она заключена в тюрьме, и офицер на ее глазах погибает от вражеского ядра. Погибает как раз в тот момент, когда бросается спасать любимую. Несмотря на то что она так много сделала для победы испанского оружия, ничто уже ее не радует. На чье-то ликующее сообщение о победе: «Испания выиграла!» — она сквозь обильные слезы отвечает: «Испания выиграла, но я проиграла. Моя жизнь разбита...» (или что-то в этом роде).

Когда загорелся свет в зале, Ипатов повернулся к Светлане: глаза у нее были красные. Признаться, и у него не раз к горлу подкатывал комок. Она встретила с ним взглядом и смущенно улыбнулась. Впрочем, улыбка скорее была растерянной и жалкой, чем смущенной. Как будто и на ней, прожившей эти полтора часа одной жизнью с героиней, лежала какая-то доля вины за гибель героя.

Ипатов накрыл кисть ее руки ладонью и легонько пожал: дескать, не надо так близко принимать к сердцу. Успокаивал не то от своего имени, не то от имени героя, с которым также за долгий сеанс по-мужски сроднился...

До сих пор в ушах у него звучит беззаботная и задорная песенка, которую распевали герой и героиня — она сидя в карете, он верхом:

Мой осел мимо сел, мимо рощи зеленой
Весело бежит, бубенцами звеня.
Я в тележке сажу, безнадежно влюбленный.
Выйди из ворот и взгляни на меня...

Но кто сочинил эту песенку, Ипатову неизвестно и по сей день. Так же как и прочие данные о фильме, его авторах и актерах. Нет, фамилию актрисы, сыгравшей роль красавицы-испанки, он все-таки узнал спустя почти тридцать лет из «Кинопанорамы». Прекрасной незнакомкой прошла она на памяти целого поколения по многим трофейным фильмам не то американского, не то английского производства... Жаннет Макдональд...

Когда он спросил Машку, навещавшую его в больнице, слышала ли она что-нибудь об актрисе по имени Жаннет Макдональд, его славная дочурка тут же, как хороший компьютер, выдала недостающую информацию. Что другое, а о киноактерах она знала все: в каких лентах снимался или снималась, на ком женат или за кем замужем, шли эти фильмы на наших экранах или не шли, и почему. Последнее Машке было известно из конфиденциальных телефонных разговоров госпожи продюсер с ее коллегами. Рассчитывая, что эта девчачья блажь пройдет с годами, Ипатов пока больше посмеивался, чем огорчался. К тому же, училась Машка вполне сносно: за пятерками не гонялась, но и двоек не приносила. В ее дневниках с обложками, сплошь изрисованными нежными профилями кинозвезд, мирно в течение многих лет уживались тройки и четверки.

Не раз и не два пытался Ипатов приобщить Машку к большой некиношной жизни. Подсовывал ей газеты с какими-нибудь интересными статьями, расхваливал при ней книги, которые, по его мнению, могли ее заинтересовать, нарочно в присутствии дочери заводил разговоры о политике, о тенденциях, раздирающих мировое сообщество, о фашистах, которых больше, чем кажется...

Но Машки хватало ненадолго. Через несколько минут она начинала позевывать, ерзать на стуле, взгляд ее становился рассеянным, усталым. Ипатов с трудом сдерживался, чтобы не вспылить, не наговорить дочери обидных и лишних слов. В ее годы он не только регулярно читал газеты, но и, рискуя вызвать недовольство взрослых, прислушивался к тихим и опасливым разговорам о политике. Его интересовало все, от процессов над «врагами народа» до гражданской войны в Испании. Но может быть, подобные увлечения всегда были больше присущи мальчишкам? Хотя, насколько он помнит, девчонок тех лет также занимало, что делается в мире. Значит, причина безразличия в другом?

Что бы ни случилось сейчас в мире, ему кажется, Машка даже бровью не шевельнет. «Да?» — скажет и будет продолжать заниматься своими делами.

А вот скажи ей кто-нибудь, что Элизабет Тейлор снова разводится и снова выходит замуж, у нее мгновенно заблестят глазки, зарозовеет личико, и, можно не сомневаться, как бы ни была занята, она найдет время поделиться с подругами этой новостью.

В то же время Машка — и Ипатов радостно отмечал это про себя — была жалостлива, добра, решительна. С тех пор как его перевели в общую палату, не было дня, чтобы она не навещала отца. Прибегала сразу после занятий, благо школа находилась всего в двух трамвайных остановках от больницы, и, как бы ни были строги дежурные внизу, непременно проникала к нему. Первые два-три дня Машка долго и жалобно упрашивала санитарку, чтобы ее пропустили. Но потом кто-то из посетителей научил ее простому и безотказному способу воздействия на зачерствелые сердца дежурных. Теперь Машка спокойно проходила через главную дверь, только рубль, который ей давали дома на школьные обеды, незаметно переключивал в карман чужого медицинского халата.

Конечно, узнав об этом, Ипатов отчитал Машку:

— Подумай, ты же, чтобы пройти сюда, даешь взятку. Самую настоящую взятку. Так ты, душа моя, далеко пойдешь...

Машка покосилась на Александра Семеновича и Алешу, которые из педагогических соображений помалкивали, и, наклонившись к отцовскому уху, шепнула насмешливо:

— Хватит, па, витать в облаках, пора спуститься на землю.

От неожиданности он даже не нашелся, что ответить...

И тут на своей кровати разворчался Станислав Иванович:

— Раз санитарки, то уже и за людей не считают. Одним все можно, а другим — сиди и не чирикай...

Ответил Алеша:

— Видел я их, бей — не утонут... Хоть и без высшего образования...

— Ну тебя,— отмахнулся Станислав Иванович.— За свою жизнь я всякий народ повидал. И таких, как ты, тоже. И вашим, и нашим!

— Это я и вашим, и нашим?— встrepенулcя Алеша.

— А кто, я?

— А ты, дед, и ни вашим, и ни нашим, а все под себя — до последнего пролежня!

Вряд ли до Машки дошел основной смысл той пикировки. Но когда широкое одутловатое лицо Станислава Ивановича вдруг налилось нездоровой бурой кровью и он тихо и жалобно застонал, она первой вскочила и, не спрашивая никого, нажала на кнопку палатной сигнализации. Вскоре пришел запыхавшийся врач. Станиславу Ивановичу сделали какой-то укол, и он быстро уснул...

В отделении не хватало трех санитарок, и за два-три часа после занятий Машка проворачивала уйму разных дел: мыла полы, носила судна, кормила тех, кто не мог есть сам, мерила температуру, раздавала лекарства, которые сама брала со стола дежурной сестры. К ней привыкли и кое-кто даже называл «сестричкой». Часов в семь Ипатов начинал ее гнать домой делать уроки. Уходила она нехотя, тянула, как только могла, и, пока собиралась, успевала повернуть еще добрый десяток дел...

Ипатов весь просиял, когда однажды Александр Семенович заявил ему:

— А у вас, Константин Сергеевич, прекрасная дочь... Прелестное существо...

— Вы думаете?— смущенно отозвался Ипатов.

— Спросите у Алеши... Алеша, что ты можешь сказать о Маше?

— Подрастет — приду свататься,— ответил тот.

— Постой, ты же в некотором роде женат? — заметил Александр Семенович.

— А я разженюсь, — весело сказал Алеша. — Хватит, до одного инфаркта довела!

— Ну если так...

Не остался в стороне от разговора и Станислав Иванович. Глубокомысленно изрек:

— Первая жена от бога, вторая для людей, а третья — для себя...

— Вот мне и нужна такая — для себя, — подхватил Алеша.

Словом, с приходом Маши оживала вся палата. Стоило ей только показаться в дверях, как все четверо, включая Станислава Ивановича, расплывались в улыбках.

— Вот и я! — возвещала она, плюхая тяжелый портфель на стул у порога.

И сразу принималась за работу...

Не то на третьем, не то на четвертом курсе института сын Олег вдруг задумался о смысле жизни. «Ведь есть же какой-то смысл в том, что я появился на свет? Именно я, Олег Константинович Ипатов, 1955 года рождения, русский, не наделенный никакими особыми способностями и в то же время считающий себя в силу эгоцентрического характера человеческой природы пупом земли? Ведь не только для того, чтобы есть, пить, производить себе подобных, вкалывать для заработка или высоких целей? Природе, в общем, на это начхать, так ведь, отец? Для нее что я, что какой-нибудь вирус или козявка — все имеют равное право на существование. И еще неизвестно, кто из нас, я или вирус, нужнее ей в общем круговороте? У тебя есть, отец, мысли на этот счет?» Пока Олег произносил свою длинную тираду, он ни разу не споткнулся, не замямлил. Что другое, а язык у него был подвешен хорошо, не в пример отцовскому. Тогда, помнится, Ипатов посоветовал ему почитать «Исповедь» Толстого.

«Не ты первый, не ты последний задумываешься об этом», — заключил он.

На другое утро Олег молча вошел в комнату отца и так же молча положил на стол томик Толстого.

«Ну что?» — спросил Ипатов-старший.

«Фигня на постном масле».

«Что?!» — Ипатов едва не задохнулся от возмущения.

«А что он сказал нового? Что смысл жизни состоит в том, чтобы жить, и ничего больше? Как будто у людей есть иной выход? Масло масляное...»

«Значит, ты ничего не понял. Толстой бы никогда не был Толстым, если бы не мучился всю жизнь вопросом: как жить? Понимаешь, как жить?»

«А ты думаешь, — иронически посмотрел на отца Олег, — какой-нибудь Пупкин, которого знают только жена и дети и несколько человек на работе, не задумывается над тем, как жить?»

«Прости меня, но Пупкину, в отличие от Толстого и Достоевского, все, буквально все ясно. Даже когда он в чем-то сомневается, его сомнения не выходят за рамки Пупкиного кругозора».

«Ты, отец, отказываешь простым людям в способности чувствовать и мыслить».

Ах ты, мой родной демагог!

«Нет, я не отказываю никому в способности чувствовать и мыслить, — спокойно возразил Ипатов. — Если бы я такое подумал, меня надо было бы упрятать в дурдом. Но ты же не можешь отрицать, что мысли Толстого и мысли Пупкина это нечто несопоставимое?»

«Почему? Если уж на то пошло, ты видишь перед собой одного из Пупкиных. И я задаюсь теми же мыслями, что и твой Толстой».

«Ах, тебя стал мучить вопрос, как жить? Похвально, похвально...»

«Отец, может, ты не будешь иронизировать? В противном случае я прекращаю дискуссию...»

«Хорошо, продолжай... Меня интересует, как ты собираешься жить... естественно, не столько в бытовом, сколько в философском смысле? Раз речь идет о смысле жизни...»

«Я считаю, что человек, в первую очередь, должен жить для себя. И своих близких, разумеется, — добавил сын. — По-моему, это нравственно, потому что отвечает природе человека».

«Но если твои интересы столкнутся с интересами других людей? Что тогда?»

Олег на мгновение задумался. Потом сказал:

«Смотря какие интересы».

«Значит, ты будешь решать за другого, какие его интересы надо принимать в расчет, а какие нет? Тебе не кажется, что ты слишком много берешь на себя?»

«Почему же? Я все-таки могу сообразить, без чего человек не может жить, а без чего обойдется. Ты можешь быть спокойным, по трупам я шагать не собираюсь...»

«Что ж, и это уже немало».

«Я предупреждал...»

«Ах да, прости... Итак, смысл жизни, по-твоему, состоит в том, чтобы жить самому и не мешать жить другим? Так?»

«Так», — пожал плечами Олег: как будто неясно...

«А как насчет того, чтобы помогать жить другим?»

«Если это не в ущерб мне и моим близким, почему бы не помочь? Видишь, я откровенен...»

«А если в ущерб?» — Ипатов остановил пытливый взгляд на юном, очень свежем лице сына с висячими, согласно моде, усами.

«Ты знаешь, я не очень подкован в литературе, но, по-моему, и Толстой ничего не делал в ущерб себе. Ни земли, ни лесов, ни лугов он не роздал крестьянам. Даже своим детям он показал вот такой кукиш!»

«Слушая тебя, — сердито заметил Ипатов-старший, — можно подумать, что он великий обманщик. Говорил одно, а делал другое».

«Получается так».

«А то; что он помогал десяткам тысяч людей, страдающим за свои убеждения, давал им деньги на обустройство хозяйства, на переселение в другие страны, кормил, поил целые волости во время голода? И это мы знаем не из вторых уст. Твоя прабабушка, если ты не забыл, дружила с его дочерью, Марией Львовной, и они вместе организовывали столовые, где на средства Льва Николаевича подкармливали умирающих с голоду крестьян. И все это он делал в ущерб себе, своему состоянию, своему творчеству наконец, дорогой мой Олег Константинович».

«Когда это было!» — протянул Олег.

«Для вечности — ты, как философ по складу ума, должен это знать — сто, двести, тысяча лет не имеют значения».

«Для вечности — да, но для меня и год, и два, и полгода имеют значение...»

Поиски смысла жизни, как оказалось, предпринимались небескорыстно. Ровно через двадцать дней после этого разговора Олег женился на своей однокурснице, коротконогой толстушке, дочери генерального директора одного из крупнейших объединений города.

За несколько лет после окончания института Олег не без помощи всесильного тестя сделал неплохую карьеру — без особых усилий защитил кандидатскую и в тридцать лет возглавил один из ведущих секторов конструкторского бюро, входящего в состав объединения. Было бы большим преувеличением утверждать, что он горел на службе, но тем не менее уходил на работу рано, приходил домой поздно, часто бывал в командировках, охотно участвовал в различного рода симпозиумах, конференциях, конгрессах, съездах. Был человеком очень занятым, и потому каждое посещение отца в больнице, хотя у него хватало такта об этом не говорить, нарушало какие-то его планы. Уже через десять-пятнадцать минут он начинал украдкой поглядывать на часы, а еще через четверть часа, прикоснувшись к щеке отца холодными, ленивыми губами, говорил что-то бодренькое, приличествующее данному моменту, и в считанные мгновения исчезал за стеклянной дверью. Иногда он приходил не один, а с женой Ларисой. Она большей частью молчала, явно томилась. Когда Ипатов пытался вовлечь ее в общий разговор, она говорила что-нибудь невпопад и еще больше замыкалась в себе. Шутки Лариса вообще не понимала. Все, что произносилось и писалось, воспринималось ею в самом прямом и буквальном смысле. Ипатов время от времени замечал унылый, черепаший взгляд, который бросал на нее Олег. Что ж, ему можно было посочувствовать. Но он сам выбрал свою судьбу и, похоже, готов был и дальше идти по раз навсегда избранному пути...

Его дети. Ближе их у него никого нет. Была когда-то мама. Был отец...

И еще госпожа продюсер, которая ему давно безразлична. Его даже не мутит от догадки, что у нее опять кто-то есть. Сейчас она в Казахстане, где снимается фильм о всепобеждающей восточной любви. Отсутствие телефонной связи между киногруппой, затерявшейся в степях, и Ленинградом оставляет ее в счастливом не-

ведении о его болезни. Олега же он легко уговорил не телеграфировать. Зачем?

Кто-то разорвал ночную тишину на отделении диким, душераздирающим криком. Все в страхе проснулись. «Кто, где, что?» Оказалось, одному из больных явилась во сне смерть. Смерть не вообще, тихая и безликая, упрятанная в каждом до поры до времени, а какое-то страшное, бесполое существо, похожее, по словам кричавшего, на оживший труп. Она медленно приближала к кричавшему свою жуткую, тронутую гниением морду, и он, прогоняя кошмар, заорал не своим голосом. Потом долго, очень долго не могли успокоиться больные сердца...

Нечто подобное — он это хорошо помнит — привиделось ему в первый день жесточайшей простуды, которую он схватил во время той памятной прогулки по ночному городу. Провожая Светлану домой, он всю дорогу от Невского до Подъяческой шел с распахнутым пальто и разгоряченной грудью встречал порывистый морской ветер. Потом они еще два часа сидели на ступеньках, на полах его бобрика, и целовались до тех пор, пока у обоих не распухли губы. В подъезде стоял почти такой же, как на улице, холод. И хотя мерзли они одинаково, она даже больше (в сравнении с его шерстяными военного покроя брюками ее тонкие чулки вообще не грели), простудился все-таки он, а не она. Правда, на ней была шубка из очень теплого меха. Но он упрямо расстегивал ее, а Светлана так же упрямо запахивалась.

Расстались они часа в три. Причина была настолько прозаическая, что ни он, ни она не посмели признаться в ней друг другу. Возвращаясь домой по беспокойно спящему ночному городу, Ипатов еще не знал и не чувствовал, что в нем уже вовсю раскручивалась тяжелая простуда. Даже легкий озноб, который он ощутил, залезая под старое ветхое одеяло, он полностью отнес за счет чрезвычайных треволнений дня. Уснул он с радостными и сладкими мыслями о Светлане.

А проснулся уже больной. Он с трудом оторвался от горячей подушки и тут же тяжело опустил голову: она вся была налита густой свинцовой болью. Ипатов по-

чувствовал, что от него нестерпимо пышет жаром. Он откинул одеяло и ощутил, как раздулись и набухли пудовой тяжестью кулаки...

Ни отца, ни матери уже не было дома: как всегда, неслышно ушли на работу. В результате он остался один на один со своей болезнью.

До войны Ипатов болел часто: по два-три раза в год. Боже, чем только он не переболел в детстве! Даже подозревали туберкулез. Всякий раз, когда у него долго держалась температура и родители начинали метаться в поисках хороших врачей и хороших лекарств, вся прочая жизнь в доме приостанавливалась. Встревоженные лица отца и мамы настраивали довоенного Ипатова на особый праздничный лад, и он все дни болезни чувствовал себя именинником. Ему даже нравилось болеть. Его отпаивали виноградным соком, кормили курятиной, ублажали гоголем-моголем, пичкали такими деликатесами, о которых взрослые и не могли мечтать.

С годами, однако, он испытывал все большую неловкость перед родителями от такого открытого предпочтения и наконец стал решительно отказываться от всех этих деликатесов. Но болеть, увы, продолжал.

С войной, как ни странно, прошли нескончаемые болезни Ипатова. То есть он по-прежнему простужался и, случалось, температурил, но ни он сам, ни тем более его товарищи не придавали этому значения. Лечили по-суворовски: стакан водки и, если позволяла обстановка, часок-другой отлежаться в тепле. Так что все свои недомогания Ипатов научился переносить на ногах, и ничего — остался жив...

Возвращение к мирной жизни, по какой-то странной и непонятной закономерности, сопровождалось, говоря языком медиков, понижением общей сопротивляемости организма. За полтора года после демобилизации Ипатов перевыполнил план по гриппу и ангине на сто пять и пять десятых процента (иронический подсчет мамы). Проходя медицинскую комиссию, которая должна была решить, можно ли ему по состоянию здоровья учиться в Университете, он порядком трухнул, когда старичок-терапевт вдруг обнаружил у него в груди какие-то подозрительные хрипы. Ипатова тут же направили на рентген. Там его долго мурыжили, но снимки почему-то оказались неудачными: то ли их засветили, то ли сама пленка была бракованной. Чтобы лишний раз не гонять

Ипатов, который молодцевато выгибал грудь колесом и подхалимски улыбался, врач, прослушав его еще раз, записал в карточку: остаточные явления левостороннего плеврита. Вот они-то, эти остаточные, по-видимому, время от времени и давали себя знать. Иногда в самый неподходящий момент. Как сейчас, например. После такого радостного и счастливого примирения...

Что Светлана подумает, не увидев его в Университете? Поначалу удивится, а потом, ясное дело, встревожится. Решит, что с ним что-нибудь случилось. Надо как-то сообщить ей. Как ни туго соображала тяжелая, разламывающаяся на части голова, но выход нашелся быстро: попросить маму позвонить Вальке, а тот уже передаст Светлане...

Ипатов встал, пошатываясь добрался до аптечки, взял градусник, поставил. Еще не успел дойти до постели, а ртутный столбик уже взлетел до тридцати девяти. Остальное — до сорока — он добрал лежа.

Такой высокой температуры у себя он не помнил с детства. Были бы дома родители, они бы моментально бросились вызывать врача. Но самому спускаться вниз к соседям, звонить куда-то в поликлинику, отвечать на бесхитростно-участливые вопросы нижней бабушки, изнывающей от любопытства, не столько неохота, сколько нет сил. Да и ничего с ним не случится, если врач придет не сегодня, а завтра. А может быть, он еще до завтра поправится? Нет, ему сейчас никак нельзя болеть!

Нельзя? А кто его спрашивает? Честно говоря, давно он не чувствовал себя так скверно. Только сбросил одеяло, спасаясь от жары, и уже снова знобит. Чтобы хоть немного согреться, он укрылся с головой, но и это не помогло. Чаю бы горяченького...

Нет ничего хуже, когда ты один, больной, дома. Даже чаю подать некому. Придется самому. Не ждать же, когда родители вернуться с работы.

Накинув на плечи одеяло, Ипатов потащился на кухню. Пока разжег вечно барахливший примус, весь покрылся испариной. Как ни тщательно заклеила мама окно, из него нещадно дуло. Холодом тянуло также с пола, от стен, из двери, выходящей на черную лестницу. Прямо под их квартиркой, под легким межэтажным перекрытием, проходила широченная арка во двор. Да и сам дом служил уже не одному поколению россиян...

Вскипел чайник. Ипатов налил в большую отцовскую чашку кипяток, кинул туда щепотку грузинского чая, насыпал целых три чайных ложки сахарного песка. Горячий чай обжигал губы и, чуть остыв во рту, словно прогревал грудь, растекался теплом по всем телу. Ипатов чувствовал, как с каждым глотком у него прибывают силы. И неожиданно захотелось есть. Он отрезал кусок черного хлеба и, посыпав его тонким слоем сахарной пудры, которую мама берегла для стряпни, быстро умял весь. «Еще, что ли, съесть?» Но только он снова потянулся за хлебом, как до его слуха откуда-то с пола долетела слабая и тихая возня. Похоже было, что кто-то где-то отчаянно скребется. Ипатов заглянул под стол. В одной из двух пустых трехлитровых банок, приготовленных мамой для сдачи, метался мышонок. Забраться туда ему, видно, не составляло труда, но вот выбраться... Мышонок иногда вставал на задние лапки и скреб передними по стеклу. Высоко над ним зияло, обещая желанную свободу, широкое отверстие в большой мышинный мир.

Ипатов поднял с полу банку. Мышонок тяжело дышал. Серые шелковистые бока у него так и ходили. Поблескивали крохотные темные бусинки глаз.

«Ну что будем делать, браток?— спросил Ипатов.— А ну, давай ноги в руки!»

Он приоткрыл дверь на темную лестничную площадку и перевернул банку. Считанные мгновения потребовались мышонку, чтобы нырнуть в какую-то щель.

Поправив на плечах все время сползающее одеяло, Ипатов побрел к себе. Его сильно пошатывало, и он с трудом, пересиливая слабость и головокружение, добрался до постели...

Голова по-прежнему раскалывалась на части. Ипатов сжал ее руками и вдруг с ужасом ощутил под ними отчетливо, рельефно выступающие очертания черепа. Своего черепа. Его охватила тоскливая жуть. Он живо представил себе, что пройдет какое-то время, и именно этот череп, пустой, оголенный, до отказа или не до отказа, это уже не имело значения, заполнится безучастной могильной землей. А может быть, что тоже не исключено, по нему станут изучать анатомию студенты медицинских вузов? Кость такая-то, кость такая-то, кость такая-то. И, не брезгуя, не задумываясь о человеке, которому когда-то принадлежал череп, будут относиться к нему как к обыкновенному наглядному по-

собию и никак иначе. А тому, кто захочет, разрешат еще взять на дом. С просьбой вернуть после сдачи экзаменов: как-никак собственность института, инвентарный номер такой-то. Один вернет, а другой... Вдруг найдется какой-нибудь жизнерадостный умелец, какой-нибудь сукин сын, который решит поместить внутрь электрическую лампочку и сделать оригинальный ночник? И будет он, Ипатов, невидяще смотреть своими освещенными глазами на чужую интимную жизнь... чужие объятия... чужие поцелуи...

Что за дикие, бредовые мысли?! Ипатов отнял руки от головы, и кошмар сразу отпустил его. И все те страхи, которые только что прошли перед ним в неумолимой зловещей последовательности, теперь повернулись к нему своей забавной, анекдотической стороной. Да и что еще, кроме удивленной, торжествующей улыбки молодости, могли вызвать у него похождения несчастного черепа? Особенно превращение того в наимоднейший светильник? Если бы не боль, тисками сжимавшая лоб и виски, Ипатов бы от души расхохотался. А так лишь хмыкнул и решил при встрече рассказать о черепе Светлане. Пусть тоже посмеется...

Какой у нее легкий, чистый, переливчатый смех! И это при странном глуховатом, не очень выразительном голосе. Словно перед тобой два человека: один разговаривает, другой смеется. Но уже вскоре Ипатов перестал воспринимать голос и смех как бы исходящими из разных уст. Его чуткое ухо уловило и мягкие, нежные переходы между ними. И именно они, эти слабые, воздушные мостки, доставляли ему наибольшую радость от заглядывания в чужую душу.

Удивительно, они уже знакомы около месяца, а он до сих пор не знает, что она за человек. Дело даже не в ее характере, который ему более или менее ясен. Черты его лежат на поверхности. А вот понять бы, что там у нее в самой-самой середине, какие там водятся черти... Папа говорит: для того чтобы постичь женщину, надо по меньшей мере прочесть всего Достоевского и Толстого. И это говорит папа, которому достался в жены сущий ангел — мама с ее редкостным — светлым и благородным — характером! Значит, и у мамы есть какие-то тайны от отца? А ведь они прожили вместе — только подумать! — четверть века!.. Вот и у него со Светланой... Он уже прожужжал ей все уши о своей любви, а она, как он ни добивался, еще ни разу не ска-

зала, что любит его. Или что он хотя бы нравится. Стало быть, несмотря на поцелуи и т. д., что-то удерживает ее? Но что? Или ей, чрезмерно избалованной мужским вниманием, трудно, почти невозможно произнести эти слова? Неужели она считает, что они способны унижить ее в его глазах, чем-то умалить?

А вдруг у нее это не любовь, а легкий ответный интерес, вызванный его неотступным ухаживанием? Занятное, во всяком случае нескучное, если учесть, что он немало позабавил Светлану своими выходками, времяпрепровождение? А может быть, чувство вины за родителей, которое мучило ее целую неделю и в конце концов подбило на новый, ни к чему не обязывающий жест? Правда, жест рискованный... если потерять голову. Но Светлане это, по-видимому, не угрожает. Она всегда начеку...

«Так и надо с нашим братом», — самокритично подытожил Ипатов. Но, подумав так, он тут же устыдился этой мысли, и не столько мысли, сколько ее выражения, — до того от нее несло, чего там несло — разило пошлостью. Как будто его отношения со Светланой укладывались в обычные рамки немудреного любовного поединка — кто кого обыграет. Нет, избавь его, боже, и от таких побед, и от таких поражений.

Конечно, он может говорить только за себя. Но и этого достаточно, чтобы относиться к своему чувству с особым и трепетным уважением. Он любит. Какие еще нужны слова в подкрепление сказанного? Он любит, и все тут!

Он любит, а она? Опять двадцать пять! Ну сколько можно толочь воду в ступе? Сколько можно?

Чтобы отвлечься от мыслей, все более сползающих на печальный лад, и заодно скоротать время до прихода родителей, Ипатов достал с полки «Хлеб» Алексея Толстого (подарок бабушки на день рождения) и начал его читать с пятнадцатой страницы — на ней он прервал чтение примерно с месяц назад, когда ему, можно сказать, стало не до книг. Но отяжелевшая чугунная голова с трудом воспринимала текст. Кое-как он осилил вторую главу. Вскоре глаза у него начали слипаться, и он незаметно для себя уснул...

В самом деле, кто бы мог подумать, что Станислав Иванович воевал, и воевал, кажется, неплохо. Орден

Красной Звезды и две медали «За отвагу», которыми он был награжден, говорили сами за себя. Как и Ипатов, войну он начал с небольшим опозданием, в сорок втором, и кончил где-то под Веной. Особенно не укладывалось в голове, что он был морским пехотинцем, командиром отделения разведки. Понимая, что неприязненные отношения, которые установились у него с соседями по палате, побуждают брать под сомнение, под иронический обстрел каждое его слово, Станислав Иванович на днях показал им свои старые фронтовые фотографии. Действительно, одним из молодых, широко улыбающихся, задорных парней в распахнутых бушлатах и тельняшках, бесшабашно, по-флотски, увешанных оружием, был он. И хотя эти его оба облика — тогдашний и теперешний — довольно сильно разнились, даже Алеша, пользовавшийся любым поводом, чтобы позлить Станислава Ивановича, не решился оспаривать сходства. Ипатову же, которого почти никогда не покидало неизменно-приподнятое, братское чувство ко всем, без исключения, бывшим фронтовикам, потребовалось совсем немного усилий, чтобы взглянуть на этого обрюзгшего, малоподвижного, неприятного человека уже другими — добрыми — глазами. И вслед за ним помягчели, подобрели к «четвертому лишнему», каким им всегда виделся Станислав Иванович, и Алеша с Александром Семеновичем. А тот, почувствовав эту перемену, вдруг, как никогда, разоткровенничался...

Начал он с обычных фронтовых воспоминаний о том, как ходил в разведку, брал «языков». А потом неожиданно признался, что летом сорок четвертого года собственноручно («Вот этими руками!») повесил троих гитлеровцев, принимавших участие в массовых расстрелах советских людей. Конечно, вздернули тех за дело и по приговору суда, и все-таки смотреть на эти морщинистые, старческие руки, которые кого-то повесили, было жутковато.

— Как, повесили?— первым недоуменно переспросил Алеша, родившийся спустя пятнадцать лет после окончания войны.

— А как вешают,— усмешливо ответил Станислав Иванович.— Накинул на шею петлю, выбил из-под ног табуретку, и давай танцуй!

— Ай да дед!— Алеша даже подскочил на кровати.— А не было страшно?

— Это, парень, тогда страшно, когда тебя вешают.

— Не знаю, не испытал!

— Один был старший лейтенант, по-ихнему обер-лейтенант, обер-штурмфюрер, другой не то фельдфебель, не то старший унтер-офицер, я уже запомнил, чернявый такой, а третий — молоденький совсем, ефрейтор, этот дольше всех танцевал!

— Вы что, добровольно или вам приказали?— осторожно осведомился Александр Семенович.

Ипатов приподнялся на локте. Его тоже интересовало, что побудило морского пехотинца решиться на такое не солдатское дело. Только ли святая ненависть к фашистским палачам или еще что-то?

— Сам взялся. Ходили, спрашивали, кто возьмется. Я и согласился. Кому-то надо было...

— Я бы не смог!— снова подскочил на кровати Алеша — Бр-р-р!

— Все чистенькими быть хотят... А они двадцать миллионов убили!

«Оперировать общими цифрами позднего времени,— отметил про себя Ипатов.— Значит, личных счетов у него к немцам не было. Кроме тех, что у всех...»

— Станислав Иванович, я хочу спросить вас, а что вы чувствовали при этом?— продолжал допытываться Александр Семенович.

— Что?.. Что тремя гадами меньше стало. Была бы моя власть, я бы их всех перевешал!

— Кого всех?— не понял Александр Семенович.

— Немчуру проклятую...

— Зря вы... Даже в то время немцы разные были... Вон, Константин Сергеевич тоже воевал. Он знает.

— Добренькие стали...

— Нет, я бы не смог!— все еще копался в своей душе Алеша.— А что? Дал бы хорошенькую очередь или задушил бы своими руками. А вот вешать... не в моем характере...

— Много ты понимаешь, парень. Человек на все способен. И ты тоже...

— Чего?— Алеша изобразил на лице крайнее удивление.

Станислав Иванович счел за благо для себя промолчать.

«Поразительно широкий диапазон ненависти у этого старика — от немцев до писателей,— горько подумал Ипатов.— Откуда в нем столько злости?»

В эту ночь ему приснилась мама. Он давно ждал этого сна. Из окна его палаты хорошо была видна клиника нервных болезней, в которой она умерла. Сквозь обильную, пышную зелень на больничном дворе проглядывал знакомый пандус...

Большая мамина комната во сне была вся заставлена мебелью. «Ты что, забыл, что я переезжаю?» — спросила мама, увидев на его лице недоумение. И тут он вспомнил, что она и вправду собиралась куда-то переезжать, во сне он даже знал куда, но они, кажется, больше об этом не говорили. Потом она как будто покормила его. Да, точно покормила. Что-то приносила в сковородке. А потом сказала, улыбаясь заговорщически: «А теперь погреемся у печки». И, заведя руки назад, прижалась спиной к круглой печке. Ипатов встал рядом, достал из кармана пачку сигарет. И вдруг услышал веселый мамин голос: «Костик, дай папироску, я хочу подымить». Так и сказала «подымить». Но Ипатов решил, что маме курить ни к чему, и не дал. Между тем она ласково-мечтательно улыбалась и продолжала просить. И была она в эту минуту такой красивой, такой красивой, ну прямо как на своей лучшей девичьей фотокарточке, даже еще красивее. Ипатов глядел на маму и открыто любовался ею...

И ныне изливается душа моя во мне: дни скорби объяли меня...

Их лечащий врач, похмыкивая, сказал заведующему отделением: «У меня в палате два интеллигента, и оба температурят!» Это слышал своими ушами Алеша. Ипатов и Александр Семенович, у которых уже второй день держалась субфебрильная температура, едва не подавились манной кашей...

Как с утра привязалась к Ипатову эта незатейливая песенка: «...я в тележке сижу, безнадежно влюбленный. Выйди из ворот и взгляни на меня...» — так до сих пор он напевает ее. Это же надо, до чего прилипчивая. «Мой осел мимо сел...» Не попробовать ли вышибить клин клином? «Мишка, Мишка, где твоя улыбка, пол-

ная задора и огня...». Но он даже не добрался до второго куплета, как вернулся и снова зазвенел своими бубенцами осел...

Утром была врачиха и заявила, что никаких оснований для беспокойства нет. Обычная простуда, которую она лично переносит на ногах. Жалобы же Ипатова на вчерашнюю высокую температуру и вчерашнее скверное самочувствие она выслушала с плохо скрываемым недоверием. И ее понять можно: за ночь он основательно пропотел и к приходу врача выглядел как огурчик.

Но вчера он лежал пластом. Найдя его в таком состоянии, мама сразу развила бурную деятельность: натянула ему на ноги шерстяные носки, напоила горячим чаем с малиной, накинула поверх одеяла свое старое пальто. Несколько раз за ночь прибегала, проверяла, не раскрылся ли. Сама сменила мокрое белье. Одного только она не сумела сделать — дозвониться до Вальки. То есть она звонила, но у Дутовых никого не было дома. Даже нянька куда-то утопала. Мама обещала позвонить рано утром с работы. Надо полагать, что телефонный звонок застанет Вальку еще в постели: вставал он поздно, хорошо, если приходил на вторую лекцию.

Так что Светлана сегодня будет оповещена, что он немного простыл и не сегодня-завтра предстанет пред ее светлы очи...

Ипатов провел тыльной стороной руки по щеке, уже основательно заросшей щетиной. Побриться, что ли? Но из двух зол — оставаться ли еще день-два небритым или вылезать из теплой постели, идти на промерзшую кухню, греть воду, а затем, морщась от боли, кровянить физиономию тупым лезвием — он выбрал наименьшее. В конце концов, ничего страшного не случится, если он два дня побудет страшилищем. А может, завести усы? Так, ради хохмы? Как у отца? И тут он представил, как весело будет посмеиваться над ними мама: «Ну что поделявают мои усачи?» Ах да, отец уже без усов. Он сбрил их вчера после того, как какой-то пьяный дурак принял его за товарища Сталина. Произошло это на Литейном, у букинистического магазина. Пьяный долго шел за отцом следом и громко говорил в спину: «Дорогой Иосиф Виссарионович, наш любимый вождь и учитель... живите долго-долго на счастье советских людей и всего прогрессивного человечества... с вашим именем мы побеждали, побеждаем и будем побеждать... вы наш

символ... вы наше знамя... вы наша радость...» На них в недоумении оглядывались многочисленные прохожие. Трое даже увязались за ними. У Кирочной отец вскочил в первый попавшийся трамвай и, как потом точно сформулировала мама, скрылся в неизвестном направлении. Последние слова, которые он слышал, были: «Товарищ Сталин, куда вы?» В тот же вечер отец состриг усы, под широкими крыльями которых скрывался его впалый, беззубый, блокадный рот. Бедный папа, он сразу постарел на несколько лет. Зато исчезло даже отдаленное сходство с великим вождем и учителем. Впрочем, на себя отец теперь тоже стал мало похож. Увидев его без усов, Ипатов и мама так и ахнули.

Словом, не будем преувеличивать. Сам Ипатов и не думал всерьез об усах. Плохо это или хорошо, но он привык к своему лицу, и оно его пока устраивало. Устраивало, видимо, и Светлану...

«Хорошая моя... славная моя... милая моя...» — умилялся он, вспоминая о последней их встрече. Любовь и нежность переполняли его, требовали хоть какого-то выхода. Он помнил все, даже самые малые подробности этого долгого фантастического дня, прожитого как во сне. Десятки раз возвращался неостывшей памятью к одним и тем же словам, поцелуям, прикосновениям. Он слышал ее голос, странно меняющийся в темноте. Видел ее глаза, украдкой изучавшие его лицо. Чувствовал сквозь платье тепло ее гибкого, податливого тела. Ощущения были настолько волнующе-свежи, что временами ему не хватало воздуха, сердце готово было выпрыгнуть из груди. И ведь это только начало! Новые встречи обещали новые радости, новые открытия, новые наслаждения. Впереди у них, судя по тому, как развивались их отношения, целая жизнь! И скоро, очень скоро он скажет ей эти нешуточные, серьезные слова: «Выходи за меня замуж». Или не так торжественно, попроще: «Слушай, а что, если мы поженимся?» О том же, как они будут жить после регистрации, он старался не думать. Все свое время. Слишком много чего им придется решать, больно задевавшего как его, так и Светлану. Прежде всего он гнал прочь мысли о ее родителях, с которыми, он предвидел, ему никогда не найти общего языка. Зато он нисколько не сомневался, что его родители понравятся Светлане. Особенно мама. В отношении отца он не был так уверен. Всегда сдержанный, немногословный, отец когда

был чем-то или кем-то недоволен, мог довести до слез одними ироническими ухмылками. Но при желании мог быть и обаятельным. Для этого ему не требовалось никаких усилий: он прошел хорошую школу домашнего воспитания, знал, как и бабушка, несколько языков, много читал и, когда был помоложе, очень нравился женщинам. Мама даже слегка ревновала.

Как Ипатов ни избегал мыслей о неприятном, они все равно неожиданно подкрадывались и появлялись в самые неподходящие моменты, когда он прямо-таки, как кот, нежился в этих воспоминаниях. И тогда он раздраженно тряс головой и, избавившись таким простым способом от ее родителей, снова погружался в нирвану.

А с другой стороны, вряд ли можно было назвать это состояние нирваной. Чем больше он думал о Светлане, тем сильнее его охватывало нетерпение, желание ее видеть. И видеть сегодня, а не завтра, не послезавтра, когда он, по прикидке мамы, окончательно поправится. А если взять и последовать примеру врачихи, которая переносит такие болезни на ногах? Через час, через час с лишним он будет в Университете. Как раз перед последней лекцией. Сколько сейчас? На ходиках — без пяти двенадцать! Если учесть, что они ежедневно убегают на десять минут, то времени более чем достаточно. Вперед!

Ипатов рывком опустил ноги на пол, потянулся за одеждой, и вдруг перед его глазами все поплыло. Он ухватился за кровать и так сидел, пока не прошло это состояние. Но осталась противная слабость в руках и ногах. Ипатов попробовал натянуть брюки, и тут силы окончательно покинули его. В одно мгновение взмокла нижняя рубаша, по телу побежали холодные струйки пота. Нет, сейчас ему и думать нечего о походе в Университет: придется отложить его до лучших времен.

Он снова залез под одеяло, стал медленно согреваться. И все-таки тепла не хватало. Ипатов выпростал из-под одеяла руку и натянул на голову и плечи мамино пальто. Пригревшись, быстро уснул...

Проснулся Ипатов от звонка в дверь. В первый момент он пытался понять, был ли звонок в действительности или приснился? Вот и гадай: то ли был, то ли не

был. Прошла добрая минута или две, прежде чем снова тихо и нерешительно звякнул звонок...

Кто бы это? Врач уже был...

«Сейчас!»— громко крикнул в сторону двери Ипатов.

Он быстро кое-как оделся, зашлепал в прихожую. За дверью терпеливо ждали.

Спрашивать, кто там, было не в его правилах, и он молча, щелкнув дореволюционной задвижкой, распахнул дверь.

На лестничной площадке стояла и смущенно улыбалась Светлана.

«Ты?»— в равной степени удивленно, растерянно и радостно воскликнул Ипатов.

И тут как обухом оглушила мысль: сейчас она увидит все их убожество... старые обои... колченогие стулья... Я даже постель не прибрал... а там латаные-перелатанные простыни и наволочки... драное одеяло, из которого то там, то здесь торчат клочья ваты...

«Можно?»— спросила она, все так же стеснительно улыбаясь.

«Еще спрашиваешь... Заходи!»

Он чувствовал, как пылало его лицо. И не знал, от чего больше: от стыда за убожество или от радости, что пришла. Пока он помогал Светлане снимать шубку и меховую шапочку, она рассказывала:

«Валька сказал, что ты заболел... Адрес твой мне дали в деканате... Валька просил передать тебе привет...»

Светлана говорила, точно оправдываясь за неожиданный приход.

«Мы собрались идти с Валькой,— продолжала она, поправляя прическу,— но у него, как всегда, семь пятниц на неделе. Объявилось какое-то неотложное дело. Он сказал, что обязательно навестит. Не сегодня, так завтра... Куда идти?»

«Сюда,— потеряннм голосом сказал он.— Только у нас страшный беспорядок... На днях будем делать ремонт, потому спим где придется, едим что попало,— отчаянно врал он.— Нет, сюда,— направил он ее в свой закуток.— Подожди!— И, опередив Светлану, быстро накинул на постель покрывало.— Прошу в наше фамильное кресло. Нет, правда, ему двести лет. В нем посиживал еще мой прапрадедушка. Восемнадцатый век...»

Она опустилась в кресло и тотчас же принялась искать удобное положение: сидеть там можно было, только подложив под себя что-нибудь мягкое, но Ипатов в своем замешательстве упустил это из виду. Правда, спохватился он быстро. Сбегал в соседнюю комнату, принес бабушкину думку.

«Для амортизации», — шутливо заметил он.

Устроившись поудобнее, Светлана прямо на глазах отбросила остатки смущения.

«Докладывайте, товарищ гвардии старший лейтенант, — сказала она. — Что это вас угораздило болеть?»

Ее серые глаза смотрели обеспокоенно и внимательно. Неужели это удивительно нежное, с чуть проступающим румянцем, безупречно прекрасное лицо он не раз покрывал жадными поцелуями? Да и разве только лицо? Руки, шею, колени...

Он дурел от воспоминаний. Что-то ответил ей, но что — тут же забыл.

Он наклонился, поцеловал ее колено.

«Ты не боишься, что заразишь меня гриппом?» — спросила она каким-то стесненным голосом.

«Через колено?»

«Ты думаешь, мы на этом остановимся?» — продолжала она тем же отдалившимся голосом.

Он потянул ее за руки. Поначалу Светлана вроде бы не сопротивлялась. Но по мере того, как расстояние между ними сокращалось, возрастало и противодействие, словно она действительно боялась заразиться.

«Пусти, — сказала она. — Платье порвешь!»

Это было все то же серое шерстяное платье, которое ей здорово шло и которое она последнее время постоянно носила. Оно и в самом деле натянулось так, что, казалось, вот-вот где-нибудь затрещит.

Он не торопился ее отпускать.

«Рукам больно!» — привела она еще одну уважительную причину.

Он слегка расслабил пальцы.

«Где у вас тут зеркало?» — вдруг спросила она.

«Зеркало?» — удивленно повторил он и насторожился, заметив в ее прелестных серых глазах прятавшуюся усмешку. — Зачем оно тебе?»

«Чтобы ты мог посмотреть на себя. Борода, как у Шмидта... Прямо кактус!»

«Небритый?» — Ипатов отпустил обе ее руки и схватился за свое лицо. — Бог ты мой, сапожная щетка!»

Светлана воспользовалась моментом и отодвинулась в глубь кресла.

«Я сейчас поброюсь, так говорил мой старшина!» — возвестил Ипатов. Но только встал, как у него опять поплыло все перед глазами. Некоторое время он стоял, держась за спинку кровати. Продолжалось это какие-то мгновения, Светлана даже не обратила внимания. Она решила, наверно, что он о чем-то задумался. Во всяком случае, он бы не хотел, чтобы она заметила...

Когда наконец голова перестала кружиться, Ипатов подошел к этажерке и достал фотоальбомы. Подал Светлане:

«Полистай, пока я приведу рожу в порядок!»

В таком темпе он еще никогда не брился, даже на фронте. И, на удивление себе, ни разу не порезался. Когда он вернулся, она с сосредоточенным видом рассматривала фронтовой фотосальбом.

«Это кто?» — спросила она, показывая на майора Столярова. Фотоснимок был сделан уже после войны, когда майор Столяров поступал в военную академию. Фотограф каким-то образом сумел выявить в незнакомом ему офицере главное: ум и благородство. Ипатов любил эту фотокарточку, дорожил ею.

«Мой большой друг. Начальник разведки нашей бригады», — ответил он.

«Хорошее лицо», — сказала она.

«Да?» — обрадовался он.

«Он погиб?»

«Нет, живехонек! Правда, глядя на него, не скажешь, что он восемь раз был ранен и два раза из них — тяжело? На Одере нас накрыло одним снарядом».

«Я и не знала, что ты был ранен! Ты никогда не говорил мне...» — заметила она.

«Два раза... Вот, — он задрал рукав и продемонстрировал широкий шрам от запястья до локтя. — И вот... — но вовремя спохватился: — Можешь поверить мне на слово. Осколок прошел по касательной, выдрал кусок мяса на брюхе...»

«Покажи!» — вдруг потребовала она.

«Ну зачем?.. Не надо, — смутился он. Живот бы он еще мог немного оголить: рубцы находились в вполне пристойном месте, чуть правее пупа. Но показывать несвежую, застиранную нижнюю рубашку он не хотел ни под каким видом. — Ей-богу, смотреть на все это удовольствие ниже среднего...»

«Как хочешь»,— сказала она и снова углубилась в альбом.

Фотографий было довольно много. Особенно часто он с ребятами снимался во время формировок и сразу после войны. Увековечивали себя на фоне достопримечательностей и пейзажей Европы. За их спинами угадывались освобожденные Польша, Германия, Чехословакия, Австрия. Это была его Европа, в отличие от ее Европы — тихой, провинциальной, сугубо послевоенной Скандинавии.

«Человек побрился, стал как новенький, а кое-кто этого не замечает»,— напомнил Ипатов о себе.

«Замечаю,— сказала Светлана и продолжала листать фотоальбом.— А это кто?»

На этот раз ее внимание привлекло мальчишеское, с характерными кавказскими чертами лицо Бальяна.

Ипатов ответил.

«А ты знаешь, что адмирал Исаков тоже армянин?»— вдруг сообщила она.

«Ну и что?— пожал он плечами.— Микоян армянин, Баграмян армянин, Тевосян армянин...»

«Но у него русская фамилия?»— удивилась она реакции Ипатова.

«У меня тоже русская фамилия»,— заметил он.

«Но ты же русский?»

«На три четверти».

«У тебя мама...»

«Ты хочешь сказать, еврейка? Да, наполовину...»

«Ну это не имеет значения. Все равно русский!»

«Как для кого? Если бы я угодил к немцам в плен, они бы не стали высчитывать. Кокнули бы за милую душу!»

«А ты мог попасть в плен?»

«Сколько угодно!»

«Бедняжка,— она быстрым движением погладила его руку, заброшенную на подлокотник кресла.— Холодные руки».

«Зато сердце горячее»,— ответил он, подчеркивая интонацией банальность фразы.

Светлана скосила на него смеющиеся глаза — дала понять, что шутка дошла.

Ипатов снова потянулся к ней.

«Ой!— вдруг воскликнула Светлана.— Совсем забыла!— Она взяла сумочку, висевшую на подлокотни-

ке, вместительную шведскую сумочку из плетеной кожи.— Тут тебе...»

Достала один большой пакет и два поменьше. По комнатке разнесся аромат отборных яблок из «Елисеевского».

«Зачем? Зачем столько?»— начал отказываться он.

«Чтобы быстрее поправлялся!»

«Куда мне столько?— пакеты едва умещались в руках.— Нет, один я не буду... Подожди,— сказал он, заметив, что она порывается встать.— Сейчас мы устроим пир на весь мир!»

«Ты не обижайся, но мне надо идти».

«Куда?»

«К тете Дусе... ну, к моей портнихе...»— почему-то смущенно добавила она.

«Не пушу!— Ипатов взялся за оба подлокотника.— Подождет твоя тетя Дуся!»

«Она-то подождет, только я ждать не могу!»

«Странно, тебе что, носить больше нечего?»

«Нечего»,— подтвердила она.

«Как нечего?»— удивился он, вспомнив, как много у нее дорогих красивых платьев.

«Это у меня единственное»,— сказала она.

«Как ед...— и не договорил. Как он мог забыть!— Все, все украли?»

«Угу... Кроме этого. Оно было на мне...»

«Это все я! Как я тогда не догадался? А?— запоздало корил себя Ипатов.— Ты очень переживаешь?»— он смотрел на нее виноватым искательным взглядом.

«Все равно через год-два они бы вышли из моды... Так что я даже в выигрыше оказалась»,— мило пошутила она.

Он притянул ее к себе. Она заслонила лицо руками.

«Ты заразный»,— посмеиваясь, сказала она.

«Не больше, чем ты»,— заметил Ипатов, пытаясь прорваться через заслон ее рук. Когда наконец ему это удалось, ее губы уже ждали. Он не помнил еще такого долгого и опасного поцелуя. Расстояние от кресла до кровати было настолько коротким, что оба не заметили, как очутились на ней. Первой опомнилась Светлана.

«Не надо!.. Пусти!..»— она выскользнула из его объятий и села на кровати.

Во время короткой возни покрывало наполовину сползло, открыв взорам страшные постельные тряпки.

Ипатов лихорадочно, пока Светлана не обернулась, не увидела, натянул его на одеяло.

Светлана молча одернула платье, поправила прическу.

«Больше не надо так, хорошо?» — вдруг сказала она Ипатову.

«Хорошо», — послушно согласился он.

Она встала.

«У меня сильно платье помято?»

«Нет... чуть-чуть».

«Где?»

«Вот здесь...» — Ипатов виновато дотронулся до подола.

«У вас есть большое зеркало?» — спросила она.

«Да, в той комнате...» — ответил он и весь внутренне сжался. Комната родителей была такой же тесной, неуютной и убогой, как эта.

«Можно?»

«Конечно. Идем покажу...»

Обе комнаты — его и родителей — когда-то были одной, но потом их разделили тонкой деревянной перегородкой, в которой оставили дверной проем, постоянно завешенный старой бабушкиной портьерой.

Ипатов приподнял пахнущую пылью, выцветшую от времени тяжелую ткань, пропустил Светлану.

По пути щелкнул выключателем. Под тряпичным, еще довоенным абажуром вспыхнула сорокасвечовая лампочка, осветив всю скудость и убожество обстановки. Ипатов готов был провалиться сквозь землю. Он ожидал, даже не сомневался, что Светлана будет неприятно удивлена. Одно дело — его закуток, запущенный, как она могла решить, по причине обычной мужской неряшливости. Другое — комната родителей. От одной мысли, что она вдруг подумает о них с брезгливым недоумением, кровь кинулась ему в голову. Но Светлана только скользнула взглядом по старым портретам, разбросанным по стенам, и уже больше ничего не разглядывала. На ее лице не было ни любопытства, ни удивления, ни брезгливости. Лишь некоторая озабоченность тем, что стало с ее платьем. словно она уже была здесь не раз и все это видела.

Ипатов не без смущения открыл дверцу шкафа, на обратной стороне которой находилось большое — почти в рост человека — зеркало.

Светлана повертелась перед ним, осмотрела платье со всех сторон. Пригладила рукой едва заметные морщинки на подоле.

«Ничего, сойдет»,— сказала она.

И в этот момент ее взгляд упал на мамину шляпку с вуалью, лежавшую на верхней полке шкафа с краю.

«Можно примерить?»

«Примерь!»

Светлана надела шляпку, опустила вуаль с мушками. Мамина шляпка так ей шла, что Ипатов залюбовался.

«Ну как?»— спросила она лукаво.

«Фантастика!»— только и сказал Ипатов.

Она подняла вуаль, открыла лицо.

«А так?»— в ожидании ответа глаза ее посмеивались.

«Еще лучше!»

«Слышал: не родись красивой, а родись счастливой?»

«Ты это к чему?»— насторожился Ипатов.

«Ни к чему,— ответила она, положив шляпку на место.— Ладно. Я пошла!»

«А по-моему, одно другого не исключает!»— горячо заверил он.

«Не знаю»,— пожала она плечами.

Он обнял ее.

«Ты придешь завтра?»

«Приду»,— ответила Светлана, помедлив.

«Я буду ждать».

«Я приду»,— повторила она и вышла в прихожую. Ипатов последовал за ней. Он хотел помочь ей надеть шубку, но тут же на него напал кашель. Минуты две три он никак не мог справиться с ним.

«Прости»,— с трудом проговорил он.

Одеваясь, Светлана смотрела на него жалостливым, участливым взглядом.

Когда он кончил кашлять, она заявила приказным тоном:

«Закрой за мной дверь и сейчас же ложись в постель!»

И, улыбнувшись, добавила:

«Вот видишь, до чего доводит сидение на каменных ступеньках?»

Ипатов еще не добрался до кровати, как вернулась мама. Она отпросилась с работы, потому что на сердце было беспокойно, в голову лезли всякие мысли. Как это уже было не раз, мама стала жертвой своего пылкого, неумемного воображения. Увидев сына определенно идущим на поправку, пребывающим в отличном настроении, она сразу успокоилась.

«Знаешь,— вдруг вспомнила мама,— на нашей лестнице, когда я поднималась, мне навстречу попала одна очень милая девушка».

У него мгновенно загорелись щеки.

«Это она?»— тут же сообразила мама.

Скрывать от нее правду было бессмысленно. Кивком головы Ипатов подтвердил мамину догадку.

«Я так и подумала,— сказала мама.— Мы еще с ней переглянулись. Она очень внимательно на меня посмотрела. По-моему, она догадалась, что я твоя мама...»

«Возможно, уловила семейное сходство? Я у нее спрошу...»

«Да, жаль»,— сказала мама.

«Что жаль?»— поинтересовался он.

«Если бы я чуточку раньше вышла, то, наверно, застала бы ее здесь... Прямо бы и познакомил нас... Или?»— мама заглянула ему в глаза.

«Что ты?— успокоил ее Ипатов.— Все было безумно нравственно. Она примеряла твою шляпку!»

«Уже?»— насмешливо произнесла мама.

Задетый маминым тоном, Ипатов немедленно вступился за Светлану:

«Можешь быть спокойной, никто на твою шляпку не посягает. Она вышла из моды сто лет назад!»

«А ты...»— с обидой начала, но не договорила мама.

«Что я?»— встрепнулся Ипатов.

«Ничего»,— отрезала мама.

«Ты что, обиделась?»— забеспокоился он.

Когда мама обижалась, лицо у нее становилось холодным и непроницаемым. Стало оно таким и сейчас.

Ипатов хотел погладить мамину руку, но мама убрала ее.

«Вот те раз!.. Ты же первая начала и еще обижаешься! Кто сказал «Уже?», я, что ли?»

Мама по-прежнему молчала. Она всегда остро реагировала на малейшие посягательства на свое достоинство.

Сердце у Ипатова дрогнуло от жалости.

«Ну?.. Ну?.. Ну?..— ласково заюлил он.— Хватит дуться?.. Ну... хочешь я попрошу у тебя прощения? Или стану на колени? Вот здесь, прямо на холодный пол?.. Ну что, мир?»

Мама оттаивала медленно. Наконец она перевалила за плюсовую температуру и обратилась к нему с коротким напоминанием:

«Я ничего не имею против твоей девушки. Она мне даже нравится... по первому впечатлению,— добавила она на всякий случай.— Но если я и отец почувствуем с ее стороны хоть какое-нибудь неуважение к себе, то у нас хватит ума и решимости держаться от вас на расстоянии. Вот и все, что я хотела сказать».

«Слушаюсь и повинуюсь!»— лежа козырнул он левой рукой.

«Дурачок»,— нежно сказала мама...

Из пакета с яблоками выполз муравей. Можно было только гадать, каким образом он забрел в «Елисейский» магазин, а оттуда попал в один из пакетов? Одинокий, зимний, возможно даже неленинградский муравей... Он сполз на письменный стол и, перевалив через край, исчез где-то под столешницей. Память сохранила все, что имело отношение к Светлане. Запомнилось и это...

Опять муравьи... По пригретой июньским солнцем асфальтированной дорожке двумя цепочками движутся муравьи. Одни спешат на ту сторону, к заливу, другие — на эту, к лесу. Но те полтора метра открытого, ничем не защищенного пространства каждую минуту уносят десятки муравьиных жизней. Почти никто из прохожих не глядит себе под ноги. И давят, и давят упрямо ползущие существа. Но вот однажды утром все увидели на асфальте воткнутую в трещину палочку с аккуратно привязанной фанеркой, на которой детским почерком было написано: «Астарожна мурави». И люди, благодарные за науку, преподанную им неизвестным малышом, умиленные своей человечностью, уже смотрели, куда ступить, и осторожно, с запасом, перешагивали муравьиные тропы.

А восьмилетняя Машка, довольная своей находчивостью, в это время сидела в хибарке, именуемой дачей, и уплетала за обе щеки пшеничную кашу на молоке...

Уже пошел третий день, как Ипатову разрешили ходить. Сперва он передвигался по палате, держась за спинки кроватей, потом принялся обживать коридор и холлы.

Сегодня Ипатов намеревался усложнить маршрут. Спуститься на лестничную площадку этажом ниже и оттуда по телефону-автомату позвонить обоим своим чадам — Машке и Олегу.

Готовясь в путь, он поделился своими опасениями с Алешой:

— Как бы не сосчитать все ступеньки.

— Если успеете, — иронически заметил Алеша и вызвался сопровождать.

— Не беспокойся, Алешенька, все будет в порядке! — сказал Ипатов, отказываясь от предложенной помощи.

— В момент приземления? — весело осведомился тот.

— Нет, полета! — в тон ему ответил Ипатов. — Надо же когда-то, дружище, начинать самостоятельную жизнь?

Сказал и вышел из палаты.

Путь его пролегал мимо главного пульта, соединенного со всеми палатами. За перегородкой сидели дежурная сестра и ее подруга из соседнего отделения — обе молодые, высокомерные, болтливые. Они громко, не стесняясь проходивших больных, судачили о каких-то общих знакомых.

Тон задавала дежурная сестра:

— Танька, ты бы поглядела на нее — страшна, как Хиросима! Чего он в ней нашел? Ну я ей и говорю: смотри, Наташка, широко берешь, не споткнись! А она возьми и выйди из берегов. Говорит мне: ты завидуешь. А чего мне завидовать — захочу, хоть завтра в манеж пойду. Косой до сих пор звонит, не надумала еще, спрашивает?

— Да, любить — так королеву! — поддакнула подруга.

Ипатов улыбнулся. Он вспомнил вчерашнюю историю. Машка вывела его впервые в коридор на прогулку.

Мимо проходила вот эта самая сестра, которая сегодня дежурила. Ипатов вежливо поздоровался с ней. Она покосилась на него и не ответила. Ипатов удивленно пожал плечами, сказал Машке: «Неужели она меня не узнала? Сколько раз колола в задницу!» Машка с ее острым, как у бабушки, язычком тут же нашлась, что ответить: «Па, она вас всех не по лицам, а по задницам узнает!»

И оба рассмеялись. Услышав тогда у себя за спиной смех, сестра резко обернулась, сердито посмотрела на них...

Шел Ипатов потихоньку, осторожными, размеренными шагами. И это неторопливое прохождение по длинному коридору позволяло ему попутно слушать разные разговоры.

Сейчас его внимание привлекли несколько больных, стоявших у открытого окна и ведущих пустой разговор о том, сколько метров отсюда до трансформаторной будки. В основном горячились двое, остальные с глубокомысленным видом поддакивали то одному спорщику, то другому.

— Я тебе говорю, больше трехсот метров не будет!

— Нет, тут и четырехста потянет!

— Ну ты даешь, откуда здесь четырехста? Вон до того здания будет четырехста, а тут больше трехсот не потянет!

— Хочешь, поспорим?

— Стану я с тобой спорить, больше мне делать нечего!

— А сам, елки-палки, споришь.

— Кто спорит?

— Да ты!

— Я спорю?

— А кто, я?

Ипатов был уже далеко от спорщиков, а до него все еще долетало:

— Нет, триста!

— Нет, четырехста!

— Триста!

— Четыреста!

И хотя бы один уступил или предложил полюбовно сойтись на трехстах пятидесяти, чтобы наконец выбраться из этого нескончаемого, бессмысленного спора. Ипатов горько подумал: боже, сколько тем для разговоров — острых, волнующих, жгучих — то и дело под-

брасывает людям жизнь, а вот эти часами стоят и спорят о какой-то ерунде. Гоголя бы на них!

Ипатов вышел на лестничную площадку перед служебным входом в отделение и увидел внизу длинный, человек, может быть, десять-двенадцать, хвост к телефону-автомату. Наверно, он повернул бы обратно, если бы его не позвал Александр Семенович, стоявший не то шестым, не то седьмым.

— Я для вас занял очередь!— крикнул он.

Испытывая неловкость перед остальными больными, которые, как он опасался, могли уличить их с Александром Семеновичем в мелком жульничестве, Ипатов медленно, держась за перила, спустился на первый этаж.

— Вы не смущайтесь,— громко произнес Александр Семенович.— Я действительно занял для вас очередь. Спросите товарищей?

Те, кто стоял рядом, к удивлению Ипатова, подтвердили:

— Занимал...

— Предупредил, что придут...

— Раз занял, об чем речь?..

Ипатов бросил на Александра Семеновича короткий, вопрошающий взгляд.

— Становитесь,— сказал, чуть попятившись, тот.

Ипатов встал, все еще не понимая, что побудило его соседа по палате занять для него очередь. Когда тот заявил, что пойдет звонить жене, Ипатов только подумал, что неплохо бы поговорить с Машкой и Олегом по телефону, но вслух ничего не сказал. Решение позвонить пришло потом, когда Александра Семеновича уже не было в палате. Неужели так легко было прочесть на его лице еще смутное и во многом неясное желание?

— Как вы догадались, что я приду?— тихо, чтобы никто не слышал, спросил Ипатов.

— Вы когда о чем-нибудь задумываетесь,— ответил Александр Семенович,— слегка поджигаете верхнюю губу. Вот я и занял на всякий случай.

— Слегка поджигаю губу?— удивился Ипатов.

Александр Семенович кивнул головой:

— Это не так трудно заметить...

— Но мне никогда никто об этом не говорил,— пожал плечами Ипатов.— Возможно, появилось с годами...

— Возможно...

Впрочем, за столько дней пребывания в одной палате они имели полную возможность приглядеться друг к другу. Ипатов тоже неплохо изучил своего соседа. Больше всего поражало в Александре Семеновиче несоответствие волевого, мужественного лица с неуверенными, нерешительными руками. Несомненно, это в значительной мере отражало его изрядно закомплексованный, интеллигентский характер...

Времени у больных было много, поэтому никто никого не торопил: говорили помногу, обстоятельно, с уймой нужных и ненужных подробностей. Ипатов с Александром Семеновичем отошли к распахнутому окну и уселись на широкий подоконник. Внизу в небольшом сквере шла обычная летне-парковая жизнь. На скамейках сидели и вели свои нескончаемые разговоры пенсионеры. Деловито и сосредоточенно возились в песочницах малыши. Нежно поскрипывали детские коляски, которые задумчиво и в то же время ответственно катили перед собой молодые мамы. Носились, упиваясь свободой, запахами и встречами, пудели и таксы. Сквозь густые кроны деревьев мигало солнце...

— Какая благодать!— с блаженным выражением лица произнес Александр Семенович.

— Да, хорошо,— подтвердил Ипатов. Он чувствовал, что с годами становится все больше похож на отца, и, как тот, предпочитал восхищаться молча. Или, на худой конец, сдержанно, как сейчас.

— Вот вам и семейная драма!— кивком головы показал Александр Семенович.

По ближней аллее быстрыми, неверными, рассерженными шагами уходил из сквера мужчина. На нем был сильно помятый костюм и такая же помятая кепочка. Натуральный выпивоха, каких немало ошиваются у пивных ларьков. Из-за высокого детского терема выскочила и побежала за ним женщина в распахнутой куртке, в наспех накинута на плечо платочке.

— Женя, стой!— кричала она.— Ты ведь знаешь, что мне нельзя бежать!

Он продолжал идти, не оборачиваясь и не отвечая. В страхе, что он может уйти, женщина из последних сил рванулась за ним. Задыхаясь, она наконец догнала мужчину и схватила его за рукав. Он пытался вырваться, но женщина вцепилась в него мертвой хваткой. Они долго и противно ругались, выясняя отношения. Впро-

чем, ругался в основном он, она же только жалобно упрекала.

— Знаете, — вдруг печально признался Александр Семенович, — а я ему завидую!

— Ему? В чем? — опешил Ипатов.

— Посмотрите, как она его любит. Готова бежать за ним хоть на край света. И побежала бы, поверьте!..

— Сомневаюсь, — возразил Ипатов, а сам подумал: бедный, бедный Александр Семенович. Можно представить, как мало перепадает ему женского тепла и ласки, что он позавидовал этому поганцу — вон как матерится!

Нет, он, Ипатов, в несколько лучшем положении. Госпожа продюсер хоть делает вид, что он ей дорог, что она просто ах как стосковалась по нему. Когда он был помоложе, он еще пытался вывести ее на чистую воду, но с годами смирился, даже перестал ревновать...

— Вы будете звонить? — вдруг услышали они. За разговорами и не заметили, как подошла их очередь.

— Ваша очередь, — сказал Александр Семенович Ипатову.

— Нет, ваша, — уступил тот.

— Я быстро! — губы Александра Семеновича сложились в жалкую, вымученную улыбку.

— Говорите, сколько надо. Мне не к спеху!

— Не знаю, — как-то неопределенно ответил Александр Семенович, опуская в прорезь автомата монетку.

Ипатов деликатно отвернулся, переключил внимание на сквер. Он понимал, что теперь, когда Александр Семенович, сам того, может быть, не желая, открылся перед ним, признался в самом сокровенном, будет верхом бестактности развесить уши.

Но, как Ипатов ни старался не слушать, полностью изолировать себя от чужого разговора ему не удалось. Долетали отдельные слова. Поражали просительные, заискивающие нотки в голосе Александра Семеновича. Он разговаривал с женой так, как будто был кругом виноват. Не хватало ему еще ощущать на себе осведомленный, сочувствующий взгляд Ипатова. Остальные в очереди хоть не знали.

Разговор оборвался на полуслове. Александр Семенович даже не договорил фразы. Смущенно улыбнувшись, он повесил трубку.

— Уже поговорили? — Ипатов сделал вид, что ничего не заметил.

— Да, да, пожалуйста...

Трубка еще хранила тепло от вспотевшей ладони Александра Семеновича.

Ипатов сперва позвонил домой. Услышав его голос, теща первым делом пожаловалась, что засорился унитаз.

— Позовите сантехника,— как можно спокойнее посоветовал Ипатов и спросил, где Машка.

Оказалось, что всех школьников бросили на сбор макулатуры. Затем теща вспомнила, что уже второй день из почтового ящика крадут газеты. На этом они закончили разговор, и Ипатов, попросив у очереди разрешение сделать еще один короткий звонок, набрал служебный телефон Олега. Сына на работе не было. Чей-то очень милый смешливый женский голос сообщил, что Олег Константинович с утра на совещании в райкоме. Последнее время он что-то зачастил туда: похоже, старался быть на виду...

— Поползли?— сказал Александру Семеновичу Ипатов, повесив трубку.

— Поползли,— ответил тот.

Медленно, отдыхая почти на каждой ступеньке, начали они свое первое после инфаркта восхождение по лестнице...

Сколько голубей на крыше клиники, где когда-то умерла мама. Ипатов увидел их, проходя по коридору, через открытую дверь и открытое окно шестой женской палаты. Они сидели на самом краю и казались непомерно большими на фоне светлого неба...

Нет, нет, только не думать... не вспоминать... оберегать сердце от излишних эмоций...

Машки еще не было. Зато его дожидались сразу трое: «ясновельможный пан» Жиглинский и двое с работы: Шорохов и Ирулик. То, что к нему одновременно заявилось столько посетителей, оказалось, вызвало недовольство дежурной сестры. И только после того, как Жиглинский «задействовал» (выражение Ирулик) свое обаяние, их пропустили.

Ирулик говорила без умолку. Она, очевидно, намеревалась рассказать Ипатову все последние институтские новости. Остановить ее было невозможно, и поэто-

му оставалось лишь набраться терпения и дожидаться, когда наконец иссякнет источник. Несмотря на то что Ирулик имела высшее образование (редакторское отделение Заочного полиграфического института), она не отличалась ни умом, ни знаниями. Откуда-то взяв, что у нее незаурядные математические способности, она однажды заявила всем, что, если бы захотела, стала бы второй Софьей Перовской. Когда же ее поправили: «Софьей Ковалевской!», она тут же возразила: «Ну это как посмотреть!» О себе она часто говорила в третьем лице: «Ирулик побежала домой!», «Ирулик что-то себя плохо чувствует», «Ирулик хочет ам-ам!». Было же Ирулик (по паспорту — Ирине Петровне Татарниковой) сорок два года, и Ипатов, проработавший с ней в одной «конторе» целых десять лет, уже давно смирился с тем, что эта добрая, энергичная, старательная женщина глупа как пробка. Второй сослуживец — редактор отдела Шорохов (по паспорту — Герц-Шорохов Павел Борисович) был правой рукой Ипатова, его неофициальным замом. Поначалу многие недоумевали: что за нужда заставила пойти работать к ним профессионального литератора, члена Союза писателей? Поговаривали даже, что он устроился сюда, чтобы, по примеру некоторых своих коллег, внедрившись в коллектив, описать его потом в художественных произведениях. Чтобы потянуть на главную героиню, Ирулик целую неделю ходила на работу в бархатном платье. Следом за нею принарядились и другие женщины.

Все прояснилось в день выдачи аванса. Получая свои кровные семьдесят пять рэ, Герц-Шорохов дрожащими руками пересчитал купюры и взволнованно признался: «Уже полгода как не держал в руках столько денег!» Оказалось, что последняя его книга вышла семь лет назад, а новая еще только пишется и неизвестно когда напишется. Между тем у него большая семья (жена, двое детей, мать), а есть-пить надо каждый день.

В отделе только Ипатов знал, что привело к ним Шорохова. Он же устраивал его на работу, преодолевая чудовищное сопротивление кадровиков. «Шолохова, может быть, еще и взяли,— бурчали те,— а то Шорохов, да еще Герц... Сами посудите, на кой ляд нам писатель? И без него хватает писак!»

Но работы в отделе было невпроворот, под угрозой срыва находилось то одно, то другое, а найти подходя-

шего человека на должность редактора быстро никак не получалось. И тогда Ипатов уговорил заместителя директора по кадрам взять писателя хотя бы временно — на два месяца. Так он незаметно и прижился.

Выглядел Герц-Шорохов старше своего начальника, за шестьдесят, хотя был моложе на несколько лет. Он ходил всегда в сером, обтерханном, помятом костюме, в старых потрескавшихся ботинках и походил больше на чеховского героя, чем на советского писателя.

Щадя его самолюбие, Ипатов всячески избегал начальственного тона, разговаривал с этим замотанным, растерявшимся человеком неизменно уважительно, дружески-непринужденно. Того же он требовал и от коллектива отдела. А Шорохов быстро сориентировался в своих многослойных обязанностях и буквально за два-три дня стал незаменимым. Работать с ним было одно удовольствие, потому что он все схватывал на лету и с любым заданием управлялся в срок.

Конечно, сейчас Ипатов с большим интересом послушал бы его, а не Ирулик. Но намеков она не понимала, а сказать прямо, пусть даже в вежливой форме, чтобы помолчала, дала поговорить и другим, значит, нанести ей жестокую обиду. Ирулик считала, что она неотразима, что нет мужчины, который мог бы устоять перед ее чарами, и вдруг такой конфуз! Ведь кроме своих — Шорохова и Ипатова, с нее, как она была убеждена, не сводили восторженных глаз еще четыре представителя сильного пола, включая обаяшечку Жиглинского.

Жаль, что Ирулик не видела этого обаяшечку, вальяжно восседавшего на табуретке за ее спиной. На его холеном породистом лице была написана такая скука, что Ипатов даже попробовал втянуть приятеля в общий разговор, если можно назвать общим разговором нескончаемую Ируликину болтовню.

Ни к чему не привела и попытка Ипатова обращаться напрямую к Шорохову. Ирулик тут же перебивала, встревала в разговор и вскоре опять брала инициативу в свои руки.

Поэтому у Ипатова и Шорохова не оставалось другого выхода, как переговариваться с помощью коротких взглядов, быстрых улыбок, скупых жестов. Так уточнялись и корректировались сообщаемые Ирулик новости и сплетни.

Но и без этой всеподавляющей болтовни однокурсники в лице Жиглинского и сослуживцы в лице Шорохова и Ирулик почти не стыковались между собой. Одной болезни Ипатова, видимо, было мало, чтобы объединить их общим интересом.

Чтобы убить как-то время до ухода Ирулик и ее бессловесного спутника, Жиглинский взял с подоконника старый-престарый «Огонек» и принялся его листать...

Ждать ему пришлось довольно долго — еще полчаса. За первую половину визита, пока верховодила Ирулик, он не сказал ни одного слова, если не считать выразительного «гм», когда Ипатов пытался подключить его к общему разговору. И только после того, как за Шороховым и Ирулик закрылась дверь, он торжественно возвестил своим неповторимым бархатным голосом:

— Я делегирован к тебе твоими бывшими сокурсниками, — Жиглинский вскинул на колени черный «дипломат» и, одновременно шелкнув обоими медными замками, откинул крышку, — чтобы вручить наш скромный адрес...

Он подал Ипатову зеленую папку с золотым тиснением.

— Мне? Адрес? Зачем? — Ипатов ничего не понимал.

— Загляни...

Ипатов раскрыл папку и увидел два листа мелованной бумаги, исписанных крупной старославянской вязью. Золотом и серебром горели заглавные буквы. В конце послания теснилось много набегавших друг на друга подписей...

И в самом деле, адрес предназначался ему...

«Многоуважаемый Константин Сергеевич! Наш дорогой Костя! Мы все честной компанией сердечно поздравляем тебя, нашего славного правофлангового, лихого гвардейца, гвардейца не только званием, но и ростом («Господи, до сих пор помнят, что длиннее его на курсе никого не было!...»), с высокоторжественной датой — с 60-летием со дня рождения...»

А он забыл, что послезавтра ему шестьдесят. То есть помнил, но в последнее время перестал думать: решил, что все равно не придется отмечать. В лучшем случае поздравят одни домашние. Еще не было ни разу, чтобы они позабыли, не поздравили. Но им, как говорится,

и карты в руки. Но откуда однокурсники узнали? Не удержался, спросил об этом Жиглинского.

— Грош цена была бы нашему оргкомитету,— по-смеиваясь, ответил тот,— если бы мы не располагали досье на каждого. Среди них есть прелюбопытнейшие...

— Мое, в частности?

— В частности, и твое...

Значит, готовясь к предстоящей встрече, члены оргкомитета добрались и до университетского архива. Там они, очевидно, познакомились с личными делами бывших студентов, получили точнейшую информацию о каждом из них. Точнейшую... Ипатов усмехнулся. Он был уверен, что вранья в этих анкетах и автобиографиях не меньше, чем правды. Сам он тоже заливал где надо и где не надо. Но что касается дня рождения, там он был точен...

И все-таки в оброненной Жиглинским фразе таился намек на какое-то неординарное обстоятельство из жизни Ипатова, обнаруженное в бумагах. Скорее всего, что-нибудь забавное, иначе Жиглинский не решился бы столь открыто интриговать приятеля. В увлекательных, праздничных играх взрослых, именуемых встречами однокашников, также были свои неписанные правила. И первым из них значилось: ни под каким видом не упоминать то, что было бы кому-нибудь неприятно. Полагалось говорить только хорошее, по возможности украсив его, это хорошее, мягким и необходимым юмором.

— Тронут до слез,— искренне поблагодарил за адрес Ипатов.— Нет, правда, приятно, что поздравили... поздравили,— поправился он, понимая, что инициатором, больше того — организатором этой затеи был не кто иной, как Жиглинский.

— Разве можно тебя не поздравить?— насмешливо сощурился, ответил тот.— Ты был одной из наших колоритнейших фигур. Дон Кихот и Дон Жуан одновременно.

— Ни больше ни меньше...

— Тебя даже Петренко помнит...

Петренко был тот самый знаменитый министр, чье присутствие должно было украсить их сбор.

— Меня? Петренко?— приятно удивился Ипатов.— А я совершенно не помню его... Если бы показали на наших первых студенческих фотографиях, может быть, и вспомнил. А теперешние его портреты мне ничего не

говорят... Что, его подпись тоже здесь? — взгляд Ипатова заметался от одной подписи к другой.

— Нет, конечно. Я разговаривал с ним только по телефону. Я тебе когда-нибудь расскажу, как мы — это целая эпопея — добывали номера его телефонов... Сперва он удивился, а потом обрадовался. Обещал непременно быть. И что самое фантастическое, он многих помнит. В том числе тебя. Он сам первый заговорил о тебе. Был у нас, говорит, такой Ипатов. И описал твою внешность. Я засекал на часах — двадцать две минуты разговаривали... Правда, ходят упорные слухи, что его скоро попросят на пенсию... по состоянию здоровья, как принято сейчас говорить... Но в любом случае — он наш, — с легким вздохом заключил Жиглинский.

«Впрочем, если снимут Петренко, — невольно подумал Ипатов, — все равно останется Захарчук (Захарчук была фамилия выдающегося кинорежиссера). Того уж никто и никогда не снимет. Приписан, как говорит моя милая женушка, навечно к кинематографу. Так что оргкомитет утешится быстро...»

— А Захарчук подписался?

— А как же! Вот его подпись! — Жиглинский безосмысленно ткнул пальцем в размашистое «Зах».

— Он что, тоже помнит меня? — Ипатов почувствовал, что у него горят щеки.

— Откровенно?

— Откровенно.

— Откровенно, нет. Но это не имеет значения. При встрече вспомнит.

«Значит, некоторые подписали, не помня меня, по его просьбе, так сказать, авансом», — сделал вывод Ипатов. Мгновенно прояснились и причины, побудившие Жиглинского заняться столь хлопотным делом. Этим адресом он, как человек практичный и деловой, сразу убивал двух зайцев. Делал приятное Ипатову и еще до встречи возобновлял знакомство с массой нужных людей. Даже те, кому, казалось бы, не очень повезло в жизни, хоть чем-нибудь да могли быть ему полезными. «Но может быть, я думаю о нем хуже, чем он есть?» — подумал Ипатов.

Жиглинский, видимо, все-таки заметил тень, пробежавшую по его лицу, и решил раскрыть карты.

— Чтобы тебя не мучили сомнения, — пробасил он, — еще трое не помнят тебя. И двое попросили под-

писаться за них. А в остальном, можешь мне поверить, адрес как адрес...

— Я вижу, тут приложили руку художники-профессионалы,— сказал Ипатов, любуясь причудливым шрифтом и живописными виньетками. К тому же, он, чувствуя себя немного виноватым перед Жиглинским, хотел сказать ему что-нибудь приятное.

— Моя благоверная. Когда-то она окончила Мухинское училище,— с явным удовольствием сообщил тот.

— Красотища какая...

— Можно посмотреть?— это неслышно подошел сзади Алеша.

— Посмотри.

Осторожно, чтобы не запачкать адрес, Алеша ладонями подхватил папку и, присвистнув от восхищения, опустился на соседнюю кровать. Там его уже поджидал Александр Семенович, сгоравший от нетерпения. Оба заахали, завосторгались.

— Да, кстати,— вдруг вспомнил Жиглинский,— попросила подписаться за нее и Светлана Попова.

Сердцу сразу же стало тесно в груди, обжигающим жаром запылали щеки.

— Как, и ее тоже нашли?— каким-то не своим голосом спросил Ипатов.

— Конечно,— наслаждаясь столь очевидным смущением приятеля, ответил Жиглинский.— Как мы и предполагали, она живет в белокаменной. Работает — смотри не упади, держись крепче за кровать — в большом Совмине. Одним из главных референтов. Мы с ней очень мило поговорили. Она тоже обещала быть... Поинтересовалась, с кем из наших встречаюсь. Я назвал тебя и сказал, что лежишь с инфарктом. Она долго выпрашивала, как ты себя чувствуешь, и просила передать привет. Я поставил ее в известность, что на будущей неделе тебе стукнет шестьдесят. Сказал, что готовим от всех нас адрес. Она попросила подписаться и за нее. Причем — заметь!— прежней девичьей фамилией...

Прежней девичьей фамилией...

В тот день первым заявился Валька Дутов. Было это в начале двенадцатого, когда Ипатов закончил уборку и теперь нервно прислушивался ко всем звукам в подъезде: хлопанию дверей, шагам, голосам. Когда кто-то входил, у него всякий раз замирало сердце. На звонок Ипатов рванулся к двери так, что опрокинул табуретку, больно ушиб левую голень.

«Это ты?» — увидев Вальку, уныло произнес он.

«Послушай, старик, может быть, мне лучше зайти в другой раз?» — спросил тот, не переступая порога.

Ипатов тут же опомнился:

«Ты что? Ты что?.. Заходи!»

«Только учти, старик, я ненадолго», — предупредил все еще не оправившийся от конфуза Валька.

«Ну хоть немного можешь посидеть?» — слукавил Ипатов. И на всякий случай поспешил уточнить: — «Пять, десять минут?»

«Пять, десять можно», — согласился тот.

«Давай раздевайся!»

Валька выбрался из своего кожаного генеральского реглана и повесил его на свободный гвоздь самодельной вешалки.

«Проходи!» — повел Ипатов гостя за собой.

Утренние усилия Ипатова не пропали даром. Сегодня в закутке все было аккуратно расставлено и прибрано. Блестел натертый воском паркетный пол. Вместо обычного покрывала на кровати возлежала старинная зеленая бархатная скатерть — подарок бабушки на новоселье. В середине кресла, где особенно выпирали пружины, покоилась вышитая думка. Пятно на стене было прикрыто трофейным немецким календарем на 1938 год...

Валька сел в кресло и, окинув любопытным взглядом комнатку, сказал:

«А знаешь, старик, у тебя тут довольно мило!»

Ведь врет и не краснеет. Все понимает, и зачем-то прикидывается...

«Я вот думаю, много ли человеку нужно, а?»

Вот как, он еще разводит философию на мелком месте!

«Не надо... не надо», — поморщился Ипатов.

«Ах вот что ты подумал, — криво улыбнулся Валька. — Ладно, замнем для ясности!»

«Так будет лучше», — заключил хозяин милого закутка.

«Я хотел зайти вчера, но никак не мог,— стал оправдываться Валька, переводя разговор на другое.— Понимаешь, старик, какая вышла история. Нянька чуть богу душу не отдала...»

«Как?»

«Вот так. Поднималась по лестнице и поскользнулась. И крепко брякнулась головой о ступеньки. Даже сознание потеряла. Был бы батя в городе, он бы быстро разобрался. А я здорово растерялся. Но потом все-таки вызвал «скорую». Установили сотрясение мозга. Ну, уложили в постель, запретили вставать целую неделю. А я при ней за сиделку. Кроме меня, ей некому ни подать, ни принести. Чтобы выбраться к тебе, я попросил подежурить старушку-соседку. Так что извини, старик, я побегу? Ты, я вижу, уже оклемался. Ну и потому я не спрашиваю, как себя чувствуешь. По тебе видно — лучше всех. Ладно, я побегу?»

«Беги», — с облегчением сказал Ипатов. Все складывалось как нельзя лучше. Гость не засиделся и не обиделся: уходил, потому что того требовали обстоятельства, потому что это нужно было ему, а не Ипатову. Просто их интересы совпали, что не так часто бывает в жизни.

Впрочем, радость оказалась несколько преждевременной. Только оба встали, как заверещал звонок. Словно судьба приберегла его к моменту, когда гость соберется уходить. Ни раньше, ни позже. И опять сердце начало набивать себе мозоли о широкие мужские ребра. Ипатов не сомневался, что звонит Светлана.

«Звонок», — подсказал Валька, очевидно заметив замешательство приятеля.

«Да, слышу», — ответил тот и направился в прихожую. Странно, что он не слышал ни хлопанья дверей внизу, ни шагов по лестнице, хотя все время, даже разговаривая с Валькой, прислушивался к звукам за стеной...

Ипатов открыл дверь и увидел бабушку. Несмотря на декабрь, она была в своем стареньком осеннем пальтишке из выношенного перелицованного драпа. Родители Ипатова не раз порывались купить ей что-нибудь на вате, потеплее, но бабушка и слушать не хотела об этом. Уверяла, что не мерзнет, что на ее век хватит и что все равно редко куда ходит, вот только в магазин напротив и в праздники к ним. Она считала, что, пока ноги еще таскают, пока сама себя обслуживает, ее

долг — как можно меньше доставлять хлопот и беспокойства ближним.

Но, как Ипатов ни любил бабушку, в эту минуту он при виде ее не почувствовал ничего, кроме раздражения. Ну чего ей не сиделось дома, чего она притащилась? Он понимал, что избавиться от нее будет куда труднее, чем от Вальки. Если она когда выбиралась к ним, то домой уже не спешила. Сидела часами, дожидаясь сына и невестку, как бы поздно те ни приходили.

До сих пор она никому, включая Ипатова, не была в тягость. Но сейчас он лихорадочно думал о том, как бы ее спровадить.

Об этих душевных муках, раздиравших ее любимца, бабушка, конечно, не догадывалась. На ее бескровном морщинистом лице сияла счастливая, удовлетворенная улыбка: значит, бабушка пришла не просто так, чтобы повидаться со всеми, а навестить больного внука. И сейчас радовалась, видя его уже поправившимся, на ногах.

Потому-то ее первые слова и были полны беспокойства о нем:

«Костик, не стой в дверях. Тут всю гуляют сквозняки. Не хватало еще, чтобы ты получил осложнение. Тут ужасно, просто ужасно дует!»

«Не дует, бабушка».

«Я же чувствую...»

Спорить с ней по поводу сквозняков бессмысленное занятие. Она действительно улавливает даже самые слабые колебания воздуха. С них у нее начинаются сильнейшие мигрени.

В прихожей Валька уже натягивал на себя пахнущий дорогой кожей, томно поскрипывающий реглан.

«Бабушка, познакомься. Это мой товарищ по Университету Валя Дутов».

«Очень приятно, — сказала бабушка и подала Вальке руку. Тот ответил легким и осторожным пожатием. — Как, вы уже уходите?»

«Вот, выпроваживает!» — кивнул он на Ипатова.

«Ты чего сочиняешь? — смутился любимый внук. — Бабушка, не слушай его. Он торопится домой, потому что у него заболела нянька».

«Домработница?» — переспросила бабушка.

«Нянька, — повторил Ипатов. — Она нянчилась с ним, когда он еще пачкал пеленки...»

«Не только со мной, но и с моей мамой...»

Валька уже во второй раз с момента знакомства заговорил о матери, но где она и что с ней, он опять почему-то недосказал...

«Жаль, что вы не можете составить нам компанию», — заметила бабушка.

Она, кажется, и в самом деле огорчилась, что Валька уходит. Сколько Ипатов помнил себя, она всегда интересовалась его приятелями, приглядывалась к ним. И в результате, одних привечала, других — отваживала от дома.

Валька же был первым из друзей Ипатова по Университету, с которым ее познакомили. И он, по-видимому, ей чем-то понравился.

Похоже, что это у них взаимно. Ипатов не помнил, чтобы Валька кому-нибудь из женщин целовал руку, а бабушке поцеловал. Ушел он, провожаемый ее оторопело-благодарным взглядом.

«В этом юноше, — торжественно объявила бабушка, — море благородства и чистоты».

Увы, воспитанная на литературе конца прошлого и начала этого века, она нередко использовала в своем лексиконе устаревшие метафоры.

Бабушка хотела по обыкновению чмокнуть Ипатова в подбородок, но он вовремя отстранился: не хватало еще заразить ее, если у него грипп или какая-нибудь другая пакость. Он вспомнил недавний разговор родителей о том, как тяжело переносят простудные заболевания старики и как опасно для них воспаление легких. И тут его озарило: а что, если сыграть на этом? Проявить заботу о бабушке и одновременно...

«Бабушка, не трогай меня, заразишься!» — отодвинулся он от нее.

«Знаешь, что, — вдруг заявила она, — я сейчас осмотрю тебя...»

Ну все, теперь в ней заговорила сестра милосердия, через руки которой в гражданскую войну прошла не одна сотня раненых и больных.

И все-таки Ипатов не сдавался:

«Бабушка, не надо, еще подцепишь инфекцию!»

«Мне лучше знать, надо или не надо, — грозно надвигалась она на растерявшегося внука. — Открой рот!»

Ипатов открыл.

«Чистое горло!.. Кашель, насморк есть?»

«Есть, есть! — обрадовался он. — И еще какие!» В подкрепление сказанного он зашмыгал носом и рас-

кашлялся. При этом отвернулся, чтобы видела, что он действительно боится ее заразить. До чего же мирно уживались сейчас правда и ложь. И даже совесть нисколько не беспокоила. Впрочем, Ипатов давно усек, что не всякая правда — благо и не всякая ложь — зло...

Конечно, бабушке и в голову не пришло, что любимый внук втирает ей очки. Она тут же полезла в шкапулку, в которой хранились лекарства, и нашла там нужные таблетки от кашля. Ипатову ничего не оставалось, как под ее присмотром проглотить одну из них.

Когда Ипатов в очередной раз попросил бабушку держаться от него подальше, она задорно ответила: «Зараза к заразе не пристанет!» Эту ее присказку он помнил еще с детства, когда долго и тяжело болел. Так говорила, обслуживая тифозных больных, одна из санитарок, с которой бабушка подружилась в лазарете еще в двадцатом году на польском фронте. К слову, сочетание изящных литературных оборотов с просторечиями делало разговорную бабушкину речь, по выражению мамы, старомодно-форсистой, с чем Ипатов-внук, в отличие от Ипатова-сына, был, в общем-то, согласен.

Но сейчас Ипатову было не до бабушкиных разговоров. В любую минуту могла прийти Светлана. Поняв, что никакими гриппами, никакими простудными заболеваниями бабушку не запугаешь, он лихорадочно пустился в поиски новых благовидных предлогов...

И нашел-таки...

Было еще только начало первого, а в комнату (комнаты) с улицы уже поползли сумерки. За окнами кружил легкий снежок.

«Бабушка, ты легко добралась до нас?» — начал издалека Ипатов.

«Прекрасно!»

«Пока светло было, я понимаю. А вот как стемнеет, я не представляю, как ты доберешься до дому?»

«Как всегда, — невозмутимо ответила бабушка. — Может быть, Сережа или Аня проведут до автобуса».

«Я точно не помню, — стал отчаянно, хотя и осторожно, с оговорками, врать Ипатов, — но, кажется, мама с папой собирались куда-то пойти после работы. То ли на лекцию о международном положении, то ли на концерт. Они могут вернуться очень поздно».

И в самом деле, на днях у родителей был разговор о какой-то интересной лекции и каком-то необыкновенном концерте, на которые, как заикнулась мама, неплохо

хо бы сходить. Но когда они состоятся, Ипатов начисто прослушал. Поэтому-то, чтобы его не уличили во лжи, он и обставил свое вранье искусными оговорками: «точно не помню...», «кажется...», «то ли на лекцию, то ли на концерт...».

Бабушка, как и следовало ожидать, ничего не заподозрила. Благодарно погладила ему руку:

«Костик, не беспокойся обо мне, не переживай. В крайнем случае возьму такси. Деньги у меня есть. Я вчера неожиданно разбогатела...»

«Каким образом, бабушка?»

«Одна из моих верных подружек вернула мне старый долг. Шестнадцать рублей. Я о них давно позабыла. На такси хватит...»

«Может и не хватить, бабушка».

«У меня есть еще несколько рублей в записке,— просто произнесла бабушка это совершенно не ее слово.— На такси хватит...»

На этом можно было поставить точку. Бабушка занимала прочную, круговую, многоэшелонированную оборону. В голове больше не появилось ни одной хитроумной спасительной мысли.

Как и прежде, Ипатов вздрагивал на каждый стук, скрип, шорох в подъезде и на лестничной площадке. И в то же время, улыбаясь, слушал бабушку, которая рассказывала одну забавную историю за другой.

Сегодня, например, ее насмешил милиционер-регулировщик, остановивший трех старушек (среди них была и бабушка), когда они переходили улицу в неподходящем месте. «Гражданочки, не спешите!— строго предупредил он.— Экономьте ваши старые жизни!»

Потом она вспомнила соседку, которая пять раз была замужем. Своих бывших мужей та называла не по имени, а по номерам: «мой первый», «мой второй», «мой третий» и т. д. Сейчас к ней ходит некто Петров, пожарный, которого она в порядке исключения величала «мой огнетушитель». Сказав это, бабушка смутилась. Возможно, подумала, что внук, этот чистый, невинный мальчик, ужаснется, услышав из ее уст такую скабрёзность.

Но тот не ужаснулся, даже поначалу не заметил двусмысленности: видимо, прослушал. Потом, конечно, он допер до сути. Однако, чтобы не конфузить бабушку еще больше, сделал вид, что ничего не понял. Наконец

она справилась с смущением и стала рассказывать новую историю.

Позавчера она вышла из молочного магазина и вдруг на противоположной стороне улицы увидела... себя. И одета была та, другая старушка, точь-в-точь как она. В таком же драповом пальто, в такой же шляпке, в таких же разбитых ботиках. Увидев своего двойника, бабушка первым делом подумала: «Куда я иду?» И добрых две минуты провожала «себя» удивленным, встревоженным взглядом. А та, другая, даже ни разу не обернулась. Как будто, уходя, уносила с собой какую-то тревожную тайну...

Ипатов слушал рассеянно, невнимательно, и не заметить этого было невозможно.

Рассказывая, бабушка то и дело спрашивала:

«Ты слушаешь?»

«Да, бабушка», — спохватываясь, подтверждал он.

Наконец бабушка догадалась:

«Ты кого-нибудь ждешь?»

«Да», — признался он, понимая, что сейчас ему выгоднее говорить правду.

«Девушку?»

«Да», — решительно выложил он свой последний козырь. Предательски горело лицо.

Бабушка посмотрела на внука умными, живыми, смеющимися глазами и неожиданно почесала себе нос деформированным суставом пальца. Потом перевела взгляд на тусклое, затянутое сумерками окно и сказала:

«А знаешь, ты прав, пока еще не совсем стемнело, надо ехать домой...»

«Бабушка, только будь осторожна. Там, возле нашего подъезда, уйма несколотого льда. И попроси кого-нибудь перевести тебя на другую сторону...»

«Не волнуйся, Костик, — проговорила она, — я буду очень, очень осторожна... буду экономить свою старенькую жизнь...»

Все-таки скрыть до конца обиду на внука бабушке не удалось. Сердце Ипатова сжалось от острой, щемящей жалости к ней...

И опять о своем приходе Светлана возвестила коротким и робким звонком. У Ипатова не было ни малейших сомнений, что звонила она. Хорошо еще, что на этот раз дорогу не преграждал стул или табуретка.

В одно мгновение он перенесся к дверям. Светлана встретила его появление на пороге открытой, смущенно-вызывающей улыбкой на чистом, свежем, прекрасном лице. Он рывком притянул девушку к себе, и вся та нежность, что накопилась в нем за долгие часы ожидания, вылилась в безудержно жадных поцелуях. Он поднял ее на руки и так, прямо в шубке, шапочке и ботах, понес к себе в комнату...

Потом Ипатов готов был провалиться сквозь землю. Пока он скрипел зубами по поводу мужского несовершенства, она молча приводила себя в порядок. Вскоре он спохватился и начал объяснять ей, что такое бывает всегда, когда мужчина... Словом, в теории он был силен. Но и Светлана, оказывается, тоже не с луны свалилась. Кое-что читала, кое-что слышала. В результате то, что он говорил, падало на благодатную почву. И если бы не поджимало время (вот-вот должны были нагрянуть отец с матерью), они бы тут же все повторили...

Увы, тогда им было не до иронии, а тем более — самоиронии. Но так уж устроен человек, что проходит время, и он неожиданно обретает новое зрение. В каждом пласту жизни свой опыт, своя радость, своя горечь и свой смех...

Понимая, что лучшего места и лучшего времени для встреч им все равно не найти, Ипатов не торопился объявлять себя здоровым и целых две недели просидел дома. Что другое, а сачковать он умел. И каждый день «больного» навещала Светлана. Правда, в воскресенье она не приходила. И не потому, что не хотела или избегала знакомства с его родителями. Наоборот, интерес у нее к ним возрастал день ото дня. Просто ей казалось, что они сразу поймут, как далеко зашли отношения у обоих. И Ипатов не настаивал, хотя ни он, ни она уже не сомневались, что в скором времени поженятся. Но, в отличие от нее, он считал, что сперва надо поставить в известность ее родителей, а потом — его. Так, прикидывал он, будет осмотрительнее, вернее. В конечном счете, от того, как отнесутся к их планам старшие Поповы, зависят и дальнейшие действия. Что ни говори, а у них с ним связаны пока только одни огорчения. Конечно, он и Светлана поженятся в любом случае, даже

если придется переехать жить в общежитие. Но они должны ясно видеть, что их ждет на первых порах и как с этим бороться. Его же родители, он уверен, мешать не будут, и поэтому — какой смысл впутывать их в эту историю раньше времени? Пусть до поры до времени остаются в счастливом неведении. И Светлана под конец согласилась с ним. Она постарается за два-три дня подготовить родителей. Маму она уговорит быстро. А вот с папой придется повозиться. Ему всякий раз становится плохо, когда появляются претенденты на ее руку. У него бзик. Он хочет выдать ее только за военного моряка. Так что на будущей неделе, она думает, все будет решено...

«А разве уже не решено?» — насторожился Ипатов.

«Улажено», — поправилась она.

«То-то», — сказал он, целуя ее в шею.

«Сегодня какой день?» — вдруг спросила Светлана.

«Четверг».

«Приходи в понедельник».

«Ты уверена, что к понедельнику все утрясется?»

«Тогда во вторник, хорошо?»

«О'кей!» — удовлетворенно воскликнул он...

И ведь это было, было, было... Или... или, как это с ним уже случалось не раз, дал волю воображению?.. Как мало ему иногда надо, чтобы оживить неживое... Однажды — это было в Комарово, куда он приехал навестить Герц-Шорохова, отдохавшего в Доме творчества писателей, — он шел мимо уютных и ухоженных академических дач. Под ногами ровно стелилась широкая, без единой выбоины асфальтированная дорога. И вдруг у домика лесника Ипатов услышал позади легкие, быстрые шаги. Он вздрогнул и резко обернулся. Его догонял сухой кленовый лист. Ипатов прибавил шагу. Но лист не отставал от него. Он бежал за ним, как маленькая высколенная собачонка, которая больше всего боится потеряться. Ипатов не помнил, что его тогда отвлекло, но когда он снова обернулся — кленового листа на дороге не было. Ипатов вернулся, осмотрел обе обочины, но лист как сквозь землю провалился...

А через несколько дней... да, через несколько дней он лежал на диване и читал книгу. Он даже запомнил что. Лесков. «На ножах». Ее ему дал почитать на два

дня Герц-Шорохов. Ипатов был в комнате один. И вдруг он услышал рядом чье-то спокойное и ровное дыхание. Он машинально приподнялся, посмотрел: никого! Тогда он снова принялся читать и снова ощутил за спиной близкое дыхание. И тут он не выдержал, вскочил с дивана, осмотрелся. В комнате, понятно, никого, кроме него, не было. Только потом до него дошло, что он слышал собственное дыхание...

Мама сразу почувствовала, что с ним что-то неладно. Она зашла к нему и тихо, чтобы не услышал отец, который в это время за перегородкой строчил какие-то свои деловые письма, потребовала:

«Ну, давай выкладывай!»

«Что выкладывать?» — смутился Ипатов.

«Тебе, дружок, это лучше знать».

Мамины большие глаза напряженно ждали ответа. Неужели она догадывалась обо всем? Но что она может знать еще, кроме того, что однажды приходила Светлана? Их ни разу не видели, не застали вместе. Светлана уходила примерно за час-полтора до возвращения его родителей с работы. Тот легкий, едва уловимый аромат духов, который оставался после нее в квартире, уже через несколько минут забивался неистребимыми кухонными запахами: после ухода Светланы, которая почему-то упрямо отказывалась пообедать с ним, Ипатов сам себе жарил котлеты, разогревал суп...

«Что я тебе могу сказать? — с напускным недоумением произнес Ипатов. — Как говорил один дореволюционный немец, телега едет, когда-то будет!»

«И далеко она заехала?» — полюбопытствовала мама.

«Не дальше лошади», — в тон ей ответил Ипатов.

«Вот как? Забавный у нас с тобой разговор... Впрочем, ни я, ни отец на твои тайны не посягаем, но все-таки не забывай, что мы с ним тоже в некотором роде заинтересованная сторона».

«Когда у меня будет что-нибудь новенькое, непременно сообщу», — пообещал Ипатов.

«Хорошо, договорились», — вздохнула мама.

Что же встревожило родителей? Ну конечно же, в воскресенье отец, по обыкновению, навестил бабушку. А та, разумеется, сообщила ему, что к Косте навевается какая-то девица. Папа, естественно, сказал маме,

а мама, моментально сообразив, что это посещение по меньшей мере было вторым, тут же забеспокоилась.

Разговор с мамой был в понедельник вечером. А утром того же дня Ипатов впервые после долгой и непонятной болезни (даже участковая врачиха поначалу не знала, какой поставить диагноз) заявился в Университет. Светлана уже ждала его. Вместо того чтобы пойти на лекцию, они забрались в один из свободных кабинетов восточного факультета. Здесь они могли спокойно обо всем поговорить.

Первым делом Светлана сообщила:

«Мама — за!»

Ипатов взволнованно ждал продолжения.

«А папа,— она стрельнула в него смеющимися глазами,— а папа — против.— И, увидев его потускневшее лицо, поспешила успокоить:— Но это не имеет значения...»

«Так приходить завтра или не приходить?»

«Приходить...»

«А он не турнет меня?»

«Пусть только попробует!»

Значит, возможен и такой вариант: «Позвольте вам выйти вон!»— Но тогда, судя по боевому настроению Светланы, быть скандалу в благородном семействе.

«А мама точно — за?»— с недоверием спросил Ипатов, вспомнив холодные, оценивающие глаза Светланиной мамы.

«Ну, не скажу, чтобы она плясала от радости,— сказала Светлана, опустив голову на его руку, лежавшую на столе,— но и не рвала на себе волосы...»

«Ты ей сказала, что мы...»

«Нет. Но сказала, что это будет, и очень скоро. Вот так».

«А она?»

«А она вспомнила свою молодость. Как папа ухаживал за ней. Он был тогда рядовым военмором, хорошо танцевал «яблочко»...»

Ипатов поцеловал Светлану в близкую переносицу.

«Я чувствую,— порывисто начал он,— мы поладим с твоей мамой. Она молодчина. Думаешь, я забыл, как она трогательно опекала меня, когда Толя саданул мне в солнечное сплетение?»

«Мама сложный человек»,— осторожно уточнила Светлана.

«То есть?»— насторожился Ипатов.

«У нее тоже бывают завихрения...»

«Какие?»

«Ну, это ты сам скоро узнаешь».

Ипатов помрачнел. Его нисколько не радовала перспектива познакомиться с завихрениями будущей тещи. С него хватало и одного тестя.

«Страшно стало?»— спросила Светлана, заметив пробежавшую по его лицу тень.

«Спрашиваешь...»— признался он.

«У нее не завихрения, а завихрюшечки,— попробовала успокоить она его.— Такие маленькие, маленькие...»

Ипатов фыркнул.

«Вот такие,— сблизила она указательные пальцы.— Хрюшечки, завихрюшечки...»

«Такие и у меня есть»,— вздохнул Ипатов.

«А знаешь,— чуть смущенно сказала Светлана,— я маме сказала, что ты хочешь стать журналистом-международником».

«Ну и зря!»

«Почему зря?»

«А вдруг не стану?»

«Вот как? Уже сомнение?»

«Мало ли что, возьмут да и не переведут на отделение журналистики!»

«Почему?»— удивилась Светлана.

«Ну... ну, биография может не понравиться».

«А что там может в ней не понравиться? Родился, учился... воевал»,— подчеркнула она интонацией слово «воевал».

«Кто знает»,— неопределенно ответил он. Но сам-то Ипатов прекрасно знал, чего боялся. Правда, был порыв поделиться со Светланой, но в последний момент придержал язык: зачем пугать раньше времени? А опасался он, чтобы каким-нибудь образом не открылось, что его дедушка, несмотря на героическое прошлое — комиссарство в гражданскую, высокие посты в последующие двадцать лет, остаток жизни провел на Колыме, среди белых медведей. Были в анкете и другие сгрехи: и по линии отца, и по линии матери. И по собственной линии. Вписал же он туда страны, в которых никогда не был и вряд ли когда-нибудь будет. Словом, есть к чему придаться, были бы только усердие и желание у проверяющих...

«Ты никому не скажешь?»— вдруг спросила Светлана.

«Нет»,— настороженно пообещал он.

«У меня тоже не все в порядке с анкетой».

«У тебя?»— Ипатов даже раскрыл рот от удивления.

«Дядю Павла, папиного двоюродного брата, в тридцать первом раскулачили и сослали в Сибирь».

«Ты что, указываешь это в анкете?»

«Нет, конечно. Там спрашивается только о близких родственниках. А дяди, тети не считаются».

И тут Ипатов подумал, что нет, наверно, ни одного человека, у которого не было в биографии какого-либо изъяна. Хоть что-нибудь да есть. Примеров можно привести сколько угодно. Даже в их семье, где три человека сражались за Советскую власть. Ну, с дедушкой все ясно: без драки попал в большие забняки. Зато один из бабушкиных племянников воевал в белой армии, а другой до революции был близким другом Волина-Эйхенбаума, впоследствии правой руки батьки Махно. И так почти в каждой семье.

«Ну, у меня похлеще...— начал Ипатов, решив на откровенность ответить откровенностью.— Дедушка...»— и он понизил голос.

Но рассказать о жалкой судьбе дедушки (а заодно и двух других родственников, оказавшихся на свалке истории) Ипатов так и не успел. Брякнула дверь, и на пороге показался староста курса Тимофей Задонский, бывший фронтовой смершевец, парень с острым, худым лицом, на котором по привычке дежурили не знающие покоя, все замечающие глаза.

«Ипатов и Попова, почему не на лекции?»— строгим голосом спросил он.

«Не дай бог, если он что-то услышал,— подумал Ипатов.— Но я не успел рассказать о дедушке, а разговор со Светланой о ее раскулаченном дяде он мог слышать только стоя за дверью, подслушивая, что, впрочем, сомнительно. Хотя, чтобы понять, о чем идет речь, ему достаточно услышать одно-два неосторожно оброненных слова...»

То ли от начальственного тона, которым было сделано замечание, то ли оттого, что их застали вдвоем за душевным разговором, Светлана смутилась и покраснела.

«Тебе объяснение в письменной или устной форме представить?» — насмешливо спросил Ипатов.

Но Задонский не позволил себе снизойти до мелкой пикировки.

«Повторять не буду, — жестко сказал он. — После лекции устроим проверку. Список отсутствующих представим в деканат. А там пеняйте на себя!»

И ушел, хлопнув дверью.

«Ну что, пошли на лекцию?» — спросил Ипатов.

«Пошли. А то привяжутся еще», — рассудительно ответила Светлана...

Было пятнадцать минут седьмого, когда Ипатов сошел с трамвая (номер четырнадцатый, прицепной вагон) и неторопливо зашагал к Подъяческой. Он располагал еще уймой времени. Со Светланой он договорился, что придет в семь-полвосьмого, когда наверняка будет дома их главная защита и опора — ее мама. Так что в его распоряжении оставалось как минимум минут сорок — сорок пять. Конечно, можно было выехать на полчаса позже, но тогда он рисковал встретиться со своими родителями, которые бы мигом заметили, что он явно не в себе. Да и вообще он не любил выходить впритирку, а потом лететь как угорелый. Предпочитал всегда и везде на всякий случай иметь запас времени. Но сейчас времени было больше, чем надо...

Ипатов зашел в угловой винный магазин. Там было полно народу. Одни распивали вино тут же по углам, другие брали с собой. Стоял густой, неподвижный, спертый винный воздух. Ипатов встал в очередь. Много пить он не собирался. Каких-нибудь сто граммов для храбрости. Впереди стоял мужчина с физиономией, сплошь разукрашенной синяками и царапинами.

«Ну, чего уставился?» — мрачно спросил он Ипатова.

«Я не на вас смотрю, на продавщицу», — соврал тот.

Незнакомец скользнул по лицу Ипатова недоверчивым, мутным взглядом.

«А чего смотреть? Баба как баба. — И, понизив голос, добавил: — Каждому по двадцать граммов недоливает. — И другим, совсем доверительным голосом спросил: — Знаешь, кто меня разделал?»

«Кто?»

«Враги народа», — дыхнув винным перегаром, тихо, заговорщически сообщил он.

И тут кто-то громко произнес:

«Это у него асфальтная болезнь!»

Сосед Ипатова обернулся и сник: насмешничал высоченный демобилизованный матрос с широченными плечами.

«Пока до дому дополз, сто раз мордой об асфальт шмякался. Теперь у него на каждом шагу враги народа!»

Очередь посмеялась.

Продавщица отпускала быстро, действительно открыто недоливая по десять, пятнадцать, двадцать граммов. Так что Ипатову долго ждать не пришлось. Взяв полстакана дешевого портвейна и конфетку, он отошел в сторонку. Там, стоя, выпил, заел помадкой и вышел на Садовую.

Электрические часы на углу Садовой и Майорова показывали полседьмого. Надо было где-то прокантоваться еще двадцать — двадцать пять минут. Несмотря на раннее время, улицы затопил густой зимний сумрак. Ипатов подошел к газетному стенду. «Правда», «Лен-правда», «Комсомолка»... Если бы не уличный фонарь, скупое цедивший свой уже совсем жидкий, дистрофический свет, вряд ли можно было что-нибудь разглядеть на газетных страницах... Как будущего журналиста-международника Ипатова в первую очередь интересовали новости из-за рубежа. Уткнувшись носом в третью полосу, Ипатов медленно перемещался от одной заметки к другой... Положение в Триесте («Никак не могут договориться!..»). Новое выступление Уинстона Черчилля («Нейметса старому бульдогу!..»). Речь советского дипломата в ООН («Интересно, очень интересно!..»). Рапорт комсомольско-молодежной бригады товарищу Сталину («О чем там?..»).

Ипатов вскинул голову, посмотрел на часы. Ого!.. Уже без пяти минут семь! Пора!.. Не дочитав рапорта, заторопился на Подьяческую...

Ровно через пять минут он стоял на знакомой лестничной площадке и нажимал на кнопку звонка.

Дверь открыла Светлана. Увидев его, она обрадовалась:

«Проходи!»

Видно, ожидая Ипатова, она все время была как на иголках.

В прихожей у журнального столика стояли и о чем-то разговаривали отец Светланы в старой поношенной пижаме и незнакомый полковник авиации с многочисленными колодками. Лихо закрученные пышные усы делали его похожим на кавалериста времен гражданской войны. При виде Ипатова они сразу прервали разговор.

Ипатов смущенно поздоровался.

Отец Светланы молча протянул руку и тотчас же отвел взгляд.

«Дядя Федя, познакомьтесь. Это Костя!»— представила Ипатова Светлана.

Летчик придержал на его раскрасневшемся лице свои теплые, улыбающиеся глаза и крепко пожал руку.

«Очень приятно,— сказал он и, крутанув ус, спросил:— Пехота?»

«Мото»,— ответил Ипатов.

«Тоже не сладко,— прокомментировал полковник.— Был ранен?»

«Дважды».

«Это хорошо».

«Что в этом хорошего, дядя Федя?»— заметила Светлана и бросила Ипатову:— Раздевайся!»

«Значит, честно воевал!»

Ипатов снял свой бобрик, повесил подальше, чтобы не бросался в глаза.

«Пошли!»— сказала Светлана, беря его под руку. И так, демонстративно, провела мимо отца.

Уже из комнаты, через приоткрытую дверь, Ипатов краем уха услышал, как полковник сказал отцу Светланы:

«Добрый хлопчик!»

Что ответил будущий тесть, Ипатов не разобрал.

«Чувствуй себя как дома!»— она чмокнула его в щеку.— Я сейчас!»— и скрылась в соседней комнате.

Ничего не скажешь, очистили квартиру здорово. В буфете черного дерева, еще недавно снизу доверху забитом хрусталем и дорогими сервизами, лишь кое-где на полках поблескивали простенькие чашки и блюдца. Исчезли все вазы, ковры, безделушки, портьеры. Осталась одна громоздкая мебель, брать которую грабителям было явно не с руки, да кабанья голова, свирепо поглядывавшая с простенка на входящих.

И это только в большой комнате. А сколько всякого добра они взяли в других...

«Ну что, смотришь на дело рук своих?— мысленно казнил себя Ипатов.— Нет, надо быть форменным ротозеем, шляпой, чтобы встретиться лицом к лицу с квартирными ворами и не понять этого!» Ведь чувствовал, ведь чувствовал, что дело нечисто. Недаром его все время, пока разговаривал с «двоюродным братцем», не покидало смутное беспокойство. А может быть, это был страх? Неосознанный, безотчетный? Как на фронте, когда нутром ощущаешь возможную смертельную опасность? Чего стоило ему тогда дойти до первого милиционера, поделиться своими подозрениями? Но ведь в тот момент не было их, этих подозрений? «Братец» так ловко обвел его вокруг пальца, что он ничего, почти ничего не заметил. Вот из-за этого крохотного «почти» и остался на душе неприятный осадок, в котором он, на беду Поповым, сразу не разобрался. Он мог предупредить ограбление и не сделал этого. Короче говоря, в том, что случилось, в первую очередь виноват он, их будущий зять!..

Вошла мама Светланы, Зинаида Прокофьевна. На ней было летнее, не по сезону, ситцевое платье, которое насмешливо подчеркивало недостатки ее широкогрудой, полнотелой фигуры. Но по-прежнему, как ни в чем не бывало, играли бриллиантовым огнем увесистые серьги, и на пальцах поблескивали тяжелые дворянские перстни. Вот и драгоценности кое-какие остались. То ли Зинаида Прокофьевна не расставалась с ними в тот день, то ли не заметили, проморгали вору.

«Здравствуйте!»— первым поздоровался Ипатов.

«Добрый вечер!»— она протянула ему руку несколько издали, по-королевски.

В ее вялом и слабом пожатии Ипатов не почувствовал ни особого интереса к себе, ни большого расположения. Нет, союзник она была ненадежный. Несмотря на все заверения Светланы.

«Вот так, молодой человек... Костя,— неловко поправилась она.— Через всю Европу везли... ни одного стеклышка не разбили... и вот...»

«Да, ужасно обидно... Я вас понимаю»,— искренне посочувствовал Ипатов.

«Вы уж помогите милиции... Вы ведь помните внешность того человека?»— в ее голосе звучала просительная и жалобная нотка.

«Да, конечно,— ответил он.— Я уже им сообщил его приметы... Хотите, я еще схожу?»

«Сходите, Костенька», — уже совсем по-родственному попросила она.

Только за одно это уменьшительно-ласковое «Костенька», разом переводящее его в разряд своих, он готов был сделать все, что попросят Поповы. Прямо завтра с утра он пойдет в милицию, спросит, не нужна ли там его помощь. Например, он мог бы обойти все значные места, авось где-нибудь да и встретит «двоюродного братца»: смазливую физиономию домушника он узнал бы среди тысяч. В конечном счете, это его долг перед Поповыми, прямое искупление вины...

«Завтра и схожу, — пообещал Ипатов. — У меня уже есть кое-какие мысли, как поймать воров».

Заявление было несколько самонадеянным, и в белесоватых глазах Зинаиды Прокофьевны затлело недоверие. Но в то же время у нее хватило ума не сказать ничего такого, что задело бы самолюбие Ипатова. К тому же, не в ее интересах было гасить этот благородный порыв: кто знает, а вдруг и в самом деле что-нибудь придумал?

Она тяжело вздохнула:

«Вы, Костя, по молодости не представляете, как трудно начинать с начала. Обзаводиться нужными вещами...»

«Нет, почему, представляю», — смущенно возразил он.

«Ну, я пойду собирать на стол», — сказала Зинаида Прокофьевна и скупой улыбнулась ему.

«Куда же запропастилась Светлана?» — Ипатов прошелся по комнате.

И тут, словно откликаясь на его нетерпение, появилась из прихожей Светлана. Щеки ее горели. На лице играла довольная, почти победная улыбка.

Светлана быстро подошла к Ипатову, взяла его под руку:

«Пошли!..»

Едва только они оказались в спальне, Светлана радостно объявила:

«Дядя Федя тоже за нас!»

«Кто он?»

«Мамин брат. Он воевал вместе с сыном товарища Сталина, Василием. Они большие друзья. Дядя Федя сказал папе, чтобы он не дурил. Не мешал нам. Ты ему понравился!»

«Знаю».

«Ты почувствовал, да?»

«Нет, услышал».

«Ну и завируша ты! Как ты мог услышать с такого расстояния? Да еще и при закрытых дверях?»

«Так оттянул уши и слушал»,— Ипатов показал, как он оттянул оба уха.

«Брехунишка!» — нежно сказала Светлана и прижалась к нему.

«А он что ответил?»

«Кто?» — не поняла Светлана.

«Твой отец?»

«А всякое!..— И с ходу перевела разговор:— Вот здесь мы будем жить!»

«Здесь?» — приятно удивился Ипатов, взглянув новыми глазами на светлую и просторную спальню.— Не жирно ли?»

«Нет»,— ответила она.

Ипатов прошелся по комнате. Заглянул за шкаф, за которым они еще недавно никак не могли решиться поцеловаться. Постоял, насмешливо склонив голову набок, перед двуспальной кроватью с голубым балдахинном.

Светлана фыркнула.

«А что?» — сказал Ипатов.— Если протечет крыша, останемся сухими».

«Не останемся».

«Почему?»

«Потому что ее заберут от нас».

«Значит, не ходить нам под голубым парусом»,— изобразил печаль на лице Ипатов.

«Зато поставят два дивана».

«Рядышком?»

«Фигушки! Ты будешь спать там, а я здесь»,— показала она на противоположные углы комнаты.

«Правильно! Чтобы никто ничего такого не подумал!» — весело подхватил Ипатов.

Вдруг Светлана с заговорщицеским видом приложила палец к губам и предупредила:

«Только ни слова папе!»

И, тихо ступая по старому неровному паркету, подвела Ипатова к шкафу. Осторожно приоткрыла высокую резную дверцу. Оттуда на них глянул во всем своем великолепии новенький парадный адмиральский мундир: на черном благородном фоне — обильное золотое шитье. Помимо мундира здесь висели еще два про-

стенных платица, очевидно все, что осталось после посещения воров.

«Уже присвоили?» — заинтересованно спросил Ипатов.

«Вчера», — шепнула Светлана.

«Поздравляю!»

«Только не проговорись папе, что видел мундир».

«Почему?» — удивился Ипатов.

«Потому что пошили раньше, чем присвоили звание. Так многие делают. Чтобы надеть в первый же день. Папа знал, что он представлен. Ему сам министр сказал: «Заказывай мундир. Осталась только подпись товарища Сталина». А вчера позвонил папин приятель, сказал, что товарищ Сталин подписал... Папа не должен знать, что ты видел мундир...»

«Хранить тайны, мадам, я научился еще в армии, а не болтать лишнее — значительно раньше», — саркастически заметил Ипатов.

«Обиделся?» — она взяла его руку, прижалась к ней подбородком.

«Ну что ты? — горячо возразил он. — Неужели я не понимаю?»

«Но ты поздравь папу с присвоением звания. Ему будет приятно».

«А ты, оказывается, дипломат».

«Чуть-чуть», — согласилась она.

«Сейчас поздравить или потом?»

«Лучше сейчас».

«Хорошо, пошли!»

«Ты что скажешь?» — поинтересовалась Светлана.

«Скажу: адмирал — это звучит гордо!»

«Брехунишка!» — ласково повторила она...

И опять, увидев Ипатову, они прервали разговор. По их возбужденным, напряженным лицам было видно, что перед этим шел жаркий, но по-родственному доверительный спор. Если отец Светланы был бледен как полотно, то его шурин, наоборот, побагровел до корней волос. Оба сидели за накрываемым Зинаидой Прокофьевной столом и тяжело молчали. Зайди Ипатов один, он бы, наверно, тотчас же извинился и повернул обратно. Но Светлана крепко держала его под руку и с места в карьер объявила:

«Папа! Костя хочет тебя поздравить!»

«Спасибо... спасибо, молодой человек!»— ответил тот, прежде чем Ипатов открыл рот. Похоже, что новоиспеченного контр-адмирала мало тронуло поздравление будущего зятя. Разве только чуть-чуть смягчился взгляд.

Ипатов пребывал в замешательстве. Поздравлять после того, как тебя уже поблагодарили за те добрые слова, которые ты хотел, но не успел произнести? По меньшей мере это выглядело бы как открытое и неумелое заискивание. Но Светлана, все еще крепко державшая его под руку, незаметно для других поигрывала пальчиками — не молчи, скажи что-нибудь...

И Ипатов, собравшись с духом, торжественно провозгласил:

«Желаю вам, Алексей Степанович, дослужиться до Адмирала Флота!»

«Спасибо... спасибо»,— так же сдержанно ответил отец Светланы.

«Что ж, пожелание доброе,— заметил дядя Федя.— Я присоединяюсь к нему... Где бокалы?..»

Спор возобновился сразу, как только выпили за нового контр-адмирала. Первым напал дядя Федя. Повидимому, он с нетерпением ждал момента, чтобы продолжить тот самый острый разговор, который оборвался с появлением Ипатова. Теперь же его почему-то мало беспокоило присутствие чужого человека (или они считали его уже своим?), и он говорил столь откровенно и на такие темы, что Ипатову стало не по себе. Видя, что брата заносит, Зинаида Прокофьевна не раз пробовала перевести разговор на другое — что-нибудь обычное, житейское. Но, скользнув по сестре далеким, отсутствующим взглядом, дядя Федя продолжал, как ни в чем не бывало, с той же горячностью доказывать свою правоту...

«Нет, милый, так не пойдет,— помахал пальцем дядя Федя.— Рано или поздно история даст ответы на все самые сокровенные вопросы. И на этот тоже...»

«Нет войны без потерь»,— твердо возразил отец Светланы.

«Это ты прав. Но ведь их могло быть много меньше?»

«Да, все мы сильны задним умом».

«А уроки истории, Алеша, чаще всего постигаются задним умом. Разве не так?»

«Никто не отрицает, что у нас были ошибки. Об этом

с ленинской прямоотой сказал товарищ Сталин на приеме в Кремле... Как там?.. Подожди, сейчас принесу...»

Через несколько минут он вернулся с тонкой книгой в плотном бордовом переплете. Это были выступления и приказы товарища Сталина в период Великой Отечественной войны.

«Вот... Слушай... «У нашего Правительства было немало ошибок, были моменты отчаянного положения в 1941—1942 гг.»... Тут я пропускаю... «Иной народ мог бы сказать Правительству: вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь, мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой. Но русский народ не пошел на это...»

«Да, я помню эту речь,— не дослушал цитату дядя Федя.— Но вот знать бы, что за ошибки имел в виду товарищ Сталин?»

«Какие еще могли быть ошибки, кроме тех, которые допускало командование на отдельных направлениях и фронтах, особенно в начальный период?»— пожал плечами отец Светланы.

«Эх, и дипломат ты, Алешка! Чистой скандинавской выучки!»— усмехнулся дядя Федя.

«Так вот, если хочешь знать: я не вижу смысла копаться в ошибках, тем более сейчас, когда одержана такая победа. Да и кто сейчас помнит о них?»

«Ты помнишь. Я помню. Зина помнит... Возможно, и они помнят,— кивнул он на сидящих рядом Ипатова и Светлану.— Забывчивые, товарищ контр-адмирал, по многу раз на одном месте спотыкаются!»

«Пора забыть. Не тебя одного сгоряча посадили!»

«Верно, не меня одного. Но я отсидел всего пять месяцев, вернулся. А другие даже до Великой Отечественной не дотянули. А могли бы дивизиями, армиями, фронтами командовать. И как еще командовать! С первых дней войны...»

«Все это так,— согласился отец Светланы.— Но никакое общество, даже самое передовое, самое демократичное, не застраховано от ошибок. К счастью еще, что товарищ Сталин вовремя разоблачил Ежова и его клев...»— он запнулся.

«Клевретов»,— подсказал дядя Федя.

«Вот-вот... К счастью для всех, в том числе и для тебя».

«Слышал такое выражение: мавр сделал свое дело, мавр может уйти?»

«Хватит, Федор!»— как-то сжался и стал еще меньше отец Светланы.

«Хватит так хватит,— усмехнулся в усы дядя Федя.— Выпьем за товарища Сталина!»

«Прошу поднять бокалы!»— обратился ко всем отец Светланы. Он встал, поправил, как будто это был новый адмиральский мундир, мятую пижаму.

Испытывая неловкость и смущенно переглядываясь, поднялись с рюмками в руках Ипатов и Светлана. Встали и дядя Федя с Зинаидой Прокофьевной: он — сильно притушив усмешку в глазах, она — с видимой неохотой; не возражая, разумеется, против самого тоста, она бы предпочла, судя по всему, выпить за здоровье товарища Сталина сидя, по-домашнему.

«За товарища Сталина!»— торжественно провозгласил будущий тесть.

Чокнулись, выпили, сели, стали закусывать.

«Богу — богово, кесарю — кесарево»,— неожиданно произнес дядя Федя.

«Опять?»— нахмурился отец Светланы.

«Все,— дядя Федя поднял обе руки.— Дискуссия окончена!»

«Славный он!»— шепнул Ипатов Светлане.

«Правда?»— обрадовалась она.

«Во!»— украдкой показал он большой палец.

Перешептываясь, они сдвинули головы настолько, что он прямо лицом погрузился в ее мягкие душистые волосы.

Это заметил дядя Федя.

«За нашу молодежь!»— произнес он, остановив на них благосклонный, понимающий взгляд.

Ипатов вскочил, протянул рюмку. Но сразу чокнулся с ним лишь дядя Федя. Родители же Светланы не торопились поднимать бокалы, заставили его даже ждать лишние секунды. Особенно не спешил будущий тесть. То ли задумался, то ли раздумывал, стоит ли отзываться на этот тост.

Однако приличие было соблюдено.

Двух рюмок водки (в дополнение к уже выпитому на углу портвейну) оказалось достаточно, чтобы Ипатов снова почувствовал себя на седьмом небе. Разом спало напряжение, не отпускавшее его весь день. Неожиданно стало легко, весело, свободно. Несмотря на холодок, по-прежнему ощущавшийся в отношениях с отцом Светланы, будущее рисовалось Ипатову чудесным, хотя и не

всегда безоблачным, праздником. Ему хотелось сказать своим будущим родственникам что-нибудь необыкновенно хорошее, приятное, чтобы и дядя Федя, и Зинаида Прокофьевна, и даже Алексей Степанович видели, что он расположен к ним всем сердцем, всей душой, что искренне готов их полюбить, признать самыми близкими людьми.

И он поднялся с полной рюмкой в руке и, провожаемый встревоженно-озабоченным взглядом Светланы, чуть заплетающимся языком произнес:

«Я хочу выпить за нашу авиацию, которая надежно прикрывала нас с неба, которая назло фрицам завоевала господство в воздухе и показала гадам, на что способны сталинские соколы! Я хочу выпить также за наш славный Военно-Морской Флот, который топил вражеские корабли на всех меридианах («Почему на меридианах?» — вдруг подумал он). За мотопехоту, которая никогда не отступала! И конечно же, я хочу выпить за советских медиков, которые дважды спасли мне жизнь! За дружбу!» — заключил он и выпил одним духом.

Ипатов в общем был доволен собой, своим тостом. Не очень-то покривив душой (кое-какие преувеличения, допущенные в намеках на героическое прошлое родных Светланы, судя по их реакции, не слишком выходили за привычные рамки тоста), он никого не обошел, сказал приятное каждому. И даже то, что застольное слово прозвучало несколько тяжеловесно и прямолинейно, как приказ по войскам, в целом оно было воспринято больше со знаком «плюс», чем «минус». Во всяком случае, все трое, правда в разной степени, смотрели на выступавшего Ипатова приветливо и благосклонно. Не заставило себя ждать и еще одно, возможно самое весомое, подтверждение того, что он выступил удачно. Когда Ипатов сел, Светлана незаметно пожала ему руку: хорошо сказал, молодец!

Но тут, взволнованный тостом, вернее, той его частью, где отмечались заслуги авиации, ударился в воспоминания дядя Федя:

«Помню, послали меня уточнить направление движения вражеских танков под Ростовом-на-Дону. Уточнить-то я быстро уточнил. Даже сейчас, закрою глаза, как на ладонке все вижу: немцы уже далеко впереди, а гражданское население, тысячи людей, все еще противотанковые рвы роют. И некому их предупредить, сказать, что немцы давно их обошли, окружили. И

я тоже не имел ни времени, ни возможности сообщить. Для этого надо было вернуться, посадить самолет, пойти на риск, на который я не имел права идти. Командование ждало от меня данных о нахождении немецких танков. Дорога была каждая минута. Не помню, когда я еще так матерился, душу отводил... А был еще случай — уже в Польше, когда шестерка «мессов» подловила на посадке два наших самолета, возвращавшихся из разведки. Аэродром был оборудован совсем недавно, и немцы не знали о его существовании. Чтобы не демаскировать себя, не потерять остальные машины, мы из укрытий глядели, как добивали наших товарищей. Одни угольки от людей остались. Не дай бог еще раз пережить такое... Я еще держался, а Вася Сталин плакал...»

«Плакал?» — удивленно переспросил Ипатов, не представлявший себе, чтобы командир дивизии или корпуса (пехотного, авиационного, артиллерийского, все равно какого) мог плакать при виде гибнущих в бою подчиненных. Никаких слез не хватило бы ему оплакивать бойцов. Но особенно не укладывалось в голове, чтобы плакал сын товарища Сталина, привыкший, наверно, к иным, неземным проявлениям чувств.

«Ну, в общем, глаза на мокром месте были, — ответил дядя Федя. — По правде говоря, трезвым я его редко когда видел. Как тогда, так сейчас. Боюсь, как бы боком не вышло ему его высокое родство и постоянные пьянки...»

Много чего рассказал тогда о своем именином друге дядя Федя. Но больше всего запомнилось то, что никого не боялся, кроме отца... что всегда ходил в сопровождении двух огромных догов... что однажды ударил по лицу старшего офицера, осмелившегося возразить ему... что порою куролесил и самовольничал, как последний лейтенантишка... и что непосредственное начальство покрывало его, боялось или не хотело огорчать товарища Сталина...

А ведь дядя Федя был прав, опасаясь за судьбу друга. Как-то Ипатов находился в командировке в одном из старинных волжских городов. Приехал он туда, чтобы выбить бумагу для нужд института. Коробка дорогих ленинградских конфет, которую он, робея и стес-

нясь, преподнес суровой, затянутой даме из отдела снабжения, мгновенно сняла напряжение в их отношениях, и уже через полчаса он, довольный быстрым решением вопроса, вышел на улицу и солнечной стороной зашагал к центру города. Прежде всего его интересовали книжные магазины, которых здесь было видимо-невидимо. И вот в первом же из них он наскочил на двухтомник Мериме, который прозевал в Ленинграде. Его охватила горячая, нервная радость, знакомая каждому настоящему книголюбу. Рядом стоял мужчина в старой, сильно вытертой кожаной куртке. От него исходил резкий сивушно-коньячный запах. Только этим на мгновение поначалу обратил на себя внимание незнакомец. Ипатов пошел платить в кассу. И тут кассирша, наклонившись корпусом вперед в своем закутке, вдруг шепнула ему, показав на уныло бродившего по магазину мужчину: «Сын Сталина!»—«Как, сын Сталина?»—обомлел Ипатов, украдкой пожирая взглядом печального человека. «Василий, который был генералом,— пояснила женщина.— Совсем спился, бедненький». Ипатов смотрел на Василия Сталина жадными, ошарашенными глазами и искал сыновьего сходства с тем, кого еще недавно боготворили миллионы. Искал и не находил. Василий был среднего, даже ниже среднего роста, тусклая грязноватая седина расплзлась по давно небритой щетине на бескровном испитом лице. Конечно, живого Сталина видеть Ипатову не приходилось, но его портреты и статуи, несмотря на их быстрое исчезновение после известных событий, память хранила все в том же благообразном первоизданном виде. Нет, ничего общего между отцом, запечатленным высоким искусством, и сыном, затертым молодецко-пропойной жизнью, не было. Даже всегда готовое услужить воображение оказалось бессильно заполнить непонятную пустоту...

«Забудьте, о чем здесь шла речь»,— уже перед самым концом ужина предупредил Ипатова дядя Федя.

«Я не маленький»,— ответил тот, пожав плечами.

«Надеюсь».

И в этот момент раздался звонок в дверь. Родители Светланы удивленно переглянулись: сегодня больше никого не ждали. Из-за опасных разговоров, которые весь вечер вел дядя Федя, присутствующих обожгло коротким

и понятным беспокойством. Да и звонок был какой-то уж очень нетерпеливый, бесцеремонный.

«Сидите, я открою!»— сказала родителям Светлана. Вернулась она явно смущенной.

«Телеграмма»,— ответила Светлана на вопрошающие взгляды. Бланк она держала в руке так, словно не знала, что с ним делать.

«От министра?»— будущий тесть живо потянулся за телеграммой.

«Нет, мне,— сказала Светлана.— Так, от одного чудака!»

«От кого?»— тихо спросил Ипатов у нее, когда она вернулась на свое место за столом.

«Ты не знаешь его,— ответила Светлана, отдавая телеграмму.— Один очень, очень, очень, очень, очень старый знакомый...»

Ипатов развернул бланк, прочел: «Буду завтра. Игорь».

«Игорь? В первый раз слышу...»— ревниво заметил Ипатов.

«В первый и последний,— сказала Светлана и, забрав у него телеграмму, разорвала ее под столом на мелкие клочки.— Выкинешь по дороге...»

Выкинуть-то он выкинул, только это ничего, ровным счетом ничего не изменило. Да и тогдашний ужин в кругу, как полагал Ипатов, будущих близких родственников мало что прояснил в сложившихся отношениях. Никто, кроме Светланы, так и не заговорил о женитьбе, о совместной жизни и т. д. Похоже, родители ее до сих пор не расстались с мыслью, что, может быть, еще пронесет. В конечном счете, все свелось к тому, что обмыли большие адмиральские звезды...

Но Светлана была с ним. А это главное. Как-нибудь проживут и без кровати с голубым балдахином...

Да, уходя, Герц-Шорохов сообщил Ипатову, что в институте со дня на день ожидается приезд московской комиссии, интересующейся вопросами экономики. В связи с этим в кабинетах директора и его заместителей срочно заменили, пока будет работать комиссия,

дорогие кожаные кресла (по 500 рублей за штуку) обыкновенными канцелярскими стульями (30 рублей за штуку). И убрали все цветные телевизоры...

В эту ночь Ипатову приснилось, будто к ним в институт приезжает министр. Директор и его заместители в панике. Они основательно побаиваются, как бы им здорово не нагорело за то, что в их служебных кабинетах стоят двуспальные кровати с голубыми балдахинами. Директор приказывает немедленно вынести их в подвал. Приказание выполняется, но, увы, не так быстро, как наяву. Но тут становится известно, что министра задерживают какие-то дела и он не приедет. Сразу же дается команда вернуть кровати на свои места.

Казалось бы, на этом вполне можно было бы поставить точку и проснуться. Между тем сон продолжался, издевательски повторяя все ту же ситуацию.

Когда кровати занесли в кабинеты, снова пронесся слух, что министр управился с делами и не сегодня-завтра приезжает. И снова все сотрудники, включая Ипатова и почему-то Станислава Ивановича, кряхтя и надрываясь, понесли в подвал кровати с голубыми балдахинами...

Сегодня Станислав Иванович выдал такое, что у всех его соседей по палате одновременно от удивления отвисли челюсти. В ответ на Машкину болтовню о том, что с ней в трамвае ехали три негра (один совсем черный, другой посветлее, а третий и вовсе белый, только губы у него с ее ладошку), он вдруг проскрипел:

— Чего им у нас надо, черномазым? Ехали бы в свою Африку!

— А вы, Станислав Иванович, оказывается, расист! — произнес Александр Семенович.

— Мягко сказано, — заметил Ипатов.

— Слышите? Константин Сергеевич считает, что я еще мягко сказал... Вы догадываетесь, что он имел в виду?

— А мне догадываться ни к чему, — буркнул Станислав Иванович. — Говорю, что думаю...

Ипатов и Александр Семенович переглянулись.

— Ведь вы же, — увещательным тоном продолжал Александр Семенович, — три года на фронте воевали с фашистами, были ранены, много раз награждены. Вы

сражались за то, чтобы никогда больше ни один народ не считал себя лучше, умнее другого... И вот сейчас... вы утверждаете нечто противоположное...

— Вы бы поглядели на них, что они в гостиницах вытворяют,— многозначительно сказал Станислав Иванович.

— Ну что они вытворяют?— снова переглянувшись с Ипатовым, безнадежным голосом спросил Александр Семенович.

— Я бы рассказал, да ей ни к чему это знать,— Станислав Иванович кивнул на Машку, следившую за разговором с напряженным, вытянутым лицом.

— «Мочалок» наших водят к себе, что ли? — не обращая внимания на Машку, впрямую осведомился Алеша.

Ипатов вспомнил, что «мочалками» сегодняшняя молодежь называет девушек не очень строгого поведения.

Машка стрельнула глазами в сторону Алеши, и щеки ее покрылись легким румянцем.

Станислав Иванович сердито заявил:

— У нас не положено водить.

— Видите, уже одной претензией меньше,— иронически заметил Александр Семенович.

— Волю им дали,— проворчал Станислав Иванович.— Вот и нагличают...

— Станислав Иванович, если бы вы жили в Америке, то, наверно, вступили бы в ку-клукс-клан?— спросил в упор Ипатов.

Но, вопреки ожиданию, бывший швейцар интуристовской гостиницы не обиделся. Даже задумался. Словно действительно перед ним встал вопрос, вступить или не вступить в ку-клукс-клан.

— По правде ответить?

— По правде.

— Вступил бы...

— Вот так-то, Константин Сергеевич,— сказал своему соседу Александр Семенович, как бы ставя точку в давно начатом и незаконченном споре.

Но тут заговорил Алеша.

— Послушай, батя,— он положил руку на спинку стула, на котором сидела Машка.— Разве негры виноваты, что они черные? Китайцы, например, желтые, индейцы красные, а ты вот — синий!..

— А ну тебя...— побагровел Станислав Иванович.— Пошел...

— Как хочешь,— пожал плечами Алеша.— С фиолетовым оттенком...

— Уходи, видеть тебя не желаю...

— Ну, не смотри, закрой глаза...

— Уйди!— Станислав Иванович потянулся за нитроглицерином.

— Оставь его в покое, Алеша,— сказал Ипатов.

— Нужен он мне очень,— ответил тот.— С меня тестя хватает. Такой же. Всех сожрать готов...

Как могут жить люди, превратившие себя в бездонную копилку ненависти? Как?..

Теперь почти каждую ночь Ипатов видел сны. Говорят, что летают во сне только молодые. Дескать, человек растет, и его организм не знает и не ищет покоя. А вот сегодня Ипатов летал, несмотря на свои только что разменянные шестьдесят лет. Ах, с какой легкостью и наслаждением взмыл он под облака и, по-птичььи распластав руки-крылья, парил над землей. Приближаясь к какому-то большому городу, Ипатов переменял положение и уже дальше продолжал полет сидя, держа перед собой в руках на тесемке неизвестно откуда взявшийся пакет. От того, как перемещался пакет, менялись направление и скорость полета. Наконец показались крыши домов. Синие, красные, зеленые, коричневые плоские квадраты. Вскоре все поле зрения было заполнено крышами. Потянув за тесемку, Ипатов опустился на одну из них. Там стояла скамейка, на которой сидели Станислав Иванович и совершенно незнакомая женщина. Затем Станислав Иванович куда-то исчез, а женщина, загадочно улыбаясь, заговорила с Ипатовым: «Ну, вспомни, кто я? Ну, вспомни?» По мере того как она все настойчивее просила вспомнить, в лице ее проступали и оживали знакомые черты. «Светлана, ты?»— взволнованно спросил Ипатов...

Они сбежали с последней лекции. Неожиданно за ними увязался Валька. Было так. Ипатов и Светлана вышли из Университета вдвоем и вдруг, к своему удив-

лению, обнаружили, что рядом шагает Валька. Светлане ничего не оставалось, как тоже взять его под руку, поровну делить внимание между ними. Теперь, когда она и Ипатов стали почти мужем и женой, Валька им не мешал...

Любуясь Светланой, ее тонким мальчишеским профилем, так волновавшим его, Ипатов слушал невнимательно, то и дело терял нить разговора, задумывался о будущем. Иногда он, совершенно независимо от того, что молот Валька, прижимал к себе локтем руку Светланы и с горячей радостью ощущал, что это его напоминание о своих чувствах не остается незамеченным. Легким движением кисти или пальцев Светлана давала понять, что думает о нем и что ей хорошо с ним, несмотря на присутствие Вальки.

Шли они по Университетской набережной к мосту Лейтенанта Шмидта, то есть дорогой, которой Светлана обычно пешком возвращалась домой. Сегодня она должна была по пути забрать у тети Дуси уже готовое платье — первое после недавней кражи. Ипатов взялся ее провожать. Валька был явно третьим лишним, но его спутники рассчитывали на то, что он, обладая поразительным чутьем, несомненно, сообразит, когда станет в тягость.

Временами поглядывая на друга, Ипатов пытался понять, догадывается ли тот о чем-нибудь или нет... Скорее всего, да... Как минимум подозревает... Уж очень нейтральные выбирает он темы для разговоров...

Например, нервно посмеиваясь, рассказал о няньке, у которой неожиданно объявился жених, девяностолетний старичок из соседнего подъезда. У него недавно умерла жена, и он через дворничиху сделал няньке предложение. Обещал быть не очень обременительным. Ничего такого не просить, не приставать. (В этом месте Ипатов и Светлана хмыкнули.) Пусть только три раза в день покормит, а когда солнышко — выведет во двор посидеть на скамеечке. Ну и подаст, принесет чего попросит. За это после своей смерти он собирался оставить ей комнату и все имущество. Нянька тут же разворчалась: «На что мне его имущество? Свое вон куда девать! Еще с царского прижиму пооставалось, моль побила... Все одно с собой в могилу не возьмешь...» Валькин отец как приходит сейчас с работы, так первым делом спрашивает: «Ну, где там наша невеста? Еще не дала деру к своему хахалю?» — «Будешь бала-

болить — уйду!» — грозилась нянька. «Ну, ну, я пошутил», — всякий раз пасовал генерал.

Слушал Ипатов вполуха, но еще одну историю, рассказанную приятелем, запомнил. Этажом ниже Вальки жила маленькая семилетняя девочка. Иногда он с ней заговаривал и был в курсе всех ее дел. На днях она вдруг спросила: «Дядя Валя, а что такое гарем?» — «Ну это когда, — растерявшись, ответил он, — у какого-то папы много жен». Девочка ужаснулась: «Вот псих! С каждой женой ссориться!»

У Румянцевского скверика им навстречу попала девушка с их факультета. Она была в коротеньком, еще довоенного покроя пальтишке. На ногах у нее чернели старые, с заплатами боты.

Девушка первая смущенно поздоровалась с ними и как-то бочком прошла мимо.

«Смешная какая-то», — проводив ее взглядом, сказала Светлана.

Все знающий Валька тут же проинформировал:

«Был такой декабрист... — и он назвал одну из известнейших русских дворянских фамилий. — Это его правнучка!»

«Да ну? — удивился Ипатов. — Никогда не подумаешь!»

Он посмотрел вслед девушке. Она по-прежнему шла своей нечеткой, неуверенной походкой.

«Знаете, в ее лице действительно что-то есть», — произнес Ипатов.

«Хочешь забавную игру? — вдруг предложил Валька. — Бери любого встречного. Вообрази себе, что он внук Пушкина или Толстого, праправнук Ломоносова, ну, любого, кого хочешь, и его лицо покажется значительным, и даже сходство увидишь... Я много раз пробовал...»

«Мальчики, давайте попробуем!» — загорелась Светлана.

От моста им навстречу бодрыми шажками шел приземистый квадратный мужчина в распахнутом полушубке. Та сотня метров, которая еще разделяла их, не позволяла им подробно разглядеть его лицо. Даже неясно было, брюнет он или шатен.

«Называйте великого человека!» — сказал Валька.

«Кого?» — растерялся Ипатов.

«Любого!.. Быстро!»

«Гоголь!» — предложила Светлана.

«Прекрасно,— произнес Вилька.— Вон идет правнук Гоголя!»

«Но ведь у Гоголя не было ни жены, ни детей?»— вдруг вспомнил Ипатов.

«Это не имеет значения. У него могли быть любовница и дети. Грехи молодости,— мгновенноотреагировал Валька.— Смотрите внимательно!»

Мужчина в распахнутом полушубке приближался. Уже издали они увидели, что у него по-гоголевски широкое, угловатое лицо. Главное сходство, естественно, должен был выявить нос. Единственный, неповторимый гоголевский нос. Но установить это можно было только вблизи, когда расстояние сократится до нескольких метров. Наконец незнакомец поравнялся с ними. Нос у него своим острым концом смотрел в землю и знакомо нависал над верхней губой. Конечно, сходство было во многом стертым, неполным, но для четвертого поколения Гоголей достаточным...

Увидев себя под прицелом трех пар усердно изучающих глаз, человек смутился и застегнул полушубок.

«Мальчики, он на самом деле очень похож»,— заявила Светлана.

«И лицо какое благородное, а?»— насмешливо подхватил Валька.

«Да, Гоголи есть Гоголи,— поддержал его Ипатов.— Чувствуется порода!»

«Мальчики, следующий!»— объявила Светлана: похоже, она начала входить во вкус.

«Кто?»— спросил Ипатов.

«Вон... у фонарного столба»,— ответила Светлана. Человек стоял, прикуривал от зажигалки, и лица его не было видно.

«Опять Гоголя?»— осведомился Ипатов.

«А почему бы и нет?»— Светлана метнула на Вальку плутоватый взгляд.— Опыт продолжается...»

«Это тоже правнук Гоголя»,— бегло взглянув на прикуривавшего мужчину, сообщил Валька.

«А я не уверена!»

«Тем не менее...»

«Ведь не могут же все ленинградцы быть похожими на Гоголя? Хотя бы через одного или через двоих?»— заметила она шутливым тоном.

«Валька, не забывай, что мы все-таки страна курносых!»— подал голос Ипатов.

«Вот именно!»— поддакнула Светлана.

«А я не забываю,— ответил Валька.— Но вы же сами выбрали Гоголя? Могли взять Пушкина, Лермонтова, Толстого, кого угодно. Кутузова, Барклай-де-Толли. Да и Гоголь это не только нос. Вспомните портреты Николая Васильевича...»

«Вспомнили,— оборвала Светлана Вальку.— Внимание!»

Теперь неизвестный и они шагали навстречу друг другу по пешеходной дорожке моста. Это был молодой мужчина с тонкими пижонскими усиками на худощавом испитом лице. Через каждые две-три затяжки он сплевывал в Неву...

Светлана зацепила Вальку насмешливым взглядом. Что ж, она права. Судя по первому впечатлению, Гоголем здесь и не пахло. Так же, как и другими великими сынами отчизны, если, отчаявшись, перейти на них. Даже на расстоянии по одной его расхлябанной, самолюбленной походке видно, что он за тип.

«Валька, может, оставим Гоголя в покое?»— спросил Ипатов.

«Зачем?»— отозвался тот.— Он за своих потомков не отвечает!»

«Зато мы отвечаем!— И, понизив голос, Ипатов договорил:— Неужели не видишь? Явная осечка!»

«А вы поглядите внимательнее!»

И впрямь, когда с усиками подошел ближе, в его совершенно заурядной, пошловатой физиономии неожиданно проглянуло, проклюнулось сходство с великим писателем... широкий разлет бровей... полноватые губы... задумчивый мягкий взгляд... Даже пижонские усы (не такие уж и тонкие, как показалось вначале) были, на удивление, к месту.

«Пардон!»— зачем-то извинился перед ними, проходя мимо, новый «правнук» Гоголя.

«Ну что?»— поинтересовался Валька.

«Все люди — братья,— ответил Ипатов.— Беспроигрышная лотерея».

«Я бы не сказал,— возразил Валька.— Бывают и исключения. Я, например, абсолютно не похож!»

«Нет, немножко похож»,— неожиданно углядела в нем сходство с автором «Мертвых душ» Светлана.

«Валька, правда, что-то есть,— подтвердил Ипатов.— Какая-то меланхолия...»

«Вот ты действительно похож!»— огрызнулся Валька.

Светлана бросила на Ипатова быстрый взгляд и, отрицательно покачав головой, заявила:

«Мальчики, не знаю, как вы, но я потомками Гоголя сыта по горло!.. Давайте кого-нибудь другого!»

«Пожалуйста»,— произнес Валька с видом доброго, но изрядно утомленного просьбами клиентов волшебника.

«Я готов,— сказал Ипатов.— Только кого?»

Оба приятеля выжидательно посмотрели на Светлану, уступая ей, как представительнице прекрасного пола, право выбора.

«Глинка!»— вдруг предложила она.

Ипатов сразу понял, почему ее выбор пал на Глинку. Во-первых, она любила его романсы, а во-вторых, минимум через день проходила мимо памятника великому композитору на Театральной площади.

«Можно и Глинку»,— согласился Валька...

Они еще не дошли до Поцелуева моста, а уже потревожили с добрую дюжину великих имен, включая самого Пушкина с его нетипичной для русских улиц внешностью. Эксперимент с предполагаемыми потомками проходил с неизменно высоким эффектом. Даже инвалид войны, кативший свое укороченное изуродованное тело, притороченное к тележке, вдруг посмотрел на них пронизывающим, сверлящим взглядом Льва Николаевича Толстого.

Именно с этой встречи им расхотелось играть дальше в придумывание потомков. Инвалид был примерно одного возраста с Ипатовым, возможно даже немного моложе. Обреченный до конца дней влачить безрадостное, горемычное, безное существование, он, по-видимому, до ненависти завидовал тем своим сверстникам, которые передвигались на собственных ногах, разгуливали по улицам под руку с молодыми красивыми женщинами, любили их и, возможно, сами были любимы, пользовались всеми, без исключения, благами жизни. Особенно остро, надо думать, он ощущал свою инвалидность сейчас, когда еще свежи были впечатления от другой жизни и слишком мало прошло времени, чтобы привыкнуть к непоправимой беде. Ипатову стало нестерпимо жалко парня. Он не выдержал и обернулся. Инвалид находился все еще на том месте, где они встретились. Стоя или сидя, что в конечном счете для него было одно и то же, он смотрел им вслед набрякшими обидой и завистью глазами. Ипатов быстро от-

вернулся и тотчас же почти физически ощутил спиной недобрый, тяжелый взгляд. К Вальке и Светлане парень, похоже, не имел претензий. Очевидно, всех фронтовиков, кого не покалечила, не изуродовала война, он считал пролазами. И ведь не подойдешь, не скажешь, что он, Ипатов, воевал честно, не ловчил, не держался подалеже от переднего края, был дважды тяжело ранен и там, в госпитале, едва не отдал богу душу. Он так же, как этот бедолага, мог остаться без ног и раскатывать сейчас, отталкиваясь руками, в тележке по городу. Но судьба пощадила его. Однако сам он никогда, ни при каких обстоятельствах не шел против своей солдатской совести. И не вина его и не заслуга, что ему так повезло. Прости, солдат!..

За мыслями об инвалиде Ипатов не заметил, как они вышли к Театральной площади. Он даже забыл посмотреть на бабушкино окно, что делал всегда, проходя мимо. Вспомнил о нем, лишь когда его уже невозможно было разглядеть...

Когда переходили широкую в этом месте улицу Декабристов (как раз напротив бокового фасада Театра оперы и балета имени Кирова) с ее многорядным автомобильно-трамвайно-автобусным движением, Ипатова и Светлану здорово озадачило поведение Вальки. С того момента, как они ступили на мостовую, он вел себя очень нервно. Все время вертел головой, открыто следил за тем, чтобы, не дай бог, кто-нибудь из шагающих рядом, включая Ипатова и Светлану, не угодил под машину или трамвай. Его забота и беспокойство распространялись на всех семь-восемь человек, одновременно переходивших дорогу. Где-то на середине улицы он не выдержал и воскликнул, рванувшись к одному из пешеходов:

«Вот, черт, идет и не смотрит куда!»

А потом дело и вовсе дошло почти до анекдота. Впереди их, мечтательно склонив голову набок, плыла молоденькая дамочка в котиковом (или кроличьем, «под котик») манто. По сторонам она не смотрела, очевидно полностью полагаясь на бдительность соседей. Сигнал тревоги поступил в Валькину подкорку раньше, чем возникла непосредственная опасность в виде быстро приближавшегося такси. Он схватил дамочку за рукав манто.

Она обернулась и закричала:

«Что вам от меня надо? Отвяжитесь!»

«Осторожнее, можете попасть под машину!»— предупредил ее Валька.

Дамочка пожала плечами:

«Странный способ заводить знакомство!»

«Он такой!»— смеясь, заметила Светлана.

«Да, я такой!»— подтвердил Валька.— Влюбчивый до ужаст!»

Поняв, что ее разыгрывают, дамочка пулей перелетела через оставшиеся метры мостовой.

«Валька, ты чего дергался?— спросил Ипатов, когда они поднялись на тротуар у театра.— Все спокойно переходили улицу, один ты...»

«Не думала, что ты такой псих»,— сказала Вальке Светлана.

«Да, я псих,— согласился тот.— Когда перехожу улицу, я всегда боюсь, что кто-нибудь рядом зазеваается и попадет под машину... Смешно?»

«Не очень»,— смутилась Светлана.

«Валька, а о себе, о своей безопасности ты в этот момент не думаешь?»— поинтересовался Ипатов.

«Нет,— ответил Валька.— Я же смотрю по сторонам. Вижу все машины.»

«Послушай, тебе надо сходить к психиатру»,— сказал Ипатов.

«Я уже ходил. Он сказал, что впервые встречается с таким случаем. В медицинской литературе ничего об этом нет...»

«Я понимаю, если бы беспокоился о детях, когда они переходят, о стариках? Остальные могут и сами о себе позаботиться...»

«Да, конечно,— согласился Валька.— Надо взять себя в руки.»

«В конце концов,— рассудительно заметил Ипатов,— у каждого своя голова на плечах.»

«Хорошо, старик. Обещаю тебе поработать над собой.»

«Только Косте обещаешь, а мне?»— спросила Светлана.

«Тебе?»— смутился Валька.

«Да, мне.»

«Если в этом есть необходимость, пожалуйста!»— сказал Валька.

Светлана промолчала. И тут Ипатов почувствовал, что этот, казалось бы, такой пустячный, легковесный разговор между Светланой и Валькой полон какого-то

особого, пока что неуловимого смысла. Неужели у них все еще есть общие тайны, оберегаемые от него? А почему бы им и не быть?..

Тетя Дуся жила в самом начале улицы Союза Печатников, в угловом доме, на первом этаже. Оба ее окна, затянутые чистой марлей, выходили прямо на улицу. Вон они — белые, как бельма...

«Мальчики, подождите меня здесь! Я быстро!» — сказала Светлана, когда они вышли к знакомому обшарпанному подъезду.

«А нам нельзя зайти? — спросил Ипатов. — Чтобы оценить?»

«Нельзя».

«Почему?» — удивился он.

Светлана посмотрела по сторонам и, увидев, что чужих поблизости нет, негромко сказала:

«Неужели ты не понимаешь? Чтобы не платить налоги, она шьет тайком и только очень близким знакомым. В прошлом году на нее кто-то донес, и ей пришлось уплатить триста рублей штрафа».

«Скажи ей, что мы с Валькой не побежим доносить, что мы свои...»

«Нет, она всех боится!»

«Ну что, подождем? — спросил Ипатов Вальку. — Померзнем во имя великих целей?»

«Подождем. Померзнем».

«Я быстро!» — Светлана взбежала по ступенькам в подъезд и, помахав рукой, скрылась в темноте...

«Что, так и будем стоять? — спросил Ипатов приятеля. — Давай лучше походим?»

Они двинулись по улице Союза Печатников.

«Костя, только честно скажи, — вдруг спросил Валька. — Я правда был похож на ненормального?»

«Ты что? — пошел на попятный Ипатов. — Обыкновенный бзик. Нет человека, у которого не было бы какого-либо бзика. Именно бзики делают людей непохожими друг на друга...»

«И у тебя есть?»

«Сколько угодно!.. Например, когда я вижу у кого-нибудь на пальто или костюме, пусть это будет даже незнакомый человек, приставшую нитку, я стараюсь незаметно ее снять. На улице, конечно, не снимешь, а в трамвае или автобусе запросто. Или вот еще бзик.

Когда выхожу из автобуса или трамвая, тихонько опускаю в чужой карман использованные билеты...»

«Каждый раз так делаешь?»— удивленно спросил Валька.

«Нет, каждый раз не получается. Но — часто».

«Н-да...»

«И это еще далеко не все бзики»,— сказал Ипатов.

Так, за разговорами о бзиках, которых у обоих оказалось предостаточно, они не заметили, как пролетели целых сорок пять минут. Светлане пришлось даже их окликнуть:

«Мальчики, я уже!»

Она стояла у подъезда с пакетом в руке — довольная, улыбающаяся, с нежным румянцем на щеках.

Ипатов и Валька заторопились к ней, но разговор свой о бзиках не прервали.

«О чем спор?»— спросила Светлана, беря их под руки.

«О человеческой доброте, которая часто рядится в странные одежки»,— ответил Ипатов.

«На, держи,— отдала ему свой пакет Светлана.— Я тоже люблю рядиться в странные одежки... Мальчики, если бы вы знали, какое у меня чудесное настроение!»

«Новое платье нравится?»— сообразил Ипатов.

«Угу,— подтвердила она.— Придем, я надену, покажу вам!»

«Я боюсь за свое сердце»,— промолвил Валька.

«Да? А Костя не боится»,— мягко задиралась Светлана.

«У меня особое сердце,— отозвался Ипатов.— Пылелвагонепроницаемое, с противоударным устройством!»

«Вот какое у него сердце!»— не унималась Светлана.

«Ну, у меня попроще,— сказал Валька.— Компонент для ливерной колбасы!»

«Фу!»— поморщилась Светлана.

Они вышли к Никольскому рынку, свернули на Садовую.

«Осторожней! Помнешь!»— предупредила Светлана Ипатова, небрежно, несмотря на уличную толчею, размахивающего пакетом.

«Пардон, синьорита!»— сказал он и поднял пакет перед собой. Так и понес его на короткой бечевке, под удивленные взгляды прохожих.

«Не надо... опусти...»— застеснялась людей Светлана.

«Только до угла донесу!»— не уступал Ипатов.

«Я уйду»,— вдруг рассердилась она, убирая руку.

Ипатов струсил, опустил пакет. Потом попросил приятеля:

«Валька, держи, у тебя лучше получится!»

«Тебе оказано доверие, и неси»,— ответил тот.

«Да, неси,— сменив тон, подтвердила Светлана и снова взяла Ипатова под руку.— Только без фокусов!»

«Можно и без фокусов,— поскучившим голосом сказал Ипатов. И тут его взгляд упал на свежеекрашенное трехэтажное здание отделения милиции. Он вспомнил, что обещал Зинаиде Прокофьевне сегодня зайти туда, предложить свои услуги для скорейшей поимки воров.— Я забыл, мне надо в тот домик!»

«Ты чего, старик, там не видал?»— удивился Валька.

Светлана, видно, была в курсе вчерашнего разговора Ипатова с Зинаидой Прокофьевной и потому с ходу поддержала эту идею.

«Мальчики, пошли все вместе?— И бросила все еще недоумевающему Вальке:— Мы потом тебе все расскажем!»

«Пошли»,— без особого энтузиазма согласился Ипатов; оба, и Валька, и Светлана, могли помешать откровенному разговору бывших фронтовиков: его и лейтенанта милиции в черном полубубке.

Они перешли Садовую. Впереди два милиционера вели пьяного. Тот упирался. Однако с каждым шагом медленно, но верно сокращалось расстояние от него до милиции.

У самых дверей он обернулся и, увидев Светлану и ее спутников, крикнул:

«Прощай, Любань, родимый город, прощайте, все мои друзья... прощай, родная сторона!»

Его втолкнули в подъезд, и он в считанные секунды был доставлен к месту назначения — в крепко прокуренную комнату с деревянным барьером, за которым стояла скамейка для нарушителей общественного порядка.

Ипатов повел Светлану и Вальку знакомой лестницей на второй этаж.

Светлане все было в диковинку. Она смотрела с интересом по сторонам, постигая, как ей казалось, жизнь милиции изнутри.

«Подождите меня здесь, я сейчас!»— сказал Ипатов, останавливаясь перед дверью, из-за которой доносился чей-то монотонно-глуховатый голос. Ипатов еще не оставлял надежды поговорить со следователем наедине.

Он негромко постучал.

«Костя, а нам почему нельзя?»— удивленно спросила Светлана.

«Просто я думал...— смутился он.— Как хотите...»

«Мы хотим!»— сказала она.

«Ну, пошли...»

Он постучал погромче.

«Войдите!»— услышали они.

Они вошли. Лейтенанта, который тогда допрашивал Ипатова, в комнате не было. За вторым столом сидел незнакомый старший лейтенант милиции и разговаривал по телефону. Он молча кивнул белобрысой головой на стулья, стоявшие напротив у стены.

Вся тройка села в том же порядке, как шла: Светлана — в середине, Ипатов и Валька — по краям.

Старший лейтенант продолжал кому-то втолковывать:

«Я повторяю: на мокрое дело он не пойдет... Еще раз повторяю, не пойдет... Опять — двадцать пять!.. Ну, не знаю... не знаю... Может быть, и гастролер!.. Давай, давай!.. Будь здоров!— Он положил трубку и сказал:— Слушаю вас!»

«Мы к лейтенанту,— Ипатов показал на пустующий стол,— ну, в черном полушубке... Он здесь?»

«Ушел по делу... А зачем он вам?»

«Мы пришли по поводу квартирной кражи на Большой Подъяческой...»— и он назвал дом и квартиру.

«А, адмиральский музей!»— ухмыльнулся милиционер.

«Почему музей... и почему адмиральский?»— спросил Ипатов, с одной стороны удивляясь затаенному злорадству, с каким были сказаны эти слова, а с другой — милицейской интуиции: в момент кражи отец Светланы был еще капитаном первого ранга. Ипатов почувствовал, что Светлана также отметила это и сму-

тилась. Кроме того, ее, очевидно, задело словечко «музей».

«Это так...— ответил старший лейтенант,— мы между собой называем... Так, собственно, кто вы и с чем явились?»

«Это дочь хозяина квартиры,— кивком головы Ипатов показал на Светлану: щеки ее были все в красных пятнах.— А мы ее однокурсники по Университету. Я хотел предложить товарищу следователю свои услуги. Дело в том, что я видел одного из воров...»

«Видел? Когда?»

«Во время кражи...»

«Ипатов?»— вдруг вспомнил старший лейтенант.

«Да... Откуда вы знаете?»— удивился тот.

«Сегодня вашего следователя нет и до конца дня не будет. Приходите завтра!»

«В какое время?»

«Лучше с утра».

«Ясно,— сказал Ипатов и обратился к своим спутникам:— Пошли!.. До завтра, старшой!»

«До завтра!»— ответил старший лейтенант равнодушно.

Они вышли из милиции и отправились на Большую Подъяческую. По дороге они все рассказали Вальке, и тот прямо-таки загорелся сопровождать Ипатова по значным местам, чтобы подстраховать, на всякий пожарный случай...

Еще издавлекa Ипатов заметил маячившую у знакомого подъезда фигуру в модном синем полупальто в крупную клетку и пушистой меховой шапке. И почему-то тотчас же решил, что незнакомый парень ошивается здесь неспроста, наверно поджидает Светлану.

Так оно и было.

Светлана же по своей близорукости узнала парня не сразу, только когда почти вплотную подошли к нему.

«Игорь, ты?»— сердито удивилась она.

«Я,— ответил он, осторожно улыбаясь.— Зинаида Прокофьевна и Алексей Степанович сказали, что ты вот-вот должна прийти. Я решил подождать внизу».

«Знакомьтесь!»— сказала она.

«Игорь!»— глаза у знакомого Светланы были какие-то жалкие — растерянные и огорченные — и одновременно моргали.

«Костя!»

«Валентин!»

«Ну, пойдете ко мне!» — как-то скучно пригласила она и первой не спеша поднялась по ступенькам подъезда...

Два врача — палатный и заведующий общим отделением — вчера, один утром, другой днем, кажется даже независимо друг от друга, заявили Ипатову, что если и дальше так пойдет, то недельки через две его выпишут. Правда, выписка эта еще не окончательная. Сперва, как водится, его направят на реабилитацию в санаторий, и только оттуда домой, где тоже какое-то время придется посидеть на больничном. Ипатов быстро прикинул: на завершающем этапе лечения, совпадающем в днях со встречей, он будет волен распоряжаться собой и своим временем. И никакой врач не сможет помешать ему побывать на сборе бывших однокурсников.

Конечно, пить он там не будет. С утра подзарядится необходимыми таблетками, чтобы во всеоружии встретить нежеланные эмоции. Посидит часок-другой и незаметно, по-английски, слиняет. Честно говоря, он многое бы дал, чтобы какие-нибудь служебные обстоятельства помешали Светлане приехать. Ничего, кроме абсолютного разочарования для обоих, он не ждет от этого весьма позднего их свидания. Вот если бы только взглянуть на нее, но так, чтобы она его не видела. Себя он решительно не склонен демонстрировать. Зачем? Чтобы показать ей, во что он превратился на склоне лет? Но и ее тоже, ясное дело, не пощадило неумолимое время. Даже если ей, благодаря усилиям и ухищрениям лучших массажистов, косметологов, специалистов по лечебной гимнастике, и удалось сохранить привлекательность, сбересть кое-какие следы былой красоты, все равно возраст даст себя знать. Ипатов тоскливо подумал о том, что это будет уже не та Светлана, милая, очаровательная, юная девушка, которую он когда-то знал и любил, а какая-то другая, пожилая, возможно сильно молодящаяся женщина, чье появление лишь собьет, расслоит, дезориентирует память. Не лучше ли все оставить как было?

И вообще он ничего хорошего не ждал от этого сбора. В позапрошлом году была уже одна подобная встреча. Правда, не с университетскими, а со школьными друзьями. Отвыкшие друг от друга, отдаленные от

общего прошлого сорока двумя годами трудной и суетной жизни, они встретились, в основном отдавая долг укоренившейся традиции. Они заставляли себя улыбаться, целоваться, смеяться, делать вид, что ох как им весело и интересно. Впрочем, к концу вечера и в самом деле в душе что-то тронулось. И уже почти до самого конца встречи они видели и чувствовали себя мальчишками и девчонками — страшно озорными, смешными, нелепыми.

Да, почти до самого конца. А там вдруг появился Коля Саввин, которого никто не звал, потому что в войну (вернее, последние ее два года — после плена) он служил во власовской армии и был даже награжден, по слухам, Железным крестом. Потом он, правда, отсидел большой срок, работал на какой-то вредной шахте и только десять лет назад вернулся к старухе матери в Ленинград. С ним никто не поддерживал отношений, кроме бывшей классной воспитательницы, которая считала, что Колька испил свою горькую чашу до дна. Среди встречавшихся была и Зина Аренштейн, почти всю семью которой — шестнадцать человек — родителей, братьев, сестер, племянников — гитлеровцы расстреляли в противотанковом рву под Краснодаром. При виде Кольки с ней сделалась истерика. Она кричала: «Или я, или он! Пусть он и меня убьет, сволочь!» Колька попросил налить ему стакан водки, молча выпил, не закусывая, и ушел...

В школе Колька Саввин сидел с Зиной за одной партией и всегда сдувал у нее по русскому языку и математике...

Когда Ипатов поделился своими мыслями о встречах через полжизни с Александром Семеновичем, тот бросил странную фразу:

— Не увидит меня око видевшего меня...

— Откуда это?

— Из Книги Иова.

— Моего прадеда звали Иов, — вдруг заметил Алеша. — Дед был Тимофей Иович...

— Теперь у русских днем с огнем Ивана не сыщешь, — подал голос Станислав Иванович. — Евреи вон не брезгают. Своих еврейчат то Данилой, то Гаврилой называют. Скоро и до Иванов доберутся...

— Кстати, Станислав Иванович, все эти три имени — еврейские по происхождению, — сказал Алек-

сандр Семенович.— Так что еще неизвестно, кто у кого берет.

— Ясно,— со значением произнес Станислав Иванович.

— Что ясно?— встрепенулся Александр Семенович.

— Ясно,— повторил бывший швейцар...

— Ну что тебе, батя, ясно? Ну что?— переметнулся на край постели Алеша.

— Ну что вы привязались к человеку?— иронически вступился за Станислава Ивановича Ипатов.— У человека в голове прояснилось, а вы ему слова сказать не даете... Говорите, Станислав Иванович!

Тот натянул одеяло под самый подбородок.

— Помру скоро,— как бы в пустоту сказал он.

— С чего это вы решили?— сразу переменял тон Ипатов.

— Мамаша-покойница приснилась.

— Ну и что?

— Будто пришла она из Фрунзенского универмага. В руках у нее скороходовская коробка. Говорит мне: я тебе, Стасик, новую обувь купила. А я ей отвечаю: зачем мне обувь, у меня вон сколько ее — носить не переносить? А она мне: а ты посмотри, сынок, может, приглянется. Посмотрел, а там лапти деревенские. Вон оно как. В дорогу зовет...

— Выпишут скоро!— бодрым голосом сказал Алеша.

— Отходил я свое, парень!

— Еще походишь, еще людям нервы испортишь!

— Ну тебя!..

— Такие, как ты, батя, по заказу не умирают. Ох и живучий народец! По тестю сужу.

— Вон какие ноги холодные,— сказал старик, откидывая одеяло.

Алеша потрогал сперва одну ногу, потом вторую.

— А и вправду холодные. Как из холодильника... Врача позвать?

— Ноги укрой,— попросил Станислав Иванович.

Алеша укрыл ему ноги, произнес все тем же лениво-сочувственным голосом:

— Ничего, батя, все там будем!

— Алеша, живо врача!— сказал Ипатов, который испугался нарастающей бледности лица Станислава Ивановича.

— Лечу!— на ходу надевая халат, выскочил из палаты Алеша.

— Сигнализация!— подсказал Александр Семенович.

— Позабыл, черт побери!— Ипатов нажал на кнопку палатной сигнализации.

Через две-три минуты пришел врач. Пощупал пульс, послушал сердце. Велел сделать Станиславу Ивановичу какой-то укол. Вскоре щеки у старика порозовели, и он задышал ровно, глубоко и спокойно. И уснул.

— Доктор, мы перепугались, подумали, что он...— признался Ипатов.

— Не беспокойтесь,— ответил тот.— Он еще нас с вами переживет!

— А я что говорю?— подал голос Алеша.— Он своими холодными ногами еще полсвета обойдет!

— А если дать волю — то и вокруг света!— заметил Александр Семенович.

Врач насторожился:

— Это в каком смысле?

— В каком хотите.

— Н-да,— и, покачав головой, врач дошел до двери. Остановился:— Ну что, Алеша, будем готовиться к выписке?

— Не знаю, как вы,— ответил тот.— А мне чего готовиться? Закрыв рот — и пошел!

— Вот скоро ты, Алеша, и на свободе,— позавидовал Ипатов.

— Алеша, запиши мой адрес и телефон,— сказал Александр Семенович.— Будет время, звони и приходи!

— И мой тоже запиши!— подхватил Ипатов.

Алеша взял температурный листок и на обратной стороне неуверенным детским почерком записал оба адреса и телефона.

Потом встал, потянулся обеими руками и подошел к Ипатову.

— Померьте мои тапочки!

У Ипатова тапочки были малы и все время спадали с ног. Увы, и Алешины шлепанцы вмещали лишь пол-ипатовской стопы.

— Ну, ничего. Тапочки — за мной!— пообещал Алеша.

Ипатов до глубины души был тронут этой заботой. Алеша вышел из палаты и отсутствовал с добрых пол-

часа. Вернулся он, уже держа в руках тапочки огромного, сорок пятого или сорок шестого, размера.

— А эти померьте!

Ипатов примерил.

— В самый раз!.. Алеша, ты где их взял?

— Махнул на свои.

— Как махнул?

— Как? Ты мне, я тебе...

— А подробнее?

— Ну, подробнее... Вижу идет один новенький, а на нем вот эти самые тапочки. Прикинул: вроде бы по ноге вам? А морда у новенького так и светится глупостью. Ну, думаю, грех не использовать эту даровую солнечную энергию. Говорю ему: друг, откуда у тебя эти тапочки? Старшая сестра дала. А ты знаешь, кто до тебя их носил? Кто, спрашивает? Да покойник один, говорю. Вон метка, знакомая. Он так и сел: правда? Ну да, с какой бы стати я стал тебя обманывать? Что же делать, а, спрашивает? А я ему: ладно, давай махнемся, меня все равно послезавтра выписывают!.. Ну и махнулись!

— Ну и гусь ты, Алеша!— сказал Ипатов.

— Не гусее других,— ответил тот.— Носите, только на ровном месте не спотыкайтесь!

— Постараюсь!

— А то один соблюдал диету, да попал под трамвай... Ну как?

— Хорошо,— ответил Ипатов, пройдясь по палате.— Спасибо, Алеша.

И тот, поощренный похвалой, тут же пообещал:

— Я вам до выписки еще халат сменю!

Незадолго до обеда в палату с шумом, едва не разбудившим Станислава Ивановича, ворвалась Машка.

— Па! Мама завтра вылетает! Телеграмма!— радостно сообщила она.

У Ипатова почему-то вдруг ослабли, стали ватными ноги, вспотели ладони.

— Дай!— он взял телеграмму, и его взгляд сразу же споткнулся о слова, к которым госпожа продюсер прибегала лишь в крайних случаях, когда, к примеру, в ее отсутствие болели дети: «...чрезвычайно обеспокоена состоянием здоровья отца... второй день не нахожу себе места...» А в заключение коротко и деловито сооб-

щала: «Завтра вылетаю первым рейсом. Ирина». Даже опустила в спешке обычный телеграфный поцелуй.

— Это ты написала маме, что я болен?— сердито спросил Ипатов.

— Зачем?— пожала она плечами.

— Значит, Олег... Я же просил... Ну зачем он? Чувствую я себя нормально. На будущей неделе, врачи говорят, может быть, выпишут.

— Да? Правда?— обрадовалась Машка.

— Ну кто его за язык тянул? Только сорвал маму со съемок! Я понимаю, была бы необходимость. Ну а сейчас какой смысл?

— Не знаю,— снова пожала плечиками Машка и вдруг спохватилась:— Маму повидаем!

— Ну разве только маму повидать...

— Мы с Олегом соскучились по ней,— обиделась за маму Машка.

— Ну да, конечно,— пошел на попятную Ипатов...

Наконец его принял декан филологического факультета, тот самый академик, у которого он когда-то по-наглому попросил прикурить. Те несколько минут, пока шла беседа, Ипатова не покидал страх, что академик его узнает и откажет в переводе на отделение журналистики. Но, как ни дрожал у него голос, отвечать и держаться он старался с достоинством.

Коротко расспросив Ипатова о побудительных причинах перехода, академик как-то жалостливо на него посмотрел и в нижнем уголке заявления тонким синим карандашом написал резолюцию: «Перевести с первого января».

«Спасибо, большое спасибо!»— рассыпался в благодарностях Ипатов.

На это академик ответил с загадочной прямолинейностью:

«Дай бог вам всегда оставаться довольным сим выбором!»

Увы, память не сохранила, когда происходил этот разговор: утром ли, накануне знакомства с Игорем, или на следующий день, перед совместным походом в милицию. Скорее всего, на другой день, потому что за время, оставшееся до поездки на дачу к Игорю, Ипатов накал еще три международных обзора. Он хорошо помнил, что торопился закончить их, особенно последний,

в котором не оставлял камня на камне от пресловутого «плана Маршалла». Показать всем, включая Светлану, что и он не лыком шит, была первой из двух причин, почему он так гнал. Вторая, не менее важная причина состояла в том, что он не хотел являться к будущим своим коллегам-журналистам с пустыми руками. Чего другого, а честолюбия ему в то славное времечко было не занимать. Именно тогда он поделился своими грандиозными планами с мамой, а мама рассказала все папе, а папа, которому, несмотря на революционное прошлое, так и не удалось сделать карьеру, неожиданно горячо одобрил намерение сына стать журналистом-международником. Будучи человеком дела, он, ознакомившись с написанным, молча забрал все шесть обзоров (три новых и три старых) и в течение двух вечеров старательно переписал их на хорошей гознаковской бумаге своим ровным, каллиграфическим дореволюционным почерком выпускника классической гимназии...

Но вернемся к тому моменту, когда все четверо (Светлана впереди, следом Ипатов и Валька, Игорь — последний), перекидываясь какими-то несущественными репликами, поднимались по вальсообразной лестнице.

«Зуб болит,— вдруг пожаловался Валька.— Надо бы к врачу сходить...»

«А чего тянешь?— сказал Ипатов.— А то, смотри, всю щеку разнесет!»

«Мальчики, у кого это щеку разнесет?»— обернулась Светлана.

«У меня!»— неожиданно выскочил Игорь, очевидно решивший присоединиться к шутливой, дружеской пикировке.

«Вот как?— насмешливо вскинула брови Светлана.— Тебе кто-нибудь плюху отвесил?»

«Тот и дня не проживет,— вспыхнул Игорь,— кто мне плюху отвесит!»

Да он самым натуральным образом угрожал им, давал понять, что заставит считаться с собой. Вот только ради чего? Надо быть круглым идиотом, чтобы рассчитывать на что-то. Светлана всем своим видом показывала, что он для нее никто. Ипатов не помнил, чтобы она еще кому-нибудь так грубила. Другой бы сразу повернулся и ушел, а Игорь все равно плелся за ними.

Откровенно говоря, присутствие его мало беспокоило Ипатова. Теперь ему не был страшен никакой соперник. Он ловил себя даже на том, что испытывает жалость к Игорю. Что может быть хуже, чем любить и не быть любимым. И ведь не скажешь ему всей правды. Увы, до всего он должен дойти сам. Сам или, на худой конец, с помощью Светланы, как это уже было полминуты назад, когда она при всех осмеяла его.

Нет, он, Ипатов, в таком аховом, унижительном положении еще не был и, даст бог, никогда не будет...

Они только перешли на последний лестничный марш, а родители Светланы уже широко распахнули дверь — видимо, ждали появления дочери и поджидавшего ее внизу Игоря. Приход Ипатова и Вальки для них был несколько неожидан. Но замешательство, не ускользнувшее от Ипатова, они преодолели быстро. Особенно легко перестроилась Зинаида Прокофьевна. Она приласкала каждого из спутников дочери одинаково приветливой и благосклонной улыбкой. Адмирал же, как и следовало ожидать, спрятался за ее спиной.

Раздевшись, они прошли в гостиную.

«Лихо!» — глядя на зияющую пустоту на полках и стенах, промолвил Валька.

«Завтра я увижу генерала Бархатова...» — начал Игорь.

«Кого, кого?» — не дала ему договорить Светлана.

«Генерала Бархатова, — покраснев, сказал Игорь. — Он прикажет кому надо в два дня найти воров, и их найдут!»

«Ого!» — недоверчиво воскликнул Валька.

Глядя на смущенного Игоря, Ипатов подумал, что тот несколько не похож на Хлестакова с его хрестоматийным фантазерством и пусканием пыли в глаза. Видимо, ему и в самом деле ничего не стоит поговорить с известным всем генералом Бархатовым. А это могло быть только в двух случаях. Первое — если тот его близкий родственник. Второе — если родители Игоря занимают столь высокое положение, что такая необычная просьба не покажется дикой. Смущался же и краснел, очевидно, потому, что догадывался, в чем его подозревают. Испытывая совершеннейшую беззащитность перед недоверием новых знакомых, он, возможно, ожидал, что за него вступится Светлана, зная, врет он или нет. Но она не вступилась и, по-видимому, не соби-

ралась вступаться. Словно ей нравилось, что он выступает в незавидной роли бахвала и пустомели.

«Послушай, а этому генералу действительно ничего не стоит поймать воров?»— все же решился спросить Ипатов.

«Да,— ответил Игорь.— У него есть для этого огромные возможности».

«И он что, слушается тебя?»

«Да».

«Он что, отцу твоему подчиняется?»

«Дяде»,— уточнила Светлана.

«Дяде? Пусть дяде»,— продолжал Ипатов.

«Нет, конечно, но...— замялся Игорь.— Вообще-то да»,— поправился он, не выдержав царапающего взгляда Светланы.

«Кто же его дядя?— подумал Ипатов.— Наверно, какая-нибудь большая шишка? И спросить как-то неудобно. Светлана, та, конечно, знает. Но скажет она нам с Валькой, только когда Игорь уйдет...»

«Может, скажешь им, кто твой дядя?— словно прочитав мысли Ипатова, сердито сказала Светлана Игорю.— Если ты не скажешь, я скажу!»

«Пожалуйста»,— ответил тот обреченным голосом.

«Дядя его — товарищ...»— и она громко и отчетливо произнесла фамилию видного государственного деятеля, одного из соратников товарища Сталина.

«Правда?»— глупо удивился Ипатов.

Игорь смущенно развел руками.

«Забавная ситуация»,— сказал Валька.

«Похож?»— осведомилась Светлана.

«Не очень»,— заявил Ипатов: юношески тонкий, впалощекий Игорь никак не соразмерялся, даже отдаленно не совпадал с крупногабаритным, толстошеким дядей.

«Ну-ка повернись к нам профилем!»— приказала Светлана.

Игорь покорно повернулся.

«А сейчас?»— деловито спросила Светлана.

«Что-то есть»,— ответил Ипатов.

«Вспомните Гоголя»,— усмехнулся Валька.

«Нет, здесь — другое»,— возразила Светлана и продолжала, обращаясь к Игорю:— Чуть-чуть левее... левее, а не правее!..»

«Может быть, хватит?»— сказал ей Ипатов, вступая за своего незадачливого соперника. Смотреть

дальше, как Светлана открыто и бесцеремонно помыкает Игорем, было неприятно. Можно ни в грош не ставить его, но зачем унижать? Он на месте Игоря давно бы хлопнул дверью. Даже если бы было что терять. Видимо, надо любить до полного самоуничижения, чтобы позволять так обращаться с собою. Не видит, чудак, что такая покорность лишь раздражает и злит Светлану. Но не ему, Ипатову, ее будущему мужу, скорбеть по этому поводу. С каждым исчезающим соперником легче дышится и крепче спится! Да будет земля им всем пухом!..

«Ну что, мальчики, будем пить чай?»— спросила Светлана, избегая встречаться с Ипатовым взглядом.

Понять ее состояние было можно: он впервые сделал ей при всех замечание, и она промолчала. Но что скрывалось за этим, сказать было трудно: то ли признавала его правоту, то ли затаила обиду, то ли уходила от острого неприятного разговора. А может быть, все это в самых разных сочетаниях?..

Молча, ничего не говоря, она вышла из комнаты.

«Прошу!»— широким хозяйским жестом Ипатов пригласил Вальку и Игоря к столу.

И тотчас же осудил себя за этот опрометчивый жест. Как Валька ни пытался скрыть усмешку в глазах, Ипатов ее все-таки заметил. Сам того не желая, он этой глупой шуткой выдал себя, приоткрылся больше, чем следовало.

Реакция же Игоря интересовала Ипатова мало. Вернее, совсем не интересовала. Однако по выражению его отрешенно-страдальческого лица не было видно, чтобы он разглядел в этом неуместном жесте нечто большее, чем вольную, игривую шутку. Во всяком случае, он первым, словно напрашиваясь на похвалу, поспешно сел за стол—этакий примерный мальчик с растерянной и жалкой улыбкой.

Вернулась Светлана в гостиную не одна, а с матерью. Зинаида Прокофьевна катила перед собой столик на колесиках, на котором между новенькими чайными приборами ломоносовского завода возвышались вазы с шоколадными конфетами, печеньем и огромными грушами. Светлана несла горячий чайник, обмотав ручку носовым платком.

Зинаиде Прокофьевне было достаточно одного короткого цепкого взгляда на лица ребят, чтобы оценить обстановку.

«Молодые люди,— сказала она, расставляя на столе приборы,— вы уж Игорьька не обижайте...»

«Откуда вы взяли? Меня никто не обижает!»— ошестинился тот.

«Это я так,— смутилась она.— Пейте чай. Я с вами посижу за компанию».

Наливая чай Ипатову, Светлана быстрым, почти мимолетным движением, вряд ли заметным кому-либо, кроме них двоих, прикоснулась грудью к его плечу. И, отзываясь на это сладкое касание, сердце заработало резкими, сильными толчками, которые, казалось, были слышны даже на том конце стола, где сидели Игорь и Зинаида Прокофьевна.

Ипатов пил чай и никак не мог поймать взгляд будущей тещи. И вдруг их зрачки сошлись. Это длилось мгновение. Но Ипатов все-таки успел мысленно спросить: «Ну, что будем делать дальше, тетя-мама Зина?» И даже получить ответ: «Во всяком случае, спешить не будем. Не правда ли, поспешишь — дураков насмешишь?» Ипатов был уверен, что она подумала именно это...

А разговор за столом между тем становился все жарче и свободнее. Тон ему задавал Валька, вспомнивший вдруг, что его отец когда-то оперировал дядю Игоря. Операция была пустяковая, аппендицит, но запомнилась будущему генерал-лейтенанту медицинской службы на всю жизнь. Сперва его предупредили о высочайшей ответственности, намекнули на возможные последствия, если не дай бог... Затем тщательно проверили, нет ли при нем оружия... «А скальпель как, оставите?»— насмешливо осведомился хирург.

Комизм ситуации отметили все, даже Игорь. Но он тут же стал оправдывать дядю:

«Он наверняка не знал об этом. Откуда ему знать? Охрана ему не подчиняется».

Но тут засуетилась Зинаида Прокофьевна:

«Молодые люди, угощайтесь! Берите печенье... гриши... Костя!.. Валя!.. Игорек!..»

Те поблагодарили и продолжали свой увлекательный разговор о сильных мира сего.

«А верно, что твой дядя пишет стихи?»— спросил Валька.

«В молодости писал, а сейчас нет... Когда ему их писать?»

«Интересно бы почитать»,— сказал Валька.

«Очень», — подхватил Ипатов.

«Наверно, прекрасные стихи, — с умилением заявила Зинаида Прокофьевна. — Серьезные...»

«Мама», — поморщилась Светлана.

«А что я такого сказала? Ведь ничего такого не сказала?» — обратилась она к гостям.

«Нет, ничего», — с невозмутимым видом произнес Валька.

«Ничего, — подтвердил Ипатов и обратился к Игорю: — Но почитать стихи все-таки хочется...»

«У меня есть идея, — оживился тот. — Рвануть к нам на дачу всем на выходной... Посмотрим новый фильм, покрутим новые пластинки... Почитаем, может быть, дядины стихи...»

«Я — за!» — первой отозвалась Светлана.

«Мы — тоже!» — ответил за себя и Вальку Ипатов.

«Поезжайте, поезжайте, — горячо поддержала молодежь Зинаида Прокофьевна. — Отдохнете... повеселитесь... подышите свежим воздухом... Я завидую вам...»

«Зинаида Прокофьевна, поедете с нами?» — пригласил ее Игорь.

«Ну что вы, Игорек? Куда уж мне? Только мешать вам буду!» — замахала она руками.

«Мама, поехали?» — с просительной ноткой в голосе сказала Светлана.

Ипатов удивленно посмотрел на нее: на фигу ей с собою мать? Тоже удовольствие — все время быть там под ее опекой? Но может быть, она руководствуется какими-то соображениями? Только какими?

«Нет, нет, — ответила та. — Во-первых, это не очень удобно...»

«Почему неудобно?» — удивился Игорь.

«Во-вторых, — благодарно взглянув на него, продолжала мать Светланы, — мы с отцом собирались в выходной пройтись по комиссионным. Может быть, что-нибудь опознаем. Правильно в народе говорят: то-нуть будешь, за соломинку схватишься...»

В ее словах Ипатову послышался упрек в его адрес...

«Вы не думайте, что я не помню своего обещания, — горячо заговорил он. — Мы сегодня втроем заходили в милицию, но нашего следователя не было на месте. Он будет только завтра. Завтра я схожу еще раз. Я тоже собираюсь походить... но не по комиссионкам, а по

злачным местам. Возможно, именно там ошивается главный ворюга!»

«Да, да, сходи, Костенька!»— она и не думала отказываться от его услуг.

«А может, ты поможешь через своего генерала?— спросил Валька Игоря.— Ты же говорил, что ему ничего не стоит поймать воров?»

«Да, ему это легче сделать, чем кому бы то ни было... Я завтра же поговорю с ним! Он сделает все, о чем я его попрошу!»— уверенно заявил Игорь.

«Вот!.. Я всегда говорила, что на свете есть справедливость!— с душевным подъемом произнесла Зинаида Прокофьевна.— Вас нам, Игоречек, сам бог послал!»

Валька вполголоса торжественно прокомментировал:

«Рука всевышнего отечество спасла!»

«Валечка, вам все шуточки,— сказала Зинаида Прокофьевна.— Кому еще чаю налить?»

Давно он не видел такого странного и тревожного сна. Где-то в деревне (а возможно, и на даче) по двору, поросшему травой-муравой, под бдительным прищмотром хохлатки бродил выводок цыплят. Ипатов взял горсть пшена и стал посыпать: «Цып-цып-цып...» Цыплята устремились на зов. Каждый желтый пушистый комочек венчала человеческая головка с очаровательным детским личиком. После того как цыплята склевали все пшено, они двинулись вслед за Ипатовым и кричали ребячьими голосами, что хотят по маленькому. «Хотим пи-пи!» Он провел их за сарай, где они суетливо справили свою маленькую нужду. И в этот момент одного цыпленка с чудесными детскими глазами утщила хозяйская собака. Ипатов долго гонялся за нею по двору, но так и не догнал. На крыльцо вышла хозяйка. Она посмотрела на Ипатова и спокойно сказала: «Да оставьте!.. Ведь цыплята, а не люди!..»

Сегодня под утро умер Станислав Иванович. Ипатов сквозь сон слышал, как он долго не мог уснуть, все ворочался, крихтел, а когда наконец утомился, никому и в голову не пришло, что он уже неживой. Первым это обнаружил на рассвете Александр Семенович. Он едва

не раздавил кнопку палатной сигнализации, вызывая дежурного врача. Ипатов с ужасом смотрел на помертвелое, синюшно-белое лицо Станислава Ивановича с неподвижными открытыми глазами. Взгляд их был устремлен в потолок, по которому разгуливали потревоженные мухи. А ведь старик чувствовал приближение смерти, искал сострадания. Но как можно было жалеть его полной жалостью, если он сам никого не жалел, не любил всех, кто хоть чем-нибудь отличался от него? Через несколько минут отходившее, отслужившее, отненавидевшее тело Станислава Ивановича переложили на каталку, накрыли простыней и повезли по коридору к большому грузовому лифту.

Потом собрали постель, все, что было в тумбочке и на ней, завязали в узелок, протерли мокрой тряпкой пол под кроватью, вынули из металлической рамки температурный листок. Короче говоря, когда подошло время утреннего измерения температуры, койка Станислава Ивановича уже была готова к приему нового больного...

И к вечеру он появился...

Но за два часа до его появления в палату уверенными, решительными шагами вошла госпожа продюсер. Загорелая, с выцветшими под нещадно палящим казахстанским солнцем волосами, с бледно накрашенными губами, Ирина выглядела очень молодо, лет этак на сорок — сорок пять. А ведь в будущем году ей выходить на заслуженный отдых, о чем мадам не любила распространяться.

— Ну, здравствуй, милый! — сказала она, то ли случайно, то ли умышленно разминувшись с ним поцелуями.

Затем она присела к мужу на кровать и, вытянув длинные, покрытые густым коричневым загаром ноги, устроила ему выволочку за то, что он не сообщил ей о своей болезни.

Ипатов стал оправдываться. Дескать, не хотел, чтобы зря психовала. Потом рассудил так: киногоруппу бросить она все равно не сможет. Да и не представлял себе, чем бы она могла помочь. Родных в реанимацию не допускали, а когда он начал поправляться, его каждый день кто-нибудь навещал. Машка вообще не вылезала из палаты. Приходила прямо из школы и торчала

допоздна. Олег бывал реже, но при его невероятной занятости и на том спасибо. Вот спроси соседей, если не веришь...

Ипатов обернулся, но Александра Семеновича уже и след простыл. Видимо, ушел, чтобы не мешать встрече супругов. Алеша же выписался на днях, к чему Ипатов еще никак не мог привыкнуть...

Разумеется, случись что-нибудь с ним, продолжал бубнить Ипатов, ее бы сразу поставили в известность. А так — какой был смысл ее беспокоить? Словом, все хорошо, что хорошо кончается...

— Сволочь ты, Костя! — вдруг сказала Ирина.

— Весьма признателен, — ответил он, с любопытством поглядывая на янтарные бусы на высокой стройной шее жены, которых раньше он не видел у нее.

— Ты можешь не ерничать?

— Ну хорошо, сволочь так сволочь!

Она встала с кровати, подошла к нему и подняла за подбородок его голову.

— Ты очень скучал по мне?

— Очень.

— По глазам вижу, врешь!

— А ты?

— Я только о тебе и думала.

— Да?

— Нужны доказательства?

— Ну здесь, в палате, — усмехнулся Ипатов, — не очень разбежишься с доказательствами...

— Нет, милый, с этим надо подождать, — игривым голосом произнесла она. — До полного, полного, полного выздоровления.

— Все равно комнаты для свидания супругов в больницах не предусмотрены. Другое ведомство. Да и смерть здесь попроще, без фокусов. Лег спать — и нет. Вот сегодня ночью на этой койке один старик отмучился...

— На этой? — серые глаза Ирины испуганно расширились.

— Ты думаешь, она не очень для этого приспособлена? — иронически осведомился Ипатов.

— Нет, милый, меня поразило другое. Связь между смертью и этой, такой домашней, такой конкретной постелью.

— Ты полетишь обратно?

— Да, конечно.

- Как идут съемки?
 - Как всегда. В этом месяце должны кончить.
 - Премия светит?
 - А я на что, милый?
 - Ну хоть посмотреть можно будет?
 - Мура!
 - О чем?
 - Спроси что-нибудь полегче. Страсти-мордасти на восточный лад.
 - С трудом отпустили?
 - Да нет. У меня отличные помощники.
 - Кто?
 - Ты их не знаешь. Новенькие.
 - Садись. Чего стоишь?
 - Я еще ни Машки не видела, ни Олега. Чего тебе принести?
 - Ничего не надо. Вон сколько всего в тумбочке!
 - Ну что, милый, я пойду?
 - Двигай!
- Она быстро чмокнула его в щеку, он даже не успел ответить. Вот и снова разминулись поцелуями.
- Машку прислать? — спросила Ирина уже у двери.
 - Не надо... Она сама придет, когда захочет...
 - До вечера...
 - До вечера...

Его всегда поражало, до чего внешне Ирина похожа на Светлану. Нет, до прямого, двойникового сходства было далеко, и все-таки, если бы их поставить рядом, они казались бы сестрами. Как приятно и трогательно когда-то узнавались в Иренином лице черты Светланы. Возможно, потому он и женился на будущей госпоже продюсер, что она напоминала ему его первую (а с Верой — вторую) любовь. Сама же Ирина этого сходства не находила. Однажды, увидев у него старую фотографию Светланы, она только и сказала: «Славная мордашка!» И ничего больше, хотя он и так, и этак подвондил жену к мысли, что обе они принадлежат к одному женскому типу, сработаны природой по одному восхитительному образцу. Говоря так, в первые годы, жене комплименты, он был искренен. Неискренность пришла потом, когда оба поняли, что не любят друг друга, но жизнь прожита и надо как-то уживаться ради детей,

кооперативной квартиры, собственного спокойствия и т. д. и т. п.

Фамилия поступившего в их палату нового больного была Чадушкин. Рыжеватая бородка, неорганизованно ползущая по мясистым щекам, придавала его простецкой внешности элитарно-мужицкий вид. Окинув подозрительным взглядом будущих соседей, он прямо в тапочках улегся на ближайшую к окну свободную койку (кровать покойного Станислава Ивановича) и сразу же сунул нос в хорошо узнаваемый по обложке журнал «Наш современник». Ипатов украдкой изловчился и подглядел: за прошлые годы. Значит, Валентин Пиккуль. «У последней черты». Ничего другого быть не может...

Встретились они, как и договорились, на Финляндском вокзале, у крайней слева билетной кассы. Ипатов, который не любил опаздывать, приехал на целых двадцать минут раньше. Потом появилась Светлана. Лавируя между потоками людей, она шла, близоруко шурясь, и, судя по выжидательной и напряженной улыбке, догадывалась, что ее уже заметили издали и ждут. Увидев Ипатова, на голову возвышавшегося над всеми, открыто обрадовалась.

«Костя, знаешь,— сказала она, порывисто преодолев последние несколько метров,— я загадала: если мы с тобой придем первыми, то скоро поженимся!»

«Я и без загадывания знаю, что скоро,— ответил он.— Вон Игорь идет!»

«Я должна тебе что-то сказать!»— как-то растерянно начала она.

«Что?»— насторожился он.

«Не сейчас...»

По ее лицу он понял, что новость, которую она намеревалась сообщить, вряд ли принадлежит к числу приятных.

«Потом,— повторила она, видя, что он встревожен. Предупредила:— Игорь... И не один...»

Игорь и вправду пришел не один. С ним была какая-то незнакомая пара — девушка и парень, удивившие Ипатова своей странной пружинистой, распахнутой походкой.

«Таня»,— подала руку девушка.

«Борис»,— с коротким поклоном представился им парень.

Красивой девушку назвать было трудно — простенькое личико, светлые, неяркие глаза, но все испустила ее тонкая и изящная фигурка. Парню было уже под тридцать. А в остальном, если не считать необычной походки, он ничем особо не выделялся в толпе. Даже одет был как все, без претензий: легкое демисезонное пальто, меховая шапка с опущенными ушами.

«Где же Валька?»— озабоченно спросил Ипатов, хотя до условленного времени оставалось еще три минуты и Дутов мог появиться с секунды на секунду.

«Ладно, пойду брать билеты»,— Игорь шагнул к кассе.

«Возьми деньги!»— Ипатов протянул ему заранее приготовленную десятку, первую из полсотни, заработанной им на днях на погрузке вагонов.

«Ерунда!»— отмахнулся тот.

Ипатов пожал плечами и сунул бумажку обратно в карман.

«Не дергайся!»— шепнула ему Светлана.— У него денег куры не клюют!»

«Вон и Дутов!»— воскликнул Ипатов, увидев приятеля, пробиравшегося сквозь толпу. Правое высокое плечо у него, как всегда, выдавалось вперед.

Вернулся с билетами Игорь.

«Только спальные!»— сообщил он, смешно подмигивая обоими глазами.

«Очередная шуточка!»— вполголоса прокомментировала Светлана.

«Когда поезд?»— спросил Валька, пожимая всем руки.

«Успеем. Через двенадцать минут»,— ответил Игорь.

«По-моему, мы где-то встречались? Но где, убей бог, не помню!»— сказал Валька, после того как незнакомые парень и девушка назвали себя.

«Когда вспомните — скажете»,— улыбнулась Таня.

«Непременно»,— пообещал Валька, видимо продолжая ворошить память.

«Задали фининспектору работку!»— шутливо заметил Борис.

«Пошли на поезд!» — сказал Игорь.

Когда все двинулись на перрон, он на ходу подошел к Светлане:

«Я вчера говорил о вашем деле с генералом Бархатовым. Он обещал взять его на контроль. Все будет о'кей!»

«Спасибо!» — она благодарно приласкала его рукав. Игорь тут же засиял.

«Как мало ему надо, — подумал Ипатов. — Как когда-то мне... Что же случилось?» — продолжал он ломать голову.

По платформе, у которой стоял их поезд, спешили к вагонам пассажиры. Вдалеке попыхивал дымком паровоз. Игорь и его спутники пошли вдоль состава, выглядывая, где посвободнее. До пятого от конца все вагоны были битком забиты людьми, и только с шестого появились незанятые места. Сели, однако, где-то у самого паровоза.

Удивительно, что память сохранила эти никому не нужные подробности и не уберегла того, что действительно представляло интерес. Рассказать кому-нибудь — не поверят. Он был на даче и до сих пор не знает, где она находится. Потом он не раз задумывался, как могло такое случиться. Постепенно нашел объяснение. Перво-наперво, сел в поезд, не поинтересовавшись, куда он идет. Затем, пока ехали, ни разу не посмотрел в окно. Мелькали какие-то речушки, мосты, перелески, поля, полустанки. Он даже не запомнил, где они вышли и как добирались до дачи. Так, за оживленными разговорами ничего и не заметил, не разглядел.

Но сами разговоры запомнились. Только отъехали, как Валька все-таки домучил свою память и опознал незнакомую пару. Это были широко известные в Ленинграде молодые солисты балета Театра имени Кирова. Чуть ли не на каждом шагу висели афиши с их портретами. Мысль о том, что он находится в одной компании с такими знаменитостями, также отвлекала Ипатову от дороги и наполняла — и он это понимал — пустым и тщеславным чувством принадлежности к избранным и даже в какой-то мере к сильным мира сего...

Узнал Ипатов из этих разговоров кое-что и о матери друга, загадочное отсутствие которой в жизни Вальки давно интересовало его. Нет, Валька не проговорился. Просто, говоря о балете, он вдруг неожиданно показал себя отменным знатоком советской хореографии. Он

знал буквально все спектакли тридцатых и сороковых годов, всех балерин, всех балетмейстеров, одним словом, знал, где что ставилось и кто где как танцевал. Его знаниями были ошарашены все, включая Таню и Бориса. И тут выяснилось, что мама Вальки была балерина, и весьма известная, заслуженная артистка республики. Во всяком случае, когда Таня и Борис услышали ее фамилию, они так и ахнули.

Она умерла совсем молодой от заражения крови. На пляже где-то возле Сочи наступила босой ногой на ржавый гвоздь, и уже ничто не могло ее спасти, даже высокая ампутация.

У Светланы и Тани одновременно покраснели глаза. Ипатову тоже чуть ли не до слез стало жалко молодую, красивую, талантливую Валькину маму...

И еще было жалко самого Вальку, его отца и его няньку, переживших такое горе...

Вот и ответ, почему законная жизнь не интересовала Ипатова, почему она незаметно пролетела мимо...

Сошли они на неизвестном разъезде. У дальнего входа на дачу их встретил симпатичный улыбчивый человек в аккуратном белом полушубке.

«Это — со мной!» — сказал Игорь, и тот сразу пропустил их. Даже не попросил предъявить документы.

Второй такой же симпатичный улыбчивый человек вышел на крыльцо и каждому крепко пожал руку.

Они поднялись в дом. По всей видимости, раньше это была дача какого-то очень богатого финна. Похоже, здесь ничего не перестраивалось, все оставалось как при старом хозяине. И эти витражи, и этот камин, и эта лестница, полого ведущая на второй этаж.

«Будьте как дома!» — заявил гостям Игорь и бросился помогать Светлане снимать шубку. Нельзя сказать, что это получилось у него изящно. За считанные мгновения он оборвал на шубке вешалку, наступил Ипатову на ногу и толкнул локтем Таню. Раздосадованный собственной неловкостью, он только чертыхался по своему адресу и извинялся.

Затем они перешли в гостиную с огромным, чуть ли не во всю стену окном. Но смотреть особенно было не на что. Куда бы ни падал взгляд, всюду тянулся высокий,

непроницаемый для посторонних взоров забор. И еще по эту его сторону толпились отрезанные от большого леса несколько сотен деревьев...

В теплом воздухе млели всевозможные комнатные цветы. Их было так много, что требовались немалые ухищрения, чтобы не задеть их, проходя мимо.

«Дядя бывает здесь очень редко, — рассказывал Игорь. — А тетя два-три раза в неделю. Это все тетино хозяйство, — кивнул он на цветы. — Прямо как в ботаническом саду — не продохнуть!»

Первое, что они увидели когда вошли в соседнюю комнату, был мраморный бюст товарища Сталина. Тут же на стене висел его портрет, написанный маслом.

Впрочем, в гостиной, кажется, тоже был портрет, нет, фотография вождя. Она стояла на столе в золоченой рамке среди цветов и потому как-то не очень бросалась в глаза...

«А здесь дядина библиотека», — продолжал Игорь, распахнув дверь в следующую комнату. Ровными рядами стояли в шкафах книги, в основном произведения классиков марксизма-ленинизма. Паркет был натерт так, что по нему было боязно ходить.

«А это — дядя!» — Игорь показал на гипсовый бюст, возвышавшийся в простенке между окнами.

«Похож», — сказал Ипатов.

«Ты серьезно?» — удивленно спросил Игорь.

«А что? — внимательно посмотрел на него Ипатов. — По-моему, он здесь очень похож на свои портреты...»

«На портреты? Ну да, конечно», — очевидно, только сейчас до Игоря дошло, что все, кроме него, видели его дядю лишь на портретах и в кино.

Обойдя все комнаты первого этажа, они снова очутились в светлой и просторной прихожей. Из коридора справа, откуда доносился дразнящий запах хорошо приготовленного обеда, на голоса ребят вышла пожилая, лет сорока — сорока пяти женщина в белоснежном передничке и кружевной наколке на аккуратной прическе. Она учтиво-ласково улыбнулась и спросила:

«Игоречек, сейчас будете обедать или после?»

«А это как решат массы?»

«Массы» мялись и переглядывались.

«С одной стороны, вроде бы рановато, — пошел разводить канитель Ипатов. — А с другой...»

«...щи остынут»,— вставил Валька.

«Вот именно!»— смеясь, согласился Ипатов.

«Я могу говорить только за себя,— сказал Борис,— но со всей прямоотой и самокритичностью. Я проголодался!»

«Я тоже!»— смущенно подхватила Таня.

«А ты, Света?»— спросил Игорь.

«Мне все равно»,— ответила та сухо.

«А!.. Дают — бери, бьют — беги!»— воскликнул Валька.

«Тетя Оля! — сказал официантке Игорь.— Накрывай на стол! Большинство — за!»

По пути зашли в ванную комнату мыть руки. Стены ее были облицованы белыми и голубыми плитками, которые, нежно сочетаясь, образовывали какой-то сложный, но приятный для глаза рисунок...

Ипатов подгадал так, чтобы остаться в ванной комнате вдвоем со Светланой. Он не стал ждать, когда она кончит мыть руки, а просто подставил ладони чуть ниже, под ту же струю.

«Ну что? Ну что, говори?»— торопливо спросил он.

Она оглянулась на дверь и быстро сказала:

«Папу назначают военным атташе во Францию!»

«Но это же здорово!»

«Ты не знаешь всего»,— сказала она, но тут погас свет: очевидно, кто-то, решив, что в ванной никого нет, щелкнул выключателем.

«Говори!»

«Ему предложили ехать вместе с семьей!»

«То есть и с тобой?»

«Да. Но я сказала, что никуда не поеду!»

«Из-за меня?»

«Нет, из-за нас!»

Ипатов обнял Светлану.

«Где они?»— слышалось в коридоре.

«Пусти, Костя!.. Зажгите свет!»— крикнула она.

«Свет!»— подхватил Ипатов, урывая напоследок поцелуй.

Загорелся свет.

В ванную заглянул обеспокоенный, еще чаще, чем раньше помаргивающий обоими глазами Игорь.

«Вот вы где!»

«А где мы могли еще быть?»— насмешливо спросила Светлана.

«Мы уже завалились в столовую, видим, вас нет,—

жалобным голосом произнес Игорь.— Подожди, я сейчас дам сухое полотенце!»— сказал он Светлане и бросился к тумбочке. Порывшись, достал красивое мохнатое полотенце.

«Неужели он не видит, не понимает, что мы любим друг друга? Что ему абсолютно не на что рассчитывать? Что даже высокое положение дяди ему уже не поможет?— подумал Ипатов, и у него сладко защемило сердце.— Отказаться ради меня от долгой жизни во Франции? В Париже? Какие еще нужны доказательства ее чувств ко мне?.. А этот чудака туда же — со своим полотенцем!»

Столовая представляла собой уютную круглую комнату с одним большим столом под бронзовой люстрой с хрустальными подвесками. Светлана и Ипатов усадились рядом с Валькой, который сидел в несколько неудобной позе, почти горизонтально уложив голову на ладонь согнутой руки. Локтем он небрежно упирался в белоснежную накрахмаленную скатерть...

По-видимому, тетя Оля когда-то работала в перво-классном ресторане официанткой. Все, что она делала, было продумано и выверено до последнего движения. Даже улыбка, которая не сходила с ее приятного лица, казалась составной частью сегодняшнего обеда.

Единственное, в чем тетя Оля позволила себе отступить от заведенного порядка — и гости это почувствовали,— было то, что, помимо обязательных слов «Кушайте на здоровычко!», с которыми она обращалась к каждому из присутствующих, она вдруг как-то по-матерински уютно улыбнулась и сказала: «Кушайте, не стесняйтесь!»

А они и не стеснялись. Графин водки, вынутый из огромного пузатого холодильника (до этого Ипатов холодильники видел только в кино) и мгновенно запотевший в помещении, мужчины энергично передавали из рук в руки. Выпив за исполнение желаний, они навалились на свежие щи, приготовленные, как заявил Ипатов, по последнему слову отечественной техники. Щи и впрямь были на высоте — с большими кусками мяса, со сметаной, даже с укропом и зеленым луком. И уже совсем голова пошла кругом, когда подали огромные отбивные с жареной картошкой и свежими огурцами (и это в декабре!).

«Тетя Оля, достань нам шампанского!»— вдруг разгулялся Игорь.

Официантка достала из необъятного многоотсечного чрева холодильника бутылку шампанского, поставила перед Игорем.

«Фужеры!»— продолжал распорядиться тот.

Игорь открывал уверенно и умело: бутылка даже не выстрелила, над горлышком лишь взвился легкий парок. И вообще, к удивлению Ипатова, ни капли не пролилось мимо.

Наполнив бокалы, Игорь громко произнес:

«Я предлагаю тост за Светлану!»

И первый потянулся к ней с бокалом.

«Ну, пей, пей»,— насмешливо подумал Ипатов.

Светлана молча чокнулась с Игорем.

«А теперь со мной»,— сказал ей Ипатов. Они встретились взглядами, и уже не надо было никаких слов.

«Я хочу сказать тост,— неожиданно поднялся Валька.— Я хочу выпить за мою няньку!»

«Выпьем за Валькину няньку!»— поддержал тост Ипатов.

«Выпьем! Выпьем!»— подхватили остальные.

«Она,— продолжал Валька,— пережила трех царей, трех мужей, три революции и три сотрясения мозга. И несколько войн, как справедливых, так и несправедливых!»

«Ребята, у меня есть идея,— загорелся Игорь.— Пошлем ей поздравительную телеграмму?»

«Пошлем!»— заорали все.

«На правительственном бланке...— сказал Игорь, выбираясь из-за стола.— У меня где-то завалялся...»

Первым, как ни странно, воспротивился Валька. То ли не захотел пугать няньку правительственной телеграммой, то ли раньше других сообразил, чем пахнет такая самодеятельность. Он вскочил и загородил собой дверь.

«Потом отправим,— сказал он Игорю,— не к спеху!»

«Потом? Хорошо»,— согласился тот, взглянув на Светлану, сидевшую рядом— голова к голове— с Ипатовым.

«Кофе будете здесь пить или наверх подать?»— спросила тетя Оля.

«Наверх!»— распорядился Игорь.— Ребята, пошли наверх!»

Они потянулись за ним на второй этаж. Широкая лестница была выстлана красным ковром, закрепленным медными прутьями. Над лестничной площадкой висела большая картина, изображавшая дядю Игоря, довольно уверенно игравшего на роле.

«Какой он разносторонний, одаренный человек, — уважительно подумал Ипатов. — Пишет стихи, играет на музыкальных инструментах, читает в подлиннике без словаря Цицерона, так, во всяком случае, говорят. Вот что значит хорошее гимназическое образование. Не чета нашему, современному, — напоследок занялся он самокритикой, — десять лет учишь иностранный язык и двух слов на нем связать не можешь...»

«Старик, как по-твоему, — вдруг обратился к нему Валька, — эту картину художник писал по заказу или по вдохновению?»

«А разве заказ и вдохновение непременно исключают друг друга? Вспомни «Государственный Совет» Репина?» — ответил на вопрос вопросом Ипатов. Он недавно где-то прочел, что заказчиком этого огромнейшего полотна был сам Николай Второй.

«Так картина же у Репина не получилась? — возразил Валька. — Ну если не считать отдельные портреты и эскизы к ней...»

«В первый раз слышу», — признался Ипатов, только сейчас узнавший, что великий художник не справился с заказом.

«Игорь, послушай, товарищ Сталин останавливался здесь когда-нибудь?» — спросил Борис, поднимавшийся последним.

Игорь перегнулся через перила и тихо сказал:

«Такие вопросы здесь не задают и на такие вопросы здесь не отвечают...»

«Ну зачем тебе это знать, Борька, зачем?» — напустилась на своего партнера Таня.

«А что я такого спросил? — то ли искренне, то ли придуриваясь, недоумевал Борис. — Гостил ли товарищ Сталин здесь или не гостил?»

«Пойми, — продолжала ему внушать Таня, — нам знать это незачем!»

«Ну, незачем так незачем!» — быстро примирился тот...

На этот раз Игорь не стал водить своих гостей по всему второму этажу и показывать апартаменты. Он

прямо провел их в гостиную, где они удобно расположились в мягких и глубоких креслах. Здесь было куда уютнее, чем внизу — среди цветов и портретов. Плотные, светло-кремовые занавески на окнах тщательно скрывали от гостей мглистый, гнилой ленинградский день. Под ногами услужливо расстился большой восточный ковер с удивительно приятным орнаментом. Мягко и неназойливо падал свет от двух бра и одной настольной лампы. И хотя во всем этом великолепии чувствовалось что-то казенное, нежилое, отказать хозяевам во вкусе было бы несправедливо.

Неподалеку от Ипатова, на низком журнальном столике, стоял какой-то непонятный черный лакированный ящичек с несколькими короткими клавишами-кнопками. Игорь нажал одну из них, и тотчас же все услышали томный, с манерной картавинкой голос Вертинского, вернувшегося из эмиграции и, по слухам, уже где-то даже выступавшего с концертами. Несмотря на новые веяния, резко осуждавшие чужие, упаднические настроения в музыке, певец пел так, как пел когда-то в дни своей молодости перед декадентствующей буржуазной публикой. «...Я безумно боюсь золотистого плена ваших нежных змеиных волос. Я влюблен в ваше тонкое имя, Ирена, и в следы ваших слез, ваших слез...»

В этой песенке была какая-то печальная тайна. Она нравилась, несмотря на немолодой голос певца, банальную мелодию, пошлые слова. Ипатов буквально млел от удовольствия...

Но как ни внимательно слушал Ипатов пение, в его голове оставалось место и для простейших мыслей. В частности, он никак не мог понять, что это за странный музыкальный ящик с клавишами. Патефон — не патефон, радиоприемник — не радиоприемник, проигрыватель — не проигрыватель...

Он не удержался и спросил Игоря.

«А... это? Магнитофон, — ответил тот. — Звуки записываются на магнитную ленту и воспроизводятся по первому же требованию трудящихся. Американского производства».

«И можно любой голос записать?»

«Да. Хочешь твой запишем? Прямо сейчас?»

«Нет. Давай лучше Вертинского послушаем».

«Светлана, может быть, тебя запишем?» — спросил Игорь.

«Я уже записывалась,— ответила она.— Мне не нравится мой голос. Какой-то неестественный...»

«У тебя неестественный?»— искренне удивился Игорь.

«У меня. А что?»— она с вызовом посмотрела на него.

«Ничего»,— смешался тот.

Дверь беззвучно распахнулась, и на пороге показалась тетя Оля с подносом, на котором стояли кофейник и вазы с конфетами и печеньем. Маленькие чашечки она достала из зеркального буфета.

«Тетя Оля, оставь, мы сами!»— сказал Игорь.

«Кушайте на здоровычко!»— пожелала она всем с неизменной сладкой улыбкой...

Бесшумно прикрыв дверь, тетя Оля растворилась в упругой, значительной тишине дачи. Не прослушивались шаги, голоса и других людей, находившихся сейчас в разных служебных помещениях особняка. Только там, куда перебрались Игорь и его гости, стояло нормальное человеческое оживление, слышались смех, галдеж, разговоры. Да еще, в дополнение ко всему, звучала непривычная «упадническая» музыка.

Игорь налил каждому в чашечку кофе со сливками, обнес всех конфетами и печеньем.

«Из меня бы хороший вышел официант?»— невесело подтрунивая над собой, спросил он Светлану.

«Каких мало»,— безжалостно ответила она.

«Я ведь могу и обидеться?»— вдруг заявил он.

«Обижайся»,— просто сказала она.

Ипатов внимательно посмотрел на нее, пытаясь разобраться в причинах ее устойчивой и открытой неприязни к Игорю.

«Готов отдать голову на отсечение, что для Светланы сейчас не существует никаких побочных соображений,— спокойно и неторопливо рассуждал он про себя.— Она говорит что думает. И словами, которые не выбирает. Ей все равно, что подумает о ней Игорь, в какие недобрые действия выльется его обида. Решительный, смелый, крутой народ — женщины. Как любящие, так и не любящие. На том, видно, стоит и будет стоять весь род человеческий...»

«Вы сегодня бледны, вы сегодня нежны,— пел Вертинский,— вы сегодня бледнее луны, вы читали стихи, вы считали грехи, вы совсем, как ребенок, тихи. Ваш лиловый аббат будет искренне рад...»

«Все! Хватит!»— вдруг взмолился Валька.

Игорь нажал на кнопку, и Вертинский нехотя, с плачущими нотками в голосе, умолк.

«Иногда тишина тоже неплохо»,— прихлебывая кофе, произнес Борис.

«Я слышу даже, как где-то стучит дятел»,— сказала Таня.

«Дятел? Где?»— встрепенулся Ипатов, в последний раз слышавший дятла в лесу под Берлином перед боем.

— «По-моему, там!»— Таня показала на дальнее окно.

«Ничего не слышу»,— помедлив, сказал Ипатов.

«Паровоз прогудел»,— сообщил Борис.

«Вот дятел пропустит его и снова застучит»,— завершила всех Таня.

«Кому еще, мягко выражаясь?»— потянулся к кофейнику Игорь.

«Грубо говоря, мне»,— спародировал Борис.

«И мне,— подхватила Таня. Улыбнувшись, добавила:— Прямо говоря».

«Свет, а что, если почитать последние статьи?»— шепотом спросил Ипатов.

«Они у тебя с собой?»

«Да... Вот в кармане!»

«Мне очень хочется послушать. Честное слово! Ты давно обещал!»

Он и в самом деле обещал ей почитать свои лучшие международные обзоры, но все как-то не представлялся случай. К тому же ранние статьи ему уже самому не нравились, а последние, те, что с пылу, с жару, нуждались, как он самокритично считал, в небольшой доработке. Вчера он их подчистил и, взглянув свежим глазом, окончательно решил, что они в общем удались.

«Как смотрит честная компания, если я кое-что почитаю? Тут,— он достал из кармана аккуратно сложенные листы, исписанные четким каллиграфическим почерком отца,— кое-какие соображения по некоторым вопросам международной политики. Я не скажу, что полностью доволен своими опусами,— на всякий случай заметил он,— но отдельные мысли, я надеюсь, могут показаться любопытными. Обещаю особенно не утомлять. Ну как, читать?»

«Давай шпарь!»— сказал Валька.

«Очень, очень любопытно,— позевывая, произнес Борис.— Наконец-то мы с Татьяной узнаем, что делается в мире. Ты когда в последний раз читала газеты?»

«Я уж не помню!»— ответила она и махнула рукой.

«Что ж, послушаем, что думают умные люди»,— с иронией заметил Игорь — вконец поверженный соперник. Он опять смешно и беспомощно поморгал обоими глазами.

Первый международный обзор назывался «Колесо истории». В нем Ипатов едко, опираясь на факты, взятые из центральных и местных газет, не оставлял камня на камне от противников социализма, пытавшихся повернуть колесо истории вспять. Он бичевал, клеймил, пригвождал к позорному столбу всех реакционеров от Трумэна до де Голля. Его темпераменту могли позавидовать если не все, то большинство журналистов-международников.

Вторая статья была посвящена обновлению политической жизни в Восточной Германии (ГДР в то время еще не существовала), а третья — последняя — рассказывала о мужественной борьбе китайских коммунистов во главе с Мао Цзедунем против продажной го-миндановской клики.

«Ловко!»— восторженно отозвался о всех трех статьях Борис.

«Даже я поняла»,— призналась Таня.

«Теперь, старик, я знаю, на что расходуется твое серое вещество»,— сказал Валька.

Светлана смотрела на Ипатова восхищенными, сияющими глазами и при всех открыто потерлась носом о его плечо.

«А ведь ничего!— явно стараясь быть объективным, заявил Игорь.— Костя, тебе обязательно надо поступать в МИМО».

«Куда?»— не понял Ипатов.

«В МИМО. В Московский институт международных отношений. Там готовят дипломатов и журналистов-международников!»

«А меня туда примут?»— прямо спросил Ипатов.

«А почему бы и нет? Хочешь, я поговорю с дядей?»

«Поговори,— сказал Ипатов и вдруг спохватился:— Постой, но если меня примут, то мне придется перебраться в белокаменную?»

«Разумеется»,— как будто смутившись, подтвердил Игорь.

И тут Ипатова осенило: а вдруг Игорь хочет просто спровадить его в Москву, таким изощренным способом избавиться от соперника? Да, скорее всего, это так. Уж очень сомнительно, чтобы он предложил дядино покровительство от чистого сердца. И хотя вряд ли у него что-нибудь получится со Светланой — к тому времени она уже будет замужем, он, Ипатов, не должен, не имеет права воспользоваться этой протекцией. От нее дурно пахнет.

Ипатов бросил быстрый взгляд на Светлану: она смотрела на него пытливыми, изучающими глазами, напряженно ждала, что он ответит. Значит, и она понимала, что дело тут нечистое. Что ж, она отказалась ради него от Парижа, он откажется ради нее от Москвы. Пусть Москва будет его Парижем.

«Знаешь, я, наверно, не смогу, — как можно мягче, чтобы не обидеть Игоря, сказал Ипатов. — По семейным обстоятельствам. Так что мимо МИМО!» — напоследок скаламбурил он.

С тонкого лица Светланы сошло напряжение. Она, похоже, была довольна его ответом.

«Но если надумаешь — скажешь», — опять жалобным голосом произнес Игорь.

«Обязательно, — сказал Ипатов. — Хотя, если говорить откровенно, я думаю, журналистом-международником при желании можно стать и в Ленинграде».

«Как бы не так», — выразил несогласие Игорь.

«Почему же?»

«Ты действительно не понимаешь или прикидываешься?» — спросил Игорь.

«Действительно», — ответил Ипатов.

«Во-первых, здесь, насколько мне известно, не готовят международных. А во-вторых, Москва — не только МИМО, но и среда, знакомства, связи. Большинство преподавателей МИМО — это ответственные сотрудники МИДа. Теперь понятно?»

«Теперь понятно», — усмехнулся Ипатов.

«Я так и знал, что придуриваешься, — махнул рукой Игорь и вдруг предложил: — Ребята, давайте сфотографируемся?»

«Чудненько! — воскликнула Таня. — Я сегодня хорошо получусь! Я знаю!»

Она сейчас и в самом деле казалась хорошенькой. Ее простое, неяркое лицо разурмянилось и прямо све-

тилось изнутри — наверно, такой, сияющей, она была в своих танцах.

«Можно рискнуть!» — одобрил Борис.

«Как будете фотографировать — всех вместе или каждого по отдельности — анфас и в профиль?» — насмешливо осведомился Валька.

«Можно и по отдельности, и небольшими группками, как желают трудящиеся массы», — ответил Игорь: до него, похоже, не дошел второй смысл Валькиных слов.

«Ты хочешь?» — спросил Ипатов Светлану.

«Хочу, — ответила она. — Я сто лет не фотографировалась!»

«Я быстро!» — Игорь выскочил из гостиной и побежал вниз по лестнице...

Вернулся он не один, а с тем самым симпатичным, улыбчивым человеком, который встречал их на крыльце. В руках у него была «лейка» с широким объективом.

Так и расположились: девушки в креслах, а ребята кто как...

Ипатов встал позади Светланы, облокотился на спинку кресла. Борис уселся на подлокотнике Таниного кресла, и балерина нежно склонила головку к своему партнеру по танцам. Валька устроился у ног девушек. Один Игорь долго не знал, куда приткнуться. Наконец с печальным видом встал за Таней и Борисом.

«Как, без вспышки?» — спросил Ипатов.

«Та не треба, — ответил симпатичный улыбчивый человек. — Высокочувствительная пленка. Будэ як в самий найкращей фотографії... Внимание... снимаю!..»

Он целую вечность щелкал кнопкой затвора, хотя ребята сидели и стояли в одной и той же позе. Только один раз он попросил улыбнуться Светлану и поменял местами Игоря и Вальку...

Даже сейчас, спустя столько лет, разглядывая эту групповую фотографию, невольно задумываешься о превратностях судьбы. Разве могло тогда кому-нибудь из них прийти в голову, что пройдет совсем мало времени, и они, не сговариваясь, будут скрывать от всех свою дружбу и знакомство с Игорем? Что та огромная, неуловимо-капризная, слепая сила, которая вознесла хозяина дачи на, казалось бы, недоступную высоту, не-

ожиданно низвергнет его? Думал ли Игорь, с унылым видом стоявший перед холодным объективом, что все его тогдашние мальчишеские огорчения ничто по сравнению с тем, что ему еще предстоит испытать?

Да и кто из шестерых знал, как сложится судьба каждого из них?

Да, всего две недели отделяли Светлану и Ипатова от того дня, с которого, можно сказать, и покатилося все под уклон, хотя сам день вроде бы ничего собой не представлял: день как день. Вот только утром, перед началом занятий, Светлана рассказала Ипатову о том, как обстоят дела с отцовским назначением.

«Понимаешь, какая штука,— смущенно добавила она,— в Москве снова намекнули папе, что я буду хорошо смотреться на приемах и что это, мол, очень важно для престижа».

«Французы ни свет ни заря будут занимать очередь, чтобы поглазеть на тебя»,— съехидничал Ипатов. Впрочем, он не сомневался, что успех ей гарантирован всюду, где бы она ни появилась.

Она улыбнулась на шутку и поделилась своими опасениями:

«Мне кажется, что тут Игорь мутит воду».

«Вот как? Он что, хочет таким способом разлучить нас? Не Москвой, так Парижем?» — ощерился Ипатов.

«Не знаю, но возможности навредить нам у него большие»,— заметила Светлана.

«Черт с ним, с Игорем!— сердито бросил Ипатов.— А ты что ответила отцу?»

«Я сказала, что если поеду, то только с тобой!»

«Правда?»

«А что я еще могла ответить?»

«А вообще здорово бы! — От одной мысли о Париже, их общем Париже, у него перехватило дыхание, и он уже совсем по-детски произнес: — Хочу в Париж!»

«Ах, ты тоже хочешь в Париж?— она привычно потерлась кончиком носа о его рукав.— А правда, было бы здорово?»

«Еще бы!»— он почувствовал, как у него заблестели глаза.

«Так вот,— уже деловым тоном продолжала она,—

папа даже не стал уговаривать меня, он знает, что бесполезно. Он только взял твои данные».

«Какие?»— весь внутренне сжался Ипатов.

«Ну, обычные. Фамилия, имя, отчество, год рождения, национальность, родители... Я правильно сказала, что твоего папу зовут Сергей Петрович?»

«Да, правильно».

«А маму Анна Григорьевна?»

«Да, Анна Григорьевна. Хотя не совсем так, но может быть, пронесет!..»

«Что папа работает в каком-то местном издательстве, а мама на Ижорском заводе?»

«Все верно»,— уныло подтвердил он, понимая, что, кроме этих сведений, лежащих на поверхности, проверяющих может заинтересовать еще многое другое, как утаенное им, так и придуманное.

«Папа обещал поговорить кое с кем и дать ответ в ближайшие пять-семь дней»,— сказала она.

«Я боюсь»,— опять как-то по-детски жалобно признался он.

И тут она, по-видимому, вспомнила об их недавнем разговоре об анкетах и грустно подытожила:

«Я подумала, а вдруг это к лучшему, если мы не поедем? Проживем как-нибудь без Парижа, правда?»

«Ясное дело»,— обрадовался Ипатов...

На следующий день отец телеграммой вызвал ее в Москву. Сам он выехал туда третьего дня и уже вчера, очевидно, доложил кому надо обо всех нюансах. Было ясно, что кто-то из высокого начальства собирается самолично поговорить с нею. Ипатов тут же сделал вывод: если в этой истории и впрямь замешан Игорь, то вопрос о поездке Светланы, надо думать, согласован на всех уровнях. От нее лишь требуется дать согласие. Значит, примутся уговаривать.

Ипатов нисколько не сомневался, что она по-прежнему будет стоять на своем: или они поедут вместе, или она вообще не поедет. При всей серьезности ситуации трудно было удержаться от улыбки: столько взрослых ответственных товарищей занимаются одной девчонкой, пусть даже красавицей, каких мало! Как будто от ее решения зависит будущее советско-французских отношений! И смех, и грех! Но Ипатов также понимал,

что никакое начальство, как бы оно ни благоволило к Светлане, не пойдет ей на уступки... и все же надеялся на чудо! А вдруг?

«Мы тут посоветовались,— так и слышал он чей-то начальственный голос,— и у нас отпали последние возражения против вашей совместной работы во Франции. Мы познакомились с личным делом вашего будущего супруга, конечно, не все у него там гладко, есть кое-какие неясности, с которыми мы разберемся в рабочем порядке, но нам импонирует его фронтовое прошлое, многочисленные боевые награды. Нам приятно — и мы это ни в коем случае не будем скрывать от французов,— что его бабушка была дружна с дочерью Льва Николаевича Толстого... Так что в путь добрый, молодые люди!»

И чем отчаяннее, чем неотступнее он мечтал о чуде, тем больше находил доводов в свою пользу. Вот и отец у товарища — старый коммунист, участник гражданской войны, и мать всю блокаду проработала на Ижорском заводе, и, посмотрите, сколько у парня благодарностей товарища Сталина (а он еще, балбес этакий, когда-то колебался, стоит ли вписывать их в анкеты, уж очень расширительной казалась формулировка: «Всему личному составу нашего соединения, в том числе и Вам, принимавшему участие в боях, объявлена благодарность...»). Еще никогда так долго, так мучительно не тянулось для него время. За три дня, что ее не было, он весь истерзался. Ни о чем другом больше не думал. И Светлана, вероятно, тоже ни о чем больше не думала, потому что прямо с вокзала поехала к нему, хотя время было позднее, что-то около двенадцати. Родители уже спали, а он рассеянно дочитывал роман Кронина «Цитадель».

Зайти она отказалась. Они уселись на подоконнике лестничной площадки на полах его верного бобрика.

«Ну что?» — торопил он ее.

«А... плохо!»

«Что плохо?»

«Только не огорчайся, хорошо?» — она прижалась к нему.

«Ясно, от ворот поворот!»

«Понимаешь, они даже слушать не хотят...»

«Интересно бы знать, чем я им не угодил?» — повысил голос Ипатов.

«Не знаю, они не говорят...»

«Когда надо было идти на фронт,— возмущался Ипатов,— всех устраивали мои анкетные данные. А теперь, видите ли, они недостаточно хороши!»

«Я спросила у него... ну, у того деятеля, который беседовал со мной: что, у Ипатова с анкетой не в порядке? Он ответил: нет, почему, в порядке, ваш товарищ не подходит нам по другим причинам...»

«По каким — не сказал?»

«Нет, он ушел от прямого ответа. Тогда я ему сказала, что тоже не поеду».

«Окончательно отказалась?»

«Да, но он тут же сказал: вы еще подумайте... А я ему ответила: нет, лучше вы подумайте! Тогда он рассмеялся и говорит: ну, мы еще вернемся к нашему разговору. Потом папа сказал, что ему понравилось мое упрямство и что у него есть ко мне деловое предложение...» — она чуть замялась.

«Какое?»

«Он сказал папе: пусть два года поработает в посольстве, а потом мы ее отпустим для продолжения учебы. Понимаешь, всего каких-нибудь два года — это его слова».

«А ты что ответила?»

«Я ответила, что посоветуюсь с тобой».

«Ты очень хочешь в Париж?» — мягко спросил он.

«Очень», — мгновенно отозвалась она.

«Послушай, а что, если тебе и в самом деле поехать в Париж? Подумаешь, каких-то два года! Это всего... это всего... семьсот двенадцать дней! Я нарисую на большом листе бумаги семьсот двенадцать палочек и каждый день буду зачеркивать по одной. Раз так тебе хочется — поезжай!»

«Ты серьезно?» — обрадовалась она.

«Правда, я буду страшно скучать... Мне уже сейчас хочется выть на луну. Честное слово, я не знаю, как проживу эти два года... Но я подумал: может быть, тебе никогда больше не представится случая побывать во Франции... Ты же потом никогда не простишь себе, а заодно и мне...»

«Костя, я тебя люблю!» — она порывисто прижалась к нему.

«Я тебя тоже!» — он обнял ее и поцеловал в губы.

«Послушай, что там?» — вдруг спросила она.

«Чердак».

«Там грязно, нет?»

«Ничего, ничего...» — невнятно заговорил он под частый стук сердца.

Вверх вела короткая крутая лестница, и Ипатов со Светланой следили за тем, чтобы в ночной тишине старого дома не очень раздавались их осторожные шаги...

Они лежали под чьим-то сохнувшим на веревках бельем, и на них медленно опускались снежинки, проникающие на чердак из ближайшего слухового окна. Рядом возвышалась печная труба, и им казалось, что около нее чуточку теплее. Пахло знакомыми с детства чердачными запахами: многолетней пылью, старым деревом, птичьим пометом. И даже легкий морозец не очень досаждал им.

Было неудобно и хорошо. Вскоре они накрылись ее легкой шубкой и дышали одним теплом.

Светлана вдруг фыркнула.

«Ты чего?» — спросил он.

«Вспомнила, как этот деятель, который меня агитировал, не пойму, то ли в шутку, то ли всерьез сказал мне: если у вас есть еще кандидатуры, то давайте обсудим».

«Вот гад! — возмущился Ипатов. — И что ты ему ответила?»

«Я ничего не ответила. Я только посмотрела на него».

«Как посмотрела?»

«Он понял, как...»

Ипатов обнял Светлану. Ее тихое дыхание таяло где-то у его затылка. Он продолжал думать о разговоре высокого начальства со Светланой.

«Послушай, — в его беспокойные мысли вкралось смутное подозрение, — а вдруг твоего начальника подговорили?»

«Кто? Игорь?»

«Он или твой отец?»

«Игорь — не исключено... Папа не посмел бы... Хотя...»

«Что — хотя?»

«Я спрошу его...»

Они помолчали. Но только Ипатов начал успокаиваться, как его стали терзать новые сомнения.

«Слышишь, а что, если ты встретишь своего старого знакомого?»

«Моего старого знакомого?» — с неясной интонацией повторила она.

«Ну да, сына французского военно-морского атташе, который тебе делал предложение?»

«Ты уже ревнуешь?» — поинтересовалась она со смешком.

«Есть немножко».

«Не бойся, — она поцеловала его в щеку. — С ним давно все покончено».

«А если он снова начнет подбивать клинья? В самых что ни на есть благоприятных условиях — на своей родной французской почве?»

«Я скажу ему, что замужем, и мы с ним расстанемся друзьями».

«А потом он узнает, что ты не замужем, и разовьет бурную деятельность, как истый француз?»

«Все равно ничегошеньки у него не получится... Кроме того, есть закон, запрещающий браки между нашими и иностранцами».

«Вот это другое дело!»

«Дурачок, — сказала она и вдруг вспомнила: — А знаешь, кажется, воров нашли!»

«Да ну?»

«То есть еще не совсем. Но вчера у нас был какой-то полковник. Он сказал, что милиция, возможно, уже напала на след...»

«Да?.. Вот здорово! — искренне обрадовался Ипатов. — Молодец Игорь! А знаешь, он в общем неплохой парень!»

«Это ты неплохой парень!» — сказала она.

«Ну, то, что я неплохой, это и ежу понятно», — сказал он.

«Я, значит, не глупее ежика?» — смеясь, спросила Светлана.

«Нет, не глупее, — ответил он. — И поэтому ты должна писать мне хорошие, очень хорошие письма... Слышишь?»

«Слышу».

«Ты будешь писать мне такие письма?»

«Буду».

«Часто?»

«Часто».

«Раз в неделю?»
«Раз в неделю».
«Каждый день?»
«Каждый день...»

Поначалу они действительно переписывались часто и регулярно. На каждое свое письмо (а писал он не реже двух раз в неделю) он получал ответное — как правило, не очень обстоятельный, но все-таки довольно подробный рассказ о парижской жизни. О посольских делах она писала мало, вернее, почти ничего не писала. Видимо, была предупреждена, о чем можно писать, о чем нельзя. В основном, она делилась своими впечатлениями от спектаклей, кинофильмов, художественных выставок, концертов. Не без юмора описывала разные забавные истории, которые происходили с ней или ее новыми знакомыми.

Все эти полтора года, пока продолжалась, медленно угасая, их переписка, он жил ее письмами. Уже через четыре месяца она перестала непременно отвечать на каждое его письмо. Правда, на первых порах она еще ссылалась на объективные причины: на загруженность работой, на болезни родителей, на общественные поручения. А потом и вовсе перестала перед ним оправдываться.

Одновременно в письмах Светланы начали исчезать нежные и ласковые слова. Это ему становилось особенно заметно, когда он принимался перечитывать ее ранние письма, в которых она открыто признавалась, что страшно соскучилась по нему, что чуть ли не каждую ночь видит его во сне и что очень хочет обратно в Ленинград.

Последующие письма настолько отличались от первых, что ему не оставалось ничего другого, как искать между строк, и он даже что-то находил. И он как одержимый писал и писал ей...

Но вот однажды от нее пришло коротенькое письмо на хорошей французской бумаге. Отвечая на один из его упреков за холодок в посланиях, она откровенно призналась: «Знаешь, я все чаще задумываюсь о наших отношениях, я совсем запуталась в своих чувствах. И честное слово, не сердись на меня, но я не знаю, люблю ли я тебя?» Ответил он заклинанием: «Любишь!.. Любишь!.. Любишь!» Но внушение, видно, не помогло,

и уже в следующем письме он прочел: «Нет, скорее всего, нет...»

Было ясно, что она в кого-то влюбилась. Так оно и было. Как-то, встревоженный ее очередным затянувшимся молчанием, он написал Зинаиде Прокофьевне и очень скоро получил от нее ответ. В нем очень осторожно, чтобы не травмировать его, сообщалось, что Светлана вышла замуж и желает ему всяческих успехов в учебе и личной жизни.

Ипатов очень переживал измену возлюбленной. Были дни, когда он подумывал даже о самоубийстве. Но так как личного огнестрельного оружия у него уже не было, а другие способы покончить с жизнью (броситься с верхнего этажа, лечь под трамвай, вскрыть вены, прыгнуть с моста в Неву и т. д.) отвращали его своей вульгарной примитивностью, то он постепенно оставил эту лихую мысль в покое.

Первые два-три года он неприкаянно мечтал о встрече. Хотел не только узнать всю правду, но и, если разговор пойдет начистоту, понять Светлану, а значит — осудить или пожалеть. Но жизнь так далеко развела их друг от друга, что они уже больше никогда не встречались. Впрочем, прошло еще несколько лет, и боль как будто поутихла, а потом и совсем куда-то исчезла. Так, во всяком случае, он считал до последних событий...

Никогда у него не было столько посетителей, как сегодня. Его навестили — только бы никого не забыть — Ирулик в своих новых лимонного цвета «бананах»; Герц-Шорохов с ячменем на правом веке; Олег с женой, улыбавшейся неизвестно чему; Машка, угостившая всех, включая опешившего Чадушкина, жареными семечками; госпожа продюсер, вылетающая вечером в Алма-Ату; наконец, Алеша, который притащил своим бывшим соседям по палате гостинец — целых три килограмма отборных болгарских персиков. Парад-алле (выражение Александра Семеновича) завершал «ясновельможный пан» Жиглинский. Он сообщил новость, которая расстроила Ипатова. Вчера заседал оргкомитет по проведению встречи однокурсников и большинством голосов принял решение перенести намечаемый сбор на будущий год. Члены комитета единодушно ре-

шили, что затея собрать всех, включая тех, кто поступал в Университет, но не окончил, оказалась мертворожденной. Впрочем, как заметил Жиглинский, это было видно с самого начала, потому что из неокончивших согласие участвовать в сборе дали всего восемь человек, да и те не шибко охотно. А на днях отказался приехать Петренко, которого, судя по резкой критике в печати, скоро снимут и которому, ясное дело, сейчас не до встречи. А чуть раньше дал отбой кинорежиссер Захарчук, приступивший к съемкам своего очередного многосерийного фильма и поэтому, само собой разумеется, не имевший ни минуты свободного времени. А вчера отказалась от участия в сборе и Светлана Попова, у которой какая-то серьезная неприятность с сыном — то ли на него наехали, то ли сам наехал. Но голос у нее не сказать чтоб был очень убитый. Скорее, смущенный... да, скорее, смущенный...

Pro memoria



ПРОЛОГ

Из записных книжек, от случая к случаю служивших
мне дневником

10 июля 1984 года

Признаться, я всегда опасался, что кто-нибудь уронит эту статуэтку и разобьет. Так оно и случилось. Я опасался, я и уронил. К счастью, разбилась она всего на несколько крупных осколков, и в обычной мастерской по ремонту антикварных изделий ее быстро и незаметно склеили. Там же мне сказали, что это хоть и саксонский фарфор, но весьма низкого качества, обыкновенный немецкий ширпотреб начала двадцатого века и поэтому особой ценности не представляет. А все эти синие бантики, алые розочки, белые кружева рассчитаны на самый невзыскательный вкус. В ответ я молча пожал плечами. Она и раньше мне дорога была лишь как память и ничем больше.

Написал «дорога как память» и задумался. Просто я привез эту забавную куколку еще с войны. Во всяком случае, так считалось в нашей семье. На самом деле никакого отношения к войне она не имела. Мне ее подарила одна славная девчушка по имени Ганна. Вернее, не подарила, а незадолго до моего отъезда, украдкой, когда я на минутку вышел из хаты, сунула в вещмешок. Я думаю, сделала она это тайком от своих родителей. Были они люди прижимистые, чистые куркули, как говорили наши солдаты, и вряд ли бы согласились по доброй воле расстаться с этой, как они, видимо, полагали, дорогой безделушкой, выменянной ими, тут уж нечего сомневаться, на продукты питания у горожан. Обнаружь я фигурку раньше, еще на месте, я бы сразу вернул ее. Но возвращаться с дороги из-за

такого пустяка я, конечно, не стал. Да и кто бы разрешил мне, старшему военфельдшеру отдельного мотоциклетного разведывательного батальона, покинуть на несколько часов свою часть? Наш танковый корпус как раз перебрасывался на другой участок фронта, и от того села, где мы стояли, нас уже отделял не один десяток километров. Так статуэтка и осталась у меня — то ли подарок, то ли нечто похуже. Я нисколько не сомневался, что, заметив пропажу, хозяева первым делом подумали обо мне, своем постояльце, и сказали вдогонку несколько крепких слов... если, разумеется, у четырнадцатилетней Ганны не хватило духу вступить за меня, признаться во всем. Именно во всем, потому что за первым признанием от нее, несомненно, потребовали и второе: зачем она это сделала?

Однако меня тогда мало беспокоило, сказала ли она правду или же промолчала. Совесть моя была чиста. Да и, откровенно, мне было не до Ганны: по причине, о которой я, возможно, когда-нибудь расскажу, я не хотел жить и впервые безучастно, с холодной отрешенностью ждал начала боевых действий. И думал: убьют, туда и дорога...

27 октября 1984 года

Сколько я себя помню после войны, я все время собирался, но не решался рассказать на бумаге о своей первой любви. При одной мысли, что придется переживать все заново, раздирать в кровь с таким трудом зажившую и отболевшую рану, меня охватывал страх. И я, щадя себя, писал о другом.

Но вот сегодня произошло нечто, возможное только в произведениях фантастов. Только я встал, позавтракал, как неожиданный сердечный приступ уложил меня в постель. Боль скоро прошла, но я решил отлежаться. Мы были в квартире вдвоем с моей младшей дочерью Машей. Она сидела рядом и рисовала незнакомые женские профили. Рисовать по воображению женские лица — ее любимое занятие. Я с интересом смотрел, как из хаоса линий и пятен рождается очередное женское лицо. Но портрет чем-то

не удовлетворял мою родную художницу, и она, поочередно пуская в ход карандаш и резинку, стирала одни штрихи и наносила другие. Лицо на бумаге все время менялось. Поначалу оно было очень красивым, но холодным, даже злым. Потом постепенно теплели глаза, смягчался овал, открывался высокий задумчивый лоб. Еще через несколько минут зажила улыбка — чуткая и озорная. Заиграла едва приметная ямочка на левой щеке — то ли ямочка, то ли складка. Огибая небольшие, с короткими мочками уши, спустились на плечи густые темные волосы. Чем больше я вглядывался в портрет, тем сильнее испытывал какое-то неясное беспокойство. Похоже, я где-то видел это лицо. Я с тревогой следил за карандашом, нервно метавшимся по бумаге, но он сам шел навстречу моей памяти и ни разу не сбился.

— Разреши,— попросил я Машу. Она удивленно посмотрела на меня и протянула рисунок. Да, это была Таня.

— Ты кого рисуешь?— сдерживая волнение, спросил я.

— Не знаю...

Я чувствовал, как у меня предательски трясутся руки.

— Что с тобой, папа?

— Ничего... ничего...

Как, какими путями передалась Маше моя боль, моя память? Ведь она никогда не видела Таниных фотографий — они остались в машине, которую я вынужден был бросить, выходя из окружения под проклятым городом Лаубаном в Силезии. И я ни ей, ни кому из близких не рассказывал о своей первой любви...

Я не буду скрывать, что эпизод с рисунком произвел на меня сильнейшее впечатление. Конечно, я понимал, что это чистая случайность, редчайшее совпадение. И все же, несмотря на скептический голос рассудка, я воспринял обе эти истории — с портретом и статуэткой — как своего рода знамение, как сигнал к работе.

Очевидно, пришла очередь писать и о Тане. Да и где та сила, которая могла бы остановить разбухшую память?

ГЛАВА ПЕРВАЯ

...Шесть дней мы не вылезали из окопов. Держали нас там на случай, если немцы, окруженные в Т., надумают прорываться на нашем направлении. Правда, мы сильно сомневались, что из всех направлений они выберут именно наше: надо было окончательно потерять рассудок, чтобы выходить на соединение со своими дальним кружным путем. Мало того, что здесь их тоже поджидали сильные заслоны, но еще из-за больших расстояний был бы утрачен элемент внезапности, без которого им и вовсе ничего не светило. И это не считая многочисленных речушек, болот и лесов.

В общем, чутье нас не обмануло. Действительно, немцы попытались выйти из блокированного города впрямую, как раз там, где новая линия фронта проходила в каких-нибудь десяти-двенадцати километрах, то есть в полосе, где все было подготовлено к их разгрому. Они шли напролом, разгоряченные обильным шнапсом, подгоняемые отчаянием и надеждой. И смерть сотнями косила их. В результате половина гитлеровцев была уничтожена, а половина взята в плен. Потом, как нам рассказывали, куда ни глянешь, всюду среди гусеничных следов валялись трупы в грязно-зеленых шинелях и над неостывшей кровью поднимались испарения. Некоторые танкисты после этого несколько дней не могли брать в рот мяса. Словом, разгром был полный.

В связи с тем что мы тоже выполнили свою задачу — проторчали шесть суток в окопах, наш батальон отвели в ближайшее село на отдых. Но так как лес все еще кишмя кишел гитлеровцами, пытавшимися выбраться к своим, нас время от времени поднимали по боевой тревоге и бросали на помощь боевому охранению. Иногда между нами и бродячими группами гитлеровцев завязывалась короткая перестрелка. Но в большинстве случаев они старались не доводить дело до схватки: как только мы появлялись, тут же отходили в глубь леса. А там или искали другой выход, или же, вдоволь набродившись в чаще, оборванные, обросшие, голодные, привязывали к палке белую тряпку и шли сдаваться...

Со временем нам все меньше и меньше докучали боевые тревоги, и мы занялись тем, чем обычно занимаются части, отведенные на формировку, — готовились

к новым боям. Конечно, жизнь у меня была вольготнее, чем у строевых офицеров, которых с утра до ночи мурыжили в поле и на полигоне. Но хорошо помню, что поначалу я тоже был загружен по горло. Прежде всего, не было отбоя от больных. Пока шли бои, никто не хворал. А тут повалили, кто с простудой, кто с фурункулами, кто с потертостью. Один даже заявился с местным «подарочком», проявившим себя, как это и значилось в медицинском справочнике, уже на третий день.

А потом напряжение вдруг как-то сразу спало, и я зажил спокойной, неторопливой, размеренной жизнью батальонного фельдшера. К этому располагало и жилье — большая удобная хата в центре села. Из трех комнат самую просторную и светлую отвели под санчасть. Чтобы не разводить инфекцию, я попросил хозяев убрать все лишнее: фотографии со стен, цветы с подоконников, занавески, коврики, половики. Оставил лишь то, без чего нельзя было обойтись: стол и тумбочку под медикаменты, кровать для себя.

Надо сказать, что хозяева приняли все мои нововведения безропотно. Возможно, они даже рады были, что у них поселился «пан ликар», как они уважительно меня величали, к тому же один. В соседних хатах, например, ногу негде было поставить — чуть ли не в каждой комнате размещалось по десять-двенадцать бойцов. Разница? Но действительно ли хозяева молились на меня, как на выгодного постояльца, я не был до конца уверен. Кто знает, что они там думали обо мне. Да и вообще мы редко попадались друг другу на глаза. Я жил на своей половине, они на своей. Видел я их преимущественно из окна. То проходил мимо, как всегда потупив голову и опустив широкие плечи, хозяйин. То пробегала, бросив быстрый взгляд на марлевые занавески, вечно спешившая куда-то хозяйка. И лишь четырнадцатилетняя Ганна, единственная в семье, кого я знал, как зовут, на цыпочках, тихо поскрипывая половицами, подходила к двери в мою комнату и прислушивалась к тому, что я делал. Но я сперва не обращал на это внимания и относил целиком за счет детского любопытства. Честное слово, мне положительно было не до нее. И не только потому, что смотрел на девочку с высоты своих двадцати лет, но и потому, что голова у меня была забита другим — непонятым, загадочным, необъяснимым молчанием Тани. Ведь прошли две недели, как я послал ей записку, в которой намекал на свое

одиночество и просил приехать, а она почему-то не ехала. Последние несколько дней я прямо не находил себе места. Смешно говорить, но всякий раз, заслышав на улице чьи-то легкие шаги, бросался к окну и, если не доставал прохожего взглядом, высовывался по пояс. Или замирал, когда поблизости скрежетали автомобильные тормоза и останавливалась машина. Если находился в штабе или подразделениях, старался быстрее закончить дела и вернуться в санчасть: а вдруг Таня уже здесь? Иногда я доходил до края села и там, у огромного креста, врытого в землю, встречал появлявшиеся машины. В последнее время они шли сплошным потоком, а Тани все не было, не было, не было... Возвращался я домой нескоро, весь забрызганный грязью, изрядно наглотавшись выхлопных газов. А однажды со мной произошло и вовсе нечто странное. Меня вызвали в корпус на совещание среднего медицинского персонала. Я ехал в кабине грузовика и всю дорогу — как туда, так и обратно — по своей близорукости чуть ли не каждую попадавшуюся на глаза военную девушку с замиранием сердца принимал за Таню, для этого той достаточно было иметь темные волосы и легкую походку. Прямо какое-то наваждение. Конечно, плохое зрение плохим зрением, но было в этом что-то и от тихого любовного помешательства.

Возможно, измученный вконец ожиданием, я бы рванул к ней сам. Но с одной стороны, я боялся разминуться, а с другой — никто бы не дал мне сейчас увольнительной: со дня на день ожидался приезд командующего армией, собиравшегося проверить, как мы готовимся к предстоящей операции. Можно было, конечно, смотаться в самоволку. Но стоило мне только представить, что кому-то может понадобиться моя помощь (вот как вчера, когда с полигона доставили бойца с закрытым переломом руки), а меня нет, я тут же глушил в себе это поползновение. В общем, заменить меня было некем... в отличие от Тани, которая всегда могла попросить кого-либо из подруг подежурить вместо себя, что она, кстати, и делала раньше...

После того как ее из отдельного истребительного противотанкового дивизиона, где она была санинструктором батареи, перевели в армейский хирургический госпиталь, мы встречались довольно часто. Особенно после летних боев, когда нашу армию то и дело выводили на формирование и все части, как линейные, так

и тыловые, дислоцировались почти рядом, в нескольких километрах друг от друга. Во всяком случае, за час я легко добирался до госпиталя. У Тани же на дорогу уходило примерно вдвое больше времени. Она не могла удержаться, чтобы не свернуть в лес, и там непременно нападала на грибное или ягодное место. Не помню, чтобы она приходила с пустыми руками.

Я любовался ею, когда она, закатав рукава гимнастерки, весело поглядывая на меня, принималась жарить грибы или перебирать ягоды. Я чувствовал себя тогда самым счастливым человеком в батальоне... почти мужем, да, почти мужем этой необыкновенной, удивительной девушки. На душе был полный покой, как будто все, что делалось кругом, включая войну, не имело к нам никакого отношения. Казалось, так будет всегда. И эти встречи, и эти ягоды, и эти сеновалы, где в самый неподходящий момент начинали ворковать голуби. Сказочные полгода. Мы даже стали забывать то недоброе для нас время, когда наши части — мой батальон и ее дивизион — дрались на разных направлениях и мы виделись всего три раза. Можно представить, как я тогда истосковался по ней, а она по мне, так, во всяком случае, она говорила. И у меня не было основания ей не верить. Я ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь отозвался о ней плохо. Как-то в одном селе я заночевал с ребятами из ее дивизиона. Они направлялись куда-то в тыл за новыми орудиями. Я давно забыл, в какой связи зашла речь о Тани, возможно я сам заговорил о ней. И тут все шесть иптаповцев, включая их командира, словно сговорившись, в один голос стали нахваливать своего санинструктора: и дело знает, и пуль не боится, и себя в строгости держит. Сколько мужиков ни пытались подъехать, всех отшила. В том числе самого командира дивизиона гвардии майора Гулыгу, которому незадолго перед этим спасла жизнь — вытащила контуженного с поля боя из-под носа вражеских автоматчиков. Находившийся в соседней комнате ординарец командира слышал каждое слово. Когда гвардии майор полез к ней, она выхватила из санитарной сумки гранату и сказала: «Только посмей! Выдерну чеку!» Конечно, рассказывая об этом, ребята не знали и не догадывались о наших отношениях. Да и меня они видели в первый раз. Но я нисколько не сомневался, что Таня способна на такое...

В свои двадцать два года Таня пережила столько, что мне и не снилось. Правда, она была почти на два года старше меня (чем я тоже, как ни странно, гордился), но не это имело значение. Просто, в то время как я припеваючи жил с родителями, она на целых пять лет была разлучена с отцом, известным историком гражданской войны, и матерью, лучшим врачом-педиатром Харькова. Я еще только раздумывал, куда поступить после десятилетки, а она уже кончала второй курс исторического факультета. Дальше — больше. Перед самыми экзаменами ее, не объясняя причины, отчислили из университета, и она вынуждена была пойти работать дворником. Впрочем, занималась она-этим, по ее выражению, бесспорно полезным трудом всего три месяца. Неожиданно вернулись из заключения родители. Лишь шесть дней было отпущено им судьбой на радость: грянула война. Уже на другой день Таня записалась на курсы медсестер и ровно через месяц получила назначение санинструктором в одну из формируемых частей. Под Киевом она была тяжело ранена в ногу, едва не угодила в плен. К счастью, ее прямо на поле боя подобрала местная жителя.

Несколько месяцев она пролежала в низком сыром погребе на сбитых на скорую руку нарах. К зиме рана наконец затянулась, и Таня, напялив на себя какое-то немислимое тряпье, двинулась пешком в Харьков. То и дело ее останавливали патрули. Но и на этот раз ей здорово повезло. Она шла вместе со старухой, бывшей провинциальной актрисой, которой ничего не стоило задурить голову дубоватым деревенским полицаям. Таня в меру своих способностей ей подыгрывала: пригодились навыки, полученные когда-то в школьной и университетской самодеятельности. Так, под видом нищенок они дошли до Харькова.

Однако родителей там Таня уже не застала. Соседи сообщили, что они были эвакуированы за несколько часов до прихода немцев. Но куда — неизвестно.

Обычно Таня не вдавалась в подробности, вспоминая о своем участии в местном подполье. И вообще она не любила рассказывать о себе. Все, что я знал о ней, было собрано по крохам за время нашего знакомства. Так, только недавно мне стало известно, что она выполняла какие-то очень опасные задания подпольного центра. В частности, не без ее помощи был

уничтожен некто Полоз, принимавший участие в расстреле харьковских евреев.

Снова на фронт Таня попала сразу после первого освобождения Харькова. Она пришла на только что созданный призывной пункт и потребовала, чтобы ее направили на передовую, минуя запасной полк. Так она оказалась в нашей армии, в отдельном гвардейском истребительном противотанковом дивизионе. Не знаю, сколько раненых она вытащила с поля боя, но ко времени нашего знакомства под Лизогубовкой она уже была награждена двумя орденами: Отечественной войны первой степени и Красной Звездой. То, что она получила их за дело, а не за красивые глаза и прочее (такие случаи тоже бывали на фронте), я понял с первой нашей встречи.

Да, забавной была эта встреча, хотя и произошла при обстоятельствах, далеко не забавных. После того как немцы перешли в контрнаступление и выбили нас из Харькова, наши части — моя и Танина — отошли на левый берег Северного Донца. И вот во время этого драпа судьба и свела нас. Оказавшись без машины, которая в темноте налетела на танк и осталась без радиатора, я вынужден был «голосовать». Долго никто не обращал внимания на мою метавшуюся по обочине фигуру в короткой, не по росту шинели. Возможно, я казался подозрительным. Но одна машина все-таки остановилась. Когда я залез в фургон и меня в кромешной тьме стало швырять от борта к борту, я вдруг обнаружил, что здесь еще несколько человек, в том числе две девушки. Одна из них взяла меня за руку и усадила рядом с собой, на свободное место. Это и была Таня. Конечно, в тот момент я интересовал ее лишь как объект мимолетной заботы. Она даже не видела моей физиономии, а «спасибо!», наполовину проглоченное мною во время тряски, Таня, я думаю, не расслышала. Разглядели мы друг друга только когда закурили. На нас падали короткие и слабые отсветы от попрыгивающих самокруток. У нее было задумчиво-серьезное лицо, которое с каждой новой затяжкой, выхватывавшей его из темноты, все больше раскрывало свою беспокойную красоту. Я уже не мог оторвать от него глаз, и Таня, видя это, нарочно, как потом призналась, погасила недокурную сигарку, хотя и не накурилась еще. Она не выносила, когда на нее смотрели в упор незнакомые или малознакомые люди.

Я же продолжал дымить и был весь на виду. И она, как выяснилось позже, тоже что-то углядела. Рассматривая себя, тогдашнего, на фотографии, я по сей день недоумеваю, что она во мне такого нашла. Крупноватый нос, вечно скорбные близорукие глаза, ранняя синева завалившихся щек. Существовала еще густая черная шевелюра, но она вся была упрятана в шапку-ушанку и, естественно, не участвовала в пробуждении интереса ко мне.

Пока мы курили и приглядывались друг к другу, разговор был какой-то случайный, не запомнившийся мне ни единым словом, как будто его и не было. В то же время я понимаю, что такого не могло быть. Ведь о чем-то мы все-таки говорили. О сволочной погоде хотя бы.

Зато темнота, которая наступила после того как мы перекурили, придала нам смелости. Через час мы уже многое знали друг о друге, хотя больше говорил я. Тогда меня страшно поразило, что Таня чуть ли не с первого взгляда признала во мне ленинградца. Ведь в равной степени я сошел бы за москвича, киевлянина или жителя любого крупного города от Белого до Черного моря. Я не буду пересказывать, о чем мы говорили. Незачем и ни к чему. Скажу лишь, что я был в ударе и что за разговором мы не заметили, как прошла ночь. С небес на землю нас вернули частые удары зенитных орудий. Немецкая авиация бомбила переправу через Северный Донец, которую мы только что проехали. На телеграфном столбе с оборванными проводами во все стороны глядели указатели. Таня побежала к своим расчетам, я — к своим разведчикам.

Мы встретились с ней только спустя два месяца. Потом еще раз встретились, и еще... Она была первая моя женщина, а я у нее второй мужчина, и то, что знала она, стало и моим знанием.

И лишь война нам была ни к чему: каждая наша встреча могла стать последней...

ГЛАВА ВТОРАЯ

Говоря военным языком, я располагал достоверными разведанными, что с Таней ничего не случилось. Одна из наших телефонисток, Анечка Белобородько, ездившая в госпиталь по поводу каких-то своих таинствен-

ных болезней, нажитых еще в первую военную зиму, видела ее там и, зная в общих чертах о наших отношениях, не преминула сообщить мне, что с Таней все в порядке, что она жива-здорова и что, несмотря на жестокую бомбежку, которой недавно подвергся госпиталь (один врач и одна сестра были убиты и четверо раненых снова ранены), жизнь в нем быстро наладилась. Разумеется, никаких приветов ни ей от меня, ни мне от нее Анечка не передавала: она делала вид, что ничего не знает о нашей, как тогда говорили, дружбе. Что-что, а чужие тайны наши телефонистки умели хранить.

Я был в полном недоумении. Думать плохо о Тане я не мог, я запретил себе это с самого начала. Но была же какая-то причина, которая мешала ей приехать? Может быть, в связи с потерями, понесенными медиками во время бомбежки госпиталя, запретили увольнения? Ведь и раньше, судя по Таниным рассказам, людей не хватало, а тут такое дело...

Но в этом случае она должна была написать. За столько дней мы успели бы обменяться десятком писем. Да и не похоже было на нее — не отвечать на мои послания. Ведь она прекрасно знала, как я истосковался по ней. Раньше, когда она не могла почему-либо приехать, непременно писала. Пусть немного, всего несколько строк. У меня сохранились все до единой ее записки. Вчера я не выдержал и жадно, с чувством непонятной неловкости перечитал их. Исписанные ровным стремительным почерком лучшей студентки, эти дорогие для меня тетрадные листки только подогревали мое нетерпение. Двадцать шесть записок! Целый ворох! Впрочем, ворохом я назвал их в сердцах, потому что сам же переворошил, возвращаясь к наиболее задушевному из них. А так они лежали одна к одной, аккуратно перевязанные толстой сапожной ниткой, в моей где только не побывавшей и чего только не повидавшей полевой сумке. В той же ровной пачечке хранил я и Танины фотокарточки, которые выпросил у нее, еще когда между нами ничего не было и все в наших отношениях могло повернуться и так и этак. Таня была снята не одна, а вместе со своим комбатом и другими офицерами батареи. Она стояла между двумя лейтенантами, командирами огневых взводов, Шакировым и Олейниковым. Впереди сидели, одиноко уставившись немигаю-

щим взглядом в объектив, комбат старший лейтенант Круглов и комдив гвардии майор Гулыга. Вторая фотография была почти точным повторением первой, только выражение лица у комдива было здесь не таким напряженным — чуть заметная улыбка шало сдвинула краешек губ. Интересно, когда были сделаны эти фотографии — до или после истории с гранатой? По лицам Тани и комдива, сколько ни вглядывайся в них, ничего не определишь...

А что, если она написала, а записка не дошла? Мало ли какие могли быть обстоятельства! Ну, потеряли, забыли передать. Наконец, что-нибудь случилось с тем, кто взялся доставить записку?

Думая так, я испытывал некоторое облегчение. И все-таки было сомнительно, что записка могла затеряться. Такого с нами еще не было. Все, что мы писали и передавали с оказией, находило нас, как бы далеко ни разводили меня и Таню фронтовые дороги. Помню даже случай, когда моя записка, вызвав чем-то подозрение у одного из непомерно бдительных товарищей, угодила прямо в «Смерш», а оттуда после тщательного изучения была препровождена мне с настоятельным советом пользоваться в дальнейшем, как все военнослужащие, обычной, проходящей военную цензуру почтой. Так что я не верил, что послание, если оно есть, могло пропасть.

Совершенно издергавшись, я написал новую записку, густо усеяв ее вопросительными и восклицательными знаками. Очень скоро нашелся и человек, который взялся передать. Это был замполит нашего батальона капитан Бахарев, уже вторую зиму одолеваемый фурункулами и потому являвшийся моим постоянным пациентом. Он направлялся в штаб армии на какое-то совещание политработников, и занести записку в госпиталь, который находился где-то рядом, ему, как он заверил меня, не составляло труда.

Уехал Бахарев сразу после завтрака. Чтобы окончательно не свихнуться, я принял двойную дозу снотворного и завалился спать, тем более что ночью была учебная тревога, завершившаяся двадцатикилометровым пешим переходом с полной выкладкой, и все, кроме часовых и дежурных, дрыхали без задних ног. Вскоре голова моя отяжелела, и я уснул...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Проснулся я от легких осторожных шагов по комнате. Первая мысль была: Таня! Но едва я открыл глаза, как увидел метнувшуюся к двери Ганну. Несмотря на полумрак, сменивший, пока я спал, ясный солнечный день, я все-таки разглядел ее по-деревенски крепкую и ладную фигурку. Ганна скрылась раньше, чем я успел спросить ее, что ей здесь надо. При случае — спрошу... Ох, господи, сколько же я спал? Я зажег спичку и посмотрел на часы: без двенадцати восемь. В общей сложности я дрых девять часов. Проспал и обед, и ужин. То, что меня не разбудили, означало одно: ни я, ни мои знания никому не понадобились. Пробу, наверное, снял санинструктор второй мотоциклетной роты Толя Михно, который временно замещал моего санинструктора Васина, раненного под Т. На этот счет у меня была с ним договоренность. Я не сомневался, что за полчаса до раздачи пищи он уже был на кухне. Его привлекало не столько поесть вволю, сколько показать поварам свою власть. Еще пару слов о Михно, чтобы больше не возвращаться к нему. Однажды он по секрету признался мне, что батько Махно приходится ему двоюродным дядей. Букву же в фамилии заменил свояк, работавший в милиции, — чтобы не так бросалось в глаза. Однако сколько я ни приглядывался к Толе, ничего махновского в нем не замечал. Был он человек добрый и справедливый. И ни у кого больше я не встречал таких бархатных и бездонных глаз...

Я вскочил с кровати, стал одеваться. Первым делом надо было узнать, вернулся ли капитан Бахарев. Судя по времени, он должен быть уже дома...

Частые боевые тревоги явно пошли мне на пользу. Чтобы одеться, мне потребовалось не больше минуты. Наконец очередь дошла и до оружия. Я вынул из-под подушки еще теплый пистолет и сунул его в кобуру. Снял со спинки стула автомат. Хотя сейчас он был мне совершенно не нужен, я не решался оставлять его в санчасти: мало ли кто может зайти и забрать. За утерю личного оружия взыскивалось строго — вплоть до трибунала.

Я подошел к окну, стал всматриваться в темноту. В хате напротив, где поселились командир батальона и его зам по политчасти, по-ночному непроницаемо

чернели окна. С улицы казалось, что там или уже спят, или нет ни души. На самом деле это означало, что начальство дома. Когда замполит и комбат задерживались в штабе или на учениях, хозяева не очень заботились о светомаскировке. Порою тусклый свет от керосиновой лампы допоздна тянулся к небу, в котором время от времени урчали вражеские самолеты, и к лесу, где, по слухам, взамен бродячих немцев появились какие-то новые вооруженные банды, нападающие на наших солдат и офицеров.

Осталось только перейти улицу и узнать, вернулся ли замполит.

Я неловко повернулся и стволом автомата, свисавшего у меня с плеча, смахнул на пол несколько пузырьков. Резко запахло валерьянкой. Осторожно, чтобы не раздавить уцелевшие при падении пузырьки, я обошел стол и взял со второго подоконника лампу-самоделку — гильзу из-под зенитного снаряда с зажатым в верхнем сплюсненном конце куском старой шинели.

Но прежде чем зажечь лампу, я завесил плащ-палаткой все три окна. Мне нисколько не улыбалось работать несколько суток домашнего ареста за нарушение приказа о строжайшем соблюдении светомаскировки. То, чего невозможно было спросить с гражданских, с нас спрашивали строго.

Наконец по толстому, сильно обгоревшему фитилю медленно пополз огонек, разгоняя по закуткам темноту. Я пошел с зажженной гильзой к валявшимся на полу пузырькам и вдруг на самом краешке стола увидел два больших антоновских яблока. Так вот зачем прокрадась ко мне в комнату Ганна. Решила побаловать меня яблоками. Ничего не скажешь — трогательно и приятно. Потеснив жирные запахи валерьянки и бензина, до меня добрался нежный, вкрадчиво-душистый, любившийся еще с детства аромат перезимовавших антоновок. Я взял яблоки и залюбовался ими. Они светились, отливали, дразнили доходящей, казалось, до самых семечек чистой янтарной плотью. Как кстати. Будет чем угостить Таню.

Я переложил яблоки на тумбочку — дескать, дар принят — и, задув огонь, вышел из хаты...

В хозяйском окне дрогнула занавеска, и я увидел круглое лицо Ганны. Девочка провожала меня заинтересованно-внимательным взглядом. Все-то ей надо

знать обо мне. В жизни не встречал таких любопытных девчонок.

А может, и не в любопытстве дело? Мысль была настолько неожиданна, что я даже на минутку остановился. Ведь сколько забавных знаков внимания я видел уже с ее стороны. То пол вымоет, то пыль сотрет, то подушку взобьет — и все в мое отсутствие.

Из художественной литературы я знал, что девчонки-подростки нередко влюбляются во взрослых: в своих учителей, старших двоюродных и троюродных братьев, просто знакомых. Неужели и на меня пал этот обременительный жребий? Этого мне еще не хватало...

— Стий! Кто иде? — остановил меня на той стороне окрик часового.

— Это я, Зинченко, лейтенант Литвин!

— А... товарищ лейтенант! — узнал меня Зинченко, старый солдат, воевавший еще в первую мировую войну.

— Замполит приехал?

— Прихав. З пивгодыны як прихав...

Сердце мое бешено заколотилось. Точно с цепи сорвалось.

— Комбат тоже там? — опасливо осведомился я. Хотя командир батальона гвардии капитан Батьков относился ко мне хорошо, даже очень хорошо, мне совсем не хотелось посвящать его в свои дела. Он был не сдержан на язык и мог под горячую руку возвестить о моих внеслужебных отношениях с Таней всему батальону. Капитан же Бахарев был человек ровный, спокойный, и чужую тайну без особой нужды разглашать не станет.

— Пишов до штабу. З другой роты солдат пропав.

— Как пропал? — недоуменно спросил я, испытывая в то же время облегчение, что комбата не будет при разговоре с замполитом.

— Учора послали за новыми патефонными пластинками до сусидив у Лучаны. Так и не повернувся. А иты тут всього годыну. Звонили туды, кажуть: не прыходыв, не бачылы. Дезертируваты вин тэж не миг: старый солдат... Тихов, може, вы знаете?

— Нет, фамилию слышал. А в лицо не помню.

— Ось воно як: боив нэма, а люды пропадають...

— Может, еще отыщется...

— Може, ще знайдеться... десь... в канави... з переризанным горлом...

— Думаешь, бандеры?

— Кому ж еще?

— Откуда они только взялись?

— А бис их знае!..

— Ну, пойду погляжу, что замполит делает,— сказал я подчеркнуто-безмятежно, чтобы скрыть от Зинченко волнение, с новой силой охватившее меня.

— Мабудь, до политбесиды готовляться...

— Сейчас проверим...

Я постучал в дверь.

— Войдите!

Замполит сидел за столом, освещенным двумя большими гильзами, и что-то быстро писал на листках. Похоже, он действительно готовился к политбеседе.

— А.... доктор! Садитесь. Я сейчас. Допишу только.

Я сел на лавку в сторонке, чтобы не мешать и не отвлекать. То, что он велел подождать, могло означать лишь одно: у него было что сказать мне. Я всматривался в его сосредоточенное белобрысое лицо, пытаюсь хоть что-нибудь прочесть на нем. Но мысли Бахарева, видимо, были заняты докладом и ничем больше. Наконец он поставил точку — самую настоящую точку в конце фразы. Я ясно видел, как бежавшее перо вдруг остановилось и, повисев некоторое время в воздухе, в последний раз опустилось на бумагу.

Потом Бахарев посмотрел на меня и весело объявил:

— Ну, ваше задание я выполнил, доктор.

— Спасибо,— я почувствовал, как предательски запылали у меня щеки.

— Передал записку в собственные руки. Ваша знакомая обещала сегодня же ответить.

Я еще раз поблагодарил.

— Приятная девушка.

— Возможно,— неопределенно пожал я плечами и встал.— Разрешите идти, товарищ гвардии капитан?

— Да, конечно,— почему-то удивленно ответил он. То ли ждал от меня каких-либо расспросов, то ли сам еще хотел сказать.

Но я боялся неосторожными вопросами о Тане открыть тайну наших отношений и потому промолчал. Да и подумал, что вряд ли Бахарев стал бы что-нибудь утаивать от меня, если бы знал. Зачем ему это? К тому же он, я видел, благоволил ко мне. И все-таки до конца быть откровенным с ним я не решался: во-первых, боялся подвести Таню, а во-вторых, я был не в таких чи-

нах, чтобы безнаказанно крутить на фронте любовь. Бахареву я сказал, что Таню знал еще до войны и нас связывает только крепкая боевая дружба. Не верить мне у него не было пока никаких оснований. Конечно, при желании он мог бы заглянуть в записку. И наверно, заглянул бы, если бы не доверял мне. А он доверял: иначе не стал бы предлагать вступить в партию...

Я вышел из хаты и, пожелав покуривавшему украдкой Зинченко спокойного дежурства, направился к себе...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

А у меня уже был гость. Нет, не Таня, как я вначале с оборвавшимся сердцем подумал, увидев в своем окне тонкую полоску света, а Славка Нилин, единственный человек в батальоне, от которого у меня не было тайн, старый друг и земляк. Он валялся на моей кровати, закинув ноги на спинку. На кирзовых сапогах, которые он поленился снять, висели куски грязи. Когда я вошел, он даже не переменял позы.

— Мог бы хоть сапоги снять, — сделал я замечание.

— Видишь, я аккуратненько, — показал он на спинку кровати.

— Что, мне взять твои ноги и придать им нормальное положение?

— Ну, ладно, черт с тобой! — сказал он и, спустив ноги, сел. — Я к нему с доброй вестью, а он даже полежать не дает.

— С какой вестью?

— На... держи! — Славка достал из нагрудного кармана сложенную в несколько раз записку и отдал мне.

Разворачивая ее, я чувствовал, как от нетерпения дрожали мои руки. Так и есть — от Тани...

«На днях приеду. Т.»

«Приедет... приедет... приедет...» — застучало в висках.

— Ну, что пишет? — спросил Нилин.

— Что приедет... Ты что, был в госпитале?

— Слава богу, пока мне там делать нечего... Привез Малявин, ну, механик у Лазарева. Он как раз лежал во втором отделении...

Второе отделение было Танино, и Нилин это знал.

— Он обратился ко мне за разрешением доставить тебе эту записку. Мол, сестричка очень просила. Ну, я ему сказал, что сам отнесу, все равно иду туда... Знаешь, а меня эта твоя пацанка пускать не хотела. Боялась, что я касторку сопру. Все в щелку подглядывала... Была бы она года на четыре старше..

— Выпьешь?— на радостях предложил я.

— Он еще спрашивает!— мгновенно отреагировал Славка и вскочил с кровати.— Какой русский не любит быстрой езды!

— При чем здесь быстрая езда?— спросил я, доставая из-под кровати (подальше от чужих глаз!) флакон с медицинским спиртом — весь мой запас.

— Вот и я интересуюсь — при чем?— остановился Нилин.— Только не жмоться,— добавил он, глядя, как я бережно и осторожно колдую с мензурками.

— Бери кружку,— сказал я.— Ведро с водой — в сенях!

— А ведра с помоями там нет?— полюбопытствовал Славка.

— Иди, смело набирай!— напутствовал я.

Он вышел в сени. Вскоре до меня донеслись грохот и Славкино чертыхание. Дверь была приоткрыта, и я, от души забавляясь, слышал все до последнего звука. Первой на шум выскочила Ганна. Она ойкнула и бросилась за тряпками. Потом пришли посмотреть, что натворил мой гость, сами хозяева. Хозяйка немного поохала и стала вытирать пол. Ганна же, схватив пустое ведро, помчалась за новой водой.

Славка заглянул в комнату и упрекнул меня:

— Чего лыбишься? Видишь, по самые ноздри промок?

— Ничего, у меня запасные кальсоны есть. Поделюсь по-братски,— попытался я его успокоить.

— На хрена мне твои кальсоны! Я в них с головой утону! Лучше скажи им,— кивнул он в сторону сеней,— чтобы печку затопили. Буду сушиться,— сказал Славка и добавил со смешком:— Ты от меня еще так просто не отделаешься!

Я зашел к хозяевам и попросил затопить печь. Двинулась было сама хозяйка, но ее опередила Ганна. Через минуту она вернулась с охапкой дров. То и дело прыскала, глядя на подмокшего Славку. Однако это не помешало ей быстро и умело растопить печь. Иногда

Ганна бросала взгляд на меня, словно приглашая пошутить вместе. Щеки ее раздурманились, и она выглядела старше своих четырнадцати лет.

Вскоре дрова затрещали, и огонь стал весело перебегать с одного полена на другое.

Придержав на мне свой совсем не по-детски внимательный взгляд, девочка молча скрылась за дверью.

— Да, была бы она года на три старше...— снова посетовал Славка.

— Ну, это от нее не уйдет,— сказал я и протянул Нилину мензурку с разбавленным спиртом:— Давай!

— От нее не уйдет,— заметил Славка.— От меня уйдет.

Я мысленно улыбнулся: слушая Славку, можно подумать, что он завзятый донжуан. На самом же деле он упрямо обходил всех женщин стороной.

— За что?

— Чтобы дожить до победы,— сказал Нилин, поднося ко рту мензурку.— Чего мудрить?

— Давай!

«За твой приезд, Танюшка! За нашу встречу!»— про себя произнес я.

— Эх, заесть бы чем...— произнес Славка.

— Постой!.. Где же они?

— Чего ищешь?

— Яблоки на тумбочке лежали. Два яблока. Подожди, может, закатились куда...

— Не ищи. Я сожрал,— смущенно признался он.

— Как? Когда?

— Перед твоим приходом,— продолжал Славка.— Я думал, что у тебя их до хрена. Вон сколько в саду яблонь!

«Вот и угостил Таню,— сокрушенно подумал я.— Такие яблоки были... Тоже мне, не мог подождать, спросить...»

— Знаешь,— вдруг объявил Славка, снимая мокрые сапоги,— я новую поэму накатал. Я читал командирам машин. Им понравилось. Теперь хочу знать твое мнение...

— Она у тебя с собой?

— А как же! Все мое со мной. Правда, малость подмокла, но читать можно...

Развесив на спинке стула мокрую одежду, включая кальсоны с оборванными тесемками, Славка завернул-

ся в мое одеяло и принял позу римского сенатора. В протянутой руке он держал ученическую тетрадку.

— Цицерон,— сказал я.

— Ну что, готов слушать?

— Готов. Она большая?

— Четыреста сорок восемь строк. Не считая названия.

— Шпарь!

— «Баллада о старом Аркаде Иштване и его дочери Марице»...

— О ком, о ком?— удивленно переспросил я.

— Это о давно прошедших временах,— пояснил Славка.— На венгерскую тему.

— На венгерскую?— я был совсем озадачен.

— Ну да!

— Ты что, был в Венгрии?

— Нет, но это не имеет значения... Слушай!

Высокая башня стоит на горе.
Под ней бурно плещет Дунай.
Деревья склонились в тревожной игре —
Такой беспокойный здесь край.

Осенние ветры срывают листву,
Цветной расстилая ковер.
Вода поднимается быстро во рву —
То замку шлет небо укор...

Славка читал с пафосом. Его голос то набирал силу, изображая рев ветра и шум потока, то как бы выдыхался, показывая бессилие человека перед стихией. В поэме рассказывалось о том, как некий трубадур заплатил жизнью за любовь к знатной даме. Чего только там не было: и бегство влюбленных, и погоня за ними, и черное предательство, и умница шут, подсмеивающийся над своим властелином, и многое-многое другое из той же оперы. Это была третья или четвертая поэма, которые накатал Славка между двумя ранениями. Нет, слушать было не скучно: захватывал сюжет и очень хотелось знать, что будет дальше. Но в то же время я никак не мог взять в толк, что побуждает Славку, лихого и бесстрашного командира танкового взвода, участника боев под Сталинградом и на Курской дуге, тратить время на эту рифмованную чушь. Ей-богу, уж лучше бы он писал о том, что видел и пережил за три года войны. Я уверен, у него бы получилось здорово. Однажды я ему сказал об этом, но он так посмотрел

на меня, что я уже больше не совал нос в его творческие дела. Он отнял у меня, своего верного друга и читателя, все права, кроме одного — слушать и восхищаться...

Он окончил чтение поэмы примерно в полвторого ночи. К этому времени я уже потерял способность что-либо воспринимать и громко позевывал в кулак.

— Устал?— спросил Славка, свернув тетрадь трубкой.

— Устал.

— Но интересно?

— Интересно,— зевая, ответил я.

— Спать будем или почитаем еще?

— Спать,— жалобно сказал я.

— Еще пару стихов, и все!

Но вместо двух стихотворений он прочел по меньшей мере с десятков. Из них я запомнил только одно — о гондольере, который катает прекрасных дам по Венеции и иногда ловко пользуется их благосклонностью. Были там такие строки: «Я, честью клянусь, никогда не сменю нелегкий свой жребий мужской. Пусть тяжело приходится нашему дню, наградой за то час ночной...»

Услышав их, я едва удержался от улыбки: для кого-то часы ночные, возможно, и являлись наградой. Но для меня, вконец одуревшего от поэзии друга, они были скорее наказанием.

Часа в два я спросил Славку, рассчитывая на его догадливость:

— Послушай, а тебя не хватятся в роте?

— Не хватятся,— усмехнулся он.— Ребята знают, что я у тебя. Так что терпи, брат, до первых петухов...

ГЛАВА ПЯТАЯ

Когда меня разбудили, всюю светило солнце и где-то за селом высокий и чистый голос запевалы направлял и вел за собой нескончаемую походную песню — солдаты строем шли на боевые учения. Нилина, спавшего прямо на полу в шинели, уже и след простыл. Да и не до него было сейчас. Привезли тяжелораненого. Один из разведчиков чистил наган и не заметил, что в барабане остался патрон. Пять или шесть раз нажимал он на спусковой крючок — ничего, а потом на-

жал — и раздался выстрел! Пуля угодила стоявшему рядом сержанту в ногу. Его кое-как перевязали и доставили ко мне. Рана была нехорошей. Раздробив кость, пуля застряла где-то в нижней трети голени. От обильного внутреннего кровоизлияния нога прямо на глазах наливалась устрашающим свекольно-синюшным цветом. Я занялся раненым. Вдвоем с санинструктором мы бы справились быстро, но я был один, и на все уходило вдвое, втрое больше времени. После того как я ввел противостолбнячную сыворотку и хорошенько обработал входное пулевое отверстие, предстояло самое трудное — наложить повязку и шину. Едва я дотрагивался до ноги, сержант стонал и матерился от боли...

— Ганна, помоги!— крикнул я девочке, которая, как всегда, возилась где-то близко за дверью.

Она влетела в комнату и в нерешительности остановилась у порога. В глазах ее плескалась растерянность, и в то же время они выражали готовность выполнить любую мою просьбу!

— Ну чего смотришь?.. Поддержи!

Девочка опустилась рядом со мной на колени.

— Руки чистые?

— Ось!— она показала розовые ладошки.

— Ну, держи, чего же ты?.. Не здесь, выше!..

Поначалу Ганна терялась, торопясь, делала не то и не так. Но вскоре она поняла, что от нее требовалось, и уже с этого момента ее крепкие руки, с детства привыкшие ко всяким работам, быстро и умело справлялись с моими указаниями.

Мне ничего не оставалось, как нахваливать и благодарить ее:

— Хорошо!.. Хорошо!.. Молодец!..

От всех этих похвал круглое лицо Ганны разругалось.

— Все!

Наконец раненый был готов к дальнейшей эвакуации.

Я вышел на улицу посмотреть, не идет ли машина, за которой вот уже полчаса как послал проходившего мимо санчасти бойца. В моем распоряжении была «санитарка», но сейчас она стояла на ремонте. В тех же случаях, когда требовалось отвезти в медсанбат раненого или больного, я обращался за содействием к нашему зампотеху, который никогда не отказывал мне в транспорте.

Не прошло и пяти минут, как из-за поворота выехал грузовой «форд». На подножке стоял мой посыльный.

Мы подняли носилки и понесли. Ганна сама, без напоминания, ни разу не замешкавшись, открывала и придерживала двери. Повертеться бы ей с неделю-другую среди медиков, и она не хуже других справлялась бы с обязанностями санитарки. Только ее по молодости ни в один из госпиталей не возьмут. Какой-то странный, неопределенный возраст. И не девочка уже, и не девушка еще...

Обогнав нас, она успела убрать с дороги упавшие грабли, прогнать борова, распахнуть перед нами калитку.

После того как носилки с раненым были установлены в кузове, я сказал Ганне:

— Если кто приедет ко мне, скажи, что я просил подождать. Я скоро! Самое большое — буду через час!.. Поняла?— спросил я, залезая в кабину.

— Розумию, пане ликар!

И опять ее глаза как-то странно, не по-детски смотрели на меня.

— Поехали!— сказал я водителю.— Только не гони. Ему нельзя...

Машина тронулась, осторожно объезжая ухабы и рытвины. Из-за густой, вязкой грязи почти невозможно было определить, где основная дорога, а где объезды. С раннего утра до позднего вечера это широченное пространство, бывшее когда-то сельской улицей, помимо танков, бронетранспортеров, мотоциклов и грузовиков нашего батальона, месили все кому не лень, от тяжелых дальнобойных орудий, уже выбиравших за селом огневую позицию, до крестьянских подвоид, направлявшихся на базар в город. Главное было — выбраться за околицу. Там от главного шляха ответвлялось несколько лесных и проселочных дорог, ведущих к соседям, и соответственно на каждую из них приходилось меньше колес и гусениц...

Дорога, которая вела к большому селу, где были расположены штаб корпуса и медсанбат, шла глухим темным лесом и только в редких местах вырывалась на опушку — к яркому весеннему солнцу, к голубому небу, к зеленеющим лугам и полям. Я не раз проезжал здесь. Бывал и в те дни, когда мы гонялись за бродячими немцами, и потом, когда ездил по своим медицинским

делам. Расстояние было невелико, всего пять или шесть километров. Даже по расползавшейся грязи я проскакивал его за десять-пятнадцать минут. И сейчас я рассчитал, что на оба конца потребуется максимум полчаса. Ну и какое-то время уйдет на то, чтобы сдать раненого. Я вполне управлюсь за час, если не буду отвлекаться на посторонние разговоры с ребятами из медсанбата, на все эти нескончаемые: «Как живешь?», «Чего новенького?», «А слышал...», «А знаешь...» — и как-нибудь увильну от встречи с начсанкором, который — тут уж нечего сомневаться! — потребует от меня обстоятельнейшего доклада о состоянии дел в батальоне. От приятелей еще можно отмахнуться: «Ой, бегу, некогда!» От майора же не отмахнешься. Нужна особая, веская причина, чтобы он отпустил, не мурыжил. Господи, какого черта я ломаю голову, что сказать? Разве не убедительно будет, если я прямо заявлю, что батальон остался без медиков и я должен немедленно возвращаться? Мало ли что может случиться в мое отсутствие? И это будет правда. Такая же правда, как то, что я, изнемогая от нетерпения, жду приезда Тани...

Преодолев самый грязный, самый ухабистый, самый тряский участок дороги, мы круто свернули в лес. Машина с заметным облегчением покатила по разбухшей наезженной колее. Деревья подступали так близко, что, попадись навстречу другой грузовик, нам бы ни за что не разъехаться.

Еще совсем недавно распустились первые почки, а уже сейчас нигде не увидишь голой веточки. И в этом зеленом разливе, затопившем все вокруг, только дороги никак не могли расстаться со своей грязью...

Отъехав от развилки всего каких-нибудь триста-четыре метра, мы обогнали троих солдат с автоматами, шагавших гуськом на небольшом расстоянии друг от друга. Вместо того чтобы попросить подвезти, они молча сошли на обочину. Я еще обернулся, посмотрел, не «голосуют» ли. Нет, ни одна рука не взметнулась вверх, не помахала нам. Но провожали нас внимательным, ничего не упускающим взглядом. Между тем все трое — бывалые солдаты. У каждого на груди ордена и медали. Я пожал плечами: «Охота им топтать пешком?» Другие на их месте разом бы оседлали наш «форд». Тем более что нам было по пути: дорога вела

прямоком до села, нигде не разветвляясь. Одно можно сказать: чудачки! Но возможно, они решили пройтись по лесу, надышаться волнующими весенними запахами? В конечном счете, это куда приятней, чем трястись в кузове. Да и шесть километров — разве расстояние?

Вот и мы только свернули в лес, только обменялись взглядами с бредущими по обочине солдатами, как уже впереди показался погорелый хутор, встречавший нас всякий раз на пути к селу. От человеческого жилья остались лишь русская печь да обугленный сруб колодца. Я вздохнул: все недосуг спросить у местных жителей, кто и когда его спалил...

Едва подумал, как машину уже вынесло к повороту, за которым открылся вид на квадраты зеленеющей озими. У каждого хозяина тут свое поле, не то что у нас, в России. Но живут неплохо, надо признаться.

Следующая вежа — немецкое солдатское кладбище, если можно назвать кладбищем пять... нет, шесть деревянных крестов с фамилиями погибших. На одной из могил лежала каска, пробитая в нескольких местах автоматной очередью.

За кладбищем мы, по обыкновению, сбавляли скорость, потому что дальше протекал ручеек, над которым нависал изрядно осевший мостик. Конечно, если бы он вдруг обвалился, ничего страшного не случилось бы. Глубина была всего по колено. Но повозиться пришлось бы немало. Бежать за тягачом, вытаскивать, промочить в холодной воде ноги... Бр-р-р...

Пружина на длинных бревнах, мы осторожно перевалили на другую сторону ручья...

Я вылез на подножку, заглянул в кузов. Раненый не стонал, не ругался, смотрел широко открытыми глазами на скользящую над ним узкую полосу неба.

— Ну как, живой, Свиридов? — спросил я.

— Живой, — ответил солдат. — Долго еще?

— Вот уже рядом...

Впервые за два года пребывания на фронте я не преуменьшал расстояния. Сколько раз приходилось мне успокаивать, обманывать раненых, лишь бы не теряли надежду на спасение, терпели из последних сил. Но сейчас я говорил правду. Чистую правду.

Не прошло и минуты, как дорога знакомо расширилась воронкой и показались первые хаты. А потом они

пошли косяком, расступаясь перед нашей медленно ползущей машиной.

Крутой поворот, и мы очутились во дворе сельской школы, в которой разместился медсанбат. На мое счастье, начсанкора на месте не было, и я, быстро сдав раненого дежурному врачу, двинулся в обратный путь.

Теперь никакая тряска не была нам страшна.

— Давай жми на всю железку!— приказал я водителю.

Через минуту-другую мы были уже в лесу и неслись по собственным, еще свежим следам. Наш «форд» пер вперёд, как танк, и только у самого моста ему пришлось сбавить скорость и аккуратно перебраться на ту сторону. Дальше нас опять ничего не задерживало, кроме редких поворотов и грязи. Стрелка спидометра приближалась к двадцати километрам. Ветви деревьев то и дело хлестали по стеклам, и я всякий раз вздрагивал и отводил голову.

— Нервы,— сказал водитель.

— Да, нервы,— согласился я...

Мой взгляд снова отмечал давно примелькавшиеся веи, только в обратной последовательности:

...жалкое немецкое солдатское кладбище...

...лесная опушка с видом на зеленые поля...

...черное пятно пожарища...

И вдруг меня точно обухом по голове огрело: а где те самые... те самые солдаты? По времени мы непременно должны были их встретить на обратном пути. До села, где нетрудно затеряться, они дойти не могли. За те четверть часа, что нас не было, они приблизились бы километра на два, не больше. Куда же они подевались? Свернули с дороги, чтобы идти лесом? Какой смысл? Прыгать с кочки на кочку? Шлепать по лужам?.. Странно, очень странно... Прямо как сквозь землю провалились!

А!.. Мало ли куда они свернули!.. Может быть, сидят в кустах по большой нужде... Втроем, одновременно?.. Да-а-а...

Мы выехали из лесу и пристроились к какой-то колонне автомашин с боеприпасами. Некоторым полторкам, видно, не под силу было справиться с грязью, и их тянули на буксире мощные «студебекеры». Хорошо, что до нашего села было недалеко. Добрались с трудом, но своим ходом...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Отпустив машину, которая подвезла меня прямо к хате, я пошел к себе. Проходя мимо окон санчасти, я увидел метнувшуюся на свою половину Ганну. Черт бы ее побрал, эту девчонку! Всякий раз, когда меня не было в санчасти, она пробиралась туда и хозяйничала, как у себя дома. Не скажу, что это не беспокоило меня. Мало ли что ей взбредет в голову. Правда, ядовитые и сильнодействующие средства я хранил в небольшом трофейном сейфе, ключ от которого всегда носил с собой. Но это означало лишь, что она сама не отравится и не отравит других. Однако даже безобидные порошки, попав в нетерпеливые и отчаянные руки подростка, могли наделать столько вреда, что его не исправит и десяток врачей. А ведь каждый пузырек, стоявший на столе, каждая таблетка таили в себе восхитительную тайну. Но что делать? Двери не запирались: заходи все, кому не лень, хочешь — с улицы, хочешь — из соседней комнаты...

Поэтому-то я и намеревался прямо сейчас поговорить с Ганной, строго-настроено запретить ей заходить в санчасть в мое отсутствие. Я по-настоящему был сердит и недоволен. И наверное, разговор вышел бы соответствующий — занудно-воспитательный и обидный для девочки.

Но едва я переступил порог комнаты, как увидел свой парадный китель с серебряными медицинскими погонами. Вместо того чтобы висеть на спинке стула, он валялся на кровати. Первая мысль была: не хватало еще, чтобы Ганна шарила у меня по карманам! Теперь, отчитывая ее, я бы не стал щадить ее самолюбия. Пусть и родители знают!

К счастью, в последний момент, когда я уже было направился решительными шагами на хозяйскую половину, я вдруг заметил краешек не до конца пришитого белоснежного подворотничка. От него тянулась белая нитка, на которой чуть ли не у самого пола болталась иголка.

У меня сразу отлегло на душе. Поймал, как говорится, на месте преступления! Подшивала старому дураку свежий подворотничок. Похоже, она этим делом занимается давно. То-то я все время недоумевал: хожу день, хожу два, хожу три, целую неделю хожу, а подво-

ротнички почему-то не пачкаются. И шею вроде бы мою не чаще, раз в день по утрам. А ларчик просто открывается...

— Ганна!— позвал я.

Она, видимо, ждала, что я призову ее к ответу, и, пунцовая от смущения, появилась на пороге. Вошла и легким движением руки прикрыла за собой дверь — чтобы родители не слышали.

— Давай подшей,— показал я на китель.— Раз начала...

— Я зараз!— с готовностью отозвалась она, схватив китель.

— Только запомни,— назидательным тоном произнес я,— чтобы это было в последний раз!

— Я ще вам чоботы чистила,— неожиданно призналась она.

— Это еще зачем?— вконец растерялся я. Действительно, в последнее время мои сапоги, несмотря на грязь вокруг, выглядели вполне пристойно. Занятый другими мыслями, я относил это исключительно за счет своей аккуратности.

— А шоб в хату грязюку не наносылы,— она взглянула на меня исподлобья, и я хорошо увидел в ее глазах легкую усмешку. Бог ты мой, да она же кокетничает со мной. Этого еще не хватало!

— Давай договоримся,— сказал я строго.— Если мне нужна будет твоя помощь, я сам попрошу. Как сегодня утром, когда привезли раненого. А сапоги в Красной Армии каждый чистит себе сам. И подворотничок пришивает тоже. Ясно?

— Ясно, пане ликар,— снова заливаясь краской, ответила Ганна.

Она мяла в руках мой китель и не знала, что делать: то ли вернуть его, то ли закончить работу.

И вдруг она спросила:

— А праты... стираты тэж сами будэтэ?

— Тоже... А это можешь подшить,— разрешил я.— В порядке исключения...

— Можно, я туточки посыдю? — похоже, она не хотела подшивать при родителях.

— Ну... посиди,— ответил я без особого восторга. Был самый момент выпроводить ее и сказать, чтобы в мое отсутствие сюда не заходила, но я не воспользовался им. От нее исходила какая-то трогательная беззащитность. Просто язык не поворачивался.

Ганна села на краешек стула и принялась за работу. Подшивала она неторопливо, аккуратно, старалась, чтобы выступающая часть подворотничка на всем протяжении тянулась ровной тонкой полоской. От большого усердия у нее на лбу выступили капельки пота.

— Я пошел снимать пробу,— сказал я.— Если кто придет, пусть подождет. Я быстро.

— Идись, пане ликар. Я зкажу...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Батальонная кухня находилась в конце нашей улицы у костела. Я шел по подсохшей полоске земли у самой изгороди. Чтобы не поскользнуться, перехватывал руками кольца.

— Товарищ лейтенант!— услышал я позади знакомый голос. Зинченко?

Я подождал его.

— Чулы, солдата того, що пропав... ну, Тихов... знайшли,— сообщил он.— На дубу бандеры повисылы...

— Как, повесили?!— сердце у меня оборвалось.

— Як вишають? За шью!

— Что же это такое, Зинченко?

— И на груди дощечку повисылы: «Так буде з усима москалями!» От паскуды!

— Где он?

— Хто?

— Тихов?

— Повезлы на вскрыття. Може, ще сам повисывся?

— А потом на себя дощечку повесил: «Так будет со всеми москалями»?

— Так-то воно так. Тилькы в такому рази без вскрыття нэ можно.

— Да и с чего бы ему вешаться? Всю войну прошел, скоро домой возвращаться.

— Всяко бувае. Одному в минулому роци земляки написалы, що жинка скурвилась. Так вин сэбэ из автомата. И запыску zostавыв: «Видпешить ий, курви, що ваш законный муж Иван Курков (його Иваном Курковым звалы) не захотив бильше за неи, таку блядь, з нимцем вокуваты».

— Ну, это псих какой-то. По письму видно.

— Цэ точно. За што с нимцями воюемо, и диты знають. Ничью разбуды — скажуть. У цього Курка, мабуць, мозга за мозгу зайшла. Або любыв ии, стэрву, так — аж с розуму звыхнувся?

— Ну, это совсем разные случаи...

— Случаи ризни, да кинець один, — глубокомысленно заключил Зинченко.

Походная кухня обосновалась во дворе большой крестьянской усадьбы — еще недавно здесь жил немецкий бургомистр из местных. Он исчез вместе со своей семьей перед приходом наших войск. Для присмотра за домом осталась какая-то дальняя родственница хозяина — тихая горбунья с печальными глазами приживалки. Было ей лет сорок, и она, к моему удивлению, пользовалась немалым успехом у солдат. Особенно у пожилых, которые, оправдываясь, посмеивались: «Та што с того, што горб. Вона ж не верблюд. Лисницы не треба...»

Незаметно горбунья стала своей в доску. Помогала на кухне, на свой страх и риск приобщала к однообразным казенным продуктам хозяйские припасы, все чаще баловала личный состав деревенскими разносолами. А вечерами вплетала свой теплый звонкий голосок в дружное солдатское пение...

Она первая и заметила мое появление. Я еще не дошел до кухни, а повара уже были предупреждены и приготовились меня встретить. Я был для них высшее медицинское начальство, от вкусов, добросовестности и настроения которого зависела оценка их кулинарных усилий. В мгновение ока с обоих столов, стоявших в саду под брезентовым навесом, убрали лишнюю посуду, прошлись мокрой тряпкой по столешнице и лавкам, поставили миску с ровно и толсто нарезанным хлебом, положили полнокомплектный столовый прибор, хотя я вполне мог обойтись одной своей ложкой, которую всегда носил с собой в полевой сумке, и развернули на нужной странице толстую амбарную книгу, где я и мои верные помощники санинструкторы расписывались, разрешая раздачу пищи. К тому времени, когда я усаживался за стол, передо мной уже стояла полная миска головокружительно-аппетитных, духовитых, жирных и густых щей. Отборные куски мяса волновали своей величиной и обилием. Впереди меня ожидал такой же божественный, довоенно-ресторанный гуляш из настоящей баранины. Но как я ни истекал слюной от всех

этих кулинарных красот, я приказал поварам вылить миску обратно в котел и дать мне другую — как всем, из середины. Мое приказание было тут же выполнено. Однако я бы не сказал, что остался сильно внакладе. По-прежнему то там, то здесь, как айсберги, выглядели куски мяса, островками золотился жир, ложка зацепляла одну гущу.

Словом, повара из кожи лезли, чтобы меня задобрить, быть со мной в хороших отношениях. В то же время я не раз проверял и убеждался, что недовольных харчами в батальоне сейчас не было, кормили всех досыта. Правда, в солдатских котлах и мяса попадалось меньше, и жира плавало не в таком количестве. Но при всем этом каши и супы были густые. Ложка, когда погружалась в них, не клонилась, не падала, а стояла, как часовой на посту.

Ко мне за стол подсел капитан Бахарев. В предвкушении сытного и вкусного обеда он потирал руки.

— Ну как, доктор?— спросил он меня.

— Ничего, на уровне,— ответил я, дуя на ложку с обжигающим варевом.

— Хорошо стали готовить батьки,— похвалил кашеваров замполит.

— Понимают, что лучше быть хорошим поваром, чем плохим автоматчиком,— желчно заметил я.

Бахарев улыбнулся. Кто-кто, а он знал, как не просто было наладить нормальное питание в батальоне. Двоих поваров, по моему настоянию, за мухлеж с продуктами прямо с облучка походной кухни отправили в автоматчики. До сих пор на меня точил зуб начальник продснабжения. За допущенную халатность ему вкатили десять суток домашнего ареста. В этой крутой, открытой схватке, сопровождавшейся доносом на меня с обвинением в аморальном поведении (узнали каким-то образом, что я встречаюсь с Таней), комбат и замполит решительно поддержали медицину. Вот тогда-то я и соврал, сказал, что с Таней мы только друзья, еще до войны встречались. К тому же, в батальоне я воевал уже полтора года, несколько раз был награжден, дважды ранен, и снабженцу, всего четыре месяца назад переведенному сюда из армейских складов, тягаться со мной было нелегко.

Я приступил ко второму, когда капитану Бахареву подали щи.

— Да, это не черные сухари на Ленинградском фронте,— вдыхая густой и дразнящий запах еды, произнес замполит,— не супчик, где крупинка за крупинкой гонится с дубинкой...

— Еще бы с месяцок так пожить,— вздохнул я.— Тихо-то как?

— Увы, желанная идиллия подошла к концу,— сказал капитан.— Слышали?

— Да.

— Уже есть приказ командующего, запрещающий передвигаться в одиночку. Только вооруженными группами.

Ложка в моей руке дрогнула. До последнего разговора с Зинченко я еще витал в облаках, как-то не связывал ожидаемый приезд Тани с теми опасностями, которые, возможно, подстерегали ее в пути. Но все равно острой тревоги не было. Она охватила меня только сейчас, после сообщения капитана Бахарева. Я представил себе все и ужаснулся. С Танюшки вполне станет поехать одной. А то и, не дождавшись попутки, пойти пешком или того хуже — сокращая расстояние до нашего села, потащиться лесом, как в добрые старые времена...

Но может быть, их тоже предупредили? Армейские тылы, расположенные неподалеку от штаба, никогда не страдали от недостатка информации. Особенно госпитали...

Но надо знать Таню. Вот уж для кого закон не писан!

Я в сердцах брякнул ложку о тарелку:

— Взять бы да прочесать весь лес!

— Были и такие предложения,— спокойно сказал капитан Бахарев.— Но прочесать всю эту глухомань... сотни километров... практически невозможно. Да и бандитам здесь известен каждый кустик...

— Товарищ гвардии капитан, ну чего им от нас надо?

— Кулацкие прихвостни, прикрывающиеся хлесткими националистическими лозунгами.

— Но население ведь их не поддерживает? Большинство, я имею в виду?

— Конечно, нет. Но многие запуганы, вынуждены скрывать свои симпатии к нам.

— А вот она не скрывает,— кивнул я головой на горбунью, шинковавшую на доске капусту.

Замполит склонился к моему уху и шепнул:

— По большому секрету. Она и нашим партизанам помогала, под носом у бургомистра.

— А куда они подевались?

— Кто?

— Наши партизаны?

— Призваны в армию.

— Ну и зря,— сказал я.— Надо было их всех в лесу оставить. Пусть бы там порядок наводили.

— Не думаю, что ради нескольких сотен бандеровцев следовало держать целую партизанскую армию. Справятся как-нибудь с ними и без нее.

— Каким образом?

— Но это уже не наша забота. Ими займутся специальные части государственной безопасности.

— Давно пора!— воскликнул я, думая о Тане.

— Но бандиты начали действовать сравнительно недавно. А до этого они были тише воды, ниже травы.

— Я считаю, нам надо тоже что-то делать, а не ждать, когда придет дядя!

— А мы и не ждем,— ответил замполит.— Со вчерашнего дня усилены посты, организовано патрулирование, предупрежден весь личный состав... Правда, есть одна сложность: переодеваются, мерзавцы, в нашу форму. Не всегда узнаешь...

— Вот черт!

— Что случилось?

— Сегодня утром, когда возил раненого в медсанбат, мы в лесу догнали троих. Все трое в нашей форме. У каждого ордена. Меня еще удивило, что не попросили подвезти, хотя дорога, сами знаете, какая... По идее, когда мы возвращались, должны были встретиться на обратном пути, но они как сквозь землю провалились. Наверно, в лесу скрылись...

— Возможно, и бандеровцы...

— Но нас они почему-то не тронули...

— Всякие могли быть соображения... Дорога оживленная...

— Нет, мы одни были...

— Тогда другое задание.

— Но попадись им кто-нибудь без оружия или с пистолетиком одним...

Я поймал на себе внимательный взгляд замполита. Неужели он все-таки знает, что я жду Таню?.. А! Такая у него должность, чтобы все знать!

Я положил перед собой амбарную книгу и, думая все о том же, об опасностях, подстерегающих Таню, сделал запись о снятии пробы.

— Все,— сказал я подошедшему повару,— приступайте к раздаче!— и вышел из-за стола.

Капитан Бахарев что-то сказал мне вслед, но я не расслышал и не стал переспрашивать. Я лихорадочно ломал голову над тем, как предупредить Таню, чтобы она не вздумала добираться одна. Можно, конечно, послать новую записку. Но пока я найду с кем послать, пока письмо будет в пути, они могут разминуться. А что, если снова отлучиться на часок в медсанбат и оттуда позвонить в госпиталь? (От нас звонить куда-либо без личного разрешения комбата строжайше запрещалось.) Во всяком случае, попытаться дозвониться? Сказать, что, если не найдет вооруженных попутчиков, пусть вообще не едет. Приеду я. Сразу же после осмотра. Уговорю комбата и замполита отпустить меня на пару суток. В конце концов, я уже много месяцев не бывал в увольнении. А подменить меня попрошу кого-нибудь из фельдшеров медсанбата. Если, конечно, не заартачится начсанкор: нет ничего хуже медиков, подражающих строевым командирам!

— Чего вздыхаешь?— весело спросил меня еще за несколько шагов Славка Нилин, который, держась за изгородь, пробирался к кухне. Чтобы услышать мой вздох с такого расстояния, надо было обладать фантастическим слухом.— Радоваться надо!

— Чему?

— Твоя свет-Татьяна приехала! В санчасти сидит, ждет тебя — не дождется!

— Врешь!— отозвался я дрожащим голосом.

— Ну, иди, иди, проверь!

Перехватывая руками изгородь, я рванулся вперед. Даже не помню, как мы разминулись со Славкой.

— Ни пуха ни пера!— догнал меня подначивающий голос Нилина.

— К черту!— ответил я, не оборачиваясь...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Весь этот короткий путь от кухни до санчасти я летел, не чувствуя под собой ног. Чтобы удостовериться, не разыграл ли меня в очередной раз Славка, я при-

льнул к первому от угла окна и увидел Таню. Она стояла спиной ко мне. При виде ее тонкой, стройной фигурки в военной форме, перетянутой в узкой талии офицерским ремнем, меня обдало знакомым жаром.

Я легонько постучал в окно и, не дожидаясь, когда моя дорогая гостья обернется, бросился к крыльцу. Разом перемахнул через все ступеньки, толкнул первую дверь, вторую и сжал Таню в объятиях.

— Задушишь!— смеясь, взмолилась она.

— Как я рад, как я рад, ты не представляешь,— приговаривал я, осыпая поцелуями родное лицо.

— Хватит, хватит,— твердила она, но я никак не мог оторваться от дарованного мне чуда. Это было все мое — и щеки, и глаза, и лоб, и подбородок, и волосы, и кончик носа с едва заметной расщелинкой. Она принесла с собой с дороги и сейчас источала чистые дурманящие запахи встречного ветра, доброго украинского солнца, душистых полевых трав. Я задышался от радости. И все же я не мог не заметить, что открытое улыбающееся лицо Тани встречало мои поцелуи с чуть замедленной, запоздалой реакцией.

Удивленный, я даже спросил:

— Что с тобой?

— Ничего, все в порядке,— заверила она.

— Ну, рассказывай!— перевел я дыхание.

— Что?

— Почему не отвечала? Что случилось? Если бы ты знала, чего я только не передумал! Неужели так трудно было написать? Хотя бы несколько строк?

— Я же написала...

— Когда? Два дня назад? А до этого, до этого почему молчала?.. Послушай, ты получала мои записки?

— Получала.

— А почему не отвечала?— допытывался я.

— Я скажу тебе, только потом... Дай лучше закурить!

— Сейчас. У меня где-то были припрятаны две «казбечины». Я их стрельнул у нашего «смерша». На случай твоего приезда.

Я полез в тумбочку и в уголке на верхней полке среди пузырьков нашупал две папиросы.

— Вот... А эту оставлю тебе на потом.

— Давно не курила папиросы,— сказала Таня, прикурив от бумажной спички, сгоревшей до конца

в считанные мгновения.— Ты тоже кури!.. Не мелочи-
тесть, товарищ Литвин!

Мне не нравилось, когда, иронизируя, она называла меня по фамилии. Я тут же начинал ломать голову, что за этим скрывается. То ли недовольство мною, то ли еще что-то? Я всегда настораживался. Насторожился и сейчас.

Допытываться же дальше, почему она не отвечала на мои записки, я не стал. Придет время — скажет сама. Если захочет, конечно...

Главным было то, что она приехала. И что все мои опасения и страхи остались позади. Правда, не надолго — до ее отъезда. Но там я уже что-нибудь придумаю. Во всяком случае, одну не отпущу.

— Точка,— сказал я.— Больше ни одного упрека за то, что не писала, ты от меня не услышишь. Бомбежка, переезды, работа за троих? Так?..

Таня взглянула на меня и улыбнулась: на ее левой щеке знакомо заиграла не то ямочка, не то складка. Ах, как хорошо она улыбалась! Чего стоили одни ее зубы — белые-белые. Так и напрашивались сравнения: как снег, как сахар, как фарфор. Но они были прелестны и без сравнений. Забавно. Два передних нижних зуба у нее слегка заходили один за другой. Они теснили друг друга и выросли криво. Но эта бросающаяся каждому в глаза неровность не портила улыбку. Наоборот, придавала ей особое очарование. И я, чудак, почти каждую встречу говорил Тане об этом. Правда, на этот раз промолчал. Но любоваться продолжал...

Таня придвинула ко мне стеклянную банку, в которую мы, сидя напротив друг друга, стряхивали пепел.

— Лучше расскажи, как добиралась... Я здорово перенервничал. На днях бандеровцы повесили одного нашего солдата. Всю войну прошел — и такой конец.

— Да, я слышала об этом. Но я, как видишь, дошла благополучно!

— Дошла пешком?— ужаснулся я.— Одна?

— Одна. А что? За всю дорогу я не встретила ни одной живой души. Если не считать двух зайчишек...

Я тут же рассказал ей о своей встрече с подозрительными солдатами, которые, судя по их странному поведению, были переодетыми бандеровцами.

— А тебе не кажется, что у страха глаза велики?— спросила она, погасив папиросу.— Я имею в виду не тебя, а вообще...— поправилась она, увидев, как изме-

нилось у меня лицо. Я и в самом деле принял ее слова на свой счет.

— К твоему сведению,— заявил я,— вначале у меня и в мыслях не было, что это бандеровцы. Я понял, что дело тут нечисто, только после разговора с замполитом. А тогда никакого страха не испытывал...

— Я же сказала, что имею в виду не тебя, дружочек, а всех нас,— повторила она.— Нет, правда, я прошла от Уланок до Моричева пешком, и вот...— развела она руками.

— Если бы я знал!— вырвалось у меня.

Взгляд Тани потеплел.

Я взял ее руку и прижался к ней щекой. Потом опустил голову Тане на колени.

— Осторожно, юбку прожжешь,— со смешком сказала она.

Я отвел руку с дымящей папиросой в сторону, но голову не убрал.

Она легонько поиграла моей шевелюрой. Я стал целовать ее колени.

— Хватит, хватит,— говорила она, прикрывая ноги руками.

Я сразу обессилел.

— Ну что ты со мной делаешь?— пожаловался я.

— Я ведь тоже не каменная, дурачок,— ответила она.

— Кому ты это говоришь?

— Тебе. А может быть, и себе,— несколько загадочно досказала она.

— Все, берем себя в руки,— сказал я, отодвигаясь.— На улице день, будь он неладен, солнце, тьма народу. И каждую минуту могут войти... Есть хочешь?

— Хочу,— просто ответила она.— Честное слово, хочу!

— Я быстро!— я рванулся к выходу.

— Только что-нибудь одно, первое или второе!

— На первое у нас щи, на второе гуляш,— сообщил я, задержавшись у двери.

— Гуляш,— выбрала она и, смеясь, добавила:— И щи тоже...

— Да, чем бы тебя занять?— вдруг спохватился я.

— У тебя нечего почитать?

— Откуда?.. Хотя у хозяев я видел какие-то книги. Даже, кажется, на русском языке... Сейчас попрошу,—

я двинулся на хозяйскую половину.— Кстати, идем, я заодно познакомлю тебя с ними.

Таня удивленно посмотрела на меня. Я терпеливо ждал.

— Забавно,— пожалала она плечами, отвечая на какие-то свои мысли.— Ладно, пошли!

Я громко постучал в дверь и, не дожидаясь ответа, по-свойски приоткрыл ее:

— Можно?

В комнате были хозяйка и Ганна. Ползая по полу, они что-то кроили из грязно-зеленой немецкой шинели.

Увидев меня, а за моей спиной Таню, обе сразу вскочили.

— Заходите, пане ликар!— пригласила хозяйка.

Ганна, мгновенно зардевшись, бросилась поднимать нарезанные лоскуты.

— Познакомьтесь,— сказал я, взяв Таню под руку.— Это моя жена.

Таня снова удивленно взглянула на меня, но ничего не сказала. Впрочем, я не заметил на ее лице ни одобрения, ни осуждения. Только удивление. И то на одно мгновение. Честно говоря, я ожидал более определенной реакции. Ведь я никогда еще не называл ее своей женой. Будь на то моя воля, я бы узаконил наши отношения в первый же день. Но однажды, когда я осторожно намекнул Тане на это, она посмотрела на меня как на ненормального: фронтная жизнь давно отучила ее, а теперь и меня строить планы на будущее.

И все же какое-то странное было это удивление, не согретое обычным теплом...

Между тем хозяйка суетилась, придвигала к нам стулья, приглашая сесть, что-то попутно прибирала, одергивала, оглаживала, поднимала.

Как всегда, мне было не до Ганны, и я не заметил, когда она исчезла. Только-только была здесь, и вдруг не стало.

Я подошел к высокому комоду, уставленному всевозможными безделушками. Была среди них и нарядная фарфоровая куколка, глядевшая на нас своими пустыми голубыми глазами. Тут же, только на самом краю, возвышалась небольшая стопка книг.

— Можно посмотреть?— спросил я.

— Та глядзь, — разрэшыла хазяйка. — Будзьце ласковы, пане ликар і пани ликарка!

Но і на «пани ликарка» Таня среагавала до обідняго кароткай уклончывой улыбкай.

Я браў кнігу за кнігой і, хутка глянуў на названне, перадаваў Тане. Іх было ўсёго пяць. Довольна потрэпаньні «Кобзарь». (Ну здысь Шэвчэнка, по-віднаму, чытаюць і стар, і малад) ... «Жыцьця святых», ізданыя во Львове яшчэ да яго першаго асьвободжэньня. (Ого, святая Магдаліна! Нада бы пачытаць!) ... Пушкін у акадэмічным ізданьні, том першы. (Любытн, якімі судзьбама яго занясло ў далёкае заападнаукраінае сёла?) Шэллер-Міхайлаў «Лес рубяць — шэпкі лятаюць». (А яна як палала сюда?) І наконца нешто, прамы сказаць, жалкае і абшчыпаннае, без пачала і канца, аб Іване Грозным. (Ну, гэту калі хто і зачытаў да дыр, толькі не мае хазяева. Чы ім рускія цары?) ...

— Я возьму іх, полістаю. Можна? — спрасыла Таня хазяйку.

— Та взымаць на здаравячка!.. У нас була яшчэ адна... Ганна! — пазвала та.

Ганна не адзывалася. У абедзьх паловінах хаты стаяла мёртвая тышына, нарушаемая лшы жужжаньнем залетэвшага ў адкрытае акно шмеля.

— Ганка! — ужэ сардыта павтарыла хазяйка.

Но і на гэты раз адветам было упрямое малчаньне.

— От холэра ясна! — выругалася хазяйка і гэтым абранічалася.

— Мне хватыт. Спасыбо, — сказала Таня.

— Ты пака лістаеш, я слетаю на кухню. Но не ачынь углубляйся, — шутлыва прадупрэдыл я яе, прыпуская на нашу паловіну. — Пывышаць свый абычэаааватэльны ўрэвнь будэм ў друаое врэмя!

Я знаў, чы гаворыў: за чытэньнем яна магла забыць або ўсем на свете.

— Друаое врэмя, дружочек, гэты — сэйчас, — улыбунавшысь, адветыла Таня. Інтэнацыя была ласкава-пучаючая. Таня і раньшэ пазвалыла сэбе разгаварываць са мной как старшая с маладым, і я, ў абычэааа-то, прывык к гэтому. В канечным счыте, яна была умнэе, абрааваннэе і старшэ мяня. І ўсе окупалось нашэй лубовью, нашым абычым знаменатэлем.

— Тогда шпарь! — вэсело заявыў я і шагнуў к дверы. — Вэрнусь, прывэрю, скоько прочла.

— Хорошо, дружок, — сказала она, располагаясь с книгами на кровати — самом удобном и уютном месте в комнате.

— Я сейчас! — бросил я и выскочил из хаты...

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Я был уже на полпути к кухне, как по селу в разные концы побежали посыльные. Они метались от одного дома к другому, с той стороны улицы на эту и обратно, прямо по лужам и грязи, унося на своих сапогах пуды чернозема.

— Все — на построение! — долетело до меня.

— По какому поводу? — остановил я пробежавшего мимо солдата.

— Командующий приехал!

Я рванулся было к штабу, куда поротно и повзводно направлялись бойцы, но, решив, что лучше опоздать на построение, чем оставить Таню голодной, помчался на кухню. На мое счастье, не пробежав и сотни метров, я нос к носу столкнулся с Чижиком, батальонным сапожником, который по состоянию здоровья (куриная слепота плюс плоскостопие плюс пошив всему офицерскому составу брезентовых сапог к лету) был освобожден от всех боевых и учебных тревог. Он брел неторопливой, перевалистой походкой и смотрел на общую суматоху спокойным, невозмутимым взглядом человека, занятого единственно настоящим делом.

— Кузьма Иванович, — все в батальоне, в том числе и я, называли Чижика по имени-отчеству. — У меня к вам огромная просьба. Я бегу на построение, а в санчасти меня дожидается товарищ из армейского госпиталя. Его надо накормить. Попросите у повара от моего имени одну порцию щей и одну порцию гуляша и отнесите ему...

— Котелок есть?

— Не помню, куда-то сунул его. Возьмите у кого-нибудь или свой одолжите!

— Ладно, беги!

— И хлеба не забудьте взять!

— Возьму. Все сделаю...

Оставив Кузьму Ивановича у изгороди, я побежал к штабу. Вскоре я догнал строй, сбоку которого шагала Славка, замещавший командира танковой роты Доб-

рохотова. Сапоги у всех, включая самого Нилина, были заляпаны грязью. Явиться в таком виде перед командующим было немалым риском. В лучшем случае генерал мог погнать всех привести себя в надлежащий вид. Но не дай бог, если он усмотрит в этом падение дисциплины. В одном из батальонов, рассказывали, он снял комбата и замполита только за то, что они не оказались на месте — вечером, никого не предупредив, пошли искупаться в озере.

Так что от него можно было ожидать всего. Хотя, как человек умный и справедливый, он должен понимать, что шагать по такой грязище и не замараться так же невозможно, как приехать, не выезжая...

Мы шагали со Славкой рядом. Он был мне по плечо и на первый взгляд казался тщедушным. Но я знал, что это впечатление обманчивое. Когда он раздевался до пояса и просил кого-нибудь из бойцов полить на спину воду, у него играл каждый мускул. Он был на редкость хорошо сложен. Я бы многое дал, чтобы иметь такие же широкие плечи и такую же узкую талию. Ему ничего не стоило одним рывком положить меня на лопатки. Поэтому, однажды померившись с ним силами, я уже больше не рисковал.

Однако, глядя на нас, никому даже в голову не приходило, что он намного сильнее меня физически. И это всеобщее заблуждение устраивало мое самолюбие...

— Гуськов, запевай!— крикнул Нилин.

Один из бойцов взметнул над строем свой высокий и звонкий голос:

Броня крепка, и танки наши быстры,
И наши люди мужества полны,
Громят врагов советские танкисты,
Своей великой родины сыны...

Остальные подхватили:

Гремя огнем, сверкая блеском стали,
Идут машины в яростный поход.
Нас в грозный бой послал товарищ Сталин,
Любимый маршал смело в бой ведет...

— Ну как?— спросил меня Славка.

— Порядок!

— Почему не отвечала?

— Одна за троих работала.

— А!.. Надолго приехала?

— Дня на два. Я еще не спрашивал, но думаю, что дня на два.

— Я забегу вечером. Почитаю вам кое-что новенькое.

— Славка, не надо,— взмолился я.— Дай нам побыть одним.

— И зря... Поэзия облагораживает... Правда, не всех...

Нас в грозный бой послал товарищ Сталин,
Любимый маршал смело в бой ведет...

— Если хочешь, приходи завтра,— пожалел я друга.— Только...

— Что только?

— Сперва пройди несколько раз мимо окон. Я дам тебе знать, если можно войти...

— Пошел ты к черту!— свирепо ответил Славка.— Рота, стой! Направо!

Теперь Славке было уже не до меня.

На низеньком крыльце штабной хаты стояли комбат Батьков, замполит Бахарев и адъютант старший батальона Мазурков. Командующего со свитой еще не было. Если он и впрямь должен нагрянуть, то ждать осталось недолго.

Доложив о прибытии роты, Славка, по приказанию комбата, распустил на пять минут людей — чтобы привели себя в порядок. Все — кто предусмотрительно припасенными тряпочками, кто сухой травой, кто щепочками, а кто финками — в темпе принялись счищать с сапог грязь. Не было ни одного, у кого бы не замызгались полы шинели. Но с этим решили погодить — пока не подсохнет. Чтобы ускорить подсыхание, смешно, по-петушиному, трясли полами...

Другие подходившие роты и взводы также получали несколько минут на то, чтобы привести себя в божеский вид.

Вскоре весь батальон, собравшись на большой сельской площади перед штабом, отплясывал нечто среднее между «барыней» и чечеткой.

А потом последовала команда: «Батальон, становись!»— и вся эта «танцующая» и галдящая толпа в одно мгновение разбежалась по своим взводам и ротам.

— Батальон, равняйся!.. Смирно!.. Равнение на середину!— капитан Мазурков доложил комбату, что батальон построен.

Похоже, командующий должен был появиться с минуты на минуту: все трое — Батьков, Бахарев и Мазурков, а вслед за ними и ротные — беспокойно поглядывали на дорогу, ведущую к селу с запада.

Я думал, что комбат все-таки спустится с крыльца, обойдет перед смотром строй, проверит напоследок, все ли в порядке. Но он лишь сошел на нижнюю ступеньку. Видимо, не хотел раньше времени марать свои надранные до зеркального блеска хромовые сапоги.

Впрочем, как и все разведчики, Батьков не очень трепетал перед высоким начальством. Награжденный шестью орденами, трижды раненный и дважды контуженный, он знал себе цену и понимал, что судить о нем и его батальоне командующий будет прежде всего по основательности и серьезности, с которыми они готовятся к предстоящей операции. Конечно, прекрасно, когда все до единого разведчики подтянуты и аккуратны, когда они дружно «едят глазами» начальство и еще дружнее отвечают на приветствие, когда, проходя мимо проверяющих, никто не собьется с ноги и не слѐмает строя. Возможно, и нашелся бы генерал, которому этого было бы достаточно. Но мы сомневались, чтобы наш командующий предпринял поездку к нам только ради того, чтобы поглазеть, как мы шлепаем по грязи и держим руки по швам. На все это он немало нагляделся до войны. Теперь ему стоило взглянуть на лица солдат в строю, чтобы решить для себя, можно ли довериться сведениям о части, которые доходили до него по разным каналам, или нужно самолично их проверить. Но, соблюдая верность традициям, он, как рассказывали, иногда набирался терпения и провожал застывшим усталым взглядом дефилирующие мимо подразделения. Тем же офицерам, которые особенно нажимали на строевую подготовку, он насмешливо напоминал: «Вижу, вижу, хорошо отрепетировали... Балет...»

Мы гордились своим командующим и к его редким посещениям относились как к своего рода поощрению. Были части, куда он и вовсе не наведывался. Я встречал бойцов, которые ни разу не видели его. Знали лишь по фамилии. И чему тут удивляться? В нашу гвардейскую танковую армию входили два танковых и один механизированный корпус, множество различных

частей и подразделений, как основных, так и приданных. Даже при всем желании он побывать всюду не мог. Да и, похоже, не стремился к этому. А вот наш отдельный разведывательный мотоциклетный батальон он посещал почти каждую вторую операцию.

Но это так — к слову. Если говорить начистоту, в эти долгие томительные минуты ожидания меня больше занимала Таня, покинутая мною на чужих людей, чем наш командующий со всеми достоинствами и недостатками...

— Едут!— вдруг оповестил всех чей-то нервный голос.

И действительно, с главного шляха свернул и двинулся в сторону села кортеж машин. Впереди шел бронетранспортер с охраной. Следом ползли по грязи два черных трофейных лимузина. Замыкал крохотную колонну «додж три четверти» с автоматчиками.

А ведь совсем недавно командующий ездил на обыкновенном «виллисе» в сопровождении всего двух-трех автоматчиков, в непринужденной позе восседавших в кузове второго «козлика». Теперь же, если потребуется, охрана может выдержать и бой с небольшим отрядом противника. Да, кончилась вольготная жизнь в прифронтовой полосе...

— Отставить разговоры!— взлетел порывистый голос комбата.— Батальон, слушай мою команду!.. Смирно!.. Равнение на середину!

И ведь рассчитал точно, до секунд. Пока он, легонько прихрамывая, колошматил грязь своими шикарными сапогами, подъехал кортеж, и из лимузина вышел, поддерживаемый адъютантом, командующий — плотный, приземистый человек с палочкой. Из другой машины вылезли командир корпуса и еще два генерала и полковник — начальник корпусной разведки.

Командующий не успел поправить фуражку, съехавшую чуть набок, и она придавала старому генералу не по возрасту ухарский, молодецкий вид.

— Товарищ генерал,— далеко разносившимся по площади глуховатым голосом стал докладывать комбат,— по вашему приказанию отдельный гвардейский мотоциклетный батальон построен. Командир батальона гвардии капитан Батьков!

— Здравствуйте, товарищи гвардейцы!— пророко-

тал командующий. У него, как и у многих людей маленького роста, был густой красивый бас.

— Здравия желаем, товарищ генерал!— разом выдохнули мы приветствие.

— Вольно!

— Вольно!— повторил комбат.

— Ну и развели же вы, братцы, грязь,— под осторожные смешки разведчиков произнес командующий.

— Так это не мы развели!— крикнул кто-то из задних рядов.— Она нам от фрицев по наследству досталась!

— Кто это там за смельчак?

— Гвардии сержант Яшин, товарищ генерал!— сказал комбат.

— Ну, Яшину можно,— заметил, вызывая общее оживление, командарм.— Он в прошлую операцию двух «языков» взял.

— Трех, товарищ командующий,— поправил комбат.

— Трех? Тем более... Да и у меня перед ним должок.

— Какой, товарищ генерал?— осмелел еще кто-то из разведчиков.

— Это наша с ним тайна,— ответил генерал.

И тут я догадался, что имел в виду командующий. Яшин был в числе первых разведчиков, форсировавших Днепр. По существовавшему тогда положению, всем, кто первым ступил на правый берег, присваивали звание Героя Советского Союза. Яшина же почему-то обошли. Поговаривали, что его лодку течением отнесло на несколько километров и он форсировал Днепр в районе, где действовала соседняя общевойсковая армия. Всю ночь разведчик дрался рядом с чужими бойцами и выполнял приказания чужих командиров. А на следующий день, когда он с трудом добрался до своих, на правом берегу уже был весь батальон. Потом Яшина ранило, и он полгода провалялся в госпитале. Так он и не стал Героем Советского Союза, хотя комбат каждый новый наградной лист на него начинал с его подвига на Днепре. Для окончательного решения нужны были свидетели, а они воевали уже на другом фронте. Заявив громогласно о своем должке перед Яшиным, командующий, очевидно, уже сделал для присвоения тому звания Героя немало...

Опираясь на палочку, генерал-полковник сказал:

— Через двадцать пять минут я должен быть у ваших соседей и потому буду краток. Что ж, поработали мы неплохо. Еще одно усилие, и мы полностью очистим нашу священную землю от фашистской погани, начнем освобождать наших польских братьев. По моим прикидкам, не пройдет и нескольких месяцев, как мы вступим на территорию гитлеровской Германии и будем добивать зверя в его же берлоге. Я надеюсь, что к началу весны будущего года мы кончим войну и вернемся к своим семьям... Так вот я прошу вас постараться... Надо кончать войну, сынки... Желая успеха,— добавил он и, козырнув, бросил своей свите:— Поехали!

И, не глядя ни на кого, направился к лимузину.

И все? А может быть, и не требовалось больше слов? Как просто и человечно закончил он свое выступление. Разговаривал с нами, как мудрый и любящий отец. По взволнованным серьезным лицам бойцов я видел, что и на них это произвело сильное впечатление.

Адъютант подсадил командующего в машину, и кортеж повернул назад к главному шляху. В голове колонны, как и раньше, шел бронетранспортер с расчехленными пулеметами.

— Ну что, притомились стоять?— спросил разведчиков комбат.

— Притомились,— сразу ответили несколько голосов.

— Был бы здесь лужок, полянка, усадил бы всех на зеленую травку... А теперь послушаем доклад нашего замполита гвардии капитана Бахарева. Тема доклада: «Идейно-воспитательная работа среди местного населения»...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Целый час с четвертью продолжался доклад. От долгого и неудобного стояния в грязи у нас затекли ноги и притупилось внимание. Капитан Бахарев читал по написанному, и от его ровного, убаюкивающего голоса кое-кого начало клонить ко сну. Я же истомился от ожидания: скорее бы кончил, и я побежал бы к Тане!.. С самого начала доклада я с тоской поглядывал на стопку исписанных листков: уж очень медленно она таяла в руках замполита. Против самого доклада я ниче-

го не имел. Все в нем было правильно, и я, не задумываясь, подписался бы под каждым его словом. Вот только примеров, на мой взгляд, было маловато. Но смысл сказанного мы усекли сразу: охватить все население, особенно его неустойчивые элементы, идейно-политическим воспитанием. Не травить баланду в свободное от занятий время, а провести беседу, рассказать, как живут и трудятся советские люди, какая прекрасная жизнь наступит после войны. Неплохо бы и поколоть дров, сходить по воду, починить забор, поработать в саду или огороде, чтобы видели, что мы не бездельники какие, а трудовые люди, рабоче-крестьянская армия, защита и опора трудящихся всего мира.

Когда Бахарев кончил и спросил, есть ли вопросы, подал голос стоявший в первой шеренге Зинченко:

— Товарищ гвардии капитан! А шо робыты, якшо хозяин в лис крадучи ходыть?

— Обязан сигнализировать... Вот товарищ Ершов,— показал он на Колю Ершова, нашего смершевца,— уполномоченный «Смерша»... Ему и сигнализируйте!

— Зрозумив.

— Еще раз призываю вас к бдительности. Мы ждем, чтобы каждый солдат и офицер стал проводником всепобеждающих идей коммунизма... Есть еще вопросы?

— Нет,— послышалось из строя.

— У меня все,— обратился к комбату замполит.

— Командиры рот и взводов, ведите людей на занятия!— приказал тот.

— Первая мотоциклетная рота! Смирно! Направо! Шагом марш!

— ...смирно! Направо! Шагом марш!

— ...смирно! Направо! Шагом марш!

Славка хотел что-то меня спросить, но я махнул рукой и побежал в санчасть. Что мне были какие-то лужи, грязь, ухабы? Уже у самой хаты я вдруг поскользнулся и только чудом удержал равновесие. Я облегченно вздохнул. Мне нисколько не улыбалось предстать перед Таней заляпаным с ног до головы грязью. Я любил, когда она заливалась смехом, но совсем не по моему поводу.

Я вбежал в дом: Тани в санчасти не было. По всей кровати были разбросаны хозяйские книги. Истори-

ческое исследование об Иване Грозном было раскрыто на взятии Казани...

— Таня!— позвал я, думая, что она на хозяйской половине.

Никто не ответил. Я заглянул туда. Хозяйка обернулась и, широко улыбаясь, сообщила:

— Ой, ваша жинка пишла грядки полоты.— И добавила:— Тай файна жиночка!

Пошла полоть огород? Что это ее вдруг потянуло на крестьянский труд? Забавно. Может быть, им в госпитале тоже подсказали, что надо находить общий язык с местным населением? И тут я вспомнил, что до шестнадцати лет она жила в деревне с бабушкой и научилась там многим полезным вещам...

Я спустился во двор и, пройдя узкой скользкой тропкой между двумя добротными сараями, вышел к огороду. И увидел Таню, которая внаклонку выдерживала из грядки сорняки. Она была без пилотки, и волосы то и дело падали ей на глаза.

Заметив меня, Таня привычно улыбнулась и попросила:

— Принеси кусок марли. Завязать волосы.

— Ты пообедала?— осведомился я.

— Еще как! Щи мировецкие!

— А гуляш?

— Ну, гуляш я бы лучше сготовила.

— Когда-нибудь проверю...

— Чудак ты, Гриша,— она поправила локтем волосы.— Иди, принеси марлю!

Я направился в хату. То, что Таня не поддержала разговора о будущем, меня не удивило: она, как я уже говорил, не любила предаваться мечтам. Во всяком случае, избегала вещать о них вслух. В отличие от меня. Я же нет-нет да и позволял себе уноситься в облака. Да еще и поделиться с кем-нибудь.

Чего скрывать, я считал Таню самой большой, самой прекрасной, самой незаслуженной наградой на войне. Сколько вокруг было куда более достойных ее любви — известных командиров, писанных красавцев, отчаянных смельчаков! Любой из них был бы счастлив, если бы Таня обратила на него внимание. А она выбрала меня. Выбрала и полюбила. Честное слово, я сам не понимал, за что? Не только же за высоченный рост, в какой-то мере импонировавший Тане вкупе с моим ленинградством? И уж конечно — не за верную любовь к ней. По-

желай она, каждый бы ответил ей взаимностью. Почти год мы были вместе, и я все еще не верил: неужели она полюбила меня просто за то, что я есть я, и ни за что больше? Боже, какое счастье! Такое же редкое и бесценное, как сама жизнь среди нескончаемых фронтовых смертей...

Я резал ножницами марлю и от нетерпения портил один платок за другим. Они получались у меня лохматые и кривые — лишний повод попасть Тане на язычок. Наконец я постарался и отрезал аккуратный — сантиметр в сантиметр — квадрат.

Сложил вдвое. Примерил на себе. Посмотрел в блестящую зеркальную поверхность стерилизатора. Увидев свое отражение — носатую физиономию с густыми черными бровями, скорчил еще более страшную рожу и сплюнул. Содрал с головы косынку и пошел к Тане.

Она встретила меня насмешливым упреком:

— Товарищ Литвин, вас только за смертью посылать!

— Понимаешь, — стал я оправдываться, — у меня что-то с глазомером. Уйму марли изрезал. Вот возьми...

— Сейчас посмотрим, на что способны умелые мужские руки, — сказала Таня, складывая платок вдвое. Как она и предвидела, половины совершенно не совпадали. Таня усмешливо покосилась на меня, но ничего не сказала. Она надела косынку и заправила под нее волосы. — Ну, я пошла дальше, — и наклонилась над грядкой.

— Давай я помогу тебе, — предложил я не без тайного умысла: с одной стороны, мне хотелось быть рядом с ней, а с другой — и это главное — быстрее закончить работу.

— Помоги, — ответила она, по-видимому не догадываясь о моих задних мыслях.

Я захватил сразу несколько сорняков и... выдернул их вместе с тоненькими стебельками морковки. Сконфуженный своей неловкостью, я в темпе стал отделять морковку от пырея и снова сажать ее.

— Смотри, как я делаю, — сказала Таня.

Руки ее ловко и аккуратно выдергивали сорняки, и на том месте, где еще минуту назад был густой зеленый ковер, весело и свободно поднимались тоненькие ростки морковки.

Я смотрел, как полола Таня, и старался во всем подражать ей. И стало получаться. Уже через несколько шагов моя часть грядки мало чем отличалась от Таниной.

— Молодец!— время от времени похваливала меня Таня.

Похвалы похвалами, но вот от постоянного движения и работы внаклонку у меня вскоре заняла спина. Теперь я все чаще жалобно поглядывал на Таню: не пора ли закругляться? Вон сколько уже прошли!

Но на Таню мои жалобные взгляды не действовали. Закончив первую грядку, она принялась за вторую.

Теперь я то и дело опускался на корточки и временами даже становился на колени.

— Может, хватит, Тань?

— Не ленитесь, товарищ Литвин!— посмеиваясь, отвечала она.— Не ленитесь!

— Дойдем до конца этой грядки, и все!— твердо заявил я.

— Наконец-то я слышу голос не мальчика, а мужа,— заявила она.

— Раз так — кончай!— встал я с колен.

— Ты же сам сказал: дойдем до конца этой грядки?— в ее голосе я уловил мягкую, неуверенную нотку.

— Хватит!— решительно произнес я и перешагнул через грядку.

Таня чуть посторонилась и продолжала полоть.

— Танька, ну, хватит!— повторил я и, схватив ее за плечи, притянул к себе. Она не противилась и ответила на мой поцелуй с хорошо знакомым мне умением. Я чувствовал, что окончательно теряю голову. В эту минуту мне было плевать, видят нас или нет. И ни я, ни она не заметили, что топчем только что прополотые грядки.

— Пусти. Мы спятили совсем,— проговорила она, оставляя в моих руках косынку.

— Еще немного,— упорствовал я.

— Не надо.. до вечера...— прошептала она.

Я сразу успокоился.

— Пошли!

— Пошли!— согласилась она.

Мы двинулись след в след по узкой меже. Она вывела нас к сараям.

Там я изловчился и поцеловал Таню в затылок.

— Брысь!— отмахнулась она.

Когда мы из-за сараев вышли во двор, Таня спросила:

— У тебя есть дела?

— Нет, до ужина я свободен.

— Вот и хорошо, займемся самообразованием...

— В каком смысле?— меня еще не покинуло игривое настроение.

— В самом прямом,— ответила она.— Ты будешь читать «Жития святых», а я — историю взятия Казани. К татарской столице у меня особый интерес...

— Это с каких пор?

— С тех самых, как туда были эвакуированы мои родители. Ты забыл, я тебе говорила.

— Ты говорила, что они эвакуированы в Кострому.

— Да, а потом переехали в Казань. Я говорила, ты забыл.

— Теперь буду помнить.

— Ну, это необязательно,— небрежно бросила она.

Как всегда, никаких, даже крохотных авансов на будущее. И снова — в который раз!— промелькнула мысль: то ли она не намерена связывать в будущем свою судьбу с моей, то ли совершенно не верит, не надеется, что переживет войну... или переживем войну... врозь или по отдельности...

В душу же к себе, в ее сердцевину, она не пускала, то есть допускала, но ровно настолько, насколько считала возможным. Не скажу, что мне было легко с ней, не скажу...

Ей со мной было куда легче, так, во всяком случае, мне казалось. Я не помнил, чтобы она когда-либо жаловалась на мой характер...

— Смотри, какой красавец!— воскликнула Таня.

Дорогу к крыльцу нам преградил яркий, переливающийся всеми цветами радуги деревенский петух. Он стоял на единственной во дворе дорожке, выложенной булыжником, и не собирался сходить с нее. Он не боялся людей, потому что хуторок, откуда его на прошлой неделе привез хозяин, находился в стороне от фронтальных дорог и, видимо, никто никогда не покушался на его существование. Словом, он пребывал в счастливом и гордом неведении.

— Обойдем его,— сказала Таня.

Мы сошли с дорожки и осторожно, чтобы не вспугнуть это восхитительное двуногое чудо, сделали не-

большой крюк по грязи. Петух равнодушно посмотрел на нас и принялся искать что-то у себя под крылом.

— Угадай, что он подумал о нас?— спросила Таня.

— Что мы с тобой гнилые интеллигенты...

— Смотри, смотри... Ну, киноактер!— схватила меня за рукав Таня.

Петух встал на цыпочки, помахал крыльями и, вместо того чтобы взлететь хотя бы на полметра, двинулся по дорожке пешим ходом.

— Нет, он просто великолепен!

— Тань, да ну его к черту!

— Сейчас. Какая поступь! Какая осанка!

— Слушай, я в него сейчас чем-нибудь запущу!

— Только попробуй!.. Не смей!— ринулась она ко мне, когда я сделал вид, что собираюсь поднять палку.

Я выпрямился и обнял ее за плечи.

— Тань, ты хоть вспомнила, что послезавтра год, как мы вместе?

— Как год?— удивилась она.— А ведь и правда! Подумать только...

— Обмоем это дело?— предложил я.

— Как хочешь,— ответила она вяло.— Нет, правда, как хочешь...

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Мы были еще в сенях, как откуда-то (то ли из чулана под лестницей на чердак, то ли из-за старых бочек, поставленных одна на другую) появилась растрепанная, в пыли и паутине хозяйка.

— Пане ликар и пани ликарка,— взволнованно спросила она,— вы Ганны не бачылы?

— Нет,— ответил я.— Таня, ты не видела ее?

— Какую Ганну?.. А, девочку эту... Нет, не видела...

— Куды вона подилася?.. Ох, знайду, намну вуха!

— Но может быть, она к соседям пошла? — сказал я.

— Ни, я усих оббигала... Ну, паразитка!

— Зря вы ее ругаете... Никуда она не денется. Придет.

— Ой, пане ликар, боюсь за нэи...

— Чего бояться?— удивленно спросил я.

— Один солдат, що у Бородулей живе, усэ дывыцься на нэі, дывыцься, дывыцься...

— Ну и что? Может, она ему дочку напоминает? Или сестренку?

— Ни, вин нэ добре дывыцься...

— Ах вот... ну, как вы можете такое подумать?— возмутился я.

— Ой, боюсь!..

— Тань, подожди. Я попробую поискать ее... Все-таки какой ни есть, а разведчик... В широком смысле этого слова...

— Поищи, дружочек... А я пойду почитаю, хорошо?

— Я скоро! Надо помочь,— продолжал я,— чтобы убедилась, что никто на ее чадо не посягает!

— Сколько девочке лет?— поинтересовалась Таня.

— Четырнадцать.

— Я бы дала все шестнадцать... Ну, ладно, если быстро не найдете, позовите меня. Будем искать вместе... Ни пуха,— сказала Таня и прикрыла за собой дверь в санчасть.

— Давайте так,— обратился я к хозяйке,— вы проверьте снова в хате каждый закуток, осмотрите погреб и чердак, а я возьму на себя сарай...

— Пане ликар запачкае соби чоботы,— пожалела она мои сапоги.

— Ничего, почишу,— ответил я и напрямик направился к скотному двору.

По дороге я обернулся и увидел в окне Таню. Помахал ей рукой. Она ответила мне одобрительной улыбкой.

Поиски я начал с коровника. Осторожно обходя лепешки, которые в изобилии раскидали кругом обе Зорьки — мать и дочь, я осмотрел все уголки этого довольно просторного, рассчитанного на несколько голов крупного рогатого скота помещения.

— Ганна!— задрал голову, крикнул я в сторону сеновала.

Но по-прежнему стояла тишина, нарушаемая лишь неторопливым похрупыванием сена, неуклюжим переступанием коровьих ног и сладким причмокиванием теленка.

— Ганна!— позвал я еще раз и по приставной лесенке полез наверх.

Защекотало в носу от многолетней пыли, поднимавшейся с каждым моим движением. Я громко чихнул

и принялся за планомерные поиски. Я уже не сомневался, что Ганны на сеновале нет — будь она здесь, она бы непременно отозвалась на мой чих произвольным смешком. И все-таки, пока я не облазил вдоль и поперек весь чердак, я не терял надежды. Одновременно в душе моей нарастала злость на этого чертенка, на розыск которого я вынужден был тратить драгоценные минуты, отпущенные судьбой на свидание с Таней. И в самом деле, какого лешего я связался с этими дурацкими поисками!

Но отступать было поздно, и я, чертыхаясь, перешел по грязи из первого хлева во второй, где меня дружным визгом встретили поросята. По-видимому, они решили, что я принес им корм. Если бы не перегородка, отделявшая их от меня, я бы, наверно, вынужден был спастись бегством.

— Ганна! Слезай!— заорал я.— Хватит валять дурака!

Но девочки или здесь не было, или она решила отмолчаться: дескать, покричу, покричу и отстану. Если так, то она плохо знала меня.

По широкой лестнице я взобрался наверх, и передо мной, растерянным и обалдевшим, предстала чудовищная барахолка. Чего только не натаскали сюда припасливые хозяева. Чтобы пройти, я должен был откатить детскую коляску, с верхом нагруженную всевозможным домашним скарбом от самовара до ночной посуды с незабудками на эмали. Пробираясь к дальним затемненным уголкам чердака, где могла спрятаться Ганна, я с немалыми ухищрениями преодолевал одно препятствие за другим: широчайшую кровать, на которой неизвестно кто и когда спал, горку кресел, в которых неизвестно кто и когда посиживал, старинное трюмо, в которое неизвестно кто и когда гляделся. Ждали своего часа, чтобы послужить новым хозяевам, эмалированная ванна, круглая вешалка с загнутыми рожками, столик на кривых ножках. Если бы кто-нибудь надумал составить опись всего, что здесь находится, потребовалось бы немало времени. Конечно, при желании можно было набрать бесхозного имущества еще больше — сколько кругом стояло домов, навсегда покинутых их жильцами. Обезлюдели города, местечки, когда-то густо заселенные польским, еврейским, украинским населением. Заходи в любой дом, бери все, что душе угодно!

Так бы, наверно, поступил и Яков Лукич из «Поднятой целины», по которой я когда-то писал сочинение за десятый класс и, естественно, не хуже других разбирался в кулацкой психологии. Но в то же время я хорошо помнил, что сын (в данном случае дочь) за отца (или мать) не ответчик (не ответчица), и в нервном напряжении, спотыкаясь и бранясь на каждом шагу, продолжал искать Ганну. Я обшарил весь чердак и, перепачканный с головы до ног паутиной и прочей дрянью, спустился к пороссятам, снова метнувшись к перегородке.

Оставалась конюшня. Но если я и там не обнаружу Ганну, то на этом кончаю поиски. Мало ли куда она могла удрать? Село большое, в каждой хате у нее, наверно, есть подружки. Делать мне больше нечего, как искать ее!

Первое, что я встретил, когда вошел в конюшню, был теплый лошадиный взгляд. Из-под длинной челки на меня глядели умные карие глаза огромного немецкого тяжеловоза. Не трудно было догадаться, какими судьбами он оказался здесь. Сколько их, брошенных своими хозяевами во время нашего весеннего наступления, одичавших, истосковавшихся по человеческой заботе, бродило по полям, лесам и лугам на месте бывших сражений. Но пока наши трофейные команды только прикидывали, как лучше организовать сбор этих ни в чем не повинных, безотказных трудяг, расторопные крестьяне в день-два разобрали их.

Поначалу хозяин сильно опасался, что битюга отберут у него, — он понимал, что тот как-никак был трофейным военным имуществом Красной Армии и принадлежал только ей и никому больше. Но шли дни, недели, и никто не предъявлял прѣва на Гнедка, как, не затрудняя себя выбором прозвища, впрямую, по масти называли они коня.

Гнедко и в самом деле был спокойным, добродушным и милым существом. Широкогрудый, коротконогий, с густыми щетками на ногах, с такой же густой гривой на большой тяжелой голове, он чуть ли не на второй день стал отзываться на свое новое имя. И все его недоброе прошлое, когда он послушно работал на рейх, навсегда исчезло вместе с немецкой речью, с нескончаемыми переходами по разбитым российским дорогам, с запахами тола и пороха, неотступно преследовавшими битюга все эти годы.

Кто может знать, как дальше сложится у него судьба, оставят ли здесь рабстать на единоличника или отправят в далекие края восстанавливать то, что разрушили его первые хозяева, но никогда, мне кажется, ему не было так хорошо, как сейчас. Чего стоила только одна привязанность к нему Ганны. Не было дня, чтобы не перепадало битюгу что-нибудь вкусненького из ее рук. Я не раз видел из своего окна, как девочка бегала сюда, держа миску с остатками пищи. И слышал ее ласковый голос: «Ах ты мий рыженький! Ах ты мий золотко!»

Не исключено, что именно здесь, по соседству со своим любимцем, спряталась она от матери. Я вспомнил себя в ее возрасте. Мне тоже часто хотелось, чтобы родители оставили меня в покое, и я удираю от них с ребятами: уходил в лес, на речку, прятался в одном из мне известных укромных местечках, словом, как мог отстаивал свою независимость.

Уверенный, что на этот раз я наконец угадал, где затаилась Ганна, я, чтобы зря не тратить время на поиски, разыграл маленькую сценку:

— Ганна! А вот ты где!.. Ну давай слезай!.. Давай!.. Давай!.. Я же вижу тебя!.. Ну, долго я буду ждать?! Считаю до трех... Раз!.. Два!.. Три!..

Словно деликатно сдерживая смех, тихо пофыркивал рядом битюг.

— Хорошо, я пошел за твоей мамой. Она тебе такую устроит выволочку... поверь... Она все село обегала, разыскивая тебя... Ну?

Но мое «ну» так и повисло в воздухе без ответа.

Я вышел во двор, но, не увидев в окне Таню, видимо, уже приступившую к чтению, повернул назад, в конюшню. Слишком много здесь было уголков, где могла бы отсидеться Ганна. Я давно заметил, что отношения у нее с родителями далеко не простые. Не раз слышал, как она огрызалась, сердито хлопала дверью, пробежала мимо с заплаканным лицом. Ничего нового я не видел и в сегодняшней истории. Больше того, я бы и не подумал заниматься поисками, если бы хозяйка не бросила тень на неизвестного мне разведчика. Разумеется, народ в нашем батальоне был разный: наряду с обыкновенными, нормальными ребятами встречались и такие, которым, как говорится, палец в рот не клади. Несколько человек когда-то до войны даже сидели по уголовным делам. Но среди разведчиков не было ни од-

ного, кто бы решился обидеть девчонку. За два с половиной года существования разведбата лишь однажды приезжал следователь из штаба армии, но и тот был вынужден уехать с пустыми руками: жалоба на изнасилование не подтвердилась. Выяснилось, что, встретив первый же отпор, боец покорно ретировался. Это-то, по-видимому, и задело бабенку, рассчитывавшую на продолжение атаки и раззвонившую о плохом солдате по всему селу. Остальные же разведчики улаживали свои дела тихо-мирно, к обоюдному удовольствию, так что думать о ком-нибудь плохо не было никаких оснований...

Поэтому-то я и ринулся защищать доброе имя батальона, хотя, признаться, кроме высоких целей, мною двигало еще и беспокойство о девочке. Или почти девушке, как хотите. Я привык к ней, к ее тихим и вкрадчивым шагам в соседней комнате, к ее постоянной готовности услужить и помочь мне. И даже то, что она иногда подслушивала и подсматривала, в конечном счете больше забавляло, чем раздражало...

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

На этот раз интуиция не подвела меня. Едва я поднялся на сеновал, как до моего слуха долетел близкий шорох. В отличие от нижних звуков, происхождение которых поддавалось быстрому и точному распознаванию (несмотря на кажущуюся флегматичность, битюг проявлял живой интерес ко всему, что его окружало), верхний шорох таил в себе весьма подозрительную неопределенность.

— Ганна! — позвал я.

Меня окружала чердачная тишина.

Утопая в ворохах сена, я продолжал идти на шорох, хотя его уже давно не было.

Поднимаясь все выше и выше, я наконец добрался до верха и вдруг прямо в двух шагах увидел Ганну, наполовину зарывшуюся в сено. Ее ставшие огромными глаза внимательно следили за каждым моим движением.

— Ганна! Ты чего не отвечаешь? Я ору, ору, а ей хоть бы хны! А ну живо домой! Мама твоя все село обегала, уже не знает, что и думать!

— Поцилуйтэ мэнэ,— тихо сказала она.

— Что?— обалдело уставился я на нее.

— Ну... поцилуйтэ,— чуть не плачущим голосом повторила она.

Бог ты мой! Этого еще не хватало!

— Тебе еще рано целоваться с мужчинами,— назидательно произнес я.

— Я вже вэлыка,— тем же плачущим голосом сказала она.

— Какая ты большая? Тебе же всего четырнадцать лет. Когда мне было четырнадцать, я ни о чем, кроме уроков, не думал...

Господи, какую чушь я несу! И вру безбожно. Мне еще не было четырнадцати, когда я в первый раз в жизни обнимал и целовал во сне нашу соседку по коммунальной квартире продавщицу Олю и впервые испытал то, что сперва ошеломило меня, а потом наполнило душу предвкушением новых, еще более сильных наслаждений.

— Потом, ты знаешь, я женат,— продолжал я за нудным голосом.— Представь себе, если бы твои родители целовались не друг с другом, а с чужими. Папа с другой женщиной, а мама с другим мужчиной.

— Вона нэдобра.

— Кто?— не понял я.

— Ваша жинка.

— Это интересно. Чем же она тебе не нравится?— спросил я, присев на корточки.

Ах ты, ревнивица!

— Подсмиваются з вас.

Неужели подслушивала?

— Это у нас такая манера разговора,— принялся объяснять я.— Я подсмеиваюсь над ней, она надо мной. Нельзя же быть всегда серьезным и глубокомысленным, как ваш битюг?— Сидеть на корточках было неудобно, и я переменял позу: уселся рядом с Ганной.— И не надо, не надо, дружочек, осуждать людей, которых плохо знаешь...

— А чога вона до вас довго не ихала?— с вызовом спросила девочка.

И это заметила! Хотя только слепой мог не видеть, как я томился эти проклятые три недели, по несколько раз в день бегал за околицу встречать проходившие машины, без конца выглядывал в окно.

— А не ехала она потому, что у нее было много работы. Каждого раненого надо перевязать, напоить, накормить, каждому сделать укол, дать порошки,— популярно объяснял я Танины обязанности.— Ты же помнишь, сколько мы возились только с одним раненым? А таких там раненых десятки, сотни. Вот и не могла раньше приехать.

— Пане ликар, а вона вам взаправду жинка?

Ну и проницательный же чертенок! Или родители обсуждали при ней неожиданное появление Тани? Можно не сомневаться, что глаз у них наметанный. Так что мне ничего не оставалось, как, преодолевая смущение, врать напропалу:

— Самая настоящая... У нас даже дочка есть. Полтора годика. Она сейчас находится в Казани, у родителей жены...

— А як ии звать?— вдруг спросила Ганна.

— Кого?— не понял я.

— Та дочку вашу?

Бог ты мой, да она, кажется, проверяет меня?

— Светлана,— назвал я имя своей двоюродной сестры и, подкрепляя вранье, добавил:— Светленькая такая, смешная...

— Вы не кажить ий,— попросила Ганна.

— Кому?— опять не понял я.

— Жинци вашый... Про мэнэ...

— Хорошо,— пообещал я.— Ну... встаем?

Она кивнула головой и отвела взгляд в сторону.

Я вскочил:

— Давай руку!

Ганна протянула руку. Ее крепкая горячая ладонка обожгла мою — прохладную. Я рывком поставил девочку на ноги.

— Пошли в хату!

Глубоко погружаясь в сено, мы двинулись к лесенке, которая вела вниз.

— Пан ликар,— шепотом сказала Ганна, остановившись.— Я никому не экажу...

— Что никому не скажешь?

— Поцилуйтэ мэнэ,— опять тем же просительным тоном произнесла она.

— Что ты со мной делаешь?— пожаловался я.— Ну, хорошо. Только один раз.

Она закрыла глаза и подставила губы. Я наклонился и коснулся легким беглым поцелуем.

Ее круглое лицо мгновенно зарделось.

Господи, что я делаю?

— Все,— решительно сказал я.— Пошли!.. А то меня тоже хватятся.

Я торил дорогу в глубоком сене. Ганна шла следом, плотно сжав губы, не глядя на меня. Я слишком мало знал девчонок, чтобы до конца понять, что делалось в ее сердечке. Но если она поверила во все, что я ей нагородил (а мне думается, поверила), то у нее не было причин таить на меня обиду. Да и вообще, что могло быть между нами? Даже если я был бы один, без Тани, я бы не осмелился переступить крохотный порожек, что разделял нас. И не потому, что боялся последствий,— кто думает о них в такие моменты? А потому, что всем своим существом отвергал то, что осуждалось большинством людей. С детства мне внушалось, что можно делать, а чего нельзя. И я хорошо понимал: если хочешь остаться человеком, надо держать себя в узде. А то не успеешь оглянуться и превратишься в подонка...

Мы спустились по лестнице и прошли мимо битюга. Он дружелюбно покосился на нас, но своего тяжелого, устойчивого, неподвижного положения не переменил.

Двор нас встретил ярким весенним солнцем, заполошным кудахтаньем кур и радостными возгласами хозяйки. Нашлась наконец, слава Иисусу!..

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Я влетел в санчасть и увидел Таню и капитана Бахарева. Он стоял, закинув руку за голову, и Таня старательно обрабатывала у него под мышкой знакомый мне карбункул.

— А... доктор!— протянул замполит.— Видите, мы не зеваем...

— Нашлась девочка?— спросила Таня.

— Нашлась,— ответил я.— Спряталась в конюшне. Пришлось перерыть все три сарая, пока не нашел.

— А что это за девочка?— поинтересовался Бахарев.

— Хозяйская дочка. Поссорилась с родителями.

— Это хорошо, что помогли искать. Надо противопоставить бандеровской пропаганде реальный гума-

низм нашей армии,— тут же сделал вывод из случившегося замполит.

— Ты весь в сене,— сказала мне Таня.

— Ах ты черт!— ругнулся я и вышел на крыльцо.

Там я тщательно почистил рукой китель и галифе.

Интересно, догадывается ли замполит о наших отношениях? Конечно, если он прочел мою записку, то сообразить насчет остального пара пустяков. Да и вряд ли мне удастся скрыть от кого бы то ни было два чудесных дня, которые пробудет у меня Таня. Кстати, откуда я взял этот срок — два дня? Смешно, но я впервые почему-то не решился спросить Таню, надолго ли она. Что-то удерживало меня. Ах да, когда мы топтались на свежепропалотых грядках, она сама сказала: «...до вечера». Но означало ли это, что останется до утра? Зная характер Тани, я бы не поручился. Говорить же о двух днях, о двух сутках, было более чем рискованно. Прервать наше свидание могла любая случайность, от неожиданного дежурства по части, вызванного необходимостью подменить другого офицера, до Таниного настроения, которое иногда портилось с поразительной быстротой. Увы, наша любовь несла в себе не только радость, но и разного рода огорчения. Больше всего Таня боялась, как она говорила, «попасться». Ее нисколько не прельщало вернуться домой с фронта в положении. Она хорошо знала, какие разговоры и сплетни ожидали ее в этом случае. Однажды она даже разыграла передо мной целую сценку, изображая злоязычных кумушек: «Неплохо повоевала девка, а?»—«Ишь ты, не зря, видать, ордена ей повесили?»—«Так-то можно воевать, а, Пантелеевна?» А то еще песенку спюют: «На позицию девушка, а с позиции...»

Она хохотала, но смех был горький.

И с насмешливым недоверием слушала, когда я говорил, что не оставляю ее, женюсь...

«Лучше не надо»,— обычно отвечала она.

Но что «лучше не надо»— жениться или родить ребенка, она никогда не договаривала.

Когда я вернулся в хату, Таня уже заканчивала перевязку. По выражению лица замполита, довольному, умиротворенному, я понял, что он бы не возражал, чтобы Таня и впредь занималась его карбункулом.

— Золотые руки,— сказал он.

Будь на месте Тани кто-нибудь другой, я бы воспринял эти слова как замаскированный упрек в мой адрес.

Что и говорить: ко мне на перевязку капитан шел, как на пытку. Он стоял, пока я обрабатывал карбункул, обливаясь холодным потом, чертыхаясь и постанывая. И дело было не в том, что я делал все хуже Тани, а просто на мою долю досталось еще молодое, не созревшее, отзывающееся на самое легкое прикосновение жгучей болью, «сучье вымя». Теперь же одна за другой стали отторгаться обильные гнойные пробки, и боль заметно поутихла. Конечно, капитан не мог не знать этого, и все же облегчение, которое он сейчас испытывал, он, мне кажется, в значительной мере относил за счет Таниного мастерства. Он буквально млел и таял, когда она дотрагивалась до него.

Не скажу, что это было мне приятно, но и беспокойства тоже не вызывало. Я знал, что мужчины такого типа, как Бахарев, с ранней лысиной и светлыми ресницами, с веснушками на руках, были не в ее вкусе. Както в шутовском тоне она призналась, что ей больше нравятся брюнеты. «Это не самый большой порок, не правда ли?»— сказала она. «Не самый,— охотно согласился я.— Тем более что среди брюнетов попадаются и неплохие ребята».— «Хвастун»,— заявила она.

К сожалению, капитан этого не знал и не мог знать. Смущаясь, что нижняя рубаша у него была далеко не первой свежести, он отвернулся от нас и с неожиданным проворством натянул ее на себя. Так же быстро, преодолевая остаточную боль, надел он и китель. Однако, вместо того чтобы поблагодарить Таню и тут же уйти, он крепко пожал ей руку и... остался. Его внимание привлекли книги, валявшиеся в беспорядке на кровати. Я не заметил, чтобы он проявил особый интерес к Пушкину, Шевченко и Шеллеру-Михайлову. Прочел названия на переплетах и положил обратно. «Жития святых» он подержал в руках дольше. Посмотрел на меня, на Таню и, не увидев на наших лицах смущения, присоединил книгу к первым трем. Зато история Ивана Грозного вызвала у него сильное желание высказаться.

— Выдающаяся личность,— заметил он.

— Палач и садист,— мгновенно отреагировала Таня.

— Ну зачем так?— спокойно возразил он.— Многие ведущие историки считают, что крутые меры, к которым он прибегал, исторически оправданы. Нужно было пре-

одолеть политическую разобщенность страны, дать ей сильную централизованную власть.

— А для этого сажать людей на кол и вспарывать животы?— в упор спросила Таня.

— Ничего не поделаешь,— развел руками капитан.— Таковы тогдашние нравы.

— А Гитлер?

— Что Гитлер?

— Он, думаете, далеко ушел, как личность, как человек, от Ивана Грозного?

— Я вам советую почитать товарища Сталина. У него на этот счет есть классическое определение. Немецкая армия, сказал он, это армия средневекового мракобесия, средневековой реакции. Чувствуете разницу?

— Естественно. Здесь средневековая реакция, там средневековый прогресс. Но и здесь, и там тысячами летят головы!

— Разговор, конечно, между нами,— многозначительно подчеркнул замполит,— но я бы вам не советовал к историческим явлениям подходить с позиций абстрактного гуманизма.

— То есть общечеловеческого, внеклассового, вы хотите сказать?— спросила Таня.

— Да, такова марксистская формулировка,— подтвердил Бахарев.

— А разве нет вечных ценностей, существующих вне идеологии?— настойчиво допытывалась Таня.

Я видел, что разговор принимал все более рискованный оборот, и украдкой делал знаки Тане, чтобы она прекратила эту полемику. Но остановить ее было уже невозможно. Я понял, что она высказывала не только свои мысли, но и мысли отца — историка, которые были ей дороги и от которых, мне кажется, она не отказалась бы даже под пытками Ивана Грозного.

— Это что-то новое,— удивленно заметил Бахарев.— Я бы с интересом послушал, что это за вечные ценности, существующие вне идеологии?

— Хорошо. Начинаю загибать пальцы. Жизнь человека как таковая — раз. Материнская любовь — два. Право человека на счастье — три. На свободу — четыре. На уважение — пять. Смотрите, пальцев не хватит. Просто любовь, наконец,— шесть...

Когда Таня произнесла о любви, я попробовал поймать ее взгляд, но она смотрела мимо меня на изголодавшегося продолжать спор замполита.

— Всегда осуждались жестокость — семь, трусость — восемь, вероломство — девять, зависть — десять... У меня уже все пальцы кончились. Давайте ваши.

— Валяйте уж до кучи и христианские заповеди, — усмехнулся Бахарев.

— А что? Сколько существует человечество, всегда порицались убийство, воровство, клятвопреступление, прелюбодеяние и тому подобное, — устало добавила она.

— Ну вот, все эти ваши вечные ценности, — вдруг вскочил со стула замполит, — ни во что... слышите, ни во что не ставят гитлеровцы... наши классовые и идейные противники...

— Так же, как и Иван Грозный, — спокойно прокомментировала Таня.

— Да дался же вам этот Иван Грозный! — бросил Бахарев.

— Ведь танцевать мы начали от него? — заметила она.

— Так что вы этим хотите сказать?

— Что не вижу большой разницы между ним и Гитлером. Оба являются человеконенавистниками. Масштабы, правда, разные.

— Кстати, как вы относитесь к тому, что мы тоже убиваем? Я имею в виду — фашистов?

— Весьма положительно. Я сама убила двух фрицев. И убила бы, если бы это было мне под силу, в сто раз больше!

— Вот видите!

— Но я бы, не задумываясь, ухлопала и Ивана Грозного!

— И нанесли бы тем самым, — капитан даже поднял указательный палец, — колоссальнейший вред идее объединения и централизации России!

Я давно сидел как на иголках. А теперь, когда Бахарев подвел такую базу, спорить с ним мне показалось и вовсе небезопасно. Кто знает, какой вывод он сделает из этого острого разговора? Возьмет да и припишет Тане политическую близорукость, чуждые нашему обществу взгляды? Человек в нашем батальоне он был новый, воевал всего вторую операцию, и я, честно гово-

ря, не составил о нем еще определенного мнения. Что-то в нем мне нравилось, а что-то и нет. И хотя я целиком и полностью был согласен с Таней, с ее меткими и убедительными ответами, и открыто любовался ею, такой умной, такой красивой, такой родной, я мучительно ломал голову над тем, как бы незаметно перевести разговор на другую, менее острую тему. Но никто из спорщиков не обращал внимания на мои робкие и неуверенные попытки заговорить о чем-нибудь ином. Так было и сейчас, когда я вдруг ни с того ни с сего принялся нахваливать нашего командующего.

— Да, талантливый полководец,— бросил мне замполит и продолжал, обращаясь к Тане: — Я вижу, вы опять не согласны?

— Нет,— подтвердила она.— Я вполне допускаю, что вместо Ивана Грозного мог быть другой деятель, более человечный и разумный. Человечные и разумные деятели были во все времена и во все эпохи...

— Так, если следовать вашей логике,— усмехнулся замполит,— не будь Гитлера, и немецкий фашизм в других руках мог изменить свой характер?

Таня сердито посмотрела на Бахарева. Сердце у меня екнуло. Я вдруг испугался, как бы в полемическом задоре Таня не брякнула что-нибудь лишнее.

Я только собрался броситься ей на выручку со спасительной цитатой о природе германского фашизма, как она сама неплохо постояла за себя.

— Вы, я вижу, товарищ гвардии капитан,— заявила она,— принимаете меня за абсолютную дурочку. Вы что хотели бы услышать от меня? Что Геринг лучше Гитлера, а Геббельс лучше Геринга? Но среди немцев, я уверена, есть немало деятелей, которым, так же как и нам, не терпится скорее покончить с фашизмом.

— Вот это — верная мысль,— опять поднял палец Бахарев.— Еще Сталин, товарищ Сталин, сказал: «Гитлеры приходят и уходят, а народ немецкий остается...»— И вдруг неожиданно спросил Таню: — Вы член партии?

— Нет. Я еще комсомолка.

— Пора — как вы считаете?— подумать и о вступлении в партию?

— Мне уже предлагали.

— Ну и что же?

— Собираюсь с мыслями...

Ответила бы просто «Собираюсь...» А то — «...с мыслями...».

Но Бахарев, очевидно, этого не заметил и опять заговорил о своем карбункуле, который, как оказалось, не первый в его жизни. Раз в два-три года под мышкой, то справа, то слева, у него вырастало «сучье вымя».

Потом он вспомнил свою бывшую жену, которая тоже была медиком, судебно-медицинским экспертом, и сошлась с каким-то следователем из Москвы, когда Бахарев по заданию райкома партии поднимал слабые колхозы. Сейчас она работала чуть ли не в союзной прокуратуре и даже защитила кандидатскую диссертацию.

После того как разговор перешел с Ивана Грозного на обычные житейские темы, он потерял остроту и медленно и скудно угасал...

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Мы с Таней томились, но Бахарев, похоже, не собирался уходить. Ему было хорошо, интересно с нами. То есть не с нами, если быть точным, а с Таней, которая теперь на все его вопросы отвечала односложно — «да», «нет». Правда, отвечала с улыбкой — добродушно-уклончивой, сдержанно-учливой, необидной.

Иногда мы с Таней украдкой жалобно переглядывались: долго ли он еще будет сидеть? Неужели до него не доходит, что является третьим лишним? Даже если он считает, что между нами ничего нет, должен же он наконец понять, что Таня приехала ко мне, а не к нему. Мало ли о чем нам хотелось бы поговорить наедине? Раз, по существующей версии, мы с ней старые фронтовые друзья, то у нас могут быть какие-то общие воспоминания, свои разговоры, свои тайны. Будь он трижды замполит, но и ему знать все не обязательно. Нет такой установки. Прежде всего, он должен поднимать боевой и моральный дух личного состава, заниматься идейно-воспитательной работой среди разведчиков. Даже спор Бахарева с Таней об Иване Грозном я принял как должное. В конце концов, это входило в его обязанности — настаивать тех, кто ошибается, на правильный путь.

А вот сидеть и травить баланду было, как говорится, уже из другой оперы. Просто ему хотелось, я понимал,

пообщаться с красивой, умной девушкой — не частая возможность для батальонного замполита. Только при чем мы?

Я тяжело вздохнул и спросил Таню:

— Слушай, а не затопить ли нам печку?

Бахарев с удивлением посмотрел на меня: топить печку, когда уже отцвели яблони и окна распахнуты настежь? Затем он перевел вопрошающий взгляд на Таню, чтобы, надо думать, свериться впечатлениями от моего сумасбродного предложения.

Таня плутовато улыбнулась. Уж она-то знала, что я имел в виду.

Как-то поздней осенью у нас вот так же засиделся начбой. Размягченный Таниным очарованием, он принес откуда-то гитару и долго, очень долго пел старинные русские романсы. У него был приятный, с хрипотцой, голос. В другое время, возможно, мы бы слушали его и слушали. Но тогда мы не чаяли, как от него избавиться. До окончания Таниной увольнительной оставалось каких-нибудь жалких пять часов. И это без учета дороги — сорока или пятидесяти километров. Причем километров не простых (сел да поехал по накатанному шоссе на своей машине), а уводящих куда-то в непроглядную, тревожную фронтовую ночь, где на каждом шагу подстерегали опасности, где часами можно провести в ожидании попутки и в конечном счете, отчаявшись, пойти пешком, где, не успев оглянуться, рискуешь оказаться в руках немецких разведчиков, которые временами просачивались в наши тылы.

Так что нам было не до старинных романсов под гитару, и мы с Таней, вздыхая, тоскливо поглядывали на часы.

В хате было тепло, весело потрескивал в печурке хворост, который я время от времени подбрасывал в ненасытную топку.

И когда мы уже смирились с тем, что наше дело дрянь, меня вдруг озарила простая и гениальная мысль. Я встал и незаметно для начбоя задвинул печную заслонку. Вскоре вся хата наполнилась дымом. Нас одолел сильный кашель, обильно полились из глаз слезы. Первым не выдержал ничего не подозревавший начбой. Как только он, подхватив гитару с бантиком, скрылся за дверью, я выдвинул заслонку, и дым устремился в трубу. Мы с Таней покатывались со смеху. Потом

я широко распахнул дверь и окончательно проветрил помещение. Так мы остались вдвоем...

Сейчас же это было невозможно: уже с месяц как кончили топить. В последний раз печку по нашей просьбе протопили вчера, когда настоятельно требовалось просушить многострадальные Славкины кальсоны.

И все же, несмотря на то что простые и гениальные мысли приходят чрезвычайно редко, я лихорадочно стал думать, как бы спровадить и Бахарева. К сожалению, время шло, а в голове было хоть шаром покати. Вот разве только разбить бутылку с нашатырным спиртом. Но она стояла у стены на столе, заставленная пузырьками, а капитан Бахарев не спускал с меня глаз, словно догадываясь, что я задумал какую-то каверзу.

И вдруг я взглянул в окно и увидел проходившего мимо Славку Нилина. По тому, как он шел, оглядываясь на хату, я видел, что он помнил о моем предупреждении и не собирался обременять нас своим посещением. Наверно, это стоило ему немалых усилий, потому что, как и всякий поэт, он жаждал все новых и новых слушателей. А Таня, он знал, любила стихи и однажды даже, внимательно и терпеливо выслушав одну из его поэм, отметила немало удачных строк.

Хотя в том, что я замыслил, был определенный риск, но у меня не было другого выхода: сейчас нас выручить мог только Славка. Возможно, сама судьба послала нам его на помощь.

— Славка! — крикнул я в распахнутое окно. — Подожди минутку!.. Товарищ гвардии капитан, я сейчас... Отдам только Нилину порошки от головной боли!

Схватив со стола первый попавшийся пакетик (потом выяснилось, что это был салициловый натрий — от ревматизма), я выбежал из хаты.

Но Славка оказался проворнее меня. Очевидно, решив, что нам с Таней для полного счастья не хватает его стихов, он, не дожидаясь моего появления, в одно мгновение очутился на крыльце. Как ему это удалось, я совершенно не представлял. Хотя, наверно, все дело было в опыте и сноровке танкиста. Уметь пулей забираться в танк и пулей выскакивать из него!

Я давно не видел на Славкином лице такого откровенно разочарованного, кислого выражения, когда здесь же, на ступеньках, шепотом объяснил ему всю ситуацию и взмолился, чтобы он под каким-нибудь предлогом увел капитана Бахарева. Вместо вечера по-

эзии, который рисовался его воображению, ему предстояло ломать голову над тем, как бы создать мне условия для уединения с возлюбленной.

— Хорошо, попробую,— нехотя согласился Славка.

— Ты что ему скажешь?— опасливо спросил я.

— А это уж не твоя забота...

Мне стало не по себе, потому что я не знал, что выкинет мой лучший друг. Как и в каждом разведчике, в нем довольно сильна была авантюристическая жилка. Его могло занести так далеко, что потом неизвестно как выбраться. А мне положительно не хотелось, чтобы замполит догадался о нашем сговоре, затаил в душе обиду на меня. В конце концов, я ничего от него, кроме хорошего, не видел. Ну, не понимает человек, что был третьим лишним, так не казнить же его за это?

— Не дрейфь!— бросил мне Славка и первым вошел в санчасть.

Капитан Бахарев в это время уже расписывал Тане, как на занятиях по историческому материализму он забыл назвать одну из главных задач диктатуры пролетариата, хотя знал все назубок. Ночью разбуди — ответил бы. А тут прямо как отшибло. Вспомнил только когда преподаватель, полковой комиссар, поставил вот такую двойку! Капитан даже развел руками, показывая, какую ему вкатили двойку...

Славка не перебивал, дал Бахареву договорить.

Таня выжидательно переводила взгляд с меня на Нилина. Она догадывалась, что роль дымящей печки на этот раз предназначалась моему другу.

Когда замполит кончил, Славка вдруг возвестил каким-то не своим, радостно-смущенным голосом:

— Товарищ гвардии капитан, а я вас всюду ищу...

— Что, что-нибудь случилось?— встрепенулся тот.

— У меня к вам большая личная просьба,— уперся в него затуманенным взглядом Славка.

— Я слушаю вас... если...— Бахарев посмотрел на нас с Таней.

— Мне хотелось бы поговорить с вами наедине,— отрезал Славка.

— Ну что ж,— помедлив, проговорил замполит,— пойдете!

Он встал и сказал Тане:

— Я надеюсь, что мы еще встретимся...

— Я тоже,— лукаво улыбнулась Таня.

— Гора с горой не сходятся, а человек с человеком сходятся,— подытожил замполит и вышел вслед за Славкой из хаты...

— Наконец-то!— облегченно вздохнул я.

Но Таня почему-то никак не отреагировала на мой радостный возглас, промолчала. Лишь вытянула занемевшие в одном положении ноги. И посмотрела на меня вопросительным усталым взглядом...

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Дождавшись, когда замполит и Славка покинут двор, я взял Танины руки, лежавшие у нее на коленях, и прижал их к своему пылавшему лицу.

— Что, дружочек?— спросила Таня.

Вместо ответа я поцеловал сперва одну ее ладошку, потом другую. Они, как всегда, были шершавые и теплые. И от них восхитительно пахло травой, которую она недавно выпалывала.

Я нежился в ее ладошках, не отпуская их.

Но краем уха я раздраженно прислушивался к звукам, доносившимся с хозяйской половины. Там кто-то все время ходил, бубнил, гремел посудой. То и дело по комнате пробегала Ганна и громко хлопала дверью. Этот бесенок, похоже, никак не хотел примириться с тем, что его отвергли. Выпороть бы ее за эти штуки.

— Знаешь, что меня занимает?

— Что, дружочек?

— Чего Славка ему там заливает?

— Завтра узнаешь... Наберись терпения...

Завтра? Значит, увольнение у нее до завтра и впереди у нас целая, целая ночь...

— Слушай, давай устроим праздничный ужин!— предложил я.

— Праздничный? Из чего?— улыбнулась она, открывая свои прелестные неровные зубы.— Насколько мне известно, у вас на ужин сегодня пшенка.

— К черту пшенку!— воскликнул я.— Мы организуем что-нибудь получше!

Я решительными шагами направился на хозяйскую половину. На ходу обернулся, ответил на недоуменный взгляд Тани:

— Ты что, не заработала у них на жареную картошку? Прополола почти весь огород!

— Ты думаешь?— неуверенно спросила она.

— А чего тут думать? Хозяйка сама как-то предлагала...

Я постучал и вошел к хозяевам. Увидев меня, Ганна вскочила и выбежала, сердито хлопнув дверью. Хозяйка осуждающе посмотрела ей вслед, но ничего не сказала. Да, если так будет продолжаться, придется подыскать новое жилье. Узнав, что пан ликар и пани ликарша не прочь поужинать жареной картошкой, хозяйка захлопотала, засуетилась. На мои слова, что мы и сами можем поджарить, она только замахала руками.

— Ну что?— спросила Таня, когда я вернулся.

— Полный порядок. Сейчас поджарит.

— Знаешь, я пойду ей помогу?— Таня вопросительно посмотрела на меня и поднялась со стула.

— Я говорил ей, что можем сами, но она и слушать не хочет. Да чего там — несколько картофелин поджарить...

— Забавно,— улыбнулась она.— Мой отец тоже вместо «картошка» говорил «картофель»...

— Постой, а как правильнее?

— Картоха! — хмыкнув, объявила она.

— Картопля,— подхватил я.

— Бараболя...

— Бульба...

— Земняки...

— А это по-каковски?— спросил я.

— По-таковски,— смеясь, ответила она.— Теперь твоя очередь.

— Нет, ты сперва ответь, на каком это языке?

— Пожалуйста, на польском.

— Честное пионерское?

— Честное пионерское... Ну и дотошный же вы товарищ, товарищ Литвин!

— Не дотошнее тебя... Шутка ли сказать, самого Ивана Грозного вывела на чистую воду.

— Ну, его еще Карамзин вывел на чистую воду.

— Это тот, который написал «Бедную Лизу»? — не лучшим образом придуриваясь, спросил я.

— Да, тот, дружок... Надо было мне пойти помочь ей хотя бы почистить картошку,— Таня все еще испытывала неловкость перед хозяйкой.

— Справится сама,— категорическим тоном заявил я.— Подумаешь, почистить с десяток картофелин...

— А!— махнула рукой Таня, соглашаясь со мной. И вдруг насмешливо спросила:— А ты картошку когда-нибудь чистил?

— Конечно. Помогал маме.

— И тебе не попадало?

— За что?

— Что много срезаешь?

— Нет, я старался.

— А мне попадало. У меня не хватало терпения. Я вечно куда-то спешила. То на речку с ребятами, то в лес. Наверно, мне лучше было бы родиться мальчишкой...

— Я бы этого не сказал,— заметил я, открыто любясь Таней, ее строгой, неназойливой красотой.

— Не смотри так,— она мотнула головой, как бы стяхивая мой взгляд. И добавила, улыбнувшись:— Сглазишь.

Несмотря на шуточный тон, с каким это было сказано, я сразу насторожился. Недоуменно пожал плечами:

— До сих пор же я тебя не сглазил?

Таня скользнула по моему лицу каким-то странным, мне даже показалось, вопросительно-жалостливым взглядом и ничего не сказала. Она явно что-то скрывала от меня, не договаривала. Спросить бы прямо, что с ней? Но ответит ли? Когда днем при встрече я попытался узнать, почему она так долго не ехала и не писала, Таня ловко перевела разговор на другое. Переведет, я уверен, и сейчас. Я слишком хорошо ее знаю, чтобы заблуждаться на сей счет. Нет, я не думаю, что в наших отношениях что-нибудь круто переменилось: в этом случае она бы вообще не приехала и тем более не осталась бы на ночь. Здесь было что-то другое, давно и упрямо скрываемое от меня. Возможно, какие-нибудь неприятности по службе, о которых ей не хотелось говорить. Повысилась смертность в отделении, поругалась с начальством, получила взыскание, обошли наградой? Да мало ли какие могли быть причины! Честно говоря, я надеюсь, что она сама скажет все... только потом... после того, как нас по обыкновению захлестнет благодарностью друг к другу. Но сейчас лучше промолчать...

— Ты о чем, дружок, задумался?— Таня легонько дотронулась до моей руки.

— О картошке, о чем же еще?

— Что бы мы делали, если бы не картошка? — вздохнула она.

И опять в ее словах мне послышался вызов, такое легкое подталкивание к ссоре, которая ей зачем-то была нужна — только зачем?

Я подошел к окну и проводил взглядом какого-то старика, пробиравшегося между лужами.

— Кто там? Новые гости?— спросила Таня.

— К счастью, нет... Я думаю, пора завешивать окна. Смотри, как стемнело...

— Тебе помочь?

— Не надо... С этим я справлюсь сам.— Я зацепил за гвозди плащ-палатку и опустил ее на подоконник.— Видишь, раз — и все!

— Талант!— шутливо прокомментировала она.

— А то нет?— Я направился ко второму окну.— Приготовь лучше лампу. Она под столом. А спички в тумбочке, на верхней полке.

Пока Таня доставала гильзу и спички, я завесил остальные два окна. Сразу в комнате стало темно. Было слышно, как Таня тщетно пытается зажечь немецкие бумажные спички с хилыми серными головками.

— Что за дрянь!— не выдержала она.

— Дай я...

— Подожди,— ответила она и продолжала упрямо крошить головки.

— Учти, это последние,— предупредил я.

— На,— в голосе Тани все еще звучали сердитые нотки.

Я взял плоский коробок. В нем оставалось всего три мятые спички. Я оторвал одну из них, осторожным и быстрым движением высек огонь. Слабое пламя зацепилось за бумажный столбик и весело побежало по нему.

— Я уже приспособился,— объяснил я.

Фитиль в самое время перехватил догорающий огонек и, разгораясь, осветил нас с Таней. У нас были чертовски напряженные лица. Слово от того, загорится ли лампа, зависела наша судьба.

Мы встретились взглядами и одновременно понимающе улынулись.

— Теперь я знаю,— произнесла Таня,— никто лучше тебя не завешивает окна, никто лучше тебя не зажигает спички...

Нет, все-таки чем я досадил ей, что она никак не может оставить меня в покое? И тут я почувствовал, что улыбку давно стерло с моего лица и я стою, ничем не защищенный перед ее насмешливо-сочувственным взглядом.

Я заставил себя улыбнуться и продолжать непринужденным тоном:

— И никто лучше меня не умеет выслушивать твои бесконечные подначки...

— Да, наверно,— согласилась она.— Но ты, дружок, можешь не обращать на них внимания...

Вот как, не обращать внимания? Всего только! Как будто мы чужие люди и меня не может, не должно волновать, что она думает и говорит обо мне... Да и ей, выходит, все равно, что я думаю о ней?

На языке у меня вертелись резкие слова, но я сдержался и произнес упавшим голосом:

— Легко сказать...

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Вот уже добрых четверть часа, как по всей хате разносился умопомрачительный запах жареной картошки.

Таня вздохнула:

— Хорошо бы, она подала прямо на сковородке. Я люблю прямо со сковородки...

— Я скажу ей.

— Скажи.

Я пошел на кухню. У раскаленной плиты, закатав по локоть рукава, возилась хозяйка. Она раздумянулась ничуть не меньше, чем картошка.

— Та вже кинчаю, пане ликар,— сообщила она, переворачивая улежавшиеся румяные ломтики.— Хиба ще посолыты?

Она наколола на кончик ножа несколько ломтиков и подала мне. Я попробовал: картошка божественно хрустывала на зубах. Дальше жарить — только портить.

— Готова,— сказал я.

— А може, добавыты соли?

— Нет, в самый раз. Спасибо.

— Пане ликар, идить до жинки. Я зараз подам.

— Не надо, я сам... Не надо, не надо. Мы будем есть прямо со сковородки. Дайте какую-нибудь тряпку... Спасибо!

Я подхватил тряпками огромную деревенскую сковородку и понес к себе. За мной с чугунной подставкой следовала хозяйка.

Я открыл локтем дверь и вошел с высоко поднятой сковородкой:

— Пани докторша, вас приветствует пища богов!

— Ой, как много!— воскликнула Таня.

Хозяйка быстро поставила на край стола подставку и, широко улыбаясь, удалилась.

— Спасибо!— крикнул я ей вдогонку.

— И от меня спасибо!— подхватила Таня.— Давай сервировать стул!

Она накрыла стул куском марли, там же поместила подставку.

— Ставь!

Я опустил сковородку.

— А стул придвинем к кровати!— продолжала распоряжаться Таня.— Теперь, кажется, все?

— Где твоя ложка?— спросил я, вынимая свою из полевой сумки.

Она села на кровать и сказала:

— А тебе не кажется кощунством есть жареную картошку ложками?

— Меня больше волнует другой вопрос,— ответил я и достал из-под кровати флакон:— Вот этот.

— Спирт?

— Чистейший... Не пугайся, мы его сильно разбавим. До крепости законных наркомовских ста граммов.

— Мне чуть-чуть...

— Столько или больше?

— Спасибо, хватит...

— Послушай, надо бы где-то хлеба раздобыть. Я сбегаю к поварам?

— Подожди, я где-то видела кусок хлеба. Правда, очень черствый.

— Где?

— По-моему, в тумбочке,— Таня встала и пошла проверять.

— А!.. Вспомнил! Славка не доел. Рука никак не поднималась выбросить. Все-таки полгода ленинградской блокады... Да, этот!— подтвердил я, когда Таня вынула из тумбочки пересохшую корявую горбушку.— Я принесу воды.

— И вилки!— напомнила Таня.

Хозяйка словно ждала моего возвращения. Поигрывая всепонимающей, всепрощающей улыбкой, она достала из комода две серебряные, с монограммами, вилки, наполнила графин прозрачной колодезной водой из эмалированного ведра и тщательно протерла вышитым полотенцем два высоких фужера.

И тут в комнату как-то боком вошла Ганна. Не глядя на меня, она схватила метлу и принялась подметать и без того чистый пол. Мела она порывисто и сердито, точно выговаривалась без слов — одними взмахами метлы.

Когда я вернулся к Тане, Ганна еще долго и шумно возилась у общей двери.

— Знаешь, а эта девочка в тебя влюблена,— тихо сказала Таня.— Она ревнует тебя ко мне.

— Хоть переезжай на другую квартиру,— проворчал я, разбавляя спирт водой.

— А... ты уже в курсе...

— Так я же не слепой,— пожал я плечами и сел рядом с Таней на кровати: — Ну, давай выпьем!

— Давай.

— За что?

— За твое счастье, Гриша!

— Почему только за мое?— удивился я.

— А ты — пей за мое.

— За тебя, Таня!

— За тебя, дружочек!

Мы выпили. Таня замахала рукой и вся сморщилась. Я же не повел и бровью. Во всяком случае, так мне казалось.

— Чудо,— сказала Таня, распробовав после первых секунд водочно-спиртового ожога жареную картошку.

Я был полностью с ней согласен. Такой фантастической вкуснятины, к тому же по-домашнему обильной и сытной, я не ел года три, еще с довоенных, маминых времен.

— Когда кончится война, если останусь жив, буду каждый день есть жареную картошку,— помечтал я.

— Ты останешься жив,— сказала Таня.

— А ты откуда знаешь?

— Знаю...

— Налить еще?

— Налей...

— За что?— поднял я фужер.

— За наш сегодняшний день,— аккуратно чокнулась Таня.

И опять мы выпили, как в первый раз,— она с отвращением, я даже не поморщившись. Меня смутил ее тост. С одной стороны, он открыто и волнующе обещал желанную близость, а с другой стороны — я чувствовал — скрывал в себе второй смысл, пока еще не распознанный и не разгаданный мною. Но в том, что он был, я не сомневался...

Мы снова нажали на картошку, и она стала довольно быстро убывать.

— Ну и обжора я!— сказала Таня.

— Куда тебе до меня!— самокритично заметил я.— Я давно опередил тебя по всем показателям — вилкозахвату и вилкооборачиваемости...

— Тебе и положено, милый. Ты мужчина.

— Мне по традиции положено больше заниматься этим,— я потянулся за флаконом.

— Знаешь, а мы с тобой здорово... здорово окосеем,— весело смирившись со своей участью, предупредила Таня.

— Тогда отставить!— сказал я и отправил флакон под кровать.

— Туда ее... с глаз долой!— одобрила Таня.

— Бог ты мой, ты и вправду окосела...

— Нет... Чуть-чуть...

— Ешь!— я придвинул к ней сковородку.— Где твоя вилка?

— Вот,— показала она.— Смотри, какая изящная монограмма. Две... нет, три перевитые буквы... Б... Т... Э... Эва Бандровска-Турска...

— Кто, кто?

— Эва Бандровска-Турска... Тебе, ленинградцу, стыдно не знать это имя...

— Я не знаю еще сотни миллионов имен... Целых два миллиарда имен!

— Это известная польская певица. Одна — и ты заруби это на своем длинном носу — из лучших в мире.

— Бедный мой нос. Чего только я не должен зарубить на нем, — вздохнул я и обнял Таню. Она не противилась. — Ты думаешь, что это ее вилки?

— Не знаю. Может быть, это вилки английской королевы...

— Или какого-нибудь зажиточного местечкового еврея...

— Или русского белоэмигранта...

— Или...

— Или...

— Или...

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

— Тебе хорошо, милый?

— Ты еще спрашиваешь, — ответил я, устало целуя ее в подбородок.

Я ощутил на щеке легкое прикосновение губ.

— Сейчас спать? — тихо сказала Таня.

— Я уже вижу сон, — признался я. — Нет, в самом деле. Будто я забыл запереть дверь. А во дворе ходят какие-то люди. Один из них все время в окна заглядывает...

— Спи, дружок. Ничего не забыто. И двери заперты, и окна завешены...

— Тань, ты любишь меня?

— Спи, дурачок... Спи, утро вечера мудренее, — сказала она и чмокнула меня в плечо.

Под поцелуем мгновенно угасло недоумение: почему утро вечера мудренее? Не вообще, конечно, а применительно ко мне?

Я обнял Таню и незаметно погрузился в сон...

Проснулся я от того, что вдруг обнаружил, что могу свободно поворачиваться в постели. Тани рядом не было. Я рывком присел на пружинящей сетке с жиденьким тюфячком и увидел в полумраке Таню. Она сидела на стуле и, подперев кулачком голову, смотрела на меня напряженным изучающим взглядом. Она была почти одета, в гимнастерке, в юбке, но еще без сапог —

в одних чулках. В комнату через сдвинутую в одном месте светомаскировку проникали первые слабые лучи...

— Тāня, ты чего? Ты чего встала?

— Пора ехать,— вздохнула она.

— Послушай,— я опустил ноги на пол,— еще только...— я взял часы,— пять часов... У тебя до которого часа увольнительная?

— Все равно.

— Что все равно?

— Все равно: перед смертью не надышишься.

— Какой смертью? О чем ты говоришь?

— Это я так, ради красного словца... Нет, правда,— добавила она жалобным голосом,— мне надо ехать... Так будет лучше.

— Почему?— я ничего не понимал.— У тебя неприятности по службе?

— Спи, Гриша... По службе у меня все в порядке...

— Ты так и не ответила, когда должна вернуться в госпиталь?

— Хорошо. В тринадцать ноль-ноль.

— В тринадцать ноль-ноль?— оторопело повторил я. В прямоте, с которой был назван срок возвращения, мне послышался вызов, но я от растерянности пропустил его мимо ушей.— Ни черта не понимаю, у тебя столько времени, а ты поднялась в такую рань?

— Дружочек, ты прости меня, но я поеду,— она подошла ко мне и поцеловала в лоб.

— Тань, брось,— я схватил ее за руку, прижался щекой.— Иди ко мне, у нас до утра еще целых три часа...

— Нет, все,— она убрала руку.— Все.

— Что все?— я, наверно, был смешон в своих длинных семейных трусиках и застиранной майке.

— С этим все...

— С чем — с этим?.. Ты что-то недоговариваешь. Я давно заметил, что с тобой что-то произошло. Что с тобой?

— Ты непременно хочешь знать?

— Да,— сдавленным голосом произнес я.

— Ты не сердись, пожалуйста, но я больше к тебе не приеду...

— У тебя кто-то есть?— как во сне спросил я.

— Да,— ответила она.

- Кто он?
- Врач. Хирург.
- И вы...
- Нет. Еще нет. Смешно, но я не могла.
- Хотелось сперва со мной покончить?
- В общем, да...
- На редкость трогательно, тебе не кажется?—
с трудом мои губы сложились в ироническую улыбку.
- Потом, мне надо было разобраться в своих чув-
ствах...
- И разобралась?
- Не очень... Но у меня нет другого выхода...
- Ты хочешь сказать, что он всегда рядом, а до
меня всегда далеко?
- Нет. И он пока не рядом, и ты еще не далеко.
- Как прикажешь тебя понимать?
- Не так просто зачеркнуть год, что мы были
вместе.
- А ты зачеркни!— крикнул я, наверно разбудив
всех в хате.— У многих это получается ох как легко —
раз, и нет!
- Неужели ты не понимаешь, что я не могу иначе?
- Как иначе?
- Сразу быть с двумя.
- А почему бы и нет?
- Ты здорово облегчаешь мое положение...
- То есть?
- Я все меньше вижу смысла в нашем теперешнем
разговоре. Кончать — так кончать,— она потянулась за
сапогами.

И тут во мне словно что-то сломалось. Я бросился перед Таней на колени. Мысль о том, что через несколько минут мы, возможно, расстанемся навсегда, одновременно оглушила меня и отрезвила.

Она пыталась вырваться, но я держал ее руки мертвой хваткой. Я погружался лицом в ее родное — чужое тело и хрипел, надрывая голос:

— Танька, ну что ты со мной делаешь?.. Ты хочешь, чтобы я пустил себе пулю в лоб?.. Тань, я люблю тебя... Поверь, никто тебя так никогда не будет любить... Слышишь, давай подадим завтра рапорт на имя командующего с просьбой разрешить нам пожениться?.. Он разрешит... Мы напишем, что любим друг друга и что наши отношения никак не отразятся на служебных обязанностях... Я слышал, что он иногда разрешает... особенно

если служат в разных частях... Считает, что так реже будут встречаться... Вот как мы сейчас...

И вдруг я обнаружил, что сижу на полу у Таниных ног, и она почти невесомым движением руки гладит меня по голове.

— Танюшка, почему ты молчишь?

— Хорошо, я буду говорить очень банальные вещи,— все больше сжимаясь, слышал я ее дружески-рассудительный голос,— а ты наберись терпения и не перебивай... Я еще люблю тебя, но не так как раньше,— она мягко отобрала руку, которую я украдкой осыпал поцелуями.— Это уже остатки, понимаешь, остатки чувства. Я могу целыми днями не думать о тебе, не вспоминать. Ты не думай, что в этом что-то обидное для тебя. И ты мог полюбить другую (я замычал и замотал головой) — и так же взывать к моему рассудку. Я вижу, как тебе тяжело. Но очень редкие люди не проходят через это. Поверь, когда-нибудь и ты забудешь меня... Если хочешь, мы можем остаться хорошими и добрыми друзьями?

— И будем играть в пятнашки?

— Ты думаешь, мне легко?

— Нет, почему же? Чтобы сообщить мне, что больше не любишь, ты проделала такой путь... И пешком, и на машинах. Даже с риском для жизни...

— Какого ответа ты от меня ждешь?— спросила она.

— Кто он?

— Я же сказала, врач, хирург.

— В каком он звании? Полковник? Подполковник?

— Нет, капитан медицинской службы. Это тебя больше устраивает?

— Конечно, не так обидно. Все-таки свой брат — средний офицерский состав.

— Я очень довольна, что хоть этим угодила тебе.

— Так угодила, что дальше некуда!

— Все, иди спать!— раздраженно бросила Таня и принялась искать свою полевую сумку. Наконец увидела ее. Она стояла как раз за моей спиной, прислоненная к стене.

— Таня, я его знаю?

— Возможно,— ответила она, надевая через голову сумку.

— Кто он?

— Зачем тебе?

— Что я, его съем?
— Хорошо. Марат Ибрагимович Габиев.
— Татарин?
— Нет, осетин.
— Хоть в этом ты постоянна,— горько заметил я.
— В чем?— она подозрительно посмотрела на меня.
— Одного нацмена сменила на другого.
— Гм... до сих пор мне это как-то не приходило в голову,— оживилась она.

— Может, скажешь по-дружески, чем он взял верх надо мной? Раз между вами ничего не было, то, надеюсь, этот вопрос не покажется нескромным?

— Ого, мы начинаем говорить пакости!

— Прости, у меня это получилось нечаянно.

— Хорошо. Он намного старше тебя. Намного. Ему, в общем, за тридцать.

— Вот как? Старик.

— Да, пожилой. Но я с некоторых пор, понимаешь, перестала обращать внимание на его возраст. Что еще? Внешность у него самая обычная. Ты по сравнению с ним красавец...

— Не надо,— оборвал я.

— Но когда он оперирует,— просветленно продолжала она,— он бог. За пять месяцев работы в госпитале у него не было ни одного летального случая. Позавчера он оперировал двенадцать часов. Сам Бурденко похвалил его в одной из своих статей...

— Ясно. Прекрасный хирург, будущее светило. А дальше?

— Что дальше?

— Он любит тебя?

— Не знаю. Нравлюсь, наверно.

— И тебе этого достаточно?

Она вдруг покраснела:

— Прости, но это уже не твоя забота.

— Значит, все впереди?

— Да, впереди,— резко подтвердила она и, не глядя на меня, сказала:— Будь счастлив, я пошла!..

— Подожди!— я вскочил с пола и загородил собой дверь.— Одну я тебя не пущу!

— Ах вот что тебя пугает!.. Иди ложись спать: ничего со мной не случится.

— Ты думаешь, они с тобой в пятнашки играть будут?— зарычал я.— Да за каждый из твоих орденов они тебя всем скопом...

— Чудак,— неожиданно мягко отозвалась Таня,— неужели ты думаешь, что я им живой дамся?

Она легким движением руки поправила полевую сумку. Там в одном из отделений лежали трофейный «вальтер»— подарок иптаповцев — и две лимонки.

— Послушай,— твердо заявил я,— я провожу тебя только до первой попутной машины с солдатами. Все. Если ты против, чтобы я провожал, я пойду следом...

— Хорошо. Я подожду во дворе,— примирительно сказала она.

— Где угодно!— буркнул я и стал одеваться. Через несколько минут я был готов. Взял автомат, вышел во двор.

Таня стояла у калитки и внимательно следила за какой-то букашкой, которая беспечно путешествовала по ее рукаву... Не ушла, ждала. Знала, что я все равно пойду следом.

— Ты уже?— удивилась она.

— Долго ли умеючи,— неожиданно для себя ответил я пошлейшей дежурной фразой.— Я сейчас. Только сбегая предупрежу дежурного по части...

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Оставив позади село с его хатками, садами, огородами, мы двинулись вдоль узкоколейки. Последний состав прошел по ней, наверно, еще до войны. Во всяком случае, я не заметил каких-либо свежих следов деятельности человека. Запустение было полное: рельсы заржавели, шпалы прогнили, полотно заросло травой.

Километра через три перед нами появился такой же запущенный и забытый разъезд. Будка путевого обходчика зияла черными провалами окон с выбитыми стеклами. Наружная штукатурка местами осыпалась, и ржавые потеки поднимались по стенам до самой крыши. На уцелевшем неизвестно с каких времен огородном пугале почти не осталось тряпья. И валялось старое, просматриваемое насквозь эмалированное ведро...

Вскоре мы свернули в лес. По примеру разведчиков я перевесил автомат на правое плечо стволом вперед.

Из такого положения я мог в любую минуту открыть огонь.

Таня шла позади по другую сторону дороги. Двигались молча, потому что все было сказано и никакие слова уже ничего не могли изменить. Точнее, почти молча: изредка мы все-таки переговаривались... О чем?.. То она, видя, как я утопаю в грязи, говорила: «Иди сюда, здесь суше!», то я. Но, как ни трудно было шагать, каждый старался держаться своей обочины и только, когда грязь становилась неодолимой, переходил на противоположную сторону.

По меньшей мере прошел час, как мы были в пути, а еще не появилась ни одна машина. И не только попутная, но и встречная. Над дорогой висела глухая давящая лесная тишина, которую нарушало лишь чавканье наших сапог. И где-то вдалеке, возможно в нескольких километрах, стоял ровный, едва слышный шум моторов: на смену одним фронтovým дорогам, вконец разбитым, разъезженным, затекшим жидкой грязью, приходили другие — еще гладкие, не расхлябанные, но такие же недолговечные и обреченные.

Вчера, по словам Тани, когда она проходила здесь, дорога была как дорога. То есть не совсем: и грязи хватало, и машины буксовали. Но, шагая по обочине, она даже не очень запачкала сапоги. Однако не прошло и суток, как все это превратилось в реку неподвижной, стоячей грязи, зажатой между деревьями.

Судя по всему, здесь ночью прошло целое танковое или механизированное соединение — корпус или бригада. Все, что еще не затекло грязью, хранило глубокие следы гусениц...

После того как мы вошли в лес, Таня не раз предлагала мне, чтобы я вернулся. Но я лишь отмахивался, хотя тоже понимал, что бандеровцы вряд ли устроят здесь засаду. В их распоряжении было несчетное множество удобопроходимых, просохших, нераскисших лесных и проселочных дорог. И едва ли найдется одна из них, на которую в течение дня не ступила бы нога какого-нибудь бедолаги — солдата или офицера. Так что выбор у них был большой. И необязательно, чтобы вершить свои подлые дела, лезть в грязь...

Да и лес был редкий, с частыми прогалинами и вырубками. И если моя близорукость мешала мне проникнуть взглядом дальше ста метров, то у Тани зрение бы-

ло как у снайпера. Она разглядела даже маленькую пичужку, откуковавшую не то мне, не то ей великое множество лет.

Сейчас Таня тоже первой увидела стоявшую впереди грузовую автомашину.

— Вот и попутка!— воскликнула она.

Мы прибавили шагу, насколько можно было прибавить его в этой осклизлой размазне.

— Только бы из-под носа не ушла!— сказала Таня.

Я понимал: она думала не столько о себе, сколько обо мне. Ей ни при каких обстоятельствах не хотелось быть виновником моей гибели, если я, не дай бог, напорюсь на бандеровцев. Поэтому главным сейчас для нее было как можно быстрее спровадить меня.

Наконец я тоже разглядел заляпанную грязью полуторку. Она стояла, накренившись на правый борт, чуть ли не по самый кузов увязнув в густой жиже. Водителя нигде не было. То ли ушел, бросив машину, то ли сидел в кабине.

— Ну эта попутка пойдет лишь с первопутка!— произнес я в рифму и смутился: трудно было придумать более неподходящее время для рифмоплетства. Да и, признаться, я им никогда не занимался. Даже в школьные годы, когда все пишут стихи. Может быть, подспудно сказалось Славкино влияние? С кем поведешься, от того и наберешься...

— Я вижу водителя!— сообщила Таня.— Он сидит в кабине... Эй!— крикнула она звонким голосом шофера и помахала рукой.

Дверца распахнулась, и на подножку выбрался широкоплечий солдат с автоматом в руке.

Увидев нас, он положил свой ППШ на сиденье.

— Теперь подождет,— сказала Таня.— Я думаю, ты можешь возвращаться,— добавила она, останавливаясь перед огромной рытвиной, заполненной грязью.

— Ты боишься, что мне не осилить этой лужи?— насмешливо спросил я.

— Наоборот, я уверена, что нет такой лужи, перед которой дрогнули бы твои кирзачи!— Таня охотно поддержала взятый мною иронический тон.

Но мне тут же расхотелось продолжать дружескую пикировку. На душе у меня было так пакостно, так мерзко, что, если бы не эти сволочные бандеровцы, я

бы давно повернул назад. А там бы надрался как сапожник. Один или со Славкой. И пусть бы меня потом разжаловали или отправили в штрафной. Останусь жив — хорошо, а убьют — еще лучше. Вот только маму жалко. Страшно подумать, как она будет переживать...

Таня, конечно, тоже всплакнет. Незаметно для всех. И в первую очередь для своего расчудесного хирурга...

Перебравшись с немалыми ухищрениями через лужу, мы наконец правой обочиной дотащились до машины.

— Вот там проходите, под деревьями,— показал водитель.

Это был плотный коренастый парень с широким восточным лицом — не то казах, не то бурят. Но порусски он говорил чисто, без малейшего акцента.

Совершив небольшой крюк под деревьями, мы вышли к кабине. Отломленными ветками и тряпкой, которую нам кинул водитель, тщательно соскоблили с сапог верхний, самый толстый слой грязи.

Длинный-длинный шаг (Тане пришлось даже приподнять юбку), и мы по одному забрались в кабину.

— Как у вас здесь хорошо,— сказала Таня шоферу. И, положив свою тонкую руку на мою, шепнула мне:— Сейчас можешь идти...

— Подожди,— ответил я.— Сержант, какие планы на будущее?

— Какие планы на будущее?— повторил он.— Жду, может, кто возьмет на буксир.

— А что с машиной?

— Полетел карданный вал.

— Фиють!— присвистнул я.— Так можно просидеть до второго пришествия!

— А чего мне? — пожал плечами шофер.— Тушенка есть... Хлеб есть... Концентраты есть... Махра есть... Газетка тоже,— он показал на ящичек, где среди всякого хлама лежала сложенная гармошкой газета.

— Свежая?— поинтересовался я.

— Была когда-то. Но для самокруток сгодится.

— Вижу, все есть... Не хватает только бандеровцев.

— А для них у меня тоже есть,— он взял с сиденья автомат.— Останутся довольны... С этим — четыре диска!

— Видишь, я в полной безопасности,— повернулась ко мне Таня.— Иди!

Она пробовала хитрить со мной, но ее хитрость была шита белыми нитками.

— Давно стоишь?— спросил я водителя.

— Часа три будет...

— И сколько за это время прошло попуток?

— Да ни одной,— откровенно признался он.— Я тоже удивлен, куда они все подевались?

— Вот так-то,— сказал я Тане.

Чтобы понять друг друга, нам не надо было лишних слов. Я видел, что она ждет не дождется, чтобы я ушел, а сама тут же потихоньку потопает дальше: ведь в тринадцать ноль-ноль у нее кончается увольнительная. Она же поняла, что я раскусил ее и теперь, хоть режь меня на куски, не отступлюсь...

— Нет, все-таки иди,— сказала она в четвертый или пятый раз.

— Никуда я не пойду, пока не посажу тебя на попутку,— ответил я.

— Уже посадил, иди,— все еще противилась она.

— Сержант, мы пойдем,— сказал я и прыгнул на землю.— Пошли!

— Ну и тип же вы, товарищ Литвин,— вздохнула она и последовала за мной.

— Сержант, мы не прощаемся с тобой,— сказал я шоферу.— Может, еще догонишь нас и подвезешь!

— А вы куда?

— До Рогаток. Там армейский госпиталь.

— Так вам лучше до перекрестка, а там повернуть направо. Дадите небольшого кругалю, зато дорога, как в ЦПКО имени Горького. Уйдет столько же времени.

— А может, ее за ночь тоже так — в смятку?— недоверчиво спросил я.

— Нет,— замотал он головой.— Я тут перед самым вашим приходом все кругом облазил. Дорога что надо!

— А отсюда далеко до перекрестка?— спросила Таня.

— Да километра три будет!

— Всего только?

— Ну, может, чуток поболее...

— Счастливо оставаться!— сказала водителю Таня.

— Всего наилучшего, сержант!— попрощался я.
— А вам счастливого пути!— в свою очередь пожелал нам водитель.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

До перекрестка мы шли лесом. Не самым лесом, конечно, а его краем, который прилегал непосредственно к дороге. Здесь также все было разбито и перепахано машинами, объезжавшими главную грязь. Но кое-где попадались сухие места, и мы с Таней, прыгая с кочки на кочку, с валежника на валежник, с пня на пень, за час добрались до поворота. Водитель не обманул нас: дорога, что вела вправо, действительно осталась в стороне от ночных передвижений. Она была почти не тронута машинами: редко-редко где виднелись отпечатки колес и гусениц. Впрочем, танк только сунулся сюда и повернул обратно.

Хотя шагать по такой дороге было одно удовольствие, в целом она производила гнетущее впечатление. Сразу стало темно. Куда-то исчезли просветы, через которые с воли могли проникнуть утренние лучи. Высоко над головой плотно смыкались и тихо шумели кроны деревьев. У самой дороги буйно разросся и близко подступал к колее густой кустарник.

Таня прошла еще немного и остановилась.

— Я считаю, что ты должен вернуться,— категорическим тоном заявила она.

— Это еще почему?— спросил я, не спуская глаз с куста, за которым что-то чернело.

— Потому что машин нет и не будет. Ты что, собираешься провожать меня до госпиталя?

— А почему бы и нет?— ответил я.— Но не беспокойся: я доведу тебя только до начала села и тут же поверну обратно.

— Свалилась я на твою голову...

— Еще не долго терпеть...

— Это ты прав... Пошли!

Я спустился с дороги и обошел куст. На задних ветках висела, зацепившись, большая черная тряпка. Вглядевшись, я узнал немецкий танковый комбинезон или, вернее, то, что когда-то было им.

— Что там?— спросила Таня.

— Остатки эсэсовской формы. Хозяина или наши прикончили, или бандеровцы.

Я поднялся на дорогу.

— Мундир?— полюбопытствовала Таня.

— Комбинезон...

Мы пошли дальше. Чтобы не идти рядом, я все время вырывался вперед. Но Таня если и отставала от меня, то самое большее на пять-шесть шагов. Иногда ее легкие шаги я слышал совсем близко.

И вдруг она отчаянно вскрикнула:

— Осторожно!

— Где? Что?— я отскочил в сторону, нащупал спусковой крючок. Тревожно зашарил взглядом по кустам.

— Задавишь!

Из-под моих ног выскочил крохотный лягушонок и, ловко орудуя лапками, запрыгал к кювету.

— Фу ты черт! Я уж думал...

— Ты посмотри, как улепетывает!

— И правильно делает!

— Ты думаешь, мы ему позавидуем?

— Я — нет. У меня есть кому завидовать.

— Ах вот ты что имеешь в виду... Нет, дружок, еще неизвестно, кто кому должен завидовать...

— Слабое утешение.

— Хочешь, я тебя поцелую?— вдруг спросила Таня.

— Хочу,— ответил я мгновенно пересохшими губами.

— Нет, нет, всего один раз,— сказала она, встретив мой засиявший взгляд.

Я шагнул к ней.

— Руки, руки назад,— приказала она.— Губы тоже...

— Губы тоже назад?— не удержался я от улыбки.

В эти короткие секунды я позабыл обо всем. Опустив мешавший мне ствол автомата к бедру, я рывком обнял Таню и осыпал ее лицо радостными поцелуями... Глаза... лоб... щеки... не то ямочка, не то складка... Может быть, она еще останется со мной, передумает уходить к другому?

— Пусти!.. Пусти!..— Таня уперлась мне кулаками в грудь и смотрела злыми глазами.

Я отпустил ее. Вот и вернулся с неба на землю.

— Ну все, пошли!— сказала она, поправив ремень на своей узкой талии.

— Это уже утешение посильнее, — насмешливо заметил я.

Она на ходу метнула на меня сердитый взгляд, но ничего не ответила.

«Нашла блажь, — искал я объяснение случившемуся. — Последний поцелуй. В благодарность за то, что, рискуя жизнью, провожаю ее. А может быть, как она сама говорила, остатки чувства?..»

На этот раз я вырвался далеко вперед и потому первым увидел идущих нам навстречу двух солдат. На груди у них висели автоматы. Оба шли неторопливой, разболтанной, ленивой походкой и о чем-то разговаривали между собой по-украински. У меня мгновенно вспотели руки, ослабли ноги...

Я быстро оглянулся: Тани еще не было...

Теперь все решали секунды. Но, не зная, что это за люди, наши ли солдаты или переодетые бандеровцы, я не имел права даже шевельнуть рукой. Заприметив враждебность с моей стороны, они тоже могли заподозрить в нас кого угодно: наши — бандеровцев, а бандеровцы — наших. И изрешетить обоих очередями.

Они заметили меня, как только я вышел из-за поворота. Но я не видел, чтобы их как-то обеспокоило или заинтересовало мое появление: как будто они находились на прогулке и на каждом шагу им встречались люди. Не требовалось большой сообразительности, чтобы понять, в чем дело. Уже очень были неравны силы: два автомата против одного, к тому же, по моей непростительной беспечности, болтавшегося где-то у бедра...

Только бы Таня подольше оставалась за поворотом! Если между мной и неизвестными завяжется перестрелка, результаты которой не трудно предвидеть, она сможет где-нибудь затаиться и дожидаться, когда бандиты уйдут...

Я прошел на виду у незнакомцев всего несколько шагов, но уже знал, что должен делать...

Первое — предупредить Таню...

Второе — как можно скорее установить, кто они?

Но как?

Я не знаю, сколько еще прошло времени, может быть секунды две или три, как вдруг меня озарило.

— Эй, хлопцы! — я громко крикнул издалека, чтобы услышала Таня. — Вы не видели коня?

— Ни, не бачылы,— откликнулся краснощекий крепыш, шагавший слева.

Кажется, наши...

— Не бачыв коняку?— обратился он к приятелю — криворотому солдату с двумя медалями «За отвагу».

— Не бачыв,— ответил тот.

В его ответе мне послышалась усмешка. Сердце мое сжалось. И хотя шагавший слева крепыш по-прежнему улыбался мне открытой и широкой улыбкой, я в нее уже не верил...

Господи, только бы Таня вняла моему предупреждению, не вышла раньше, чем я узнаю, что это за люди...

В считанные секунды мне нужно было покончить с неизвестностью и, если это бандеровцы, не дать им приблизиться настолько, чтобы они могли взять нас голыми руками.

И тут мне пришла в голову отчаянная мысль: а что, если спросить их об этом в открытую?

Я крикнул:

— Хлопцы, а вы случаем не бандеровцы?

— Ни, мы жиды из Бердычева!— глумливо ответил криворотый, направив на меня автомат.

Бандиты!

Я остановился, ноги мои налились свинцом...

Только бы сейчас не вышла Таня. От них уже пощадь не дождешься...

— А ну, ходы до нас!— поманил меня по-прежнему улыбающийся крепыш.

Теперь за каждым моим движением неотрывно следили оба вражеских автомата.

Нет, не успеть... Бандеровцы изрешетят меня очередями раньше, чем я вскину свой ППШ.

— Кынь автомат!— приказал мне косоротый.

Нет, не успеть... Неужели все, конец?

И тут в нескольких шагах, у самой дороги, я увидел широкую кряжистую ель. А что, если?..

Чужие жестокие лица бандеровцев не выражали ничего, кроме предвкушения волнующей и острой забавы.

До ели оставалось еще три шага...

Я слегка оступился на скользкой колее, и тотчас же, один за другим, грянули три пистолетных выстрела...

Улыбка на краснощекой физиономии крепыша сменилась удивлением. Не понимая, откуда и кто стрелял, он рухнул на землю. За те мгновения, что Тане удалось подстрелить одного бандита и на какую-то секунду отвлечь от меня внимание другого, я успел залечь за елью и вскинуть автомат. Но успел залечь и косоротый. Сперва он полоснул короткой очередью по Тане, продолжавшей бить из пистолета откуда-то из-за кустов на повороте, а потом по мне. Пули прошли совсем рядом со мной. И тут я срезал его...

Нет, он был не убит, а тяжело ранен. Во всяком случае, я видел, как он, не выпуская из рук автомата, пополз к обочине, но не дополз.

Я осторожно приподнялся. Краснощекий лежал там, где его настигли пули Тани. Криворотый тоже был неподвижен. За ним через дорогу тянулась лента крови.

В этот момент до меня долетел тихий стон Тани.

Неужели он все-таки ее ранил, сволочь?!

— Танюшка, я сейчас!— крикнул я, поднимаясь.

Я подобрал автоматы обоих бандитов, вытащил у криворотого из кармана пистолет. Не хватало еще, чтобы кто-нибудь из них, если остался в живых, выстрелил нам в спину.

Затем бросился к Тане. Она сидела за кустами на земле, держась перепачканными кровью и грязью руками за живот, и черное пятно на юбке разрасталось с каждой секундой.

Я упал на колени.

— Танюш... ну, что ты?.. ну, что ты?.. ну, что ты?

Меня всего трясло, и я видел, как быстро белело и заострялось ее прекрасное лицо. Еще больше становились и без того огромные темные глаза. Она смотрела на меня близким, беспомощным и виноватым взглядом.

— Как там?— тихо спросила она, показывая глазами на дорогу.

— Полный порядок. Одного ты ухлопала, одного я,— я никак не мог унять дрожь в руках, роясь в полевой сумке.— Я не знал, что ты так метко стреляешь...

Наконец я нашел индивидуальный пакет и содрал с него вощанку.

— Дай я,— потянулась Таня.

— Ты что?— не понял я.

— Тогда сверху...

— На юбку?

— Нет,— с трудом проговорила она.— Расстегни юбку сверху... Пояс... И приспусти ее чуть-чуть...

— Ну да, я так и хотел,— сказал я, расстегивая на боку юбку.— Таня, ты здорово сообразила, что лучше до поры до времени не открывать своего присутствия. Честное слово, ты вела себя как бывалый разведчик...

Таня слабо упиралась руками в землю, чтобы мне легче было делать перевязку. Я спустил ей юбку до бедер. Сбившаяся впереди комом рубашка — обыкновенная солдатская нижняя рубашка с тесемками на груди — до талии почти вся была пропитана кровью, которая уже подсыхала.

— Тампон наложи,— тихим голосом подсказала Таня.

Приподняв окровавленный комок рубашки, я увидел два входных пулевых отверстия... На этот раз все, конец. Теперь спасти Таню могло только чудо, которого откуда было ждать. Вот бы когда пригодился мой счастливый соперник, так и не узнавший о своем счастье, хирург — «золотые руки». Но нас разделял как минимум десяток километров. Хотя бы появилась какая-нибудь машина, не обязательно попутная, пусть встречная. Можно не сомневаться, что я заставил бы ее водителя повернуть обратно. Да что машина! Я рад был бы и простой крестьянской подводе. Правда, добираться на ней дольше, зато не так трясло бы...

Не поднимая глаз, в которых предательски плескались отчаяние и растерянность, я плотно затягивал бинт, стараясь, чтобы — не дай бог! — не съехала повязка.

Я делал перевязку, хотя понимал, что с таким же успехом мог бы и вовсе ничего не делать. Таня еще жила, дышала, смотрела на меня тоскливым, измученным взглядом, придерживала пальцами, помогая мне, повязку, но смерть уже начала свое страшное дело...

Таня словно прочла мои мысли:

— Видишь, Гриша, как все просто решилось...

— О чем ты?— я сделал вид, что не понял ее.

— Хоть мы с тобой еще те медики,— проговорила она,— но все-таки понимаем, что это хана...

— Для кого-то, может, хана, а для нас — ни хрена! — Я даже не заметил, что опять заговорил в рифму. — Отсюда до госпиталя всего несколько километров. Если не найду машину или — на худой конец — подводу, я тебя на руках донесу!

— Я на днях взвешивалась. Пятьдесят два килограмма. Без сапог и полевой сумки.

— Что ж, приплюсуем еще три килограмма!

Я говорил бодрым, уверенным голосом, а глаза мои — будь они неладны! — выдавали меня с потрохами: я смотрел на Таню взглядом затравленного зверька.

— Но сперва, — продолжал я, — попробую найти машину!.. Слышишь?

Я врал самым безбожным образом. Никогда в лесу еще не было тихо, как сейчас.

— Я побегу ловить, хорошо?

— Хорошо, дружочек...

Я поднял с земли автомат и тут заметил, что Таня украдкой водила правой рукой по траве. В нескольких сантиметрах от этого места поблескивал «вальтер».

Я перехватил пистолет и сунул его в карман.

— Ну и зря! — криво усмехнулась Таня.

— А вот я не убежден! — воскликнул я. — Будешь стреляться потом... после того, как не поладишь со своим расчудесным хирургом... как теперь со мной...

— Он ничего не должен знать...

— То есть как ничего?

— Кроме этого, конечно, — чуть заметным кивком головы уточнила Таня. — Остальное уже не имеет значения...

Вот так ты и вернулась ко мне, моя родная, моя единственная...

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Поначалу я собирался подробнейшим образом рассказать, как метался по лесным дорогам в поисках машины или подводы и как, не найдя их, сделал волокушу

из прогнившего немецкого брезента, найденного мною в лесу. Затем я перенес Таню на этот самый брезент, подложив под нее охапку мохнатых и пышных еловых веток. Осторожно, чтобы ненароком не зашибить, я выбирал ровные места и шел, шел, шел, время от времени устраивая короткие — на одну-две минуты — привалы. Таня давно потеряла сознание, и, когда я наконец вышел на проселок и увидел первую машину — «Студебекер» из СПАМа, ей осталось жить всего полчаса, ровно столько, сколько потребовалось, чтобы довести ее до госпиталя. Когда прибежали санитары с носилками, Таня уже была мертва.

Я никого не хотел видеть, ни с кем не хотел встречаться и прямо из госпиталя пешком поплелся домой. Но с дороги — я еще не дошел до околицы — меня вернули армейские смершевцы. Они доставили меня в отдел, где заставили подробно описать все, как было. Потом усадили в грузовик и в сопровождении вооруженных бойцов отправили на место схватки. Там смершевцы осмотрели каждый кустик, каждый след. И, опять-таки не отпуская меня, погрузили убитых бандеровцев на машину и вернулись в село. И снова я был вынужден писать о том, как мы брели по лесу, как навстречу нам вышли двое вооруженных военных и как мы, заподозрив в них бандитов, первыми открыли по ним огонь. Я должен был записать также все, о чем я с ними перекрикивался и в какой последовательности.

Из штаба армии я выбрался только к вечеру. Меня до нашего села подвез на бронетранспортере зампотех соседней бригады, который когда-то лежал со мной в госпитале. И впрямь земля слухами полнится. Он, оказалось, уже слышал, что девушка-санинструктор застрелила двух матерых бандитов. И теперь всю дорогу требовал от меня новых и новых подробностей.

Только я сошел с машины, как меня вызвал комбат. Еще утром предупредив дежурного по части, что отлучусь на часок, я отсутствовал в батальоне целый день. Я смотрел на комбата отрешенным взглядом и ни слова не произнес в свое оправдание. Мне было безразлично, что со мной будет. Трудно сказать, чем бы все кончилось, если бы не капитан Бахарев, узнавший от нашего смершевца о гибели Тани. Но налицо был факт серьезного нарушения воинской дисциплины, и мне вкатили пятнадцать суток домашнего ареста. И предупредили,

что в случае повторения я загремлю в штрафной батальон.

Не знаю, что со мной было бы, если бы на следующую ночь нас не подняли по боевой тревоге и не перебросили на другой участок фронта. Это было перед началом Львовско-Сандомирской операции. Вот тогда-то на марше я и обнаружил в своем вещмешке забавную фарфоровую куколку — подарок Ганны. С тех пор прошла почти вся жизнь. Эта безделушка по-прежнему стоит у меня на столе, и, глядя на нее, я вспоминаю о том далеком времени, когда в первый раз любил и был любимым...

В этот
горький,
медовый
месяц



«Дорогая мамочка!

Получила твоё письмо и расстроилась. Ты напрасно считаешь, что мы ещё дети. Теперь редко кто женится поздно. Так что с этим вопросом давай покончим и не будем к нему возвращаться. Ты же сама говорила: что ни делается, всё к лучшему. Вчера мы отметили нашу первую круглую дату — ведь прошло уже полмесяца, как мы поженились. Купили бутылку шампанского и выдули её вдвоем. Пили за твоё здоровье, за здоровье Аркашкиных родителей, за наше будущее. Я уверена, что он тебе понравится. И зря ты говоришь, что на карточке он какой-то странный. Не такие уж у него и узкие плечи. Это виноват фотограф, снимавший его при плохом освещении. И вообще, основное в мужчине не внешность, а ум и доброта. Мамочка, а знала бы ты, как он пишет, не оторвешься, хотя в газете работает недавно, всего два месяца. Не зря, видно, пять лет учился в университете. Да и наследственность сказывается. Отец его известный в Туле журналист, заведует в газете отделом советского строительства. Представляешь, какой умный? А главное, мы любим друг друга и сами удивляемся этому: ещё две недели назад были совсем как чужие, каждый сам по себе, и в несколько дней всё переменялось. На этом кончаю, потому что тороплюсь: завтра утром уезжаем в командировку, ещё надо что-то простирнуть, погладить. Эта поездка важная для нас. У меня тоже есть свои планы, о них напишу как-нибудь потом, ничего страшного, может, тоже стану писателем. Ха-ха!

Твоя глупая и непутевая дочь Марина.

И не пиши больше до востребования. Он всё равно моих писем не читает, не то воспитание!

Ой, чуть не забыла: я взяла Аркашкину фамилию.

Теперь я Бальян Марина Ивановна... Смешно? Ничего, привыкнешь!»

Ей было двадцать, ему двадцать три. Она окончила педучилище и преподавала в младших классах. Он же недавно приехал по распределению. Они познакомились в пельменной, что наискосок от редакции. Если бы он забежал в столовую напротив, они бы так и не встретились. Вряд ли знакомство состоялось, если бы они также не сели за один столик. И уж, конечно, ничего не было бы, если бы они одновременно не заказали пельмени, которые разваливались на вилке и шлепались в тарелку. Это почему-то смешило обоих, и смех незаметно сблизил их. Через неделю они поженились.

В этом городе у них, естественно, еще своего жилья не было, и они сняли комнатку на окраине. Теперь они спали на чужой кровати с допотопными металлическими шпешечками и укрывались чужим одеялом. Со стены на них лукаво и добродушно поглядывали чужие Хемингуэй и Есенин.

Когда до начала учебного года осталось двадцать шесть дней, оказалось, что она не хочет возвращаться в школу. И привела причину: у нее нет педагогического дара, даже ученики не слушаются, считают девчонкой. Так как он еще соглашался со всем, что она говорила, то и на этот раз у него не нашлось возражений. И тут его озарило: а что, если ей бросить школу и также заняться журналистикой?

На следующий день рано утром они помчались в Дом печати, где размещались редакции газет. Там он узнал, что его срочно посылают в командировку к рыбакам. И вдруг молодой жене пришла в голову мысль: а почему бы не поехать вместе? «И в самом деле, почему? — обрадовался он. — Но хорошо бы ей тоже от какой-нибудь газеты?» Довольные тем, что все пока складывается как нельзя лучше, они понеслись дальше. За полчаса обегали все редакции, но везде разговор о работе заходил в тупик, как только узнавали, что у нее среднее педагогическое и никакого опыта. Лишь в молодежной газете, в которой он годом раньше проходил практику, ей выписали удостоверение внештатного корреспондента. И дали первое задание — написать о лучших рыбаках. Но при этом добавили: от того, как она напишет, зависит и остальное...

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Аркадий и Маришка сидели прямо на палубе и любовались горами. Утро было как по заказу. Притомившееся за лето солнце грело еле-еле, зато светило так, словно хотело возместить нехватку тепла. Небо уходило в безмерную высь и отливало нежнейшей матовой голубизной. Таковую же бездонность таила и зеленоватая толща воды. Но так было и полчаса назад, и час, и два. И только горы с осевшими на них пушинками облаков непрерывно меняли свои краски и очертания.

Ошеломленная красотой великого озера, Маришка без конца теребила мужа:

— Аркаш, ну посмотри, ну посмотри!

— Да я смотрю,— уверял он и украдкой целовал ее в затылок.

А горы и впрямь представляли собой захватывающее зрелище. Еще недавно, с большого расстояния, они казались старым, пропыленным макетом местности из папье-маше. Но уже через полчаса они превратились в невысокие холмы, покрытые обыкновенной, изрядно выгоревшей на солнце травой. А еще через некоторое время Маришка сравнила их с отдыхающим верблюжьим караваном. Она увидела даже потертости и проплешины на боках. И вдруг эти холмы начали быстро расти, подниматься к небу. Крохотные травинки на глазах становились деревьями. То была тайга. Она круто взбиралась по склонам до самых вершин. И тень от облаков, медленно проходивших рядом, тянулась на многие километры. Станным образом потемнело, хотя по-прежнему слепило, если смотреть на него, солнце. Сверкала и переливалась серебром необозримая рябь озера.

Вскоре все пространство впереди заполнила громадная гора. Она тяжело нависала над бухтой и вызывала у Аркадия и Маришки смутное и тревожное беспокойство.

Берег был уже совсем близко, и все же катер не только не сбавил скорости, но даже, казалось, пошел быстрее.

— Это там?— Маришка показала рукой.

— Как говорил один из моих школьных друзей: если не там, то где же?— ответил Аркадий.

Маришка с уважением посмотрела на мужа. Он часто шутил и всегда умно.

Подошел помощник капитана. То ли с детства, то ли от ранения одна нога у него была короче другой, сильно отвисало плечо. Накуролесила природа и с его лицом: чего стоил кривой, повернутый в сторону нос. И все-таки он не был уродлив. Все скрашивала улыбка — добродушная и застенчивая.

Помощник не скрывал своей симпатии к Аркадию. Он, видимо, питал слабость к приезжим журналистам.

— Можно считать, доехали, — проговорил он.

— Вот видишь: приятель не ошибся! — подмигнул жене Аркадий и быстро поднялся. — Я схожу за рюкзаком.

— Не забудь зубные щетки! — напомнила Маришка.

— Еще успеете, — заметил помощник.

— Да здесь всего минут десять ходу! — воскликнул Аркадий.

— Будет хорошо, ежели за час доберемся.

— За час? — Маришка даже привстала на колени. — А вы не разыгрываете нас?

— Как можно, — ответил помощник. — Обман зрения. Поначалу все с непривычки ошибаются.

— Чудеса! — протянула Маришка.

— Да, чего другого, а чудес у нас навалом.

— А я знаю, что вы имеете в виду! — как-то по-детски проговорила Маришка.

— Известно что, — улыбнулся помощник.

— Прежде всего, фауна, да?

— Ну и фауна тоже.

— Я просто сгораю от любопытства! — воскликнула Маришка.

— Смотри, не сгори раньше времени, — шутливо предупредил Аркадий.

Помощник посмотрел на них и осторожно спросил:

— А вы не муж и жена?

— Друзья, — поспешила ответить Маришка.

— Старые друзья, — уточнил Аркадий.

— Стало быть, товарищи по работе, — раздумчиво сделал вывод помощник.

И вдруг Маришка залилась краской. Аркадий удивился: до сих пор она не смущалась, скрывая правду об их семейном положении. Так они договорились перед отъездом. Им казалось, что иначе начнутся разговоры: вот, мол, хитрецы, умудряются справлять медовый месяц за счет своих редакций. Ведь не скажешь каждому,

что оплачивается только его командировка. Но, как бы там ни было, им уже удалось провести многих. О том, что они муж и жена, пока догадалась лишь одна старуха, пустившая их на ночлег. И то потому, что Маришка забылась и позвала Аркадия застегнуть ей лифчик.

«Ах вот почему она покраснела!»— наконец сообразил Аркадий. Сам того не ведая, помощник подковырнул Маришку. Хороши товарищи по работе, если она за эти три дня командировки так и не вынула блокнота, не написала ни строчки, и Аркадию пришлось корпеть за двоих. Самое непонятное было то, что она принимала это как должное и не очень-то задумывалась о своем журналистском будущем. Иногда, правда, как будто спохватывалась и стыдилась своего слабоволия. Вот как сейчас.

Катер сбавил ход, и всех троих обдало тяжелыми и холодными каплями.

Подошел единственный матрос катера — молодой парень с тонкими пижонскими усиками. Несмотря на погоду, он был в одной тельняшке и босиком.

— Капитан вызывает,— сказал он помощнику.

Тот заковылял к рубке.

— Радиограмма получена: зайти в Максатюху, захватить представительницу комбината, Ангелину какую-то,— сообщил матрос.

— Прямо сейчас?— спросила Маришка.

— Ну нет!— запротестовал Аркадий.— Вначале они нас должны высадить.

Матрос, шлепая босыми ногами по палубе, прошел за спиной Аркадия и неожиданно сел между ним и Маришкой.

— А мы ее не отпустим!— сказал он и нахально придержал взгляд на ее лице.— Оставайтесь с нами!

Маришка игриво помотала головой:

— В другой раз.

— На обратном пути, что ли?— не унимался матрос.

— На обратном,— отшучивалась Маришка.

Аркадий отвернулся. Ничего не поделаешь, Маришка многим нравилась, он это давно заметил.

Еще какое-то время разговор продолжался в этом духе и угас. Матрос поднялся и скрылся в люке.

— Аркаш, что это?— удивленно воскликнула Маришка, глядя в небо. Там надсадно кричали чайки.— Смотри, они преследуют какую-то большую птицу!

— Это скопа, ну, ястреб-рыбак.

— Он от них удирает!

— Смотри, догнали!

С громкими и пронзительными криками чайки настигли ястреба и принялись его клевать. Тот совсем не защищался, только время от времени медленно и плавно переворачивался через голову. И что особенно поразило Аркадия — ни разу не взмахнул своими большими черными крылами.

Нет, он не удирал, он отступал, как и положено ястребу. Преследуя его, чайки галдели и кричали, как базарные бабы. Наверное, их приводило в ярость то, что он не унижался до драки с ними.

Из камбуза выглянула кокша, она же благоверная капитана, как ее называл Аркадий.

— Простить не могут, что тоже рыбкой кормится,— объяснила она.

— Неужели заклюют?— жалостливо спросила Маришка.

— Где уж им с ястребом сладить. Покрутятся, покрутятся да и отстанут...

И в самом деле, вскоре от вихрящейся стаи чайки начали отпадать одна за другой. Они устремлялись к воде и назад уже не возвращались.

Постепенно освобождаясь от погони, скопа поднимался все выше и выше, пока наконец его не накрыла подступившая совсем близко тень от облаков.

Катер сбавил ход.

И тут Аркадий с Маришкой увидели шедшую на большой скорости моторку. В ней находились двое. На парне, стоявшем на носу, пузырилась голубая рубаха; на корме розовела вторая фигура.

— Аркаш, это не браконьеры?— спросила Маришка. Ей давно хотелось посмотреть на живых браконьеров.

— Скорее — гондольеры.

Маришка фыркнула.

Из рубки на палубу быстро и ловко, несмотря на короткую ногу, спустился помощник капитана.

— Гена!— крикнул он вниз.— Давай выноси продукты!

Немного погода на палубу из люка тяжело плюхнулся мешок с выпиравшими буханками хлеба. Потом, цепляясь углами за комингс, просунулся большой фанерный ящик. Брякнула канистра в рыжеватых подтеках, должно быть с подсолнечным маслом. И только после этого выглянула знакомая физиономия с усиками.

Двигатель, казалось, чуть дышал.

Помощник предупредил:

— Дальше не пойдем.

— А с нами как?— спросил Аркадий.— Мы ведь не святые, по воде не ходим.

— Пересядете в лодку!

— Тогда другое дело... Я сбегаяю за вещами!

Аркадий быстро спустился в кают-компанию. Взял рюкзак и лежавшие отдельно зубные щетки. Когда поднялся на палубу, катер уже мерно покачивался на волнах с отключенным двигателем.

У левого борта, обступив обеих парней с моторки, собралась команда. Чуть поодаль стояла Маришка, с интересом наблюдавшая за встречей.

Высокий парень в голубой рубаше с широко распахнутым воротом живо рассказывал о каких-то рыбацких неурядицах. Пропустив начало, Аркадий все же по отдельным фразам уяснил, что вчера здешним рыбакам крепко досталось — они были вынуждены при большой волне ремонтировать ставной невод. Что-то у них там лопнуло, что-то пришлось поднимать со дна. И хотя лодки непрерывно захлестывало водой — едва успевали отчерпывать, — рыбаки кое-как справились с починкой. Зато ушла вся рыба. Даже на уху ребятам не осталось.

Помощник капитана потянул рыбака за рукав:

— Тут к тебе товарищи. Слышишь, Горячев? Из газеты.

Парень повернул к Аркадию свое красивое, пожалуй, даже очень красивое лицо, с которого еще не сошла улыбка, и посмотрел недолгим внимательным взглядом.

— Здравствуйте!— произнес он и основательно пожал руку.

Затем шагнул к Маришке. Ее маленькая кисть сразу исчезла в его широкой ладони.

— Афанасий,— представился он.

— Марина,— ответила она, не спуская с него своих живых карих глаз.

Так вот он какой — Афанасий Горячев, знатный рыбак, ради которого Аркадия послали в командировку. И в самом деле, есть чему удивляться — чтобы с такой внешностью да еще и работал лучше всех. Утверждал себя, так сказать, на нелегких трудовых путях. О подобном герое можно только мечтать.

Горячев поинтересовался:

— Здесь будете говорить или в бригаде побывать хотите?

— Конечно, в бригаде! Мы столько слышали о ней.— И чтобы сразу расположить к себе бригадира, с улыбкой добавил:— И о вас тоже.

— Неужто?— спросил Горячев, впрочем ничуть не удивившись.— И что же говорят обо мне?

Сзади кто-то прыснул.

— Вам не нравится, что вас хвалят?— ответил на вопрос вопросом Аркадий.

Горячев негромко рассмеялся, обнажив белые зубы:

— Нет, почему? Хвалите, ежели охота есть.

— Знаете, мы собираемся пожить у вас денька два. Чтобы вникнуть во все, посмотреть...

— Нам не жалко, вникайте,— ответил Горячев. Он подошел к мешку с хлебом, потрогал рукой.— Сейчас поедем. Только продовольствие погрузим.

Второй рыбак — молоденький бурят с девичьими ямочками на смуглых щеках — спустился в моторку. Ему подавали, а он аккуратно укладывал продукты на разостланный брезент.

— Ну, все,— произнес Горячев, передав в лодку канистру с подсолнечным маслом.

Маришка шагнула к борту.

Между катером и моторкой зеленела по меньшей мере метровая полоса воды.

— Подождите,— сказал Горячев.

Он легко прыгнул в лодку и протянул Маришке руки. Она оперлась на них и в одно мгновение очутилась на передней скамейке. Усадив ее на сухое место, Горячев подал руку Аркадию.

Но Аркадий сам оттолкнулся от трапа, и под ним промелькнула и осталась позади узкая полоса пучины.

— Спасибо,— сказал он бригадиру и сел рядом с Маришкой.

Матрос с пижонскими усиками отвязал лодку и передал конец Горячеву. Затарахтел мотор, заведенный Мишей — так звали молоденького рыбака.

Горячев крикнул на катер:

— На той неделе соли привезите! А то у нас кончается!

— Ладно,— ответил помощник капитана.— Сколько?

— Килограммов двадцать!

— Привезем!

— И газеток свежих!

— Будут!..

Берег приближался быстро. Уже можно было различить рыбацкий стан. А над ним все пространство занимала гора. Чтобы разглядеть вершину, надо было задирать голову. Порой — если не смотреть вниз, на воду,— казалось, что еще минута, другая, и они на всем ходу врежутся в скалы.

— Красиво?— вдруг обернулся и спросил Маришку Горячев, сидевший вполоборота на носу.

— Очень,— ответила она, незаметно поправляя на коленях юбку.

— Чем не Рерих?— не удержался от сравнения Аркадий.

Маришка промолчала.

— А мы ко всему этому пригляделись,— досадливо произнес Горячев, доставая из кармана смятую пачку «Беломора».— Ничего, кроме рыбы, не видим.

— Это вам кажется,— заметила Маришка.

— Да нет, глаз уже не тот стал,— убежденно проговорил Горячев. Он долго перебирал сломанные папиросы, пока наконец не нашел целую. С первой же спички — по-солдатски — прикурил.

Сделав глубокую затяжку, сказал:

— Укорачиваем жизнь.

— А вы бросьте курить!— посоветовал Аркадий.— Я уже троих знаю, которые отучились. Наш главный редактор, например. Тридцать лет курил!

— А я этой весной бросал, ничего не получилось,— признался бригадир.

Аркадий обратил внимание: курил Горячев деликатно, в сторону, чтобы не обдавать Маришку табачным дымом.

И она с благодарностью оценила это:

— Афанасий, курите нормально.

— Есть курить нормально!— весело и послушно отозвался тот. Но и после этого продолжал выпускать дым в сторону.

Теперь до берега было рукой подать. Рыбацкий стан подслеповато поглядывал маленькими окнами на бухту. Открылась дверь, и на пороге показалась человеческая фигурка, пока еще не различить — мужская или женская. Завидев моторку, с неистовым лаем устремилась к воде разношерстная собачья стая.

— Ой, сколько собак!— воскликнула Маришка.

— На семь упряжек,— просто и деловито сообщил Горячев.

— А зачем они?

— Перевозить грузы...

И тут Аркадий вспомнил (он где-то читал об этом): с ледоставом рыбаки на собаках перевозят снасти и все имущество на большую землю. Ведь машины здесь не ходят.

Заскрипела галька под днищем. Горячев спрыгнул на берег и прикрикнул на лаек, полукругом обступивших лодку:

— Я вот вас!

Собаки отошли, но лаять не перестали.

— Пусть побрешут,— сказал Горячев.— Вы погуляйте тут. А я пойду скажу, чтобы малость прибрали в помещении.

На ходу обернулся, сказал двинувшемуся было за ним Мише:

— Продукты хоть бы перенес на берег...

И Миша нехотя вернулся к моторке.

Собаки надрывались.

— Нехорошо, нехорошо так встречать гостей,— упрекнула их Маришка.— Неблагодарно. Вас много, а нас всего двое... Так-то.

После этого небрежно отвернулась от собак и присела на камень.

Вдруг от стаи отделился огромный черный, с белыми пятнами пес. Не спуская с Маришки подобревших внимательных глаз, приблизился к ней на расстояние двух-

трех шагов. Она доверчиво посмотрела на него. Великан неторопливо подошел и положил ей на колени свою тяжелую лобастую голову. И в то же мгновение собаки перестали лаять.

— Вожак,— сказал Аркадий.

Маришка принялась гладить лохматую собачью голову, заглядывая в большие и умные глаза.

— Мариш, смотри: он просит прощения,— заметил Аркадий.

— Нет, не просит,— возразила Маришка.— Мы не виноваты. Мы чуть-чуть рассердились, что нас не поняли. Мы только хотели знать, что это за люди и зачем они приехали? Правда?

Глаз благодарно помаргивал.

Маришка почесала у вожака за ухом. Аркадий вздохнул: он нисколько не удивится, если эти собачьи нежности затянутся до самого отъезда. Однажды она так же, ничем больше не интересуясь и не занимаясь, почти целую неделю провозилась с ежонком, которого он подобрал в парке.

Чтобы напомнить ей о цели приезда, Аркадий спросил:

— Ты еще не думала, о чем хочешь писать?

— Нет,— Маришка виновато посмотрела ему в глаза.

Судя по всему, она не возражала бы, чтобы он снова накатал за нее. Однако на этот раз, решил Аркадий, он выдержит характер до конца. Или — или...

— Расскажешь коротенько, как живут, работают...

Она послушно кивнула головой.

— Лучше хорошая зарисовка, чем плохой очерк.

И с этим согласна.

— Чтобы лишний раз не отрывать рыбаков от дела, говорить с ними будем вместе...

Попутно он покажет Маришке, как беседовать с людьми. Ей еще невдомек, что это своего рода искусство.

На крыльце появилась молодая женщина в широкой юбке и белом платке, туго повязанном на голове. Стрельнув в сторону приезжих глазами, она сбежала по ступенькам и скрылась под соседним навесом.

Следом из рыбацкого стана вышли Горячев и длинноты рыбачьи в резиновых сапогах. Молча двинулись

к гостям. Бригадир шел впереди и приветливо улыбался. Он был чертовски красив. Высокий, широкоплечий, статный. На открытой и крепкой шее прямо сидела небольшая аккуратная голова. Интересным было лицо: узкие, с монгольским напылом век глаза светились какой-то совершенно славянской голубизной.

Аркадий поймал себя на том, что любит этим ладным и пригожим парнем. Впрочем, ему вообще было свойственно влюбляться в ярких людей. Сам некрасивый — узкоплечий, неспортивный, — он питал слабость к красивым. Но в отличие от того, что с ним бывало раньше, сейчас что-то мешало до конца довериться этому чувству. Оно словно упиралось в некий невидимый ограничитель.

Он взглянул на жену и сразу понял: все дело в ней. Она сидела как-то вся подобрившись. Сквозь легкий загар пробивался густой румянец. Неужели ее так взволновало новое знакомство? Конечно, было бы странно, если бы Горячев ей не понравился. Аркадий вспомнил, с каким любопытством она смотрела на бригадира еще на катере и в лодке. Однако теперь, когда в поведении Маришки появилась какая-то неестественность, ему вдруг стало как-то не по себе...

Рыбаки подошли.

— Ну как, помирились? — спросил Горячев.

Маришка обеими руками приподняла тяжелую голову жоака и заглянула ему в глаза:

— А мы и не ссорились, правда?

— Ишь как он у вас! — не без удивления заметил Горячев. — Что хвостом выделявает! А вообще-то он пес серьезный. И к нашим не ко всем подходит.

Маришка бросила на бригадира короткий благодарный взгляд и отпустила жоака. Тот неожиданно лизнул ее в щеку и отошел к собакам.

— Пойдемте в избу! — сказал Горячев.

Маришка поднялась сразу.

Они двинулись к стану, вблизи которого рыбачка в широкой юбке и белом платке разжигала плиту. Из железной трубы вился дымок.

— Посторонись! — раздалось сзади.

Мимо них, бухая резиновыми сапогами, пробежал с хлебным мешком на плече длиннолицый рыбак.

На бегу обернулся и крикнул хрипло:

— Ноленс-воленс!

— Что это он? — спросил Аркадий.

— Да так — дурит, — ответил Горячев.

Позади послышалось сопение. Аркадий обернулся и увидел Мишу, тяжело тащившего на спине большой фанерный ящик. Паренек тоже пробовал бежать, но догнать длиннолицего, весело и лихо вырвавшегося вперед, ему было не под силу.

— Дай-ка мне, — сказал Горячев.

— Не надо, я сам, — с трудом переводя дыхание, ответил Миша.

— Пусти, — Горячев ухватился за ящик и легко поднял его.

— А я? — спросил паренек.

— Дуй за канистрой! — Горячев поставил ящик на плечо.

— Хорошая деталь, — шепнул Аркадий Маришке. — Запоминай!

Сперва Горячев вообще шел играючи — все такой же статный и сильный. Но ящик своими острыми, окованными металлической лентой ребрами больно врезался в шею и плечо, и бригадир все чаще менял положение.

Аркадий догнал его:

— Давайте помогу!

— Тут недалеко, — ответил тот.

Действительно, до стана оставалось каких-нибудь десять-пятнадцать метров. На крыльцо вернулся и поджидал Горячева длиннолицый. Он и теперь не стоял спокойно — все как-то дергался. Приветливо улыбалась гостям женщина в белом платке. Она держала в руках ведро, до краев наполненное рыбой.

Проходя мимо плиты, Горячев сказал рыбачке, продолжавшей во все глаза разглядывать приезжую парочку:

— Скоро у тебя? А то гости проголодались!

— Ой, я быстро! — захлопотала та у широкого противня на плите. В один миг вывалила туда рыбу. Подкинула дров в топку. И еще успела между делом поздороваться с Аркадием и Маришкой — с каждым в отдельности.

Горячев поставил ящик на крыльцо и попросил длиннолицего:

— Отнеси, Борисыч, в кладовку.

Тот наклонился, ухватил ящик руками и неожиданно произнес, глядя в глаза Аркадию:

— О, вермишель! О, вермишель!

Очевидно, он и впрямь любил подурить. И Аркадий на всякий случай, чтобы не обидеть его молчанием, ответил улыбкой.

Горячев широко распахнул дверь:

— Заходите в наш дворец!

— Благодарим, синьор,— в тон ему сказал Аркадий.

Комната была большой и темноватой. Вдоль дощатых стен тянулись нары, прикрытые одеялами. В дальнем углу, за цветастой занавесью, стояла единственная кровать, даже в полумраке она поражала белизной подушек.

За столом сидели трое. Вид у них был недовольный, полусонный. Аркадий понял: их только что подняли с нар.

— Наши кадры,— представил рыбаков Горячев.

Двое встали, уступая место. Третий, с толстой и короткой шеей, угрюмо посмотрел на вошедших и остался сидеть.

— Садитесь на тепленькое,— предложил Горячев.

— Спасибо за заботу,— улыбнулся Аркадий и обратился к тем двоим, которые поднялись:— А вы?

— Мы тут... на нарах,— ответил парень с круто вздернутым носом и молодецкими светлыми кудрями.

Второй рыбак, маленького роста, с глубокими складками у рта, промолчал. По возрасту он годился большинству в отцы.

Все сели.

Аркадий вынул из кармана два блокнота, один положил перед собой, другой многозначительно пододвинул к Маришке.

Сердитый рыбак вдруг поднялся и, не говоря никому ни слова, направился к выходу.

— Николай Иванович, ты куда?— спросил Горячев.

— Приду,— ответил тот и вышел, хлопнув дверью.

Рыбаки, сидевшие на нарах, переглянулись.

— Вот тут мы и живем,— сказал бригадир, пересев на освободившееся место.

Его взгляд вдруг остановился на Маришке. Прошло несколько долгих секунд.

Аркадий с силой нажал на карандаш — с треском обломился конец грифеля. Что ж, Горячева понять можно. Лицо у Маришки обыкновенное, но с секре-

том — изумительно хорошеет, едва начинают блестеть ее живые карие глаза. На улице чуть ли не каждый непременно оборачивался и смотрел ей вслед: тоненькая и стройная, она ходила легко и весело. Обычно такое внимание к ней вызывало у Аркадия гордость. Но сейчас он подумал, что хорошо бы сказать Горячеву, что они муж и жена.

И тут Маришка вдруг сама — вот умница! — по-видимому чтобы выйти из неловкого положения, неожиданно начала свое первое в жизни интервью:

— Сколько в бригаде людей?

— Сейчас семь.

— Это вы, — принялась подсчитывать она на пальцах, — двое этих товарищей... четвертый, который вышел... мальчик, что был с нами... и тот — с длинным лицом... седьмая — женщина?

— Точно, — подтвердил Горячев.

Аркадий улыбнулся: его умилила Маришкина догадка.

— А она тоже рыбачка?

— Ну, не рыбачка, а все одно — первый человек в бригаде. Стряпка она.

— Стряпуха? — удивленно переспросила Маришка.

— Ну, стряпуха...

Кто-то громко фыркнул. Аркадий и Горячев одновременно обернулись. У порога стоял Миша и торопливо вытирал рукавом обрызганный подбородок — смешлив он, видно, был до крайности. Вошедший следом за ним длиннолицый неслышно прикрывал дверь, которая все время отходила. На его узких губах была улыбка.

Справившись с дверью, он подошел к Маришке, вкрадчиво спросил:

— Простите, вы имели в виду меня, когда сказали о вытянутой физиономии?

— Да, — игриво призналась Маришка.

— Я готов отдать должное вашей наблюдательности, — продолжал он иронически, — но у меня есть и достоинства.

— Не сомневаюсь, — сказала она.

— Премного благодарен.

Миша хмыкнул и вразвалку двинулся к нарам.

«Кто он, этот явно городской человек? — подумал Аркадий. — Какими ветрами занесло его в отдаленную рыболовецкую бригаду?»

Горячев сказал длиннолицему:

— Давай, Борисыч, присаживайся.

Тот наклонился к бригадиру и негромко спросил:

— А может, сразу придвинем стол?

— Как вы смотрите насчет того,— Горячев обратился к гостям,— чтобы пообедать с нами?

Маришка смутилась:

— Я не знаю... Аркаш, как ты?

— А что нам делать?— с внезапным раздражением ответил он.— Столовых ведь здесь нет!

— Ну и хорошо, что нет,— добродушно заметил Горячев.— Мы ваши гости! Тьфу ты! Вы наши гости. Все перепутал!— поправился он под Мишино хихиканье.

Противень был в добрую половину стола. В нем, издавая умопомрачительный запах, томились в собственном соку омули. Кудрявый (его звали Толя) и его немолодой приятель (Алексей Дмитриевич) осторожно дотащили и поставили это огромное блюдо на уже придвинутый к нарам стол. Пораженные размерами жарехи, Аркадий и Маришка переглянулись: неужели все это можно съесть?

И Маришка не выдержала:

— Ой, сколько рыбы!

— Да тут еще мало,— поиграл ямочками на щеках Миша.

— Мало?!— изумилась Маришка.

— Однажды мы два таких противня умяли.

— Нашел чем похвалиться,— с недовольным видом упрекнул Горячев.

— А что в этом плохого?— поднял брови Миша.

— А то. Лучше бы помалкивал...

Наконец все расселись. Горячев, который придвинул свою табуретку поближе к Маришке, сделал знак Алексею Дмитриевичу. Тот достал из-под нар поллитровку, поставил на стол. У Борисыча заблестели глаза.

Вскоре на столе все было готово: составлены стаканы, нарезан хлеб. Перед каждым Толя положил вилку.

Горячев повернулся к двери:

— Где же Николай Иванович и Юзя?

— Я схожу,— мигом отозвался Толя.

Юзя... Так вот как звали эту славную, улыбчивую женщину. Странное, необычное для сибирской стряпухи имя.

— Я разолью?— потянулся к бутылке Борисыч.

— погоди,— сказал ему Горячев и шутливо добавил:— А то вся выдохнется.

Послышались голоса — мужской и женский. На пороге показался, держа перед собой стопку мисок, Толя. Из-за его спины, улыбаясь, выглядывала Юзя. Замыкал шествие угрюмый и молчаливый Николай Иванович.

— Волки, что ли, вас утащили?— спросил Горячев.

— А я всю посуду перемыла!— весело и бойко ответила Юзя.

— На пару с Николаем Ивановичем?

— Он мне ножи точил.

— Да, от других не дождешься...

Пока вошедшие рассаживались, Борисыч серьезно и трепетно разливал водку.

Горячев был предупредителен. Выбрал для Маришки омуля, вытер листком из школьной тетрадки ее вилку.

— Ну, поехали!— с облегчением произнес Борисыч, первым поднося стакан ко рту.

Сквозь застольный шум Аркадий услышал:

— Ваше здоровье, Марина!

— Взаимно,— ответила она.

— Ваше тоже,— недалеко от Аркадия повис в воздухе стакан, зажатый сильной и красивой рукой.

Аркадий чокнулся.

— А со мной?

Глаза у Маришки страшно блестели.

— За тебя,— тихо сказал Аркадий.

— За тебя,— также шепотом ответила она. Залпом выпила, задохнулась, закашлялась.

Аркадий не помнил, чтобы Маришке еще когда-либо было так весело. Она заливалась смехом по любому, самому пустяковому поводу.

Неожиданно главным объектом дружеских насмешек стал непьющий Миша. Сперва принялись подтрунивать над тем, что он якобы не только уплел свою долю жарехи, но и тайком перебрался на другую половину противня. Затем зубоскалили по поводу его пропавшей вилки. А она действительно исчезла. Прямо как сквозь землю провалилась. И Горячев стал уверять всех, что Миша нечаянно проглотил ее за едой.

Маришка хохотала до слез.

Как и когда на столе появилась вторая бутылка, Аркадий не заметил. Его охватило беспокойство за жену. Он шепнул ей:

— Больше не пей.

Она капризным тоном ответила:

— А я хочу!

— Ты уже и так под градусом.

— Я под градусом?— и она разразилась смехом.— Афанасий, скажите, я под градусом?

— Да вроде бы пока не с чего,— неопределенно сказал Горячев.

— Вот видишь!— торжествующе заявила она.

— Я-то вижу...

— Смешно!— фыркнула она и отвернулась.

И вновь сошлись у бутылки пустые стаканы.

— Я прошу тебя.

— А я буду!..

Аркадий слышал, как она опять поперхнулась и закашлялась. До него донеслось:

— Вы закусывайте, Марина. А то в голову ударит.

— Будем!..

То там, то здесь глухо позвякивали граненые стаканы.

— Есть больше надо,— услышал Аркадий.

— Не хлебом единым!— ответила Маришка.

— Вот потому и ешьте рыбку,— сказал Горячев.—

А то, выходит, зря ловили.

Трудно с ним не согласиться. Ест она всегда без аппетита. Ковырнет вилкой, зачерпнет ложкой разок-другой и уже сыта. Откуда у нее только силы берутся?

— В Опочках на ярмарке продаются яблоки...

Рядом склонился к столу Борисыч. Он глядел прямо в лицо Аркадию и неопределенно улыбался.

— ...в красном лаке на каждом прилавке... Стихотворение известного поэта Цыбина. Надо думать, слышали?

— Конечно.

— Как человек — человеку...

Взгляд у него был явно чем-то озабочен.

— Вы позволите, я вам расскажу свою жизнь? Не для печати?

— Сейчас?— удивился Аркадий.

— Можно и потом...

Его блуждающий взгляд вдруг сполз с лица Аркадия, спустился по рукаву пиджака на стол и уперся в отставленный стакан с водкой.

— Если не будете...— чуть слышно долетела до Аркадия напряженная хрипотца.

— Постыдились бы, Олег Борисович!— расколол общий шумок звонкий голос Юзи.— Вы же человек образованный, не простой!

Тот отдернул руку от чужого стакана и побито поплелся на свое место.

Стало тихо.

— Все!— поднялся Горячев.— Пообедали, согрелись. А теперь кончайте смолить баркас — через два часа на подрезку.

Во время вчерашнего шторма в одном из баркасов обнаружилась течь. Ночью все заделали, а утром, когда перебирали невод, опять в нескольких местах просочилась вода. Николай Иванович, Толя и Миша занялись ремонтом.

— Николай Иванович, я тебе не нужен?— спросил Горячев.

— Нет,— буркнул тот.

— Пойдемте,— сказал бригадир Аркадию и Маришке.— Поговорим.

Он кивнул на гряду больших камней, за которыми деревья начинали свое восхождение на гору.

От свежего морского воздуха быстро прошло опьянение. Маришкино лицо прояснилось. Глаза засветились восхищением, как будто она впервые увидела всю эту красоту — и эти серые, покрытые мхом камни, и этот уже наполовину осенний лес, и эту начинающуюся прямо здесь, у ее ног, высоченную гору.

Она отстала, разглядывая что-то в траве.

Аркадий спросил:

— Почему ваш помощник такой мрачный?

— Николай Иванович? В прошлом годе... как раз в это время... лодку с людьми потопил.

— Как потопил?

— Капитанил на одном суденышке. «Быстрый» название. Не слыхали?

— Нет.

— Так вот: получил он задание срочно доставить горючее для флота. А туман был — в двух шагах не

видно. Вахтенного матроса на носу поставили, а тот возьми да и просмотри лодку.

— Много погибло?

— Трое. Отец, мать и дочка. Студентка из Иркутска. Домой на каникулы прилетела.

— За это его и сняли с капитанов?

— А за что же?

— И не судили?

— Как не судили? Два года условно дали.

Они вышли к узкой тропинке, устремившейся вверх между камнями. По ней поднялись на первую террасу, сплошь заросшую невысокими лиственницами и кустарником.

— Вот здесь можно!— Горячев показал на маленькую аккуратную скамеечку, врытую у самого обрыва.

— Откуда она здесь?— удивился Аркадий.

— Для гостей поставили. Чтобы закатами да восходами любовались.

Аркадий подошел и с опаской пошатал скамеечку — до того ненастоящей, игрушечной казалась она среди этих огромных скал.

— Выдержит?

— Пока выдерживала.

Аркадий сел. Действительно, залив отсюда виден как на ладони. За ним в синеватой дымке тянулись до далеких гор, сливавшихся с горизонтом, почти морские расстояния.

Горячев присел рядом, закурил.

— Так о чем будем говорить?— в его голосе послышалась едва приметная усмешка.

— Подождем Марину,— сказал Аркадий.

А Маришка не спешила. Она поднималась к ним между валунами и собирала камешки. Иногда с любопытством поглядывала вверх и улыбалась.

Аркадий покосился на Горячева. Тот неотрывно смотрел на Маришку и так же аккуратно, в сторону от скамейки, стряхивал пепел.

— «Увезу тебя я в тундру...»— донеслось снизу.

Пела она негромко, вполголоса, как привыкла напевать дома.

— Афанасий!— вдруг крикнула она наверх.— Что это за камень?— и показала.

— Уж больно далеко, не видать,— отозвался Горячев.

Она сделала еще несколько шагов.

— И отсюда тоже не видно?

— Да нет, надо бы поближе.

— А я думала, что зрение у вас, как у орла!

— Где уж нам до орлов...

Маришка остановилась под обрывом.

— Аркаш, дай руку!

Он помог ей взобраться на пригорок. Она появилась перед ними, тонкая и стройная, как гимнастка. Жестом королевы протянула Горячеву камень.

— Ну так что это за самоцвет?

Бригадир взял и неуверенно произнес:

— Яшма, однако?

— Вот так-то,— сказала она мужу, пряча находку в карман курточки. И, усевшись в тесной серединке, заявила весело и требовательно:— А теперь, Афанасий, расскажите нам что-нибудь!

Но тот смущенно ответил:

— Уж лучше вы спрашивайте, а я буду отвечать.

— Идет,— согласился Аркадий.— Первый вопрос: кто ваши родители?

— Отец на фронте погиб. Отчим у меня. Да вы его знаете — Алексей Дмитриевич.

— Это маленький такой? На Ролана Быкова похожий?

— Он самый. А мать по хозяйству.

— Вы один у нее?

— Еще трое.

— Все сыновья?— живо спросила Маришка.

— Два сына, одна дочка.

— Тоже рыбаки?— поинтересовался Аркадий.

— С удочкой иногда посиживают. Один брат милиционер в райцентре, другой — киномеханик. Все как у людей: рыбка — рыбкой, а работа — работой.

— Странные мысли для знатного рыбака,— кокетливо заметила Маришка.

— Не нравится?

— Не очень,— призналась она и назидательно-шутливым тоном добавила:— Надо любить свою профессию.

Господи! Она еще и поучает его...

— Придется полюбить... ради знакомства,— ответил Горячев.

— Я ведь серьезно.

— Так и я не шучу.

Маришка произнесла, склонив голову набок:

— На будущее: остерегайтесь говорить странные мысли. А то я их записываю.

— Дайте поглядеть,— протянул руку Горячев.

— Нет,— она спрятала блокнот за спину.

Да ведь они в открытую флиртуют при нем! И Аркадий сказал с едва сдерживаемым раздражением:

— Мариш, поменяйся с Афанасием местами, а то через тебя нам неудобно разговаривать.

— Пожалуйста,— она пожала плечами и пересела на освободившийся край скамейки.

Стало теснее, потому что Горячев сидел теперь в середине и не прямо, а вполборота к Аркадию. Маришка же оказалась как бы на отшибе.

Аркадий продолжал засыпать Горячева вопросами:

— А Толя давно в бригаде?

— Третий год. Так же как я, после армии. Но он у нас последнюю путину.

— Почему?

— Как поженятся с Юзей, так и завербуются на БАМ.

— Всего двое из бригады?— снова подала голос Маришка.

— Хватит,— ответил Горячев.— Должен же кто-то и рыбку ловить, кормить строителей.

— Редкое у нее имя, нерусское. Она что, полька?— спросил Аркадий.

— Мать будто полька. А отец русский, чалдон.

— Симпатичная она очень.

— Это уж как найдет на нее.

— Но вас-то она слушается?

— Как бригадира не послушаешься? Должность такая.

— Остались двое, о которых мы с Мариной ничего не знаем,— Миша и тот... Олег Борисович.

— Миша первый год у нас. Покуда в учениках ходит.

— Ну и как, получится из него рыбак?

— А куда ему деваться?

— Ну с Мишей ясно. А вот...

Аркадий не договорил фразы. Маришка вдруг поднялась со скамейки и, не спуская с чего-то взгляда, двинулась между деревьями. Опять какой-нибудь камешек. Прямо как ребенок.

Горячев также проводил ее своими узкими голубыми глазами.

— А вот об Олеге Борисовиче,— наконец продолжил Аркадий,— мы не знаем что и думать.

— Людей не хватает,— вздохнул Горячев.— А то бы давно отправили на принудительное лечение. Может, этой осенью и пошлем.

— А кем он был раньше?

— Все об этом спрашивают. Последние десять лет в ресторане на вокзале работал. Старшим официантом. Там и спился.

— А сюда как попал?

— Как все — по объявлению.

— Но впечатление он производит человека образованного, начитанного...

— Что верно, то верно. Книг про любовь он прочел столько, что иному и не снилось.

— Только про любовь?

— А в других книгах, говорит, одна тягомотина. Чего их читать?

— А кем он был до того, как стал официантом?

— Разное говорят. Но лучше вы уж спросите у него самого. Вон он подышать свежим воздухом вышел... Сейчас позову его... Борисыч!

Тот вздрогнул и обернулся.

— Подымись-ка на минутку!

Бывший официант покачнулся и нетвердыми шагами двинулся к валунам.

— Начали с вас и не заметили, как перешли на других,— сказал Аркадий.— Придется еще разок вернуться.

— Опять, что ли, будете спрашивать о родных?— усмехнулся Горячев.

— Ну что вы! Так, немножко пройдемся по биографии.

— Это можно...

Олег Борисович еще был под хмельком. Аркадий и Горячев втащили его на пригорок, усадили на скамейку.

— Да, да, я расскажу вам свою жизнь,— обрадовался он, узнав, что им также заинтересовался приезжий журналист,— и вы напишете обо мне книгу.

Аркадий и Горячев переглянулись.

— Я покажу вам фотографии,— продолжал Олег Борисович,— на которых я снят в разное время, начиная с тридцатых годов...

У него неожиданно зачесались ладони, и он ожесточенно поскреб их ногтями.

— Я долго скрывал свое социальное происхождение. Теперь оно уже никого не пугает. Даже начальников отдела кадров. Мой отец был колчаковский офицер. Прапорщик!

— Простите... Мариш, иди послушай!— крикнул Аркадий жене, собиравшей цветы: разговор обещал быть интересным.— Быстрой!

— Сейчас!— ответила она, все так же не спеша переходя с одного места на другое.

— Ее не дождешься,— сказал Аркадий.

Ему показалось, что в голубых глазах Горячева вспыхнула и тут же погасла какая-то затаенная мысль.

— Он никого не вешал, не убивал,— продолжал исповедоваться Олег Борисович.— Он был тихий человек. Интендант. По маминым рассказам, он даже красть не умел. Да и потом не научился. Еще до войны он стал главным бухгалтером рыбокомбината. Его помнят многие...

— Давеча Алексей Дмитриевич вспоминал его,— сказал Горячев.— Говорил: ни за что не подумаешь, что у Колчака служил.

— Никто, ни один человек не знал об этом,— вскинул голову Олег Борисович.

— Зато теперь все знают,— заметил Горячев.

— Посмертно!

— Да и живи он сейчас, все одно не тронули бы.

— Теперь — да!

— А и раньше тоже.

— Я уважаю Афоню. Он самый добрый человек на этих берегах. Но в текущей политике он... вот!

И Олег Борисович постучал костяшками пальцев по скамеечке.

— С чего это вдруг?— усмехнулся Горячев.— Вроде бы одни и те же газеты читаем? Одно радио слушаем?

— Все равно... вот!

— Доказал.

— О нем пишите только хорошее!

— Артист!— кивнул головой Горячев.

— Да, я был артистом,— неожиданно подхватил Олег Борисович.— Я сыграл двадцать ролей!

— И в кино, говорят, в каком-то снимался,— заметил Горячев, отказываясь от дальнейшей пикировки.

— Кино — ерунда. В кино каждый — актер!

— Мариш! — снова позвал Аркадий: разговор становился все интересней.

Но она даже головы не подняла.

— Запомните, мой друг, — Олег Борисович положил руку на колено Аркадию: — Только театр — колыбель таланта.

— А вы долго были актером?

— Три года! Три лучших года! Но был съеден бездарями.

— Как съеден?

— Как омуль. Раз — и нет! Прекратил свое существование.

— А потом?

Бывший актер покосился на Аркадия и торжественно произнес:

— Пришел к этим славным и простым людям. Как Жан-Жак Руссо. С ними я оттаял душой! Приложился сердцем к этой упоительной и первозданной красоте!

И ни словом о своем официантстве. Как будто его и не было.

Маришка возвращалась, держа перед собой букет из оранжевых цветов. Лицо ее сияло.

Еще издали она крикнула:

— Мальчики, посмотрите, какая прелесть!

Аркадий выжидательно смотрел на жену — ей все в диковинку: и цветы, и камни, и рыбаки.

— Афанасий, как называются эти цветы?

— Саранки! — ответил тот.

— Как?

— Са-ран-ки!

— Почти саранча. Такие красивые и так некрасиво называются, — она даже слегка расстроилась, замедлила шаг.

— Их можно и по-другому назвать.

— Ну и как же?

— Царские кудри.

— Это уже лучше. Даже — хорошо!

Она вытянула из букета золотисто-желтый цветок.

— А это кто?

— Надо поглядеть, — ответил Горячев.

Цветок и впрямь был прекрасен. Его золотисто-желтые лепестки окаймлялись по краю черным барха-

том. Из узкого горлышка выглядывали темные бусинки тычинок.

— Знаешь, он рос один,— сказала Маришка мужу.— Один во всем лесу.

— Так уж и один,— усмехнулся Аркадий.

— Нет, правда, я обошла все кругом и больше не нашла!

— А зачем тебе больше? Что бы ты сейчас с ними делала?

— А просто посмотреть на них нельзя?

— Вот черт!— досадливо проговорил Горячев.— Где-то я видел их. И никак намедни. Все поросло ими.

— Ох и красиво, наверно!— протянула Маришка.

— Прямо как ковер... Пстой-ка, вроде бы в этом леску!— Горячев даже встал.— Ну да, за теми деревьями.

— Это далеко отсюда?— живо спросила Маришка.

— Да нет, тут рядом.

— Вы покажете мне?

— Можно...

Маришка встала, спросила Аркадия:

— Ты пойдешь?

Аркадий уже готов был сказать «да», как вдруг поймал на себе внимательный взгляд бывшего актера, выражавший откровенное любопытство. Ах вот что у того на уме! И он ответил Маришке, удивленной затянувшимся молчанием:

— Нет, я еще не закончил разговора с Олегом Борисовичем.

— Пойдемте, Афанасий!— сказала она.

И тот с обычной, видимо перенятой у кого-то, обходительностью пропустил ее вперед и двинулся следом.

Олег Борисович подмигнул Аркадию:

— Ох и любят бабы Афоню!

— Что?— Аркадий даже растерялся от неожиданности.

— Вот и ваша знакомая уже неровно дышит к нему.

— Откуда вы взяли?— тоскливо спросил Аркадий.

— Так видно же!

Продолговатое лицо Олега Борисовича блестело от удовольствия. Как будто все женщины, о которых зашла речь, любили не Горячева, а его — бывшего актера и бывшего официанта.

Аркадий быстро отвел взгляд.

И вдруг услышал осторожное:

— А она кто вам, простите?— И на его колено легла рука с толстыми и короткими пальцами.

Теперь ответ мог быть только один. То есть любой, кроме правды.

— Товарищ по работе.

— А я уж было подумал...

— Хороший товарищ!

— Главное — не жена, не любовница и не дама сердца,— и Олег Борисович снова подмигнул.

Аркадий до боли сжал руками колени. Что же делать? Пойти за ними? Сказать, что тоже решил посмотреть цветы? Возможно, они и поверили бы. А вот бывшего официанта уже не обманешь. И сразу об этом узнает вся бригада. Нет, только не это! К тому же он не уверен, что они удалились, чтобы остаться наедине. Уж очень они были спокойны и будничны. Никакого смущения или взволнованности... А может быть, они ни о чем таком и не думают? Просто ходят по поляне, Горячев все так же предупредителен: помогает перепрыгивать через канавки, с насмешливой торжественностью преподносит какой-нибудь редкий цветок.

Олег Борисович между тем не умолкал. Сперва он говорил о какой-то заезжей москвичке, которая по уши влюбилась в красавца бригадира, а потом два лета подряд приезжала тайком от мужа. Затем стал рассказывать об одной местной библиотечарше, ради Афанасия сбежавшей прямо со свадьбы. Речь его была полна умиления и восторгов победами Горячева.

— А еще была одна, маленькая такая блондиночка...

— Послушайте,— взмолился Аркадий.

Конечно, если Горячев вспомнит, что рядом с ним молоденькая женщина, которой он нравится... женщина, кстати, по его сведениям, свободная... желанная, конечно...

В этом случае только одна надежда... если они спохватятся... что находятся в каких-нибудь нескольких десятках метров... А с другой стороны, почему она должна уступить в первый же день, даже если он ей нравится?..

А разве тогда было как-то иначе?

...Они с Маришкой были знакомы всего неделю. Всего одну неделю. Правда, встречались каждый день.

Он дожидался ее за школьными огородами и глухой тропинкой провожал до общежития, где ютились учительницы. Шесть дней они расставались у порога, а на седьмой день она пригласила его зайти. За неимением стульев они присели на кровать. Все остальное произошло как во сне. Он не знал, что и думать. Впрочем, это уже не имело значения. В ту же ночь он сделал ей предложение. И хотя к той — первой — своей близости они больше в разговорах не возвращались, Аркадия нет-нет да посещали сомнения: а вдруг у нее был кто-то до него? Станным, очень странным казалось ему и то, что она никогда не говорила ему о любви. Как будто слова «Я люблю тебя» или просто «Люблю тебя» или еще проще «Люблю» были для нее запретными. А когда он все-таки спрашивал, она шутливо отвечала: «Не задавай глупых вопросов!» Успокаивал он себя лишь тем, что она воспитывалась в семье, где не признавались какие бы то ни было нежности и разговоры о чувствах...

— Как увидят его, так и дух у них захватывает — у бедных самочек!

— Ведь я просил вас!

— Пардон!

...И вообще, почему после замужества она в отношениях с мужчинами должна быть иной, чем до замужества? Тогда на все потребовалась какая-то неделя. Но то был он — заморыш с узкими, страшно узкими плечами, неизвестно чем потревоживший ее воображение. А тут — Горячев!

— Зря вы отпустили свою приятельницу! — хихикнул Олег Борисович. — Ох и зря!

— Да замолчите же!

Аркадий встал и, покачиваясь, как пьяный, пошел в лес. Он как наяву видел эту картину — Маришку и Горячева, торопливо предававшихся любви. Ее запрокинутую голову, трепетно прикрытые веки, ищущие губы. Это было так зримо, так знакомо, что он застонал.

Теперь он уже метался между деревьями, не зная, куда идти, где искать...

И вдруг он увидел их: Маришка висела на локте у Горячева и заглядывала ему в лицо. Что-то весело рассказывала. В другой руке Горячев держал букетик золотисто-рыжих цветов. Так и нес перед собой — видно, для отвода глаз.

Щеки Маришки горели.

«Сколько времени их не было?— лихорадочно думал Аркадий.— Полчаса? Четверть часа? Час? Много? Мало?»

И тут Маришка увидела мужа. Сильно смутилась — он был уверен в этом,— быстро отодвинулась от своего спутника.

Горячев взглянул на Аркадия насмешливо и как будто снисходительно.

Аркадий молча подошел к Маришке и ударил ее по лицу.

— За что?! — крикнула она, побледнев как полотно.

— Сука,— тихо сказал он.

Перед ним промелькнули светлые и острые как лезвие глаза Горячева.

Аркадий рванулся к нему, но в тот же миг его обхватили и подняли сильные руки. Красивое лицо Горячева было искажено.

— Подонок!— выкрикнул Аркадий. И, отброшенный, едва не опрокинулся на землю.

— Дурак!— сказал Горячев.

Всхлипывая, уходила куда-то в глубь леса Маришка.

«Вот и все,— с разрывающей душу тоской подумал Аркадий.— Вот и все».

А потом он услышал, как Горячев подошел к бывшему официанту, оказавшемуся почему-то рядом, и жестким голосом произнес:

— Ежели сболтнешь кому, выгоню из бригады!

Но что это изменит?

Времени оставалось в обрез. Уже вышли из стана одетые во все рабочее Николай Иванович и Толя. Подождали у крыльца Алексея Дмитриевича. Затем втроем двинулись к берегу. Бухали тяжелые резиновые сапоги. Поскрипывали куртки и брюки. Тянуло табачным дымом.

Горячев и Олег Борисович возились у баркасов.

А рядом с Аркадием, сидевшим на бревнах напротив стана, стоял Миша и ждал ответа. Его прислал бригадир спросить: поедет ли корреспондент с рыбаками на подрезку или раздумал?

Только что в Аркадии все клокотало — скорей, скорей отсюда! Он уже собирался потребовать от Горячева, чтобы тот приказал доставить его на моторке до

первого катера или теплохода, которые пойдут мимо. О Маришке он не думал. Пусть сама решает, как ей быть дальше. Как только вернутся в город, он тотчас же подаст на развод.

Ему и впрямь было ни до чего. Даже задание редакции он отмел как что-то не существенное. Да и вряд ли он сможет написать теперь о Горячеве.

Приглашение ехать на подрезку вмиг все поставило на место. Аркадий опомнился. О том, чтобы вернуться без материала, не могло быть и речи. Главный не простил бы молодому сотруднику. Его любимое выражение: умри, но сделай. Единственное, что остается,— схитрить, писать не столько о бригадире, сколько о его рыбаках.

— Пошли!— сказал он Мише.

Неподалеку от кухни Аркадий, повинувшись какому-то внутреннему голосу, обернулся и увидел жену и Юзю, выходявших из-за стана. Значит, Горячев послал за Маришкой стряпуху, та нашла ее и привела. Юзя шла, обняв гостью за плечи, и что-то негромко говорила. Они даже не взглянули на Аркадия, хотя не могли не видеть его. Только на крыльце Юзя вдруг оглянулась на него и укоризненно покачала головой. Стало быть, ей все известно. Впрочем, это его уже мало трогало.

Аркадий подошел к лодкам и, не глядя, спросил Горячева:

— Куда мне?

— А вон в тот баркасик!— ответил бригадир, прожывая насмешливым взглядом.

Горячев оттолкнул баркас с Аркадием и легко перекинул свое крупное и сильное тело через борт на корму. И остался на руле.

На весла сели Олег Борисович и Миша.

На втором баркасе находились Николай Иванович, Алексей Дмитриевич и Толя — «веселые ребята», как их назвал Миша. Действительно, все трое были на редкость неулыбчивы и молчаливы. Но каждый по-своему. Диапазон неразговорчивости тут был достаточно большой — от угрюмого Николая Ивановича до экономного на слова Алексея Дмитриевича. Из-за того, что не с кем разговаривать, помалкивал и Толя.

Аркадий старался не оглядываться, потому что на

корме его постоянно поджидал усмешливо-презрительный взгляд Горячева.

А впереди в неторопливом вечернем калейдоскопе рождались и умирали фантастические краски и очертания.

Сейчас великое озеро загодя готовилось ко сну. Небо над головой еще по-дневному светилось своей матово-нежной голубизной, а солнце уже укладывалось на ночлег. Густой синевой отливали далекие горы. Там небо было другим — фисташковым.

И вдруг, словно из ничего, выглянула луна. Ее прозрачный бесплотный диск зацепился за случайное облачко и повис на нем, как сережка в девичьем ухе...

— Где невод?— спросил Аркадий Мишу.

— А вот!— кивнул тот на поблескивавшие на воде кухтыли и бочата.

Затем Аркадий увидел торчавшие из воды кольца. Это были гундеры, с помощью которых зацеплялись ловушки. Перед отъездом они с Маришкой познакомились с устройством ставного штурмоустойчивого невода, и поэтому он в общих чертах знал, что к чему.

Удивляло лишь тяжелое молчание рыбаков. Ни команд, ни разговоров, ни громких ударов весел. По-видимому, дело было всем настолько знакомо и привычно, что слова бы только отвлекали.

Вот и двор. Сюда рыба заходит после того, как натывается на стенку ставника и начинает отчаянно искать выход. Но выбраться наружу ей уже на дано. Отсюда у нее один путь — в котел ловушки.

Свернув во двор, баркас Горячева стал поперек котла, которого пока не видно. Вторая лодка подошла к ловушке с противоположной стороны.

Николай Иванович и Алексей Дмитриевич внаклонку что-то колдовали у воды.

— Что они там делают?— спросил Аркадий Мишу:

— Отпускают затяжки.

— А для чего?

— Чтобы освободить нижнюю часть котла.

— Разговорчики!— предупредил Горячев Мишу.

«Это уже в мой огород»,— подумал Аркадий.

Впрочем, им и в самом деле нельзя отвлекаться. Втроем они подтянули днище котла к борту и начали переборку.

Шесть рук уверенно и торопливо продвигались в глубь котла. Нет, Миша все-таки отставал. То ему

вдруг приспичило почесать нос, то неожиданно прищемил палец.

Горячев все время подгонял его:

— Миша, перебирай!

Порой сердито напоминал:

— Не перехватывать!

Аркадий сообразил, что в этом случае в неводе может остаться рыба. Им все больше овладевал азарт. Омули сейчас перегонялись в один из углов котла. Еще минута, другая, и весь улов будет на виду...

— Ты что, в первый раз сегодня?

Горячев бросил недовольный взгляд на Мишу: очевидно, тот опять что-то сделал не так.

Миша даже запыхтел от усердия.

И вот вода между баркасами закипела и засеребрилась от поднятой рыбы.

— Начинай!— негромким голосом распорядился Горячев. По сути дела, это была его первая команда за сегодняшний день.

Замелькали огромные сачки. Живыми килограммами плюхалась рыба в баркас Николая Ивановича.

В считанные секунды голубая рубашка Горячева покрылась темными пятнами пота.

И вдруг короткая задержка. В руках бригадира сверкнула большая и гибкая рыбина. Мгновение — и она, взмахнув хвостом, исчезла в глубине.

— Почему он ее выбросил?— спросил Аркадий.

— Нельзя,— ответил Миша.— Осетр.

Аркадий с сомнением посмотрел на Горячева. Неужели он всегда так ревностно соблюдает законы? Даже когда нет посторонних?

Но уж очень спокойно среагировали на это остальные. Никто не переглянулся, не проводил сокрушенным взглядом огромную рыбину.

Что ж, приходится признать: и работает Горячев красиво, и людьми руководит толково.

Вот только писать о нем он будет вскользь. На большее у него не хватит ни духу, ни выдержки.

Впрочем, на короткий очерк материала уже достаточно. Можно и убираться отсюда! Как? Да все равно как! Хотя бы вот на том фешенебельном теплоходе, весело и безмятежно несущем вдалеке свои многочисленные огни.

Аркадий перешагнул скамейку.

Последние сачки с рыбой, и в опустевшем котле носились взад-вперед две крохотные сорожки.

— Вы сможете подкинуть меня моторкой до теплохода?— спросил Аркадий Горячева.

Тот вытер рукавом с лица пот.

— Чего это вдруг?

— Чего это вдруг?— зло переспросил Аркадий.

Но Горячев пропустил шпильку мимо ушей, спокойно сказал:

— Завтра пополудни катер будет.

«Зачем я ему? Или боится, что увезу Маришку?»— озадаченно подумал Аркадий и твердо произнес:

— Я должен ехать.

— Дело ваше,— ответил Горячев.— Скоро поедем сдавать рыбу. Можете ехать с нами. Там чаще катера ходят.

— А до теплохода не подбросите?

— Покуда с остальными неводами управимся, не меньше двух часов пройдет. А еще заправиться горячим надо. Где уж нагнать его?

— Значит, только до рыбообрабатывающего пункта?

— Это уж как сами решите. Хотите — ждите катера.

— Нет, ждать не буду.

Горячев промолчал.

Миша и Олег Борисович дружно опустили весла. Баркасы двинулись на переборку второго котла.

Аркадий увидел Маришку еще с баркаса. Освещенная поздним закатом, она сидела на тех же бревнах напротив рыбацкого стана. Он сошел на берег и решительно зашагал к ней. Ему показалось, что она при его приближении вся сжалась.

Аркадий подошел. Перед его глазами неподвижно темнела ее короткая, под мальчишку, стрижка, которая ей так шла.

Он сказал сдавленным голосом:

— Я уезжаю.

Она не ответила.

— Ты слышишь?

Опять молчание.

— Если хочешь, поедем вместе.

Никакой реакции.

— Там подумаем и решим, как быть дальше.

Как в рот воды набрала.

— Неужели тебе нечего сказать мне?

Ни звука.

— Через пятнадцать минут отправляется моторка.

Даже не шелохнулась.

— Они ждать не будут. Им надо рыбу сдавать.

Как об стенку горохом.

— Последний раз спрашиваю: поедешь?.. Ну тогда прощай!

Аркадий круто повернулся и зашагал к причалу.

Залезая в моторку, он поскользнулся и набрал полные ботинки воды. Хорошо, что его еще подхватили Толя и Алексей Дмитриевич, а то бы искупался в одежде.

Затрещал мотор, и лодка с баркасом на буксире оторвалась от берега.

— А бригадир?— вдруг спохватился Аркадий.— Он же собирался ехать?

— Остался,— ответил Толя.

Его забавное курносое лицо на мгновение осветила луна, потом ее опять закрыли облака.

Все дальше и дальше погружалась в темноту гора с прилепившимся к ее подножью рыбацким станом.

— А почему без супруги?— неожиданно спросил Толя.

Кровь бросилась в лицо Аркадию.

Значит, они знали, что она его жена. Толе, по-видимому, сказала Юзя, а ей открылась Маришка. Хорош же он сейчас в глазах рыбаков. Удирает от жены, которая сошлась с их бригадиром.

А может быть, и не так все? Если первое впечатление, как говорится, самое верное, то в Толином вопросе не чувствовалось насмешки или нездорового любопытства. Не исключено, что он — а вместе с ним и остальные — и в самом деле озадачены, почему Аркадий уезжает один?

Ответ прозвучал как будто убедительно и правдиво:

— Понимаете, мне нужно срочно вернуться в редакцию. А жена выедет завтра, с дневным катером.

— Мое дело, конечно, сторона,— проговорил Толя.— Но я бы на вашем месте лучше заночевал.

— Это почему?— встрепенулся Аркадий.

— Потому как... ночью из рыбообрабатывающего все равно не уедете...

Хотя Толя вроде бы и ответил на вопрос, ощущение того, что была недомолвка, не покидало Аркадия.

Так тяжело ему еще никогда не было. Все, что произошло сегодня, напоминало дикий и нелепый сон, какое-то чудовищное наваждение. Ему даже показалось, что стоит только, встряхнув головой, открыть глаза — и он увидит рядом Маришку, довольную поездкой, веселую, родную...

Он не удержался: закрыл и открыл глаза. Нет, чуда не получилось. За какие-нибудь несколько часов вся жизнь у него пошла прахом...

— Угощайтесь,— в протянутой руке Толи белел кулек.

— Спасибо, не хочу.

— Берите. Подушечки.

Аркадий взял несколько слипшихся конфет и положил в рот.

— Юзя в дорогу дала. Чтоб меньше курил.

— Славная она у вас.

— Все они славные, покуда в паспорте штампа нет.

По лицу Толи никак не определишь, намек это или обыкновенный мужской треп. И все же Аркадию показалось, что в словах рыбака прозвучало осуждение Маришки.

— Берите еще!

— Вам не останется.

— Тоже неплохо! От них зубы портятся!

Сколько времени они в пути? Но эта мысль уже лишена всякого практического смысла. Не все ли равно?

Аркадий поежился. Он и не заметил, как переменялась погода. Порывами бил в спину холодный и хлесткий ветер. Моторку с баркасом то поднимало, то опускало на волнах.

— Шторм?— вяло поинтересовался он.

— Так — осенняя погодка!— ответил Толя.

Пусть будет осенняя. Вот только озяб.

По плечу Аркадия легонько постучали. От неожиданности вздрогнул. Со своими мрачными мыслями он совершенно позабыл о существовании Алексея Дмитриевича.

Тот протягивал брезентовую куртку.

— Накиньте!

— Спасибо.

Сразу стало теплее.

— Култук!— крикнул Толя Аркадию.

— Ого!— отозвался тот, вспомнив, что об этом ветре рыбаки говорили с опаской.

— Покуда смирный! Балла три, не больше!

— Все равно здорово качает!

— Это разве качает!— заорал Толя.— А, Дмитрич?

— Смотри, накличешь! Как бы не разошелся, лихо-манка его возьми!

— Ничего! Хуже, чем вчера, не будет!

— Это уж как пофартит!

Бравада бравадой, а как рулевой и моторист Толя что надо. Обе лодки прыгали по волнам, ни разу не подставив бортов. И мотор работал как часы.

И все же Аркадия и рыбаков то и дело окатывало водой.

— Ну, доннер веттер, хлеб с повидлой!— всякий раз, направляя лодки наперерез волне, выкрикивал Толя. И трудно сказать, чего было больше в этом возгласе — ухарства или желания приободрить единственного пассажира.

Только необходимости в этом не было. Аркадий не испытывал ни страха, ни волнения. Даже если бы разразился настоящий шторм, при котором опасность возросла бы во много раз, он, наверно, так же глухо и безучастно ждал бы своей участи. И думал: будь, что будет...

Однако, как он ни крепился, его все-таки укачало. Из всех физических недомоганий, свалившихся на него, самым неприятным было ощущение, как будто полушария мозга пытаются поменяться местами. Он весь извертелся на своих нескончаемых качелях — скамейка вместе с ним то проваливалась куда-то вниз, то взлетала на самый верх. Один раз его вырвало. Хорошо еще, что успел перегнуться за борт.

— Дышите глубже!— кричал Толя.

— Да, да,— соглашался Аркадий, заглывая ртом холодный и тугой воздух.

— Ну как, легче?

— Да, да...

— Кажись, стихает,— заметил Алексей Дмитриевич.

— Теперь скоро!— пообещал Толя Аркадию...

И вправду, через несколько минут Аркадий увидел влажные огни близкого берега. По причалу двигались столбы с электрическими лампочками и, казалось, уже сами по себе — их тени.

Впереди промелькнул волнолом.

— Осторожно, Толя!— предупредил Алексей Дмитриевич.

— Есть, осторожно!— ответил тот по-военному.

Волнолом быстро приближался. С грохотом разбивались о него волны.

Лодки вошли в маленькую гавань, где волнение было уже не так сильно.

Почти одновременно Толя выключил мотор, Алексей Дмитриевич кинул конец человеку в плаще на причале и сбросил якорь. На это ушло от силы полминуты. Ни одного суетливого и лишнего движения. Все с первого раза.

— Много рыбы?— спросили с причала.

— Центнера три!— ответил Алексей Дмитриевич.

— Ну, это мы быстро управимся.

— Будете, как вчера, ковыряться, так и до утра провозимся!— подал голос Толя.

— Сейчас подойдут,— пообещал человек в плаще.

— Давайте я помогу вам,— сказал Аркадий рыбакам.

— Мы уж тут сами. Чего вам зря пачкаться?— ответил Толя.

— Ну тогда я пойду.

— Вон, видите, контора?— показал Толя на тусклые огоньки.— Там сможете обсушиться, отдохнуть.

— Недавно печку затопили,— сообщил человек.

— Там подождете катера!

— А обратно вы когда?— неожиданно для себя спросил Аркадий. Он почувствовал, как кровь прихлынула к щекам.

— Вот сдадим...

— Счастливого пути!— произнес Аркадий, пожимая руки обоим рыбакам.— Может, еще увидимся.

— А чего такого — в одной стране живем!— весело ответил Толя.

— Ничего, браток,— помедлив, проговорил Алексей Дмитриевич.

— Спасибо за доброту!— порывисто сказал Аркадий.— Я обязательно напишу о вашей бригаде!

— Чего-то больно много пишут о нас,— заметил Толя.

— Такая работа у них — писать,— объяснил Алексей Дмитриевич.

Толя подтянул моторку к причалу. Аркадий с трудом, с помощью приемщика, взобрался наверх. И только там он увидел, что это женщина. Немолодая, с хриплым мужским голосом.

— Спасибо,— сказал он ей.

— Было бы за что,— ответила она.

Аркадий стоял и покачивался, как пьяный. Когда же он шагнул к конторе, его повело в сторону. Он остановился в растерянности.

— Видать, здорово угорели,— заметила приемщица.

— Не знаю, что со мной,— стал оправдываться Аркадий.— Вообще-то я качку хорошо переношу.

— Все от самого себя зависит, дорогой товарищ,— наставительным тоном заявила она.— Был тут у нас один капитан. Когда его спрашивали, почему он не угрожает, так отвечал: «Да все некогда. Судно вести надо».

— Ну долго они еще будут чухаться?— сердито спросил снизу Толя.

— Досчитай до тридцати, больше не надо!

— На черта я буду вашей арифметикой заниматься. Она мне еще в школе надоела!

— Вон идут!..

С протяжным металлическим визгом из-за поворота выехала вагонетка. Ее толкали двое рабочих.

— Ведь люди ждут!— громко упрекнула их приемщица.

Те молча прибавили шаг.

— Толя и Дмитрий... то есть Алексей Дмитриевич, всего вам доброго! — напоследок крикнул Аркадий.

— Приезжайте еще!— донесся до него голос Толи.

Скоро они будут там, увидят Маришку, Горячева, узнают все...

Продолжая покачиваться, Аркадий двинулся по неровным и скользким мосткам к конторе.

Ткнулся в одну дверь, другую, третью. Две были заперты, а последняя вела в узкий коридорчик, зажатый с обеих сторон бытовками.

Были еще двери — у входа, которые поначалу его почему-то не заинтересовали.

Пришлось вернуться.

Уверенный, что там тоже или заперто, или опять что-нибудь не то, он толкнул первую дверь и увидел девушку с жидкими светлыми волосами, зашивающую чулок на бедре. Она одернула юбку и сердито сказала:

— Стучать надо!

Аркадий мигом прикрыл дверь:

— Простите!

В коридор с улицы зашел парень в кожаной куртке, надетой прямо на тельняшку.

Он подозрительно посмотрел на Аркадия и спросил:

— Вам кого?

— Где-то здесь печка.

— А вот! — показал парень на вторую дверь. Распахнул ее и, пропустив Аркадия, вошел вслед за ним.

В углу возвышалась круглая железная печка. Обдало плотным тугим жаром.

— А вы откуда?

Аркадий ответил.

Парень вежливо выслушал, но удивления не проявил. По-видимому, к журналистам здесь привыкли.

— Вот на этом диване можете отдыхать, — сказал он и молча направился к выходу.

— Скажите, — остановил его Аркадий, — когда ожидается катер до города?

— По рации передали: вышел в девять вечера. Стало быть, к утру будет. А когда пойдет назад — тут дело сложнее.

— Почему?

— Потому что от двух стихий зависит — от погоды и начальства.

Парень чем-то неуловимо и неприятно походил на Горячева. Не то улыбкой, не то выражением глаз.

— Ясно, — сказал Аркадий.

— Отдыхайте, — произнес парень и вышел.

Аркадий снял с себя мокрые ботинки, носки, пиджак и все это понес к печке. Но стул рядом с ней оказался занят. На нем лежали — подметками к теплу — женские сапожки. Тут же сох синий плащ. Больше стульев

в комнате не было, поэтому сапожкам и плащу пришлось потесниться.

Аркадий подошел к дивану. Нет, уснуть он не сможет, несмотря на тепло и удобства.

Вдруг дверь широко распахнулась, и в комнату вошла уже знакомая девица с жидкими волосами. Она надменно посмотрела на Аркадия, стоявшего босиком в измятых брюках, майке, и молча направилась к печке.

Аркадий терпеливо ждал, когда она наконец возьмет свои вещи и уйдет. У него даже пропало желание съязвить — повторить ее же слова о том, что раньше надо стучать. И вообще он старался не смотреть на нее.

И тут неожиданно она первая начала разговор:

— По-моему, я вас где-то видела.

— Возможно...

Он взглянул на нее: она была на редкость непривлекательна. И не чертами лица, которые сами по себе не казались неприятными, а какой-то устоявшейся и вызывающей невыразительностью. Попадись она ему завтра на улице, он бы ни за что не признал ее — до того была тусклой и бесцветной. Сбивали с толку лишь цепкий и колючий взгляд, быстрые и резкие движения. Это уже говорило о характере.

— Вы не заходили вчера к Василь Васильчу? — припоминала она.

— К какому Василь Васильчу? — равнодушно удивился он.

— Вот это да! Не знаете Василь Васильча?

— А что в этом такого? Не знаю, — сухо ответил Аркадий.

— Да-а, не знать директора рыбокомбината... — с укоризной произнесла она.

— Так вы говорите о Букове? — наконец вспомнил Аркадий. Он действительно заходил к тому перед отъездом к Горячеву — за письменным распоряжением капитану катера.

— Наконец. А вы сами из какой организации?

Аркадий ответил.

Она уже мягче, с дружескими нотками в голосе упрекнула его:

— Из газеты, а как зовут руководителей, не помните.

Судя по всему, она не торопилась уходить.

— А вы здесь не по поводу предстоящего слета?

— Какого слета? — жалобно переспросил Аркадий.

— Ну даете! Слета рыбаков.

— Впервые слышу.

— Поразительно!

— Кто его проводит?

— Район, разумеется!

Сказать бы ей, что он хочет побыть один. Но как скажешь? Может быть, она сама догадается? Ведь это не трудно понять по его неохотным ответам, по взгляду, отводимому в сторону...

Как же, разбежалась!

Он закрыл глаза.

Бу-бу-бу...

Слова глухо ударялись в темя, в висок и отскакивали, чтобы снова вернуться...

О чем она?

— ...руководство считает, что это повышение для нее...

Какое руководство? Какое повышение?

Бу-бу-бу...

— ...уже побывала в трех рыболовецких бригадах...

Зачем? Кто она?

Бу-бу-бу...

— ...еще не решила, куда двинуться дальше — то ли к Горячеву, то ли куда поближе...

К Горячеву? С какой целью?

Бу-бу-бу...

Нет, он больше не может! У него все время перехватывает дыхание. Пока она здесь болтает, там на знакомом берегу...

Он застал.

Когда Аркадий опомнился, девицы уже не было. Что она подумала, увидев его в таком состоянии?

Немного же потребовалось времени, чтобы понять: как ни плохо было с незваной гостьей, а без нее еще хуже. Мечтая о том, чтобы остаться одному, он не знал, что творил. Ночь собрала все в кулак и разом обрушила на него.

Он то и дело вскакивал с дивана, сидел, ходил по комнате.

Особенно ему не давали покоя последние минуты с Маришкой. Его вопросы, ее молчание. Тайна, которую он хотел и боялся постигнуть. И раньше после каких-то пустяковых ссор она нередко замыкалась в себе и пере-

ставала разговаривать. Но как можно сравнивать? Неужели женское предательство и его пощечина равноценны в ее глазах? А последняя даже перетягивает?

Нет, здесь что-то не то.

Что же было за молчанием? Сознание непоправимости совершенного? Или только обида за пощечину? За оскорбление, которое она заслужила?!

А если не заслужила?

Нет, он же своими глазами видел, как они шли, прижавшись друг к другу. О близости говорило все — и взгляд, и горящие щеки, и то, как она висела на руке, и выражение самодовольства на его лице.

Но ведь первой ее реакцией на пощечину был выкрик: «За что?!»

Он шел прямо из сердца — от неожиданности, от непонимания. По-видимому, она и в самом деле не знала, за что?

Как же не знала, если так смутилась и быстро отодвинулась?

Но откуда тогда это отчаянное: «За что?!»

Неужели он что-то упустил, недопонял?

Может быть, ей так легче было идти, опираясь на руку бригадира? Или у нее закружилась голова, как это уже бывало? Или просто на мгновение забылась, вообразила себя незамужней, девчонкой?

А Горячев?

Почему из многих десятков ругательств он выбрал, казалось, самое неподходящее для данного момента: «дурак»? Да и выбирал ли он? Оно вырвалось у него само. Так же произвольно, как у Маришки ее «За что?!».

Дурак? А как же иначе назвать человека, ни за что ни про что заподозрившего жену в измене, оскорбившего и унизившего ее при посторонних!

Господи, еще никогда ему не были так понятны ее слова и ее молчание. Вот оно — долгожданное прозрение!

Аркадий рванулся к стулу. Натянул на босые ноги все еще влажные ботинки, в спешке оборвал шнурок. Сунул в карман загрубевшие носки. Чуть не оторвал рукав у пиджака.

Быстрее, быстрее!

Если не будет оказии, упросить руководителей ры-

бообрабатывающего, договориться с местными рыбаками! Как угодно и на чем угодно! Даже если придется угнать лодку.

Аркадий шел, продираясь сквозь туман. Ровный плеск волн указывал путь к причалам. Наскочил на деревянные мостки, по которым поздно вечером брел в контору. Туман пятился перед ним, медленно заманивая к воде.

— Стой! Куда?— вдруг услышал он.

Остановился. Попробовал сообразить, откуда окрик. Прошла добрая минута, прежде чем туман выдавил из себя бородатого старика с ружьем.

— Вы куда?

— На пристань!

— Нельзя туда!

— Почему? Мне только взглянуть.

— Нечего там смотреть!

— А это уже не ваше дело!— вспылил Аркадий и рванулся к причалам.

— Говорят, нельзя!— бросился за ним старик.

— Мне необходимо узнать, не собирается ли кто к Горячеву.

— Да не у кого там узнавать!— крикнул старик.— Никого нет!

— Где ваше начальство?

— А вон иди в том направлении... Прямо за мостиком...

Аркадий опять нырнул в густую, непроглядную серую мглу. Хотя отпал страх, что из-под носа уйдет лодка, предстояло самое трудное: уговорить здешних начальников дать моторку. Заставить их поверить, что это нужно для дела.

Неожиданно из тумана выскочил мостик через небольшой ров... Значит, не сбился... В ответ на гулкие шаги по настилу где-то близко залаяла собака... За мостиком тропинка пошире вывела его к дому с высоким крыльцом и стеклянной верандой.

Аркадий решительно поднялся по ступенькам, постучал.

Послышались скрип, возня.

Вскоре раздался сонный мужской голос:

— Сейчас...

Аркадий сжал рукой перила.

Щелкнула задвижка. Заспанный человек в трусах и майке открыл дверь и сказал:

— Проходите!

Аркадий вошел в прихожую.

За портьерой, прикрывавшей вход в жилые комнаты, женский голос недовольно проворчал:

— И ночью не дают покоя.

Человек в трусах махнул рукой в сторону голоса:

— Не обращайтесь внимания.— И добавил:— Простите, что в таком виде.

— Ничего.

Он взял со стола пачку «Шипки», выбил из нее сигарету, закурил. Протянул пачку Аркадию:

— Курите?

— Нет, спасибо.

— Я вас слушаю,— наконец после нескольких глубоких затяжек проговорил хозяин.

— Дело вот какое,— начал Аркадий.— Я спецкор областной газеты. Готовлю материал о рыбаках, который необходимо срочно дополнить фактами...

Человек в майке не перебивал, слушал внимательно. У него были огромные залысины и бесцветные ресницы на веснушчатом лице альбиноса.

Когда Аркадий закончил, он погасил сигарету о донышко блюдца и сказал:

— Честно говоря, не знаю, как и помочь вам.

— Лодки нет?— ужаснулся Аркадий.

— Лодки-то есть. Да один моторист в отпуске, а другой, как говорится, в разобранном виде. Закеросинил!

— Я вас очень прошу! Вы даже не представляете, как это важно для нас!

— Я понимаю. Но ведь не пошлешь кого попало. А то еще потопит и себя, и вас...

— Давайте рискнем!

— Костя, не смей!— взвился женский голос за портьерой.— Тебя же, вахлака рыжего, первого посадят!

— Чего ты вмешиваешься?— разозлился тот.— Хочешь, чтобы я наоборот поступил? И так говорят, что ты за меня все вопросы решаешь!

— Ох и быть тебе за решеткой!

— И с такой перспективой считаться приходится,— сказал он Аркадию.— Так что не обессудьте. Подождите лодок с утренним уловом.

— Но тогда я там буду только через пять-шесть часов!

— Зато будете.

— Что же мне делать?— почти простонал Аркадий.— Я страшно подведу газету!

— Можно?

В прихожую вошел вчерашний парень в тельняшке, с которым Аркадий встретился в конторе.

— Константин Петрович, радиogramма!

— До утра подождать не мог?

— Так ведь срочная.

— Что там?

— Сведения о передовиках требуют.

Константин Петрович долго и молча держал в руках радиogramму.

— Маловато что-то — три Почетные грамоты на весь коллектив?— наконец сказал он.

— Перебьемся,— ответил парень.

— А кому дадим?

— Мне не надо. Меня в прошлый раз удостоили.

— Ладно, обсудим на четырехугольнике.

— Я вам больше не нужен?

— Нет... Розанов, стой! Ты не знаешь, как там Гнеушев? Случайно не протрезвел?

— Уж больно быстро хотите. Второй день пошел только.

— Не повезло вам,— сказал Константин Петрович Аркадию и пояснил Розанову:— Товарища вот не на чем отправить к Горячеву.

— К Горячеву?— удивился тот.— Вы же в город собирались?

— Новое распоряжение,— сказал Аркадий и покраснел.

— Подождите! Здесь где-то горячевские ребята. Те, что с вами пришли!

— Как здесь?— Аркадий вскочил со стула.— Разве они не уехали?

— Да нет, решили заночевать.

— Где они?

— В красном уголке... Это рядом... Идемте, покажу вам...

— Я побегу, простите!— сказал Аркадий Константину Петровичу и выбежал из домика.

— Сюда!— показал Розанов.

Туман уже здорово поредел. Над пристанью он висел клочьями и прямо на глазах сползал в темную воду.

— Только бы не ушли,— заражаясь волнением Аркадия, на бегу проговорил Розанов.— Они хотели пораньше выйти...

В большой и просторной комнате знакомый старик — пристанский сторож — растапливал печурку.

Он был в помещении один.

— Пахомыч, ты не видел горячевских ребят?

— Однако, уже в море ушли.

— Давно их видел?

— Да с четверть часа будет.

— Побежали на пристань!— сказал Розанов Аркадию.— Может, еще успеем!

Они вихрем слетели с крыльца, даже не закрыв за собой дверь. Нырнули под веревку с развешанным бельем и оборвали ее — разом полдвора покрыли белые чистые пятна.

— Потом подниму!— крикнул Розанов.

Никогда в жизни Аркадий так не бегал. У него то и дело перехватывало дыхание, наливались свинцом ноги. Но он не только не замедлял бег, но из последних сил бросал тело вперед. И почти ни на шаг не отставал от своего доброго спутника.

Позади остался мостик через ров... Вот и контора... Если лодки уже отошли, но не очень далеко, то их еще можно вернуть... Помахать платком, рукой, чем угодно!.. Сколько здесь всяких построек, преграждавших путь к причалу!.. Деревянные мостки... Пристань... Только бы не ушли!.. Гулко забухали под ногами доски настила....

Боже мой, здесь! Здесь! Здесь!

Первая удача дня! Не доброе ли предзнаменование для него и Маришки?..

Снизу к нему обращены удивленные лица Толи и Алексея Дмитриевича.

— Я с вами!— крикнул Аркадий.

Рыбаки быстро и многозначительно переглянулись. Всё понимают, всё. Ну и пусть!

— Новое распоряжение!— как можно непринужденнее сказал он.

— Подождите. Сейчас подтяну лодку,— Толя двинулся к носу.

И тут Аркадий увидел вчерашнюю девицу. Она сидела в лодке и озадаченно смотрела на него. Аркадий неожиданно вспомнил: ей поручили собрать материал для основного доклада на слете рыбаков. Значит, остановилась на бригаде Горячева...

— Одну минутку,— сказал он рыбакам и подошел к Розанову:— Если бы вы знали, как я вам благодарен!

— Да, подгадали вовремя,— ответил тот.

— Будете в городе, заходите в редакцию. Я буду рад.

Спустившись в лодку, Аркадий принялся объяснять рыбакам:

— Понимаете, позвонил главный, дал еще один день на сбор материала. Чтобы шире отразить соревнование.

— Я с вами играю!— вдруг воскликнула девица.— Копию материала мне!

— Если устроит — пожалуйста.

— Я надеюсь!— на этот раз ее взгляд был холоден и высокомерен.

Да он отдаст ей все копии мира! Лишь бы наладилось с Маришкой! Лишь бы наладилось!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Казалось, еще мгновение, и сердце у Аркадия разорвется. Он подпер его кулаком, но и это не помогло. Теперь каждый удар ощущался им дважды — сперва там, в груди, а затем здесь, снаружи, — ладонью.

Берег приближался знакомыми очертаниями, которые слегка размыл ранний рассвет.

Один за другим он узнавал примелькавшиеся за вчерашний день силуэты...

Рыбацкий стан с близко подступавшим к нему кухонным навесом...

Бревна, на которых сначала сидел он, а потом Маришка...

Большие камни, между которыми они вчера поднимались к обрыву с крошечной кладбищенской скамеечкой...

Тот самый лесок, где произошла эта дикая и постыдная сцена...

Сверкнули окна стана, позолоченные первыми лучами...

Покачивались у причала тяжелые баркасы...

Тихое и раннее безлюдье...

Надвигалась уже совсем близкая и потому страшная, как нацеленное дуло, неизвестность...

Первым, кого увидел Аркадий, был Горячев. Он вышел на крыльцо, потянулся и спустился по ступенькам. Обернулся, крикнул что-то в зияющую темноту дырявого проема.

Из стана пуль вылетел Миша. За ним вышли Николай Иванович и Олег Борисович.

Вчетвером зашагали к берегу — отправлялись на утреннюю подрезку.

Вдруг Миша показал на приближавшиеся лодки. Горячев взглянул и тут же отвернулся.

— Держись, Дмитрич! — сказал Толя. — Сейчас он намылит нам с тобой холку!

— Раз за дело, чего ж, — ответил тот.

— Опять про муху цеце скажет.

— Чего ни скажет, все верно будет. Оно всегда так: спать долго, жить с долгом.

— Тоже мне долг: на полтора часа опоздали!

— Зря заночевали, — вздохнул Алексей Дмитриевич.

— А что это за цеце? — насторожилась девица.

— А что в Африке живет, сонную болезнь вызывает, — насмешливо объяснил Толя.

— Ясно, — многозначительно произнесла та...

К берегу с лаем сбежались собаки — похоже, что так они встречали каждого нового человека.

Моторка с баркасом на две-три минуты опередила рыбаков, спускавшихся к воде, и мягко ткнулась в причал. Толя быстро взобрался на помост и закрепил конец.

За ним вылезли и остальные.

Аркадий неотрывно смотрел на Горячева. Но по его лицу, строгому и озабоченному, трудно было что-нибудь распознать: никаких посторонних эмоций. Лишь один раз, когда Миша что-то сказал и Горячев в ответ неожиданно улыбнулся, Аркадий весь внутренне сжался — в улыбке была какая-то умиротворенность, тихое торжество, добродушная снисходительность.

Только не торопиться с выводами. Через десять-пятнадцать минут все будет ясно.

Правда, уже сейчас чужие знали о Маришке больше, чем он, ее муж. Даже пацан Миша знал больше.

Однако лица рыбаков ничего не выражали.

А Горячев вообще не смотрел на него. То ли нарочно избегал встречаться взглядом, то ли не до гостей было. Впрочем, на девицу с редкими волосами он все же изредка поглядывал — наверно, его интересовало, кто она и что ей угодно.

— Ну что, выпались? — на ходу бросил он.

— Выспишься с тобой, — ответил Толя.

— Еще часок, что ли, дать подремать?

— А что? Мы не откажемся. Как, Дмитрич? — балагурил Толя.

Алексей Дмитриевич отмахнулся от него и сказал Горячеву:

— Ежели бы не туман, пришли бы вовремя.

— Вот как до тебя не было видно, Афоня! — подхватил Толя.

— Ну, ну, уже и туману напустили! — усмехнулся Горячев.

Миша хихикнул, за что тотчас же получил легкий щелчок по затылку от шагавшего позади Николая Ивановича.

Обернувшись, он сердито огрызнулся:

— А драться-то зачем?

Горячев свернул к баркасам, сказал Толе и Алексею Дмитриевичу:

— Пошли!

Проходя мимо Аркадия, спросил:

— Вернулись?

Его узкие голубые глаза смотрели внимательно, без обычной насмешки.

— Начальству статья нужна, — последовал давно подготовленный ответ.

Горячев отвернулся, и Аркадию показалось, что щеки бригадира покрылись легким румянцем.

Почему он покраснел? Только не гадать. Это могло скрывать что угодно — и все, и ничего.

Скорее бы к Маришке, скорее бы!

Горячев подошел к девице, не спускавшей с него настороженного взгляда.

Коротким движением — сверху вниз — она протянула руку и представилась:

— Ангелина Ивановна, новый инспектор отдела кадров комбината!

— Афанасий Федорович, — несколько удивленно и насмешливо ответил он.

— Нам надо поговорить,— надменно сказала она.

— Сейчас, что ли?— Горячев поморщился.

— Да, лучше бы...

Отступая к баркасам, бригадир сказал:

— Сейчас не получится. Выходим на подрезку.

Она ответила недовольным тоном:

— Хорошо, я подожду.

— Через полтора часа будем!— крикнул Горячев уже с баркаса.

Одновременно и тихо ударили по воде тяжелые весла. Баркасы взяли свой обычный неторопливый старт к неводам.

Не взглянув на инспекторшу, стоявшую в растерянности на берегу, Аркадий зашагал к стану. От нетерпения горели пятки. Если бы не рыбаки, глядевшие вслед, он бы уже бежал. Но и теперь он шел столь быстро и решительно, что даже собачья стая, озадаченная этим, молча расступилась.

— Подождите!— услышал он позади голос инспекторши.— У меня к вам есть вопросы!

— Потом!— махнул он рукой и прибавил шагу.

Его встретил полумрак прихожей.

Собравшись с духом, он распахнул вторую дверь: за ней уже накопилась тишина — полная и глубокая, не нарушаемая даже внешними звуками.

Аркадий пробежал взглядом по опустевшим нарам, осмотрелся: Маришки нигде не было.

Где же она?

А что, если здесь не ночевала? Тогда где же? Ерунда какая! Конечно, здесь. Вместе с Юзей вон на той кровати!

Вот и рюкзак!

Куда же она ушла?

Аркадий выскочил из стана, искал взглядом. На всем пространстве от уходящего вдаль берега до обрыва, на котором они вчера посиживали втроем, Маришки не было видно.

Тогда он решил осмотреть все по ту сторону стана. Он обошел его сзади и свернул на незнакомую тропинку.

Вскоре перед ним открылся вид на бухту и вторую половину береговой подковы.

Медленно из-за хребта выбиралось хорошо отдохнувшее за ночь солнце, и от него через все озеро уже протянулась золотая дорожка. Прямо на виду у всех в легкие утренние одежды наряжались далекие облака, и сбрасывали с себя темные ночные покрывала просыпавшиеся одна за другой горы. А над всем этим весело и беззаботно наливалось голубизной такое же, как вчера, бездонное небо.

Утро начиналось такой яркой многообещающей красотой, что у Аркадия на мгновение замер дух. Но только на одно мгновение. Больше он уже не созерцал, не любовался. Его взгляд был избирателен, как эта рыбацкая сеть. Пропускал, не задерживая, и воду, и небо, и солнце. Все, кроме знакомой тоненькой и стройной фигурки, если бы она вдруг где-нибудь показалась.

Как сквозь землю провалилась!

Аркадий обернулся и увидел Юзю. Та стояла у деревянного навеса и жалостливо смотрела на него.

«Почему так смотрит?— подумал он.— Видит, как переживаю?»

И от этой неприкрытой и как будто объяснимой жалости ему стало не по себе.

Юзя же смутилась, застигнутая врасплох его вопросительно-удивленным взглядом. Испугавшись, что она вдруг повернется и уйдет, он крикнул:

— Юзя! Подождите!

Подойдя, спросил как можно бесстрашнее:

— Вы не знаете, где Марина?

Теперь взгляд Юзи выражал одно искреннее недоумение:

— А разве она не в хате?

— Нет. Там никого нет.

— Так она куда-то вышла!

— Куда же? Я посмотрел: ее нигде не видно.

— Да, чай, вы плохо смотрели. Куда она денется?

— Это я понимаю...

— Батюшки светы!— взмахнула она руками.— Так я ее недавно видела!

— Где?

— Вон у тех сосенок.

Аркадий обернулся. Эти сосенки уже не раз попадались ему на глаза. Сосенки как сосенки. Здесь, на берегу, их сотни. Но ни под одной из них сейчас Маришки не было.

И вообще ни души.

Взгляд уперся в голый причал. А за ним по-прежнему простиралась ровная и спокойная гладь великого озера. Ничего не изменилось за те несколько минут, что он не смотрел туда. Вот только солнце оторвалось от гор и теперь по-детски радовалось свободе...

— Опять утартала!— проговорила Юзя.

— Что?— вздрогнул Аркадий.

— Утартала, говорю.

Впервые в голосе Юзи Аркадию послышалась неприязнь к Маришке.

— Ну я пойду, поищу,— сказал он.

Из-за перегородки в проем навеса медленно выплыла инспекторша. В ее глазах откровенное любопытство. Значит, слышала весь разговор.

— Я пошел,— повторил Аркадий и повернул назад.

— Да она где-нибудь здесь!— крикнула вслед Юзя.

Чуть выше рыбацкого стана он очутился на крохотной поляне, сплошь покрытой саранками. И ему неожиданно пришла в голову мысль: явиться к Маришке с цветами. Это будет молчаливым признанием своей вины, бессловесной мольбой о прощении. Просто протянет букет.

Он начал рвать цветы и уже не мог остановиться. В его руках, именно в руках, появилась нетерпеливая уверенность, что, чем больше букет, тем лучше.

Он и не заметил, что обобрал почти все саранки. Букет получился пышный. Такой в любом случае произведет впечатление.

Аркадий вышел к знакомой тропинке.

Неподалеку от нее на солнышке грелось несколько собак. Ближе всех, положив морду на лапы, дремал вожак. Широким воротником дыбился черно-белый загривок. Услышав близкие шаги, огромный пес слегка приоткрыл глаза и посмотрел на Аркадия.

Вот кто наверняка знал, где Маришка.

И вдруг до Аркадия донеслось слабое поскуливание. Он мог подумать на кого угодно, только не на вожака. Но тем не менее поскуливал он.

— Что, и тебе плохо?— спросил Аркадий.

Пес отвернул морду в сторону. Отчужденно помалкивали и другие лайки. И в этом общем собачьем молчании Аркадию неожиданно почудилось осуждение. Как будто стае было известно все...

Аркадий повернул к камням.

Сердце больно билось о ребра.

Он уже не сомневался, что Маришка там, наверху.

Из-под каблуков срывались камни, летели комья земли. Будь подъем еще круче, он бы так же, одним махом, взлетел на обрыв!

Еще снизу он увидел, что скамеечка пуста. Только вчера они сидели на ней втроем (нет, вдвоем, потому что тогда Горячев был не в счет), не зная, что всего час отделял их от беды, которой даже при небольшой осмотрительности и он, и Маришка могли бы избежать.

Аркадий быстро шагал по обрыву, вглядываясь в просветы между деревьями. От нескончаемой и веселой игры солнечных пятен, от многоцветной пестроты осеннего леса зарябило в глазах. Но, как ни напрягал зрение, поиски ничего не дали.

Ну где же она? И тут неожиданно в голову пришло сравнение, которое в другой раз показалось бы ему до невозможного сентиментальным: где тот уголок, куда она забилась, зализывая, как бедный, несчастный, неопытный зверек, свои первые глубокие раны?

Где это место?

Аркадий метался между деревьями.

Кто, кроме него, еще повинен в случившемся? Он первым должен был понять ее и простить за крохотную, почти не существующую вину, за то, что она, в отличие от него, еще не привыкла к своему замужеству. Во всем виноват только он! К черту вечную оглядку на людей! Нужно будет — он не задумываясь бросится перед ней на колени, чтобы выпросить прощение.

Из груди вырвалось:

— Мариш!

По лицу больно хлестали ветки. Он на бегу зацепился за сук и порвал штанину. Он даже не заметил, как постепенно растерял свой прекрасный букет.

— Мариш!

Около него молча кружился и извивался лес.

Он увидел Маришку, когда уже не надеялся ее здесь встретить. Она стояла на обрыве по ту сторону глубокой промоины и смотрела на залив в большой морской бинокль. На плечи ее была накинута длинная рыбацкая куртка.

Острая радость охватила Аркадия. Позабыв обо всем на свете, он крикнул через овраг:

— Мариш!

Она вздрогнула, но не обернулась. Он заметил, что она здорово растерялась — не знала, что делать. Наконец собралась с духом и, ни разу не оглянувшись, скрылась за ближайшими деревьями.

— Мариш, подожди!— Аркадий стал быстро спускаться в овраг.

Конечно же, она избегала его, потому что не простила. Другого отношения он и не ожидал. И все же, когда он ее окликнул, она явно колебалась.

По дну оврага бойко пробегал ручеек. Аркадий перепрыгнул его и, обдирая руки о кусты, начал взбираться по крутому склону. Теперь она от него не уйдет! Что значат несколько десятков метров, которые их разделяют?..

Аркадий взобрался на обрыв. Бросился к деревьям, за которыми скрылась Маришка. Вспомнил, как она на бегу дотронулась до этой сосны — словно просила ее посторониться. Замелькали стволы...

— Мариш, где ты?— подал он голос.

Кажется, она свернула сюда. Во всяком случае, еще издали он видел, как в эту сторону метнулась длинная темная куртка. Под его ногами заходили ходуном упругие кочки. Неожиданно он соскочил с них на едва приметную тропинку. Припустил по ней, но уже метров через сто остановился: впереди между деревьями не было заметно никакого движения. Он повернул назад. Вдруг неподалеку раздался треск сухой ветки.

С радостным возгласом Аркадий рванулся на звук:

— Мариш, ты здесь?

Добежал до разросшихся кустов шиповника. Обошел их со всех сторон. Никого. Прислушался. Тишина.

Где же ее искать? Она никуда не могла деться! Где-нибудь притаилась, ждет, когда он уберется отсюда. Только где?

— Мариш, выходи!— крикнул он.— Мне необходимо с тобой поговорить!

Ни звука в ответ. Еще раз осмотрелся. Он уверен, что она где-то рядом. Кругом столько зарослей, что спрятаться не составляет труда.

— Мариш, я знаю, что ты здесь!— продолжал Аркадий.— Послушай, что я тебе скажу. Я совершил мерзость, гнусность, за которую мало набить морду!

Я жалкий, подлый, глупый ревнивец! Азиат — слышишь?— азиат, окончательно потерявший голову! Я кругом виноват... Но если у тебя хоть что-то осталось ко мне — прости меня. Этот случай будет для нас жестоким уроком. Поверь мне, я никогда себе этого не прошу. Никогда, понимаешь?.. Но все-таки прости меня! Я готов на все. Прошу тебя — выйди...

Он подождал одну минуту, другую. Маришка не выходила.

— Почему ты молчишь?

А вдруг ее здесь нет, и он обращался к пустоте?

Сквозь деревья проглянуло озеро. Аркадий устремился к обрыву. И только, добежав, он взглянул вниз, как увидел Маришку. Она медленно шла к берегу.

Значит, и не заходила в лес? Прямо за теми деревьями спустилась с обрыва и, конечно же, не слышала ни одного слова.

Аркадий догнал Маришку, когда та была метрах в десяти от берега. Она шла не оборачиваясь, хотя не могла не слышать близких шагов. Он следовал за ней молча, не окликал.

Остановилась она у самой воды.

И вот они рядом.

— Тебе!— сказал он, протягивая три саранки, сорванные по дороге,— жалкое подобие того — первого — шикарного букета.

Она медленно, точно нехотя, повернула голову.

Сердце у него сжалось. Так плохо она еще никогда не выглядела: бледные, почти бескровные губы, припухшие веки.

В потускневших глазах открыто схлестнулись неприязнь и боль. И все же при виде букетика эти недобрые чувства на какой-то миг потеснились удивлением. По ее лицу пробежала кривая и жалкая улыбка.

И вдруг Аркадия снова обжег взгляд. В нем опять уже не было ничего, кроме незащищенной злости.

Она резко убрала руки за спину и отступила от него на шаг.

— Прости,— жалобно сказал он.

Презрительно усмехнувшись, она повернулась и зашагала вдоль берега к причалу.

— Подожди!

Он догнал ее и схватил за рукав.

— Пусти!— вырвалась она.

От резкого движения саранки полетели в воду.

Аркадий в растерянности остановился.

К причалу приближались баркасы. На переднем стоял Горячев. Он был похож на киношного героя — высокий, стройный, белокурый.

И он смотрел в их сторону.

Глядели на них и остальные рыбаки.

Маришка вдруг круто повернула от берега к стану. Не хочет встречаться с Горячевым? Почему?

Аркадий растерянно улыбался. Так рыбаки и поверят, что он вернулся ради статьи. Видели же, как он гонялся за женой и чем это кончилось. То-то они избегали встречаться с ним взглядами. Посматривал на него — с усмешкой — лишь один Миша. Такой возраст.

Горячев негромким голосом отдавал какие-то распоряжения Николаю Ивановичу. Когда же он обернулся и взглянул на подошедшего Аркадия, его узкие голубые глаза приняли жалостливое выражение. Точь-в-точь как у Юзи. Наверно, они считали его самым незадачливым из мужей, когда-либо побывавших на этом берегу.

Но дело есть дело. Для будущего материала действительно не хватало кое-каких цифр и фактов.

— Как улов?— спросил он Горячева, когда рыбаки ошвартовали лодки и принялись откачивать воду.

— Давно столько не брали,— ответил тот, кивнув головой на баркас. В нем чуть ли не вровень со скамейкой трепыхал перехваченный косяк.

— Сколько здесь?

— Да два плана будет!

— Неужели?

— Ежели не больше!— с удовлетворением добавил бригадир.

— А вечером что так мало взяли?

— Вечером-то? Так ведь ночью рыба лучше идет, чем днем. Слышали, как говорят: утро вечера мудренее? Это о нашем рыбацком счастье...

Горячев говорил с ним мягко и дружелюбно, как будто их отношения ничем не были омрачены. Похоже, что и в самом деле от вчерашней неприязни, чуть ли не вражды, не осталось и следа. Возможно, он тоже все взвесил и теперь старался сгладить неприятное впечат-

ление. Одно мешало ему: его глаза по-прежнему жалели Аркадия.

И вдруг Мишин голос:

— Идет!

Аркадий обернулся. Нет, не Маришка. К берегу спускалась, высоко закинув голову, молодая инспекторша.

— Кого еще там несет?— не прекращая работы, спросил Николай Иванович.

— Да эту, из комбината!— ответил Миша.

Инспекторша приближалась. Лицо ее сильно покраснелось. Вдруг она обернулась, поискала кого-то взглядом. Аркадий почувствовал: Маришку! Дальше она шла, с любопытством поглядывая то на Горячева, то на Аркадия. По-видимому, Юзя проинформировала ее обо всем. Даже каблуки постукивали о гальку: как интересно, как интересно!

Она поднялась на причал и подошла к Горячеву:

— Сейчас, я надеюсь, вы уделите мне время?— не без иронии спросила она.

— Опять незадача,— ответил тот, почесав затылок.— Взяли рыбку, а теперь вот везти надо.

— А что, кроме вас, больше некому?

— Сами видите, сколько рыбы!

— Вы, наверно, думаете, что я приехала сюда гулять?

— Нет, не думаю,— улыбнулся Горячев.

— Я вам пока ничего смешного не сказала,— по-немногу распалялась инспекторша.

— Нет, не сказали,— весело подтвердил Горячев.

— Так вы останетесь для делового разговора или нет?— вконец рассердилась она.

— Сейчас никак не получится,— ответил Горячев.— Вот к обеду вернусь, тогда и покалякаем. А пока можете побеседовать с моим помбригадира: Он в курсе всех наших дел.

— Я вижу, здесь все в курсе ваших дел,— ехидно заметила инспекторша.

Аркадий встрепенулся. Что она хотела этим сказать? О вчерашнем инциденте?

— А нам скрывать нечего,— с легкой усмешкой парировал Горячев.

— Свежо предание,— сказала она.

Горячев забрался в моторку и оттуда крикнул своему помощнику:

— Николай Иванович, скажи Юзе, чтобы накормила товарищей!

Бывший капитан исподлобья посмотрел на инспектору и ничего не ответил.

— Пойдемте,— сказала она Аркадию.

Он нехотя пошел рядом.

Видимо, она считала, что он целиком на ее стороне. Как же, оба представители вышестоящих организаций и потому, дескать, должны держаться вместе. Пусть тешит себя этим.

— Совершенно распоясался!— проговорила она.

Аркадий промолчал.

— Думает: если выполняет план, то ему все позволено.

— Перевыполняет,— поправил ее Аркадий.

— Это еще проверить надо.

Да, можно не сомневаться, что она уж постарается насолить бригадиру.

— А ваше мнение?

— О чем?

— Об этой бригаде... и о Горячеве?

Она покосилась на него своими цепкими светлыми глазами.

Придется разочаровать ее.

— Хорошее,— ответил он.— Хорошие люди, хорошая работа. И я буду писать о них очерк.

— Н-да!— удивленно произнесла она.— Только и могу сказать.

До стана оставалось метров сто, как из него вышла Маришка. Она уже была без куртки, но все еще с биноклем. Постояла в нерешительности у крыльца. Потом двинулась к верхним камням.

— А вы скрытный человек,— упрекнула Аркадия инспекторша.

— Почему вы так решили?— насторожился он.

— Я и не знала, что она ваша жена.

— Мало ли чего мы не знаем друг о друге.

— Это намек?— спросила она и покраснела до корней волос.

— Почему намек?— он недоуменно пожал плечами.

Их обогнали шагавшие рядом Николай Иванович, Толя и Миша.

Аркадий сделал вид, будто его что-то заинтересовало позади и приотстал от своей спутницы. Он собирался, не заходя в стан, прямо последовать за Маришкой. Но все спутала Юзя, выглянувшая из кухни.

— Можно вас?

Аркадий прошел под навес.

У плиты, приподняв за край противень с жарехой, побряхтывал Толя, заскочивший сюда раньше.

— Уж вы не обижайтесь, что вас позвала,— лукаво оправдывалась Юзя.— Не дает мне тяжести поднимать, перестраховщик!..

— Да, конечно,— Аркадий ухватился за противень с другой стороны.

— Опускание желудка у нее,— объяснил Толя.— Врачи запретили.

— Вот такой он у меня — жалливый,— похвасталась Юзя.

Она смотрела на своего жениха влюбленными глазами. Аркадий ощутил легкий укол зависти. Он не помнил, чтобы Маришка когда-либо так глядела на него.

Противень был из тонкой жести и прогнулся под тяжестью рыбы.

Когда они понесли и водрузили его на стол, Аркадий тихо сказал Толе:

— Я пошел.

Тот понимающе кивнул головой.

Но Аркадий не сделал и трех шагов, как его остановил звонкий голос Юзи:

— А вы куда?

— Да я уже позавтракал.

— Где это вы позавтракали?

— На рыбообрабатывающем.

— Да когда вы успели? Вон Толя тоже был с вами, а его не покормили!

— Перед отплытием,— не сдавался Аркадий,— я забежал к заведующему пунктом, и его жена ни за что не хотела отпустить меня без завтрака. Пришлось уступить.

Юзя заколебалась:

— Правду говорите?

— А какой смысл мне врать?

— Коли так...— И вдруг:— Пойдите!

Она схватила пустую миску и положила в нее двух омулей, а на них ломоть хлеба.

— Отнесите, пусть позавтракает.

Больше всего Аркадия удивило ее лицо — холодное, отчужденное от только что произнесенных слов. Странно очень: доброта без жалости?

— Спасибо,— сказал он, неловко беря миску...

В прихожей Аркадий наступил на шнурок от ботинка, и шнурок тот развязался. Поставив миску на какой-то ящик, Аркадий опустил на колено и стал завязывать. И тут его внимание привлек разговор за тонкой дверью.

— Вот и верь вашему брату после этого,— произнес Толя.

— Ну, не все ведь такие!— возразила Юзя.

— Через одну,— продолжал Толя.

— Через ноль целых и девять десятых,— уточнил Миша.

— А ты чего понимаешь?— напустилась на него Юзя.

— А чего тут понимать? Ночью-то они зачем выходили? Саранки собирать?— сказал Миша.

— Все-то ты знаешь, чинарик!— заметил Толя.

— А что, у вас только глаза есть?

— Афоня тоже хорош!— вздохнула Юзя.

Аркадий уже и слышал, и не слышал. Покачнувшись, он ухватился за дверь. Она скрипнула и приоткрылась. В комнате наступила тишина.

Не оглядываясь, Аркадий вышел из стана...

Еще несколько минут назад он на что-то надеялся. В нем гремел, как в той грустной и забавной песенке, «надежды маленький оркестрик под управлением любви». Настоящее казалось мрачным, но поправимым.

И вот сейчас поставлена последняя точка. Большая и жирная. Жаль только, что он не понял это вчера или, на худой конец, сегодня утром. Чего стоила одна горячевская куртка на ее плечах. Или морской бинокль, в который она неотрывно смотрела вслед Горячеву. И не мешало бы призадуматься над странным поведением красавца бригадира: с чего это вдруг он стал таким обходительным? И почему другие рыбаки отводили взгляды в сторону?

А он, Аркадий, вместо того чтобы смотреть правде в глаза, дал волю фантазии и сам поверил в нее.

Только теперь он понял: не надо было возвращаться!

В прихожей что-то загремело. Послышалось чертыханье. Вскоре дверь распахнулась, и на пороге показался бывший капитан. В руке у него была знакомая миска с омулями и хлебом.

— Ваша?

— Да,— смущенно ответил Аркадий и взял миску.

Николай Иванович, придерживав на нем мрачно-внимательный взгляд, вернулся в помещение.

Аркадий растерянно смотрел на миску.

И все же он не должен пороть горячку. Достаточно того, что он натворил вчера. В конечном счете, пока это только пересуды. Даже если оба вышли ночью, ничего с уверенностью сказать нельзя. Прежде чем оборвать последнюю нить, он обязан поговорить с Маришкой сам.

Из глубокой миски на него глядел остывший Маришкин завтрак. Вот и предлог для встречи...

И опять — в который раз! — та же тропинка, те же камни, тот же обрыв. Казалось, он только тем и занимается эти два дня, что носится вверх-вниз по склону. Ему уже известны каждый кустик, каждый извив дорожки.

Вот сюда Маришка свернула, привлеченная какими-то камешками...

Вот здесь она собирала их и пела...

Вот отсюда она спросила Горячева, что за самоцвет у нее в руке...

Вот с этого выступа Аркадий помог ей взобраться на обрыв...

Скамейка уже была покрыта опавшими листьями. Как мало потребовалось времени, чтобы она приняла заброшенный запустелый вид.

Аркадий повернул к вчерашнему леску. Он твердо знал, где искать Маришку. Им двигала та необъяснимая и слепая уверенность, которая дается только или очень счастливым, или очень несчастным в любви людям.

Он не сделал и полсотни шагов, как увидел жену. Она по-прежнему не смотрела в его сторону, хотя на-

верняка слышала шаги: громко трещал под ногами ва-
лежник, похрустывали листья бадана. Возможно, она
не уходила потому, что уже не видела в этом смысла.

Аркадий подошел к ней.

— На, поешь,— сказал он, протягивая миску
с омулями.

Она обернулась и с иронией произнесла:

— Какая забота!

— Это они прислали,— растерянно сообщил он.

— Даже смелости не хватает, чтобы присвоить себе
чужую инициативу,— зло сказала она.

— Да, не хватает... Все равно поешь!

Она отвела руки за спину.

— Можешь отнести обратно!

— На еду не обижаются,— повторил он слова ма-
тери, запомнившиеся ему с детства.

— Вот как? А на остальное?

— Мариш!— он рванулся к ней.— Ну прости меня!
Я не знал, что творил!

— Уходи,— сказала она.

— Я прошу тебя, скажи, что произошло?

— Что? Многое.

— Значит, то, что они говорят,— правда?

— А что они говорят?— вдруг встрепенулась она.

— Не догадываешься?

— А мне плевать, что они говорят!— Искомандо-
вала:— А теперь можешь уходить.

— Скажи!— Аркадий схватил ее за тонкие и худые
плечи.— У тебя было что-нибудь с ним? Говори, было?

— Было! Было! Было!

Он отпустил ее.

— Не верю.

— Не веришь?— она неожиданно захохотала.— Не
веришь? Ах ты, Фома неверный! Было, было,— почти
ласково добавила она.

Пошатываясь, Аркадий побрел к оврагу.

С каждым шагом им все больше и больше овладе-
вала апатия. Незаметно он очутился на берегу. Присел
на камень, который мог вызвать, но не вызвал никаких
воспоминаний. Миску поставил рядом на землю.

Сидел и бездумно прислушивался к плеску волн. Все
кругом — и небо, и горы, и озеро — принадлежало вче-

рашнему дню. Ничего не переменилось. Даже облака сохранили свои очертания.

Время остановилось, потеряло смысл...

Сколько прошло времени? Час? Два? Или всего несколько минут? Солнце скользнуло за деревья, прижатые к воде полуразрушенными скалами. Ближе всех к Аркадию была старая-старая лиственница. Своими мохнатыми старушечьими лапами она накинула на него ветхую дырявую тень...

Скорее бы пришел катер...

А поблизости, как кот вокруг горячей каши, бродил Миша. Возможно, ему поручили приглядывать за поверженным мужем. Мало ли что тому придет в голову. Вдруг возьмет да утопится. Здесь уже в десяти метрах начинается такая глубина, что ни один из спасателей не найдет его брэнного тела...

И все-таки Миша не выдержал, подошел.

Постояв молча некоторое время, нерешительно спросил:

— Подогреть?

— Что?— не понял Аркадий.

— Подогреть жареху?

— Зачем?

— Жир весь застыл.

— Пусть.

— А то могу новую принести?

— Не надо, спасибо...

Сейчас Миша — сама услужливость, сама предупредительность. Он явно старается хоть чем-то загладить свою вину. Похоже, что ему сделали внушение за длинный язык. Ну а с другой стороны, в чем его прегрешение? Кто знал, что за дверью обманутый муж?

Но вот Миша исчез, и его место заняла инспекторша. Она приблизилась к Аркадию и сказала:

— Я бы на вашем месте это так не оставила.

— О чем вы?

— Об аморальном поведении Горячева. У самого жена, двое детей, а он черт те что вытворяет!

Быстро же она сориентировалась в этой катавасии.

- Что бы вы сделали?
 - Написала бы заявление.
 - Кому?
 - Директору рыбокомбината, разумеется! Одну копию отослала бы в райком, а другую — на всякий случай — оставила бы себе...
 - Простите, но я писать не буду.
 - Это почему?
 - Жалко бумаги. Уж лучше ее использовать для другой цели. И то чище будет!
- Она молча уставилась на него. Когда же наконец смысл сказанного дошел до нее, ее лицо залилось краской.
- А вот вы какой, оказывается!
- Что ж, с этой минуты — он уверен — она будет считать, что так ему и надо.
- Теперь понимаете, каково ей было со мной?
 - Да, не позавидуешь...

А потом появился Николай Иванович. Он присел на один из валунов — не близко, но и не далеко от Аркадия. Видимо, хотел создать впечатление, будто единственная цель у него посидеть на берегу.

Но уже через несколько минут, встретившись с Аркадием взглядами, пересел поближе.

— Не помешаю?

— Ну что вы!

После долгого молчания Николай Иванович произнес, покачав головой:

— Н-да!

Аркадий вопросительно посмотрел на него.

— Слышишь,— вдруг сказал тот.— Не придавай веры, что они там наболтали. От нечего делать чего угодно наговорят. Особенно Юзя. Да и мальчишка этот — Михаил.

— Возможно,— пожал плечами Аркадий.

— Скажу тебе, Афоня и знать не знает, что его к твоей жене присватали. Ему это без надобности. У него жена, двое детей...

— Мне сказали...

Одно непонятно, зачем Николай Иванович затеял этот разговор... То ли Аркадия пожалел, то ли бригадира выгораживал, чтобы все шито-крыто было? Да

и что, какие слова можно противопоставить откровенному признанию Маришки?

Наконец! Вдали тоненьким лучом сверкнуло на солнце стекло рубки...

Маришка спустилась со своего пригорка, когда катер уже готов был отойти. Ее худенькое плечо оттягивало бинокль. По-видимому, до последнего момента не расставалась с ним — ждала Горячева. А тот явно не спешил возвращаться: давал им возможность спокойно уехать.

Спохватилась она, что увозит чужую вещь, когда полукилометровая полоса воды уже отделяла катер от берега.

— Отдашь капитану. Он вернет его в следующий рейс, — сказал ей Аркадий...

До вечера они просидели молча на соседних скамейках, погруженные каждый в свои мысли...

А ночью снова поднялся шторм. Маришке было очень плохо. Аркадий то и дело помогал ей подниматься по трапу, подводил к борту. На какое-то время становилось легче. Но потом она снова не находила себе места. Однажды, когда катер резко крутануло вбок, их обоих чуть не выбросило за борт. Аркадий с трудом удержался и удержал ее...

Они легли только под утро, когда волнение спало. Все в кубрике было забито людьми, и потому они оба устроились на одном узком деревянном топчане. Маришка уснула сразу. Она лежала на боку, сжав по-детски кулачки у подбородка, вздрагивала во сне. Вдруг откуда-то в их сторону повеяло холодом. Аркадий тихо поднялся и осторожно прикрыл жену своим пиджаком...

Через два часа они были в городе...

«Дорогие папа и мама!

Разве можно так — сразу да в барабаны? Получив вашу паническую телеграмму, главный тут же вызвал меня на ковер и за пренебрежение сыновним долгом всыпал по первое число! Между тем у нас все в порядке, оба живы-здоровы, чего и вам, как говорится, желаем. Не писал же я потому, что на меня навалилось столько дел — домашних и служебных, что некогда даже чихнуть! Посудите сами. Как только вернулся из командировки, засел за работу. Три дня и три ночи корпел над очерком об одном передовом бригадире рыбаков. Но тем не менее материал редактору понравился. Будет напечатан в воскресном номере. А вот у моей дражайшей половины дела похуже. С моей попыткой приобщить ее к журналистике ничего не получилось. Нет у нее ни бойкости, ни упорства, без которых невозможно изо дня в день вырабатывать газетные строки. После долгих раздумий и обсуждений мы решили, что все-таки ей лучше вернуться в школу. Быть педагогом, как сказал Песталоцци или еще кто-то, тоже неплохо.

И последняя новость — мы подали заявление, чтобы нас поставили на жилье. Вплоть до комнатки в коммунальной. Редактор обещал посодействовать. Словом, нам до чертиков надоело мотаться по чужим квартирам и не иметь своего угла. Seriously!

Целуем, ваши Аркадий и Марина».

СОДЕРЖАНИЕ

Лестничный пролет	
Часть первая	5
На разломе частей	194
Часть вторая	213
Pro metogia	361
В этот горький медовый месяц	459

Липкович Я.

Л 61 Три повести о любви: Повести.— Л.: Сов. писатель, 1989.—528 с.
ISBN 5—265—00234—0

Все три повести, вошедшие в книгу, действительно о любви, мучительной, страстной, незащищенной. Но и не только о ней. Как это вообще свойственно прозе Якова Липковича, его новые произведения широки и емки по времени охвата событий, многоплановы и сюжетно заострены. События повестей разворачиваются и на фоне последних лет войны, и в послевоенное время, и в наши дни.

Писательскую манеру Я. Липковича отличает подлинность и достоверность как в деталях, так и в воссоздании обстановки времени.

Л $\frac{4702010201-005}{083(02) - 89}$ 77—89

ББК 84.Р7

Яков Соломонович Липкович

Три повести о любви

Л.О. изд-ва «Советский писатель», 1989, 528 стр.
План выпуска 1989 г. № 77

Редактор *А. Л. Мясников*
Худож. редактор *М. Е. Новиков*
Техн. редактор *Е. Б. Спрукт*
Корректоры *Е. Я. Лапиль* и *Е. А. Омеляненко*

ИБ № 7135

Сдано в набор 04.07.88. Подписано к печати 24.01.89. М 24020. Формат 84×108^{1/32}. Бумага тип. № 2. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 27,72. Уч.-изд. л. 28,79. Тираж 30 000 экз. Заказ № 1636. Цена 2 р. 10 к. Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель». Ленинградское отделение. 191101, Ленинград, Литейный пр., 36. Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.

**В 1989 ГОДУ
ВЫХОДЯТ ИЗ ПЕЧАТИ**

ВИНОГРАДОВ И. Дикий голубь: Роман, повести.— Л.: Советский писатель. Ленингр. отд-ние, 1989 (IV кв.) — 32 л.

Завязка романа драматична. Константин Голубев, молодой командир партизанского отряда на Псковщине, оказавшись в Ленинграде сразу после снятия блокады и случайно ранив милиционера, попадает под трибунал.

Роман раскрывает непростую судьбу этого человека.

В книгу также входят повести, в которых отразился личный опыт писателя.

ЛИВЕРОВСКИЙ А. Охотничье братство:
Рассказы.— Л.: Сов. писатель. Ленингр. отд-ние,
1989 (II кв.) — 18 л.

Проза одного из старейших ленинградских писателей Алексея Ливеровского несет в себе нравственный, очищающий душу заряд. Читателя привлекут рассказы о Соколове-Микитове и Бианки, об академике Семенове, актере Черкасове, геологе Урванцеве, с которым сблизил автора охотничья страсть и любовь к природе.